

Петр Краснов



Мой 20 век

АТАМАН
Петр Краснов

Петр Краснов





ПЕТР
КРАСНОВ

АТАМАН



ПЕТР
КРАСНОВ

АТАМАН

МОСКВА • ВАГРИУС •
2006

УДК 882-94
ББК 84.Р7
К78

Серия основана в 1995 году

Составление, вступительная статья, примечания
Т.Ф.Прокопова

Дизайн серии
Евгения Вельчинского

В книге использован уникальный исторический фотоматериал

Издательство благодарит
Государственный архив Российской Федерации
и Государственную публичную историческую библиотеку
за предоставленные иллюстрации

Краснов П.Н.
К78 Атаман: Воспоминания / Сост., вступ. ст., примеч. Т.Ф.Прокопова. — М.: Вагриус, 2006. — 650 с. ; ил.

ISBN 5-9697-0156-4

Петр Николаевич Краснов (1869—1947) — в российской истории фигура неоднозначная и по-своему трагическая. Прославленный казачий генерал, известный писатель, атаман Всевеликого Войска Донского, в 1918 г. он поднял казаков на «национальную народную войну» против большевиков. В 1920 г. Краснов эмигрировал в Германию. В годы Второй мировой войны он возглавил перешедшую на сторону вермахта часть казачества, которая вслед за атаманом повторяла: «Хоть с чертом, но против большевиков!» В однотомник включены автобиографические документальные книги Краснова «Павлоны», «Русско-японская война», «На рубеже Китая», «На внутреннем фронте», «Всевеликое Войско Донское», «Венок на могилу Неизвестного солдата Императорской Российской армии». Из шести представленных книг четыре приходят к современному читателю впервые.

УДК 882-94
ББК 84.Р7

ISBN 5-9697-0156-4

ДОРОГИ АТАМАНА КРАСНОВА

Хоть с чертом, но против большевиков.
П.Краснов

Словно две жизни прожил белый генерал и казачий атаман Краснов. Одна была беззаветной службой отечеству. Другая оказалась в плену политических страстей, что и привело его к трагическому концу. В первой жизни он — достойный преемник традиций своего старинного рода: в его семье и пращуры, и потомки были доблестными воинами, жизни не щадившими в сражениях за родину; таким был и сам он, участник двух войн. Но вот закрутило-завертело генерала в кровавых водоворотах XX века, вовлекло в новые войны, Гражданскую и Вторую мировую, и завершил он свою карьеру бесславно, позорно — на службе у тирана, одурманившего Европу фашистской чумой, а смерть принял в Москве на виселице как военный преступник.

Родился Петр Николаевич Краснов 10 (22) сентября 1869 года в Санкт-Петербурге. Здесь его отец, Николай Иванович, служил в Главном управлении иррегулярных (казачьих) войск. Семья офицера была немалая: пятеро сыновей, даровитых, трудолюбивых, достигших в жизни очень многого, — о каждом стоит сказать особо. Но сперва — об отце.

Н.И.Краснов (1833—1900) был родом с донского хутора Каргина. Высшее военное образование получил в Академии Генштаба и дослужился до чина генерал-лейтенанта. Он был одним из основоположников русской военной статистики, преподавал ее даже будущему императору Николаю II. В 1854—1856 годах принял участие в Крымской войне: сначала командовал батареей в Таганроге, затем оказался в самом пекле — в Севастополе. Здесь молодой офицер получил первые боевые награды. Отличился он и в 1877—1878 годах в сражениях по освобождению Болгарии в частях генерала М.Д.Скобелева.

В мирные дни Николай Иванович, наряду со службой, много печатался, став известным публицистом, прозаиком, историком казачества. Его имя еще при жизни внесено в литературные и иные энциклопедии как автора исследовательских очерков, кстати, не утративших актуальности и сегодня.

Воинскими отличиями был славен и дед Петра Николаевича — Иван Иванович Краснов (1800—1871). Он получил блестящее образова-

ние в пансионе Харьковского университета, где особенно преуспел в изучении философии и русской литературы, овладел несколькими европейскими языками. Но, по семейной традиции, предпочтение отдал службе. В 1828 году Иван Иванович ушел на Русско-турецкую войну и с мест сражений отправлял жене письма-репортажи в стихах. Военные кампании он закончил в чине генерал-майора. В 1843 году ему доверили возглавить лейб-гвардии Казачий сводный Его Императорского Величества полк, о боевом пути которого он напишет книгу. В Крымскую войну генерал успешно руководил обороной Таганрога.

Среди Красновых именно ему, Ивану Ивановичу, довелось положить начало новой семейной традиции — увлеченному занятию писательством. В «Военном сборнике» и других изданиях он публиковал историко-этнографические очерки, которые с интересом читаются и сегодня: «О казачьей службе», «Низовые и верховые казаки», «Малороссияне на Дону», «Иногородние на Дону», «О строевой казачьей службе», «Оборона Таганрога и берегов Азовского моря», «Донцы на Кавказе» и др.

Многими дарованиями были отмечены также братья Петра Николаевича, хотя особо заметим: чинов и отличий, прервав традицию, они достигли не в армии, а на гражданской службе.

Старший, Андрей (1862—1914), стал видным ботаником, географом, путешественником, автором ряда научных трудов. Много лет он заведовал кафедрой географии в Харьковском университете. Собранные им ценнейшие гербарии после его неожиданной кончины вошли в коллекции Петроградского и Харьковского университетов, а также Ботанического сада в Батуми, который он же и основал (здесь ему был поставлен памятник).

Второй брат, Платон (1866—1924), стал известным «железнодорожным генералом» — действительным статским советником, автором до сих пор высоко ценимой в профессиональных кругах монографии «Сибирь под влиянием рельсового пути» (1902). Своим его считали и в среде литераторской. И вовсе не потому, что в 1891 году он оказался родственником Александра Блока — женился на его тетке писательнице Екатерине Андреевне Бекетовой. Еще в юношестве Платон Николаевич начал печатать в журналах свои переводы стихов Шекспира, Байрона, Э.Т.А.Гофмана, Г.Гейне, А.Грюна, Н.Ленау, Г.Лонгфелло, Т.Мура, Овидия, Тибулла, а в 1889 году он, магистр математики, издал и поэтический сборник. Как приметное литературное событие были встречены книги античных классиков — Сенеки «Избранные письма к Люцилию» (1893) и Марка Аврелия «К самому себе. Размышления» (1895), — вышедшие в отличных переводах Платона Краснова.

Стать продолжателем военной семейной линии выпало на долю Петру Николаевичу. Причем не по принуждению, а по собственному выбору. Окончив в 1887 году школу Александровского кадетского корпуса по баллам вторым, юный вице-унтер-офицер не пожелал менять военный мундир на студенческий и решил продолжить учебу в престижном 1-м Военном Павловском училище.

Большинство павлонов училось весьма прилежно, а Краснов был круглым отличником. На втором курсе его назначили фельдфебелем Государевой роты, в которую отбирались не только самые рослые и спортивные крепыши, но и лучшие по успеваемости. Училище он окончил по высшему разряду с занесением имени на почетную доску. Вновь испеченного хорунжего 10 августа 1889 года зачислили «в комплект Донских казачьих полков с прикомандированием к Лейб-гвардии Атаманскому Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку», старейшей (год основания 1775) и самой элитной донской части из тех, что были расквартированы в столице.

Но был ли павлон доволен таким, казалось бы, почетным назначением? «Здесь (в училище. — *Т.П.*) я был первым, — вспоминает он, — там, куда я еду, — буду последним. Прикомандированным. В голубой Атаманской семье я буду пятном своим красным околышем фуражки, своими алыми лампасами — буду "краснокожим", как называли в гвардии прикомандированных от полевых полков». Однако недолгой была печаль, всего-то через год она сменилась радостью, когда его шаровары армейца украсились вместо «краснокожих» лампасами голубыми: началась его лейб-гвардейская служба. И продолжалась она без малого двадцать лет.

Не станем перечислять все его служебные продвижения и производства в чины: это обычное армейское дело. Остановимся только на вехових событиях его дальнейшей биографии.

17 января 1891 года в официальном органе военного ведомства «Русский инвалид» появился некролог «Генерал-лейтенант В.Г.Золотарев», под которым стояла подпись: Н.Краснов (в инициале ошибку допустил, вероятно, наборщик, знавший другого Краснова — отца нынешнего). Этой скромной публикацией о скончавшемся начальнике Главного управления казачьих войск и открывается огромная теперь библиография печатных трудов Петра Николаевича.

Скромный журналистский дебют Краснова был замечен: старейшая петербургская военно-научная и литературная газета «Русский инвалид» (1813—1918) тотчас привлекла его к постоянному сотрудничеству. Лейб-гвардеец (естественно, с благословения высшего начальства) в течение многих лет вел здесь рубрику «Вторник у генерала Бетрищева»,

ставшую очень популярной в войсках. Наверное, потому, что темы ее были самые животрепещущие — быт русского воинства, моральный облик офицеров, полководцы России, история казачества, проблемы коневодства и подготовки конницы как рода войск, конный спорт в армии... Эти публикации время от времени попадали даже на стол императора: прочитав, Николай II отправлял их со своими пометками военному министру.

Спустя много лет в этой газете, возобновившейся с 22 февраля 1930 года, но уже в Париже, продолжилось активное сотрудничество Краснова-эмигранта. Читатели-ветераны здесь снова встретились с уже знакомым им псевдонимом «Гр. А.Д.» под статьями, очерками, рецензиями. Здесь же впервые увидели свет и автобиографические книги Краснова — «Павлоны», «На рубеже Китая», «Накануне войны».

Офицер, оказавшийся талантливым публицистом и прозаиком, много печатается и в других изданиях. Его статьи, рассказы, обзоры печати, рецензии то и дело появляются в газетах «Новое время», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета», «Петербургский листок», в журналах «Новое слово», «Новый мир», «Вестник русской конницы», «Военный сборник», «Нива»...

Увлечение офицера литературой было настолько велико, что скорее всего именно оно, как предполагают биографы, и стало причиной того, что, поступив в 1892 году в Академию Генштаба, Краснов не сдал какой-то экзамен за первый курс и был отчислен (другая версия — причиной отчисления явился конфликт с начальником академии генералом Н.Н.Сухотиным). Но действительно, в этот год Петр Николаевич с головой был погружен вовсе не в зубрежку: он готовил к печати рассказы для своего первого сборника «На озере» (1895), писал тогда же и очерки, которые составят сборник «Ваграм» (1898), а еще собирал и обрабатывал архивные материалы для двух документальных книг: «Атаманская памятка. Краткий очерк истории Лейб-гвардии Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка» (1898) и «Суворов» (1900).

В 1896 году в свет вышли сразу четыре книги Краснова: его первое серьезное историческое исследование «Атаман Платов», «Донской казачий полк сто лет тому назад», «Казаки в начале XIX века» и сборник новелл «Донцы». Еще одно важное событие того же года: он венчается с обрусевшей немкой, дочерью действительного статского советника, известной в Петербурге камерной певицей Лидией Федоровной Грюнезейн. Браку этому суждено было стать долгим и счастливым. Отныне, куда бы ни бросала офицера его казачья доля, всюду верной спутницей и помощницей ему была Лидия Федоровна. Но в первый

год молодую семью ожидало испытание: супруга на целый год командировали в Африку,

Приказ назначить Краснова начальником казачьего конвоя Императорской дипломатической миссии в Абиссинию (этого он долго добивался) пришел, когда Петр Николаевич уже перестал его ждать, — за день до отъезда, 13 октября 1897 года. Однако к следующему утру он в полной готовности явился на Николаевский вокзал. Поезд Петербург—Одесса, переход на корабле через Черное, Средиземное и Красное моря до Джибути, затем — в конном строю по африканским раскаленным землям — до абиссинской столицы Аддис-Абеба.

Русские дипломаты впервые занимались в Африке очень важным государственным поручением — установлением с Абиссинией дипломатических отношений. Краснов и другие конвойцы тоже не сидели без дела — они стали инструкторами гвардейцев императора Менелика II. Благодарный негус даже наградил за это русских орденами. Краснова — Эфиопской звездой 3-й степени. От русского правительства, уже в Петербурге, он получил Станислава 2-й степени (3-ю степень вручили раньше). Наградить русских сочла необходимым и союзная Франция: Краснов был удостоен ордена Почетного легиона.

Главным итогом трудного, но экзотически яркого странствия, запомнившегося Краснову на всю жизнь, стал его беллетризованный дневник, который он посвятил «Цесаревичу Михаилу Александровичу и Великой Княжне Ольге Александровне» (с ними его жизнь пересечется и в дальнейшем). Увлекательное повествование было издано трижды под разными названиями (в некоторых публикациях их ошибочно считают разными книгами) — «Казаки в Африке. Дневник начальника конвоя российской императорской миссии в Абиссинии в 1897—1898 гг.» (1899, 1900) и «Казаки в Абиссинии» (1909). Книга стала, как теперь говорят, бестселлером.

В ту пору десятки отрядов изучали и пограничье России. Полярным исследователем начал свою службу будущий адмирал и правитель Сибири А.В.Колчак. На Памире рекогносцировкой занималась военная экспедиция полковника Ионова, а в нее входили капитаны Генштаба Л.Г.Корнилов и Н.Н.Юденич — будущие вожди Белого движения, с которыми в дальнейшем судьба близко сведет Краснова. В сентябре 1901 года вслед за ними в эти малоизученные юго-восточные земли пошлют и Петра Николаевича. В руках у него будет, однако, не предписание Генштаба, а командировка от газеты «Русский инвалид». На сей раз в трудный конный поход по горам и долам Азии и Дальнего Востока с ним отправилась и Лидия Федоровна (она была отличной наездницей). И опять итогом путешествия явилась книга

путевых очерков: дважды изданный том в 616 страниц с иллюстрациями художника Н.С.Самокиша, с фотографиями и картами. О том, где побывали супруги, мы узнаём из авторского предисловия: «Перед вами описание поездки моей в Маньчжурию, Китай, Японию, Индию, совершенной по приказанию начальства для изучения быта как наших, так и иностранных войск... Я побывал за эти полгода в городах: Иркутск, Хайлар, Цицинкар, Харбин, Хабаровск, Владивосток, Никольск-Уссурийск, Омосо, Гирин, Порт-Артур, Никоу, Чифу, Тян-Цзынь, Пекин, Нагасаки, Кобэ, Иокогама, Токио, Шанхай, Гон-Конг, Сайгон, Сингапур, Коломбо, Пондишери, Калькутта, Бенарес, Агра и Бомбей... Прочтите мою книгу, — приглашает в заключение автор, — соблазнитесь пересечь Индию от Бомбея через Агру, Дели, Бенарес, Дарджилинг и Калькутту... умилитесь перед Гималаями и Дарджилингом».

Однако вскоре писатель, словно прозрев от иллюзий, навеянных экзотическими красотами, встревоженно обратит внимание на то, чего раньше не замечал его восторженный взгляд путешественника: так понравившаяся ему Япония усиленно готовилась к войне. О войне он узнал только тогда, когда японские миноносцы торпедировали русскую эскадру в Порт-Артуре. Краснов, к тому времени занявший пост полкового адъютанта (т.е. начальника штаба) Атаманского полка, тотчас подал прошение об отправке на фронт. Но лейб-гвардейцев посылать на войну не спешили: считали, что она вот-вот закончится, что нечего лейб-гвардейцам там делать. И Петр Николаевич принял предложение (конечно, согласованное в инстанциях) поехать к местам сражений военным корреспондентом «Русского инвалида».

«Что это за враг — большинство солдат никогда не слыхало, — напишет Краснов в 1939 году в мемуарах «Русско-японская война». — Лишь старые сибирские стрелки видели японцев во время войны в 1900 году, когда вместе с ними ходили освобождать посольства, осажденные в Пекине китайцами (в этой экспедиции побывал и Краснов. — *Т.П.*). Разное говорили про японцев. Маленький, щупленький, — говорили про них, — некрасивый, а дерется хорошо, смело идет вперед, отлично слушается офицера, горячо любит свое отечество. И рассказывали на ночлегах и в походе старые солдаты и офицеры, что японцы поклялись или умереть, или победить русских, что, отправляясь на войну, они навеки прощались с родными, вписывали имена свои в поминовение, как вписывают уже умерших».

Среди фронтовых встреч и знакомств Краснова той поры были и такие, о которых он не раз будет вспоминать и писать впоследствии. На-

чались они еще в эшелоне, который шел к местам сражений через всю Сибирь. Три военных корреспондента — капитан Генштаба Деникин, подъесаул Краснов и подпоручик запаса Кравченко — на этом долгом пути устроили нечто вроде импровизированного «литературного клуба». На вечера-чтения и диспуты, проводившиеся ежедневно в одном из вагонов, собирались десятки офицеров во главе с начальником Забайкальской дивизии генералом П.К.Ренненкампфом.

Читал здесь свои корреспонденции и Петр Николаевич. «Статьи Краснова, — вспоминал А.И.Деникин, — были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву "ведомственным" интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение: "Здесь, извините, господа, поэтический вымысел — для большего впечатления..."». Уже тогда едва начавшаяся дружба двух офицеров начала перерастать в неприязнь и вражду. Деникин пишет: «Элемент "поэтического вымысла" в ущерб правде прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова — плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов; прошел через сношения атамана с властью Юга России (1918—1919), через позднейшие повествования его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через "вдохновенные" призывы его к казачеству — идти под знамена Гитлера...» (*Деникин А.* Путь русского офицера. М.: Вагриус, 2004. С. 75—76).

В «восточном экспрессе» Краснов познакомился и с только что назначенным командующим Тихоокеанской эскадрой адмиралом С.О.Макаровым, и с академиком батальной живописи В.В.Верещагиным. Адмирал пригласил корреспондента совершить с ним и с художником боевое плавание на флагманском броненосце «Петропавловск». Только случайность удержала Краснова от принятия столь лестного приглашения. Как мы знаем, этот выход в море стал для Макарова и Верещагина роковым: корабль в Порт-Артуре подорвался на японской мине и был затоплен.

На этой войне корреспондент встретился и с Николаем Николаевичем Юденичем, стрелковый полк которого отличился тогда в нескольких сражениях. Плечо к плечу с ним Краснов будет воевать в годы Гражданской войны, когда, расставшись с атаманством, вступит в его Северо-Западную добровольческую армию.

Еще одна интересная встреча: во время кровавого Мукденского сражения Краснов сражался в составе дивизиона конных разведчиков, которыми командовал барон Карл Густав Маннергейм, тот самый, с которым Петр Николаевич в 1919 году совершит свой поход на Петроград и который позже станет маршалом и президентом Финляндии.

В своих воспоминаниях лишь об одном скромно умолчал Краснов: о том, что в подробно им описанном сражении под Тюренченом и сам он принял боевое крещение — был там, где всего жарче. В списках награжденных встречаем имя подъесаула Краснова, удостоенного ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Вскоре к этой награде прибавились новые: за бои под Ляояном — орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а за бои на реке Шаха и под Мукденом — мечи к его «африканскому» ордену Святого Станислава.

После войны фронтовик Краснов назначается в своем лейб-гвардии Атаманском полку сотником, а в 1907-м он откомандировывается на переподготовку в Офицерскую кавалерийскую школу. Ее Петр Николаевич окончил с отличием и был оставлен при школе инструктором, а через год стал начальником казачьего отдела. О том, какой из него вышел педагог, узнаём из аттестации (она подписана заместителем начальника школы князем Д.П.Багратионом), одной из немногих и едва ли не единственной из отысканных биографами. Приведем ее полностью (по книге В.Н.Королева «Старые Вешки»), поскольку в ней дан объективный портрет Краснова-офицера:

«Службу знает отлично, относится к ней с увлечением, а потому представляет для подчиненных прекрасный пример, проявляя строгую требовательность, беспристрастие и заботливость. Отлично знает быт офицера и нижнего чина. Подробно изучил самобытный уклад казачьей жизни. Здоровья отличного. Хороший манежный ездок и превосходный, неутомимый, лихой наездник в поле. Очень развитый, способный и в высшей степени любознательный, талантливый штаб-офицер, не только интересующийся военным делом, но и проявляющий к нему исключительную любовь. Много раз бывал за границей. Знает иностранные языки. Следя за военной литературой, принимает в ней важное участие, за свои талантливые статьи давно отмечен крупными авторитетами.

Работоспособность и энергия его, разумная инициатива строевой деятельности исключительные, поэтому всякое поручение исполняется этим штаб-офицером превосходно и с ярким оттенком высокого воинского духа. Прекрасный семьянин, чужд кутежей, азарта и искания популярности. Рассудительный, тактичный, настойчивый, с сильной волей и характером, он пользуется авторитетом у сослуживцев и подчиненных. Бережливый к казенному интересу, одарен организаторскими способностями. Выдающийся штаб-офицер этот достоин возможно скорейшего выдвижения по службе и назначения командиром казачьего полка без очереди».

«Такой-сякой распредостойнейший штаб-офицер», как пишет, подшучивая над собой, Краснов, начинает 1910 год в чине полковника и наконец-то, на сорок втором году жизни, добивается давно вожделенного — получает полк. Не беда, что это производство принудило его опять сменить важный для карьеры лейб-гвардейский мундир на скромный армейский. Не беда, что случилось это служебное продвижение «по особой протекции».

«Мои учителя и профессора, — пишет Краснов, — которые знали меня кадетом, юнкером и на младшем курсе Академии, были теперь на верхах. Они меня не забыли». В его столичном круге дружеского общения были генералы Н.П.Безобразов, А.А.Поливанов, Н.П.Михневич, П.К.Кондзеревский, В.М.Остроградский, К.А.Ширма. Петр Николаевич не только был вхож в генеральские дома столицы, он и у себя дома устраивал с женой, популярной певицей, офицерские журфиксы, множившие круг его знакомств и дружб. Помимо этого, как мы уже знаем, ему довелось давно обратить на себя внимание самого императора.

Краснов видел Николая II особенно часто в свои первые восемь лет офицерства, когда ежегодно участвовал в парадах, маневрах, смотрах, конно-спортивных праздниках в Михайловском манеже и в Красном Селе. Здесь охотно бывал царь со всем своим семейством и двором. Петр Николаевич не раз брал призы на скачках, особенно после того, как приобрел породистую лошадь по кличке Град, которую «знал весь Петербург». С этой лошадиной кличкой и были связаны эпизоды, сыгравшие «протекционистскую» роль в судьбе штаб-офицера. Вот что об этом рассказывает он сам: «В 1897 году был я начальником конвоя Российской Императорской миссии в Абиссинии, потом долгое время адъютантствовал в полку и стал часто писать в "Русском Инвалиде", подписывая свои статьи именем любимой лошади: "Град" — "Гр. А.Д.". Когда, после многих статей, Государь Император узнал. какой это самозваный "граф" пишет в "Русском Инвалиде", Государь стал и меня заочно называть "Градом"... Государь Император знал меня и лично. Мне приходилось иметь счастье неоднократно представляться Его Величеству. Я подносил Государю для Него и для Наследника Цесаревича Алексея Николаевича свои труды: "Атаманскую Памятку", "Картины былого Тихого Дона", "По Азии" и "Год войны"». А однажды (это случилось 9 мая 1910 года) Петр Николаевич вместе с другими офицерами получил приглашение на завтрак, устроенный императором в царскосельском Александровском дворце по случаю годовщины Офицерской кавалерийской школы. После завтрака, рассказывает Краснов, «Государь взял меня за руку выше локтя и подвел к Михневичу (генерал-лейтенанту, начальнику Генштаба, преподававшему до этого в Офицерской

кавалерийской школе. — *Т.П.*). "Николай Петрович, — сказал Государь, — когда же вы дадите Краснову полк?.. Надо, надо ему дать полк"». И полк дали. Не могли не дать.

Еще в 1906 году, размышляя над итогами Русско-японской войны, Краснов опубликовал в «Военном сборнике» цикл статей «О строевом командовании казачьим полком», вызвавший в войсках шумную полемику. Автор сам не стал вовлекаться в спор, но уже тогда принял никак им не афишируемое, удерживаемое в тайне решение: настоятельно добиваться, чтобы «самому стать во главе полка и показать на примере правильность предлагаемых методов».

Читатели, открыв страницы воспоминаний Краснова «На рубеже Китая», сами могут убедиться, показал ли полковник «на своем примере правильность предлагаемых методов». Конечно же, хорошо зная теорию, он и на практике хорошо показал, какой должна быть воинская часть, особенно пограничная. Если в 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк, расквартированный в знакомых ему предгорьях Памира, Краснов прибыл «столичной штучкой», чужаком, встреченным настороженно и даже враждебно, то покидал его, получив новое назначение, «своим», близким всем человеком, которому поверили и отдали сердца и рядовые, и офицеры.

В декабре 1913 года полковника Краснова переводят на австрийскую границу командиром 10-го Донского казачьего Генерала Луковкина полка. Не прошло и года, как его часть в числе авангардных принимает на себя удары начавшейся мировой бойни.

И вот первое в этой войне представление Краснова к боевой награде: ему вручается почетное Георгиевское оружие за то, что он «в бою 1 августа 1914 г. у гор. Любича личным примером, под огнем противника, увлекая спешенные сотни своего полка, выбил неприятеля из железнодорожной станции, занял ее, взорвал железнодорожный мост и уничтожил станционные постройки». А в ноябре — повышение в должности: ставший генерал-майором Краснов назначается командовать 3-й бригадой в составе Кавказской Туземной конной дивизии, знаменитой «Дикой», которую возглавлял любимец офицеров, родной брат царя великий князь Михаил Александрович.

От боя к бою мужает талант Краснова-полководца. В представлении к ордену Святого Георгия 4-й степени читаем: генерал награждается «за выдающееся мужество и храбрость, проявленные им в бою 29 мая 1915 г. у м. Залещики и с. Жожавы на р. Днестре, где, умело предводительствуя бригадой Кавказской Туземной конной дивизии с приданными к ней ополченскими частями и Конной Заамурской пограничной бригадой, находясь под сильным огнем и при сильном натиске австро-герман-

ской дивизии <...> произвел блистательную атаку на нерасстроенную пехоту противника, увенчавшуюся полным успехом, причем изрублено было более 500 человек и взято в плен 100 человек».

В конце мая 1916 года Краснов отличился снова: в знаменитом Брусиловском прорыве он шел во главе 2-й Сводной казачьей дивизии. В приказе командующего особо отмечалось: «Бой 26 мая воочию показал, что может дать орлиная дивизия, руководимая железной волей генерала Краснова».

Однако неостановимо надвигался 1917 год. Войска России и ее союзников по Антанте усиленно готовились к переломному наступлению: на него возлагались надежды победоносно завершить войну. Но тому не суждено было сбыться: Россию и Европу потрясли революции.

На войну Краснов уходил в расцвете сил и на взлете военной карьеры, а с войны пришел искалеченным: тяжелое ранение ноги обрекло его на пожизненную хромоту. Одно утешало: Краснов оставался духовно не поколебленным, не утратившим ни веры в себя, ни жизнелюбия, ни стремления достойно исполнять присягу. Наступал звездный час генерала Краснова, когда его роль в обществе вознеслась так высоко, что обманчиво казалось — любые свершения ему должны быть по плечу. Всего-то менее двух лет длилось это главное время его жизни — с апреля 1917-го по январь 1919 года. Но не станем в подробностях излагать события этого двухлетия: о них Краснов сам рассказал нам заинтересованно и, конечно же, пристрастно как активно действовавшее лицо в воспоминаниях «На внутреннем фронте» и «Всевеликое Войско Донское». Остановимся лишь на некоторых акцентах и уточнениях, сделанных уже в наши дни биографами и историками.

В пору революционного безвременья, когда настал час выбора, Краснов не колебался в ответе, с кем он. С Керенским? Нет! С большевиками? Ни в коем разе! С германцами? Нет! Он — с Россией, единой и неделимой. Он — солдат, оставшийся верным долгу и присяге. Он с той Россией, которая на его глазах уходила в прошлое, исчезала безвозвратно, чего он не мог понять, с чем не мог согласиться до последнего мига своей жизни.

Генерал не был политиком и не хотел им быть. «Я солдат... и стою вне политики»; «Я не политик и решил идти прямым солдатским путем», — не уставал он объяснять партийцам всех раскрасок, требовательно втягивавшим его в идеологические распри.

После Февральской революции начался с каждым месяцем убыстрявшийся процесс разложения армии. Солдаты, уставшие от войны, толпами разбегались по домам, а остающиеся в частях перестали быть организо-

ванным войском, подчиняющимся воле и решениям командиров. В это время Краснов возглавлял 2-ю Сводную казачью дивизию. Расположена она была в прифронтовой полосе, вблизи от немецких окопов. Может быть, это еще как-то дисциплинировало часть. Но вот казаков отвели с позиций на отдых, заменив пехотинцами, и «начались митинги с вынесением самых диких резолюций». 4 мая 1917 года Краснов был арестован группой пехотинцев прямо на глазах у казаков своей дивизии, и те ничего не предприняли, чтобы освободить командира, много раз водившего их в бой. Это предательство подчиненных более всего потрясло генерала. Расстрела тогда он избежал чудом.

Похожий эпизод повторился и 25 августа: генерала чуть не убили, когда он с комиссаром Линде попытался вывести на позиции один из деморализованных стрелковых полков. Проявивший чрезмерную самонадеянность комиссар погиб. Вспоминая об этом эпизоде, Краснов писал: «Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему я молился, во что верил, что любил в течение пятидесяти лет, — погибла армия!»

Отчаянную попытку преодолеть хаос и разложение войск в эти августовские дни предпринял Верховный главнокомандующий Лавр Георгиевич Корнилов. Получив его вызов, Краснов, ни дня не медля, отправляется в Могилев, в Ставку, где получает приказ: принять в командование 3-й конный корпус и вести его на Петроград. «Спасти армию! Спасти какою угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений — вот что руководило нами тогда и заставило верить Корнилову», — вспоминает Краснов. Однако в спешке организованное вооруженное выступление Корнилова, названное Временным правительством мятежом, успеха не принесло: главнокомандующий был смещен и 2 сентября 1917 года арестован. Из тюрьмы Корнилову удалось вызволиться, и он отправился на Юг, где возглавил формирования Добровольческой армии. Но в декабре в бою под Екатеринодаром (Краснодаром) генерал погиб.

А Краснов со своим Конным корпусом остался под Петроградом, где в ночь на 26 октября свершился-таки большевистский переворот. В историческое утро в расположении части Краснова оказался не кто иной, как сам Керенский. Вскоре Петр Николаевич был вызван к Александру Федоровичу, еще не расставшемуся с постами Главковерха и главы Временного правительства.

Пока генерал шел на встречу с Керенским, в его душе нарастали брезгливость и протест: зачем идет к самонадеянному позеру? «Керенский полководец!.. Он разрушил армию, надругался над военною наукою, и за то я презирал и ненавидел его. А вот иду же я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, иду, как к Верховному главнокомандующему, предлагать свою жизнь и жизнь вверен-

ных мне людей в его полное распоряжение?» И далее Краснов дает важное для историков объяснение своего поступка: «Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к Родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию».

В те переломные дни так думал не только Краснов. Так считали и все те, кто пытался остановить случившуюся катастрофу. Керенский принял тогда трудное, но всеми правильно понятое решение: снять с себя и возложить на генерала Краснова верховное командование вооруженными силами, верными Временному правительству. Этот «забытый факт истории», о котором нам впервые напомнил биограф генерала А.А.Смирнов, длился всего-то пять суток, с 27 по 31 октября. Как и предполагал Краснов, замышленный Керенским, но плохо подготовленный «освободительный» поход на Петроград провалился. Краснов 1 ноября помог Керенскому бежать, а сам 2 ноября предстал пленником на допросах у Троцкого и Дыбенко. Однако далее — никем не раскрытая загадка: в тот же день после допросов в большевистском Смольном Краснова на автомобиле Красного Креста доставляют домой, на Офицерскую, 23, т.е. освобождают. Почему? Неужто действительно, как предположили советские историки, «под его честное слово не воевать с советской властью»?

Но вот что пишет сам Краснов: «В сумерки 7 ноября я, моя жена, полковник Попов и подхорунжий Карташов, забравши кое-что из платья и белья, сели на сильную машину штаба корпуса и поехали за город... А в это время на Петроградскую мою квартиру явился от Троцкого наряд Красной гвардии, чтобы окончательно меня арестовать». Значит, арест первый был всего лишь домашним арестом. Генерал опять, в третий (но еще не в последний) раз, спасся от неминуемого расстрела.

Оказавшись в расположении своего кавалерийского корпуса, Краснов спешно занялся эвакуацией казачьих частей на Дон: их надо было непременно сберечь для последующих сражений. А далее и для него пришел час сказать «последнее прости полку и здравствуй Тихому Дону». «Я приговорен к смертной казни, мои портреты, найденные в вещах моей жены, посланы по всем станциям от Царицына до Пятигорска, чтобы искать меня». 1 февраля 1918 года «на тряской телеге, запряженной парой худых лошадей, — вспоминает генерал, — я въезжал в Новочеркасск, потому что куда же мне было ехать больше?!»

Оказавшись на земле своих предков, Краснов тайно, под чужим именем поселился в тихой станице Константиновской. Здесь он, слов-

но истосковавшись по перу и чернильнице, быстро, в течение марта 1918 года, пишет приключенческий роман «У подножия Божьего трона», который во втором, берлинском, издании (1922) получит название «Амазонка пустыни» и после будет переведен на десять языков. Эта его книга — воспоминание о маленьком гарнизоне, несущем постовую службу в пустынных предгорьях Центральной Азии, беллетризованный вариант его мемуаров «На рубеже Китая». В Константиновской же затевается и его эпопея «От двуглавого орла к красному знамени».

Однако не удалось генералу, увлеченному творческими замыслами, отсидеться за письменным столом: его настоятельно вызывали на сессию Круга спасения Дона, где попросили выступить с докладом.

3 мая 1918 года, выслушав двухчасовую пламенную речь Краснова и за нее выразив ему благодарность, Круг затем ста семью голосами против тринадцати и при десяти воздержавшихся избрал генерал-майора Краснова атаманом Всевеликого Войска Донского. Однако Петр Николаевич атаманский пернач-булаву не принял, а потребовал от Круга прежде рассмотреть и утвердить свой текст Основных законов Войска.

Красновская конституция (она, по словам автора, «представляла из себя почти полную копию основных законов Российской империи») начинается параграфом: «Власть управления Войском во всем ее объеме принадлежит Войсковому Атаману в пределах всего Всевеликого Войска Донского». Поистине диктаторское требование: упразднялись действовавшие до этого властные полномочия коллектива — Круга.

«Вы хозяева Земли Донской, я ваш управляющий, — сказал Кругу атаман, объясняя свое главное требование. — Все дело в доверии. Если вы мне доверяете, вы принимаете предложенные мною законы, если вы их не примете, значит, вы мне не доверяете, боитесь, что я использую власть, вами данную, во вред Войску. Тогда нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править Войском не могу».

После недолгого замешательства и вспыхнувших споров Круг красновский ультиматум принял. Не мог не принять, ибо перед глазами высокого собрания еще стояли «окровавленные призраки застрелившегося Атамана Каледина и расстрелянного Атамана Назарова. Дон лежал в обломках, он не только был разрушен, но он был загажен большевиками, и немецкие кони уже пили тихие струи Дона, священной для казаков реки. К этому привела работа Кругов, потому что и Каледин, и Назаров боролись с их постановлениями, но победить не могли, потому что не имели власти» («Всевеликое Войско Донское»).

За короткий срок Краснову удалось осуществить труднейшую задачу — создать регулярную армию. Не без гордости он в своих воспоминаниях убеждает нас цифрами: «Если к 14 мая на фронте находи-

лось 17 тысяч казаков при 21 орудии и 58 пулеметах, то к 14 июля уже 49 тысяч при 92 орудиях и 272 пулеметах. В августе было мобилизовано 25 возрастов, Донская армия составила 27 000 пехоты и 30 000 конницы, 175 орудий, 610 пулеметов, 20 аэропланов и 4 бронепоезда». Для пополнения армии профессиональными кадрами Краснов открывает Донской Императора Александра III кадетский корпус, Новочеркасское казачье военное училище (с отделениями пластунским, кавалерийским, артиллерийским и инженерным), Донскую офицерскую школу (по типу той, в которой учился и преподавал сам), авиационную школу, военно-фельдшерские курсы.

Усилия атамана не оказались тщетными: уже к середине июля почти вся территория области Войска Донского была освобождена от большевиков.

В честь освобождения Дона от красных 16 августа 1918 года в Новочеркасске был устроен праздничный парад. А после торжеств Большой Войсковой Круг постановил: присвоить атаману высшее воинское звание — генерал от кавалерии.

Еще в те дни, когда Краснов только приступал к многотрудным атаманским обязанностям, он для себя ясно определил: «У меня четыре врага: наша донская и русская интеллигенция, ставящая интересы партии выше интересов России, — мой самый страшный враг; генерал Деникин; иностранцы — немцы или союзники — и большевики. И последних я боюсь меньше всего, потому что веду с ними открытую борьбу, и они не притворяются, что они мои друзья». С болью и гневом Краснов пишет: «Россия... в горячечном бреду, а что же делают иностранцы? Германцы заняли Украину и вывозят хлеб и масло, отнимая у нас последний кусок... Англичане хозяйничают на севере и тянут под шумок оттуда лес, а Россия, бедная Россия, она, как тот деревянный турка с кожаной головой, должна сносить удары и врагов, и союзников».

Но с кем-то Краснову все равно надо же было идти. С кем? С командующим Добровольческой армией Деникиным? Да, он первый союзник в борьбе с большевиками. Но с ним у Краснова столько расхождений — и принципиальных, и таких, что основаны на взаимных попреках: «чрезмерно самолюбивый Деникин», «чрезмерно самолюбивый Краснов». «Генерал Деникин, — пишет атаман, — заговорил о едином командовании и о том, что желательно поступление донских частей в Добровольческую армию». Это вполне возможно, соглашается Краснов, но при условии: если есть единый фронт. А где он, этот фронт? Бои идут всюду, едва ли не в каждом населенном пункте. В мае, когда Краснов стал атаманом, из двухсот пятидесяти двух донских станиц только в десяти власть была не у большевиков. Кто их будет выдворять?

Краснов, все-таки вовлеченный в политические схватки, вынужден прибегать к лицедейству. Вот он в первые же дни атаманства решается на переписку с императором Вильгельмом, несомненным врагом России, а значит, и его, Краснова. Но атаман терпеливо, настойчиво и небезуспешно добивается теперь у оккупантов того, чтобы они не хозяйничали на земле казаков, чтобы «Войско Донское было признано впредь до освобождения России от большевиков самостоятельною республикою». Историки теперь поясняют, что Краснов заразился тем же сепаратизмом, которым в 1918 году были охвачены многие российские территории, в том числе Польша, Финляндия, Бессарабия, вскоре вышедшие из состава России. Время покажет, что атаманские мечтания об учреждении отдельных государств, объединенных в Доно-Кавказский Союз, на территориях с преимущественно русским населением были его политическим заблуждением, которое нисколько не оправдывается, а только объясняется тем, что цели атаман добивался сиюминутной и понятной — «родной Дон он стремился спасти» от разграбления и кровавых междоусобиц.

Да, Краснов заигрывает с германцами, для него безусловно врагами («немцы – наши враги... это не забывается. Они нам не союзники»), только бы они не перестали поставлять ему оружие, которым, кстати, не брезгует и германофоб Деникин, хотя знает, что оно от немцев. У императора Вильгельма, читаем в мемуарах, атаман добивался мира и передышки (как и большевики в это же время в Бресте), а также «просил машин, фабрик, чтобы опять-таки как можно скорее освободиться от опеки иностранцев... Это была ориентация Русская — так понятная простому народу и так непонятная русской интеллигенции, которая привыкла кланяться какому-нибудь иностранному кумиру и никак не могла понять, что единый кумир, которому стоит кланяться, — это Родина».

Устав отвечать на безосновательные обвинения недругов в германофильстве и на то, что «ему ставят в пример голубиную чистоту Добровольческой армии», Краснов на одной из сессий Круга взорвался насмешливой тирадой: «Да, да, господа! Добровольческая армия чиста и непогрешима. Но ведь это я, донской Атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии! Весь позор этого дела лежит на мне!» «Буря аплодисментов покрыла слова Атамана, — вспоминает Краснов. — Нападки за “германскую ориентацию” прекратились» (правда, ненадолго, как покажут дальнейшие события).

С осуждением красновцы наблюдали, как в деникинской Добровольческой армии — преимущественно офицерской по составу — утверждалась дисциплина упрощенная, зато внешне эффектная. «Часто офицерски распущенная», — уточняет Краснов. И тут же приводит цитату из книги А.А.Суворина «Поход Корнилова», в которой известный публицист дал оценку Добровольческой армии Деникина той поры: «Доблести много, дисциплины мало!» Здесь тоже видится ответ на вопрос, почему Краснов после тяжких размышлений пошел своим путем, не соединил свои шестидесятитысячные казачьи войска с двенадцатитысячным добровольческим отрядом, жившим к тому же на содержании у донцов, которые снабжали деникинцев не только оружием, но и войсковым довольствием.

И еще в одном Краснов обвинял Деникина: «В Добровольческую армию вместе с идейными юношами шли шкурники, и эти шкурники прочно оседали в тылу и теперь наводнили Ростов и Новочеркасск. И вот начались те тяжелые отношения между Доном и Добровольческой армией, которые бросались в глаза человеку вдумчивому. Сами армии были дружны вечной дружбой, спаянной вместе пролитой кровью, но тылы ссорились, и генерал Деникин и его окружающие, которые жили в тылу тыловой жизнью, поддались этому тыловому, враждебному Дону, настроению».

В противоборстве с Красновым Деникин предпринимает ряд мер, из которых далеко не все можно считать оправданными, способствовавшими успеху общего дела. Например, назначает начальником отдела пропаганды своего штаба Н.Е.Парамонова, владельца ростовского издательства «Донская речь», того самого, что еще со времен событий 1905—1907 годов выпускал марксистскую и эсеровскую подрывную литературу. Разве не знал Деникин, что Парамонов — давний недоброжелатель Краснова? А может, назначение было намеренным, чтобы немедля развернуть широкую печатную и устную агиткампанию против атамана-самостийщика? И — травля началась.

Петр Николаевич, расстроенный и возмущенный, вскоре не выдерживает — пишет 8 января 1919 года А.М.Драгомирову, копию письма-протеста отправляет Деникину, которому решительно заявляет: «Если командование Добровольческой армии желает непременно устранить меня с моего тяжелого поста, не проще ли и не честнее ли прямо мне сказать, чтобы я ушел, нежели валить меня путем пропаганды, потому что этим путем вы и меня свалите, но и Дон не устоит. Выгодно ли это для России, да и для Добровольческой армии? Я не тянусь к власти. Более того, она меня тяготит, я ее ненавижу. Когда соберется Круг, я поставлю вопрос ребром о моем увольнении и сошлюсь и на желание та-

кого удаления меня и Добровольческой армией, для которой я слишком непослушный сын».

Дальнейшие события подробно рассказаны в последней главе «Всевеликого Войска Донского». Завершились они постановлением Войскового Круга, принятым после двухдневных острых дебатов в полночь 2 февраля 1919 года: «В силу того, что Донской Атаман генерал от кавалерии П.Н.Краснов после выраженного Войсковым Кругом недоверия командующему Донской армией генерал-лейтенанту С.В.Денисову заявил, что выражение этого недоверия простирается и на него, Донского Атамана, как Верховного руководителя армии, и потому он отказывается от должности Донского Атамана и просит Круг озаботиться выбором ему преемника, Войсковой Круг постановил: отставку Донского Атамана П.Н.Краснова принять».

Платон Николаевич Краснов, «железнодорожник в генеральском чине», узнав об отставке брата, прислал за ним и его женой специальный вагон. Новочеркасское казачество устроило своему атаману торжественные проводы. Еще более парадно, с почетным караулом лейб-гвардейцев его родного Атаманского полка встречали Петра Николаевича в Ростове. Дон с сожалением прощался со своим вождем, прощался, как оказалось, навсегда. Генерал И.Н.Оприц, написавший историю полка атаманцев, пишет, что в тот день Краснов не удержался от прощальных взволнованных слов.

«Я глубоко тронут вашим вниманием ко мне, дорогие лейб-казаки, — сказал он. — Я уже больше не атаман вам, не имею права на почетный караул. Я смотрю на ваш приход сюда со святым штандартом как на высокую честь и внимание. Вы мне дороги, ибо я связан с вами долгими узами, и узами кровными: мои предки служили в ваших рядах, в течение двадцати лет моей службы в лейб-гвардии Атаманском полку я был в рядах одной бригады и сколько раз я стоял со своим Атаманским штандартом подле вашего штандарта... Служите же Всевеликому Войску Донскому и России, как служили всегда ваши отцы и деды, как подобает служить первому полку Донского войска, доблестным лейб-гвардии казакам».

После отъезда Краснова на Дону — по мере того как власть вновь переходила к Советам — ширились кровавые репрессии. Возглавлявшийся Я.М.Свердловым ВЦИК принял к исполнению палаческий циркуляр ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года «Об истреблении казачества», остававшийся секретным до наших дней. В директиве предлагалось: «Провести массовый террор против казаков, истребив их поголовно. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты; это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно про-

водить настоящие указания» (цит. по изд.: *Смирнов А.* Атаман Краснов: Биография. М.; СПб., 2003. С. 170—171).

В ту весну только на Дону поспешно, без суда и следствия, расстреляли более восьми тысяч казаков. Террор здесь возглавлялся А.Г.Белобородовым, тем самым, что за полгода до этого руководил расправой над Николаем II и его семьей. Истребить казаков поголовно не удалось — тогда началось так называемое «расказачивание»: запреты на культурно-исторические обычаи и традиции, ломка веками устоявшегося уклада казачьего быта, лишение земельных наделов и т.д. Скорбным итогом Гражданской войны стало то, что к 1 января 1921 года Дон лишился каждого третьего жителя.

Так случилось, что, отбыв из Ростова в Батуми на короткий срок, супруги Красновы задержались на приморской даче старого сослуживца И.И.Дукмасова до середины лета: здесь не обошла их эпидемия черной оспы. В июле едва оправившемуся от болезни генералу было уготовано еще одно «расставание». На сей раз унизительное по форме уведомление за подписью Деникина: отбыть в Ревель (с глаз долой, куда подальше от донцов) в распоряжение Н.Н.Юденича, командующего Северо-Западной добровольческой армией. Опального, несговорчивого атамана, да еще с клеймом германофила, здесь зачислили... в резерв.

В сентябре 1919 года Юденич поручил Краснову заняться налаживанием пропагандистской работы в армии. И первое, что Краснов сделал, — организовал издание военно-осведомительной, литературной и политической газеты «Приневский край». Редактором ее согласился стать хорошо знакомый Петру Николаевичу по книгам штабс-капитан Александр Иванович Куприн.

Первый номер купринско-красновской газеты вышел 19 октября 1919 года в Гатчине, где всего два года назад Керенский затевал свой поход с Красновым на революционный Петроград. На страницах «Приневского края», помимо самого Куприна и Краснова (под своим старым псевдонимом «Гр. А.Д.»), печатались также критик и публицист М.П.Миклашевский-Неведомский, поэт и прозаик А.А.Коринфский (соученик Ленина по Симбирской гимназии, автор воспоминаний о вожде большевиков), Б.В.Савинков (бывший террорист, а затем товарищ министра во Временном правительстве) и др.

Но недолго длилась деятельность Краснова в рядах добровольцев: осенне-зимнее наступление Юденича потерпело крах. 22 января 1920 года главнокомандующий приказом известил о том, что его Северо-Западная армия ликвидируется — ее части интернируются в Эстонию. И 20 марта супруги Красновы в экспрессе Ревель—Берлин покинули Россию.

С этого времени мы встречаем имя Краснова не менее чем в полутора десятках эмигрантских организаций и движений. В большинстве из них он, однако, только «свадебный генерал», так сказать идейное знамя борьбы. Как, впрочем, и другие генералы — Деникин, Врангель, Юденич... Нет, вовсе не умиротворились недавние вожди Белого движения. Их именами (конечно же, почетно) открывались списки всевозможных антисоветских политических союзов, обществ, партий, братств, армейских формирований (более пятисот их было в десятках стран). Как и многие из бывших генералов и адмиралов (а их в изгнании оказалось более восьмисот), они активно занимались многотрудными хлопотами по заграничному бытоустройству русского воинства, формированием армейских частей. Но основное время уходило у них на участие в разработках программ и планов сокрушения большевизма да еще на бесконечные словопрения о том, какой быть грядущей России — монархической? республиканской? конституционной? демократической? социалистической?

Краснов, хотел он того или нет, то и дело вовлекался в эти дебаты: ему и в эмиграции роль отводилась немалая. В архивных материалах тех лет много достоверных тому свидетельств. «Краснов — один из немногих начальников, на имени которого сходились надежды и чаяния всех. Громаднейшая популярность во всех слоях Д<обровольческой> А<рмии> и казаков», — утверждал на допросе в ВЧК 10 ноября 1921 года генерал А.С.Мильковский (Русская военная эмиграция 20-х — 40-х годов. Документы и материалы. М.: Гея, 1998. Т. 1. Кн. 2. С. 97).

Имя Краснова фигурирует также в документах о планируемых интервенциях в Россию. В «Сводке Иностранного отдела ВЧК» от 10 февраля 1922 года читаем: «Подготовляется десант на Одессу и на кавказском берегу под командованием генерала Краснова, который скоро приедет в Болгарию и возьмет на себя руководство всей кампанией вместо генералов Врангеля и Кутепова» (Там же. С. 585). В апрельской «Сводке Иностранного отдела ГПУ» Краснов значится походным атаманом казаков в высшем командном составе Русской армии, готовящейся к вторжению в Советскую Россию (Там же. С. 613).

Но в стане эмигрантов сохранялись и непримиримые разногласия. Например, большинством отвергалась монархистская идеология, проповедуемая Красновым. Так, в секретном докладе сотрудника Иностранного отдела ГПУ «О настроениях, планах, группировках, союзах и руководителях казачества в Болгарии, их отношении к репатриации, возможных действиях Советской власти по разложению казаков» говорится: «Надо отметить несомненную популярность Краснова у казаков, но путь монархический, на который Краснов поступил, считается неправильным и вызывает у многих сожаление, т.к. все же большинство

казаков считает, что единственно кто мог бы быть их вождем, — это Краснов» (Там же).

В Мюнхене донской экс-атаман являлся членом Русского монархического союза, в Берлине — Высшего монархического совета, в Париже — Верховного монархического совета, причем был в них фигурой далеко не последней. Кроме того, он стал одним из организаторов международного «Братства Русской Правды» (1921—1933), сотрудником журнала «Русская правда», активно ратовавших за монархические идеалы.

В первые эмигрантские годы Краснов еще мечется по Европе в поисках единомышленников, выступает с воззваниями и призывами, надеется на то, что апатридам удастся осуществить победное возвращение в Россию. Его непоседливая натура воина жаждет серьезного дела, подвига. В попытках понять, что же произошло с Россией, Краснов пишет статью за статьей (попутно заметим: их число к 1921 году превысило тысячу названий). При немалой загруженности эмигрантской суетой-тщетой Краснов находил время и для писательской деятельности: ему удавалось работать одновременно и над статьями, и над мемуарными книгами, и над четырехтомной эпопеей «От двуглавого орла к красному знамени» (1921—1922).

В эмиграции Краснов живет то в Германии (под Мюнхеном), то во Франции (в замке Сесен, деревне Сантени, Даммари-ле-Ли), то снова в Германии (на вилле в Далевице под Берлином). Здесь, в изгнании, наверное, впервые за всю жизнь дано ему было почувствовать, что такое избыток свободного, ничем не заполненного времени. Краснов вспоминал: «Я мечтал пятидесяти лет (после пятидесяти — какой же может быть кавалерист!..) выйти в отставку и стать ни больше ни меньше, как русским Майн Ридом!» Как раз после пятидесяти и осуществилось давно мечтаемое: погрузиться, без оглядки на службу и обязанности, в творческую работу.

В эти годы «русский Майн Рид» написал свои лучшие произведения. Они составили, по авторскому определению, «историко-бытовой цикл», тематически продолжив его эпопею «От двуглавого орла к красному знамени» — «Опавшие листья» (1923), «Понять — простить» (1923), «Единая-неделимая» (1925). «Все четыре романа, — представляет он читателям свой осуществленный замысел, — совершенно самостоятельны, и в то же время все четыре есть единое. Их связывает в главных очертаниях единство времени — последняя историческая эпоха Императорской России, война и смута, единство места — С.-Петербург и Юг России, и единство быта — русский военный и мирный быт». Здесь добавим: к этому циклу автор позже присоединил трилогию об императорской лейб-гвардии — «Largo» (1930), «Выпашь» (1931), «Подвиг» (1932) — и еще несколько книг.

От современности писатель то и дело уходил в далекое и близкое прошлое. Им были созданы исторические хроники «С Ермаком на Сибирь» (1929), «Цесаревна» (1933), «Екатерина Великая» (1935), «Цареубийцы» (1938).

Не место в нашем предисловии говорить подробно о Краснове-прозаике: его творчество, несомненно, заслуживает отдельного литературно-критического рассмотрения. Историки литературы долгие годы числили его в скромных рядах беллетристов. И только тогда изумились, когда стали его читать так же серьезно, как это сделал однажды Иван Алексеевич Бунин. Писательское самолюбие Краснова немало было бы утешено, узнай он, что знакомство с его творчеством явилось для Бунина поздним открытием интересного литературного имени. «...Читаю роман Краснова “С нами Бог”, — записал Бунин в дневнике 28 августа 1940 года. — Не ожидал, что он так способен, так много знает и так занятен».

Таким же открытием, но на двадцать лет раньше, стали книги генерала и для А.И.Куприна. Прочитав «с самым живым интересом» первый том красновской эпопеи «От двуглавого орла к красному знамени» («выйдет размером мало-мало меньше “Войны и мира”»), Александр Иванович в 1921 году написал: «У П.Н.Краснова есть о чем сказать. Видел и испытал он за эти времена так много страшного и величественного, уродливого и прекрасного, что хватило бы на десяток средних, заурядных жизней. И надо признать, судя по первому тому, что все, близко знакомое автору, лично им наблюденное и пережитое, он умеет передавать ярко и выпукло, с настоящим мастерством, с особенно широким подъемом в массовых сценах, с благородным пафосом» (Общее дело. Париж. 1921. 9 мая).

До начала Второй мировой войны многотомник не раз публиковался в Германии, Франции, США, его перевели и издали на двенадцати языках Европы, Америки и Азии. Общий тираж книги превысил два миллиона экземпляров.

Сведения о том, какой политической деятельностью занимался Краснов в период с июня 1941-го по июнь 1943 года, в германских архивах не отысканы. Да, скорее всего, их там и нет, а значит, и деятельности этой тоже не было. Ни слова об этом не говорится даже в двенадцатитомном следственном деле Краснова, составленном в НКГБ в 1945—1946 годах. Генерал и писатель с апреля 1936 года жил на вилле в Далевице, занимался подготовкой к изданию своих книг и сотрудничал в журналах и газетах (особенно в берлинском еженедельнике «Новое слово» и «Парижском вестнике»).

Немцы вспомнили об атамане только тогда, когда дела их стали плохи и потребовался красновский былой авторитет для того, чтобы не разувери-

лось в них казачество, находившееся в частях вермахта. Это были в основном тыловые отряды, обеспечивавшие безопасность на оккупированных территориях: на фронт казаков, не доверяя им, немцы направлять боялись. О Краснове вспомнили неспроста: судя по его бесчисленным публикациям в прессе, он оставался вдохновителем и вождем той части эмиграции («непримиримой»), которая вслед за атаманом повторяла: «Хоть с чертом, но против большевиков!» Вождем же антикрасновцев («умеренных») в эмиграции, как и в Гражданскую войну, был А.И.Деникин. Генерал решительно отверг предложение Гитлера переехать в Берлин, хотя и заявил при этом, что, «пока продолжается кровавая диктатура НКВД», он остается антибольшевиком, однако считает, что «всякое сношение с иностранцами на предмет борьбы против большевиков есть измена Родине» (доклад «Мировые события и русский вопрос». Париж, 1938).

С 18 июня 1943 года незваные гости зачастили с визитами на красновскую виллу. Главноуговаривающими выступили генерал-майор Гельмут фон Панвиц, командир 1-й казачьей кавалерийской дивизии, и Н.А.Химпель, возглавлявший кавказский отдел в восточном министерстве рейха. Начали издалека: попросили прочесть высшим офицерам СД лекцию об истории российского казачества. Затем предложили написать воззвание к казакам (оно было тотчас размножено и листовками разбросано на Восточном фронте). А в июле Краснова убедили принять пост начальника управления по делам казаков в восточном министерстве.

«Деятельность» его началась с поездки в 1-ю казачью дивизию, почетным шефом которой ему предложили стать. Встреча была организована почти как встарь: с оркестром, рапортами, церемониальным прохождением войск, торжественным банкетом. Вместе с фон Панвицем принимая присягу казаков на верность России и... Гитлеру, престарелый атаман умилился и прослезился, снова поверил, как в 1918 и 1919 годах: немцы помогут возродиться Всевеликому Войску Донскому, избавят Россию от большевиков. «Краснов, — пишет историк, — неизбежно “наступал на грабли” времен Гражданской войны: Донское войско не могло быть вне России — он, споря с этой истиной, уже проиграл в 1919 году. Но теперь, взяв в союзники фашистскую Германию, пытался опровергнуть ее снова» (*Смирнов А.* Атаман Краснов. С. 274).

Вернувшись в Берлин, атаман, обласканный казаками и германцами, возбужденный и полный энергии, взялся за налаживание широкой агитации и пропаганды — как раз того, чего требовали от него прежде всего, а также за объединение всех казачьих частей. «Казачьему государству» фашисты временно выделили земли не донские, не кубанские и не терские — оттуда их уже изгнали, а, по соглашению с Муссолини, итальянские вокруг альпийского городка Алессо, пере-

именованного казаками в еще один Новочеркасск. Здесь разместились два десятка донских, кубанских и терских станиц. В «своей» новой столице казаки открыли школы, юнкерское училище, театр. Походный атаман Т.И.Доманов готов был в любой момент выполнить приказ Краснова: поднять по тревоге двенадцать тысяч строевиков и еще столько же отмобилизовать.

Но генералу Краснову (опять «свадебному») и его сподвижникам не пришлось этого делать. Им уже недолго оставалось пребывать в мечтательном заблуждении и несбыточных надеждах: война, вошедшая в историю нашего государства как Великая Отечественная, стремительно приближалась к своему концу. И вот финал: 7 мая 1945 года Краснов вместе с тремя племянниками сдался английскому командованию в Австрии. Жена его, Лидия Федоровна, осталась за пограничным шлагбаумом, и судьба ее неизвестна.

Ныне мало кто знает, что российское казачество, рассеянное войнами по городам и весям всего бела света, ежегодно отмечает 1 июня как день поминовения, день примирения «белых» и «красных» казаков, ставших жертвами политических междоусобиц и войн. В 1945 году в этот день произошло событие, описываемое историками под названием «Трагедия Лиенца».

В конце Второй мировой войны на территории, оккупированной англичанами и американцами, скопились миллионы россиян — военнопленных, репатриантов, эмигрантов с зарубежными паспортами. Газета «Правда» 7 сентября 1945 года писала: «Общее количество репатриированных до 1 сентября советских граждан достигает 5 115 709 человек, в том числе 1 835 910 человек передано непосредственно через линию соприкосновения советских войск с армиями союзников». Среди последних оказались казаки и казачьи офицеры, которые никогда не были советскими гражданами: в 1918—1920 годах они сражались против большевиков рука об руку с их нынешними союзниками. Англичане намеревались сперва оставить пленников у себя (дескать, когда-нибудь пригодятся), но затем, как расценили это казаки, поступили предательски: по настоянию советской стороны, на основании решения Ялтинской конференции 1945 года, пленников передали СМЕРШу 3-го Украинского фронта.

К концу войны из Казачьего Стана, разместившегося в Северной Италии, союзники вывезли в окрестности австрийского городка Лиенц десять полков казаков и юнкеров училищ вместе с обозами, лошадьми, вооружением и семьями. Это были в основном уроженцы донских, кубанских и терско-ставропольских станиц, общим числом 38 тысяч. Из них к 28 мая 1945 года отобрали «первоочередников» для

передачи чекистам — 2600 офицеров во главе с генералом Красновым — и увезли эшелоном в Юденбург. Здесь на мосту через реку Мур и начался последний «поход» разоруженных то ли прислужников, то ли союзников фашистов.

Краснов, как и все его сподвижники-подельники, судя по допросным документам, признал свою вину полностью. Коллегия военного суда под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха 16 января 1947 года предоставила генералу последнее слово. Вот что он сказал (если, конечно, поверить явно не в красновском стиле изложенной записи в следственном деле «Белогвардейцы — казачьи генералы» № Н-18 768):

«Два месяца назад, 7 ноября 1946 года, я был выведен на прогулку. Это было вечером. Я впервые увидел небо Москвы, небо моей родины, я увидел освещенные улицы, массу автомобилей, свет прожекторов, с улиц доносился шум...

Это мой русский народ праздновал свой праздник. В эти часы я пережил очень много, и прежде всего я вспомнил про все то, что я сделал против русского народа. Я понял совершенно отчетливо одно — что русский народ, ведомый железной, стальной волей его вождя, имеет такие достижения, о которых едва ли кто мог мечтать... Тут только я понял, что мне нет и не будет места в этом общем празднике... Я осужден русским народом... Но я бесконечно люблю Россию... Мне нет возврата. Я осужден за измену России, за то, что я вместе с ее врагами бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа... За мои дела никакое наказание не страшно, оно заслуженно... Я уже старик, мне недолго осталось жить, и я хорошо понимаю, что не могу жить среди русского народа: прожить скрытно нельзя, а показываться народу я не имею права... Я высказал все, что сделал за тридцать лет борьбы против Советов... Я вложил в эту борьбу и мои знания, и мою энергию, все мои лучшие годы и отлично понимаю, что мне нет места среди людей, и я не нахожу себе оправдания» (цит. по изд.: *Смирнов А.* Атаман Краснов. С. 338—339).

А далее Краснов понимающе (неужто и впрямь раскаиваясь? вряд ли!) выслушал приговор, суровый и беспощадный (иного никто и не ждал, в том числе он сам):

«Военная коллегия Верховного Суда СССР рассмотрела дело по обвинению арестованных агентов германской разведки, главарей вооруженных белогвардейских частей в период Гражданской войны атамана Краснова П.Н., генерал-лейтенанта Белой армии Шкуро А.Г., командира Дикой дивизии — генерал-лейтенанта Белой армии князя Султана Килыч-Гирея, генерал-майора Белой армии Доманова Т.И., а также генерала германской армии эсэсовца фон Панвица Гельмута в том, что по за-

данию германской разведки они в период Отечественной войны вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР.

Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.

В соответствии с п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых Краснова П.Н., Шкуро А.Г., Султана Килыч-Гирея, Краснова С.Н., Доманова Т.И. и фон Панвица к смертной казни через повешение.

Приговор приведен в исполнение» («Правда», «Известия» от 17 января 1947 г.).

В качестве эпилога приведем воспоминание внучатого племянника генерала, югославского лейтенанта Н.Н.Краснова (1918—1959) о последней его встрече с дедом в июне 1946 года. Долго беседовать узникам довелось в тюремной бане. Атаман взволнованно напутствовал внука, которому после десяти лет лагерей посчастливилось выжить и уехать в эмиграцию, где он, выполняя просьбу деда, написал книгу воспоминаний «Незабываемое» (Нью-Йорк, 1957).

«Что бы ни случилось, — завещал внуку Краснов, — не смей возненавидеть Россию. Не она, не русский народ — виновники всеобщих страданий. Не в нем, не в народе лежит причина всех несчастий. Измена была. Крамола была. Недостаточно любили свою родину те, кто первыми должны были ее любить и защищать. Сверху все это началось... От тех, кто стоял между престолом и ширью народной...

...Россия была и будет. Может быть, не та, не в боярском наряде, а в сермяге и лаптях, но она не умрет. Можно уничтожить миллионы людей, но им на смену народятся новые. Народ не вымрет. Все переменится, когда придут сроки. Не вечно же будут жить Сталин и сталины. Умрут они, и настанут многие перемены».

Лишь одного не мог провидеть белый генерал: того, что власть большевиков рухнет, что в новой России, несмотря на его вины перед российским народом, будут издавать его сочинения, что и о нем самом напишут монографии и сотни статей. В нашем издании представлены шесть из девяти его мемуарно-публицистических книг. Читая их, сегодня многие впервые откроют для себя незаурядную личность Петра Николаевича Краснова – не только свидетеля и пристрастного летописца, но и одного из самых активных деятелей эпохи кровавых смут и потрясений в истории нашего государства.

Т.Прокопов

Павлоны

1-е ВОЕННОЕ ПАВЛОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД

(ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Дух Павловского училища

В настоящем, 1938 году исполняется 75 лет со дня основания Павловского военного училища.

В императорской России было много военных училищ, как общих, так и специальных — кавалерийских, артиллерийских и инженерных. В них поступали юноши, преимущественно окончившие курс кадетских корпусов. Поступала молодежь одного образования, одного воспитания, в значительной степени вышедшая из той же военной среды, — казалось бы, и училища должны быть одинаковыми... На деле — каждое имело свой характер, свои особенности — свою душу. И если понятно, что специальные училища могли отличаться от училищ общих — пехотных, то уже совсем непонятно, почему 1-е Павловское, 2-е Константиновское и 3-е Александровское училища так различались друг от друга.

Каждое имело свою душу, и — одинаковые по своим программам, быту, офицерскому и преподавательскому составу — они были разными. Я это чувствовал тогда, когда сам был юнкером, но особенно почувствовал, когда, приводя в порядок свои воспоминания о Павловском военном училище, перечитал «Юнкеров» А.И.Куприна. Мы были юнкерами в одно и то же время: я в 1-м военном Павловском училище, А.И.Куприн в 3-м военном Александровском — все у нас было так, как описано у Куприна, — так — да не так, а временами и совсем не так. Другой дух был у Павловского училища. Над одним училищем реял дух сурового Императора Павла I, над другим — благожелательного, добролюбивого, «либерального» Александра I. Конечно, сказывалось: Петербург — холодный, замкнутый, строгий, военный, и Москва — широкая, гостеприимная, радушная, приветливая — интеллигентно-купеческая. Не походили мы и на своих однополчан «Констаперов» — юнкеров 2-го военного Константиновского училища. Там царил дух Дворянского полка, более вольный, чем у нас, где была суровая замкнутость Императорского военно-си-

ротского дома, основанного в 1789 году Императором Павлом I, переименованного при Императоре Николае I, в 1829 году, в Павловский кадетский корпус и в 1863 году — в Павловское военное училище.

Сказалось, несомненно, на духе училища влияние первых его начальников и батальонных командиров. Суровый, строгий, сухой, человек долга генерал-майор Петр Семенович Ванновский в течение первых пяти лет существования училища был его начальником, а полковник лейб-гвардии Финляндского полка Н.К.Теннер — его батальонным командиром. На протяжении 14 лет батальонными командирами были финляндцы: А.Ф.Тизенгаузен (1864—1872), С.В.Рыкачев (1872—1877). Эти первые начальники училища — Ванновский, Пригоровский и Акимов и первые батальонные командиры привили училищу тот строгий, «спартанский» дух скромности, сурового исполнения долга, простоты и гордости своею солдатскою долею... Со стороны нас называли «дисциплинарным батальоном». Мы этим гордились. Дисциплина была твердая и суровая. Она перемалывала человека, сгибала, но не ломала.

4 апреля 1866 года на Государя Императора Александра II было совершено покушение. Юнкера Павловского училища ответили на известие об этом выражением верноподданнических чувств и сбором денег на икону в память избавления Государя от грозившей ему опасности.

6 апреля Государь производил смотр войскам на Марсовом поле. По окончании смотра Государь подозвал к себе начальника училища генерал-майора Ванновского и приказал ему благодарить юнкеров за выраженные ими чувства.

— Скажи своей молодежи, — сказал Император, — что я ее очень благодарю за преданность и вполне верю ей и убежден, что если бы довелось, то они и на деле докажут мне ее.

Они доказали.

Когда в 1877 году начались военные действия против Турции, все юнкера мечтали взять вакансии в полки действующей армии. 32 бывших юнкера училища смертью на поле сражения с турками доказали свою преданность Государю.

Император Александр III назвал 1-е военное Павловское училище «главным рассадником верных и честных слуг Вере, Царю и Родине».

23 декабря 1898 года училище справляло столетний юбилей своего существования как военно-учебного заведения (воен-

но-сиротский дом — 1798, Павловский кадетский корпус — 1829). На торжественном параде и освящении нового знамени в Михайловском манеже Государь Император Николай II сказал юнкерам:

— Я уверен, что под сенью вновь пожалованного знамени как наличный, так и будущий состав Павловского училища верно и честно будут следовать долгу службы на славу дорогой армии и обожаемого Отечества.

16 марта 1911 года Государь Император Николай II при посещении училища вспомнил о службе юнкеров в карауле Зимнего дворца и обратился к юнкерам со следующими словами:

— Юнкера! На днях санкт-петербургский комендант доложил мне, что все три раза, когда училище занимало караул в Зимнем дворце, юнкера, входившие в состав караула, стояли на постах бодро и службу несли молодцами. Сегодня я счастлив лично выразить вам за вашу службу мое сердечное спасибо. Надеюсь, что и впредь вы сохраните эту бодрость при несении службы и будете всегда такими же молодцами, какими представились мне сегодня*.

Юнкера сохранили эту бодрость... Они доблестно сражались в Великую войну. В дни смуты они долго держались, охраняя порядок... Их избивали большевики подле стен училища на Большой Спасской улице и на дворе Петропавловской крепости. Их ловили, когда они пробирались на юг в Добровольческую армию, и расстреливали на железнодорожных путях и на станционных дворах. Они доблестно сражались и умирали в рядах «белых» армий. Сколько их?.. Кто знает их имена? Кто определит и скажет это? Их имена и подвиги записаны у Господа. Их число прибавлено к той страшной кровавой жертве, которую принес и теперь приносит русский народ во имя спасения Родины.

Таково было то училище, в рядах которого, пятьдесят лет тому назад, я начал свою действительную военную службу юнкером рядового звания.

---

* *Капитан Колчинский.* Памятка Павловского военного училища. СПб., 1913. (Здесь и далее авторские примечания обозначены звездочкой, примечания редактора — цифрами. — *Ред.).*

Почему мы, лучшие ученики Александровского кадетского корпуса, пошли в Павловское училище?

30 августа 1887 года мы, выпускные кадеты Александровского кадетского корпуса, были собраны к 12 часам дня в нижнем — портретном зале для отправления по училищам. Большинство нас — и, что редко бывает, вся головка класса — «первые ученики», обычно шедшие в специальные училища — Артиллерийское и Инженерное, — кадеты с высокими баллами по математике, — шли в 1-е военное Павловское училище.

Сказалось влияние нашего командира строевой роты полковника лейб-гвардии Егерского полка Н.Ф.Кольдевина.

В те времена в ротах, эскадронах, батареях и сотнях Российской армии учебным пособием для обучения чтению, диктовок, для внеклассного чтения служила «Книга для чтения в ротах, эскадронах в командах», составленная «старым ротным командиром» и изданная В.А.Березовским. Это была военная хрестоматия. Ряд искусно подобранных очерков, отрывков, анекдотов, описаний, рассказов, повестей, стихотворений разных русских авторов, малых и великих, приспособленный для солдатского понимания.

Этот «старый ротный командир» и был наш ротный — Николай Федорович Кольдевин — «Кольдебаш», на кадетском жаргоне.

С Владимиром с мечами и бантом в петлице, с нервным тиком — последствие ранения — на загорелом, чернобородом лице, — он приходил к нам в класс в «пустые» часы, когда не было преподавателя, и рассказывал о доблести пехоты, о святости смерти за Родину, о величии подвига пехотного солдата. Он увлекал нас — не блеском, но скромностью подвига в пехотном бою.

Следствием его вдохновенных рассказов и было, что наш первый ученик — с полными двенадцатью по всем предметам — вице-фельдфебель Владимир Грендаль, третий по баллам Лихачев, Шенк, Кругликов, Соколов, Глазков и еще другие отказались идти в Артиллерийское и Инженерное училища и записались в Павловское училище — в «Дисциплинарный батальон»...

О себе я не говорю. Я был вторым, но моя дальнейшая карьера была предрешена. Я коренной донской казак, и моя служба должна была протекать в Донском войске — в его конных частях или батареях. Мой отец был офицером лейб-гвардии 6-й Донской казачьей Его Величества батареи, мой дед служил и был командиром лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, мой прадед служил в Вой-

ска Донского Атаманском полку, прапрадед, сотрудник Суворова, служил в Донских полках и был в походах в Турции, Польше и на Кавказе и был убит под Колоцким монастырем накануне Бородинского сражения. Из-за «льготы», против которой мой отец восставал, — он не хотел, чтобы я шел в полевые (армейские) полки или батареи, — значит, мне нужно было стремиться в Николаевское кавалерийское или в Михайловское артиллерийское училище, чтобы искать вакансию в гвардейских Донских казачьих частях.

Но... Наша семья была большая. Отец, кроме жалованья, не имел ничего — и дорогая служба с обязательным реверсом в 500 рублей, с собственным обмундированием и среди богатой молодежи в эскадроне Николаевского кавалерийского училища была не для меня. Казачьей сотни тогда при училище еще не было. Мне нужно было скорее кончать курс, чтобы «стать на свои ноги» и не обременять отца. Павловское училище влекло меня рассказами Кольдевина о пехотной службе. Отец благословил меня идти в пехотное училище, сказав:

— Служба в пехоте есть основание всякой воинской службы. Суровая репутация училища — лучшее, что может быть...

Я шел в училище со своими товарищами, с друзьями детства, с кем прожил счастливые годы кадетской жизни.

Нас собралось человек тридцать, обоих отделений седьмого класса. Не было с нами только тех, кто шел, по своему желанию, в гражданские учебные заведения.

Пришло наше начальство: воспитатель — штабс-капитан Сергей Васильевич Коноплев, ротный — Кольдевин, инспектор классов статский советник Захар Борисович Вулих. Раздались на лестнице так нам знакомые шаркающие шаги и покашливание директора генерал-лейтенанта Рудановского.

«Любезный друг» спускался к нам, чтобы проститься со своими питомцами.

Не знаю, что испытывали, прощаясь с нами, наши воспитатели. Не думаю, чтобы они очень скорбели. Новые шли на наше место. Корпусная машина работала непрерывно. Только Кольдевин что-то больше хмурился, чем обыкновенно, и его конопатое лицо с седеющей черною бородой чаще подергивалось нервным тиком.

Рудановский обошел наш готовый к походу строй.

Черные шинели надеты внакидку, застегнуты на крючок и на верхнюю пуговицу, фуражки, мундиры с белыми погонами и поясами — все старое, поношенное, донашивается — завтра уже этого не будет больше нужно. Завтра у нас будет все казенное. Мы станем юнкерами.

Директор подошел к хорошенькому, розовому, беловолосому финну Гренделю, стоявшему на правом фланге.

— Любезный друг, учись там, как учился здесь, на полные двенадцать! И ты, казак! Ведите себя примерно, помните, чье имя носит наш корпус. Всех желаю видеть на будущий год с нашивками — портупей-юнкерами.

Вулих укоризненно качал головою и говорил мне, Лихачеву и Гренделю:

— С такими баллами по математике, как у вас, — и в пехоту!..

Артиллеристов, константиновцев, инженеров и единственного из нашего выпуска кадета Слепушкина, шедшего в Николаевское училище, вызвали из строя и отпустили отдельно. Мы слышали, как загремели извозчичьи дрожки. Они поехали по своим училищам.

Нас рассчитали по два, вздвоили ряды, повернули направо и — «шагом марш»!

— С Богом! — сказал Рудановский.

— С Богом! — повторил Кольдевин и пошел за нами на парадный корпусный подъезд.

Вице-фельдфебель Грендель шел на правом фланге, Коноплев шел в стороне.

Кольдевин стоял под навесом подъезда в длинном сюртуке, без фуражки и пристально смотрел нам вслед. Мне показалось, что на глазах его блистали слезы.

«Прощай, корпус!.. Прощайте, детские — кадетские годы! Юность, здравствуй!»

Начальник училища генерал-лейтенант Степан Васильевич Рыкачев

В этот день, утром, в библиотеке маленький, тощий старичок с растрепанной седой бородой, в очках, в длиннополом штатском сюртуке выдавал юнкерам книги и учебные пособия.

«Тактика» Дуропа и атлас чертежей к ней, «Артиллерия» Кирпичева и атлас, «Фортификация» Кублицкого и атлас, «Топография», «Механика», «Химия» Барзиловского, «Законоведение» и пр. и пр. Гора книг в папковых переплетах, то свежих, то сильно потрепанных, маленькие книжечки воинских уставов, тетради, линейки, угольники, циркуля росли на руках у каждого, и мучила мысль — как одолеть всю эту премудрость?

В роте уже были вывешены расписания занятий отдельно классных и строевых. На завтра значилось: от 8 до 9 — тактика (ка-

питан Язвин), от 9 до 10 — тактика, от 10 до 11 — фортификация (генерал-майор Кублицкий-Пиоттух), от 11 до 12 — химия (полковник Хмоловский). Строевые занятия — от 1 до 2 — выправка. Одиночное обучение. От 2 до 3 — гимнастика. От 3 до 4 — уставы.

За обедом, едва только мы уселись за столами и принялись за суп с макаронами, застучали ложки и разговор то смолкал, то зажигался, как раздалась особенно громкая и торжественная команда дежурного по училищу офицера:

— Бат-тальон!.. Встать!.. Смир-р-рно!

Мы встали, повернувшись вдоль столов, лицом ко входу. В помещение в сопровождении батальонного командира вошел генерал-лейтенант Рыкачев.

Да, именно таким рисовало нам воображение героя Русско-турецкой войны, георгиевского кавалера, участника рукопашных боев. Очень высокий, худой, стройный, с висящими вниз серо-седыми бакенбардами, почти совершенно лысый, с круглым загорелым черепом — генерал Рыкачев был в гвардейском волынском сюртуке, в высоких сапогах, при шашке. Он быстрым острым взглядом окинул весь батальон — до самой «малины», стоявшей в глубине, у образа, и громко и весело крикнул:

— Здравствуйте, господа!

Ответ был дружен и весел.

— Садитесь!

Ничего никому не говоря, начальник училища обошел столы, внимательно вглядываясь в лица юнкеров, как бы желая их навсегда запомнить. Тот, на кого он смотрел, торопливо опускал в смущении поднесенную ко рту ложку.

Когда мы поодиночке выходили с обеда, начальник училища пропускал нас мимо себя в небольшой квадратной зале подле столовой, где было полевое орудие. Сзади него группой стояли ротные командиры, батальонный и дежурный по училищу. Каждый юнкер останавливался против Рыкачева и по всем правилам танцевального искусства кланялся ему, шаркая ногой и нагибая голову. Иногда Рыкачев кого-нибудь спросит:

— Ваша фамилия?

— Дворжицкий, ваше превосходительство.

— Сын генерала Дворжицкого? В Варшаве?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Ступайте.

Поворот направо. Сзади шипит батальонный:

— Отчетливей надо, юнкер Дворжицкий.

Четыреста человек проходили мимо начальника, и каждый, когда пройдет, чувствовал облегчение. Слава богу, ничего не спросил, ничего не заметил.

Через неделю нас приводили к присяге. Было воскресенье. Мы отстояли обедню в парадных, отпускных мундирах. Старший курс был с ружьями, составленными в козлы в коридоре, против церкви. По окончании обедни батальон был выведен на плац и построен в резервную колонну.

Был ясный, свежий сентябрьский день. На плацу было холодно, ярко и красиво под голубым небом с несущимися по нему, гонимыми морским ветром облаками. За плацем гудел городскими шумами Петербург.

Юнкерский хор стройно пел молебен.

С края плаца показалась конная фигура. На нарядном буланом жеребце, в полной парадной форме, в густых золотых эполетах, в ленте, при орденах, на плац выехал генерал Рыкачев в сопровождении конного штаб-горниста. Мы еще стояли «вольно» и могли полюбоваться на него. Он не торопился подъезжать к нашему строю.

Батальон взял «на караул», Рыкачев карьером подлетел к строю, круто осадил жеребца против середины строя и молодецки крикнул на весь плац:

— Здравствуйте, господа!

И как только мы ответили, Рыкачев сказал нам короткое слово. Недаром юнкера звали его «Рыкаловым» — он прорычал свою речь.

— Сейчас, господа юнкера младшего кура, вы будете приносить воинскую присягу... Забудьте корпус и ваши кадетские игры и шалости. Вы теперь на действительной военной службе. Вы — солдаты! Забудьте дом и семью. Ваш дом — ваш батальон, ваша семья — Родина и ее армия. Ваш отец — Государь Император! Ему служить! За Родину стоять до самой смерти!

Из всех блистающих, сверкающих на груди Рыкачева орденов и звезд мы видели только один правофланговый на колодке маленький белый крест — Георгиевский крест. Мы знали, как он был заслужен. Жуткая ноябрьская Плевна, зимний переход через Балканы, Филиппополь и Адрианополь видениями славы стояли за ним, наши сердца рвались от восторга, от страстного желания во всем подражать нашему начальнику училища и тоже заслужить такой крест.

— Бат-тальон на пле-е-чо!.. Бат-таль-он к но-о-о-ге! На молитву!

Священник вышел вперед:

— Господа, поднимите правые руки и повторяйте за мною слова присяги.

Перед батальоном вынесено знамя — это одно только белое древко с копьем и скобою Павловского кадетского корпуса. В голове от всего того, что происходит, сладкий дурман, и в нем звучит бормотание двухсот голосов, повторяющих слова старинной Петровской присяги. Когда присяга была окончена, батальон взял «на караул» и батальонный адъютант штабс-капитан Верцинский читал нам статьи военных законов. Ледяной ветер играл его длинной золотистой бородой; от напряжения первых минут присяги притупилось сознание и слова законов звучали глухо и непонятно.

В этот день мы были произведены приказом по училищу в юнкера унтер-офицерского звания и отпущены в отпуск.

Встреча Государя Императора по возвращении в столицу после крушения поезда в Борках

На второй месяц нашего пребывания в училище мы встречали Государя Императора и его семью, после чудесного избавления от смертельной опасности, грозившей им 17 октября при крушении поезда недалеко от станции Борки.

Государь прибывал в Петербург утром 19 октября. Для встречи Его Величества было приказано войскам гвардии и Петербургского гарнизона стать шпалерами от Николаевского вокзала до Зимнего дворца вдоль всего Невского проспекта. Войска выводились в шинелях, при башлыках, в парадной форме, без оружия. Кавалерия и артиллерия в пешем строю.

Был серенький октябрьский петербургский день. Легкий мороз, гололедка. В восемь часов утра, после завтрака с холодным мясом, наш батальон вывели на училищный плац. Приехал верхом генерал Рыкачев. Он сказал строго и внушительно:

— Прошу запомнить, господа, что вы не толпа, идущая смотреть на Государя, но Государев любимый батальон Павловского училища, выведенный Его Величесту на смотр. И потому, видно кому из вас Государя и Государыню или из задней ли шеренги или с фланга и ничего не видно — и думать не смейте вытягиваться, подниматься на носки или еще там какую глупость делать. Выправка и образцовая стойка!.. Не шелохнуться во время проезда царского кортежа и *не дышать!.. Не дышать!!* Замри!.. Забудь, что у тебя есть тело, помни лишь одно — ты в строю — и строй — святое место! А кого замечу, прошу извинить, — взыщусь по всей

строгости закона — вон из училища! Ибо это строй, да еще строй в присутствии самого Государя!

Мы прорепетировали ответ Государю и крик «ура», потом с музыкой пошли на место встречи.

Батальон был построен на Невском от Большой Морской до Адмиралтейской площади.

Как только стали, началось бесконечное выравнивание батальона. Как мы ни равнялись, нашему начальству все казалось, что кто-нибудь выдался, или осадил, или завалил плечо.

— Юнкер Глотов, осадите немного... Да много, много... Всего на полвершка осадите...

— Юнкер Байков, доверните левый носок...

— Взводный Махвиладзе, проверьте ранжир вашего взвода... Тут в середине надо переставить.

И по мере этих поправок, перестановок нарастало наше волнение. Усталость от стояния вытянувшись на месте забывалась.

Серый день разгуливался. Голубые просветы появились на небе, свежий ветер с Невы заиграл вывешенными на домах и поперек улицы трехцветными бело-сине-красными и бело-желто-черными флагами. Показалось бледное осеннее солнце.

За войсками густою черною толпою стоял народ. По Невскому шло обычное движение. По три, одна за другою проносились, позванивая звонками, конки, извозчики ехали по торцам одни к вокзалу, другие к Адмиралтейству, медленно подавалась стрелка башенных часов на адмиралтейской башне к одиннадцати.

Движение стало меньше. Вероятно, у вокзала перестали пускать на Невский. Стало тише, и чуткое ухо штабс-капитана Герцыка уловило далекий гул.

— Приехали, — сказал он.

Нас снова начали равнять.

На Казанском соборе ударили благовест. Невский опустел.

— Батальон!.. Смир-рр-но!

Ротный Никонов торопливо прошел вдоль фронта, тут-там оправил концы башлыков и, как-то зловеще косясь глазами, сказал:

— Не дышать! Смирно!.. Подберите животы и затаите дыхание!

Против нас, в толпе, стали снимать шапки. Благовест захватывал все большее и большее число церквей. Он гудел непрерывными торжественными густыми перезвонами. Справа от нас, еще далеко, послышались звуки народного гимна и крики «ура». Это «ура» приближалось к нам, все нарастая в силе звука.

Мы стояли так вытянувшись, так были захвачены всем тем, что надвигалось на нас с этими плавными торжественными звуками, что казалось, еще немного — и мы отделимся от земли и понесемся в небесную высь вместе с колокольным звоном.

— Бат-тальон, глаза напра-во! Господа офицеры!

Наш оркестр — «пески» — заиграл гимн.

К флангу батальона быстро приближалась коляска, запряженная парой крупных серых рысаков, с кучером в синем армяке с медалями на груди и рядом с ним камер-казаком в высоком старинном кивере со шлыком. За ними мы увидали лишь на одно незабываемое мгновение так знакомое нам по портретам и по кадетским встречам лицо Государя и рядом с ним Государыню. Государь поравнялся с серединой нашей роты. Он приложил руку в белой перчатке к козырьку низкой круглой белой барашковой шапки и громко, так что сквозь звуки гимна нам отчетливо было слышно, сказал:

— Здравствуйте, господа!

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество, — дружно ответили мы, и наше лихое юнкерское «ура» раздалось и понеслось вслед быстро удалявшейся коляске.

Кто ехал сзади Государя, ехал ли кто-нибудь — мы ничего не видали, кроме Государя.

— Царствуй на славу нам, — неслось от оркестра, и «ура» наше заглушало музыку гимна. Ничего и никого уже не было против нас. Экипажи скрылись за углом Главного штаба, стали видны голые ветви Александровского сада, звеня, тронулись задержанные там конки. Мы все кричали «ура»...

Начальник училища, провожавший вдоль фронта коляску, вернулся к нам и махнул рукою. Странною показалась после такого крика тишина и обычные уличные шумы. С говором задвигался народ, появились извозчики. Наш батальон вытянулся в колонну по отделениям. Барабанщики и флейтисты ударили «козу».

...Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота...

Раз!.. раз!.. — бьют наши сапоги по торцам площади.

— Смир-р-но!.. Равнение направо!

Батальон проходит мимо Александровской колонны и по уставу отдает честь памятнику. Впереди «пески» играют Преображенский марш.

Видит ли нас Государь Император? Мы чувствуем, что мы хорошо идем.

Впереди плещет темными графитовыми волнами Нева, снуют по ней пароходики, плывут тяжелые баржи, и черный дым буксира низко стелется над водой.

На душе радостно, празднично и легко.

По возвращении в училище мы были уволены в отпуск до одиннадцати часов вечера...

Крещенский парад

Недели за две до Рождества, в часы ружейных приемов, в роту пришли ротный, батальонный — полковник Щегловитов и училищный квартирмистр подполковник Гольдштаубе. Роте было приказано стать в одну шеренгу. Никонов вызвал из фронта юнкеров, которые собирались ехать на праздники в отпуск.

Батальонный с ротным пошли вдоль фронта оставшихся и стали выбирать юнкеров в караул на крещенский парад. Требовалось двадцать юнкеров, два младших портупей-юнкера, один старший и четыре юнкера запасных. Отбирали самых рослых, стройных, наилучше выправленных. С очками сейчас же были отставлены. Я попал в караул в переднюю шеренгу.

Гольдштаубе записал наши фамилии: нам будут «строить» специальные, парадные мундиры — «по мерке».

С этого дня нас начали тренировать для парада. Нас выстраивали в одну шеренгу, штабс-капитан Герцык — он и шел со взводом — командовал: «На плечо!» — и начинал обход взвода.

Он шел медленно, делая поправки:

— Разверните приклад... Возьмите его больше в плечо. Затаите дыхание...

Зайдет сбоку, посмотрит, как выравнены штыки, и снова идет, выправляя каждого, лепя из каждого как бы статую.

— Шай на кра-ул!

Вот тут-то и нужно было «не дышать». При самом легком дыхании штыки отвесно поставленных ружей могли шевелиться, и это разравнивало их прямую линию.

— Дышите незаметно. Не открывайте рта. Да подберите живот, у вас, батенька мой, штык качается. Ниже возьмите правую

руку и пальцы прямые. Держите винтовку в левой руке, правая только поддерживает ее.

Идут минуты, свиваются в десятки минут. В казарме полная тишина, чуть поскрипывают сапоги у Герцыка, когда он медленно идет вдоль нашего фронта.

— На плечо... К ноге... Оправиться, но не шевелиться. Незаметно расправьте ноги...

Целый час прошел в этом стоянии.

Когда начались каникулы, юнкера, назначенные в караул, должны были через день являться на два часа в училище, и там шло все то же — «на плечо» и «на караул» и стояние неподвижно, затаив дыхание. Готовился наш изумительный — «дворцовый» взвод.

4 января этот взвод ходил в Зимний дворец на общую репетицию крещенского парада.

6 января, по древнему, с петровских времен идущему обычаю, на Неве у Зимнего дворца, на особо сделанной Иордани, состоялось водосвятие, церковный парад в залах дворца и высочайший выход.

Взводы со знаменами Павловского военного училища и Морского кадетского корпуса, с оркестром этого корпуса стояли в фельдмаршальском зале.

Стройными рядами, не растягиваясь, поскрипывая новыми сапогами, распространяя вокруг себя свежий дегтярный русский солдатский запах, держа ружья «у ноги», мы вошли в девятом часу в зал и стали боком к окнам. Против нас стояли гардемарины Морского корпуса. Над ними высилась громадная картина Коцебу «Взятие Варшавской Воли» и подле нее портрет в натуральную величину, в рост, фельдмаршала Кутузова, с выбитым глазом, в белой фуражке, с жезлом в руке, в шинели внакидку.

Дворец гудел голосами и стуком солдатских шагов караулов, занимавших свои места в залах дворца.

Мы стояли «вольно», но не шевелясь и наблюдали необычную дворцовую жизнь. Прошли расшитые позументами, в странных шапках со страусовыми перьями скороходы с куреньем, проходили мимо офицеры, конвойные казаки, придворные лакеи.

«Дрючила» поглядывал на нас желтыми узкими глазами, кому подмигнет одобрительно, на кого сердито покосится. Мы чувствуем, что, несмотря на нашу скромную, бедную армейскую форму, наш взвод хорош. Даже — очень хорош. Это видно по тому, как осматривают нас проходящие мимо офицеры и генералы, как глядят на нас придворные дамы, что проходят в большой Николаевский зал и через него в церковь, в расшитых «русских» платьях с кокошниками в жемчугах, с очень открытыми грудью и шеей, то старые,

толстые седые, статс-дамы, то молодые фрейлины с завитыми волосами, красивые и обаятельные — они кажутся нам феями сказок. Генерал в густых эполетах, весь в орденах остановится против взвода, крякнет одобрительно и скажет Герцыку:

— Вы дали бы им «вольно».

— Ваше превосходительство, они у меня и так «вольно» стоят.

— А как же будет, когда станут «смирно»?

— Когда дышать совсем перестанут, вот тогда будет «смирно»...

— Ну-ну!..

Все меньше движения по залам дворца, все тише во дворце.

Вероятно, уже началась в дворцовой церкви литургия.

Училищный адъютант, высокий, длиннобородый, рыжеватый штабс-капитан Верцинский и наш знаменщик, хорошенький старший портупей-юнкер 3-й роты, «помпон» — оба в волнении. В чем будут выходить со знаменем на водосвятие на Неву, на Иордань, в мундирах или в шинелях? Их шинели лежат приготовленные сзади караула на красным бархатом обитой скамье. По расчету, обедня уже приходит к концу. Уже палила с Петропавловской крепости двенадцатичасовая пушка, а распоряжения все нет и нет. Как успеть одеться, заправить башлыки? Утром был жестокий мороз, десять градусов Реомюра, теперь блистает яркое солнце, заливает лучами паркетный пол зала, слепит глаза гардемаринам, но — январское солнце не греет...

Плац-адъютант проходит через зал торопливыми шагами:

— Господа адъютанты — парад в мундирах!

Кряхтит Верцинский, а каково знаменщику? Как греет юнкерский мундир, ветром подбитый, на рыбьем меху подхваченный, это мы знаем. Герцык подмигивает знаменщику:

— Что, батенька мой!.. Ничего, крепитесь!..

Красавчик-«помпон» краснеет от смущения и удовольствия.

— Ничего, молодая кровь — горячая...

По залам звучат команды. В нашем зале командуют: «На плечо»...

Откуда-то издали доносятся музыка и пение. Они еще тихие, и слышны только плавные певучие звуки. Музыканты Морского корпуса разобрали и продули трубы. Процессия далеко, но у нас уже командуют:

— Парад! Шай на кра-ул!

Ближе звуки. Я ничего пока не вижу, перед носом вороненый ствол винтовки, дыхание задержано, в глазах рябит, волнение охватывает сердце.

И вот наплывают к нам из соседнего зала звуки кавалерийского хора: играют «Коль славен».

В двери зала медленно входят попарно идущие придворные певчие в парадных красных с золотом кафтанах, маленькие дисканты и альты впереди. Звонко поют — «Во Иордане крещающусь Тебе, Господи»... Их пение сливается с музыкой. Морской оркестр играет «Коль славен». Какое-то тепло заливает тело, дыхание совсем остановлено, неподвижность полная.

— Глаза напра-во!

Колышатся высокие хоругви в руках рослых причетников, за ними блистают золотые митры, украшенные драгоценными камнями митрополита и архиереев, видны седые бороды, насупленные брови. Крестный ход во всем своем блеске, красоте и величии надвигается к нам. Пение, музыка слились в одну гармонию. В глазах темнеет, и кажется, вот-вот свалюсь — не выдержу всего этого напряжения.

Ни один штык у нас не колыхнется: и подлинно — мы не дышим.

Но тут показывается Государь Император, и снова силы явились и глаза устремлены на него, и только на него.

Государь идет в мундире лейб-гвардии Преображенского полка, с широкою голубою лентою через плечо. Рядом с Государем идет Государыня в белом муаровом платье и широком собольем палантине. Я никого больше и не вижу. Медленно поворачивается голова, «провожая глазами» Государя. И это плавное движение головы дает нам возможность оправиться и проясняет глаза.

Крестный ход скрылся. Процессия ушла. Звуки музыки и пения постепенно замерли вдали. Мы все держим «на караул». Из соседней залы слышен бодрый, скорый «кавалерийский» марш, и твердыми шагами входят в зал знаменоносцы. Верцинский и наш знаменщик «берут ногу» и вступают на свое место. Перед нами быстро проходят, точно в вихре несутся знамена и штандарты гвардейских полков... Последний скрылся за дверьми.

— На пле-чо!.. К ноге!..

Прием порывист, и вместе с тем ружье поставлено на пол так тихо, что ни один приклад не стукнул затылком о пол.

— Тах... тах... тах...

И — тишина.

— Стоять вольно!

Гардемарины против нас шевелятся, перешептываются, делятся впечатлениями, улыбаются... Мы стоим неподвижно. Чуть согнем то одно, то другое колено, незаметно расправим затекшую руку.

Мы — Павлоны!

По пушечной пальбе с крепостных верков и с Васильевского острова, где у Биржи стоит конная батарея, отдающейся об окна зала, мы знаем, что идет водосвятие.

Замерзший, зарумянившийся, с побелевшими ушами возвращается с адъютантом знаменщик.

Парад кончен. Караулы уводят из зал.

В подвальных помещениях дворца, в длинных галереях, уставленных мраморными статуями, где сложены наши шинели, поставлены длинные столы и скамьи. Юнкерам всех училищ и гардемаринам от гофмаршальской части предложен холодный завтрак и чай.

Мы мало что видали, но мы много и много пережили вдохновенных, красивых мгновений, когда мимо нас, во всем своем величии и блеске проходил Государь Император. Мы счастливы, оживлены, мы сознаем, что мы были «молодцами», что мы не осрамили нашего родного училища...

В шинелях, «ружья вольно», вздвоенными рядами идем мы знакомой дорогой через Неву к себе в училище.

Краснея, склоняется за Васильевский остров солнце. Бледно — почти белое — небо. Серебрится снег по широким невским просторам. В инее деревья Александровского парка за черными строгими линиями крепости. Все буднично кругом. Праздник и с ним каникулы прошли.

Ночью вернутся отпускные... Завтра в шесть с половиною часов утра нас разбудит в холодной казарме барабанная дробь повестки к заре...

В ожидании приезда Государя Императора в училище

Не знаю, кто принес в училище осенью глупые куплеты, слышанные на открытой сцене Зоологического сада, единственного из летних «злачных» мест, доступных для юнкеров.

Куплеты явно немецкого происхождения:

...В саду Зоологическом
Закрыт пивной буфет,
И в пафосе трагическом
Воскликнул целый свет:
    Нах Африка, нах Камерун,
    Нах кика — Камерун...

Германия в 1884 году заняла в Африке Камерун и Того, и это были отзвуки немецкой колониальной победы, долетевшие до нас через Зоологический сад, управляемый немцем Ростом.

Куплеты эти в училище были переделаны и снабжены своими, такими же глупыми, словами:

...У нас все офицерики —
Смиренники на вид,
Барашками все выглядят,
Но в каждом черт сидит.
За каждое деяние
Готовы нас взыскать,
И это их профессия
Взысканья налагать...
    Нах Африка, нах Камерун,
    Нах кика — Камерун...
Лишь стоит Николаеву
Нам лекции начать,
Не знаю, право, отчего,
Но хочется мне спать.
Координаты, функции
Мне нагоняют сон,
Готов я Николаева
Из класса выгнать вон —
    Нах Африка, нах Камерун,
    Нах кика — Камерун...
И в нашем классе химии
Тревожат часто нас,
Парами газов гадостных
Там душат нас подчас...

и так далее, поминались все профессора и преподаватели, тем или другим досадившие юнкерам.

В январе, как-то после вечерней переклички, когда фельдфебель объявлял приказания начальства и читал параграфы училищного приказа, касающиеся юнкеров, Иван Федорович откашлялся — он немного смущался перед молчаливым строем роты и краснел — и сказал:

— Господа, в училище нашем ожидается приезд Государя Императора. Его Императорское Величество начал объезд учебных заведений. В прошлом году Государь не был у нас, можно ожи-

дать, что в этом мы будем удостоены высокой чести высочайшего посещения. Начальник училища приказал ввиду этого — с утра надевать короткие шаровары и высокие сапоги, а дежурному по роте заступать в парадной форме. На дневном отдыхе на койках не лежать... Впредь до распоряжения... Рота нале-во... Петь молитву.

Назавтра во втором взводе в часы отдыха несколько человек запели на всю роту «Нах Африка» с новыми, только что придуманными куплетами:

Сам Государь, мы слышали,
К нам в гости должен быть.
Мы чиститься все начали,
Откуда взялась прыть.
Уж сапоги высокие
Не смеем мы снимать,
И ждем мы приказания —
В бушлатах ночью спать...
Но коль дождуся я Царя,
То загонюсь тогда:
Не в Африку, не в Камерун,
Нах Петерсбург ист гут...

Иван Федорович, сидевший у своей конторки, пошел ко второму взводу.

Певшие встали.

— Господа, попрошу прекратить это безобразие.

— Но почему, Иван Федорович?

— Сами должны понимать, почему. В роте петь воспрещается. Вы мешаете другим заниматься.

— Они нам, господин фельдфебель, ничуть не мешают.

— Прошу мне не возражать. Петь можете в курилке после вечерней переклички.

— Какие нынче строгости!

— Юнкер Виноградов, возьмите два дневальства не в очередь.

Во взводе замолчали. Фельдфебель, взволнованный и покрасневший, пошел по роте. Когда он скрылся за арками коридора, кто-то сказал:

— Осерчал Софрон!

В третьем, соседнем взводе свистнули. Кто-то крикнул: «Фараон! Фара-он!!»

Потом все в роте притихли, сидели за своими столиками, уткнувшись в книги. По затихшей роте фельдфебель возвращался на свое место. Когда он проходил мимо меня, мне показалось, что у нашего красивого молодчика Ивана Федоровича были слезы на глазах.

Мне было жаль его.

Посещение Государем Императором Александром III Павловского военного училища

Напряженное состояние ожидания продолжалось уже вторую неделю. Занятия шли по расписанию, но их старались обставить эффектнее — на ружейные приемы сводили всю роту в полном расчете, гимнастику делали тоже обоими курсами вместе. Часто выводили на плац — и какой бы мороз ни был, всегда в одних бушлатах. Чтобы согреться, гоняли роту шагом и бегом так, что цыганский пот прошибал нас и про мороз мы забывали.

Юнкера музыканты каждый день по два часа сыгрывались, готовя «концерт», певчие спевались, двери церкви были открыты, и батюшка дежурил наготове с крестом, встретить Государя при приезде.

Полы в коридорах и в ротах были вымыты с песком, койки тщательно выровнены и в эти дни застилались с точным однообразием, нигде на одеялах не было ни складочки. Печи с утра пылали огнем, форточки были открыты, везде была приятная свежесть. И с десяти часов утра и на лекциях, и потом на строевых занятиях все прислушивались, не зазвонит ли в швейцарской условный длинный электрический звонок.

Занятия гимнастикой кончились, мы торопливо, как все эти дни мы все делали торопясь, чтобы не быть застигнутыми врасплох, переодевались из гимнастических белых рубашек в бушлаты и надевали ремни с подсумками и бескозырки, собираясь на ротное учение.

Иван Федорович, совсем готовый, в красном кушаке, при револьвере и шашке, сидел у своей конторки и разговаривал с дежурным по роте. Вдруг он насторожился и сказал:

— Государь приехал. Я слышу звонок в швейцарской.

Он встал и вместе с дежурным пошел по роте, торопя строиться.

Еще не был сделан расчет, и рота с глухим шумом сапог и ружейных прикладов устанавливалась против окон, как в нее торопливыми шагами вошли капитан Никонов и взводные Третесский и Герцык.

— Господа, прошу не волноваться. В училище у нас Государь с Императрицей. Фельдфебель, делайте расчет.

Расчет был сделан. Мы стояли в строю, ничего не делая, в ожидании. Все время кто-нибудь прибегал и сообщал, что делалось в училище.

— Государь Император в церкви. К иконам прикладывались...

— Государь с Государыней прошли в лазарет...

— Поднялись в четвертую роту.

— В третьей роте гимнастику смотрят.

И вот уже слышен ответ второй роты, радостно-сдержанный, великолепный ответ:

— Здравия желаем, Ваше Императорское Величество.

Наш дежурный по роте стоит в умывалке. Он дежурный по шефской роте, и ему полагается рапортовать и при дежурном офицере. Он вытянулся в струнку, талия так перетянута, что кажется, что он в корсете. Кровь то приливает к его лицу, то отливает. Он волнуется.

Каптенармус Мохнин стоит на повороте коридора на махалке.

Он вбегает взволнованный и громко шепчет: «Идут-с... К нам жалу-ют-с!..» — и скрывается в глубине умывальной комнаты, в дверях той комнатушки, где мы чистим сапоги.

Рота выровнена как по шнуру, держит ружья «на плечо». Одновременно с громкой командой капитана Никонова «шай на кра-ул» мы слышим отчетливый рапорт дежурного портупей-юнкера. Молодчина не растерялся. Голос звучит твердо, ясно, может быть слишком отчетливо, подчеркнуто отчетливо, и тем выдает волнение.

— Ваше Императорское Величество, в роте Имени Вашего Императорского Величества 1-го военного Павловского училища юнкеров по списку — 105, в лазарете — один, налицо 104: в роте все обстоит благополучно.

Мягко и негромко говорит Государь:

— Здравствуйте, портупей-юнкер.

Радостно отвечает дежурный:

— Здравия желаю, Ваше Императорское Величество.

Огромный, величественный, красивый, могучий и мощный, входит Государь в роту. Рядом с ним идет Государыня. Она обаятельно-красивая, точно неземная, бесконечно милая, кажется маленькой подле Государя. Мы видим ее, нашу Царицу, совсем подле нас.

В роте полнейшая тишина, штыки слились в одну линию, ни один не колыхнется. Никонов и Третесский стоят с опущенными к носку шашками.

Государь останавливается против нашего правофлангового и меряет его глазами.

— Как ваша фамилия?

— Юнкер Шмеллинг, Ваше Императорское Величество.

Только у таких рослых людей бывает такой приятный густой певучий голос.

— Вы выше меня будете?

Мягкий сочный баритон звучит на всю роту:

— Выше Вашего Императорского Величества никого в мире нет.

На мгновение добрая улыбка скользит по лицу Государя и скрывается в густой, большой русой бороде.

— А ну, померяемся.

Никонов — он стоит сзади Государя — глазами показывает, чтобы Шмеллинг вышел из строя. Шмеллинг ловко берет «на плечо» и «к ноге». В его руках тяжелая двенадцатифунтовая винтовка кажется тоненькой тросточкой.

— Станьте рядом со мной. Ну конечно, на полвершка выше. Рад видеть у себя в роте таких молодцов. У вас братья есть?

— Единственный сын, Ваше Императорское Величество.

— А как здоровье?

— Немного грудь болит, Ваше Императорское Величество.

— Берегите себя, Шмеллинг. Куда думаете выходить?

— В Туркестан, Ваше Императорское Величество, там служит мой отец.

— Это хорошо. Там в тепле, Бог даст, и грудь перестанет беспокоить. Желаю вам счастливо кончить училище и хорошо служить.

— Покорно благодарю, Ваше Императорское Величество.

— Станьте на место.

Шмеллинг входит в строй, отчетливо поворачивается кругом и берет «на плечо» и «на караул».

Мы все стоим затаив дыхание.

— Здравствуйте, господа.

Как тщателен и вместе с тем как взволнованно-радостен наш ответ!

Государь медленно идет вдоль фронта. Коридор узкий. Мы слышим тонкий запах духов Императрицы, и мои глаза встречаются с голубыми глазами Государыни. Наши головы поворачиваются за Государем, и мы не видим ни Рыкачева, ни батальонного, ни Никонова, сопровождающих Государя.

— К ноге, — говорит Государь, останавливаясь за левым флангом роты. — Фельдфебель, пожалуйте ко мне.

Иван Федорович, розовый от волнения, хорошенький, аккуратный, как игрушечка, выходит из-за строя роты и вытягивается против Государя.

— Командуйте ружейные приемы.

Иван Федорович набирает воздуха и трепетно командует:

— Рота, ружья вольно!

Его голос крепнет. Приемы отбиваются так чисто, так отчетливо, что нам самим радостно ощущать игру ружей в наших руках.

— На ру-ку. К но-ге. Пальба ротой. С колена пальба ротой.

Куда девался вес наших винтовок? Точно не руки взбрасывают их, но сами они невидимою силою летают перед нами.

— Отлично, господа...

— Р-рады стараться, Ваше Императорское Величество.

Государь проходит к образу. Нас поворачивают, и мы идем, держа ружья «на плечо», по роте, маршируя мимо Государя. Пол трясется от сильного удара ног. Шаг широк и смел, повороты в углу отчетливы, и узкая наша колонна не растягивается на ходу. Мы делаем на ходу ружейные приемы. Потом рота останавливается и, выровнявшись, берет «на караул».

Государь проходит мимо нас, направляясь к выходу. И едва он покидает роту, как мы бесшумно составляем винтовки в пирамиды, музыканты и певчие задними ходами бегут в Малый зал.

Государя проводят туда нарочно медленно, по пути показывают ему работы юнкеров по черчению, и, когда Государь входит наконец в зал, большой юнкерский оркестр и стоголосый хор гремит:

— Боже Царя храни!..

Императрицу усаживают в кресло, Государь слушает программу стоя. После русского гимна певчие поют датский гимн:

...Наш Христиан у мачты был
В дыму густом...
Король мечом губил, разил,
Он Готфу шлем и лоб пробил...
Строй вражьих мачт
В обломках был —
В дыму густом...

Потом оркестр играет отрывки из «Жизни за Царя», певчие поют «Бородино» Лермонтова.

Государь уже два часа в училище. Пятый час. Догорает короткий зимний день. Государь благодарит юнкеров и идет к выходу.

Наш фельдфебель Бурмейстер подает Государыне ротонду и провожает на крыльцо.

Весь батальон пробежал к кухонному ходу и к воротам и в одних бушлатах, третья рота, как была на гимнастике в рубашках, уже на Спасской ожидает Государя.

— Господа!.. Господа, — укоризненно, но не сердито говорит Государь. — Простудитесь!

Государь усаживает Императрицу в парные сани и садится подле. Кучер едва сдерживает серых рысаков под белой сеткой. Камер-казак в старинном кафтане становится на запятки.

Лошади подхватывают по чистому белому снегу нашей пустынной Большой Спасской, и весь батальон бежит, обгоняя сани с громовым «ура!». Кучер, хмурясь, с трудом сдерживает лошадей, чтобы те не понесли. Юнкера бегут все скорее и скорее. Кажется, несись лошади, как курьерский поезд, — не обогнать им юнкеров.

При выезде на Большой проспект Государь приказывает кучеру остановиться. Юнкера толпою окружают сани.

— Ну довольно, господа!

Громовое «ура!» гремит в ответ. Юнкера стоят на морозе и смотрят, как уносятся по проспекту царские сани и исчезают среди извозчичьих саней у Тучкова моста. А потом юнкера идут и не чувствуют ни холода, ни усталости от лихого бега, и только сладкая истома в ногах, неровное дыхание да хрипота от радостного крика.

В училище нас ожидает легкая «распеканция» начальника училища за неисполнение приказания не провожать Государя — и затем радостное объявление, что Государь Император изволил отпустить нас на три дня в отпуск.

В роте гудели голоса. У фельдфебельской конторки дежурный записывал желающих идти в отпуск. Счастливый, довольный всем пережитым, румяный от волнения Иван Федорович рассказывал, как у него сначала захватило горло и он боялся, что не сможет командовать, и как потом все отлегло.

— Кажется, я хорошо командовал... — говорил он, обращаясь к Кевнарскому. — И какая легкая шубка у Императрицы, и как пахнет какими-то совсем особенными духами, я просто голову потерял от всего.

И каждый думал: «Да — это счастье!.. Это подлинное, незабываемое счастье — эта милая царская ласка его солдатам — юнкерам-Павлонам!..»

Как все это было давно — пятьдесят лет тому назад, а стоит передо мною, как живое, и как будто сейчас я все это вижу перед глазами.

Ясный, приветливый осенний день. Бледно-голубое небо, чистое, без облаков, и поутру легкий холодок. Серебрится роса на траве, поросшей на военном поле и покрытой осенними желтыми цветами одуванчиков. Мы промерзли в палатках. «Цыганский пот» прошибает нас сквозь тонкие суконные парадные мундиры с галуном. Мы по-лагерному — в бескозырках, в скатках, при шанцевом инструменте, с ярко начищенными котелками на концах скаток.

Только что прошли мы церемониальным маршем развернутым фронтом рот, держа ружья «на плечо», мимо Государя, и еще звучит в ушах звонкий ответ на Государево:

— Спасибо, господа!

— Рады стараться, Ваше Императорское Величество!

Гулко бьет турецкий барабан, и веселый скорый марш Радецкого несется вслед за нами. Кто-то другой, должно быть «Констаперы», громко кричит под музыку. Мы прошли хорошо. Мы сами это чувствуем. Широк был вымаханный за маневры шаг. Левый фланг не завалил. Мы чувствовали, что «нога» была «одна»...

Мы вытянулись во взводную колонну, взяли «ружья вольно», но, вместо того чтобы заходить правым плечом мимо Кавелахтского стрельбища, мы зашли левым плечом к Лабораторной роще, построили резервную колонну, остановились и составили ружья. Из рощи появились артельные подводы и служители со щетками, сапожной смазкой и тряпками.

— Господа юнкера старшего курса, пожалуйте вперед.

Юнкера старшего курса сняли скатки, повесили их на козлы и стали обчищать друг друга, оправлять складки мундиров. Фельдфебель Бурмейстер еще туже затянул красный кушак.

Из-за Царского Валика гремит, гремит и гремит музыка. То вдруг забьют барабаны, засвистят тоненькие барабанные флейточки, разом оборвут, и ворвутся мощные, плавные звуки маршей больших гвардейских оркестров. Слышны лихие ответы на «ство-о-о» пехоты, потом поют трубы и доносится мерное позвякивание идущих развернутым строем восьми орудийных пеших батарей.

Кавалерия, которая стояла подле нас у рощи, повернула направо и ушла спорою рысью.

Наших «подпоручиков» повели к Царскому Валику. К нам как бешеный прискакал эскадрон Николаевского кавалерийского училища. Полковник Кардашевский, кумир юнкеров за лихую езду, за громкий голос и умение карьером летать вокруг эскадрона, громко командует:

— Эскадрон! Сто-ой! Равняйсь! Господа корнеты, вперед!

Юнкера старшего курса быстро слезают с лошадей, бросают поводья прислуге, так называемым «штатским из манежа», и бегут туда, куда за нашими «подпоручиками» прошли только что артиллеристы. За Валиком мимо Государя лихо проносятся Конные батареи и по традиции лейб-гвардии 6-я Донская Его Величества батарея летит карьером. Нам слышен топот конских ног и грохот несущихся орудий.

У нас напряженно-тихо. Позволено сидеть, но никто не садится.

Нам издали видна длинная шеренга юнкеров, ожидающих Государя сбоку Царского Валика. Ее отчасти заслоняют фургоны и платформы гофмаршальской части, привезшие к Царскому Валику завтрак.

Государев кучер в голубой шелковой рубахе и бархатной поддевке, по-ямщицки в круглой шапке с павлиньими перьями, проминает царскую серую тройку.

Какое, должно быть, у наших старших товарищей волнение! И у нас оно немалое. Какой-то жизненный рубеж перейден, на целый год мы приблизились к тому заветному, к чему так стремились, о чем так много и долго мечтали, — к офицерскому чину... Перед нами три недели отпуска — дом, родители, семья — свобода. Мы считаем минуты, ждем не дождемся того сладкого, очаровательного момента, когда наконец, надев шинели внакидку, покинем казарменные стены и поедем кто куда доканчивать летние дни на воле. Будем гулять, собирать грибы, купаться, охотиться, танцевать, ухаживать и непрерывно чувствовать на себе восторженный любящий взгляд матери.

Мы стоим, никто не присядет, никто не ляжет, хотя это нам позволено, мы прислушиваемся и ждем.

И вдруг — вот оно — раздалось, полетело все громче, праздничнее, ликующее, радостное «ура»! Свершилось!.. Бабочка пробила кокон, бабочка вылетела на свет. Нет больше юнкеров — есть «господа офицеры»...

Николаевские корнеты и артиллерийские подпоручики бегут к лошадям, вскакивают на них и с оглушительным «ура!» скачут беспорядочной группой к своим баракам.

Оживленной толпой, весело разговаривая, возвращаются наши «подпоручики». Начальник училища ожидает их подле батальона. Кто-то из только что произведенных несмело и неуверенно командует:

— Господа офицеры!

Молодые подпоручики в юнкерской форме останавливаются и берут под козырек.

Рыкачев подходит к ним.

— Господа, — говорит он, — поздравляю вас с монаршею милостью. Служите честно Государю и Родине. Никогда не забывайте, что вы окончили наше 1-е военное Павловское училище, — и всегда гордитесь этим... А теперь... Попрошу по местам и в полном порядке, как и подобает Павловскому училищу, отнести знамя в училище.

Подпоручики молча кланяются и расходятся по ротам.

— Батальон! В ружье!

«Пески» играют марш, и мы идем скорым, бодрым шагом в бараки. Мы пообедали в столовой последний раз со своими старшими товарищами. На военную платформу был подан состав вагонов третьего класса, и батальон погрузился в него. Когда тронулись, загремело неудержимое «ура!». В диком и радостном крике выливалось напряжение последних часов. И вплоть до Лигова то тут, то там стреляли в окна припасенными с маневров холостыми патронами. По вагонам звучали песни — преобладала радостная, веселая, полная разнообразных куплетов-воспоминаний юнкерской жизни «Звериада».

Но когда приехали в Петербург и построились на дворе Балтийского вокзала, опять это был строгий и чинный юнкерский батальон, с солдатской строгой выправкой.

Молодые офицеры собрали между собою сто рублей и дали «пескам», чтобы те всю дорогу до училища непрерывно играли самые скорые марши и батальон не шел, а мчался по улицам Петербурга.

Подле училища построились, взяли «на караул», и Верцинский со знаменщиком понесли знамя в церковь.

И только когда были распущены по ротам и вошли на прохладную лестницу, тогда закричали «ура!» и бросились бегом через три-четыре ступени, торопясь к своим койкам, где служителями уже было разложено готовое обмундирование.

И прошло еще полчаса шума, гама, суеты, движения в казарме, и казарма наполнилась молодыми офицерами. Кто сразу надел парадную форму и в золотых эполетах с алым или синим подбоем

с вышитым номером дивизии или вензелем шефа красовался перед зеркалом, кто ходил в длинном сюртуке, где еще свежи были все складочки. Гигант Шмеллинг стоял в алых кожаных чембарах и белом кителе, точно сорвался с картины Каразина. А потом все устремились дружными группами по разным местам, кто к родителям, кто кутить в ресторан, кто в «Зоологию», кто в Аркадию, кто в Ливадию, кто в сад Неметти слушать оперетку, а более того — красоваться в офицерской форме и радоваться свободе, тому, что то, что было раньше запрещено, теперь позволено...

Когда господа офицеры разошлись, нам, юнкерам, было разрешено идти в отпуск.

Уже под вечер я вышел из училища. На погонах шинели были нашиты две скромные белые армейские нашивки младшего унтер-офицера. Но они мне тогда доставили такую большую, большую радость, почти такую, какую доставили мне потом офицерские эполеты, меньшую, чем Георгиевский крест, и куда большую, чем тяжелый атаманский пернач.

«Дома» на даче, в Лесном, куда я приехал уже в сумерки, мать моя с радостью и гордостью обняла своего сына — младшего унтер-офицера армейской пехоты, исполняющего должность фельдфебеля роты Его Величества. Она понимала всю важность моего поста и радовалась за меня...

В жизни всегда так — маленькие радости бывают куда больше больших...

Царский смотр училища

В начале июля в Красное Село прибыл Государь Император и был назначен смотр военным училищам на военном поле.

Длинной линией развернутого фронта выстроились училища вдоль Гатчинского шоссе.

Государь приехал верхом с Государыней, которая была тоже верхом — амазонкой. Государя сопровождал Великий Князь Владимир Александрович с Великой Княгиней Марией Павловной, военный министр Ванновский, начальник военно-учебных заведений генерал Махотин и его помощник генерал Зедделер. С ними была небольшая свита адъютантов Государева дежурства.

Объехав под звуки гимна и крики «ура» фронт и поздоровавшись с юнкерами, Государь вызвал вперед наш батальон и приказал начать учение.

Мы проделали — и как! — ружейные приемы всем батальоном, потом Щегловитов произвел короткое учение. Мы ходили, как никогда еще не ходили. Земля гудела под нашими ногами. Мы отчеканивали на ходу ружейные приемы, заходили взводами и строили колонны с математическою точностью. Можно было думать, что это не живые люди ходят, но сворачивается и разворачивается какая-то машина. Душевный подъем у нас был необычайный. Нас смотрел Государь, на нас глядела нами обожаемая Царица, и сколько тонких знатоков строя было в их свите — тут нельзя было ошибиться ни в одном движении, ни в одном приеме.

Щегловитов начал было разводить батальон поротно, чтобы показать стрелковое учение, но Государь приказал остановить батальон и поблагодарил нас. После этого он приказал, чтобы фельдфебель его роты показал ему ротное учение, а фельдфебель четвертой роты составил из третьей и четвертой рот роту военного времени и показал с нею стрелковое учение.

Офицеры вышли из строя. На их место стали портупей-юнкера. Я вышел перед ротой. Всякий, кто бывал в строю, поймет мое волнение. И при обыкновенном-то начальстве показывать роту нелегко, на смотру и опытные командиры волнуются, что же на таком смотру, где и Государь и Государыня вас смотрят и где столько генералитета?! Мне было девятнадцать лет! Я стоял перед такой прекрасной и так отлично обученной ротой. Я не чувствовал ног под собою. Они сами носили меня туда, куда нужно было. Я понял, что я должен так показать роту, чтобы смотрящий не был принужден передвигаться с места, но чтобы рота ходила подле него. Я помнил и то, что во времени я ограничен, что я должен показать роту в каких-нибудь пять-семь минут.

— Рота, ружья воль-но, — скомандовал я и с удовольствием заметил, что голос не изменяет мне. — Справа повзводно...

Я выждал, пока все, кому полагалось по тогдашнему уставу, подали нужные команды, и скомандовал:

— Шаг-гом — мар-рш!

Как пошла наша Государева рота! Как отчетливо заходили плечами взводы, как чист был затылок и как однообразно лежали ружья. Шорох одобрения пронесся в свите.

— Р-рот-та кругом! — мар-рш!

Ни один штык не зацепил за другой, как игрушка повернулась рота и пошла назад. Я вытянул роту по отделениям, завел плечом, построил фронт флангом к Государю и стал заводить роту так, что-

бы она стала против Государя. Заходили великолепно, и, когда были против Государя, я скомандовал «прямо» и в пятидесяти шагах от Государя остановил роту и, не ровняя ее, потому что знал, что она была так выровнена, что не нужно было особо ровнять, скомандовал «на плечо» и «на караул».

Государь подъехал к роте и поблагодарил юнкеров за блестящее ученье. Потом Государь обратился ко мне:

— Спасибо, Краснов!

Со своей изумительной памятью Государь помнил мою фамилию, с императорским исключительным вниманием Государь назвал меня по фамилии, зная, как это будет мне дорого!

Я отсалютовал шашкой и ответил по-фельдфебельски:

— Рад стараться, Ваше Императорское Величество.

— Где будете мне служить?

— Желал бы сразу в лейб-гвардии Атаманском Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полку, Ваше Императорское Величество.

— Ну что же, так оно и будет, — сказал Государь и обратился с чем-то к военному министру.

Еще раз поблагодарив роту, Государь поехал к ожидавшей его нашей сводной роте, впереди которой стоял Грендаль.

Нас отвели назад, и мы, стоя «вольно», смотрели издали, как показывал свою громадную роту Грендаль.

Молодчик Грендаль и взводные портупей-юнкера не растерялись, и, хотя в первый раз им приходилось командовать такими большими взводами, все шло гладко. Полурота быстро и сноровисто рассыпалась в цепь, дозоры отскочили в сторону. Грендаль повел наступление сразу перебежками, подтянул взвод из резерва, чтобы отразить охват с фланга, и все дальше и дальше уходила блестящая галунами мундиров цепь по военному полю, энергично шло наступление. Звонко раздавался по полю голос Грендаля, взводные подавали свистки, цепи ложились во мгновение ока, вскакивали еще быстрее и неслись ураганом вперед... И вдруг Грендаль поднял жалонерный значок, следовавший за ним горнист подал наш любимый сигнал с такими смешными словами: «Оторвали кошке хвост!» — и рота бегом сбежалась за Грендалем, он ее повел бегом к Государю, на бегу построил развернутый фронт и остановил. Это вышло прелестно. И когда отвечали на двойную благодарность Государя, совсем незаметно было, что эти люди сейчас только так стремительно бегали — никто не запыхался.

Государь поехал смотреть Константиновское училище, а мы остались у оврага и стоя молчаливо смотрели весь смотр училищ, продолжавшийся более двух часов.

Последними смотрели эскадрон Николаевского училища. Кардашевский превзошел сам себя. Так лихо водил он эскадрон за собою, так стремительно носился в атаки, то в сомкнутом строю, то рассыпав первый полуэскадрон в две шеренги, а потом сомкнул его, собрал, построил на карьер фронт и подлетел к Государю...

Когда Государь, окончив смотр, уехал с поля, начальник училища подъехал к нашему батальону и, поблагодарив юнкеров и сказав, что «Государь Император отменно остался доволен нашим училищем», вызвал меня и передал мне, что Государь Император в изъятие из правил приказал выпустить меня по его высочайшему повелению прямо с прикомандированием к Атаманскому полку.

По войсковым правилам я должен был выйти сначала в комплект Донских казачьих полков и, прослужив год на льготе, мог быть прикомандирован к гвардейскому полку.

— Поздравляю вас, — сказал Рыкачев, — с монаршею милостью — вы выходите прямо в полк. Рад и счастлив за вас.

Большие маневры. «Разнос» генерала Водара

На заре с церемонией я рапортовал Государю Императору о благополучии в роте, и было у меня умиленное чувство глубочайшей благодарности к моему Государю.

В конце июля был высочайший смотр войскам Красносельского лагеря на военном поле, а на другой день мы выступили на большие маневры.

В день смотра была ясная солнечная погода и было жарко, а в день выступления на маневры полил настоящий красносельский маневренный дождь.

Маневры были особенно тяжелыми. Длинные переходы и все по глинистым, проселочным, раскисшим, разбитым войсками дорогам, то неистовая духота и жара, парной воздух, нечем дышать, то поднимутся туманы, и опять зарядит дождь и станет по-осеннему холодно.

Один переход был особенно тяжел. Я шел, как и полагается по уставу, сзади роты. Вдруг сначала один, потом другой юнкер младшего курса вышли из строя и сели на землю.

— Что с вами, господа?

— Не можем больше, господин фельдфебель. Сил больше нет.

— Давайте ваши мешки, давайте ваши винтовки и живо в строй, на свои места. Не позорьте царевой роты.

Я надел на себя их мешки и взял ружья. Они налегке пошли в строй. Взводный Винклер, увидев, что я несу два ружья и три мешка, подошел ко мне. Мы разделили с ним ношу. Пример подействовал. Юнкера прошли налегке около версты, отошли и вернулись за ружьями и мешками.

У меня, да почти что у всех, в эти маневры плечи и грудь были растерты в кровь, ноги были изранены от сбитых, постоянно сырых сапог и сырой, заскорузлой портянки. Маневры продолжались вторую неделю, с одной всего дневкой, мы были измучены до последней степени. Нас влек вперед долг, привычка к повиновению, нас поднимало сознание, что эта солдатская ноша — на нас последний раз... Покажется темно-зеленая шапка Дудергофа, его сквозной «татарский» ресторан — и будет всему этому конец навсегда: будет производство.

9 августа мы были верстах в тридцати от Красного Села. Был хмурый осенний день. Туман поднимался. Как-то сразу стемнело и стало неприютно. Прямо с похода, без обеда — котлы наши еще не подошли — нашу роту поставили в сторожевое охранение. В густом белом тумане и в сумраке надвигающейся ночи мне, назначенному начальником заставы № 3, показали какую-то ригу и приказали поставить подле нее охранение. Где мы, где и кто неприятель, — мне никто не сказал, и спрашивать было нельзя, я видел, что ни капитан Никонов, ни штабс-капитан Герцык этого и сами не знают. В темноте, в мелкой капели тумана, в сырости и мраке я поставил часового и подчаска, расположил заставу в риге и пробыл всю ночь в полусне-полубодрствовании, каждые два часа сменяя часового и подчаска, посылая дозоры и взволнованно думая о завтрашнем дне. Казалось, бесконечна была ночь, никогда не настанет это завтра.

Я прислушивался, не идет ли кто, не раздастся ли где-нибудь выстрел...

Тихая и темная протекала холодная ночь. Начало светать, и еще гуще стал туман. Вдруг один из юнкеров заставы, выходивший из риги, быстро вернулся и сказал мне:

— Генерал Водар едет сзади заставы.

Генерал Водар, Генерального штаба, начальник Константиновского училища на маневрах командовал отрядом военных училищ.

Я встал, оправил шинель и пояс и пошел с рапортом. Но не успел я сказать и первых слов рапорта, как Водар стал напирать на меня лошадью и кричать:

— Где у вас часовой и подчасок?

Я показал рукою на едва видные в тумане фигуры юнкеров.

— Спиной к неприятелю! И это фельдфебель! Сегодня офицер! Я буду требовать, чтобы вас отставили от производства. Вы недостойны быть офицером. Безобразие!

Я молчал. Я мог сказать, что не я выставлял линию охранения, что мне никто не указал, где именно неприятель, что вообще задача мне неизвестна, но сказать это значило подводить своих офицеров — капитана Никонова и штабс-капитана Герцыка, — а это было по воинской товарищеской морали недопустимо. Справедлив или несправедлив был обрушившийся на меня разнос — мы выучены были никогда не оправдываться: виноват и виноват — взыскивай с меня, и кончено.

В основе нашего воспитания было: «утвердить в нас дух воинской дисциплины и укоренить сознание чувства долга и необходимые военнослужащему качества — выносливость, точную исполнительность и безусловное повиновение»*.

Ни дисциплина, ни чувство долга, ни повиновение не допускали вступать в пререкания с начальником и оправдываться, и я молча выслушивал долгий разнос генерала Водара. Наконец он приказал мне переставить заставу и потом снять ее вовсе и идти на бивак.

На биваке я доложил о происшедшем ротному командиру. Капитан Никонов только рукой махнул:

— Идите переодеваться и завтракать. Через полчаса мы выступаем.

В шесть часов утра мы выступили с бивака. Туман садился на землю. Уже тут-там словно побелело небо, и становилось все светлее и светлее. Потом появились на нем голубые просветы, солнце брызнуло по земле золотыми лучами, и все повеселело в природе. Заблистали по-осеннему длинные дорожные лужи, алмазами заиграла роса на мху и траве лесной опушки.

Был привал. Солнце стало пригревать и меня после бессонной ночи, после огорчения разноса стало нестерпимо клонить ко сну. В сердце таилась обида на несправедливый разнос генерала Водара, иногда забегала тревожная мысль, а вдруг и точно отставят ме-

---

* Программа строевого образования юнкеров Главного управления военно-учебных заведений, утвержденная военным министром в 1883 году.

ня от производства, и тогда сон убегал от меня. Но сейчас же я прогонял эту мысль: Государь — добрый, милостивый Государь, который меня знает, никогда не позволит этого сделать со *своим* фельдфебелем!.. И над всем этим преобладало желание спать, усталость, накопленная за все дни маневров, боль в груди и плечах, сильная боль в растертых ногах...

Мы снова шли. Бесконечно шли. Мы спускались в овраг, по тесной улице чухонской деревни проходили к деревянному мосту, переходили по нему через тихую речку с желтоватой мутной водой, поднимались из оврага, вышли из деревни и вдруг увидали — еще очень, правда, далеко — знакомый силуэт Лабораторной рощи и за нею шапку Дудергофа, сияющую в солнечном блеске на голубом небе.

Грязные, потные, загорелые, с отросшими за недели маневров волосами, золотящимися у красных околышей бескозырок незаконными завитками, мы выходили на артиллерийский полигон.

Нас остановили, колонна подтянулась, и мы построили резервный порядок.

Как-то весело и точно праздничным салютом, а не маневренным боем, ударила где-то поблизости от нас пушка, ей ответила откуда-то издалека другая, и вдруг по всему полю загремела орудийная пальба. Должно быть, увидали колонны противника. На нас нанесло запахом порохового дыма и серною гарью. Усталость и все боли как рукою сняло. Маневренный, последний бой начался. Мы перебегали цепями, прыгая через ямки от рвавшихся здесь когда-то артиллерийских снарядов, через кусты голубики и можжевельника. Лежа в цепи, мы набивали рты сизой крупной ягодой и потом по свистку и команде вставали и бежали, забирая правее лаборатории, все сближаясь с противником. Все чаще и непрерывнее становилась ружейная трескотня, она сливалась уже как бы в кипение громадного котла, и белые дымы постепенно затягивали обширное поле. В них мутны и неясны стали дали. В этой пороховой гари мы увидали противника. Гвардейские стрелки в белых рубашках и черных барашковых шапках, которые они носили и летом при рубашках, рослые, крепкие и, казалось нам, особенно грозные и страшные, быстро сближались, и нам и радостно и страшно было вот-вот сейчас устремиться навстречу им со своим лихим юнкерским «ура!».

Сейчас будет сквозная атака...

Но вместо сигнала «предварение атаки» слева от Царского Валика раздался далекий, красивый, певучий сигнал, поданный на серебряных трубах государевых трубачей.

— Слушайте все!.. — пропели трубы и затем отчетливо и так радостно, зовя к отдыху и покою, продолжили: — Всадник, остановись и перестань!.. Отбой был дан!

По всему громадному полю, на версты и версты трубы пели красивую фразу «отбоя», и им вторили пехотные горны, грубыми басами повторяя:

— Да-да-а-а! Да-да-а-а!

Мы встали.

В облаках порохового дыма было видно, как остановилась нацелившаяся для атаки конница и слезла с лошадей.

Трубы пели по полю:

— «Соберитесь, разъясните все учение».

И — «сбор»... Тесной резервной колонной нас повели к Лабораторной роще и остановили.

— Со-ставь! Снять мешки и скатки.

Как некрасивы были мы в измятых, измазанных, пропотелых рубашках, со следами скаток и мешков, в потертых шароварах и грязных сапогах. Мы бегали к канаве, носили котелками воду, смывали грязь с лица и сапог, начищали сапоги и шаровары щетками, достанными из вещевых мешков. Из этих же мешков мы достали чистые рубашки и переоделись. Темные, загорелые до черноты, исхудалые, с выдавшимися скулами лица скрашивались восторженным блеском глаз.

— Господа юнкера старшего курса, построиться в одну шеренгу.

Полковник Щегловитов повел нас к Царскому Валику и остановил, построив фронтом на Красное Село.

До нас доносился гул голосов от Царского Валика, там шел разбор маневра и высочайший завтрак.

Я стоял на правом фланге нашей шеренги, правее меня стояли юнкера кавалеристы и еще дальше пажи.

— Господа юнкера, смир-рно!.. Глаза напра-во!..

От Царского Валика пешком к нам шел Государь Император.

Производство в офицеры

Государь был в длинном сюртуке л.-гв. Преображенского полка, при шашке, шарфе, в высоких сапогах. Несмотря на свой громадный рост и мощное телосложение, он шел быстро и легко по примятой траве военного поля. Немного позади него шла в длинной, подшпиленной сбоку амазонке Государыня Императрица Мария

Феодоровна и рядом с нею Великая Княгиня Мария Павловна. Дальше пестрой группой в летних платьях следовали Великие Княгини и Княжны и с ними Великие Князья в полковых формах.

Государь остановился против пажей и сказал им несколько слов. Пажи закричали «ура». Государыня и Великие Княгини стали лично передавать приказы о производстве своим камер-пажам. Государь перешел к кавалеристам, потом прошел к середине длинного нашего фронта.

Громко и отчетливо сказал нам Государь. Каждое его слово запоминалось нами на всю нашу военную службу:

— Поздравляю вас, господа, офицерами! Служите России и мне, как служили ваши отцы и деды. Заботьтесь о солдате и любите его! Будьте ему как старшие братья! Будьте хорошими наставниками. Учите солдат добру, смелости и воинскому искусству. Кому доведется служить на далекой глухой окраине — не скучайте, не тоскуйте, помните, что вы охраняете Российскую империю. На вас, юнкера Павловского училища, я всегда надеюсь и верю, что, как были вы прекрасными юнкерами, так будете и образцовыми офицерами моей славной армии...

Мы закричали «ура». Под восторженные наши крики Государь, сопровождаемый свитой, заслонившей нас от него, прошел к Константиновскому училищу. Флигель-адъютанты передавали каждому из нас высочайшие приказы о производстве в офицеры.

Это были толстые тетради сероватой «казенной» бумаги. Наверху крупными, какими-то «казенными» буквами было напечатано:

«*Высочайший приказ.* По военному ведомству. 10 августа 1889 года. В Красном Селе».

Ниже мелкими обыкновенными буквами шло перечисление училищ и произведенных из них юнкеров. Там значилось:

«*По экзамену: В подпоручики:* Пажеского *Его Величества* Корпуса: из фельдфебелей — Цвецинский в лейб-гвардии Семеновский полк...»

Каждый из нас листал тетрадь приказа, ища свою фамилию в длинном списке произведенных.

«*1-го военного Павловского училища: В подпоручики:* по армейской пехоте: — из фельдфебелей — Грендаль — с прикомандированием к лейб-гвардии Егерскому полку, Никольский с прикомандированием к лейб-гвардии Павловскому полку...»

Моей фамилии долго нет. Прошли произведенные из нашего училища в артиллерию, в саперные батальоны, и наконец:

«*По казачьим войскам: В хорунжие:* из фельдфебелей Краснов в комплект Донских казачьих полков, с прикомандированием по *Высочайшему* повелению к лейб-гвардии Атаманскому Е. И. В. Г. Н. Ц. полку».

Дальше я не смотрел. У меня от волнения и усталости темнело в глазах. Я свернул приказ трубкой и положил его под погон.

Как все это произошло быстро и просто. И мне вспомнилось, как после смотра военных училищ и слов Государя я в ближайшую субботу пешком пришел из лагеря в деревню Пудость, где стоял штаб Атаманского полка. Я был в мундире и скатанной шинели, в запыленных сапогах, загорелый, словом — «пехота, не пыли», и мне было немного неловко являться в блестящий гвардейский полк в таком скромном виде.

То, что я пришел пешком в Пудость — какие-нибудь двенадцать верст, — привело в умиление полкового адъютанта штабротмистра Вершинина. Он позвал свою жену.

— Посмотри, Анечка, — сказал он, — вот Краснов, он к нам в полк выходит, *пешком* пришел из лагеря... Это очень хорошо.

Молодая, красивая, черноглазая брюнетка, настоящая казачка — жена адъютанта поила меня чаем и угощала сладкими булками, а потом Вершинин в своей коляске повез меня на станцию Пудость и оттуда в Петербург. Меня, как я ни говорил, что не могу это сделать, заставили ехать с офицерами во втором классе (нам это было, как нижним чинам, запрещено), и в Петербурге в полетнему прибранной полупустой квартире я представлялся командиру полка генерал-майору М.И.Грекову, и опять-таки и он, и адъютант умилялись:

— Пешком пришел к нам на Пудость!.. Этакий молодец!.. Добрый казак будет!...

Все это тогда казалось чем-то далеким и, пожалуй, несбыточным — и вот совершилось... Я офицер в Атаманском полку — и по *Высочайшему* повелению... генерал Греков мой командир, Вершинин и его милая жена — мы одной общей семьи, мы товарищи!..

Мимо нас, под наши восторженные крики «ура» промчались царская и великокняжеские тройки и коляски, потом мы увидали, как понеслись в бешеной скачке юнкера кавалеристы к лагерю, и мы пошли к своему батальону.

Мы надевали на усталое тело вещевые мешки и скатки, становились в строй за ружья. Наши младшие товарищи поздравляли нас...

— В ружье!.. Становись!.. Равняйсь!.. Смирно!.. Ружья вольно!.. Справа по отделениям шагом марш!..

«Пески» играли марши. Потом был поспешный торопливый обед, и мы ехали в Петербург с песнями, с криками «ура», со стрельбой припасенными для этого холостыми патронами.

Петербург. Стремительный марш через город — и училище...

Чистая юность — прощай! Здравствуй, жизнь!

Знамя скрылось в училищном подъезде. Мы взяли «к ноге».

— По казармам марш...

Я стоял у своей койки. Еще цел золоченый овал дощечки. Наверху в полуовале мой № — 77 и внизу надпись — «фельдфебель Петр Краснов».

Я сменил суровое училищное, казенное белье на собственное, полотняное. Стесняют крахмальные рукавчики рубашки. На мне темно-синие шаровары с алым лампасом, я надеваю скромный армейский казачий мундир с серебряным галуном. Вокруг меня — мои друзья: новый фельдфебель Пац-Помарнацкий, хорошенький Висленев, пришел из второй роты Старов. Тут же мои товарищи: рослый, красивый Шенк — он в сюртуке с погонами Новочеркасского полка, Ротштейн — подпоручик Абхазского пехотного полка, он после отпуска уезжает в Пензу, будущий финляндец Лихачев, московец Буренин, Кругликов, Глазков, Соколов... Мне жаль расстаться с ними. Когда и где мы встретимся снова в этом громадном мире и как встретимся?

У образа архистратига Михаила все гуще и гуще стоят затепленные свечи.

— Прощай, государева рота и ее покровитель... «Архистратизе Михаиле, моли Бога о нас!»

Мне грустно.

Здесь я был первым — там, куда я еду, я буду последним. Прико-манди-рованным. В голубой атаманской семье я буду пятном своим красным околышем фуражки, своими алыми лампасами — буду «краснокожим», как называли в гвардии прикомандированных от полевых полков.

Кончена юность — здравствуй, жизнь!

Никто, никакая школа не может научить жизни. Жизни учит сама жизнь. Она уже в училище показала нам свою суровую школу. Самоубийство Ставского, убийство Костомарова, случай с Сергеевым — вот ее уроки.

Страшна жизнь!

Она оказалась куда страшнее, чем казалась тогда, в то мирное царствование Царя Миротворца...

Мне страшно. Я еще раз кидаю взгляд на золотую дощечку.

«Фельдфебель Петр Краснов»...

Кажется, скажи мне сейчас: «Ты можешь остаться еще на год на сверхсрочную службу в этой роте фельдфебелем» — остался бы!

Тяжелое прошлое — забыто. Осталось только милое и хорошее. Вот и мои «враги» подходят ко мне проститься.

Дворжицкий, Гардабхадзе, Троицкий, Бардский — да разве враги они? — они навеки мои товарищи! — *Павлоны!*

Пора уходить, ехать домой, в семью, к родителям, на дачу.

— Прощайте, Пац... Держите крепко нашу славную государеву роту... Прощайте, Бобик Квицинский... Висленев, Старов, прощайте...

У нас в училище не было принято прощаться с офицерами, устраивать прощальные обеды в ресторане. Мы всегда далеко стояли от них... Нижние чины... Мы и они понимали: «дальние проводы — лишние слезы»... Мы к ним не заходили. Все, что нужно было нам сказать, было сказано за два года училищной жизни — торжественные ресторанные обеды с возлияниями и по большей части неискренними льстивыми речами были совсем не в духе училища.

Я вышел на подъезд, первый раз взял извозчика и поехал. Отъехав, я оглянулся.

Румяное солнце спускалось к заливу. Длинное белое здание было залито желтым светом. Ярко блистали золотые буквы на синей вывеске:

«1-е военное Павловское училище».

Защемило сердце. А радость вместе с тем все шире и шире наплывала на сердце и все его заливала ярким блистанием свободы...

Но, как сказал поэт, — «в этой радости так грусти много».

Она была как этот передзакатный вечерний свет, заливавший белые стены училища... — неяркая и тихая.

Чистая юность — прощай! Здравствуй, жизнь!..

9 февраля — 23 апреля 1938
Далевиц. Германия

Русско-японская война

ВОСТОЧНЫЙ ОТРЯД НА РЕКЕ ЯЛУ

БОЙ ПОД ТЮРЕНЧЕНОМ

Глава первая

Граница Маньчжурии и Кореи. — Река Ялу. — Слухи о высадке японцев в Корее. — Жизнь полков 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады на р. Ялу. — Первые известия о японцах

В южной своей части Маньчжурия отделяется от соседнего с нею государства — Кореи — рекою Ялу. Недалеко от ее устья, на правом маньчжурском берегу, стоит богатый торговый город Шахедзы, против которого, у корейцев, выстроен небольшой городок Ичжу. От Шахедзы к Ляояну, через большой китайский город Фынхуанчен идет по горным долинам проложенная китайцами дорога.

Еще до начала войны в Фынхуанчене стоял небольшой отряд из 4 сотен Забайкальского казачьего войска, с батареею и саперною ротой. В Шахедзах квартировала конно-охотничья команда 15-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Части эти стояли для охраны торговых путей от китайских разбойников, называемых хунхузами.

Когда началась война с японцами, явилось опасение, что они высадят войска где-либо в Корее, пойдут на Ялу, переправятся через нее и начнут наступление против наших войск, собиравшихся у Ляояна. Так сделали японцы в 1895 году, когда воевали с китайцами, так, слышно было, собирались они сделать и в 1904 году против нас.

Рассказывали, что Япония изготовила для войны 3 армии и что первая армия, под начальством генерала Куроки, направляется в Корею, а оттуда через Ялу в Маньчжурию.

К 15 марта мы уже знали, что действительно в Корее, у Чемульпо и частью у Цинампо, высадились гвардейская, 2-я и 12-я японская дивизии, затем высаживаются 4-я или 6-я дивизия, два полка конницы и два полка артиллерии. Как видно, первый удар на нас готовился японцами из Кореи, через реку Ялу, и нам нужно было к нему подготовиться.

19 февраля было решено отправить на Ялу 3-ю Восточно-Сибирскую стрелковую бригаду. Уже раньше, а именно 5 и 6 февраля, в Фынхуанчен пришел 9-й Восточно-Сибирский стрелковый полк со 2-й батареей Восточно-Сибирского стрелкового дивизиона, ротой 2-го Восточно-Сибирского саперного батальона и пулеметною ротой.

Тяжелый переход по зимней замерзшей дороге пришлось совершить этим частям, в рядах которых на треть были новобранцы, только в декабре прибывшие из России и никогда не видавшие гор. Тяжело дался им этот поход по чужой стороне, среди не виданных ими китайцев. Но все же ни больных, ни отсталых не было. Все дошли до широкой, покрытой синеватым льдом реки, все увидали по ту ее сторону бесконечные гряды синеющих гор и услыхали, что там, за этими горами, собирается неприятель — японцы.

Что это за враг — большинство солдат никогда не слыхало. Лишь старые сибирские стрелки видали японцев во время войны в 1900 году, когда вместе с ними ходили освобождать посольства, осажденные в Пекине китайцами. Разное говорили про японцев. Маленький, щупленький, — говорили про них, — некрасивый, а дерется хорошо, смело идет вперед, отлично слушается офицера, горячо любит свое отечество.

И рассказывали на ночлегах и в походе старые солдаты и офицеры, что японцы поклялись или умереть, или победить русских, что, отправляясь на войну, они навеки прощались с родными, вписывали имена свои в поминовение, как вписывают уже умерших...

Слушали стрелки эти рассказы, удивлялись и хотели поскорее увидеть японца, померяться с ним силами, хотели победить его и ни за что не пустить за реку.

Вскроется река, станет широкая, полноводная — легко ли перейти через нее под метким огнем? И пытливо смотрели размещавшиеся в Шахедзах солдаты на синие хребты далеких гор, сверкавших под солнечными лучами на корейском берегу...

10 февраля в Фынхуанчен пришел 12-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с 3-й батареей Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона и саперной ротой 2-го Восточно-Сибирского саперного батальона. Этим частям, шедшим другою дорогою, через китайские города Симучен и Сюян, пришлось перенести еще более походных тягостей и невзгод. Но свято помнили присягу сибирские стрелки и бодро шли по каменистому дну горных ручьев, по скользкой грязи подъемов и спусков, мерзли, не раз голодали, так как достать продовольствие было негде.

15 февраля в Фынхуанчен прибыл 11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, и наконец 9 марта подошел 10-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с 7-й горной батареей. Так собралась подле Ялу, между Фынхуанченом и Шахедзами, вся 3-я Восточно-Сибирская стрелковая бригада и расположилась: в Шахедзах — 9-й полк со 2-й батареей и 4 роты 12-го полка; в Тюренчене, в 12 верстах от Шахедзы вверх по реке Ялу, 3 роты 12-го полка с 1-й Байкальской казачьей батареей и в Фынхуанчене — 11-й полк с 3-й батареей.

К началу марта полки, занимавшие Фынхуанчен, перешли ближе к Ялу и стали в г. Шахедзы и сзади него в лагере у деревни Тензы.

К 15 марта пришла 1-я батарея Восточно-Сибирского стрелкового дивизиона и конно-охотничья команда 10-го Восточно-Сибирского полка. Эти части пока остановились в Фынхуанчене.

Собравшиеся на Ялу войска получили название Восточного отряда. Начальником его был начальник 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады генерал-майор Кашталинский.

Солдаты устроились в китайских домах — фанзах. На дворах появились мишени, прицельные станки, и в ротах принялись за обучение молодых солдат. Каждый день большие команды стрелков отправлялись на места, выбранные для боя (позиции), рыли там окопы и строили укрепления. Одна рота 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка переправилась через Ялу и устроилась в корейском городе Ичжу.

О японцах ничего не было слышно. Генерал-майор Мищенко с двумя полками забайкальских казаков ушел в глубь Кореи, дошел почти до самой столицы корейского государства — Сеула и встретил японцев только у самого моря. Он имел там стычки с противником, у него были раненые и убитые. Солдаты расспрашивали казаков о японцах, но казаки отвечали коротко: «Ничего себе — мелкий, однако хитрый народ».

Наступила и прошла Страстная неделя. Отговели в храме 9-го стрелкового полка, устроенном в китайской фанзе, и встретили Светлое Христово Воскресенье 28 марта в горячей молитве. Ночью, после заутрени, на улицах Шахедзы был церковный парад.

Японцы не тревожили нас, хотя они уже были близко. На берегах Ялу, по ту сторону, все чаще и чаще мелькали таинственные огоньки: то передвигались по берегу японские дозоры...

Глава вторая

Возвращение генерала Мищенко из набега на Корею. — Разведка японцев через корейцев и открытая с лодок. — Дело поручика Демидовича 26 марта. — Дело стрелков-охотников 9-го полка 27 марта. — Второе дело Демидовича 30 марта. — Дело штабс-капитана Змейцына 8 апреля

18 марта генерал-майор Мищенко вернулся с казаками из Кореи. Ледоход на реке только что кончился. Конный казачий отряд переправлялся вплавь между льдинами. Лошади шли табуном, казаков перевозили на китайских лодках.

Два дня длилась эта трудная переправа и окончилась только в 5 часов вечера 20 марта. На корейском берегу не осталось ни одного русского солдата, ни одного казака.

Ночью на 21 марта в город Ичжу вошли передовые части японцев. Это был отряд японского генерал-майора Асада, состоявший из 3 батальонов, 5 эскадронов, 12 горных орудий и роты сапер.

Теперь только широкая и глубокая река Ялу отделяла нас от японцев. Шириною у Шахедзы более версты неслась она мутно-желтым потоком к морю. Наш берег, высокий, крутой и гористый, подходил к воде местами в виде обрывистых скатов, местами пологими скатами. Чем ближе к морю, тем шире и глубже становилась река, а немного повыше Шахедзы, против Ичжу и Тюренчена, она разбивалась на несколько рукавов, образующих острова; самые большие из них — острова Сямалинда и Косиндза лежали против деревни Тюренчен.

Разведывать, узнавать о том, где и сколько собралось японцев, стало очень трудно. Река разделяла нас. Переправиться было можно только на лодке, а лодку издали легко было заметить и не пустить на берег людей. Пробовали посылать корейцев и китайцев, платили им за разведку большие деньги, но плохие это были разведчики!

Придет такой кореец-лазутчик с докладом к начальнику штаба отряда подполковнику Линда.

— Ну, скажи, что же ты делал в Ичжу? Где ты был? — спрашивает его наш подполковник.

— Ночью я был в фанзе. Спал, — говорит кореец.

— А днем?

— А днем я тоже был в фанзе. Боялся выйти. Боялся, что японцы меня поймают, — отвечает кореец.

— Что же ты мог видеть, когда ночью спал в фанзе, а днем тоже был в фанзе — боялся? Ты ничего, значит, и не видал, — говорит подполковник.

— Нет, я видал. Пушка видал, двадцать пушка там есть. И маленькая пушка есть. На руках носят...

Верить таким лазутчикам нельзя было. Нужно было заглянуть туда своим хозяйским глазом русского офицера и солдата.

И вот среди стрелков явились охотники — офицеры и нижние чины, которые взялись отправиться к неприятелю и заглянуть, что у него делается. Через них мы узнали, что японцы заняли русский поселок, лежавший в устьях Ялу и основанный лесопромышленной компанией. Там нашли они корейского старшину, служившего русским, и, привязав его за ноги к хвосту лошади, погнали ее... Так зверски убили они человека, и только за то, что когда-то он служил русским.

Зоркий глаз стрелков-разведчиков, ходивших к японскому берегу на лодках и на двух паровых катерах «Любе» и «Надежде», рассмотрел, что японцы укрываются соломенными щитами, ставят за ними свои посты и роют окопы. Увидали наши разведчики, что окопы японцам роют корейцы. Разглядели и рослых вороных лошадей японской гвардейской кавалерии, стоящих на коновязи. Рассмотрели они и японский флаг — белый с красным кругом, флаг «Восходящего солнца», поднятый на городской башне Ичжу.

Но мало было стрелкам-удальцам видеть японцев, им хотелось пощупать их, взять пленных или хотя бы убитых. Захотелось перестрелки и боя... Надоело стоять без дела против врага, только издали его наблюдая.

Ночью в Страстную пятницу, 26 марта, команда из 27 пеших охотников 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка под командою поручика Демидовича, при подпоручике Потемкине, отправилась на Корейский берег к городу Ичжу. Давно подметили наши стрелки, что японцы собирают китайские лодки и шаланды под городскими стенами, очевидно, готовятся там к переправе. И вот Демидович задумал их уничтожить. На небольшой лодке переправились стрелки на остров Сямалинда и стали красться к следующему рукаву. Идти пришлось по мелкому белому песку, поросшему тальником. Одетые в шинели, тихо крались наши солдаты между кустами. Вдруг на темной воде у Ичжу Демидович заметил три лодки, тихо плывшие к острову. Живо залегли охотники за кустами и осторожно поползли к берегу, навстречу врагу. Лодки причалили к острову, японцы сошли на берег и быстро стали расхо-

диться цепью, обшаривая кусты. А наши, затаив дыхание, крались вперед, им навстречу. Но кто-то не выдержал — кашлянул, брякнуло чье-то оружье — японцы повернули и побежали к лодкам.

— Ура! — крикнул Демидович, и дружно поддержали стрелки своего начальника.

Японцы бросились в воду, торопясь на лодки. Наши насели на них. Унтер-офицер Сумашедов приколол штыком двоих, остальные стали отчаливать. Тогда наши открыли ружейный огонь, и японцы начали падать в воду. Две лодки опрокинулись, японские тела подхватила река и понесла к морю. Наши благополучно вернулись в Тюренчен. На другой день флаг на Ичжу был спущен, и японцы стали осторожнее.

В Страстную субботу, 27 марта, стрелки-охотники 9-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, унтер-офицер Федор Цыганов, ефрейторы Антон Петройтис — георгиевский кавалер за китайскую войну, Роман Харьков и Дмитрий Дашкевич с 8-ю стрелками были посланы на разведку неприятельских застав и постов. Им предложили самим придумать, как лучше подойти к неприятелю. Они решили спуститься на лодке вниз по Ялу почти до самого моря, высадиться там на японский берег и подойти с той стороны, с которой японцы меньше всего нас ожидают. Рано утром стрелки уже были против русского поселка. Днем Цыганов, Петройтис, Харьков и стрелок Крестовский на маленькой лодке переправились на японский берег и вступили в опустошенный поселок. Дашкевич с семью стрелками ожидал их близ берега на шаланде.

Стрелки днем, никем не замеченные, подкрались к японскому биваку. Они видели японский эскадрон, стоявший на коновязи, видели, как японцы поужинали, разошлись по фанзам, а часовой развел костер и начал дремать. Наступила пасхальная ночь.

Наши стрелки решили приколоть часового, потом дать залп по лошадям, чтобы произвести суматоху. Но едва они вышли из кустов, как их увидали корейцы и подняли тревогу в японском лагере. Японцы побежали к реке. Человек двадцать их село в лодку и старалось отрезать путь Цыганову с товарищами к их лодке.

Видя, что они открыты, Цыганов и стрелки кинулись как были — с ружьями и в шинелях — в воду и поплыли как могли. Японцы открыли по ним огонь и ранили в голову ефрейтора Харькова. Он стал тонуть. Цыганов с Петройтисом и Крестовским хотели поддержать его, но им и самим нелегко было плыть в намокшей одежде, и они упустили Харькова. Харьков утонул. Пули щелкали кругом плывущих. Японцы налегали на весла, и их большая лодка уже при-

ближалась к нашим стрелкам. Но на выручку неслась, рассекая волны, маленькая лодка с семью стрелками, предводимая Дашкевичем. Не считал Дашкевич врагов, знал одно: сам погибай, а товарища выручай, — и летел туда, где свистали и щелкали по воде пули. В самом близком расстоянии от японцев побросали стрелки весла, приложились из ружей — грянуло два залпа, и посыпались японцы и бывший с ними кореец в воду. На берегу все стихло. Стрельба прекратилась, наша лодка подобрала продрогших и измученных Цыганова, Петройтиса и Крестовского. Стрелки вернулись с разведки, потеряв одного Харькова, но положив больше десятка японцев.

На второй день праздника Св. Пасхи в церкви 9-го полка служили панихиду по Харькове. Это была первая жертва долга в Восточном отряде.

30 марта тот же лихой офицер — поручик Демидович — решил отправиться снова на остров Сямалинду, на место первого столкновения с японцами, и поискать, не осталось ли там ружей от убитых японцев. С ним пошел подполковник Полторацкий, три офицера-охотника и 20 стрелков 12-го полка. На рассвете они высадились на острове, а поручик Демидович с 4 стрелками сел в лодку, доехал до того места, где было первое столкновение, и стал шарить баграми по дну. Взошло солнце. Японцы со стен Ичжу увидали лодку и открыли по ней огонь. Расстояние было близкое: первыми же выстрелами поручик Демидович был ранен в ногу, а стрелок Тютюнников убит. Тогда бывший с Демидовичем ефрейтор Мищенко понес на себе раненого Демидовича, а двое других стрелков потащили убитого по берегу. Японцы усилили огонь. Ночевавшая на острове рота японцев стала окружать наш отряд. Надо было отстреливаться. Пришлось бросить убитого Тютюнникова, но Демидовича Мищенко продолжал нести, несмотря на сильный огонь. Сзади, прикрывая его, шли унтер-офицер Лучкин и стрелок Оверин. Местность была совершенно открытая, японцы приближались, не прекращая огня. Пуля попала в Демидовича, и он умер на руках Мищенки. Лучкин и Оверин упали ранеными. Наши, однако, успели сесть в лодку и уплыть под защиту своего берега. При посадке было ранено еще два стрелка.

Когда на берегу узнали, что тела поручика Демидовича и стрелка Тютюнникова и раненые унтер-офицер Лучкин и стрелок Оверин остались на острове, — сейчас же вызвались охотники отыскать их и перевезти в Тюренчен. Днем высадились стрелки на остров Сямалинду и пошли на место боя. Но там, на белом песке, между голых ветвей тальника только чернели лужи крови.

Японцы перевезли тела убитых и раненых в Ичжу и, по словам корейцев, положили их на площади. Все японские солдаты приходили и смотрели на них и изучали русское обмундирование и снаряжение.

Так доблестные стрелки Лучкин и Оверин отдали свою жизнь во имя спасения офицера...

8 апреля в окрестностях города Шахедзы на реке Ялу произошло еще кровавое дело, в котором пал смертью храброго начальник охотничьей команды 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка штабс-капитан Змейцын.

Это был лихой офицер, любимец товарищей, человек, которому верила и которого беззаветно любила вся его команда. С 1 апреля он стоял с командой лагерем несколько ниже г. Шахедзы у деревушки Ниенчан. Не раз со своими смелыми охотниками на утлых китайских лодках переплывал он реку, ходил и шарил по японскому берегу, отыскивая новые посты врага, поверяя его на старых знакомых местах. И вот стал он замечать, что возле города Яндади, в устье небольшой речонки, впадающей в Ялу, японцы собирают маленькие лодки и большие шаланды. Каждый день число этих лодок увеличивалось. Очевидно, готовились к переправе...

8 апреля, воспользовавшись тем, что утро было туманное и хмурое, Змейцын решил отправиться на японский берег, захватить открытой силой собранные лодки и сжечь их.

Около 2 часов дня штабс-капитан Змейцын, подпоручики Зевакин и Пушкин с 32 стрелками на четырех парусных лодках отправились к японскому берегу. Парусами и рулем правили офицеры и китайцы, стрелки же положили ружья на дно и сидели, сняв шапки, прикрытые высокими бортами лодок. Три лодки были новые со светлыми досками бортов и новыми белыми парусами, четвертая была старая, темная, с темными парусами. Она шла сзади. Ветер был боковой, сильный и ровный, и лодки ходко приближались к берегу. Начинался отлив, река мелела.

Как только первая лодка коснулась илистого дна реки, двое стрелков выскочили из нее и побежали на берег. Но тут же, на берегу, за валом оказалось около 15 японцев. Стрелки легли и стали стрелять по японцам. Последние начали отвечать, и сейчас же на выстрелы со стороны города Яндади выбежало около 200 корейцев или переодетых во все белое японцев. Они залегли за прибрежным валом и с самого близкого расстояния открыли огонь по лодкам, засевшим тем временем на прибрежной мели. С лодок от-

крыли огонь и в то же время старались стянуться в воду. Офицеры стояли открыто у рулей и распоряжались боем. Команда глаз не спускала с них и точно исполняла все приказания. Пули с визгом летали в воздухе, щелкали по воде, пробивали борты. Уже несколько стрелков были ранены, а борты местами обращены в щепки. Одним из первых залпов был ранен штабс-капитан Змейцын рядом пуль в грудь. Несколько мгновений он еще сидел на руле, потом лишился сознания и упал на дно. За ним был ранен двумя пулями в грудь и в руку подпоручик Пушкин. Офицеров у рулей заменили стрелки.

Японцы, видя, что наши терпят большой урон и не могут сойти с мели, спустили свои лодки и начали заходить, стараясь отрезать нас от реки. Но в это время наши столкнулись с мели. Из 32 стрелков, бывших на лодках, трое было убито и 15 ранено. Оставшиеся целыми толкали лодки баграми, ставили паруса, другие отстреливались. В этом адском огне, на залитом кровью дне лодки фельдшер Федосеев спокойно перевязывал раненых.

Наконец ветер надул паруса, и лодки пошли обгонять японцев. Очнувшийся, залитый кровью Змейцын сел снова на руль...

Но японцы уже обошли наших. Новая ручная кровавая схватка на лодках готова была начаться, когда совершенно неожиданно на помощь стрелкам явилась артиллерия. Командир артиллерийского взвода, стоявшего на берегу почти в шести верстах от места боя, давно уже следил в бинокль за этим боем. Видя, что японские лодки столпились в одном месте, стараясь преградить нашим путь, он открыл огонь из своих орудий. С пятого выстрела ему удалось потопить одну из японских лодок; тогда остальные повернули назад, и наши стрелки были спасены.

Все лодки были избиты, как решето. Змейцын, едва его лодка коснулась берега, выпустил руль и замертво упал на дно лодки.

Печально возвращались стрелки, неся на носилках раненых. Змейцын дорогой скончался...

После этого лихого дела стрелков разведки и поиски охотников прекратились. Восточный отряд готовился к серьезному бою. Решено было разведывать не маленькими партиями охотников, не отдельными людьми, а целыми отрядами. Разведывать боем. Нужно было определить, где предполагают японцы переправиться через реку, так как по всему было видно, что они к этой переправе готовятся.

Глава третья

Наши силы и силы японцев к началу апреля 1904 года. — Переправа японцев на о. Киури 12 апреля. — Тревожные ночи 12 и 13 апреля. — Разведка штабс-капитаном Янчисом левого берега р. Эйхо. — Лихое дело подполковника Линда на Хусанских горах. — Переправа 12-й японской дивизии через р. Ялу у устья р. Амби-хэ

15 марта в город Ляоян прибыл командующий армией генерал-адъютант Куропаткин, а 19 марта решено было отправить для усиления Восточного отряда 6-ю Восточно-Сибирскую стрелковую бригаду. Но так как она еще не вся собралась, то на Ялу были отправлены из Ляояна 22-й и 24-й Восточно-Сибирские стрелковые полки и 2-я и 3-я батареи 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Полки эти выступили из Ляояна между 19 и 21 марта тремя частями. К этому времени дорога между Ляояном и Фынхуанченом была поправлена, на всех ночлегах были устроены помещения для людей и собраны запасы продовольствия. Казалось, что стрелки со своей артиллерией весь путь от Ляояна до Фынхуанчена — 152 версты — пройдут в 7 дней. Но 26 марта с утра полил дождь, скоро перешедший в ливень, поднялся страшный ветер. Вода в горных речках стала быстро прибывать, переправы вброд стали невозможны. Дорога местами обратилась в стремительный поток мутной и грязной воды, в котором по колена брели люди. Ночью пошел снег, сейчас же таявший и окончательно испортивший дорогу. Батарея застряла в горах, и стрелки не могли вытянуть пушек: так засосало их глинистою землею. Часть обоза была унесена водою вместе с лошадьми и повозками. Спасти удалось только лошадей. Сообщение между частями отряда из-за разлива рек прекратилось.

На другой день, 27 марта, разыгралась снежная метель, но вода начала спадать. В эту метель стрелки неутомимо работали, настилая гати на топких местах, поправляя броды. Два дня подряд мокшие под проливным дождем и под снегом солдаты, не имевшие на себе ни одной сухой нитки, сразу испытали невзгоды походной жизни. Только к 31 марта, посли 12 дней мучительного похода, полки 6-й бригады собрались в Фынхуанчен. Но бодры и сильны были люди этих частей. Несмотря на страшную тяжесть похода, число больных людей было ничтожно.

9 апреля в Тензы приехал назначенный начальником Восточного отряда генерал-лейтенант Засулич.

К этому времени вся японская армия генерала Куроки собралась на берегу Ялу в окрестностях города Ичжу.

Всего здесь было сосредоточено 3 дивизии пехоты с сильной артиллерией, 2 полка конницы и значительное число крупных осадных орудий. У нас же было собрано всего 16 батальонов пехоты, в составе 6 полков, 3 полка казаков и 7 батарей. Слишком неравны были силы, чтобы мы могли решительно помешать японцам переправиться через Ялу. Вот почему Восточному отряду было приказано: пользуясь местностью, затруднить японцам переход через реку Ялу и дальнейшее наступление в горы, а также узнать силы японских войск и направление их наступления. Вот почему генерал-адъютант Куропаткин приказал генералу Засуличу всеми мерами избегать решительного боя...

10 и 12 апреля в Шахедзах и Тюренчене прошли спокойно. Только казаки на нашем левом фланге продолжали наблюдение за японцами и доносили, что они собирают доски и бревна — как видно, готовятся к переправе. Заметно было также появление целых японских полков там, где раньше стояли отдельные их заставы. Кроме того, от корейцев мы знали, что еще 9 апреля японцы начали строить мост против Тюренчена и сюда же подвезли 60—70 понтонных лодок. По всему берегу от устья реки была заметна усиленная работа японцев, сбор ими лодок, лесных материалов.

Во всем Восточном отряде к 13 апреля считалось 15 $^1/_2$ тысяч стрелков и артиллеристов да 2 $^1/_2$ тысячи казаков при 48 полевых, 8 горных и 6 конных орудиях. К этому же времени армия генерала Куроки расположилась: 12-я дивизия стала в окрестностях города, гвардия в самом городе и 2-я дивизия к югу от города у той самой речки Помахуа, где производил со стрелками разведку штабс-капитан Змейцын. Таким образом, у японцев против Восточного отряда было собрано не менее 32 000 человек только одной пехоты.

12 апреля казаки 1-го Читинского полка, наблюдавшие берег моря у устья Ялу, донесли, что около 3 часов дня в реку вошли 2 миноноски и 2 парохода. Один из пароходов сделал два выстрела по казакам. В то же время на остров Сямалинда переправились 2 роты японцев и туда же начали сгонять от Ичжу лодки.

Все это встревожило наш отряд. Стрелки в Шахедзах и Тюренчене были выведены из своих квартир и биваков и заняли окопы. Орудия на батареях были заряжены — все готовились к бою и всю ночь с 12 на 13 апреля провели, не смыкая глаз, в окопах. Со сто-

роны японцев появились электрические прожекторы. Сильными белыми лучами яркого света освещали они то Шахедзы, то горы над ним, слепили глаза притаившимся в окопах стрелкам.

В 3 часа 40 минут ночи на левом фланге, за деревней Тюренчен, застучали наперебой ружья. Выстрелы то стихали, то снова усиливались, сливаясь в непрерывную трескотню. Во мраке ночи темными точками засветились сигнальные вехи, зажженные там. Сорок минут продолжалась перестрелка, потом все стихло. Эти сорок минут, напрягая зрение, схвативши ружья в руки, просидели в окопах стрелки, ожидая появления японцев. Но и в Тюренчене и в Шахедзах все было спокойно. Враг не появлялся.

Наутро узнали причину стрельбы. Расположенный севернее Тюренчена, близ устья реки Эйхо, остров Киури был занят двумя офицерами и 60 конными охотниками 22-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Охотники эти оставили лошадей на правом берегу Ялу на дворе прибережной фанзы.

Ночью часовой заметил темные лодки, тихо плывшие к острову. Он зажег сигнальную веху и поднял тревогу. Стрелки выбежали на сигнал часового и открыли огонь по лодкам. С лодок стали отвечать, не прекращая движения. По числу выстрелов стало видно, что японцев очень много.

Они стали высаживаться на наш берег. Стрелки бросились к лодкам, переплыли к фанзе, где были лошади, и начали отходить. В это время японцы заняли берег и открыли сильный огонь по стрелкам, путь которых шел по узкому ущелью между рекою и горами. Отстреливаясь, поодиночке проскакивали стрелки это ущелье, но японские выстрелы их настигали. 1 офицер был убит, 18 солдат было убито и ранено, почти все лошади перебиты.

Японцев оказался целый батальон. Это были гвардейцы. Они заняли берег и сейчас же стали наводить мост на остров Киури.

Настало утро. И в бледных лучах его было видно, что от города Ичжу началась наводка моста на остров Сямалинда.

При охотничьей команде 12-го Восточно-Сибирского полка было одно орудие, которое дало два выстрела по японцам. На некоторое время они прекратили работу, но сейчас же их артиллерия стала обстреливать шрапнелями стрелков и заставила их отойти за р. Эйхо. После этого японцы беспрепятственно продолжали переправу на острова Киури и Сямалинда.

Наступление японцев в больших силах, их быстрая переправа встревожили начальника 6-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады генерал-майора Трусова, занимавшего наш крайний ле-

вый фланг, и он просил 13 апреля подкреплений, полагая, что японцы поведут переправу против его участка.

Начальник Восточного отряда приказал 13 апреля всем войскам занимать окопы, а на помощь генералу Трусову в Тюренчен послал 2-й батальон 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и 8-ю роту 22-го полка. Генералу Трусову было приказано держаться у Тюренчена крепко и отходить только с боем.

Наступила вторая тревожная ночь, ночь без сна в окопах, для многих без горячей пищи. Отовсюду шли тревожные вести. Говорили, что японцы уже обошли наш левый фланг и спешат к Фынхуанчену для того, чтобы преградить дорогу к Ляояну. Точно никто ничего, однако, не знал. И вот, поддаваясь этим слухам об обходе японцев, генерал Трусов в час ночи на 14 апреля отодвинул 22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с 3-й батареей 6-й Восточно-Сибирской бригады от Тюренчена назад к селению Чингоу.

В Тюренчене на своих позициях остались только 3 батальона 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка со 2-й батареей 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады, да у деревни Тученза находился 2-й батальон 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и 8-я рота 24-го полка. И на эти-то слабые силы, всего в $3\,^1/_2$ тысячи человек, готовился удар чуть не всей армии Куроки...

В Шахедзах день прошел томительно, но спокойно. Против нас не было заметно никакого движения, и только на правом фланге казаков генерала Мищенки тревожили появлявшиеся на море японские суда, тащившие на буксире лодки.

Ночь на 14 апреля, проведенная войсками в окопах в напряженном ожидании кровавого столкновения, прошла спокойно. Нигде не было слышно выстрела. Тихо плескали волны р. Ялу о берег, да от Ичжу доносился временами беспокойный шорох, там копошилась армия Куроки. Многие наши солдаты засыпали в окопах, утомленные ожиданием. Какой-нибудь толчок, и они просыпались, хватались за ружья, мутными, сонными глазами смотрели во мрак ночи, на темные волны реки, но все было тихо...

Левый край расположения, выбранного нами для защиты переправы через реку Ялу, примыкал к деревне Тюренчен. За этою деревнею, к северу от нее, в р. Ялу впадает почти везде проходимая вброд река Эйхо, за нею на левом ее берегу высятся крутые и скалистые Хусанские горы. Охотники 22-го полка доносили, что за рекою Эйхо, прикрываясь горами, собираются большие силы японцев, что они обходят наш левый фланг. Эти-то донесения

и заставили увести 22-й полк к деревне Чингоу и очень ослабить наши войска у Тюренчена.

День 14 апреля был посвящен выяснению — сколько и где именно за рекою Эйхо собирается японцев. Для этого через реку Эйхо с утра отправились конные охотники 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, а потом туда же отправились штабс-капитан Янчис и поручик Ташканов с конными охотниками 12-го полка и поручик Каминский с конными охотниками 22-го полка, подкрепленные 7-ю ротою того же полка.

На своих маленьких китайских лошадках, совершенно белых, в команде штабс-капитана Янчиса, охотники еще ночью перешли по довольно глубокому броду реки Эйхо и без дорог по горным кручам проехали цепью через Хусанские горы. Нигде никого не было. Медленно спускались стрелки, каждую минуту ожидая града пуль навстречу. Но всюду была тишина. Штабс-капитан Янчис свернул за горами вправо и пробрался к самой реке Ялу к деревне Синдягоу. И в ней было тихо. Пустынными стояли фанзы, брошенные китайцами. Из-за серых стен этих фанз крались охотники к берегу...

Вот и Ялу. В темных водах ее кровавыми отблесками мелькают и отражаются костры японских лагерей на острове Киури. Там слышен в ночной тиши стук топоров. На другом берегу, против острова Киури, тоже стучат топоры — очевидно, идет постройка моста. Но японских войск на левом берегу реки Эйхо обнаружить нигде не удалось.

Только после полудня у деревни Синдягоу начали переправляться японцы. Но и их переправилось всего два взвода, которые стали заставами на реке Ялу.

Разведка штабс-капитана Янчиса успокоила отряд, но неверные донесения 22-го полка все-таки оказали свое влияние — часть войск была отодвинута от Тюренчена и 14 апреля, как и раньше, против всей армии Куроки стояло только 4 батальона — 11-го и 12-го Восточно-Сибирских стрелковых полков.

15 апреля на всех местах, занятых нашими войсками, было тихо. В устье реки Ялу японцы копошились совершенно открыто, свозя лодки, плоты и доски. По морю спокойно ходили пароходы и миноносцы. Наши войска в Шахедзах и в Тюренчене отдыхали, и только дежурные части занимали окопы. Но 22-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, стоявший против Хусанских гор между деревнями Чингоу и Потетынцза, находился в окопах, так как начальник бригады опасался обхода и нападения на наш левый

фланг. Эти трое суток, проведенные стрелками 22-го полка в окопах, утомили их больше, нежели целое сражение. Поэтому начальник отряда генерал-лейтенант Засулич отозвал генерала Трусова в Тензы, а командовать участком между Шахедзы и Тюренченом поручил генерал-майору Кашталинскому, назначив начальником отряда, стоявшего в Шахедзах, полковника Шверина.

Так, в томительном ожидании нападения, которое вот-вот должно было совершиться, проводили стрелки на Ялу эти весенние дни. И ожидание это было тяжелее боя. В тысячу раз охотнее бросились бы они на лодки, напали бы на японцев, занимавших острова Киури и Сямалинда, помешали бы им строить мосты, погнали бы их назад в Корею. Но приказ — отступать, лишь задержавшись на Ялу, — висел над ними и заставлял молча ждать нападения. И в этом приказе — отступать — чувствовали все — и генералы, и офицеры, и солдаты — свое бессилие, невозможность противостоять японской армии... И казалась она нам грозной — может быть, более грозной, нежели была на деле...

И от этого волновались начальники, неспокойны были солдаты. Хотелось драться, но не ждать. Хотелось мешать противнику переправляться, ударить самим на него, а не подставлять себя под удары...

И эти дни казались бесконечными. Кое-где работали, подправляли и углубляли окопы, но и работы шли вяло: не тем были заняты головы.

А дни сменялись ночами, и проходили ночи, тихие, теплые, ласкающие. Зеленели кусты и деревья, на полях пробивался молодой гаолян, холмы стали зелеными, и только Хусанские горы грозно чернели своими скалами за тихо бегущей прозрачной рекою Эйхо.

Горячее желание испытать свои силы, произвести наступление было так велико, что офицеры и солдаты просились в бой. 16 апреля, по просьбе начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады подполковника Линда, произведена была усиленная разведка того, что делается японцами за Хусанскими горами. В разведку эту пошли 2-й батальон 22-го стрелкового полка, 2 конно-охотничьи команды и 2 пеших орудия.

В 2 часа дня конные охотники, бывшие под начальством штабс-капитана Янчиса, рассыпались лавою и на своих маленьких белых лошадках вошли в воду реки Эйхо и быстро перебрались на ту сторону. Не первый раз проделывали они этот маневр. Ходили они за Хусанские горы не только днем, но и ночью, и каждый камень, каждая скала были им знакомы.

И только показались они на горах, как в широкой долине затрещали частым огнем выстрелы и закопошились внизу черные точки японцев. Быстро выехали наши орудия на гору, гулко зазвучали выстрелы их, и стали рваться шрапнели над черными линиями японских окопов. Бой начался.

Быстро рассыпались в цепи роты. Стрельбою задерживались мало, торопились дойти до штыка. Стрелковые цепи охотников ловко перебегали по скалам, за ними и равняясь на них, бежали стрелки. Японцы не выдержали огня с близкого расстояния и бросились бежать в горы. Загремело по горам русское «ура», и стрелки побежали штыками догонять японцев. Часть их приняла штыковой бой и столкнулась с нашими. Один японский офицер, не желавший сдаваться и припертый стрелками к крутому и отвесному берегу реки, бросился со скалы в воду и разбился о камни. Последнею уходила японская горная батарея; повьючив пушки на лошадей, она рысью догоняла своих.

Стрелки ворвались в окопы. 26 убитых и тяжело раненных японцев валялись на земле. По красным околышам фуражек, по цифрам на погонах мы узнали, что это были солдаты 4-го гвардейского полка. Ружья, бинокли и карты были брошены в окопах. Мы потеряли 2 человек убитыми и 19 ранеными. Подобравши убитых и раненых, собравши японские ружья и снаряжение, гордые победой, вернулись наши роты в шестом часу вечера в Тюренчен.

Между тем и рано утром, далеко в горах, на севере были слышны пушечные выстрелы. Как узнали потом в Шахедзах из донесений, — это переправлялись через реку Ялу против устья реки Амби-хэ части 12-й дивизии генерал-лейтенанта Инуйе. Против места этой переправы стоял отряд подполковника Гусева из 2 1/4 роты 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, 2 сотен уссурийских казаков с 2 горными орудиями.

В 10 часов утра 2 японские батареи (12 орудий) с гор, находящиеся на левом берегу реки Ялу, начали обстреливать наш берег, и в то же время множество понтонов, нагруженных японской пехотой, отчалили от берега и стали переправляться на бывший здесь остров. 2-я и 10-я роты 24-го стрелкового полка заняли окопы на берегах реки Амби-хэ, тут же стали и горные пушки. До японцев было далеко, снаряды горных орудий долетать не могли, а потому наш маленький отряд не мог помешать высадке японцев на остров. Попробовали стрелять залпами по японским понтонам, но и пули не долетали. Тогда, видя, что японцы окружают отряд, подполковник Гусев приказал отходить.

В 2 часа японцы принялись за постройку моста с левого берега Ялу на остров, а к 3 часам утра постройка была закончена.

Как только стрелки 22-го полка покинули берег реки Ялу, туда причалили японские понтоны и с них стали высаживаться солдаты пехотного полка 12-й дивизии. В то же время и с острова Киури на правый берег Ялу переправилось около 9 рот японцев и 1 эскадрон.

Становилось ясно, что японцы замышляли собрать большие силы против нашего левого фланга. Но начальнику отряда генералу Засуличу трудно было решиться стягивать все свои силы к Тюренчену, покидая Шахедзы, потому что и с правого фланга от генерала Мищенки шли тревожные донесения. Весь день японские пароходы сновали в устьях р. Ялу, таская за собою баржи с бревнами и лесом. Возле деревни Ломбагоу собрали все эти запасы. И там стучали топоры, и там сновали японские солдаты, и с минуты на минуту можно было ожидать и здесь наводки моста и переправы. Где была настоящая работа и где обман — решить было невозможно. Быть может, японцы хотели, пользуясь тем, что их вдвое больше, охватить Восточный отряд с обеих сторон... И начальник отряда решил оставаться пока в Тюренчене, Шахедзах и Тензах, чтобы быть готовым принять японцев всюду, куда бы они ни начали наступать...

Так, в постоянной тревоге, смущаемые слухами и справа и слева, сбиваемые часто противоречивыми донесениями и принужденные бездействовать, провели войска Восточного отряда пять тяжелых, мучительных дней.

Глава четвертая

Обстреливание японскими батареями Тюренчена 17 апреля. — Постройка моста с о. Киури на наш берег. — Переправа 2-й и гвардейской японских дивизий на правый берег р. Ялу ночью на 18 апреля

В глубокой тайне, в тишине и мраке апрельской безлунной ночи готовили японцы свой удар. В ночь на 17 апреля на остров Сямалинда были переправлены все полевые батареи 2-го артиллерийского полка и несколько батарей тяжелых пушек-гаубиц. Таким образом, всего в трех верстах от Тюренчена, где была лишь одна наша батарея, стало до 80 легких и тяжелых орудий, готовых разнести снарядами все места, занятые нами. Окопы, за которыми

стояли японские пушки, были так хорошо прикрыты соломою, песком и тальником, что присутствие грозной японской артиллерии на острове Сямалинда осталось для нас совершенно неизвестным даже утром 17 апреля. Ночью же японцы закончили постройку деревянного моста у деревни Дихуадон, верстах в 8 к северу от Тюренчена, и с первыми лучами солнца на наш берег перешел еще один полк с батареей. Против нашего левого фланга, прикрытого 2 батальонами 22-го стрелкового полка с батареей, стало 2 полка японцев с батареей, бывших под командою генерал-майора Киецу. Отряд этот сейчас же после переправы двинулся двумя частями к дер. Синдягоу и расположился за Хусанскими горами. В 8 часов утра еще полк пехоты, полк конницы и батарея под командою генерал-майора Сасаки перешли через Ялу и продвинулись в глубь Маньчжурии, оттеснив наши посты уссурийских казаков и охотников 24-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Этот японский отряд, почти без дорог, по узким горным тропинкам, таща на руках пушки, продвинулся далеко вперед и к вечеру 17 апреля зашел за наше расположение и мог напасть на Тюренчен сзади.

Едва только показалось солнце из-за Корейских гор и прояснился туман, застилавший речную долину, как заревели японские пушки на острове Киури, раздались отрывистые удары их выстрелов, двойные звуки разрывов японских шрапнелей, тяжелые взрывы японских гранат, называемых шимозами. В безоблачном небе, точно белые тучки, поползли дымки шрапнельных разрывов, завизжали ее круглые пульки и стали чаще и чаще подниматься густые тучи черного дыма и земли от разрыва шимоз. То гвардейские японские батареи открыли огонь и по Хусанским горам, и по тылу Тюренчена. Наши четыре орудия 6-й бригады, стоявшие у деревни Потетынцза, попробовали было состязаться с японской артиллерией и даже успели выпустить около 300 снарядов, но, подавленные страшным превосходством врага, замолчали. В то же время в стороне дер. Лизавена показались густые цепи японской пехоты.

Стоявший на Хусанских горах полковник Громов с 6 ротами 22-го полка и 2 орудиями, видя, что его обходит до шести батальонов, стал отступать к дер. Потетынцза. Японцы заметили это движение и стали провожать отходящих стрелков частою непрерывною стрельбою пачками. В 22-м полку мы потеряли при этом 7 человек убитыми и 33 ранеными и в 3-й батарее 6-й бригады 2 убитыми и 8 ранеными.

В половине одиннадцатого утра с нашей 2-й батареи 6-й бригады, стоявшей в Тюренчене, возле так называемой Телеграф-

ной горы, заметили японские лодки в главном русле реки против дер. Матуцео.

Живо изготовились артиллеристы. Раздалась команда, и шрапнель за шрапнелью, со скрежетом рассекая воздух, понеслись к этим лодкам. И точно ждали японцы этих выстрелов. Сейчас же все батареи острова Сямалинда с близкого расстояния стали обстреливать Тюренчен. Вместо тишины весеннего полудня, прерываемой далекими выстрелами, казалось, все небо над Тюренченом застонало и завыло, рассекаемое тысячами снарядов. Горное эхо отвечало громовыми раскатами на выстрелы. Шимозы японцев превосходно попадали в места расположения наших биваков. Они попадали в фанзы, занятые стрелками, падали в палатки, ударяли в гребни окопов. Одно время шрапнели осыпали нашу 2-ю батарею, не давая людям выйти из окопов. Наблюдавший стрельбу командир этой батареи подполковник Маллер был смертельно ранен. Шимоза ударила в палатку командира 3-го батальона 12-го стрелкового полка подполковника Пахомова и разнесла его по кусочкам. От него нашли только руку да окровавленную челюсть. До 400 снарядов легло в Тюренчене. Занимавшие его стрелки все время этой пальбы сидели, прижавшись спиною к окопам, спустивши ноги в рвы, и ожидали падения снарядов. А они шуршали в воздухе, выли и ревели, все приближаясь. И вдруг со страшным гулом падали на землю и сейчас же свистали кругом осколки, и черной тучей поднимался вонючий дым...

Первый раз по настоящему, живому противнику действовали новые скорострельные пушки. Первый раз быть в этом огне довелось русским войскам. И непрерывный свист шрапнельных пуль, и отчетливые, резкие, как бы звенящие звуки разрывов шрапнели, и черный дым шимозных взрывов, и резкий вой летящих осколков, и шуршание в воздухе пустых стаканов шрапнели — все это произвело сильное впечатление на солдат. Это не был страх, нет, и в этом аду перед лицом носящейся смерти русский солдат ее не боялся, но это было сознание своего бессилия, немощи, невозможности обороняться. Бессонные, тревожные ночи, предшествовавшие этому дню, сказались. Бодрость пропадала, недоверие к своим силам закрадывалось. «Японец отовсюду заходит, японец закружает нас», — говорили солдаты. 22-й полк отошел уже. Отступление, предусмотренное командующим армией, начиналось, но оно, это отступление, не было предусмотрено в сердцах русских людей, русских солдат, и им казалось, что оно совершается потому, что противостоять японцам нет ни сил, ни возможности...

Артиллеристы бесстрашно пытались вмешаться своими ничтожными силами в этот отчаянный бой. 4 орудия 3-й батареи 6-й бригады, стоявшие у дер. Потетынцза, открыли огонь по японским саперам, работавшим в русле между островами Киури и Осеки и по стоявшей там артиллерии. Расстояние было велико, стрелять пришлось «на удар», то есть во весь прицел, с разрывом снаряда при падении на землю. Батарея выпустила 180 снарядов. Но сейчас же японцы стали так сильно ее обстреливать, что нельзя было вывести прислугу из ровиков, и она прекратила стрельбу.

В полдень стрельба японских батарей стихла. Наступила томительная тишина. После грохота выстрелов и воя снарядов, казалось, стало особенно тихо. Но не прошло и получаса, как одно за другим загремели орудия на Сямалинде, им стали вторить с Киури, и опять ничего не стало слышно, кроме воя снарядов, проносившихся в воздухе, щелканья шрапнели и взрывов шимоз. Часть снарядов была направлена и в Шахедзы. Они рвались в пустых улицах, разрушали дома, шарили и искали себе жертв повсюду.

Под прикрытием этого огня, не выпуская наших стрелков из окопов, японцы в полной безопасности приступили к постройке мостов с острова Киури на наш берег и на остров Осеки, а оттуда к деревне Синдягоу. К ночи эти мосты были готовы.

В 5 $^{1}/_{2}$ часов вечера, когда солнце, опускаясь к Фынхуанченским горам, стало слепить глаза японцам, они прекратили стрельбу. Теперь совершенная тишина наступила кругом. Люди стали выходить из окопов, разминать отекшие руки и ноги, варить чай, готовить обед. Тогда стали считать и свои потери. И оказалось, что этот страшный огонь, эти тысячи снарядов, брошенных японцами в Тюренчен и Шахедзы, эти десятки тысяч осколков и пуль, упавших в окопы, палатки лагерей резервов, фанзы и на батареи, принесли нам очень мало вреда. У нас был ранен полковник Мейстер, смертельно ранен подполковник Маллер и убит подполковник Пахомов. Убиты, кроме того, 1 офицер и 16 нижних чинов и ранены 8 офицеров и 57 нижних чинов — вот и все, что сделал этот страшный огонь, продолжавшийся с лишком 7 часов.

Но благодаря этому огню японцы подготовили вполне свою переправу через Ялу и могли начать свое обходное движение.

И когда вечером наши войска огляделись, — они увидали, что у японцев все готово для атаки наших позиций. И мы ожидали этой атаки той же ночью. И опять долгую ночь сидели стрелки в окопах с ружьями наготове и томились мучительным, тревожным ожиданием.

Враг не спал. Он работал крадучись, осторожно. К 9 часам вечера у японцев была закончена постройка всех мостов, и началось передвижение на наш берег 2-й и гвардейской дивизий. А 18 апреля к рассвету вся 1-я армия генерала Куроки была на правом берегу, против левого фланга Восточного отряда.

Но мы этого не знали... Хотя и были получены донесения о переправе японцев и о том, что ночью отчетливо был слышен стук колес перевозимых японцами орудий, — начальник Восточного отряда не ожидал нападения 18 апреля, а предполагал, что в этот день японцы опять будут обстреливать нас своей артиллерией. Вот почему на доклад генерала Кашталинского о том, что войскам, занимающим Тюренчен, в нем не удержаться, начальник отряда тем не менее приказал всем частям оставаться на своих позициях.

Глава пятая

Место боя у Тюренчена. — Отход 12-го стрелкового полка от Тюренчена. — Отступление стрелков 22-го полка от дер. Потетынцза. — Бой у Чингоу. — Гибель батареи подполковника Покотило. — Бой 12-го полка на р. Хантуходзы

Настало утро. И снова, как все эти дни, из розового марева безоблачного неба, из-за фиолетовых гор, покрытых клубящимся туманом, всходило румяное солнце. Это солнце Тюренчена, солнце, озарившее мученическую, доблестную смерть многих сотен храбрых русских офицеров и солдат. Солнце борьбы одного против десяти...

Было тихо на местах, занятых для боя. Приказаний особых о бое не было. Боя тем не менее ждали, душою чувствовали, что он будет, и не знали, как вести себя в нем...

В это утро наши войска были расположены следующим образом.

Полуразрушенную деревню Тюренчен занимали: 5-я и 6-я роты 11-го полка и 8-я рота 24-го полка — это был правый участок Тюренченской позиции. Командовал им подполковник Яблочкин.

Правый берег реки Эйхо от Телеграфной горы версты на полторы на север, лицом к Ялу — занимали шесть рот 12-го полка под начальством подполковника Цыбульского. Сзади них стояли 7-я

и 8-я роты 12-го полка. Еще далее, в глубокой балке, позади Тюренчена находились четыре роты 12-го полка с 8 пулеметами.

Несколько сзади Тюренчена деревню Потетынцза занимали: правую часть ее — 10-я и 11-я роты 22-го полка и 6 орудий 3-й батареи 6-й бригады под начальством командира батареи подполковника Покотило и левую часть — 5-я и 12-я роты 22-го и 7-я рота 11-го полка под начальством подполковника Горницкого.

Еще дальше на северо-запад у деревни Чингоу стоял 1 батальон 22-го полка с 2 орудиями 3-й батареи 6-й бригады.

Против этих войск ночью на 18 апреля тихо развертывалась вся японская армия генерала Куроки.

Таким образом, к утру 18 апреля для встречи 3 японских дивизий, с осадными, полевыми и горными пушками, мы имели всего 7 батальонов и 2 батареи, растянутых на 12 верст.

Как только солнце позолотило холмы и овраги Тюренчена, загремели тяжелые пушки на острове Сямалинда и, со скрежетом рассекая воздух, понеслись снаряды в Тюренчен. 20 минут продолжалось обстреливание деревни по всем направлениям. Потом стало совершенно тихо, и до 6 часов 40 минут утра все было спокойно на наших позициях.

В это время стрелки 5-й роты 22-го полка, находившиеся у деревни Потетынцза, заметили передвижение японских постов на левом берегу реки Эйхо и сейчас же открыли по ним огонь залпами...

Было 7 часов утра. Роты, находившиеся вне окопов, только что стали занимать их. И тут же стрелки увидали, что тот берег реки Эйхо, широкая долина, местами видная за Хусанскими горами, покрывается японскими войсками. Японцы шли маленькими кучками — звеньями, шли открыто и смело. Не только в бинокль, но и простым глазом было видно, что одеты они в темно-синие мундиры и белые гамаши (чулки). Число их быстро увеличивалось, из-за гор появлялись все новые и новые кучки людей, то растягиваясь в цепи, то сжимаясь в звенья, они шли к реке Эйхо. Расстояние до них еще было около 2 верст.

И тогда с нашей стороны резко, отчетливо и властно стали звучать короткие залпы.

И точно ждали этого японцы! Сейчас же все японские батареи, все 20 осадных и 72 полевые пушки загремели с острова Сямалинда и из-за деревни Синдягоу и начали обстреливать вдоль и поперек Тюренченскую позицию. Шрапнели осыпали окопы 12-го стрелкового полка, тяжелые снаряды срывали с них землю, и падали на дно окопов убитые, и медленно ползли назад раненые...

А между тем уже за тонкими цепями показались более густые колонны японцев. Батарея подполковника Покотило, стоявшая у деревни Потетынцза, попробовала открыть огонь по этим колоннам, но сейчас же на шесть наших пушек обрушились все гвардейские батареи. Задымилась от дымков рвущихся шрапнелей батарея Покотило, со свистом понеслись пули по прислуге, и наши шесть пушек смолкли под огнем 20 японских орудий.

Цепи японцев приближались смело к нашей позиции у Тюренчена. Иногда они останавливались. Японцы ложились и открывали частый огонь пачками по нашим окопам. Стрелки 12-го полка отвечали из окопов. Но довольно открытые окопы наши, не имевшие никаких укрытий для головы стрелка, делали то, что стрелки стреляли беспокойно и мало поранили отчетливо видных на желтых песчаных берегах реки Эйхо японцев.

К гулу орудийных снарядов, к реву и тяжелому буханью пушек теперь присоединились частая трескотня японских ружей, и наши залпы, и наш частый огонь пачками.

Японцы уже входили в воду реки Эйхо, по грудь и по шею шли они через реку. Тяжелые снаряды японских пушек били по самому гребню окопов, срывали землю и темным и едким дымом своим застилали глаза стрелкам. Левофланговые наши роты почти не приносили японцам вреда. Но зато бывшие на правом нашем фланге, менее обстреливаемые, лучше укрытые роты подполковника Яблочкина, а также 4-я и 6-я роты 12-го полка, занимавшие окопы Телеграфной горы, развили страшно сильный огонь по переправляющимся через реку японцам. Японские цепи стали приходить в замешательство. Раненые падали в воду и тонули, другие не шли в реку и топтались на берегу. Но на смену утонувших шли новые и новые цепи, и казалось, не будет конца этому движению японцев...

4-й и 29-й японские полки в 8-м часу утра уже переправились через реку Эйхо и длинными цепями охватывали Тюренчен слева. Спереди окопы Тюренчена громили японские пушки... В 9 ротах 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, бывших здесь, убыли из строя убитыми и ранеными 4 ротных командира и много нижних чинов.

Тогда приказано было 12-му полку оставить Тюренчен и отходить назад в долину р. Хантуходзы.

Как только стрелки 12-го полка оставили окопы в Тюренчене, японцы начали взбираться на высоты между Тюренченом и Иогу. Тогда наши роты остановились на вершинах Тюренченских холмов и стали стрелять по японцам, а 6-я рота лихо бросилась на

японцев в штыки. Японцы отхлынули назад, а 6-ю роту стали расстреливать шедшие сзади них части резервов.

Так, после часового боя, в 8-м часу утра 12-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку пришлось покинуть Тюренчен под напором 2-й и гвардейской японских дивизий.

Широкая долина р. Хантуходзы, куда отходили стрелки, уже обстреливались японцами, занявшими Хусанские горы и холмы Тюренчена. Для задержания японцев в эту долину направлена была генералом Засуличем пулеметная рота, 2-я батарея 6-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады, а потом еще и 2 батальона 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Перед отступившими стрелками 12-го полка, наскоро остановившимися здесь, расстилалась широкая долина речки Хантуходзы. Впереди были холмы занимаемого японцами Тюренчена, влево — высокие горы у Потетынцзы и Чингоу, вправо вдали виднелись холмы Шахедзы.

Пулеметы, 2-я батарея и части 12-го полка стали здесь, и к ним небольшими кучками стали подходить от Тюренчена остальные стрелки 12-го полка.

Раненые волочились сзади. Иных настигали японские пули, и они падали, чтобы уже больше не вставать. И все больше и больше неподвижных темных тел покрывало долину и скаты Тюренченских холмов. Японцы бросились было от Тюренчена, чтобы преследовать 12-й полк, но огонь 2-й батареи и пулеметов остановил их. К 10 часам утра стрелки собрались за рекою Хантуходзы и стали в резерве. В 11-м часу все здесь затихло. Куроки приостановил наступление гвардии и 2-й дивизии в ожидании, когда 12-я дивизия закончит свой обход нашего левого фланга.

С раннего утра 6 гвардейских и 3 батареи 2-го японского артиллерийского полка обстреливали отряд полковника Громова частым шрапнельным огнем. Но благодаря хорошему устройству окопов в деревне Потетынцза мы имели мало потерь, а стрелки 22-го полка перестреливались с японской пехотой, отлично видной на берегах реки Эйхо. И от этого японцы наступали здесь медленно. Утомленные тяжелым переходом накануне по горным тропам, японские солдаты шли вяло, выжидая подкреплений и дальнейшего обхода 12-й дивизии.

Около 9 часов утра к полковнику Громову подъехал конный охотник и доложил ему, что слева показалось очень много японцев.

Полковннк Громов поднялся на холм и увидел, что по горным склонам чернеют длинные густые колонны японцев. Это шли главные силы 12-й дивизии.

Тогда полковник Громов приказал стрелкам 22-го полка отходить на тропу южнее деревни Чингоу. На руках скатили стрелки орудия батареи подполковника Покотило вниз с кручи у деревни, а за ними пошли 7-я и 10-я роты 22-го полка, назначенные в прикрытие.

И здесь так же, как и в Тюренчене, бой затих.

Около 10 часов утра в деревню Тензы приехал начальник Восточного отряда генерал Засулич.

В это время из Тензы выступали 1-й и 3-й батальоны 11-го полка с 3-й батареей 3-й бригады, под начальством полковника Лайминга. Генерал Засулич приказал Лаймингу прикрыть отход отступающих частей.

Отряд потянулся вниз — туда, где только что непрерывно гремели выстрелы.

Вместе с тем генерал Засулич послал приказание полковнику Шверину, занимавшему Шахедзы, очищать город и сжигать склады продовольствия.

Около десяти часов утра над Шахедзами показались густые клубы дыма, стало видно и пламя. Горели наши склады. В то же время оттуда ушел отряд полковника Шверина, направляясь на Фынхуанчен...

Отступление главных сил началось. Но передовым частям, стоявшим у Тюренчена, Потетынцзы и Чингоу, предстояло пережить еще много тяжелых минут.

Как только орудия 3-й батареи 6-й Восточно-Сибирской бригады, стоявшие у деревни Потетынцза, были спущены вниз и надеты на передки, батарея карьером понеслась по Тюренченской дороге. Роты прикрытия не могли за нею поспеть. Часть стрелков побежала за батареей, часть стала брести в разные стороны. Подполковник Покотило поскакал за своей батареей, чтобы вернуть ее. А между тем гвардейская пехота и полки 12-й японской дивизии уже захватили деревню Потетынцзы и окружали со всех сторон отряд полковника Громова.

Стрелки 22-го полка оказались в горах со всех сторон окруженными японцами. Куда ни трогались роты, — они всюду попадали под огонь японцев. Тогда 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я и 12-я роты 22-го полка стали в беспорядке отходить горами на запад, направляясь каждая туда, куда ей это казалось безопаснее. Уныло брели люди по одному, по два, по три, кое-где, где был офицер, шли взводом, направляясь на Тензы, на север, к Фынхуанчену...

Так к 10 часам утра на своем месте оказался только 1-й батальон 22-го полка с 2 орудиями 3-й батареи 6-й бригады и 20 охотниками, стоявший у Чингоу.

Около 10 часов утра стрелки, занимавшие Чингоу, увидели, что японцы гуськом пробираются по горной тропинке к броду через реку Эйхо. Это и был обход нашей позиции полками 12-й японской дивизии.

Поручик Шаляпин, командовавший артиллерийским взводом, стал обстреливать японцев шрапнелью. Японцы остановились и открыли частый огонь по стрелкам и батарее. Скоро, сраженный пулею, упал раненый поручик Шаляпин; его заменил фейерверкер, но и его свалила японская пуля. На место командира взвода стал наводчик, но и его скоро ранили... Тогда взвод сошел с позиции, а за ним потянулся и 1-й батальон 22-го полка. Так очищена была нами и последняя наша позиция на реке Эйхо, и 12-я дивизия японцев стала торопиться отхватить наши роты, отступавшие к Фынхуанчену.

Подполковник Покотило, поскакавший за своей батареей, догнал ее лишь через две версты и приказал вернуться на Потетынцзу, а оттуда идти на Чингоу. Батарея повернула назад и одна, без всякого прикрытия, пошла за своим командиром к деревне. Но дорога была уже занята японцами. Куда ни смотрели, — везде бинокль открывал темные мундиры японцев. И в Потетынцзе, и у Чингоу — все кишело ими. Как муравьи, покрыли они горы, и пути назад не было. Оставалось одно — опять идти на Тюренчен. И снова батарея повернула и пошла по узкой, углубленной дороге к Тюренченским холмам. Здесь ее заметили японцы. Их цепи бегом бросились к беззащитной батарее, которой нельзя было даже сняться с передков и стрелять. Японцы залегли в горах над батареей и, не смея броситься на артиллеристов, вооруженных лишь шашками и револьверами, стали расстреливать их из ружей. Стали падать убитыми лошади. В двух ящиках и в одном передке поломались дышла. Беззащитная батарея стала...

Тогда подполковник Покотило приказал выпрячь лошадей, испортить орудия, а людям уходить вразброд на запад. И вот под частым огнем неприятеля артиллеристы снимали замки, отвинчивали прицелы, рукоятки, предохранители, брали угломеры. Под огнем падали люди. 8 человек солдат в батарее было убито, 15 ранено и 38 лошадей убито. И когда ушли последние люди, на раненых и убитых людей и лошадей, на брошенные испорченные пушки бросились солдаты 3-го японского гвардейского полка...

Теперь все те места, где больше месяца стояли стрелки, были в руках у японцев. Тюренчен кишел ими, полны были ими и Потетынцза, и Чингоу. Наши полки уже шли к Фынхуанчену, и только на холмах над долиною реки Хантуходзы оставались 12-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с 7 орудиями 2-й батареи 6-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады и 8 пулеметами, да к ним спешили от Тензы 1-й и 3-й батальоны 11-го полка. Эти 5 батальонов, ослабленных потерями в утреннем бою, должны были грудью своею прикрыть от натиска армии Куроки весь Восточный отряд, стягивавшийся на Фынхуанченскую дорогу.

С 9 часов утра до половины второго часа на этом новом месте боя было тихо. Изредка за Тюренченскими горами коротко бухали пушки. Японцы нет-нет да посылали тяжелый осадный снаряд в нашу сторону. Но снаряды до нас не долетали.

Куроки ждал, когда артиллерия перейдет через реку Эйхо. Его утомленные ночными работами по переправе и утренним боем солдаты не шли вперед. И командующий 1-й японской армией терпеливо ждал, когда поедят и подкрепят свои силы его солдаты.

Во 2-м часу дня генерал Кашталинский приказал отряду, занимавшему долину р. Хантуходзы, отходить на Фынхуанченскую дорогу.

Едва только стрелки поднялись со своей позиции, как генерал Куроки приказал возобновить наступление.

И не прошли стрелки 12-го полка и 2 верст от Хантуходзы, как увидали, что они отрезаны.

Спереди на них наседал, осыпая пулями, передовой отряд японской гвардии, а сзади против них собрался отряд японского полковника Умесава из 2 батальонов 4-го гвардейского и 2 батальонов 30-го полка и гвардейской кавалерии.

Бывший при 12-м стрелковом полку начальник штаба 3-й стрелковой бригады подполковник Линда приказал капитану Павловскому с 9-й и 11-й ротами атаковать японцев, обошедших нас. Ротный командир капитан Ракушин сам поднял цепи своей роты и под страшным огнем повел их на японцев. Люди падали убитыми и ранеными, цепь редела и наконец повернула назад. Но доблестный капитан Ракушин остановил ее и, поддержанный 7-ю и 8-ю ротами, снова пошел в атаку. Это остановило японцев и дало возможность стрелкам, все время осыпаемым пулями, выйти наконец на Фынхуанченскую дорогу.

Здесь, у деревни Тученза, полк остановился. Как сильно поредели его ряды! Вместо рот стояли взводы. Не было офицеров.

Стрелков построили, рассчитали и из 12 рот сделали шесть. В этом бою стрелки 12-го полка из 2174 человек потеряли 11 офицеров убитыми, 10 ранеными, 2 без вести пропавшими, 273 стрелка убито, 352 ранено, 212 пропало без вести; кроме того было ранено и осталось в строю 2 офицера и 47 стрелков.

Шедший на выручку 12-го полка 11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в 2 часа дня занял позиции на дороге, идущей из Тюренчена на Хаметан. Здесь же, в лощине, стали 3 батарея 3-й бригады и пулеметная рота. Место, занятое стрелками 11-го полка для боя, представляло собою гору с весьма крутыми скатами. Ни одного укрытия не было на этой горе, а за ней расстилалась лощина, ровная и чистая, без куста, без балки, без канавы или валика.

Солнце уже склонялось к западу, когда стрелки, пришедшие из резерва, впервые увидали японцев. Сначала показались редкие дозоры, за ними потянулись густые и темные цепи японцев.

Японцы наступали на 1-й батальон спереди и в то же время обходили его слева. Начался сильный и частый ружейный огонь с обеих сторон, и ничем не прикрытые стрелки стали падать убитыми и ранеными. На поддержку 1-го батальона пришел 3-й и, выслав свои роты в цепь, соединился с ротами 1-го батальона. Все шло у стрелков как на учении.

3-я батарея 3-й бригады подполковника Муравского получила приказание генерала Кашталинского отходить на Фынхуанченскую дорогу. Но едва она тронулась, как засвистали и защелкали над нею японские пули. Шедшие впереди зарядные ящики прибавили рыси и прошли обстреливаемое место благополучно, но орудия замялись. Перед ними стали быстро перебегать японцы, их цепи занимали горы и оттуда спускались к самой дороге. Нужно было открыть себе проход силою.

Подполковник Муравский приказал поручику Хрущову с двумя орудиями обстрелять японские цепи шрапнелью, а остальные четыре орудия хотел провести, прикрываясь огнем орудий Хрущова. Но уже было поздно. Японцы подобрались близко, их огонь стал удивительно меток, и в запряжках начали падать лошади. Батарея стала. «С передков!» — скомандовал Муравский, и под пулями, падавшими на дорогу, как крупные капли летнего дождя, люди на руках подкатили орудия и стали немного в стороне впереди орудий Хрущова. Уже в это время несколько человек упало убиты-

ми и ранеными, но остальные делали свое дело. Снарядов было немного. Зарядные ящики ушли — остались только те снаряды, которые батарея возит с собой в передках. Под градом пуль, бегом добежали солдаты до передков с убитыми и ранеными лошадьми и принесли снаряды. Японцы были близко. Отлично были видны их темные мундиры и желтые околыши фуражек. Помощи ждать было неоткуда. 11-й стрелковый полк сам боролся против тысяч японцев и был уже окружен — батарее оставалось только умереть с честью. В эти страшные минуты все на батарее: и офицеры, и солдаты понимали и сознавали одно — спасения нет. Эти часто падавшие пули, то ударявшие со звоном в орудие, то мягко щелкавшие по земле, то валившие на землю кого-либо из артиллеристов, были неизбежны, как неизбежна судьба. Уже при виде упавшего товарища не кричали: «Носилки!» — потому что некому, да и некуда было уносить раненых. Каждый на этой одинокой, охваченной японцами батарее думал одно: возможно дороже продать свою жизнь. И огонь батареи был меток. Упал убитым подполковник Муравский, его сменил штабс-капитан Петров, но и его свалила пуля; раненный, потерявший сознание, он упал подле пушек. Не хватало людей заряжать и носить снаряды: оставшиеся старались поспеть на два, потом на три, наконец на все четыре орудия. Один и тот же номер нес работу шести номеров. Он приносил снаряд, он вкладывал его в пушку, он закрывал затвор, он наводил и стрелял. Отчаяние удесятеряло силы. Эта доблестная батарея таяла, умирала, валялась на земле, мучимая ранами, но не сдавалась. Остатками командовал поручик Иванов, пока его не ранили; батарея осталась без командира, почти без прислуги, почти без снарядов.

Единственный оставшийся в живых и не раненый офицер ее поручик Костенко с бомбардиром-наводчиком Кѝяшко и еще с двумя номерами вчетвером стреляли из четырех орудий... И вот дострелены последние патроны. Ранен последний офицер батареи поручик Костенко. Страдая от раны, в залитом кровью мундире, с помутившимся сознанием он, как в бреду, продолжает работать. Эти четыре человека, как тени, бродят между орудиями; они вынимают прицелы, разбирают замки и идут помочь своему 4-му взводу, яростно отстреливающемуся под командою поручика Хрущова.

Мертвая батарея из 4 орудий осталась на дороге, покрытая телами убитых, окруженная молчаливыми страдальцами, ранеными героями-артиллеристами. Но японцы не смели еще подойти и за-

брать пушки. Их сдерживал меткий огонь взвода поручика Хрущова, положившего двух офицеров и половину солдат одной из японских рот, бросившейся было в атаку.

К этому взводу пристроились пулеметы, а около 4 часов дня к ним подошли и 7 орудий 2-й батареи 6-й Восточно-Сибирской бригады. Эти наши 9 пушек и пулеметы не пускали японцев спуститься с гор и забрать открыто дравшийся 11-й стрелковый полк. И тем сильнее стреляли японцы из ружей, сгущая свои цепи, заходя все дальше и дальше горами, окружая стрелков со всех сторон.

На помощь японской пехоте около четырех часов дня подошли 3 батареи и стали осыпать шрапнелями наши цепи. Все больше и больше ружей умолкало, выпадая из коченеющих рук убитых стрелков. Кое-где роты отошли, но останавливались и снова занимали позиции.

Этот доблестный полк, эти 9 пушек, не считая четырех замолкнувших навеки, эти 8 пулеметов сдерживали всю армию Куроки. И гвардейцы Ватанабе и почти вся 12-я дивизия, полки Умесава не могли сломить лишь одного полка русской пехоты. Он таял, он умирал, он истекал кровью, но не уходил, стоя железным заслоном всему Восточному отряду.

За его спиною, измученные, потрясенные, потерявшие половину товарищей, отходили стрелки 12-го полка; за его спиною свертывались полевые госпитали и лазареты и по узкой горной дороге уходили на запад к Фынхуанчену...

А он оставался один, видя, что его окружают, видя, что смерть или плен грозят ему...

Смерть — да, но только не плен!

Доблестные стрелки о сдаче не думали. Твердые сознанием священного долга погибнуть самим, но выручить товарищей, они крепко стояли, ожидая атак врага...

К командиру полка подъехал подполковник Линда и передал, что можно начать отступление. Но полковник Лайминг, узнав, что еще не весь отряд вытянулся на Фынхуанченскую дорогу, отвечал:

«Мне приказано прикрыть отступление всего отряда, и я головой отвечаю за это!»

Русский командир полка умел исполнить свой долг до конца.

А между тем пули японцев уже стали осыпать наших стрелков не только спереди, но и сзади. Пришлось отодвинуться.

В полном порядке отошли роты 11-го полка, спустились с горы и, перейдя совершенно открытую долину, заняли лежавшую здесь небольшую горку. Она со всех сторон была окружена высо-

кими горами, и японцы спешили теперь занять их, чтобы сверху, со всех сторон, поражать противника.

3-й и 4-й полки японской гвардии и 30-й полк сейчас же взобрались на ту высокую гору, которую только что покинул 11-й полк, горные орудия и части 12-й японской дивизии заняли горы напротив, а 24-й японский полк торопился захватить единственную еще свободную дорогу через перевал в Хаметан.

Приближался последний час для наших стрелков. Потерявшие около половины офицеров, с малым числом людей в ротах, они принуждены были отстреливаться во все стороны. 2 орудия поручика Хрущова и 2-я батарея 6-й бригады стреляли по всем направлениям. Орудия, ящики, повозки, пехота — все это занимало небольшую долинку и расстреливалось сверху японцами.

Вечерело. Розовел закат, покрывая золотом окровавленные холмы. Японцы занимали последний путь отступления — дорогу на Хаметан.

Было 5 часов вечера, когда полковник Лайминг решил штыками пробить путь спасения своему полку. Он сел верхом. По его команде к нему сбежались первыми роты 3-го батальона.

Сюда же, к командиру, поднесли полковое знамя, сопровождаемое 1-ю ротою, сошлись с перевязочного пункта нестроевые и музыканты. Стих с нашей стороны ружейный огонь, все замолкло в долине, и только по-прежнему кругом непрерывно трещали выстрелы японских винтовок да свистали и щелкали пули, выводя людей из рядов.

Настала торжественная и удивительная минута. Перед полком вышел священник, отец Щербаковский, и высоко поднял в руке своей крест. Золотыми блестками заиграло на нем солнце. Сняли шапки стрелки и перекрестились. Та молитва для многих была последней.

— С Богом, братцы! — сказал полковник Лайминг. — Музыканты, марш!..

Вольнонаемный капельмейстер Лоос взмахнул палочкой, и навстречу свисту пуль, заглушая трескотню японских выстрелов, грянул марш. Люди взяли ногу и широким стрелковым шагом, держа ружья наперевес, пошли на японцев. Оставшиеся одни орудия взвода Хрущова и 2-й батареи 6-й бригады стали обстреливать частым шрапнельным огнем японские цепи на перевале.

В середине колонны вели под руку и несли на носилках раненых...

И с каждым шагом этой страшной атаки падали люди. Раненых подхватывали, убитых обходили, и с новою смертью суровее

сдвигались брови у стрелков, крепче сжимали они винтовки и тверже ступали ногою...

Упал убитый полковник Лайминг, доблестный командир полка, убит и командир 3-го батальона подполковник Дометти... Падают сраженные пулями четыре ротных командира. Вот и ярко сияющий в воздухе золотом крест покачнулся. Отец Щербаковский ранен в правую руку. Как видно, японцы целились прямо в крест. Быстро нагнулся священник, перехватил крест в левую руку — и знамение веры опять высоко заколыхалось впереди грозного батальона...

С трудом идет и капельмейстер Лоос — он ранен... Музыканты сбились было с такта, смолкли на мгновение, но вдруг сразу полились родные звуки народного гимна! А навстречу ему из измученных грудей грянуло потрясающее «ура»! Кричали и раненые, залитые кровью, заглушая стоны лежавших на носилках. Широким потоком бросились стрелки в атаку на перевал. Бежали раненые, бежали люди с носилками, бежал впереди, благословляя крестом, священник...

Отхлынули японские цепи! Они не посмели принять этой атаки храбрецов. Только резервы их издали открыли жестокий огонь по нашей густой колонне. Целая дивизия японцев не посмела сойтись на штык с остатками русского полка.

Дорога на Тензы была открыта. Провожаемые японскими пулями, уходили стрелки, унося свое знамя, а за ними, хромая, ковыляя, опираясь на ружья, потянулись все раненые, которые хотя как-нибудь могли идти.

11-й Восточно-Сибирский стрелковый полк потерял здесь 14 офицеров убитыми и 9 ранеными. Стрелков было убито 206 и ранено 360, пропало без вести — 281, а всего из 2000 убыло 847. Осталось в строю раненых 2 офицера и 35 нижних чинов...

А по японским цепям и резервам все так же вели огонь русские пушки, и шрапнели осыпали врага. То стреляли оставшиеся на поле орудия 2-й и 3-й батарей 6-й и 3-й Восточно-Сибирских бригад. Им вторили 8 пулеметов и ружья прикрытия остатков 3-й и 8-й рот 11-го полка. Стрельбою управлял штабс-капитан Сапожников. Орудия стреляли во все стороны, потому что всюду был враг...

Пулеметы вскоре замолкли — не стало патронов. Их попробовали унести через крутые утесы, но падали несшие их стрелки под метким огнем японцев. Пришлось вынуть затворы и оставить негодные пулеметы врагу. Смолкли понемногу и пушки. Японцы те-

перь направили против этой маленькой кучки людей частый и меткий огонь многих рот. В несколько минут были перестреляны лошади в зарядных ящиках и передках. Офицеры, поручики Костенко и Щегольков и подпоручик Хабаров, были ранены. Во взводе 3-й батареи осталось только пять человек прислуги. Раненый поручик Иванов управлял действиями орудий, раненые солдаты-артиллеристы, наскоро перевязавшись, снова шли к орудиям и помогали сколько могли. Наши батареи умирали, но не сдавались. Прикрытие стрелков почти все полегло под японскими пулями и смолкло. Наконец пронеслось страшное известие — нет больше снарядов...

Все реже и реже стреляли наши пушки. Японцы надвигались все ближе и ближе и теперь уже били без промаха. Отовсюду виднелись их загорелые лица, и только еще крутая и скалистая вершина горы, прижавшись к которой стояли наши пушки, была свободна.

Гулко прогудел наш последний выстрел... Штабс-капитан Сапожников приказал оставшимся людям вынуть, разобрать и запрятать затворы, а затем 4 офицера, из них трое раненых, и 40 солдат артиллеристов стали карабкаться на скалы, цепляясь за кусты и камни, перевалили гору и ушли...

Пулеметная рота потеряла здесь 15 человек убитыми и 35 ранеными и 22 лошади. В 3-й батарее 3-й бригады убито 3 офицера и 24 нижних чина и ранены 2 офицера и 68 нижних чинов, то есть почти все, и выбиты 72 лошади; во 2-й батарее 6-й бригады убито 2 офицера и 32 нижних чина и ранен 1 офицер и 39 нижних чинов и выбито 76 лошадей...

Тихо стало на поле сражения, покинутом русскими... Безмолвные стояли пушки, залитые кровью своих защитников. Кругом валялись пустые гильзы от артиллерийских патронов, окровавленные тряпки, шашки, фуражки... Мертвые тела лежали в стороне.

Сюда, к этим останкам батареи, минуту тому назад изнемогавшим в непосильной борьбе, к этим закопченным и окровавленным орудиям проворно сбегались японцы...

Через три дня, 22 апреля, весь Восточный отряд стянулся в деревню Туинпу, раскинулся вдоль горной речки биваком и стал на отдых.

Здесь рассчитали снова роты, здесь подсчитали раненых и убитых, здесь начали оправляться для новых и новых тяжелых боев...

Так кончилось сражение под Тюренченом, стоившее нам 60 офицеров и 2130 нижних чинов и громкою славою покрывшее знамена 11-го и 12-го Восточно-Сибирских стрелковых полков с их артилле-

рией. Оно окончилось отходом Восточного отряда от реки Ялу. Правда, этот отход был предусмотрен и заранее был решен, но поле сражения, в котором наши войска дрались неизмеримо храбрее японцев, осталось все же за ними...

За ними, но лишь потому, что нас было мало, что мы значительно были слабее огнем и ружейным и пушечным, — потому наконец, что нашим войскам задолго до боя было приказано отступить после временной задержки, а в самом бою из распоряжения начальства отряда так вышло, что против всей армии Куроки боролись то 12-й и 22-й стрелковые полки, то один 11-й. Было бы, быть может, иначе, если бы мы наступали, если бы армию Куроки в Тюренчене встретили все силы Восточного отряда, если бы драться пришлось одному против двух, а не против десяти, как это было.

Доблестные стрелки и их офицеры явили в этом тяжком бою достойный пример русской храбрости и отваги, и не их вина, что пришлось уступить мужественному врагу, оценившему доблесть и самоотвержение русских.

Безвестные, далекие могилы, полные костьми русских на холмах чести под Тюренченом, покойте до радостного пробуждения положивших за Родину жизнь свою наших стрелков и офицеров! Да не умрут в памяти Родины их подвиги и страдания! Да не забудется и высокий подвиг полковника Лайминга с его смелым 11-м Восточно-Сибирским стрелковым полком, твердо помнившим великую заповедь Христову: больше сея любве никто же имат, да кто душу свою положит за други своя...

На рубеже Китая

1. «Тетенькин хвостик»

Мы расскажем, как служили,
Как границу берегли,
Хотя денег не нажили,
Зато славушку нашли.
Слава русская большая,
Ей гордимся навсегда...
Пускай Царь наш не боится,
Что на Русь идет чума:
Наша русская граница
Есть китайская земля.

Казачья песня

К началу 1911 года мне стало казаться, что я скоро получу в командование полк. Мне шел 42-й год, и хотелось, пока есть еще физические силы, командовать полком «как следует», показать, что можно сделать из казачьего полка, где офицеры — воины по рождению, а нижние чины — казаки — люди, о которых неизвестный мне поэт сказал:

...Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей...

Была у меня еще особая причина, побуждавшая меня желать принять как можно скорее полк. В 1906 году в «Военном сборнике» были напечатаны мои статьи «О строевом командовании казачьим полком». В этих статьях, на основании опыта Японской войны, я проводил свои взгляды на воспитание, обучение и маневрирование казачьего полка. Статьи эти вызвали резкую критику, и письменную и словесную. Отвечать, полемизировать по такому жизненному вопросу на газетных столбцах не хотелось. Единственным ответом могло быть — самому стать во главе полка и показать на примере правильность предлагаемых ме-

тодов. Критике противопоставить действие или, как теперь говорят, — факт.

Собственно говоря, никаких данных к тому, чтобы я мог получить полк, у меня не было. Всего год тому назад, на Пасху 1910 года, я был произведен «за отличие по службе» в полковники, на так называемую атаманскую вакансию. Это производство лишило меня гвардейского мундира и чести быть лейб-гвардии в Атаманском полку, так как я обгонял товарища, бывшего годом старше меня по выпуску. Зачислен я был по Донскому войску и надел скромный армейский мундир. Как всего год тому назад произведенный в полковники, я еще не был внесен в кандидатские списки на полк и потому прав на получение полка не имел ни в очередь, ни вне очереди.

Я мог получить полк только по особой протекции, пробраться к полку, так сказать, как описывается про поросенка в басне-стихах, — держась за тетенькин хвостик.

Вот такой-то тетеньки, так художественно-живо описанной Юрием Галичем в романах «Звериада» и «Синие кирасиры» в образе «тант Мари», дамы великосветской, бывающей в «салонах», вращающейся в «высших сферах», могущей напомнить, вовремя подсказать, составить протекцию за вечерним бриджем или за чашкой дневного чая, убедить кого надо, что, «конечно, кандидатский список есть до некоторой степени закон, но ведь есть пути, по которым можно обойти этот закон. Дали же В. гвардейский полк, когда он вовсе не командовал армейским, или С. получил полк, не будучи кандидатом? На то есть *высочайшая воля*... Так почему же моему племяннику, который такой-сякой распредостойнейший штаб-офицер, — не дать полка? Вы говорите об омоложении армии, ну вот — и омолодите»...

Но такой «тант Мари» у меня не было.

Однако если сравнить мою судьбу с судьбою моего сверстника, который жил в провинции, вышел не из военной среды, учился в провинциальных училищах, служил не в столице, скромно и незаметно тянул лямку строевого офицера где-нибудь в глуши, то разница между таким штаб-офицером и мною оказывалась значительная и не в его пользу. Как ни хотел законодатель установить равенство для всех — это равенство постоянно и без всяких «тетенек» нарушалось — жизнью. В те времена, до Великой войны, хотя наша армия была бессословной и очень много офицеров были из крестьянского, купеческого и духовного звания и даже на самых высоких постах были вышедшие, что называется, «из низов», были люди «безрод-

ные» — *каста* все-таки сказывалась, и человек с военной фамилией более бросался в глаза при всяческих переменах карьеры. Я же был кругом из военной семьи. На верхах знали моего отца — ученого военного, автора многих исторических и статистических трудов о Донском войске, помнили моего деда, георгиевского кавалера и командира лейб-казаков. В ныне разрушенном большевиками храме Христа Спасителя в Москве на мраморной доске золотыми буквами было записано имя моего прапрадеда, убитого под Колоцким монастырем 25 августа 1812 года, накануне Бородинского сражения. Грибоедовское о Москве (Фамусова):

...Вот, например, у нас уж исстари ведется,
Что по отцу и сыну честь...

было в силе и в Петербурге.

Я родился и вырос в Петербурге и кончил Петербургские корпус и училище. Я год пробыл в Николаевской Академии генерального штаба. Мои учителя и профессора, которые знали меня кадетом, юнкером и на младшем курсе Академии, были теперь на верхах. Они меня не забыли.

Первые восемь лет своего офицерства я постоянно скакал на «Конкур иппик» в Михайловском манеже, принимал участие в скачках в Красном Селе и в только что начинавшихся тогда дистанционных пробегах. Лошадь у меня была всего $^3/_4$-кровная, Стрелецкого Государственного завода. На скачках мое место поэтому обыкновенно бывало первым... с конца. Но прыгала она великолепно и на стоверстных пробегах бывала и на вторых местах. Но, главное, — она была такой масти, что невольно запоминалась. Светло-гнедая — она (в ней была примесь арабской и карабахской крови) была совершенно золотая. Положишь ей на круп золотой — мы в те времена жалованье получали золотом и серебром — и золотого не видно, так сливается он с блеском ее шерсти. Звали ее Град. (Он был сын Горца и Ивы, внук знаменитого Искандер-бека, имевшего в себе кровь Абеяна Серебряного.) Этого Града за его масть, за его прыжки в манеж знал весь Петербург.

Знал его и Государь Император, еще Наследником Цесаревичем, а потом и Государем посещавший Михайловские конкуры и видевший Града на скачках, парадах, маневрах и смотрах.

В 1897 году был я начальником конвоя Российской Императорской миссии в Абиссинии, потом долгое время адъютантство-

вал в полку и стал часто писать в «Русском инвалиде», подписывая свои статьи именем любимой лошади: «Град» — «Гр. А.Д.».

Когда после многих моих статей Государь Император узнал, какой это самозваный «граф» пишет в «Русском инвалиде», Государь стал и меня заочно называть Градом. Так, любуясь в 1910 году в Офицерской кавалерийской школе на конном празднике лихой джигитовкой есаула Н.А.Краснова, моего однофамильца, Государь Император спросил начальника школы генерала Химеца:

— Этот Краснов — не родственник Града?

Государь Император знал меня и лично. Мне приходилось иметь счастье неоднократно представляться Его Величеству. Я подносил Государю для него и для Наследника Цесаревича Алексея Николаевича свои труды: «Атаманскую памятку», «Картины былого Тихого Дона», «По Азии» и «Год войны». Государь постоянно читал фельетоны, подписанные Гр. А.Д., и некоторые возвращались военному министру с собственноручной отметкой Государя синим карандашом, требовавшей справки.

Знала меня и Государыня Императрица Мария Федоровна. По возвращении из Абиссинии в 1898 году я читал доклад в Гатчинском дворце, на котором присутствовали Государыня, Великий Князь Михаил Александрович и Великая Княжна Ольга Александровна. Несколько лет после моя жена, известная камерная певица, пела у Государыни датские народные песни и романсы Ц.А.Кюи, под аккомпанемент самого композитора.

Военным министром в 1911 году был генерал-адъютант Сухомлинов, бывший раньше начальником Офицерской кавалерийской школы и носивший ее мундир. Он часто бывал в школе и знал всех офицеров постоянного ее состава. Он знал меня и раньше по Курским маневрам 1903 года, на которых он был начальником штаба генерала Куропаткина, а я был при Куропаткине ординарцем.

Помощником военного министра был генерал-лейтенант Поливанов. Он, в бытность полковником и редактором «Русского инвалида», увлек меня на постоянное писательство в «Инвалиде», он устраивал мне командировки в Маньчжурию, Китай, Японию и Индию, в 1901 году, на границы Персии и Турции в Закавказье в 1902 году и на Русско-японскую войну. Мы с ним «пуд соли съели», были знакомы семьями. Он бывал у нас на музыкальных вечерах, которые устраивала моя жена; она не раз пела на вечерах у Поливановых.

Начальником Главного штаба был генерал-лейтенант Николай Петрович Михневич. В чине капитана он читал лекции Военной

истории в 1-м военном Павловском училище, и я был любимейшим его учеником.

Дежурным генералом Главного штаба, ведавшим личным составом армии, был генерал-майор Петр Константинович Кондзеровский. Мы были с ним одновременно фельдфебелями — он в 3-й роте 2-го военного Константиновского училища, я в роте Его Величества 1-го военного Павловского.

Но самое главное, для назначения на полк у меня были очень хорошие отношения с инспекцией кавалерии.

Генерал-инспектором кавалерии был генерал от кавалерии Всеволод Матвеевич Остроградский, его помощником — генерал-лейтенант Константин Антонович Ширма и начальником штаба — генерал-майор барон Николай Александрович фон Дистерло.

У первого я работал по составлению казачьих уставов, по обучению регулярной кавалерии работе пикой и т.п. Я часто бывал приглашаем завтракать к радушному и хлебосольному Всеволоду Матвеевичу и был знаком с его семьею. Это был исключительно благожелательный к подчиненным человек, и это он не раз говорил:

— Пора вам, Петр Николаевич, командовать полком.

Второй еще недавно был моим командиром полка. При нем я был полковым адъютантом. На моей свадьбе он был моим посаженым отцом. Когда он ушел из полка, между нами установились самые искренние, дружеские отношения. В 1910 году я сопровождал генерала Ширму в его инспекторской поездке в льготные лагеря Донского, Терского, Уральского и Оренбургского казачьих войск, а после я с ним объезжал запасные кавалерийские полки и по указаниям генерала Ширмы писал для него доклады в Инспекцию. Он был вполне «свой» человек и очень меня любил.

Генерал-майор Дистерло до назначения начальником штаба генерал-инспектора кавалерии был правителем дел в Офицерской кавалерийской школе. Мы с ним много вместе работали, были на «ты» и в чисто товарищеских отношениях.

А ведь это именно штаб генерал-инспектора кавалерии распоряжался всеми назначениями на должности командиров полков в кавалерии и казачьих войсках.

Таким-то образом и выходило, что и без всякой «тант Мари» был у меня совсем особый и, пожалуй, и очень даже крепенький «тетенькин хвостик», держась за который и пробирался я совсем для себя незаметно к полку, преодолевая все преграды законов

и кандидатских списков. Ибо в конце-то концов люди, а не боги пишут законы и люди же призваны их исполнять.

Несправедливость? Нет, жизнь.

Потому что так естественно старшему начальнику назначить на ответственный пост, дать повышение человеку, которого он лично и хорошо по службе знает, и предпочесть его тому, о ком он может судить лишь по аттестации третьего лица, назначить, так сказать, «на веру».

Свой глаз — алмаз, чужой — стеклышко.

2. На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся

В этом году шла чистка на верхах казачьих войск, и очень часто освобождались казачьи полки. Их получали, между прочим, люди несколькими годами моложе меня, но более счастливые в производстве, попавшие раньше в полковники и бывшие уже в кандидатском списке. Меня раздражало не то, что они получали полки, а я нет, — мы были воспитаны в сознании необходимости и неизбежности очереди; нас не удивляло и не возмущало, что л-гв. в Гусарском полку полковники были тридцати лет, а в Кавалергардском и л-гв. Кирасирском Ее Величества полках и за сорок лет сидели в ротмистрах. Это была фортуна. Мне было досадно, что многие получавшие полки были совершенно равнодушны к строю, смотрели на полк как на неизбежное зло при прохождении службы, как на служебный стаж, необходимый для карьеры. Притом все это и были самые свирепые критики моих статей «о командовании полком», и они-то, конечно, ничего из моих предложений применять не будут.

В 1910 году Офицерская кавалерийская школа праздновала столетний юбилей своего существования и получила права и преимущества старой гвардии. С этого года Государь Император стал в день школьного праздника, 9 мая, приглашать офицеров постоянного состава школы к завтраку во дворец. Так как в этот же день был полковой праздник и кирасир ее Величества, то приглашались мы вместе с кирасирами.

Такое приглашение получили мы и в 1911 году, в Александровский дворец в Царском Селе.

Накануне я отравился рыбным ядом и был болен всю ночь. К утру, овладев собой, силой воли заставил себя встать, затянулся

в мундир и поехал в Царское Село. Вид у меня был не слишком «авантажный», но никто ничего в волнении не заметил.

Мое место за завтраком было напротив и несколько наискось от Государя. Военный министр был в командировке, генерала Поливанова тоже не было — их замещал начальник Главного штаба генерал Михневич.

Я почти ничего не ел и не пил, и возможно, что больное лицо мое не имело нужного праздничного отражения и было грустно. Я с трудом перемогался.

Государь часто на меня поглядывал, и казалось мне, — ласково и, быть может, про меня говорил сидевшему по левую его руку генералу Безобразову, тогда командиру Гвардейского корпуса, в недавнем прошлом начальнику нашей школы, хорошо меня знавшему и очень ко мне расположенному. (Тоже, если хотите, «тетенькин хвостик».)

По окончании завтрака Государь обошел стол и направился к генералу Михневичу, сидевшему с моей стороны. Проходя мимо меня, Государь взял меня за руку выше локтя и подвел к Михневичу.

— Николай Петрович, — сказал Государь, — когда же вы дадите Краснову полк?

— Сколько мне известно, Ваше Величество, — отвечал генерал Михневич, — полковник Краснов не числится в кандидатах на полк.

— Надо, надо ему дать полк, — сказал Государь, отпустил мою руку и пошел из столовой.

— Вот занесут вас в кандидатский список, — сказал Михневич, видимо недовольный этим разговором, — тогда и будем о вас думать.

К Михневичу подошел генерал Безобразов и своим барским, беспечным голосом сказал:

— Для Краснова вы должны и можете сделать исключение, раз этого желает Государь.

— Закон, — сухо сказал Михневич и вышел вместе с Безобразовым из столовой.

В ушах у меня звенело, в глазах темнело и от усталости и болезни, и от радостного волнения. Государь сказал!.. Государь сам пожелал, чтобы мне дали полк!

Дня через два сказались и результаты этого разговора. Часов около 11 ночи ко мне прибежал вестовой из офицерского собрания и доложил, что по телефону передали, что меня немедленно к себе требует генерал Поливанов. Своего телефона у меня не бы-

ло, и сношения шли через собрание, помещавшееся напротив моей казенной квартиры. Меня это нисколько не удивило. Так уже установилось, что почти каждую неделю, и всегда ночью, в двенадцатом часу, когда генерал Поливанов кончал свои текущие работы, он вызывал меня к себе и указывал, что должен я написать в очередном фельетоне «Русского инвалида» — «Вторники у генерала Бетрищева». Темы были самые разнообразные: писал я о количестве калорий в солдатской пище по новой раскладке, о шкале наказаний в кадетских корпусах, когда основательно разделал проект установления, «в видах справедливости», определенных наказаний за определенные проступки, не считаясь с индивидуальными свойствами каждого кадета. Писал я и о Задонском коневодстве, и о доме для инвалидов Японской войны на Охте и т.д. и т.д. В большинстве вопросы, по которым я должен был писать, мне были совершенно неизвестны. Генерал Поливанов давал мне соответствующие материалы — книги, «министерские дела», доклады, иногда сам диктовал мне, что и как я должен был осветить в своем очередном фельетоне, а я, сидя за громадным столом в его кабинете на Малой Итальянской улице против цирка Чинизелли, быстро, карандашом записывал под его диктовку. Часто беседа заканчивалась словами:

— Съездите, посмотрите сами... Я предупрежу о вашем посещении. Тогда и опишете то, что сами увидите.

Эта моя работа в «Русском инвалиде» (а иногда по очень боевым вопросам мне приходилось писать такие статьи и в «Новом времени») была нужна Военному министерству для подготовки общественного мнения для принятия того или иного предложения министра. Она была нужна и для «комиссии по обороне» Государственной думы, и для самой Думы. На «вторниках у генерала Бетрищева» какие-то вымышленные мною люди обсуждали вопросы, а через несколько дней по этим вопросам приходилось говорить в Думе или комиссии по обороне, и неизвестный Гр. А.Д. невольно подсказывал решения, благоприятные Военному министерству.

Я сейчас же поехал к генералу Поливанову.

Поливанов встретил меня в своем кабинете, ласково улыбаясь своей кривой, и от этого всегда кажущейся насмешливой, улыбкой.

— Простите, — сказал он, — что я вызвал вас так поздно. Но, думаю, вы не посетуете на меня — это вам будет интересно. Вы знаете, что освободился 12-й Донской казачий полк? Знаете вы этот полк? Хороший это полк?

— Отличный полк, ваше превосходительство, — отвечал я, догадываясь, к чему клонит Поливанов. — Он стоит в Радзивилове. Я знаю, что недавно Инженерное ведомство построило ему прекрасные казармы. Мне писал оттуда мой бывший однополчанин, он командует теперь там сотней, — отличные казармы. Полк в полном порядке, отличные лошади, свои донские казаки.

— На железной дороге, — вставил Поливанов, — на прямой линии на Вену. Так что, вам полк нравится?.. А что скажет командирша?

— Я думаю, что она будет только счастлива.

— Вы можете иногда прокатиться в Вену и отдохнуть там. А? Что вы об этом думаете?

— Я об этом и не мечтаю.

— Так вот... Если вы согласны, я вас представлю, и послезавтра, много через три дня, вы прочтете в «Инвалиде» о вашем назначении.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство.

— Вот только за этим я вас и потревожил. Можете быть свободны. Я очень занят сегодня, беседовать мы не будем. Рад за вас. Покойной ночи. Впрочем, вы, пожалуй, и спать сегодня не будете...

И опять та же кривая, ласковая усмешка осветила серьезное лицо Поливанова.

Я не шел, а летел домой. Полк!.. Полк!.. И какой блестящий!.. Свой, Донской!.. Прекрасная стоянка, при железной дороге. Мне писали — из окон офицерского собрания видна австрийская земля — всего четыре версты до границы!.. Война?! Тем лучше: шашки к бою! и... на войну! Впрочем, о войне, да еще с Австрией, мы не думали. В Австрии сидит престарелый Франц-Иосиф, своим престолом обязанный России...

Но... прошло три дня, а на четвертый я прочел в «Инвалиде» о назначении командиром 12-го Донского казачьего полка очередного армейского кандидата, а вовсе не меня.

Генерал Поливанов хотел провести меня в приказ до возвращения из командировки военного министра, которого он замещал, но генерал Сухомлинов вернулся днем раньше, а между военным министром и его ближайшим помощником существовали такие отношения, что стоило генералу Поливанову предложить что-нибудь, чтобы Сухомлинов сделал напротив.

Меня такое назначение огорчило, хотя я понимал, что сделано оно было совершенно правильно — «по линии», и мне оставалось только ждать, когда эта линия подойдет ко мне.

В Школе заканчивались экзамены, шли случайные лекции. Полковник Баженов читал о французской кавалерии, на маневрах которой он недавно был, князь Багратион разбирал только что вышедшую книгу германского генерала фон Бернгарди о роли кавалерии в будущей войне — незавидной роли — ездящей пехоты.

Я был очень занят. Помимо занятий в казачьем отделе и редактирования «Вестника русской конницы», я по вечерам бывал в комиссии по выработке новых кавалерийских уставов и наставлений. Комиссия собиралась на квартире начальника штаба генерал-инспектора кавалерии генерал-майора фон Дистерло. В ней заседали вместе со мною известный своими крайними взглядами и острым умом генерал-майор Петр Иванович Залесский, полковник Василий Викторович Бискупский и другие. Наши заседания заканчивались поздно ночью семейным ужином у барона Дистерло.

Так прошло еще около недели, когда меня вызвал к телефону генерал Дистерло и сказал мне:

— Решено дать тебе 1-й Читинский или 1-й Аргунский казачий полк Забайкальского казачьего войска. Стоянка — одного в Чите, другого на станции Даурия. Ты ничего не имеешь против?

Я имел очень много против. В 1901 году я с женой верхом исколесили всю Маньчжурию и были в Забайкалье. У моей жены осталось очень тяжелое впечатление от этих мест. Во время Японской войны я видел Забайкальские полки 1-й очереди в отряде генерала Мищенко и 2-й очереди в отряде генерала фон Ренненкампфа. Маленькие монгольские лошади... Ездящая пехота... Много бурят среди казаков. Хронический недостаток офицеров. Очень уж самобытный народ, трудноуправляемый. Буранные зимы, жаркое лето с «гнусом» в степи и тайге... Сибирь! Места весьма отдаленные!.. Своего рода — ссылка!

Но, с детства усвоив сказанные отцом слова: «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся», я ответил согласием. Чем труднее условия, тем интереснее работать.

Прошло еще два дня, в которые мы с женой внутри себя переживали это назначение. Чита или Даурия — не все ли равно?.. Как-то там придется жить?

На третий день, когда я шел из собрания домой, я встретил генерала Дистерло.

— А я к тебе, — сказал мне Дистерло. — У меня к тебе и от себя, и от полковника Крымова большая просьба.

В ту пору полковник Генерального штаба Крымов читал у нас в Школе лекции и я с ним часто встречался. Все мы любили этого крепкого, энергичного и способного штаб-офицера.

— В чем же дело? — спросил я.

— Не согласишься ли ты поменяться полками с Крымовым? Ему дают 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеевича полк. Это в Джаркенте, на границе Китайского Туркестана, 1096 верст от железной дороги. А у Крымова, сам знаешь, семья. В Джаркенте, кроме городского училища, ничего нет, в Чите гимназия, у Крымова сын и дочь в гимназии. Вас двое. Твоя жена спортсменка — ей легче сделать этот путь, чем Крымовой с детьми, а для тебя, ей-богу, даже лучше. Прямо — советую меняться. В Читинском полку ни копейки экономических сумм, не говоря про хозяйственные... 200 тысяч рублей долга. Придется тебе только платить долги, а не совершенствовать полковое хозяйство. В Сибирском полку экономические суммы полностью и даже хозяйственные есть что-то около трехсот рублей, есть с чего начинать. Соглашайся. Доброе дело сделаешь.

Чита, Джаркент, забайкальцы, сибиряки, не все ли равно — все одно, чужие люди.

3. Тяжелые «ауспиции»

Мое назначение прошло по всем нужным инстанциям. Оставалось только закрепить его высочайшим приказом в «Русском инвалиде».

Назначение это меня далеко не удовлетворяло, но опять-таки — «от службы не отказывайся». Воля Государя Императора была для меня священна, а эта воля была, чтобы я командовал сибиряками.

Положение мое было не из легких. С Сибирским казачьим войском, в бытность мою начальником казачьего отдела Офицерской кавалерийской школы, у меня были счеты — и неприятные счеты. Я тогда ставил отдел по-новому. Вводил, кроме езды, выездку молодой лошади, вольтижировку, джигитовку, работу с пиками, широко поставленную зимнюю и летнюю полевую езду, подготовлял отдел и к парфорсным охотам. Мне нужен был возможно более молодой состав учеников, во всяком случае не старье

сорока лет. Через начальника Школы, вполне сочувствовавшего моим начинаниям, я подал соответствующую докладную записку, направленную во все войсковые штабы.

Все войска, кроме Терского и Сибирского, сразу откликнулись на мою просьбу посылать офицеров, физически годных для новой и трудной работы в отделе. По вторичной просьбе и Терское сдало. Мой отдел помолодел и не уступал офицерскому отделу Школы. Но Сибирское войско опять точно нарочно прислало в Школу есаула Р., человека за пятьдесят лет. На рубке есаул Р. обрубил уши одной из лучших лошадей отдела, серой кобыле Рыбке. Идти на препятствие для него было мукой. Не меньшей мукой было и для меня посылать этого старого человека на препятствия. Его постоянно обносили лошади, и он только портил лошадей отдела. На пасхальной нашей преподавательской конференции я представил есаула Р. к отчислению от Школы. Помощник начальника Школы князь Багратион, бывший тогда правителем дел Школы полковник барон фон Дастерло и начальник офицерского отдела полковник Божерянов меня поддержали. Начальник же Школы генерал Химец и начальник отдела наездников полковник Мерчуле советовали мне не делать этого по гуманитарным соображениям.

— Вы разрушаете карьеру офицера. Ему не дадут сотни.

— Все равно он не способен ею командовать. Гуманность? А если он убьется на нашем Красносельском кругу? На мне ляжет еще большая ответственность.

— Вы вооружите против себя все войско! — говорили мне.

— Я должен поступать по совести, не считаясь ни с кем. Ни по физическим качествам, ни по моральным есаул Р. не может командовать сотней.

Есаул Р. выпивал не в меру.

Его отчислили от Школы. Я вооружил против себя Сибирское войско. В это войско теперь я ехал командовать полком.

В ожидании приказа я собирал сведения о полке. Я поехал в Главный штаб к дежурному генералу.

Генерал Кондзеровский сейчас же меня принял.

Меня провели в громадный высокий кабинет в глубине Главного штаба, и я снова увидел своего старого товарища. Он нисколько не изменился. Та же наружная холодность, скрывающая внутреннюю сердечную теплоту и доброжелательство, и та же внешность беспристрастия, за которой сквозит дружеское, товарищеское отношение.

— Вот как мы с вами встречаемся, — приветствовал меня Петр Константинович, — садитесь, прошу.

Я сел против него за его огромный стол, заваленный бумагами. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга, как будто стараясь угадать, какие перемены внесло в нас время и изменение служебного положения.

— Итак... Полк?.. Командир 1-го Сибирского, да еще Ермака Тимофеевича полка. Что же, довольны?

Я пожал плечами, что означало: должен быть доволен.

— Очень трудно было вас провести. Инспекция очень хотела, да ведь вы еще не были в кандидатском списке. Вот и пришлось дать вам то, от чего кандидаты отказались. Стоянка всех пугала. Граница Китая.

Кондзеровский опять помолчал немного, как будто обдумывал, говорить ему или нет. Наконец тихим сердечным голосом он продолжал:

— Я должен вас дружески предупредить, Петр Николаевич, — вам будет очень трудно. В полку, куда вы назначены, офицеры возмущены вашим назначением. То есть, конечно, открытого возмущения не было — дисциплина там высокая, но вас ожидают неприятности... Не лично вами недовольны... Нет... К вам лично, по вашим писаниям, отношение хорошее. Но войско возмущено. В войске всего три полка, и вот уже второй раз двумя полками командуют донцы. В войске есть свои отличные штаб-офицеры.

— Я тут ни при чем, Петр Константинович, — сказал я. — Я не искал Сибирского полка и никого ни о чем не просил. Мне хотели дать 12-й Донской, потом предполагали дать 8-й — оба прошли мимо меня. Получили их люди младшие меня годами. Я принял полк по долгу службы и присяги.

— Я это тоже знаю и потому и предупреждаю вас. Будете гнуть — ибо знаю, что гнуть будете, — не переломите. Народ серьезный. Желаю вам всего, всего хорошего. Не хотите ли теперь же, не выходя из штаба, ознакомиться с личным составом полка? Я прикажу вам дать все наши сведения о полке.

Кондзеровский позвонил и сказал вошедшему писарю, чтобы тот проводил меня к чиновнику, ведающему личным составом.

Офицеры, не служившие в Главном штабе, дальше приемных никогда не бывали. Главный штаб был святая святых, недоступная постороннему глазу.

Я с любопытством проходил длинной анфиладой комнат, высоких и точно серьезных и строгих, где в полной тишине сидели

офицеры и писаря, где на столах лежали папки в синей бумаге — «дела», а по стенам висели карты.

Писарь ввел меня в угловой просторный и очень высокий кабинет, где и в летний светлый и жаркий день было полутемно и прохладно. Два громадных окна не могли осветить большого покоя. По всем стенам его и отчасти закрывая окна стояли высокие шкафы. За тремя столами сидели военный чиновник в чине коллежского сотника и два писаря. Писарь подвел меня к чиновнику.

— Вам любопытно познакомиться с вашим полком? — любезно сказал мне чиновник и подошел к высокому шкафу, где, как билеты в какой-нибудь Куковской конторе, были плотно наставлены тетрадки в красных, зеленых, синих, желтых и иных цветных обложках. Не ища, чиновник достал маленькую узкую тетрадку в красной обложке и положил ее передо мною. На обложке четкой писарской рукою было написано: «1-й Сибирский Казачий Ермака Тимофеева полк Сибирского казачьего Войска».

— Вот, извольте, пожалуйста... Смотрите сколько угодно. А я вам сейчас и аттестации из секретного отдела достану. Вам будет, я полагаю, интересно узнать ваших офицеров.

Из розовой книжки я узнал, что штаб полка и 1-я, 4-я и 5-я сотни стоят в городе Джаркенте, 2-я и 6-я в городе Верном и 3-я в урочище Кольджат. Узнал я, что помощниками моими — по хозяйственной части войсковой старшина Ефим Никитич Осипов, по строевой М.П.Первушин. Осипов окончил Оренбургское казачье училище, Первушин — 1-е военное Павловское и старше меня тремя годами. Сотнями командуют... Младшие офицеры... Казаков строевых в полку... Нестроевых... лошадей... Экономические суммы в полку полностью, хозяйственных — 355 рублей.

— Если хотите, можете выписать себе, что найдете нужным, — сказал чиновник и подал мне тонко отточенный карандаш и лист бумаги. — А вот вам и аттестации.

Я читал аттестации и делал у себя пометки.

«Выдающийся»... «Отличный»... хороший, хороший... удовлетворительный... неудовлетворительный... «невозможен в семейной жизни... Запойный пьяница...» и опять — «выдающийся... отличный»...

Вся физиономия полка начинала вставать передо мною в тиши полутемного кабинета.

Часа два просидел я за выписками, стараясь вспомнить имена и характеристики. Когда я прощался с чиновником, тот сказал мне:

— Вы очень удачно принимаете полк. Он теперь собран, а то год тому назад полк был растянут по всей китайской границе постами по четыре, по шесть человек. Естественно, никакого обучения вести нельзя было, ну и внутренний порядок хромал, а теперь у вас — до Верного всего 325 верст, до Кольджата — 111 верст, а вот во 2-м полку, там хуже — там одна сотая стоит в Бахтах, это, если ехать через китайские пределы, — добрых пятьсот верст, а если по своим землям, вдоль границы и вся тысяча наберется.

Удивленный такими познаниями чиновника, я спросил его:

— Вы там сами служили?

— Я пятнадцать лет из этого кабинета не выхожу и службу начал в штабе, так мне все полки Российской армии известны, как родные братья.

В хозяйственном отделении Офицерской кавалерийской школы седобородый чиновник — делопроизводитель по хозяйственной части — при мне щелкал на счетах, высчитывал поверстный срок и прогонные деньги для меня. Однако — целое путешествие предстояло мне.

— Ехать вам на Ташкент, — говорил мне делопроизводитель, — это по железной дороге 5000 верст. Поверстный срок по железной дороге считается 300 верст в сутки — значит, семнадцать суток, а проедете вы скорыми поездами всего около восьми. В Ташкенте явитесь командующему войсками Туркестанского военного округа генералу от кавалерии Самсонову. Оттуда вернетесь на станцию Кабул-Сай и там уже на почтовых... 1096 верст. Дорога грунтовая, по ней считается 75 верст в сутки — всего 15 суток... Ну, это как пойдете — этого никогда не угадаешь. Разно бывает. Так вот вам и выходит, что торопиться ни к чему. Успеете. Вы как поедете? С супругой? С лошадьми?

Вопросы эти встали теперь передо мною во всей своей остроте. Жена моя непременно хотела ехать со мною, делить все радости и горести кочевой казачьей жизни. Но она была певица, и приходилось задуматься — как же ее концерты? Ее слава известной певицы: Алиса Барби и она?..

«Военный дорожник Российской империи», «Путеводитель по железным дорогам», щелканье фишек на счетах под пальцами седобородого делопроизводителя погнали тысячи заботных мыслей, воспоминаний и соображений. Да, «служба казачья — доля соба-

чья»... Мы были женаты пятнадцать лет и уже прожили в разлуке больше трех лет.

4. Разведка

За год до Японской войны 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского войска, стоявший в самой глуши Приморской области, принял в командование мой большой друг полковник Александр Александрович Павлов, в прошлом — лейб-гусар.

Он блестяще откомандовал полком, участвовал с ним в Японской войне, заслужил в полку всеобщую любовь и уважение, а теперь был генералом и командовал л.-гв. Уланским Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полком.

Александра Александровича я знал с корнетского чина. Он был моим учителем конного спорта. Вместе скакали мы в Красном Селе на стипль-чезах — он был на первом месте, я на последнем, вместе скакали в Михайловском манеже, там и у меня не раз бывало первое место, вместе участвовали на первом в России стоверстном пробеге, где Павлов был первым — я вторым. Будучи холостым, сколько раз ночевал я у него в Царском Селе, на его квартире-даче.

Ум светлый и острый, характер независимый, часто весьма неприятный, природный военный кавалерийский талант, какое-то сверхъестественное чувство и понимание лошади — Павлов садился на совершенно невыезженную лошадь и ехал на зимнюю парфорсную охоту, и лошадь под ним шла и прыгала занесенные снегом канавы, делала то, на чем ошибались и выезженные лошади. Точно он умел говорить лошади, внушить ей то, что надо. Его прочили в русские «Зейдлицы», про него уже тогда ходило много анекдотов о его острых словах, о его временами жестоком и неприятном характере.

Рассказывали, что в бытность Павлова командиром 1-го Нерчинского полка ближайшим начальником его был человек, в годах уже немолодых, наездник неискусный, по экономическим соображениям не державший собственной лошади, но требовавший на смотры себе под седло лошадь от того полка, который он смотрел. На смотр Нерчинского полка потребовал он себе такую лошадь. В штабной записке, полученной Павловым, значилось: «дать под седло Его Превосходительства смирную лошадь».

Пошутил ли над стариком генералом А.А.Павлов и дал ему не слишком смирную лошадь, показалась ли старику таковой ло-

шадь, поданная ему, но во время смотра генерал обратился к Павлову и с раздражением сказал:

— Разве у вас в полку не нашлось более смирной лошади?

— Есть, ваше превосходительство, — подчеркнуто почтительно отвечал Павлов, — деревянная кобыла в учебной команде. Прикажете принести ее?

Павлов был неисправимый холостяк, всегда занят службой, лошадьми, скачками, спортом. Странно было его видеть в дамском обществе. И вдруг, уже полковником, женился, тихо, неслышно, так что многие его товарищи ничего об этом не знали. Как-то один из его приятелей встретил Павлова в вагоне трамвая. Рядом с Павловым сидела молодая красивая дама.

Павлов и его приятель разговорились.

— Да вот, — сказал Павлов, — мы с тобой не видались. Представь — женился!

— Да что ты!.. Шутишь!.. Какая же дура за тебя пошла?.

— Позволь тебя познакомить с «дурой», — приподнимаясь и оборачиваясь к даме, сказал Павлов, — ротмистр X., моя жена.

Я знал, что никто другой, как Павлов, не даст мне искреннего и правдивого совета, основанного на личном и недавнем опыте. Я написал Александру Александровичу и просил его дать мне советы, как командовать полком на далекой окраине. Павлов пригласил меня к себе в Петергоф на квартиру завтракать. После завтрака мы остались вдвоем, и я ему чистосердечно поведал все свои сомнения и колебания.

— Как твоя жена? — спросил меня Павлов.

— Хочет непременно ехать со мною.

— Это прекрасно. Я иного и не ожидал от нее. Но ты сам? Скажи мне совершенно откровенно — ты принимаешь этот полк, чтобы откомандовать им два-три месяца на цензе, как это многие и делают, чтобы, так сказать, иметь трамплин для дальнейшего карьерного прыжка?

— Ты меня, Александр Александрович, достаточно хорошо знаешь. Я хочу приложить все, все свои силы, знание и умение, чтобы так командовать полком, как ты командовал своими нерчинцами, — отвечал я.

— Тогда, — сказал Павлов, — вези всю свою обстановку, и чем она у тебя роскошнее, тем лучше. Это для того, чтобы никогда и ничем не подать и вида своим господам офицерам и казакам, что ты сидишь на чемоданах, командуешь полком из номера гостиницы. Как хорошо в данном случае, что ты женат и что у тебя жена,

которую ни дальность, ни глушь не испугает, что она прекрасно ездит верхом и притом известная певица — все это там потом оценится и поможет тебе. Устраивайте приемы, обеды, перенесите на далекую окраину частицу петербургского мира и петербургской красоты жизни.

Павлов помолчал немного, потом с силой продолжал:

— Ведь кто ты такой в глазах тех, кого Государь Император дает тебе под команду? Ты — петербуржец, гвардеец, ты — фазан! Отношение к тебе будет настороженно-внимательное. «А не гнушаешься ты нами? Не презираешь ты нас с высоты твоего петербургского величия?..» Вот и докажи, что ты совсем не фазан. Там тоже — люди... И каких прекрасных офицеров ты найдешь на окраине! Вот с места и покажи им, что ты совсем и навсегда с ними. Что их не чуждаешься, что ты подлинный командир, а не гастролер, делающий на их шкуре свою карьеру.

Советы эти мне глубоко запали в душу и очень понравились.

Я съездил в транспортную контору и переговорил о перевозке в Джаркент моего имущества. Перевозка обойдется мне немногим дешевле, чем стоят и сами вещи, но ведь в Джаркенте таких вещей не достанешь. Доставка продолжится три-четыре месяца. Рояль пришлось оставить, и вместо него я купил хорошее пианино.

Нашу петербургскую квартиру наполнили упаковщики, и начался разгром и разорение насиженного нашего гнезда.

Среди офицеров вверенного мне казачьего отдела проходил курс 1-го Сибирского полка есаул С. Это был прекрасный почтенный старик, пятидесяти лет, человек серьезный и усердный. Переговорив с ним, я написал письмо полковому адъютанту сотнику Анатолию Павловичу Калачеву и просил его, не в службу, а в дружбу, подыскать мне квартиру комнат на пять, не стесняясь ценою, нанять для меня туземную прислугу — повара, садовника и, если возможно, горничную, русскую или туземку. Подготовить нам и сад.

В бытность мою с женой во Владивостоке пришлось нам както обедать у доверенного фирмы «Кунст и Альбертс». За обедом неслышно служили и подавали блюда рослые китайцы, одинаково одетые в шелковые синие курмы и юбки. Так это было красиво! Такую же прекрасно вымуштрованную китайскую прислугу видали мы и в Пекине у нашего посланника Лессара; видел я и слуг японцев у нашего военного агента в Токио, полковника генерального штаба Ванновского. И мне казалось, что в Джаркенте, Китайском Туркестане, можно будет подыскать такую же.

Я говорил об этом есаулу С. Тот молча качал головою. Он не возражал, но и не утверждал, что это так и будет.

Моя жена, великая мастерица в самой невероятной обстановке казарменной квартиры, чухонской киншты прикрасносельской деревушки устроить вполне элегантный «home»[1], примиряясь с мыслью ехать в пустыни Центральной Азии, мечтала устроить наш дом, как она видала на Востоке, устроить сад и насадить красивые цветы.

Джаркент!..

Была восточная, знойная музыка в самом слове... Центральная Азия — Китайский Туркестан!.. Индия недалеко!.. Мерещились сады тропической красоты и роскоши, туземные слуги в белом, богатая растительность, жаркий, может быть, слишком жаркий климат — и вся красота громадных снеговых гор и богатой природы оазисов.

Есаул С., которому мы все это рассказывали, ничего не опровергал, но и не подтверждал. Он загадочно улыбался и мягким стариковским голосом говорил:

— Да, вот приедете, так там и увидите... Сад — это, конечно, можно... Розы замечательные в Джаркенте. Фрукты, таких вы в Петербурге и не видали. Да, может быть, все это и можно... Не знаю, не знаю, как это все у вас выйдет.

Он просто не верил, что мы всерьез собираемся жить по-настоящему в Джаркенте. Мы для него были другие люди, чем они, и мы не могли жить там, где жили они — сибиряки.

5. В путь-дорогу!

23 июня состоялся высочайший приказ о назначении меня командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка.

В ночь, последовавшую за этим большим и показавшимся мне бесконечно долгим днем, я не спал ни одной минуты.

Охватившее меня чувство было очень похоже на то, что я испытывал при производстве в офицеры. Новая жизнь начиналась. Но тогда, при производстве, я был на двадцать два года моложе, и сердце много легче переживало и усваивало сложную гамму впечатлений крутого поворота жизни.

Полк — это уже совершенно самостоятельная работа. Будучи начальником казачьего отдела Школы, я пользовался правами

[1] Домашний очаг, жилище *(англ.)*.

командира полка, но жил-то я по школьному приказу и по школьному расписанию занятий. Теперь я сам буду отдавать приказ и составлять расписание, теперь я поведу занятия так, как я это найду нужным. Поведу так, как нас этому учил на военном поле наш бывший генерал-инспектор кавалерии, Великий Князь Николай Николаевич, как по его указу учила меня Школа. Вот стоит скульптор перед бесформенным куском глины — сейчас его сильные пальцы начнут лепить то, что он задумал, что давно выносил в сердце своем. Его думы, его грезы и мечты претворятся в живой образ.

За двадцать два года службы в офицерских чинах я много — и каких! — полков перевидал и в мирной обстановке, и на войне. Я был не новичок. Я знал, чего хотел. Я прошел великокняжескую Школу!

Хотелось прибыть к полку до прихода молодых казаков, чтобы установить правильный ритм занятий и начать лепить свой полк.

Скорее?

Жизнь говорила — «не торопись, успеешь!»

Оставались обязанности в Школе. Мои офицеры только что — и, слава богу, блестяще — сдали смотр. Восемь человек из них по их личным просьбам получили разрешение участвовать в парфорсных охотах в Поставах — первый раз за все время существования школьных охот казаки ехали в Поставы. Надо было подобрать им лошадей и приготовить их тренировкой. Надо было дождаться представления офицеров переменного состава Государю Императору и еще «явиться» всему петербургскому начальству.

Наша жизнь шла на два дома. В Петербурге кончали укладку мебели и разборку квартиры. Часть вещей оставалась и распределялась по родственникам, жившим в Петербурге, часть отправлялась в Джаркент, часть раздаривалась в самой Школе. Наше гнездо, где мы так счастливо прожили три года, было разорено. Оставались голые стены.

Постоянный состав Школы по обычаю устроил глубоко тронувшие меня проводы. Офицеры поднесли мне прекрасный, хлебниковской работы, тяжелый, литой из серебра, прибор на 36 человек — ложки, ножи, вилки, десертный прибор — все в красивой резьбе и с моими инициалами.

— Чтобы ты мог принимать у себя всех офицеров полка и на приемах вспоминал нас, — сказал мне, передавая тяжелый дубовый ящик, школьный адъютант, ротмистр барон Таубе.

После ужина кто-то сбегал в лежавшую рядом со Школой деревушку Вилози, где на даче жила моя жена, — предупредить ее, что весь постоянный состав Школы идет к ней пожелать ей счастливого пути. В двенадцатом часу ночи — с хором трубачей во главе — все пошли на нашу маленькую дачу. Ее стеклянный балкон и гостиная наполнились красивыми черными венгерками с золотыми жгутами. Говорились хорошие, сердечные слова, пожелания счастливой службы. И не столько нас поздравляли, сколько жалели, что вот, мол, едем, черт знает куда, на край света, куда «Макар телят не гонял», куда «ворон костей не заносил»...

Хорошие, без тени ревности и зависти, в Школе были отношения между офицерами. Дружной крепкой семьей жил с генералом Химецом постоянный состав.

Играли трубачи. Моя жена подала гостям кофе. Шампанское искрилось в хрустальных собранских бокалах. Бледный петербургский рассвет освещал дорогие мне лица друзей. Над Дудергофским озером низкий лежал туман...

Через два дня мы уехали. Чтобы выгадать время, пока придут лошади и кое-какие вещи, посланные с ними, я к поверстному сроку взял еще двадцативосьмидневный отпуск и поехал с женою в Кисловодск.

Время отпуска прошло как в каком-то колдовском, несказанно прекрасном сне. Было много петербургских и павловских знакомых и друзей, устраивались пикники — поездки к Лермонтовскому гроту, к скале Тамары, ходили пешком то к красным, то к синим камням, слушали музыку в курзале, ели шашлыки и пили кахетинское вино в кавказском духане подле парка — это был последний яркий отблеск европейской жизни.

Через Петровск и Дербент проехали мы в Баку и в день приезда, в 11 часов вечера, на Меркурьевском пароходе отплыли в Красноводск.

Ночь была светлая. Парчовая дорога лунного блистания залегла по морю. Каспийское море было тихое, как уснувшее озеро. Я долго сидел на палубе, любуясь морем, прощаясь с Европой.

Рано утром пришли в Красноводск. Низкая белая постройка станции, за нею такой же низкий, плоский и тоже белый город. Впрочем, может быть, все это только казалось низким и плоским на фоне песчаной ровной пустыни.

Вставало солнце. Голубые миражи играли в золотистой, прозрачной, дрожащей дали. У самой станции, у высыхающей, блестящей солонцами лужи бродили розовые цапли — фламинго.

И эти фламинго, и несколько туземцев в белых халатах и чалмах, стоявших на коленях на ковриках, и дрожащие миражи пустыни — все говорило: мы в Азии.

Небольшой составом поезд из громадных пульмановских вагонов белым видением стоял в розовеющих на солнце песках пустыни. В вагонах тот полный русский комфорт, которого не знает заграница.

Поезд очень скоро отошел. Я не успел оглядеться в Красноводске, полюбоваться как следует синим Хвалынским морем, мирно дремавшим в плоских берегах, как уже поплыли мимо лужа с фламинго, постройки станции и показались пески и бурханы.

Колеса вагона то пели какие-то торжественные марши, то отстукивали на стыках рельсов, когда приближались к станциям. Кругом была пустыня. Мелькнет иногда вдали селение — белые постройки, белые стены вокруг них, чахлая пыльная растительность. Очень редки были станции, и так много говорили мне их названия. Путь Кауфмана, Скобелева, Анненкова. Вспоминались прекрасные романы забытого и мало оцененного у нас писателя Н.Н.Каразина, картины художника В.В.Верещагина.

Мервь... Геок-Тепе... Самарканд.

Как будто стояла перед моими глазами изумительная по лепке картина Верещагина «Самаркандская мечеть», где на полотне чувствовался солнечный зной, и яркость белизны, и красота резьбы. Белые дома, без окон на улицу, мечети, башни минаретов, стены с зубцами, толстые ворота и солнце!.. Солнце!.. Оно слепило, одуряло, волновало, чаровало.

В вагон-ресторан на десерт подали желтые с зелеными пятнами бухарские дыни с белым нежным сладким и ароматным мясом, персики, груши и виноград. Бедна показалась Европа с ее плодами перед этою роскошью фруктов Азии.

На пятый день пути мы приближались к Ташкенту. Рано утром я подошел к окну. Пустыня кончилась. Поезд шел по широкой долине между лиловеющих вдали причудливых, точно прозрачных гор. Солнце еще не вставало. В ровном утреннем свете, по обе стороны пути, в низине, были бесконечные, до самых гор, красивые сады. Канавы-арыки, обсаженные кустами и высокими, стройными, такими громадными, каких я не видал в Европе, пирамидальными тополями — раинами разделяли эти сады на правильные ровные прямоугольники. В одних — высокими беседками — кустами, по азиатской манере, были подняты и заплетены большие тенистые виноградные лозы, в других стояли персиковые и груше-

вые деревья, яблони, сливы, рейнклоды, все в плодах, в третьих низко по земле стлались арбузы и дыни, и их плоды выглядывали из нежной узорчатой зелени длинных плетей. Шла уборка фруктов. Навьюченные корзинами ослы, поседланные лошади надсмотрщиков, тяжелые арбы, запряженные волами, стояли по узким дорогам. Полуголые люди с бронзовыми торсами собирали виноград и фрукты.

Белая оконная занавеска трепетала на ветру, извне тянуло свежестью утра и пряным ароматом зреющих дынь, красного перца, персиков, груш и яблок.

Индия?.. Красивее Индии!

Стая белых голубей вспорхнула у самого поезда и полетела, трепеща серебряными крыльями в голубом небе.

Солнце всходило.

Поезд замедлил свой бег. Мы подходили к Ташкенту. Кругом все были те же сказочные сады, та же восточная прелесть бесчисленного множества фруктов.

6. Ташкент

В Ташкенте — широкие, белесоватые, пыльные улицы-шоссе, залитые золотом утреннего света, аллеи тополей, карагачей и акаций вдоль журчащих арыков, сады и одноэтажные дома. Белый трамвай спешит куда-то, позванивая. Извозчики — «фаэтоны», как в Крыму, в Одессе, на Кавказе, с белым поднятым тентом, плоско натянутым над головою седока. Русские носильщики с белыми фартуками с бляхами и носильщики сарты, смуглые, с черными ласковыми глазами.

Мы поехали в гостиницу.

Длинное, белое — здесь тоже все было белое, ровное и плоское, как и в Красноводске, как повсюду в Туркестане, одноэтажное здание с высокими большими окнами было чисто и привлекательно. Вдоль гостиницы, весело журча, бежал арык. В окна гляделись зеленые тополя.

В просторном номере постели под «мустикерами», паркетные полы, довольно чисто. Мелкая, всюду проникающая лессовая пыль лежит на стеклах и на подоконнике и... яркое солнце.

Переодевшись в парадную форму, я поехал «являться».

Главнокомандующим войсками Туркестанского военного округа был генерал Александр Васильевич Самсонов. Четыре года

тому назад он был наказным атаманом Войска Донского, и я по его поручению и под непосредственным руководством писал популярную историю Донского войска: «Картины былого Тихого Дона». Я жил тогда в Новочеркасске и почти каждый день бывал у атамана, то один, то с женой. Генерал Самсонов и его жена были людьми неотразимо обаятельными, ласковыми, доброжелательными, умными и просвещенными. С ними легко было общаться и приятно работать. И потому я ехал к Самсонову смело, не сомневаясь в ласковом приеме.

И не ошибся.

Грозный правитель Среднеазиатского государства принял меня радушно и ласково. Он подтвердил мне слова генерала Кондзеровского о недовольстве сибирских казаков назначением донца на пост командира полка.

— Не беспокойтесь, — сказал мне Самсонов, — я хорошо знаю сибиряков по Японской войне, да ведь и вы были тогда у меня под Кайджоо. Это прекрасный, очень лояльный и честный народ. Там будут у вас большие возможности развернуться и работать. Пишите мне обо всех ваших нуждах и по команде, а если что-нибудь будет у вас личное — пишите мне прямо, как вашему старому атаману и другу. Я вам поверю.

«Вот и опять, — подумал я, — есть у меня этот спасительный «тетенькин хвостик», есть опора». Легче стало думать об ожидающем меня труде... и о возможных неприятностях.

Когда я уходил, в приемной адъютант Самсонова, донской офицер, есаул Быкадоров, которого я знал хорошо по Новочеркасску, дал мне адрес начальника штаба и опального Великого Князя, сказав:

— Непременно заезжайте и распишитесь и у князя Искандера. Это так у нас принято делать. Кроме того, Главнокомандующий приказал показать вам нашу гордость — Ташкентский кадетский корпус, рынки и базары. Завтра в десять часов утра за вами заедет здешний полицмейстер, очень обязательный человек, вы с ним и поедете.

Вечером мы сидели с женой у окна, мимо проходили туземцы и часто проезжали верховые. Я подметил три основных типа здешней лошади. Проезжали туркмены на нарядных рослых — 3—4 вершка — жеребцах с сухими головами на длинной и тонкой шее, напоминавших своими благородными формами чистокровных английских лошадей. Вымаханные и вытренированные поколениями в далеких, на сотни верст по пустыням, набегах — аламанах — турк-

менские лошади естественно создавались совершенно так, как искусственно, скачками, создавалась английская лошадь. Они в этих аламанах выработали могучее сердце, развили грудную клетку и получили резвость и силу. На скачках в Ташкенте, Самарканде и в Британской Индии не раз туркменская лошадь опережала английскую чистокровную.

Мелкой тропотой проезжали сарты. Эти сидели на безвершковых, нарядных, широкогрудых лошадях, отдаленно напоминавших кабардинцев. Наконец, попадались в этой череде всадников и киргизы на своих небольших головастых лошадях.

Электрические фонари загорелись по городу, стало люднее, фантастичнее, красивее, чем-то напоминал город Севастополь и Одессу. Только не было запаха моря и его вечного биения волн.

На другой день я был в корпусе, высоком красивом многоэтажном здании, окруженном тенистым садом. Я видел кадет в белых рубашках с погонами, видел все то, что было в каждом кадетском корпусе. Громадные залы с паркетными навощенными полами, с большими портретами Государей, с картинами военной жизни, видел светлые классы с чистыми ясеневыми партами, веселые лица детей и серьезные — воспитателей. На дворе раздавался барабанный бой, горнист сигналом обрывал часы уроков. Россия прочно несла свою культуру в далекие азиатские пределы. Россия знала, что делала, и шла по веками, от Петра Великого и Анны Иоанновны, проторенному пути.

Потом были мы и на рынке, крытом, как в Константинополе. Бродили в тесной туземной толпе, любовались пестрыми коврами, вышивками, шелковыми изделиями, медными мангалами и кунганами, изделиями из бирюзы, соломенными циновками и всяким другим восточным товаром. Нас оглушали крики торговцев, какой-то старик пел, аккомпанируя себе на подобии мандолины с очень длинной шейкой, кричали ослы, ревели волы. Пахло ванилью и ладаном, воняло подгорелым бараньим жиром — был Восток, была Азия.

На фруктовом базаре поражало обилие фруктов и разнообразие сортов винограда. На лотке величиной три квадратных сажени, под парусиновым тентом, лежал мельчайший, сладкий, янтарный кишмиш, из которого делают изюм, такой же мелкий черный для коринки, а рядом были громадные, почти в аршин, гроздья черного с сизым отливом «бычьего глаза», где ягоды были величиною со сливу. Длинные бледно-зеленые «дамские пальчики» и золотистая «шассла», зеленый мускат и мускат золотис-

тый, почти черная с белесым налетом «изабелла», чего тут не было! Были ягоды с мелкую ружейную картечь, и были с фунтовое ядро. Были почти белые — и черные, были всех оттенков зеленого цвета и всех оттенков золотисто-желтого. Нигде, ни на Кавказе, ни в Крыму, я не видал такого богатства сортов и красоты винограда. И такое же было обилие персиков, груш, яблок и слив. Одни персики были бледно-желтые, продолговатые, как лимон, с такими же выступами на концах, как у лимона, и такие нежные, что их нельзя было трогать пальцами — оставался тающий след, и были громадные, румяные, жесткие для консервов и компота, были персики с черной, гладкой, как у сливы, кожей, я их и принял сначала за сливы — персики «арапки», и были почти белые с золотистым отливом.

А груши! Какие сорта, какая величина, какая нежность и аромат! Яблоки... Десятки сортов дынь разной величины и самой причудливой окраски.

Как гордился я, проходя этим базаром. Гордился быть русским. Толчок всему этому дала Россия. Пройдет еще немного времени — ускорят свой бег поезда, полетят самолеты — и это обилие станет достоянием всей России. Сейчас для большинства, и самых лучших и нежных сортов, перевозка невозможна.

Три дня прожили мы в шумном и людном Ташкенте, на четвертый поздно ночью выехали обратно на станцию Кабул-Сай, откуда шел почтовый тракт на Пишпек, Семипалатинск, на Верный и Джаркент.

7. Почтовая станция

Ранним утром белый скорый поезд Оренбург-Ташкентской железной дороги остановился на две минуты на маленькой станции Кабул-Сай, затерянной в пустыне. Он выбросил на песчаный перрон полковника в сером пальто и даму в легкой дорожной накидке и соломенной шляпе, оставил несколько чемоданов и пакетов и умчался дальше в Европу, в «Россию».

Еще несколько минут гудели, точно пели прощальную песню рельсы — потом наступила немая, мертвая, томящая тишина пустыни.

Путь шел в выемке между невысокими песчаными холмами. Над головою — высокое, бездонное, голубое небо без единого облака. У станции две полузасохшие акации. В белой построй-

ке сонное царство. Даже телеграф не стучит. Покой... дремота... сон... Пустыня...

От станции, поднимаясь на холм, идет пыльная дорога. На холме белая низкая постройка, белый глиняный забор, невысокие сараи, две киргизские юрты. Постройка казенного типа с низким крыльцом, с высокими прямоугольными пыльными окнами.

Мы пошли к ней. У крыльца полосатый столб, черный с белыми и оранжевыми полосами, на столбе доска — по белому полю нарисован черный государственный герб, ниже надпись: «Почтовая станция Кабул-Сай... Лошадей... До Ташкента — верст... До Чимкента... До Верного...» Подле фонарь, в нем догорает керосиновая лампа-коптилка.

Мы поднялись на крыльцо и открыли высокую дверь. За нею просторные сени, направо — помещение смотрителя, налево — комната для проезжающих. Нигде — ни души. В комнате для проезжающих три больших кожаных черных дивана, большой черный стол, на нем поднос, графин со ржавой водой и два стакана. В углу стол поменьше, на нем припечатанная к нему на веревке «жалобная книга», чернильница и перо. Высокие окна на две стороны — на пустыню и на двор затянуты мутным слоем пыли. И... мухи!.. Все черно от них! Когда мы вошли и потревожили их — комната наполнилась тихим и мерным жужжанием. На большом столе валялась оборванная книга без начала, без конца — роман. Приложение к газете «Свет».

Я пошел на разведку. На дворе, под навесом стояло около двадцати мелких лошадей. Старый смотритель в длинном черном сюртуке шел по двору.

— Я еду в Джаркент, по казенной надобности. Мне нужно лошадей, — сказал я.

— Вижу, — сквозь очки вглядываясь в меня, сказал смотритель. — Очень даже это все понимаю. Подорожная у вас есть?

Я подал выданную мне в школьной канцелярии вместе с предписанием подорожную, которая обязывала смотрителей безотлагательно давать мне лошадей и оказывать мне всяческое содействие при моем проезде. Подорожная была на три лошади.

Смотритель просмотрел подорожную и спросил:

— Вы как платить будете?

Я не понял его.

— То есть — как? По таксе.

— Тут у нас так заведено, чтобы давать проезжающему трех лошадей, а тому платить за двух. Такой обычай.

— Я платить буду за трех.

— Как угодно-с... Можете и за двух... Мы не в претензии.

Смотритель, однако, смягчился.

— Вы как пойдете? — спросил он. — Экипаж у вас свой будет или от почтодержателя?

— У меня своего экипажа нет.

— Неладно, пожалуй, это будет... А с барыней и вовсе в телеге тяжело.

Мы проходили по двору. Под навесом и прямо на дворе стояли телеги с поднятыми кверху оглоблями, с тяжелыми, грубыми, железом окованными колесами. Несколько в стороне стояла коляска.

— Эта коляска ваша?.. — спросил я смотрителя.

— Наша.

— Могу я нанять эту коляску до Джаркента?

— До Джаркента дать не могу. А если заплатите за нее особо, могу дать на свои пять станов. Коляска хорошая, генерал-губернатора в такой коляске возить. Очень вам в ней будет даже удобно.

— Почему же не можете отпустить ее до Джаркента?

— Первое — потому что не выдержит, поломается... Второе — там дальше другой хозяин будет — ворочать будет не ладно.

По всему Туркестану, по Семиречью, по всей Сибири, по всей необъятной России широкой сетью раскинута казенная почтовая гоньба. Эта почта сдается с торгов по участкам вольным предпринимателям. Кто берет себе несколько перегонов — так кабул-сайский хозяин держал почту на два перегона дальше Чимкента, кто берет и только одну станцию, кто две, три. Каждый хозяин сообразно с числом станций держит определенное положением число лошадей, почтовых телег и ямщиков. Расстояние между станциями около 20 верст. Но, конечно, есть перегоны и больше, есть и меньше. На пути, который я проехал, самый большой перегон был 35 верст, самый малый всего восемь. В сухое время года двадцативерстный перегон делают обыкновенно в один час. На каждом перегоне перепрягают лошадей, а при перемене хозяина меняют и телеги, почта перекладывается в повозки нового хозяина, отчего и езда носит название «на перекладных». Там, где меняют только лошадей, задержка очень маленькая — 5—10 минут, здесь перепрягают быстро и — «Айда, пошел!». Там, где приходится менять телеги, там почта задерживается на полчаса и больше, пока не перебросят все тяжелые почтовые баулы. Вместе со смотрителем прошел я в помещение станции, расписался в книге для проезжающих, внес прогонные деньги, получил квитан-

цию, казалось бы — запрягать и ехать. Но смотритель и не думал посылать на железнодорожную станцию за нашими вещами, приказывать запрягать коляску. Он пошел «на день глядя» укладываться спать.

Я пошел к нему. Он уже лежал на грязном диване.

— Когда же вы дадите мне лошадей? — спросил я.

— Когда будут — тогда и дам. Нет сейчас лошадей.

— Как нет? Я сам видел — семь троек у вас стоит.

— Это для почты, и я их никому не могу дать. Хоть сам губернатор проси — я ему не могу отпустить. Вот придет почта из Ташкента, тогда поглядим, на скольких тройках, если останутся лошади — ну тогда и подам. А нет — придется вам обождать.

— Сколько же ждать?

— А это уже разно бывает. И сутки ждут, и по неделям ожидают. Да это вам лучше еще. Не набежит ли еще попутчик какой, вот вместе и поедете, и вам дешевле будет, полцены заплатите.

— Мне попутчика не нужно. Когда же придет почта?

— Кто ее знает. Ждем сегодня, а придет, нет ли — одному Господу известно.

Разговоры были бесполезны. Тут жить не торопились. Надо было вооружиться терпением.

— Ну а поесть у вас можно будет что-нибудь?

— Буфетов или ресторанов мы не держим, однако поговорите со стряпухой, может быть, она вам чего и изготовит.

Стряпуха, полная пожилая русская женщина, очень охотно согласилась за 20 копеек приготовить куриный суп и подать и курицу с рисом, а за 40 копеек добавляла к этому еще и чай с баранками.

Около полудня мы обедали. Не бог весть как чисто было все подано. Миска, тарелки, ложки, ножи и вилки — все носило на себе следы тонкой лессовой пыли. Но все было вкусно и горячо подано. Мутный самовар пел заунывные песни, баранки были как из камня, сахарница сейчас же покрылась черною сетью мух.

Мы вспоминали наших отцов и дедов, их медлительную жизнь, поездки на долгих, тарантасы. Вся поэзия прошлого — повести Пушкина и Соллогуба — вспоминалась нам. Кругом были тишина и безлюдье. Ни один поезд не прошел по пути, никто не приехал, никто не пришел. Жужжали мухи, чуть подувал знойный ветерок за окном, подымал пыль, закручивал ее смерчами и снова укладывал, ровным белесым пластом стирая следы колес.

Командир лихих ермаковцев и его жена — известная певица — сидели на кожаных диванах, читали роман без начала и конца и сознавали, что тут жизнь остановилась и не «летит быстролетное время».

Время не летело, но все-таки шло. Тени от станционного дома и от фонарного столба стали длиннее и синее. Румяное солнце, окончив свой дозор, опускалось к невысоким холмам. Ночь приближалась.

Взошла луна. Все стало призрачным, фантастическим, неземным. Горы заискрились серебряными зубцами, парчовый туман закрыл долину. Одиноким желтым пятном светился фонарь на железнодорожной станции.

Мы пошли гулять. В лунной дымке вилась дорога. Необъятная даль расстилалась перед нами. У кн. Голицына-Муравлина в его «Даль зовет» есть выражение — «звенящая даль». Именно — точно звенело что-то вдали, будто звало к себе. Кругом была пустыня — ни куста, ни дерева, ни дорожного чертополоха, ни травки. Песок, камни и голые далекие горы.

Моя жена шла и пела романс Гречанинова:

...Степью иду я унылою,
Нет ни цветочка на ней,
Деревца нету зеленого,
Где бы мог спеть соловей.

Вернувшись на станцию, мы снова пили чай и грызли от скуки каменные баранки.

Часов около одиннадцати ночи я вышел на крыльцо. Было томительно тихо. Вдруг вдали народился смутный волнующий шум. Он быстро приближался. Звенели колокольцы, бормотали бубенцы, слышался быстрый топот многих скачущих лошадей и грохот колес.

Смотритель вышел со станции. В облаках пыли, в лунном блистании показались силуэты несущихся троек.

Еще издали крикнул смотритель:

— На скольких?

Из серебряных облаков бравый голос ответил:

— На ша-сти!

— Ну вот, — обратился ко мне смотритель, — ваше счастье, почту снаряжу и вам подавать буду.

Сонная станция ожила. Откуда-то, точно из-под земли, появились киргизы-конюхи. Они выкатывали со двора телеги, вели

лошадей, тащили тяжелые дуги. Быстро, со звоном, подлетели тройки. С них на ходу соскакивали почтальоны в черных азямах, с шашками на боку. Они выбегали на станцию, усаживались в комнате смотрителя и пили бледный, горячий чай. Тем временем киргизы-ямщики бесцеремонно перебрасывали громадные тяжелые кожаные баулы, застегнутые металлическими застежками с замками, с одних телег на другие. Баулы с треском падали на дно телег, и гора их росла все выше и выше. Лошади звенели колокольцами, перед ними стояли киргизы-ямщики, сдерживая их. Все это в лунном свете казалось диким и фантастическим.

— Готовы, что ль? — крикнул с крыльца смотритель.

— Готовы, — ответили от троек.

— Пошел! — крикнул смотритель.

Дрогнули и залились «малиновым звоном» бубенцы, отпрянули в сторону киргизы, тройки сорвались и, как бешеные, понеслись, покатились, исчезая во мгле.

Смотритель постоял на дороге, прислушиваясь, как затихало вдали бормотание бубенцов.

— Ну, — сказал он, — теперь и за вами черед.

В двенадцатом часу ночи мы выехали со станции и так же, как почта, растворились в лунном сумраке пустыни.

8. На перекладных

Если хочешь ехать на почтовых быстро — едешь не тогда, когда хочешь, а тогда, когда можешь. Есть лошади ночью — едешь ночью, нет днем лошадей — коротаешь скучные дни то с книгой, то с случайными проезжими.

Дорога не радует взора. Пустыня. Справа, вдали серовато-розовые, безлесные голые горы. Вероятно, земля в дни мироздания была такой. Вспоминались повести Эдгара По. Что-то нездешнее, потустороннее таилось в пустыне. Оазисы были редки. Проехав 79 верст за ночь, утром оказались в крепости Чимкент. Глинобитные высокие стены, с большими, «как на картинках», зубцами, прямая улица, тополя-раины, туземный базар, конные сарты, ослы под вьюками, караван рослых двугорбых азиатских верблюдов, запах чеснока, бараньего пригорелого сала, пряный аромат дынь. За крепостью — хлопковые поля, поля джугары, ячменя и пшеницы, уже сжатые, и опять пустыня, песок, серая верблюжья травка и суслики.

Когда оставили коляску — ехать дальше пришлось в тяжелых, тряских, без дрожин, почтовых телегах. Эта езда скоро сказалась на наших вещах.

Провожая нас из Петербурга, наши старинные друзья — М.И. и С.Е. Крыжановские — Мария Ипполитовна была подругой по гимназии моей жены — подарили нам прекрасный дорожный погребец отличной работы Мюллера на Морской. На все там были свои гнезда, все было приспособлено для похода и дороги. Тарелки, стаканы, рюмки — все лежало неподвижно, каждая вещь в своем помещении. Всякий раз, как мы его открывали на станции, все станционное население собиралось вокруг, жадными глазами разглядывая наше богатство. Теперь, при езде «на перекладных», каждый перегон приносил нам новое огорчение. Стаканы и рюмки исчезли, стеклянная пыль показывала их былое присутствие. Прибитые красивыми медными гвоздиками ременные гнезда выскочили с мест. Европейский погребец не выдержал азиатской скачки в телеге по каменистой пустыне и швыряния из телеги в телегу.

Мы ехали пятые сутки, а все справа тянулись стеною однообразные голые горы — Александровский хребет, как сказала мне карта, по которой я следил наш путь.

Мы ехали в Центральную Азию, в Туркестан, значит — в жару, в зной. На плоскогорье, за Аулие-Ата, налетел ледяной сибирский ветер с дождем и снегом. Жена моя замерзала в легком пыльнике и куталась в плед и бурку. Я дрожал в пальто. К ночи приехали на станцию — лошадей дальше не было. Мы расположились ужинать и пить чай, когда примчалась нам навстречу пара — молодой офицер и барышня лет семнадцати.

Брат и сестра? Жених и невеста? Совсем посторонние. Съехались вместе по объявлению. В Сибири и в Семиречье, перед тем как ехать, в местных газетах печатают объявление: «Ищу попутчика-попутчицу, — такого-то числа еду туда-то». И дешевле ехать вдвоем, и веселее. Так и собрались они в Семипалатинске — молодой офицер, едущий служить в «России», и она, отправляющаяся на курсы в Петербург. Вторую неделю путешествуют на почтовых.

Наивная, премилая пара.

— Ну, посмотрите на него, — говорила нам, не представляясь и не знакомясь с нами, девушка, раскутывая с головы мокрый оренбургский платок, — такая погода, а он в легком пальтишке!.. Разве можно так? Простудится! Совсем ребенок!

— А сами-то хороши, — стесняясь нас, говорил офицер. — Только платок ее и греет. Совсем замерзла.

Мы пригласили их ужинать и пить чай с нами. Они заторопились достать и свои домашние припасы, сухари, коржики и соленья. Я угостил озябших проезжающих коньяком, и разговор завязался.

— Да вот, как видите — едем, — говорила бойкая девушка, — в Россию. Он служить будет, солдатами командовать... Куда ему! Дите совсем. И усов даже нет. Я — учиться...

Узнав, что мы из Петербурга, барышня обрадовалась.

— Послушайте, — сказала она, — вы не знаете там Жуковых?

— Нет. Трудно в Петербурге всех знать.

— Ах... Ну как же так? Да это же моя тетка.

— У вас ее адрес есть?

— Ну как же! Конечно! Только я письмо к ней с адресом заложила на самое, самое дно чемодана. Теперь и не достать никак. Видите — она меня никогда не видала. Мне и дали письмо, как приеду к ней, в ее дом, так и покажу.

— Как же вы думали ехать, не зная адреса? — спросила моя жена.

— Да как? Очень даже просто. Поди в Петербурге-то на станции извозчики есть? Ну вот, я выйду и скажу — вези меня к Жуковой, Аполлинарии Никитичне, что из Семипалатинска.

— Нет, милая барышня, так вас никогда не повезут. Надо указать улицу и номер дома. Петербург город громадный.

— А я думала, что, как у нас в Семипалатинске, все знают домовладельцев, сказать извозчику, если не знает — спросить у другого. Наверно кто-нибудь и знает.

— Я вам советую, — сказала моя жена, — непременно достать адрес и хорошенько запомнить его. Без этого пропадете. Хорошо бы вам и телеграмму ей послать, предупредить ее, когда вы приедете.

— Да, конечно, непременно. Вот, значит, как в вагон сяду, тут и телеграмму? Ведь из вагона можно послать телеграмму?

— Нет, милая барышня, до этого у нас еще не дошло, вы можете дать телеграмму с любой большой станции.

Эта девушка никогда в жизни не видела железной дороги, она не имела понятия об устройстве вагонов. Она родилась, выросла и училась в Семипалатинске и дальше ближайших станиц никуда не ездила. Она знала почтовые тракты, перекладные телеги и тарантасы. Перед нами в XX веке стояло прелестное, наивное существо начала XIX. Все в этой паре было мило, просто и естественно, напоминало романы прошлого, тургеневских героинь, наших бабушек, когда те были молоденькими девушками.

Дорожные встречи — по большей части мимолетные, короткие встречи. Пришел станционный смотритель и сообщил, что лошади накормлены и он может отправить нас «на обратных».

В темную ночь, в дождь и снег, в непогоду, мы сели в открытые телеги — мы поехали на север, молодая пара на юг.

Мы ехали, когда могли, когда были лошади, без передышки, без роздыха. От тряски телеги, от неудобного в ней положения — полулежа, от отсутствия правильного сна — мы доходили до галлюцинаций.

Вдруг покажется моей жене, что мы катимся назад, и она хватает меня за руку и просит, чтобы я остановил ямщика. Я грезил с открытыми глазами. Мне казалось в темноте ночи, что мы едем мимо большого тенистого парка. Высокие березы обступили дорогу, я слышал их свежий запах. Я знал, что тут никакого парка не могло быть, что кругом пустыня, я встряхивался и долго видел мираж сада и дома с темными окнами. Потом сознание прояснялось — над нами темное небо, яркие звезды сверкают в нем, силуэт киргиза-ямщика в малахае, песок, камни, редкие, кривые столбы телеграфа, проволока поет таинственную песню... пустыня.

Днем вдруг покажется вдали зеленое пятно. Высокие равнины, густые сады, дома. По деревянному, низкому мосту, а чаще вброд мы переедем широкий мелкий арык, бегущий в аллее кустов. За арыком убранные поля, высокие скирды и селение. Это «старые» поселенцы. Лет пятнадцать-двадцать тому назад они прибыли сюда из Харьковской, Полтавской, Черниговской губерний, устроились в новом краю благодаря заботам Переселенческого управления, и любо-дорого смотреть все эти громадные русские села, как Мерке, Теке и другие.

На пять-семь и больше верст идет прямая ровная улица. Иногда она мягкая, пыльная, иногда мощенная круглым булыжником. Больше полперегона едешь селом. Улица — аллея акаций, лип, ясеней, раинг, раскидистых мощных карагачей уходит вдаль. Она так широка, что деревья не образуют свода над нею. За деревьями большие фруктовые сады, за садами просторные высокие дома, под соломенной крышей, но чаще под железом. Посередине села площадь, на ней кирпичная красная церковь кораблем, двухэтажное кирпичное сельское четырехклассное училище, волостное правление, дом священника и лавки. Церкви и школы в одном селе как в другом — везде одинаковые, кирпичные, одной и той же архитектуры. Переселенческое управление ставило их по одному плану, по одному рисунку, одного и того же размера. От этого,

от одинаковых прямых и длинных улиц-аллей трудно было различать одно селение от другого и запоминать их.

На окраине одного такого села, на почтовой станции сидел я, ожидая лошадей. Вдруг раздался барабанный бой и звуки пехотного горна. Играли так известную мне «козу». В селение легким бодрым вымаханным шагом входила саперная рота. Белые фуражки с назатыльниками, белые холщовые шаровары, скатки, ранцы, большой шанцевый инструмент — все напомнило мне картины Каразина, скобелевские времена. Рота идет походом более месяца и прошла не одну сотню верст. Сзади едет ротная телега и тарантас, в нем дама с ребенком — офицерская семья.

За городом Пишпеком, типичным сибирским городом с узкими улицами, с березовыми и еловыми садами за деревянными заборами с булыжными мостовыми, выматывавшими душу, и с панелями из досок, снеговые горы надвинулись на нас. Стала видна красота их изумрудных скатов, покрытых лесами, темная зелень кедровника, ярко-зеленые отблески альпийских лугов, мхи, черные скалы и яркое блистание вечного снега ледников.

На одиннадцатый день по выезде из Кабул-Сая телега загремела по булыжной мостовой, мы подъезжали к столице Семиреченской области, городу Верному, в прошлом — Алма-Ата, Алматинская станица Семиреченского казачьего войска. По сторонам были частые хутора и поселки. Навстречу нам попадались и мы обгоняли телеги, запряженные лошадьми, и арбы с волами в ярмах, груженные яблоками и хлебом. Наверху, на соломе, лежали девушки в пестрых платках, казаки в шароварах с малиновыми лампасами и в пестрых исподних рубахах ехали сзади на крепких, головастых лошадях.

Казаки — «семиреки»...

Улицы в садах, в аллеях, городские дома, фонари, тротуары. Мы въехали в город и подъехали к лучшей и, кажется, единственной гостинице города Верного — «Европейской».

Длинное одноэтажное здание, обычное городское крыльцо с зонтом, швейцар в рубашке. «Душистый» коридор встретил нас, не обещая ничего хорошего. Комната, нам отведенная, была как в провинциальной гостинице средней руки, с кроватями за перегородкой, с пузатым комодом, диваном и столом, с мягкими креслами и тюлевыми гардинами на высоких окнах. Все остальное по грязи не поддается описанию. Когда я сказал об этом хозяину, он только руками развел.

— Помилуйте, сударь. Ведь и публика у нас! Какие у нас постояльцы? Это же не Европа! У них даже и никакого понятия нет, что такое культура.

Но стол был — хороший.

9. Мое непосредственное начальство. Генерал-майор М.А.Фольбаум. Прием двух сотен полка

На другой день с утра я собрался «являться по начальству». Надо было поехать в штаб, узнать адреса — так мне, по крайней мере, казалось. На деле все оказалось гораздо проще. Едва я вышел в парадной форме на крыльцо, парный извозчик с коляской подкатил ко мне.

— Ваше высокоблагородие, пожалуйте... По начальству.

— А ты почем знаешь?..

— Помилуйте, не вас первого вожу по Верному. По всему начальству предоставлю, куда надо. И к командующему войсками, и к начальнику штаба, и к архиерею, и к прокурору...

— К прокурору-то зачем же?..

— А как же?.. По всем господам обязательно надо. Вы ведь у нас — новое лицо.

«Новое лицо» село в коляску, и коляска покатила по красивой, тенистой улице, полого спускавшейся к речке. Мы выехали на большую площадь, обсаженную деревьями, и я увидал громадный собор бледно-розового цвета с белыми разводами и с большими окнами, с колокольней и широкой папертью. Мне показалось, что он выстроен из кирпича и оштукатурен, но оказалось, что громадный собор этот являет из себя чудо русского архитектурного искусства. Он построен из дерева, из бревен, в клетку на связях, и сделан так, что при землетрясении он будет гнуться, но не разрушится, так как связи сделаны подвижными.

В эти дни весь Верный жил воспоминаниями бывшего в нем недавно землетрясения. Везде, куда я ни приходил, только и разговора было о том, кто и как пережил и что перечувствовал во время него.

Извозчик показал мне трещины в длинном каменном одноэтажном здании женской гимназии.

— Видите, как качало, мало-мало не повалило совсем. Хорошо народа в ней не было, — говорил мне извозчик.

Недалеко от гимназии, на той же тенистой, покрытой садами улице был одноэтажный каменный особняк — дом губернатора. У крыльца, у полосатых будок, стояли парные часовые стрелки.

Военный губернатор — он же и командующий войсками Семиреченской области и наказный атаман Семиреченского казачьего войска, генерал-майор Михаил Александрович Фольбаум сейчас же и принял меня в большом и тихом угловом кабинете, где от садовых деревьев, глядевших в него, был уютный сумрак. После официального рапорта мы разговорились.

Генерал Фольбаум был пятью годами старше меня, прошел те же петербургские учебные заведения, что и я, и начал службу л.-гв. в Павловском полку. Он помнил и моего Града и меня знал как «Гр. А.Д.». Я же знал Фольбаума как талантливого рисовальщика-карикатуриста. Еще так недавно в одном московском иллюстрированном журнале были помещены его карикатуры на «аттестации». Модный тогда это был вопрос. Только что вышло положение об аттестациях, где было указано, на какие вопросы должен был ответить аттестующий начальник о своем подчиненном. Фольбаум и изобразил в ряде прекрасно исполненных картин эти ответы.

«Как относится к маневрам и вообще к службе в поле?»

Аттестуемый подполковник был изображен сидящим в поле на бурке перед скатертью-самобранкой, уставленной бутылками и закусками, кругом толпятся его офицеры, в стороне денщик, сняв сапог, голенищем раздувает самовар. Подпись: «Маневры — любит. В поле находчив».

«Каков в семейной жизни?»

Подполковник изображен обнимающим и целующим горничную.

Подпись: «Примерный семьянин». И так далее...

С разговора о Семиречье, о полке, о том, чего от меня ожидает командующий, разговор перешел на петербургские воспоминания, на общих знакомых, на мои статьи, на рисунки командующего, затем последовало приглашение моей жены и меня к шести часам на обед, и я почувствовал, что мой «тетенькин хвостик» уже растянулся через Ташкент до самого Верного и в лице моего корпусного командира я имею не строгого и придирчивого начальника, но доброжелательного друга, которому я могу все доверить и обо всем откровенно сказать.

На другой день я принимал сотни, стоявшие в Верном.

Сотни имели очень недурные казармы-бараки и конюшни. При каждой был большой двор для занятий. Места тут, видимо, не жалели.

Одной из сотен командовал есаул Алексей Георгиевич Грызов. Человек выдающийся, серьезный, несколько показавшийся мне угрюмым и недовольным, он внимательно выслушивал мои указания во время осмотра сотни и все говорил: «Об этом позвольте мне вам после доложить в частном порядке».

После осмотра помещений, опроса претензий, выводки лошадей, приема оружия и снаряжения казаков уже вечером я навестил Грызова.

Алексей Георгиевич был почти моих лет. Я был полковником и командиром полка — он недавно принял сотню. Раньше он долго служил в Войске по администрации, прекрасно знал быт казаков и их станичную жизнь. Он был семейный. В небольшой его городской квартире, в просторном, низком кабинете с книжными шкафами, скудно освещенном, у нас был острый разговор о службе и казаках.

А.Г.Грызов смотрел на казака с точки зрения станицы и войска, семейного воспитания в духе войсковых традиций — я смотрел на казака как на воина, призванного служить Престолу и Отечеству. Алексей Георгиевич был тонкий знаток семейного быта казака, я — «строевой трынчик», педант, муштровщик казаков как солдат, дрессировщик лошадей, и потому мои требования, моя программа учения, продиктованное мною расписание занятий не нравились Алексею Георгиевичу. Он спорил, в духе дисциплины, как можно спорить и возражать в частной беседе командиру полка, и из этого спора, из возражений этих все больше и больше выяснялось, что мой сотенный командир горячо и страстно любит Сибирское свое войско, что он самолюбив полковым самолюбием не меньше меня, что, и не соглашаясь со мною, он пойдет за мною, так как видит, что в своей ломке прошлого я исхожу не из прихоти, не из самодурства, но из такой же горячей любви к армии, к строю, к своему полку и к его боевой подготовке.

Так оно впоследствии и вышло. 2-я Грызовская сотня в Верном блистала порядком и выучкой.

За пять дней пребывания в Верном я закончил прием сотен, дал указания, составил примерные расписания занятий, произвел их первую ранжировку, проверил знания казаков. Естественно, что все это пришлось сделать наспех. Отвлекали меня от этого и визиты. Был я у архиерея, у начальника 6-й Туркестанской

стрелковой бригады, у начальника штаба и у штабных офицеров, у командира 20-го Туркестанского стрелкового полка, командира мортирной батареи, у областного медицинского и ветеринарного врачей, у какого-то инженера-гидротехника, мой извозчик хотел везти меня еще и к начальнице женской гимназии, но я от этого уклонился.

От 2 до 5 часов колесил я по городу с его улицами-аллеями, домами, спрятанными в густых садах, и почти на каждом повороте восхищался несказанно красивым видом на горы.

Каждый день, в шесть часов, мы обедали у Фольбаумов, гостеприимство которых было необычайно трогательное.

Михаил Александрович был влюблен в свое Семиречье. Он завел обычай дарить каждому новому поселенцу гнездо породистых крупных кур — плимутроков и гнездо таких же породистых, совсем необыкновенных уток. Он гордился, что во всем Семиречье нельзя было найти скверной, не породистой птицы, что всюду был крупный племенной скот, его заботами созданный, что благодаря его настояниям в Пржевальске была создана заводская конюшня с жеребцами Деркульского, Ново-Александровского, Лимаревского и Стрелецкого заводов, что первые улучшенные лошади уже появились в семиреченских станицах. Он мечтал пересечь в китайских пределах реки Кунгей и Текес, истоки Или, устроить громадный арык и оросить всю пустынную Приилийскую долину, сделать ее годной для жительства и культуры хлебов, садов и хлопка. Партия инженеров-гидротехников ожидалась в Верном, и Фольбаум очень хотел, чтобы я дождался их и познакомился с ними.

Но я торопился к полку.

Накануне отъезда до поздней ночи сидел я в кабинете у Фольбаума, где был областной ветеринар, нарочно приглашенный Михаилом Александровичем, чтобы стравить меня с ним.

Рядом в большом зале собралась вся многочисленная семья Фольбаума. Моя жена пела под рояль.

— Как полагаете вы, — обратился ко мне Фольбаум, — какими жеребцами надо покрывать киргизских маток?

Я уже был предупрежден, что областной ветеринар презирает чистокровную английскую лошадь и выше киргизской лошади не знает ничего.

— В первую очередь, ваше превосходительство, полагаю, надо взять арабских жеребцов или арабо-кабардинцев, какие, и прекрасные, уже есть на Строгановском заводе на Минеральных Водах. Арабская лошадь ближе подойдет к киргизской.

— *Отобранными киргизами*, — внушительно и строго говорит ветеринар и смотрит на меня уничтожающим взглядом. «Что, мол, еще поет этот столичный гусь — спортсмен, стоит слушать его мнение!»

Кое-что и я повидал на своем веку. Я отвечаю спокойно:

— Опыты улучшения киргизской лошади самой в себе в Оренбургской, Тургайской и Кустанайской конюшнях не дали ожидаемых от этого результатов. Лошадь прибавила роста на полвершка, но осталась тою же киргизской.

— Со всеми ее достоинствами, полковник, — величественно говорит ветеринар.

— И недостатками, — говорю я и продолжаю: — Улучшить породу может только чистокровная лошадь, для того веками созданная и проверенная на скачках.

— Конечно, — иронически восклицает ветеринар и взмахивает с досадой рукой.

— Но, — продолжаю я, — как показал опыт калмыцкого отделения Деркульского государственного завода, сразу приливать английскую кровь первобытным породам нельзя. Лошадь дает большой рост, англо-калмыки были до четырех вершков, но отпадает крепость костяка, нет нужного благородства форм, лошади оказались с короткими затылками и дурными тяжелыми головами. Нужно одно или два поколения провести через арабскую кровь и тогда таким полукровкам приливать английскую кровь...

Позднею ночью я с женой возвращаемся пешком в гостиницу. Ярко горят круглые электрические фонари в улицах города. Громадные акации, карагачи и тополя бросают на мостовые и тротуары трепетный узор красивых теней. Тепло. Вдали, за городом, под самым небом сверкают ледники. В городе тихо, город спит, нигде ни души. Тут так недавно было землетрясение, были убитые, была ни с чем не сравнимая тревога. Теперь — тишина, и мощными шагами, точно торопясь, идет строительство края. Уже провешена Туркестано-Сибирская железная дорога, соединяющая Сибирь с Туркестаном. Идет прокладка пути. Первые автомобили проехали в Кульджу. По реке Или задумано пароходство, каналы должны оросить Семиречье — богатейший край расцветет и станет богаче Калифорнии. Завтра, на рассвете, я выезжаю, чтобы принять участие в строительстве, воспитывая и совершенствуя высочайше мне вверенный полк.

10. Бездомный командир

Три дня я ехал от Верного до Джаркента. То не было лошадей, то не хотели везти ночью через Алтынь-Емельский перевал. На четвертый день рано утром я приехал на последнюю перед Джаркентом почтовую станцию Борохудзир, по-русски Голубевское. Здесь ожидал меня очень удобный тарантас на мягких дрожинах, запряженный тройкой прекрасных серых киргизов, как снег белых, с казаком-ямщиком Прокофьевым, высланный за мною от полка.

Из Верного, в первый же день приезда туда, я послал письмо полковому адъютанту, уведомляя о своем прибытии к полку и напоминая мои поручения «не в службу, а в дружбу» о квартире и прислуге. После целого месяца бесприютного скитания, ночлегов в вагоне, в гостинице, в комнатах «для приезжающих», а то и просто в телеге, в степи, так хотелось приехать наконец «домой», устраивать свой угол, наново вить на чужедальней стороне прочное гнездо.

Я спросил Прокофьева, нет ли мне какого письма.

— Со вчерашнего дня вас ожидаю, — отвечал казак, — однако письма вам нет. Лошади ваши с донскими казаками и собакой неделя как пришли к нам.

— А квартира? — спросила моя жена.

— Так что квартиры вам нет.

— Но позволь, — сказал я, — я писал полковому адъютанту, сотнику Калачеву, просил его нанять нам квартиру.

— Сотник Калачев более не адъютант, они уезжают на льготу, адъютантом у нас сотник Самсонов.

— Куда же мы поедем?.. Опять в гостиницу?.. — с ужасом вспоминая верненскую «Европейскую» гостиницу, сказала моя жена.

— У нас, барыня, гостиниц даже никаких нет. Я предоставлю вас на въезжую, а там уже видно будет, что, куда и как.

«Ну вот оно и начинается», — подумал я и вспомнил о том, что я нежеланное полку лицо и что какая-то «обструкция» должна же меня встретить в полку. Но — «терпи, казак, — атаманом будешь»... Погрузились мы в тарантас и со звоном колокольцев и бубенцов менее чем в час промчали пятнадцать верст, что отделяли Голубевское от Джаркента.

Прокофьев лихо остановил тройку на площади у почтовой станции с обычным крыльцом, полосатым столбом и фонарем.

«Комната для приезжающих... Въезжая...» Командир полка въехал в расположение своего полка.

Едва успели мы помыться и снять пыль, покрывшую нас во время дороги, как в дверь постучали палкой и на приглашение войти в комнату мелкими шажками, чуть прихрамывая, вкатился среднего роста и средней полноты генерал-лейтенант, в белой кабардинской папахе, в защитном кителе и шароварах с алым казачьим лампасом, в высоких мягких кавказских сапогах.

Я сейчас же догадался, что это мое прямое и непосредственное начальство — командующий Отдельной Сибирской казачьей бригадой — генерал-лейтенант Калитин.

Я просил меня извинить, что представляюсь не в парадной форме, так как застигнут врасплох, и хотел рапортовать, но Калитин заключил меня в объятия и быстро заговорил:

— Знаю... Знаю-с... Давно и жадно вас ожидаю-с. Барыне вашей меня представьте. Ручку дозвольте ее поцеловать.

Генерал порывисто снял с головы папаху и шмякнул ее на стол. У него были густые седые волосы, расчесанные на пробор. Кустистые брови нависали над острыми серыми глазами, длинные усы и небольшая клинышком бородка на красивом чисто русском лице, совсем простом, делали его лицо приятным: «дедушка Калитин»...

Он бросил палку на диван и, не садясь, живчиком вертелся по комнате, подле раскрытых чемоданов.

— Не разбирайтесь. Напротив, застегните ваши чемоданы. Сейчас поедете к себе... Вы там писали Калачеву... Ну что он может!.. Квартир тут нет! Надо и барыне угодить. Вот поищем, посмотрим, может быть, что-нибудь подходящее и найдем... Я вам приказал комнату писарскую подле канцелярии приготовить... Жена моя и дочери уехали в Петербург — я вам их постели хорошие поставил — вот и живите покамест... Лошади ваши пришли. Какие ваши донцы — молодцы!.. Лошади хороши чистокровные, ай хороши лошади!.. Не для наших только мест такие лошади!.. Тут тя-гу-чая нужна лошадь — по прозванью киргиз или туркмен. Ну да увидите... Едемте-с...

Тот же Прокофьев подал между тем к станции и просторную, хорошую «командирскую» коляску, запряженную тоже тройкой, на этот раз чисто вороных, один как другой, киргизов. Алая расписная дуга, бубенцы на ожерелках и на сбруе, словом — шик!..

Мы сели втроем, вещи наши забрал приехавший с подводой казак. Мы сейчас же и приехали.

Коляска остановилась у одноэтажного бревенчатого барака, над дверью вывеска — «Канцелярия 1-го Сибирского Казачьего Ермака Тимофеева полка».

Барак стоял за двойной аллеей высоких тополей, в тенистом саду.

В узких сенях было две двери — направо и налево, одна против другой.

— Извольте видеть, — говорил генерал Калитин, — тут вот канцелярия — вам и ходить недалеко, все под рукой, а тут, — генерал толкнул дверь направо, — тут будет вам помещение. Писарей я отправил в сотню, недалеко отсюда, а здесь помыли, почистили, побелили. Отлично здесь заживете.

Перед нами была высокая комната-казарма в три окна, ничем не занавешенных, выходивших на городскую улицу. Свежепобеленные стены пахли известкой, белый некрашеный пол и такой же потолок — все это мало походило на командирскую квартиру. В комнате были поставлены вдоль стен две большие пружинные, хорошие кровати, простой умывальник, стол и четыре стула. В короткой стене была узкая дверь, Калитин открыл ее. Зеленый сумрак густого запущенного сада, игра солнечных блесток сквозь листву были за нею. Тополевая аллея шла шагов на пятьдесят от крыльца и упиралась в высокую глиняную стену. Влево, шагов на двести, квадратом росли высокие плодовые деревья, между ними сонно журчали арыки. Дорожек не было. Все заросло травой, все было давно запущено.

Вся наша квартира состояла только из одной этой длинной комнаты-казармы и запущенного сада.

Генерал Калитин продолжал расхваливать квартиру:

— Отличное помещение... Тут и жили бы да жили. На что вам своя квартира?.. Дом деревянный, таких домов в Джаркенте раз-два и обчелся. Никакое землетрясение вам не страшно. Никогда не обвалится. Разве что покосится. И платить — тратиться вам не нужно. Дом казенный — полковой.

— А писаря? — сказал я.

— Писаря... Ну что — писаря!.. Обойдутся как-нибудь. Я вам и денщика назначил. Отличный казак. Грудь у него слабая, к строевой службе признали негодным... Он, я думаю, не из грузин ли будет?.. Не потомок ли ссыльно-каторжного какого. Тут есть такие... Стогниев! — крикнул генерал в сторону канцелярии.

В дверях появился красавец казак, ростом без малого сажень, с тонкими чертами лица и с хмурыми, но хорошими глазами. Он вытянулся в дверях.

— Вот, Стогниев, — сказал генерал, — служи его высокоблагородию и барыне как следует. Понял?

— Понимаю, ваше превосходительство.

— А сейчас, Стогниев, забирай судки и беги в собрание, принеси «ашать» командиру и барыне.

Но я послал раньше Стогниева за лошадьми.

Итак, командирская жизнь моя начиналась в этой комнате-казарме с окнами без занавесей, с чужими постелями, с обедом из гарнизонного собрания — все приготовлено милым и добрым генералом — дедушкой Петром Петровичем Калитиным. Без него — разбивай палатку и становись на полковой площади.

Я прошел в канцелярию и приказал отдать в приказе: «Прибыв сего числа ко вверенному мне полку, предписываю по всем делам службы обращаться ко мне»... На завтра назначил прием полка и, по настоянию генерала Калитина, для приема полку быть построенным в конном строю, в мундирах, в парадной форме. Седловка со вьюком. Знамени быть при полку, знамя иметь без чехла.

К пяти часам дня жена моя переоделась в амазонку, нам подали наших лошадей — Ново-Александровского завода Гризетку и польского завода Рубана — Ванду, мы сели на них и два часа ездили по городу, выехали за головной арык и верст восемь скакали по пустыне. Собака, олонецкая лайка Мышка, не поспевала за нами. Никого мы не встретили, город казался пустынным и малообитаемым. Но за нами наблюдали и следили, и я узнал потом, что наша прогулка верхом по пустыне в первый день приезда произвела хорошее впечатление на полк.

Было горько, больно и одиноко на душе. Казалось, что мы остались только с лошадьми да милыми вестовыми донцами, которые их привезли и должны были через два дня ехать обратно в школу. Собака Мышка... Да вот еще этот милый, немного странный, но такой заботливый генерал «дедушка Калитин»...

11. Генерал-лейтенант Петр Петрович Калитин

Если я, приехавший из Офицерской кавалерийской школы, только что прослушавший и прочитавший все то новое, что делалось в кавалерийском мире, для молодежи полка, бывшей на двадцать с лишним лет моложе меня, — уже казался человеком прошлого века и, вводя новое, всегда чувствовал, как эта молодежь, еще и не знающая этого нового, сейчас же воспринимает его и очень быстро *обгоняет* меня, так что мне приходится стараться, так сказать, попасть ей в «пэйс», — то генерал Калитин для меня казался тоже че-

ловеком прошлого, времени даже не берданок, но крынок, бешеных атак в шашки на плохо вооруженные текинские орды времен скобелевских походов, завоевания Туркестана и той особой молниеносной тактики, так прекрасно применявшейся Скобелевым.

Петр Петрович Калитин был скобелевцем — поклонником, апологетом и выучеником белого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.

Судьба его была не совсем обыкновенна.

Петр Петрович происходил из мелкопоместного дворянского служилого рода Псковской губернии. Калитины были близки, едва ли не соседи, с Куропаткиными. В самой наружности, в внешнем облике генерала Калитина было нечто схожее с Алексеем Николаевичем Куропаткиным.

Жизнь для Петра Петровича началась неудачно. Вспыльчивый, горячий, несдержанный, в кадетском корпусе он повздорил с товарищем и в «запальчивости и раздражении» пырнул противника перочинным ножом. На беду, рана оказалась смертельной. Калитина удалили из корпуса с «волчьим билетом». Карьера его была сломана. В ту пору начинались скобелевские походы в Среднюю Азию. По протекции Куропаткина Калитина отправили в скобелевский отряд.

Петя Калитин, иногда, под горячую руку, тоже вспыльчивого и горячего Скобелева — «Петька», жил при Скобелеве. Мальчик, охотник-доброволец, почти «казачок» для услуг, помощник денщика и вестовых, Калитин прижился при начальнике отряда.

— Петя, откупори бутылку!.. Петя, открой сардины!.. Петя, сбегай к Алексею Николаевичу... Петя, прикажи подать лошадей!

Петя жил подле скобелевской палатки, спал, завернувшись в кошмы, в свободное время сидел с денщиками, линейцами, казаками, туркменами и сартами-переводчиками. Шутя, как все дается в детские годы, научился свободно говорить по-туркменски, по-сартски и киргизски, благо корни этих языков были одни и те же, научился писать и читать, изучил мусульманские обычаи и нравы, стал среди туземцев своим человеком. У Пети Калитина была большая жажда учиться. Но где там учиться?! Шли походы — война! Калитин видел, как в бешеной атаке казаки — уральцы, оренбуржцы и сибиряки рубили головы кокандцам, видел и наших порубленных солдат и казаков. На маленьком сартовском коньке неутомимо скакал он за Скобелевым, прислушивался к тому, что тот говорил, учился «науке побеждать» у непобедимого.

Шли годы. Положение Пети надо было узаконить и как-то оформить. Калитина зачислили вольноопределяющимся в Линейный Туркестанский батальон, по весне предложили держать экзамен на офицера. Экзаменовали свои, те, кто хорошо знал и полюбил ловкого, смелого, услужливого и бойкого юношу. Петя Калитин стал прапорщиком, потом подпоручиком. Исполняя поручение Скобелева, с туркменами проделал он какой-то чуть не трехсотверстный пробег по пустыне, передал весьма нужное приказание, проехал через враждебные племена и получил за этот подвиг орден Св. Георгия 4-й степени.

Когда устраивался завоеванный край и был учрежден институт уездных начальников, в Аулие-Атинское ханство, преобразованное в уезд, был назначен уездным начальником молодой штабс-капитан Калитин. Он пришелся очень к месту. Человек, прекрасно говорящий на туземных языках, знающий до тонкости мусульманские обычаи, — он явился тем русским администратором-колонизатором, которые, не раздражая туземное население и не потакая ему, воспитывают его в верности и страхе перед Белым Царем.

К этому времени Калитин пополнил свое образование. Кажется, не было такой книги на русском или французском языках, написанной про Азию, про походы Искандера — Александра Македонского, Тамерлана, Бековича-Черкасского, Кауфмана и др., которую Калитин не приобрел бы в свою библиотеку и не прочел бы.

Когда русское правительство решило создать Туркменский конный дивизион — формирование его было поручено подполковнику Калитину, и Калитин был первым его командиром. Дивизион был особенный, и служба в нем была особенная. Весь на прекрасных, злых жеребцах — их на коновязи нельзя было держать, так они дрались между собою, с природными наездниками-всадниками, со множеством рыцарских, деликатных восточных обычаев и традиций — это была лихая, красивая, пестрая конная часть, ни с кем не сравнимая и, конечно, совсем не регулярная. Рубили так, как никто на свете не умел рубить. На веревке подвешивали арбуз — и на скаку кривым клычом рубили его ломтями. Рубили живого барана начисто пополам. Когда Калитин все это рассказывал сибирякам, у тех глаза и зубы разгорались — и мы не хуже сумеем! На первых опытах только осушали руку в кисти о гладкий и крепкий арбуз. Казачья прямая шашка не годилась, казалось, для такой рубки. Потом нашлись и у сибиряков молодцы, что рубили арбуз и баранью тушу в шерсти, несмотря на прямизну клинка.

В самый разгар первой революции Калитин был назначен командиром 1-го Волгского казачьего полка Терского казачьего войска.

Туркестанские обычаи, нравы, спайка, лихая служба, с презрением к опасности и смерти, сродни казакам. Калитин скоро усвоил кавказские приемы, стал лихо носить черкеску, умел сам показать рубку, проскакать, прикрикнуть, ободрить, рассмешить, увлечь казаков личным примером. Он стал любимым командиром.

После командования 1-м Волгским полком Калитин получил назначение на Дальний Восток начальником Уссурийской конной бригады.

Командовал он там недолго. Вышли какие-то недоразумения в отчетности хозяйственного свойства, генерал Калитин был смещен и вскоре назначен в Джаркент на должность начальника отдельной Сибирской казачьей бригады.

Человек развитой, умный, с умом острым, с языком метким и нередко злым, не скажу — образованный, но начитанный, знаток Востока и Азии, по существу глубоко военный — он мало и плохо знал строевое дело. Настоящей строевой подготовки он в юные годы не получил, туркмены строю научить его не могли, Волгским полком он командовал в смутные годы, когда было не до строевых учений, надо было гасить огонь революции. На Дальнем Востоке генерал Калитин был в роли крупного начальника, причем часть его никогда не была собрана вместе. Читать и изучать новые уставы (на спичках хотя бы) он не любил и не хотел. Осиянный в юные годы лучами скобелевской славы, создатель и начальник такой исключительной части, как Туркменский дивизион, наконец, командир лихого Волгского полка — Калитин даже с некоторым высокомерным презрением смотрел на уставы и наставления, на «регулярство» строя. Рубка — пику он недолюбливал: кавказец в нем сказывался — джигитовка, меткая стрельба, маневры с непременным условием выиграть фланг противника, тревоги — вот где была его сфера, его начальственные коньки.

Насмотревшись на скобелевские войска, на туркмен и терских казаков, Калитин решил, что все *должны быть* такими. И когда ни на Дальнем Востоке, ни в Сибирской бригаде такими не были, Калитин сердился, ругал офицеров и казаков, удивлялся, что они не могут быть такими. Он не хотел верить, что если не родился таким, как туркмен или терец, то можно *стать* таким.

Нетерпеливый и вспыльчивый, он не жаловал гимнастику, выездку лошадей, медленное систематическое обучение. *Казак!* В этом все сказано! Все должен уметь!..

У него были любимцы и нелюбимцы. 2-й Сибирский казачий полк, которым тогда командовал полковник Семен Васильевич Буров — сибиряк, он любил, ермаковцев, которых я принял, не жаловал.

Он был безусловно храбрый человек, но теперь он был уже в годах. Ему все вспоминались различные ужасы — то андижанская резня, то верненское землетрясение. В Джаркенте и узде было до 60 тысяч туземного населения — киргизов, таранчей, дунган, татар и китайцев. Гарнизон Джаркента состоял из двухбатальонного 21-го Туркестанского полка, 2 полевых батарей 6-го Туркестанского артиллерийского дивизиона, 3 сотен 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка и 2 сотен 2-го Сибирского казачьего полка. Части эти были разбросаны беспорядочно по всему громадному по площади Джаркенту, среди пустырей, садов, туземных деревушек и кишлаков — Калитину все казалось наше положение в нем непрочным, что на нас нападут, вырежут, уничтожат.

Генерал Калитин был начальником гарнизона Джаркента, и он придумывал свои, будто бы «скобелевские», меры охранения, делал частые дневные и ночные тревоги, и на почве этого слишком напряженного и не оправдываемого обстановкой состояния гарнизона у меня с первых же шагов моей службы под начальством Калитина стали выходить недоразумения и столкновения с ним.

12. Вспышки гнева и дружеская помощь

У ворот каждого казарменного помещения, а таковых ввиду разброски полка по всему городу было немало, стояло по два вооруженных винтовками казака. Часовые? Нет, потому что они стояли по 6 и даже по 8 часов без смены, не имели сдачи и держались не так, как подобает часовым. Дневальные? Тоже нет. Это была — *охрана*.

— Кто приказал так ставить?

— Генерал Калитин.

Дневальные по коновязям и по навесам конюшен были с винтовками через плечо. Нагибаясь, чтобы прибрать навоз или распутать поводки недоуздков, они задевали стволами о коновязь, сбивали мушки, пугали лошадей.

— Кто приказал дневальным по коновязям быть при оружии?

— Генерал Калитин.

Первое вызывало громадный и ничем не оправдываемый ежедневный служебный наряд и понапрасну утомляло казаков, приучая их быть небрежными в отправлении сторожевой и караульной службы, второе тяжело отзывалось на состояни винтовок, которые были после долгой постовой службы и без того далеко не в блестящем виде.

Я приказал вернуться к точному соблюдению параграфов устава внутренней службы, сократить наряд, иметь дневальных лишь там, где это вызывается необходимостью, притом без огнестрельного оружия. Дневальным же по коновязям быть при фартуках и с метлами — единственным нужным им для работы «оружием».

В тот же день во время завтрака в мое помещение в канцелярии бурей влетел генерал Калитин.

— Кто смел отменить мое приказание стоять дневальным при оружии? — закричал он, наступая на меня. — Кто отобрал винтовки у дневальных? Петр Николаевич, это невозможно, то, что вы заводите! Вы не знаете нашего края! Это вам не Петербург!.. Не Петербург-с! Вчера тоже... Сидите вечером у окна, пишете, а ставни не закрыты.

— Ставень вовсе нет, — успел я только сказать, как генерал еще грознее наступил на меня:

— Вас убьют! Убьют-с!

— Кто меня убьет?

— Кто? Мало ли кто! Свои казаки!.. Таранчи!.. Увидит вас в окне, станет в темноте и бахнет из винтовки. Так здесь нельзя. Нельзя-с так! И приказания старшего начальника нельзя отменять! Это-с — бунт!.. Революция-с... Я на вас надеялся, а вы...

— Ваше превосходительство, помилуйте, все мушки на винтовках сбиты... Смотреть тошно...

— Ну и что из того, что сбиты? Винтовки заменять давно пора. Они никуда не годятся.

— Но пока мы других не получили, мы должны с этими обходиться. Смешно держать засыпающих у ворот казаков, когда кругом никого нет.

— Сейчас никого нет, а там, гляди, соберется в пустыне орда, налетит и перережет всех, только и видали.

— Ваше превосходительство, вы нас тревогам так научили, что никакая орда не застанет нас врасплох.

— На Кавказе, Петр Николаевич, казак без винтовки никуда... Он и косит, он и пашет, а винтовка все у него за плечами висит... Вот как-с!

— Ваше превосходительство, тут дамы с детьми по пустыне в тарантасах ездят и днем и ночью, и ничего никогда не бывает. Ведь эти меры смешны...

— Смешны!.. Смешны!.. Поздно будет смеяться, когда что-нибудь случится.

На мое счастье, генерал Калитин был вспыльчив, но отходчив. Покипев, побегав по нашей комнате, он как-то неожиданно быстро согласился на предложение моей жены позавтракать с нами, мы послали денщика за третьим прибором, и Калитин, садясь за стол, уже добродушно сказал:

— Ну, как знаете, Петр Николаевич, дело ваше. Я ни во что не вмешиваюсь, вы за все ответите, если что-нибудь случится, я так и донесу, что моих приказаний не исполняют. Но помните, что мы на рубеже Китая и эта косоглазая публика, что на нас смотрит, — свои думы у ней в голове... Мы ничего не знаем, что она про нас думает... После завтрака, — меняя тон и обращаясь к моей жене, сказал Калитин, — поедем, посмотрим, есть тут у бая Юлдашева два домика... Вы на Калачева были в претензии, что он вам ничего не нашел, а где тут найти — тут Джаркент, очень просто, что тут ничего и нет.

После завтрака в полковой коляске мы втроем поехали смотреть юлдашевские дома. Первый мы сейчас же и забраковали. Это была крошечная саманная постройка в две маленькие комнатушки — мы просто туда со своею петербургской мебелью не влезли бы. Другой дом сначала понравился нам своей оригинальною экзотичностью. Но у него было большое неудобство. Он стоял вне района полка, на отшибе, и мне долго было бы ходить на занятия и в канцелярию пешком.

Это был высокий дом коричневого земляного цвета, как все здешние дома, слепленный из глины и земли, с большим крыльцом-верандой, с высокими окнами. Четыре большие комнаты позволяли довольно свободно разместиться, но главное, что нам понравилось, — тенистый сад окружал дом и придавал ему своеобразную прелесть и уют. Но в комнатах не было потолков, и куполом над ними уходила ввысь камышовая крыша.

— Как думаешь, — сказала мне жена, и слезы отчаяния дрожали в ее голосе, — если ничего другого нет?

Генерал Калитин показал палкой на потолок и сказал:

— И думать нечего вам тут становиться, вас тут заедят голубиные вши.

Что это за «голубиные вши» я, слава богу, так и не узнал, но, как видно, Калитина, как и меня, испугали эти темные, высокие крыши вместо потолков.

Мы отказались от этой квартиры.

— Ну а больше, барыня, ничего и нет... Придется вам зажить в канцелярии. Ведь это — Джаркент!.. Тут свободных домов нет. Надо знать, как этот город строился.

— Ваше превосходительство, вы сами понимаете, что жить — и долго — в канцелярии я не могу.

— А вы собираетесь здесь долго оставаться? — хитро прищуривая насмешливые глаза, сказал генерал Калитин.

Кровь ударила мне в лицо. Все мне стало сразу понятно. Для Калитина, как, вероятно, для всех офицеров моего полка, я был «столичный гусь», «фазан» — словом, такая птица, которая долго не засиживается в таких местах, как Джаркент, и гнезда в них не вьет.

— Не знаю, сколько, но думаю, что до тех пор, пока вы не освободите мне место начальника бригады, и тогда я останусь здесь бригадным, если только на то будет монаршая воля.

— Ах, вот как! Ну тогда или обратитесь к баю Юлдашеву и попросите его построить вам дом, или стройте дом своими казаками. Еще раз повторяю вам, что это Джаркент и надо знать его историю, чтобы понять, что тут наемных домов, квартир нет, я живу в доме бая Юлдашева (отличный был дом у генерала Калитина, вместительный и совсем европейский), Сеня Буров (так называл всегда Калитин командира 2-го Сибирского казачьего полка) — тоже в юлдашевском доме, артиллеристы сами построили себе дома, ваши офицеры тоже имеют свои дома... Вам нет квартиры — это Джаркент!

13. Джаркент

Джаркент... По-татарски — город на яру.

В 1871 году командующий войсками Туркестана генерал-адъютант фон Кауфман приказал генералу Колпаковскому для наведения порядка в Восточном Туркестане выступить в Кульджинский район.

Там с 1865 года, со времен восстания дунган, таранчей и киргизов, царила анархия.

Отряд в 1770 человек из Туркестанских линейных батальонов, несколько сотен казаков, в том числе одна сибирских из станиц

Кокчетавского уезда, родоначальников 1-го Сибирского казачьего полка, полуроты сапер, при капитане генерального штаба Куропаткине выступил на Кульджу.

В несколько дней русские разбили и рассеяли скопища таранчей и дунган под Аккентом, Кетменем, Алимту, перешли в китайские пределы, заняли Чинчиходзе-Суйдун и подошли к Кульдже. Кульджа сдалась нам без выстрела. Наш отряд оставался в ней до 1881 года.

Надо было закрепить сделанное завоевание. Капитану Куропаткину с линейным батальоном и саперами было поручено выбрать место для создания в этом краю русского города, будущего центра уезда. Такое место было выбрано на горной речке Усек, текущей из ледников гор Терскей-Алатау и исчезающей в камышовых плавнях, прилегающих к реке Или.

Здесь, на перекрестке дорог, идущей из Верного в Кульджу и из гор Терскей-Алатау к реке Или и на киргизские кочевья на плоскогорье Каркару, гор Кунгей-Алатау, у города Каркаралинска, Куропаткин и наметил быть городу. На этом месте было несколько маленьких таранчинских кишлаков и... пустыня.

Собранные дунгане и таранчи под руководством линейных солдат и сапер провели от горного ручья широкий, сажени три, арык, обсадили его кустами, от него провесили рейками прямую линию, перпендикулярно арыку, в трехстах шагах от нее другую такую же — это были края первого проспекта, в четверти верстах от него и строго параллельно первому проспекту провесили другой и еще в четверти верстах — третий. Эти проспекты были протянуты на четыре версты каждый. Их под прямыми углами пересекли широкие улицы, проложенные на одинаковых расстояниях. По этой провешенной клетке кварталов нарыли арыки, пустили по ним воду. Из Верного привезли садовую рассаду, насадили вдоль арыков тополя, акацию, джигду (род мимозы), а самые кварталы покрыли садами фруктовых деревьев.

Генерал Калитин — шутя, конечно, — говорил, что если в лессовую почву Семиречья воткнуть полированную тросточку с медным наконечником и полить ее обильно водою, то на другой день тросточка покроется листвою.

И это почти не шутка. Почва Семиречья столь плодородна и богата, а вечное солнце столь животворяще, что розы, посаженные моею женою в декабре, весною дали обильный цвет, фруктовые деревья плодоносны с первого года после посадки, а молодые тополя на второй год после посадки дают тень и удваивают рост.

Зеленые квадраты обозначали устроенный Куропаткиным город. Оставалось заселить его.

Город захватил в себя имение таранчинского князька — бая Юлдашева с его усадьбой и старыми садами, имение богатого татарина Нурмаметова с его прекрасными фруктовыми садами и несколько кишлаков рабочих-вассалов, обслуживавших этих местных вельмож.

Войска стояли биваками в палатках. Этим войскам и было предложено устраиваться в городе. В городе было оставлено четыре больших площади-плаца. Подле них линейцы построили себе саманные казармы-бараки. Позднее, когда город разросся садами, инженерное ведомство построило несколько деревянных, бревенчатых бараков, частью на окраине между городом и головным арыком, частью в центре города, построило и небольшую гарнизонную церковь «кораблем». Подле этих казарм стали лепить себе из самана домики офицеры. Бай Юлдашев нашел выгодным заняться подрядами для войск по поставке продовольствия и фуража и тоже стал строить с подряда казармы и дома для офицеров. Так в городе появились постройки трех родов: инженерные — большею частью деревянные, юлдашевские и войсковые — саманные.

Когда я приехал в Джаркент в 1911 году, Джаркент представлял из себя обширный оазис — четыре версты длиною и около версты шириною, окруженный полями пшеницы, ячменя, джугары, люцерны и риса.

Широкие аллеи высоких раин, раскидистых карагачей, джигды, белой акации и лип образовали тенистые улицы, немощеные и такие широкие, что сотня свободно могла идти развернутым фронтом и еще много оставалось места. За Усеком к городу примыкала большая карагачевая роща.

Город стоял уже сорок лет, а ни одна улица, ни одна площадь не имели названия. Обыкновенно говорили: «на той площади, где гарнизонная церковь», или «там, где живет командир 2-го полка», или «подле городского собора», «на улице, где нурмаметовские сады», или «знаете, где квартира подполковника Никольского».

Никаких тротуаров, никаких фонарей.

Вдоль улиц двумя узкими тонкими канавками бегут звонкие арыки, над ними густая зелень высоких деревьев.

Питьевая вода — из этих арыков. В собрание и начальнику гарнизона возили в бочках воду из головного арыка. Начальник гарнизона генерал Калитин строго следил, чтобы арыки эти не гряз-

нили, и вел непрестанную войну с офицерскими женами, стремившимися выливать что не нужно в арыки и стирать в них детские пеленки.

Части, стоявшие в Джаркенте, своих офицерских собраний не имели. Было общее для всего гарнизона «гарнизонное» собрание — большая саманная постройка, сделанная баем Юлдашевым. При собрании был хороший сад. Гарнизон имел свою небольшую церковь, гарнизонный госпиталь и хлебопекарню.

Русское население города состояло почти исключительно из чинов гарнизона. Гражданских людей было очень мало.

На главной, «парадной» большой площади стояла красивая бело-розовая с золотыми куполами городская церковь — наш собор. При ней был просторный дом священника и дом причта.

Уездным начальником был полковник Василий Васильевич Смирнов, кроме него был уездный врач, почтодержатель, три почтовых чиновника, таможенное управление, около которого часто можно было видеть большие караваны двугорбых верблюдов, прибывшие из Китая с цибиками чая или воловьими кожами, городское четырехклассное училище с учительницей, два универсальных русских магазина, и если к этому прибавить проживавшего в Джаркенте очень почтенного старика Потанина, бывшего ссыльного, которому было принято делать визиты, — «пострадал за правду», то это и будет все русское гражданское население Джаркента. Мы, офицеры, как-то держались от него в стороне. «Каста» все-таки сказывалась.

Когда въедешь в Джаркент, на его главную улицу, на которой стоят обе его церкви, откроется длинная, вдаль уходящая, тенистая аллея высоких деревьев, она смыкается вдали, и над нею точно нависли громадные горы со снеговыми вершинами. Они кажутся такими близкими, что выехать за город — вот они и горы. Это Кунгей-Алатау, или Кенги-Тау, отроги Тянь-Шаньского хребта, «Небесных гор». Высота Кунгей-Алатау — до 4679 метров. До них около ста верст. Если повернуть в обратную сторону — совсем наступая на город, высятся горы хребта Терскей-Алатау с его мощными ледниками и крутыми недоступными вершинами, высотою до 4500 метров. До гор — 40 верст. Через эту широкую долину, в 24 верстах от Джаркента, в море камышей, среди песков, в глубоком илистом русле течет широкая и глубокая река Или. Улицы Джаркента обрамлены с обеих сторон высокими стенами. Одни побелены известкой и выглядят опрятно, другие коричневато-бурые, местами обвалились. За ними — густая зелень садов.

Кое-где фасадом выйдет на улицу маленький домик в два-три окошка, белый, саманный, с крылечком, с высокими окнами со ставнями. На нем ни номера, ни названия. Но спросите проходящего солдата или казака — вам скажут: «капитана Петрова», или «поручика Сакулина», или «командира стрелкового полка»...

Вот почему мне и не было дома. Мой предшественник имел свой дом, и он перешел к другому офицеру. Мне оставалось только строиться или просить милости бая Юлдашева.

На той же главной улице, где были церкви, стояло и гарнизонное собрание. Огромная глиняная постройка с толстыми карагачевыми балками потолка, оно выделялось своими размерами.

Генерал Калитин всякий раз, когда входил в него, показывал палкой на толстые балки потолка и говорил:

— Не дай бог землетрясение — всех разом задавит, и костей потом не соберем.

Этот страх землетрясения, однако, никому не мешал ходить в собрание, посещать танцевальные вечера и спектакли и просиживать вечера за игрою в тетку или в лото или сидеть в библиотеке.

Высокое крытое крыльцо с каменными ступенями вело в просторную прихожую, установленную вешалками, за прихожей был коридор, из него — налево была дверь в комнату для приезжающих и направо в «дамскую». За коридором был большой зал в шесть окон. Полы были простые, из широких белых некрашеных тополевых досок, они были хорошо вымыты и в дни балов натерты воском, стены белые, без обоев, беленные известкой. По стенам висели портреты Государя и Государыни в золотых рамах и в черных багетах фотографии и гравюры героев Туркестана: Скобелева, Кауфмана, Черняева, Колпаковского, Ионова, Куропаткина и несколько снимков с картин Каразина и Верещагина. Вдоль стен в чинном порядке стояли буковые «тонетовские» стулья. По стенам висели керосиновые лампы с круглыми стеклянными колпаками. За залом было возвышение сцены, отделенное драпировкой, и там была устроена гостиная с мягкими креслами и диваном. По другую сторону зала была большая столовая, бильярдная и библиотека.

Библиотека была богатая и очень хорошо подобранная. В ней были все классики, военные книги и все, что было издано о Центральной Азии. На столе лежали на палках газеты и журналы. Собрание получало: «Русский инвалид», «Военный сборник», «Военно-исторический сборник», «Разведчик», «Стрелковый сборник»,

«Артиллерийский журнал», «Вестник русской конницы», «Оружейный сборник», «Природу и охоту», «Новое время», «Русское слово», омские и ташкентские газеты, «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русскую мысль», книжки «Знания», «Ниву», «Всемирную иллюстрацию» и т.п. Читали много и усердно.

В часы обеда и ужина в столовой собрания было людно и шумно. Холостые офицеры гарнизона столовались в собрании, где хорошо и очень дешево кормили. В Джаркенте же не было ни ресторанов, ни кондитерских, ни пивных. Русскому человеку некуда было податься, чтобы поесть и отдохнуть. Гарнизонное собрание гостеприимно открыло двери и для чиновников Джаркента.

Кроме построек военных, принадлежащих гарнизону, в Джаркенте на боковых улицах помещались управление и квартира уездного начальника, у которого был прекрасный музей чучел зверей и птиц Семиречья, любовно им составленный, почтовая контора, большая, красивая, легкой постройки мусульманская мечеть и небольшая китайская кумирня.

Город был бы очень красив, если бы не утомляло казарменное однообразие геометрически правильно разбитых улиц и площадей, столь похожих одна на другую, что трудно было узнавать их.

Прелестны были отдельные уголки Джаркента. Идешь или чаще едешь верхом — и остановишься и залюбуешься. Обвалившаяся стенка, по ней бегут все в цвету палевые розы. За стенкой буйная поросль плодовых деревьев, висят гроздья винограда. У стены стоит ослик. На пестром тряпье навьючены цилиндрические корзины, полные зеленого и темного винограда. Подле ослика таранчинская девушка с громадной белой хризантемой, заткнутой за ухом, в белой длинной рубашке и пестрой юбке. Совсем акварельная картинка.

Утром при восходе солнца и вечером перед закатом Джаркент покрывался дрожащим золотисто-розовым облаком нежнейшей лессовой пыли. Это казаки повели лошадей на Усек на водопой, таранчинцы погнали свои стада коров, баранов и ослов к реке.

Эта пыль, поднятая утром, постепенно уляжется только к полудню, чтобы снова подняться к закату. Она проникает всюду, и белый лист бумаги, положенный на столе, через час становится серым.

Генерал Калитин уверял, что лессовая пыль весьма полезна для здоровья и будто легочные больные поправляются в Семиречье.

Вдоль западной окраины Джаркента в глубоком русле течет в отвесных крутых берегах река Усек. Русло имеет ширину от 300 шагов

до полуверсты. Оно покрыто мелкой галькой. Сам же Усек — мелкий ручей, сажени четыре шириной и четверть аршина глубиной, мирно пробирающийся по этой гальке. Его берега создали нам прекрасное природное зимнее стрельбище. Высокие земляные стены его берегов сажень двадцать вышиною были отличными приемниками пуль.

На Верненском тракте через Усек еще Куропаткиным был построен длинный деревянный мост на сваях — гордость Джаркента.

К востоку от Джаркента синеют голые скучные невысокие Хоргосские горы. За ними — Китай. До его рубежа 34 версты.

14. Прием полка

На другой день по приезде в Джаркент к восьми часам утра оделся я в парадную форму, в темно-зеленый мундир с серебряными полковничьими эполетами, с перевязью и лядункой, сел на Гризетку, поседланную седлом с усовершенствованным мною вьюком, и один, без вестового, поехал на окраину города, где на поле, подле деревянных бараков, должен был ожидать меня мой полк.

Сильно билось мое сердце. Правда, полк был не весь, но все-таки три сотни, учебная и нестроевая команды — все это представлялось мне внушительным.

Соразмеряя ход своей лошади, чтобы минута в минуту ровно в восемь часов подъехать к полку, я приближался к площади. Передо мною высились необычайно красивые горы. Снеговая линия блистала под голубым небом.

На большом поле, где слева в ровную линию вытянулись три бревенчатых барака, как-то прижавшись к ним, неровными частями стоял полк.

Я увидал его новое знамя, алый, с темно-зелеными углами полковой значок, сотенные значки — алый, алый с зеленым и алый с коричневым, линии двуколок и парных повозок. Блеснули на солнце трубы трубачей. Сверкнули вынутые из ножен шашки.

Я поднял лошадь в галоп. Трубачи заиграли встречный общеказачий марш. От строя отделился громадного роста всадник — богатырь на небольшой лошади и, держа шашку «подвысь», поскакал мне навстречу.

— Господин полковник, в 1-м Сибирском казачьем Ермака Тимофеева полку в строю имеет быть штаб-офицеров 2, обер-

офицеров 15, сотен три, полковая учебная и нестроевая команды. Полк построен для приема его вами.

Кто хотя раз принимал полк — тот поймет мое волнение. У меня темнело перед глазами, и несколько мгновений я почти не видел бравого, полного, черноусого лица рапортовавшего мне войскового старшины. Приняв письменный рапорт и засунув его за перевязь, я карьером подскакал к полку.

Мой полк!

Человек пятнадцать трубачей на разномастных лошадях усердно трубили в трубы. Ими дирижировал сидевший на маленьком сером коньке-горбунке худощавый капельмейстер в темно-зеленом сюртуке и фуражке.

Капельмейстер был еврей.

На интервале стояла первая сотня со знакомым по школе есаулом С. Сотня, как и другие две, была такая маленькая, что сотенный командир не потрудился рассчитать ее на взводы, и она стояла как один двадцатирядный взвод.

Люди были высокого роста, и большинство — очень красивые. Портила их стрижка волос.

Со времен Петра Великого у казаков было право-привилегия, дарованное им Царем Преобразователем, — усов и бород не брить и волосы носить по своему войсковому обычаю. Этот войсковой старинный обычай был — стричь волосы в кружок, подбривая затылки и оставляя на голове длинные волосы с чубом, обычно подвитым. Но казаки последнее время почему-то не любили этой стрижки, и нам в гвардии приходилось бороться, чтобы стрижка эта соблюдалась. Оренбуржцы завели обычай стричься «под польку». Волосы стриглись гладко, по-солдатски, но оставлялся спереди и с правого бока длинный клок волос, долженствовавший изображать чуб. Такою стрижкою лицо уродовалось, в нем появлялось нечто пошлое, от чего несло фабричным пригородом.

Вот так, «под польку», и были острижены казаки *высочайше* мне вверенного полка. На них были надеты очень маленькие искусственного курнея папахи, то, что у донцов называется презрительно «папашки». Одни казаки были в старых мундирах-татарках с длинными полами, другие в коротких, новой формы. От этого больше пестрил строй. Кроме того, казаки сидели на малорослых лошадях, не подобранных по мастям.

Гнедая, серая, вороная, рыжая и опять серая — пестрота эта рябила в глазах. Вьюки были потертые, видавшие большие походы, медные пряжки не начищены, поводья не выровнены на лещетках

и перекручены. Гривастые — грива опускалась ниже шеи, с лохматыми челками, лошади мотали головами. Хвосты были запущены.

Я объехал полк.

Мой полк!

Какой, однако, маленький, непрезентабельный, пестрый и, видимо, плохо обученный. Лошади жались в строю. Казаки неровно держали пики.

Печально сжалось мое сердце. Где же, однако, были люди? По суточной ведомости их должно быть много больше. Вчера после рапорта дежурного по полку офицера я прикинул в уме — должно было быть в каждой сотне по три взвода по десять рядов во взводе. Трети людей не хватало.

Пропустив полк мимо себя посотенно, а потом по три разомкнутыми рядами, я внимательно рассмотрел лошадей. Они были очень худые — и не худобою работы и тренировки, тяжелых маневров и учений, но худобою бескормицы.

Приказав привязать лошадей на коновязи, а полку в пешем строю построиться для опроса претензий, я обошел казармы 1-й и 6-й сотен. Это были довольно просторные бревенчатые бараки, светлые, с железными печами. Вместо кроватей были нары. На них лежали жидкие соломенные матрацы и подушки в пестрых ситцевых «домашних» наволочках, набитые сеном. Вместо одеял были старые, потертые шинели. Спартанская была обстановка.

В проходах между стенами и нарами стояли грубо сделанные самодельные параллельные брусья, кобыла, обитая холстом, турник и наклонная лестница.

Конюшен сотни не имели, вместо них были сделанные из самана самими сотнями навесы. Да, суровая, чисто военная была обстановка быта моего полка. И... везде сквозила бесхозяйственность, ощущалось дыхание льготы, а с нею постоянно сменяющихся сотенных командиров, их сознание — сегодня здесь, а завтра переведут в Верный, Кольджат или совсем угонят за Китай — в Бахты. Не стоит стараться и тратиться, создавая казарменный уют.

Вернувшись к полку, я приступил к опросу претензий. И в л.-гв. Атаманском полку, где я прослужил 19 лет, и в Офицерской кавалерийской школе по два, по три раза в году разными начальниками производились такие опросы претензий, и как-то не принято было их заявлять. О своих нуждах, протору и убытках казаки говорили или своему взводному офицеру, или прямо сотенному командиру, и все исполнялось, не выходя из сотни. И была у нас потому привычка смотреть на такие оп-

росы претензий лишь как на отбывание номера, предписанного законом.

Два офицера, сотник А. и хорунжий И. — оба не сибирские казаки, — заявили претензии на то, что до сего времени не получили призовых денег за взятые ими в прошлом году призы на бригадной скачке.

Казаки претензий не заявили. Я проходил вдоль фронта и вглядывался в их лица. Хорошие, открытые были лица, казаки смотрели на меня просто, ясными серыми и карими глазами встречая мой взгляд, и вслед мне неслось: «Не имеем... не имеем... претензий не имеем».

Отпустив полк, я приказал господам офицерам собраться к 12 часам дня в полковой канцелярии. Там была «сборная комната», где стояло несколько стульев, висели портреты бывших командиров полка и была учебная черная доска. Эта комната была предназначена для бесед с офицерами и для занятий с ними, когда те не производились в гарнизонном собрании.

Мне предстояло самое трудное — распутать тот узел наших отношений, который завязался помимо меня и о котором меня предупредили и в Главном штабе, и у генерала Самсонова.

15. «Разговор» с господами офицерами

Господа офицеры в парадной форме стояли длинной шеренгой. Сверкали серебряные эполеты, портупеи и перевязи, кое у кого на шашках висели аннинские темляки «За храбрость» — отличия Японской войны. Были и боевые ордена с мечами и бантами. И у меня таковые были, и это роднило меня с ними.

Я обходил их строй и здоровался с ними. Офицеры мне представлялись.

— Войсковой старшина Ефим Никитич Осипов, заведующий хозяйством.

Гигант саженного роста, такой же в плечах, красавец, брюнет, с черными усами, с большими, ясными, блестящими глазами в длинных ресницах поклонился мне. Все в нем было пропорционально и вместе с тем массивно, самый голос его мягкий и ровный, видимо притушенный, будто говорил: «Не бойся, что я такой великан и силач, я человек добрый». Таков был первый мой помощник и сотрудник.

— Войсковой старшина Первушин, помощник по строевой части.

В противоположность Осипову, Первушин был совсем маленького роста. Крепкий, худощавый, с загорелым почти дочерна лицом, бритым, с острыми охотничьими серыми глазами, прекрасно выправленный, он смотрел на мой значок Павловского училища. На груди у него был такой же. Мы были одного училища. Мы без слов понимали друг друга.

— Есаул С. (я не называю фамилию этого достойнейшего офицера потому, что она совершенно выпала из моей памяти) — командир 1-й сотни.

— Ну, как ваше сердце теперь? — спросил я его.

— Ничего, господин полковник, лучше немного. Но одышка одолевает.

Есаул С. был тучен. Школьная работа подорвала его здоровье. Он задыхался. Он прохворал в полку три месяца — сотней командовал его старший офицер, сотник Анненков, а дела хозяйственные ведали его жена с вахмистром. В декабре он скончался. Помню его, тихого и кроткого, — уже на смертном одре, когда я заходил навещать его. Он все извинялся, что так долго хворает и не может как следует приняться за сотню.

— Ведь повести хотел сотню, как вы в школе учили. Я все говорю, что нужно сделать Борису Владимировичу (Анненкову). Он исполняет хорошо, старается, — говорил мне С., мягко улыбаясь, — а вот встану и сам все налажу.

Но уже было видно, что кончался человек, уходил от нас навсегда.

Когда он умер, свои плотники соорудили ему гроб, да такой большой, что внести-то его внесли как-то боком в квартиру, а как положили покойника, то уже вынести и не было возможности. Надо было вынимать мертвеца и перекладывать наружу.

Помню — замешательство на крыльце. На улице готов для гроба орудийный лафет, любезно предоставленный нам артиллерийским дивизионом, хор трубачей играет «Коль славен», певчие поют «Святый Боже, Святый Крепкий». Конная сотня ожидает своего командира, чтобы проводить его в последний поход, а никто не решается взяться за покойника, лежащего в парадном мундире в гробу. Я подошел к нему и взял его за плечи. Тогда бросились и другие офицеры и казаки, подняли покойника, подержали его на руках, пока боком протащили гроб, и уложили снова мертвого. И до сих пор, когда услышу «Коль славен» и пение певчих «Святый Боже», — все кажется, что у меня лежит на руках седая голова старого есаула С. ...

— Подъесаул Вячеслав Иванович Волков, командир 4-й сотни.

Русая бородка и усы на красивом смелом лице — облагороженный наш шеф — Ермак Тимофеевич! На груди распластанный орел Николаевского кавалерийского училища. Острый взгляд испытующе смотрит на меня, будто спрашивает: «Каков-то ты? Куда поведешь нас? Достоин ли нами командовать?» И мне кажется, что вот он — глава оппозиции.

— Подъесаул Калмыков, командир 6-й сотни.

Смуглое темное лицо монгольского типа. Непреклонная воля в глазах.

А дальше пошли младшие офицеры: сотник Дорогов-Иванов, начальник нестроевой команды и заведующий оружием, сотник Анатолий Павлович Калачев, на кого я возлагал столько надежд, сотник Геннадий Петрович Самсонов — щеголеватый адъютант со значком Николаевского училища и в тонких аксельбантах, сотник Асанов — полковой казначей, сотник Борис Владимирович Анненков, хорунжий Грибанов, хорунжий Леонид Александрович Артифексов, начальник полковой учебной команды, хорунжий Иванов, хорунжий Попов, хорунжий Иван Красильников и два офицера последнего выпуска — хорунжие Берников и Мина Покровский. Старший врач коллежский советник Белевич, ветеринарный врач, делопроизводитель по хозяйственной части — коллежский советник, капельмейстер Лагун — вот они все, мои тогдашние сотрудники и помощники... возможно — моя оппозиция. Одних, как Волкова, Калмыкова, Анненкова, Артифексова, Красильникова, судьба вознесла высоко, заставила решать задачи чрезмерные, часто непосильные им, другим предоставила выпить до дна горькую чашу русского офицера в пору захвата власти большевиками и почти всех уложила в могилу, многих при крайне трагических обстоятельствах.

Я отпустил чиновников и остался с одними офицерами. Внутри я сильно волновался. Несмотря на привычку говорить перед офицерами — в школе я читал лекции о езде и выездке лошади, — я чувствовал, что мне трудно будет говорить. Ведь мне было известно, что передо мною если не прямо враги, то во всяком случае люди, настроенные против меня, мои недоброжелатели. По приему полка, по тому, что никто из офицеров меня не встретил, когда я приехал, никто не помог в трудном квартирном вопросе, что все время чувствовалась только холодная вежливость дисциплинированных людей, по тому, что два офицера официально заявили претензии, я

мог видеть, что «тревожные ауспиции» существовали и что не напрасно я был предупрежден.

Одно — говорить, когда знаешь, что слушатели к тебе расположены, и совсем другое, когда они равнодушны или и прямо настроены враждебно.

Я стоял спиною к окнам, они лицом к свету. Им мое лицо не было видно, я видел каждый оттенок их выражения.

— Господа, — сказал я, — мне известно, что вы весьма недовольны моим назначением командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка, и ваше недовольство я так понимаю и сочувствую ему. Я сам переживал то же, что и вы, когда Донские полки давали в командование не казакам...

— Вы недовольны... Должен вам признаться, что и я недоволен и не обрадован своим назначением. Я мечтал получить родной мне Донской полк, где офицеры и казаки меня знают и я их знаю, где крупные кровные лошади, полк, где имеются прекрасные казармы, наконец, получить хорошую культурную стоянку на железной дороге. Я получил чужой мне полк, где меня не знают и где я никого не знаю, полк, разбросанный на сотни верст, с мелкими лошадьми, стоящий в глуши... Вы видите, что мне приходится делить с вами все тяжести жизни на далекой окраине в некультурной, почти бивачной обстановке...

Я следил за выражением лиц офицеров. Я заметил, что по лицам Осипова, Первушина и Волкова как бы какая-то тень пробежала. Я продолжал:

— На мое назначение вашим командиром была воля Государя Императора. Эта воля равно священна как для меня, так и для вас. Я уверен, что вы поймете меня и с полным усердием приметесь за работу по воспитанию и обучению полка, по созданию полка, достойного носить имя нашего шефа, покорителя Сибири — Ермака Тимофеевича. Тяжело?! Равно тяжело будет и мне, и вам. Будем дружно работать и в этой работе забудем то тяжелое, что залегло в наших сердцах... Я приехал к вам из Петербурга, где родился и вырос, и вот я вам говорю, что не дома, не монументы, не улицы и площади создают Петербург, но его люди и его работа. Мы в своих казармах часто забывали, что мы в Петербурге. Если мы поставим нашу жизнь, нашу службу в Джаркенте так, как мы ставили ее в Петербурге, — мы в Джаркенте, среди его садов и пустыни, забудем скромную бедность наших жилищ и не познаем скуки окраинной жизни... Можете быть свободны, господа.

Мерно звякнули шпоры, офицеры ответили на мой поклон, повернулись и стали молча выходить из канцелярии. Я остался один. В окно я видел, как одни шли пешком, другие садились на ожидавших их лошадей.

Они расходились и разъезжались молча. Это было хорошим для меня признаком.

На другой день задолго до света я верхом в сопровождении сотника Калачева уехал в Кольджат. Мне предстояло сделать 111 верст и подняться на высоту почти 3000 метров.

К вечеру я был в Кольджате, где был радушно принят командиром 3-й сотни есаулом Толмачевым и его женой. Они накормили меня прекрасным ужином и устроили ночевать в отдельной комнате своей постовой квартиры.

На другой день с утра я смотрел сотню, опрашивал претензии, давал указания, составлял расписания, словом, проделал все то, что делал в Верном с тамошними сотнями.

Есаул Толмачев произвел на меня очень хорошее впечатление дельного и знающего офицера.

Три года спустя, когда меня уже не было в полку, в этом самом Кольджате, на громадной высоте, на сотенном дворе, под грозными утесами отрогов Небесных гор, есаул Толмачев выдавал казакам жалованье. Он сидел за столом, казаки стояли кругом него. Какой-то негодяй казак из-за спины товарищей застрелил выстрелом в затылок из винтовки своего сотенного командира. Был полевой суд. Даже особых причин не было.

— Так!.. Осерчал очень на него, — тупо говорил казак.

Казаки той же третьей сотни расстреляли негодяя. Серьезный был народ... Горная высота, утесы неприступных гор, полное, монастырское уединение давили казаков и делали такие случаи возможными.

Под ночь, воспользовавшись луной, я выехал обратно из Кольджата и к утру был дома — в канцелярии.

Этот пробег ночью, вдвоем с Калачевым, мы и вестовых не брали, пробег по пустыне и горам произвел тоже хорошее впечатление на полк. Он зарекомендовала и меня, и мою лошадь.

— Серьезный командир... И чистокровная, оказывается, может состязаться с киргизом на дальнюю дистанцию.

Многое еще предстояло мне. Надо было разыскать и вернуть бывших «в нетях» людей, выранжировать сотни, подобрав их по мастям, переменить стрижку и изменить весь круг занятий.

Одно затрагивало интересы офицеров и их семей, другое нарушало войсковые традиции, и все в общем накладывало на офицеров большую и тяжелую работу, лишая их свободного времени и отрывая их от карт и вина. Тут-то я и должен был встретить самую серьезную оппозицию. Я искал себе союзников.

16. Разговор с полковым адъютантом. Решительный приказ

Это почти всегда так бывает, что полковой адъютант очень скоро становится доверенным и другом командира полка. Это же так понятно и естественно. Командир полка и адъютант целыми днями вместе, не расстаются. Особенно на новом для командира полка месте, где командир еще не твердо знает, где какая часть расположена, кто ею командует, как имя и отчество того или другого офицера, фамилия вахмистра или урядника, кто женатый, кто холостой. Мелькнет в докладе адъютанта характеристика того или другого офицера, часто очень меткая и всегда весьма нужная командиру. Вместе командир и адъютант составляют приказ, и — хочешь не хочешь, а адъютант принужден отвечать на вопросы командира полка, на его «почему?», «отчего?», «кто?».

— Почему, Геннадий Петрович, в полку лошади такие худые? Я таких худых и на Японской войне не видал.

— Как им не быть худыми, господин полковник, ведь согласно с приказом по военному ведомству сухой фураж казачьим полкам Сибирского казачьего войска полагается только на десять месяцев. Сентябрь и октябрь — травяное довольствие на подножном корму. Приказ писали, полагая, что полки стоят в Сибири, а они оказались в Туркестане. Здесь травы нет. Или надо покупать люцерну, или гнать за триста верст на речку Каркару, на плоскогорья, под Пржевальск, а там киргизские кочевья — не позволяют пасти там лошадей. Вот два осенних месяца в году лошади и остаются без корма.

— Что же они едят?

— Ничего, господин полковник. Как говорится — газеты читают.

В узком и длинном канцелярском кабинете командира полка, где я сижу за письменным столом, сгущаются сумерки. В окна без занавесей видны темнеющие силуэты тополей. Слышнее к ночи звон арыка под окном. Сотник Самсонов стоит против меня с папкой доклада в руке. Я смотрю на его кра-

сивое лицо с тонкими изящными чертами, на густые вьющиеся темные волосы, на золотого орла с распластанными крыльями — значок Николаевского кавалерийского училища, смотрю в серые глаза Геннадия Петровича — вижу в них доверие и преданность, готовность помочь командиру. Через генерала Калитина я знаком с биографией своего адъютанта. Он сын вахмистра в этом самом 1-м Сибирском казачьем полку, сподвижника Скобелева, георгиевского кавалера всех четырех степеней. Геннадий Петрович окончил Омский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище, он кругом военный, и он меня поймет.

— Скажите мне, Геннадий Петрович, почему здесь офицеры и казаки такие хмурые и точно забитые? Все не могут примириться с моим назначением?

— О нет, господин полковник. Надо знать здешнее положение... Мы очень здесь и во всем унижены.

— Унижены? Вот как! Но кто же может и смеет унижать казака-ермаковца?

— Тут так, господин полковник... Если осенью прольют дожди, станет непролазная грязь и натоптаны в ней узкие тропинки — вдвоем не разойтись, одному нужно сходить в грязь. И вообще, вы видели — местами аллея между арыками тоже узкая... А тут требуют, чтобы казаки и офицеры... уступали дорогу туземцам. Ну и идет какой-нибудь бай Юлдашев или местный аксакал, а то и просто дунганин «купеза» — а ты сходи в грязь, уступай ему дорогу. Очень это все обидно. Наши казаки через это и в город в отпуск не ходят, сидят по казармам. Чуть что — на казака жалоба. Казак всегда виноват — таранчинец прав... Ну и обидно...

— Кто же установил такой странный порядок?

— Бывший командир полка... Ну и бригадный — тоже боится недоразумений... Бай Юлдашев на него влияние имеет. Он ему и дом построил, видали какой! Тоже городской голова: кто он такой — неизвестно... Говорят — социалист... Ну и боятся его. Донесет.

— Странно. Сколько служу, ничего подобного не видал.

Вспомнилась мне Индия, где я был проездом за десять лет до получения полка, в 1901 году. Там я видал английские гарнизоны в Бенаресе, Агре и Калькутте и как там держали себя офицеры и английские солдаты перед туземцами.

Я молчал, обдумывая положение. Знал, что на нашей службе, как говорят солдаты, «недовернешься — бьют и перевернешься —

бьют». Совсем стемнело. Писарь внес зажженную керосиновую лампу с зеленым картонным колпаком.

— Геннадий Петрович, — сказал я, — вы сдали приказ на гектограф?

— Нет еще.

— Подождите сдавать. Я напишу сейчас еще параграф, который вы поставите сейчас после параграфа о занятиях. Да закройте двери, мне надо хорошенько обдумать его.

Деликатный адъютант вышел из кабинета. Передо мною — лист бумаги, ярко освещенный лампой. За спиною — темное окно. Там город, и было в городе страшно, томительно тихо. Чуть шуршали листья тополей да не умолкая пели свою тихую ночную песню арыки. Прохладная ледниковая вода, булькая, бежала по ним.

Я писал: «Звание казака-солдата высоко и почетно. Государь Император носит воинское звание и есть первый солдат Российской армии. Мы должны постоянно помнить и сознавать, какое высокое звание мы носим, и обязаны потребовать к себе должное уважение.

Казак, выходя из казармы в город, должен постоянно помнить, что он имеет честь носить мундир 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка, он должен быть чисто и строго по форме одет и всегда быть при шашке.

Казак должен быть вежлив и услужлив и вместе с тем сознавать свое высокое звание.

Казак никому не должен уступать дорогу, кроме господ офицеров и старших над ним казаков и солдат, стариков, женщин и детей, как русских, так и туземцев. Все остальные, кто бы они ни были, должны уступать дорогу казаку.

Казак не может позволить, чтобы кто-нибудь посмел его обругать или тем более ударить. Казак должен помнить, что Государь Император не напрасно разрешил воинским чинам ходить при оружии. Дерзкий должен быть наказан».

Я позвонил и передал написанное адъютанту.

— Поместите это в сегодняшний приказ.

Я наблюдал, как менялось выражение лица Самсонова. Сначала оно выразило удивление, потом стало озабоченным, даже как бы испуганным.

— Господин полковник, вы не боитесь отдать такой приказ? — нерешительно сказал он.

— Вы находите, что в нем есть что-нибудь незаконное?

— Незаконное? Нет... Но...

— Ну, договаривайте.

— Непременно будут сразу столкновения. Разбаловались у нас очень таранчинцы. Они ни за что казаку дорогу не уступят. Не всегда уступают и офицеру.

— Ну вот казак и научит такого гуся порядку.

— Бригадный будет очень недоволен.

— Его это не касается. Я отдаю приказ полку, а не бригаде.

Приказ был отдан. Результаты его сказались в первую же неделю. Таранчинец, не уступивший дороги казаку, был им так отшвырнут в сторону, что вихрем помчался с жалобами, и не ко мне, а прямо к генералу Калитину. В другом случае дошло до драки, было обнажено оружие и были легкие ранения. Потом все успокоилось, туземцы стали уступать дорогу, иные кланялись.

Все мои офицеры и казаки, от самых старших — Осипова и Первушина — до младших, до последнего казака были очень довольны. Я завоевал расположение полка.

Бригадный командир и начальник штаба бригады, Генерального штаба полковник Криницкий, были взбешены. Бригадный грозил мне всякими карами, вплоть до отрешения от командования полком и предания суду, часами сидел у моей жены и доказывал ей, что я слишком молод, чтобы командовать полком, и что Джаркент не Петербург, что, впрочем, для нее и не требовало особых доказательств! Он говорил ей, что мне здорово влетит...

Мой приказ, помимо нормального пути «по команде», попал в Ташкент генералу Самсонову в порядке анонимного доноса с обильными комментариями на мой счет и угрозами, писанными явно русским человеком.

Через три недели я получил в частном письме от Самсонова и мой приказ, и донос с припиской на нем рукой командующего войсками: «Молодец, Петр Николаевич. Вполне согласен и одобряю. А.С.».

Однако отдание этого приказа я не могу поставить себе в заслугу. Я знал, что в лице генералов Фольбаума и Самсонова я найду защитников. Я знал, что длиннейший «тетенькин хвостик» тянулся через Верный и Ташкент до самого Петербурга и даже до Царскосельского дворца, знал, что там меня не выдадут, не посрамят и в обиду не дадут.

Отдавая этот приказ, я твердо верил и в своих офицеров и казаков — верил, что злоупотреблять им они не будут. И не ошибся. Казаки пользовались всеобщим уважением. Было трогательно уз-

навать от посторонних лиц, не говорю наблюдать, — то, что делалось на глазах у командира полка, не в счет, — но было радостно слышать, как подчеркнуто были вежливы казаки к старым и немощным, к дунганским матронам и малым детям. Они вполне поняли мою мысль и никогда не злоупотребляли моим доверием.

17. Колебания и сомнения

Расписание занятий было составлено мною и разослано по сотням с рядом указаний, как его применять. В нем было отведено много места одиночному обучению казака на выездке лошади. Было указано, что хорошо обученного казака на выезженной лошади всегда просто поставить во взвод и в сотню. Поэтому первый зимний период был полон гимнастики, маршировки учебным шагом под барабан (казаков! под барабан!!), шашечных приемов, прикладки, наводки со станка, выездки лошади, напрыгивания ее на корд, работы лошади в руках (на уздечке), всевозможных горизонтальных и боковых кругов (махание по воздуху!!) шашкой и пикой для развития кисти руки, локтя и плеча и тому подобных «скучных ужасов».

И вот два дня спустя, когда с расписанием разобрались и рассмотрелись, когда на личных моих посещениях убедились, что я всерьез требую езды без стремен и поводьев и гимнастики на лошадях, работы в руках молодых лошадей, корды и т.п., что на пешем учении требую «игры носка», постановки ноги на весь след, проноса ноги без «подсекания» и пр. и пр., — вечером адъютант доложил мне, что сотники Анненков, Дорогов-Иванов и хорунжие Артифексов и Иванов просят меня принять их по частному делу.

Когда все они пришли, адъютант, как, видно, это было сговорено между ними, остался при мне. Я попросил всех садиться и спросил:

— В чем дело?

Пришедшие говорили то все сразу, то перебивая друг друга, видимо, очень взволнованные и возбужденные.

— Господин полковник, — начал Анненков, — мы к вам по полковому делу... Вот сколько я служу в полку, мы на учениях, смотрах, состязаниях в рубке, скачках, мы, то есть я хочу сказать — наши казаки, были до сих пор всегда на втором месте.

— Это ужасно обидно, господин полковник, — сказал Иванов.

— Мы 1-й полк, господин полковник, — сказал Дорогов-Иванов, — а 2-й полк у нас все призы выхватывает.

— Наши люди и лошади лучше, чем во 2-м полку, — сказал Артифексов.

— И мы всегда — биты, — подтвердил Анненков.

— Но ведь это всецело от вас зависит, чтобы этого больше не было, — сказал я.

— Мы, господин полковник, всею душою, — сказал Артифексов, — мы сколько хотите готовы работать, но вот в чем дело...

Он замялся, и все вдруг замолчали, чем-то смущенные и растерянные.

После минутного молчания, которое я не прерывал, начал говорить самый смелый из них сотник Анненков:

— Получили мы ваше расписание занятий. На днях придут молодые казаки... Учить их по-вашему?..

И опять все примолкли и потупились.

— Ну что же, учить по моему расписанию?

— Мы никогда не поспеем. Великим постом начнутся состязания, и опять 2-й полк заберет у нас под носом все призы.

— Не заберет, — уверенно сказал я.

— Господин полковник, — сказал Дорогов-Иванов, — вот вы сами увидите, во 2-м полку с первой недели проскачка с рубкой и джигитовкой, и генерал Калитин так требует. У них с первого дня езда при полной боевой амуниции, а у нас...

— У нас потихоньку, — сказал я, — и все-таки мы обгоним.

— Вы в этом уверены, господин полковник?

— Нимало не сомневаюсь.

Весь этот разговор шел наивно, восторженно, с такою неоспоримою страстною любовью к полку, с таким милым полковым самолюбием, что мне радостно было смотреть на них и слушать их. Я их уверил и поручился, что мы никак и нигде, ни в чем не только не отстанем от 2-го полка, но если они приложат усилия, то и заберем всюду первые места.

Когда они, успокоенные, ушли от меня, я задумался. «С такими офицерами можно служить, можно приступить к самым смелым задачам и быть уверенным, что все будет выполнено с полным усердием, на совесть. Эти люди поведут полк к победам на мирных маневренных и учебных полях, а потом, если Господу Богу будет угодно послать нам и боевое испытание, то и на полях сражений».

18. Моя квартира

Утрясалась как-то и моя личная жизнь в полку. Я уже оканчивал вторую неделю жизни в казарме при канцелярии, теряя все более и более надежду на улучшение моего квартирного вопроса, когда однажды зашел к нам сейчас после утренних занятий мой помощник войсковой старшина Осипов и сказал:

— Здесь через дом от вас живет жена есаула Калачева, который теперь на льготе. У нее собственный домик. Она собирается ехать к мужу в Кокчетав и очень хотела бы предложить дом вам. Да все не решается. Она хотела бы получать двадцать рублей в месяц за дом. Дом очень не плохой. Калачевы хозяйственные люди и строили дом хорошо.

Мы с женой сейчас же пошли смотреть предлагаемый нам домик. Это была саманная постройка, фасадом выходившая на проспект. Четыре окна не на равных расстояниях были на улицу, одно сбоку на маленький двор и три окна на сад и задний двор. Полы и потолки были дощатые, белые, некрашеные. Покатые кверху стены были свежепобелены известкой.

Есаульша нас ожидала. Она только что окончила побелку стен и теперь сама мыла полы. Мою жену и меня это смутило — «шокировало». Было совестно, что вот офицерская жена и полы моет, но потому, как к этому отнесся Е.Н.Осипов, мы поняли, что это дело обыкновенное и что тут этим не стесняются.

Есаульша показала нам дом и говорила певучим, красивым русским говором:

— Вот, смотрите сами, очень не хвалю, конечно, сами с мужем и строили, без какого там архитектора, кое-где, может быть, и криво вышло, а дом чистый. Чтобы там клопы или лягушки в нем — этого и в заводе никогда не бывало. Печи мы настоящие ставили — зимою раз протопите — всю неделю тепло держит. Потолки тоже нигде не протекают.

Вход в дом был через деревянное крылечко под крышей. Стеклянная дверь вела в сени. Из сеней налево была дверь в длинную просторную комнату в три окна, два почти рядом и третье после широкого простенка.

— Это, — говорила любезная хозяйка, — скажем, у вас зал будет или гостиная. Тут дверь — и очень удобно в столовую, потому что из нее дверь на двор, а на дворе у вас кухня будет, ни запаха кухонного, ничего такого не будет. На дворе помещение для казака, и если прислугу какую возьмете, то тоже комната есть. А тут был

у мужа кабинет в одно окно, но светлый, а за столовой спальня в два окна, всего, значит, в дом выходит четыре комнаты. Из спальни прямо дверь в сад, а сад у нас хороший. Урюка будет летом! Не оберете всего. Так вот, если цена моя не обидна для вас, так и берите с Богом — и меня выручите, и вам, Бог даст, будет удобно.

Не было места лошадям, но Ефим Никитич быстро разрешил мои сомнения:

— Я вам сегодня же пришлю таранчинцев, в три дня они слепят вам какую хотите конюшню с денниками и с помещением для вестовых. А полковые мастера двери и окна поставят. В неделю все и будет кончено.

Через неделю мы и переехали, то есть, вернее, перетащили калитинские кровати и стулья и поставили их в кабинете и спальне. Г.П.Самсонов отыскал где-то переселенку русскую, лет тридцати, которая бралась служить одной прислугой и быть «за все» и которая, как потом оказалось, ничего решительно не умела.

Мы поселились в пустом доме. В окна без занавесей ярко светило джаркентское солнце и кидало квадраты золота на белые полы из неровных досок. Мы купили на рынке временные столы и табуреты, обзавелись кое-какою посудою и зажили своим домом. Было пусто, голо и скучно и все-таки несравненно лучше, чем в канцелярии. Мы никого не стесняли, и нас никто не стеснял. Наши лошади были с нами, наша собака вернулась к нам, в комнаты, и поселилась в сенях верным сторожем. Для моей жены доступнее стало ее любимое и единственное здесь развлечение — верховая езда. Мы ездили в перерыве занятий в полку и канцелярии, обычно от 4 до 6 часов вечера. Ездили одни, без вестовых, с собакой. Мы уезжали далеко в пустыню, и нам никогда и в голову не приходило, что что-нибудь может с нами случиться, — тогда была Российская империя и какою незыблемо прочной казалась она нам. Только как-то в предместье нашего Мышку жестоко погрызли таранчинские злые собаки, но и его выходил прекрасный ветеринар 2-го Сибирского казачьего полка Волков, друг всех любителей собак и лошадей.

Так началась наша жизнь в своем доме. Далеко не так, как о том мечтали мы в Петербурге, когда думали о том полудворце в азиатском стиле с туземной прислугой и чинным обиходом широко поставленной жизни.

19. «Мошенники пришли»

Было около полудня. Я был на занятиях, моя жена сидела в спальне и шила временные занавески для окон. Собака лежала у ее ног. Вдруг собака сорвалась и со злобным лаем кинулась в будущую гостиную — теперь совсем пустую комнату. Моя жена услышала, как кто-то вошел в сени. Она пошла в зал. Из-за двери сеней приятный голос мягко и правильно по-русски сказал:

— Мошенники пришли!

Моя жена растерялась. На лай собаки пришел со двора денщик Стогниев. Он спокойно оттащил собаку от двери.

— Что это такое, Стогниев? — спросила моя жена.

— Мошенники пришли, барыня, — прикажете впустить?

И, не дожидаясь ответа изумленной жены командира полка, Стогниев открыл дверь, и в зал, низко кланяясь, вошли два таранчинца с такими мягкими мешками, с какими ходят по Петербургу татары и покрикивают: «Халат... халат... Старое платье продать»...

— Это, барыня, их господа офицеры так прозвали — мошенниками, что они больно дорого за все запрашивают, — наконец пояснил Стогниев.

— Мошенники, самые мошенники, — уверенно подтвердили таранчинцы, свалили с плеч мешки и стали их развязывать.

Из мешков появились сначала туркменские ковры, шелковые китайские и дунганские вышивки, потом фарфоровые большие вазы и маленькие вазочки сине-зеленого китайского клуазонне.

У моей жены глаза разгорелись. Ковры были красивы, вазы оригинального рисунка и узора — все это так могло украсить беленые стены и полы, скрасить солдатскую простоту саманной постройки. Конечно, мебель «Жакоб», наши петербургские картины не очень-то подойдут к этим пестрым восточным узорам, к китайским вазам, но еще меньше подойдут они к беленым стенам и некрашеным полам. Жена моя подбирала ковры более или менее в тон мебели, которая должна же наконец когда-нибудь прийти.

— Сколько за этот ковер? — спросила она.

— Двести рублей, — не задумываясь сказал таранчинец.

— Что так дорого? — нерешительно сказала моя жена.

— Вы, барыня, ему двадцать рублей положите, это будет самая настоящая цена, — сказал Стогниев, принимавший во всем участие.

В это время на крыльце раздались мелкие торопливые шаги и постукивание палки, и в зал проворно вошел генерал Калитин.

— А, мошенники, — сказал он, острыми серыми глазами оглядывая купцов и разложенные ими товары.

— Мошенники, тюра, мошенники, — дружно подтвердили таранчинцы и низко поклонились Калитину.

— Отличное дело, милая барынька, хотите ковры купить. У них бывают отличные ковры.

Генерал с озабоченным видом нагнулся и стал рассматривать разложенные по полу ковры, заглядывая на них и с изнанки, гладил их рукою по ворсу, откидывая в сторону, смотрел издали.

— Ты смотри, тюра, — подавая ковер, сказал таранчинец, — настоящий аксуйский товар. Хар-ро-ший ручной работа.

— Аксуйский... аксуйский, — сказал, подозрительно рассматривая какие-то клейма, генерал Калитин и отбросил ковер в сторону. — Что же, барыня, ковер неплохой. Как вам, барынька, нравится?

Ковер моей жене понравился.

— А сколько хочешь? — сказал генерал.

— Двести рублей, — вздыхая, сказал купец.

Калитин замахнулся на него палкой.

— Что! — закричал он. — Двести рублей!.. Мошенники!

— Мошенники, тюра, мошенники, — скаля белые сплошные зубы в улыбке, дружно подтвердили продавцы. — Двести рублей — себе убыток, настоящая цена такому ковру — триста рублей. Настоящий аксуйский ковер. Хочу молодой ханум услужить. Себе в убыток отдаю.

— Сорок, — решительно сказал генерал.

— Сорок, — точно удивился чему-то купец, — сорок нет, не годится.

Купцы стали сворачивать товары, собираясь уходить. В дверях они остановились.

— Ну, хорошо... Только для тебя — сто шестьдесят.

— Сорок, — твердо повторил генерал.

Купцы вышли на крыльцо. Моя жена сказала Калитину:

— Петр Петрович, я прибавила бы. Ковер отличный, жаль будет упустить такой случай.

— Они вернутся, — сказал Калитин, — это тут так принято — торговаться и уходить.

Они вернулись.

— Давай сто — ковер твой, — сказали они, скидывая мешки с плеч.

— Сорок, — невозмутимо сказал генерал.

— Э-ех, — с досадой сказал купец. И снова надел мешок на плечи. Они ушли, и снова пришли, и опять ушли. Наконец на шестидесяти рублях — двадцать добавила моя жена, генерал Калитин протестовал: «Ей-богу, барынька, за сорок отдадут и наживутся еще» — столковались. Моя жена купила еще два ковра и парные вазочки клуазонне. «Мошенники», осыпая ее благодарностями, ушли наконец, довольные, что хорошо расторговались.

Они стали потом частыми посетителями нашего дома, и уже Мышка, когда слышал, как они говорили ясно и уверенно:

— Мошенники пришли! — лаял не столько грозно, сколько радостно и весело вилял хвостом.

Они приносили все, что заказывала им моя жена по части вышивок, китайских халатов и курм, приносили и то, что, по их мнению, нам могло быть нужно.

Когда моя жена завела свою птицу и у нее появился курятник, «мошенники» принесли ей хорошеньких живых горных курочек — «кекликов»...

На второй год командования полком приезжаю я как-то под весну с учения, въезжаю во двор и вижу на дворе большое оживление. Вестовые, денщик, калитинский повар и моя жена стояли вокруг мошенников.

— Вот, тюра возьмет, — радостно закричали купцы, увидев меня.

У одного из них на руках было как бы гнездо, сделанное из плоской корзины и тряпья, и там лежало четыре маленьких тигренка. У них совсем недавно прорезались глаза, они были светло-желтые, без рисунка, мягкие, мордастые и забавные.

Моя жена ласкала их, чесала им за ушами.

— Предлагают купить, — сказала она.

— Двенадцать рублей за всех четырех просят... Возьмем?.. Такие хорошенькие!..

— Куда нам их? — сказал я. — Ведь они вырастут.

— Возьмите, ваше высокоблагородие, — сказал вестовой Порох, — когда вырастут, мы им клетку соорудим.

— Смотри, — говорила моя жена, — какие мягкие! И играют совсем как котята.

— Ваше высокоблагородие, возьмите, а то как бы командир 2-го полка их не взяли бы?

Я понял, что самолюбие казаков стало бы страдать, если бы тигры оказались не у их командира, а у командира 2-го полка. Я отказался брать тигрят, чем очень огорчил казаков, хотя, если бы взял тигров, это им же и пришлось бы возиться с зверями.

К их радости, и С.В.Буров не взял их, и тигрят купил бай Юлдашев.

Так утрясалась и налаживалась наша жизнь, с плимутроками, индюшками и цесарками, живыми «кекликами», персидской кошкой и кошкой обыкновенной, собакой Мышкой и тремя лошадьми — Гризеткой, Вандой и купленным мною для приезжающего начальства отличным серым киргизом, 2 аршин 1 вершка ростом, прекрасно выезженным в полковой учебной команде. Приведенная мною с собою Китаянка Провальского Войскового завода погибла от сибирской язвы зимою 1912 года.

20. Заботы о внешнем виде полка

С первых же дней командования полком я занялся приведением его во внешне благообразный вид.

Вернувшись из Кольджата, я приказал всем господам офицерам, вахмистрам и урядникам полка собраться на коновязи 4-й сотни к часу дня. Это был час уборки лошадей.

Я приехал туда и привез с собою все нужное для «туалета» лошади.

Приказав продолжать уборку, я некоторое время смотрел, как казаки, не снимая мундиров — фартуков в полку и в заводе не было, небрежно щепочками обтирали грязь, потом помахивали щетками, не столько чистя лошадей, сколько приглаживая на них шерсть.

— Нет, братцы, — сказал я, останавливая уборку, — это не дело, то, что вы делаете. За такую уборку в старину многие из вас и зубов во рту недосчитались бы. Ну-ка, подойдите ближе и смотрите, как надо чистить лошадь.

Я скинул с себя китель и, вооружившись скребницей и щеткой, начал чистить первую попавшуюся лошадь по-школьному. Я отбивал скребницею на камушке ряды серой перхоти и пыли, потом накрепко чистил лошадь щеткой. Окончив чистку, я взял два камня и на них подбил и подредил в полшеи косматую гриву, я расчесал и прибрал челку, наконец руками расщипал хвост и подрезал его на четверть от бабки, подпалил соломой волосы в ушах, тщательно выстриг щетки на ногах и обнаружил под ними застарелые мокрецы. Лошадь совсем переменила свой вид.

— Вот, — одеваясь, сказал я, — что называется вычистить лошадь. В Школе мы говорили «сделать ей туалет». Потрудитесь во всех сотнях и командах привести лошадей в такой же вид.

Я приказал урядникам 4-й сотни проделать то же самое при мне со своими лошадьми. Убедившись в том, что они поняли, как делается уборка, и усвоили, я сказал:

— Нам остается теперь только выкормить лошадей как следует, и в этом вы, Ефим Никитич, мне поможете.

Впечатление от такого «туалета» было разное.

Урядникам и казакам, молодым офицерам, обоим войсковым старшинам это как будто понравилось. Ведь все было сделано согласно с параграфами приложения к Уставу строевой казачьей службы, часть 1.

Но кое-кто из сотенных командиров поваркивал, и довольно громко, чтобы я слышал:

— Нарушаются традиции Сибирского войска... Лошадь сибирского казака должна быть косматая, лохматая, грозная на вид, длинногривая. Так было всегда и везде в нашем войске.

Ворчуны эти нашли себе отличного подголоска в лице ветеринарного врача. Мрачным басом представитель науки заявил мне:

— От такой уборки мокрецы у лошадей разовьются. Потому щетка ей на ногах дана, чтобы защищать ее от грязи и от микробов. А острижем — и не оберешься этой пакости.

Я молча подошел к коновязи.

— Извольте, многоуважаемый, — поднимая заднюю ногу первой попавшейся лошади и разбирая под щеткой волосы, сказал я, — мокрецы. И у этой... и у этой, и у той, — шел я вдоль коновязи. Редкая лошадь не имела мокрецов или следов от них. — Ваша теория совершенно неверна. В щетку набивается грязь, эта грязь раздражает нежную кожу под щеткой и делает ранки. Напротив, при выстриженной наголо щетке, размывая ногу после учения, мы очищаем ее от микробов. Чистокровные, арабские и туркменские лошади от природы и вовсе не имеют щеток, значит, природа тут ни при чем. Да я пришел сюда не препираться с вами и устраивать научные диспуты, но потребовать точного и пунктуального исполнения устава и тщательного ухода за лошадьми. А если и потом заведутся у лошадей мокрецы — вы мне и ответите. Для этого вы и ваши ветеринарные сотенные фельдшера и поставлены, чтобы следить за правильным уходом за ло-

шадьми и за тем, чтобы после езды ноги у лошадей были замыты и насухо вытерты.

После чистки я приступил к ранжировке сотни. Это был вопрос трудный и деликатный.

Сибирские казаки, как и казаки всех прочих казачьих войск, выходят на службу на собственных лошадях, со своим обмундированием, снаряжением и при собственных шашках. Конский состав сибирскими казаками получается из казачьих и киргизских табунов, пасущихся в степях Семипалатинской области, в долине реки Иртыша и в предгорьях Алтайских гор. Об улучшении киргизской лошади тогда очень много говорили и писали. Учрежденные несколько лет до этого в Оренбурге, Кустанае и Тургае заводские конюшни пытались улучшить киргизскую породу в самой себе, занимаясь тщательным подбором маток и жеребцов — но работа этих конюшень не дала желанных результатов, не удалось создать хорошей ремонтной лошади. Сибиряки остались в стороне от этой работы. Их лошадь — мелкая, редко выше двух аршин роста, по большей части 1 аршин 15 вершков и даже 1 аршин 14 вершков — некрасивая киргизская лошадь, с короткой шеей и большой головой, с прекрасной спиной и крепкими тонкими ногами отличается тягучестью, силою, выносливостью, неприхотливостью на корм, имеет правильные аллюры, способна к выездке, умна, добра и, если бы не малый рост, могла бы считаться неплохою лошадью казака.

В те годы, когда я командовал полком, было много разговоров о ликвидации Задонского частного зимовникового коневодства, являвшегося, однако, главным источником ремонтирования нашей кавалерии (до 55%). Очень на этом, под влиянием зловредной агитации, настаивали донские казаки, через своих депутатов в Государственной думе поднимавшие этот вопрос. Тогда правительство думало перенести Задонское коневодство в целом его виде в Сибирь и Семиречье, именно в Пржевальский уезд, где на высоте боле 2000 метров, в долине речки Каркары, казалось, были подходящие для этого обширные степи. Тогда же думали произвести замену донских и рослых калмыцких маток киргизскими. В киргизскую лошадь верили, и многим она нравилась. Я близко стоял в Петербурге ко всем этим вопросам и потому с большим интересом теперь присматривался к тем сотням киргизских лошадей, которые комплектовали вверенный мне полк.

В казачьих полках исстари был обычай пополнять сотни казаками из одной станицы и одних хуторов. В этом видели поддержа-

ние старинного «односумства», крепление военной сотенной семьи. В молодые, первые годы моей службы в казачьем полку я много увлекался этим обычаем и вдумывался в него. Однако скоро я должен был прийти к совершенно противоположным выводам — односумство было не полезно, но вредно.

Слов нет, само по себе односумство — прекрасное дело, но почему в регулярной кавалерии, где в одном и том же эскадроне служат и великоросс какой-нибудь Тамбовской или Псковской губернии, и тут же малоросс из-под Полтавы или Чернигова, и поляк из самого Калиша, и татарин, и грузин, — боевая спайка и товарищество, как то можно проследить по целому ряду войн, были нисколько не хуже спайки и товарищества у казаков с их односумством? В Нижегородском драгунском полку — так же, как и у казаков, — ни раненых, ни убитых не бросали и вообще во всей русской кавалерии служили, забывая, какой кто губернии, но отлично сознавая, какого они полка.

Между тем комплектование сотен людьми с одних станиц усугубляло тоску по Родине, тяготение к «домашнести», развивало семейные, недопустимые на службе начала и пагубно отзывалось на дисциплине сотен. В сотне создавалась круговая порука сокрытия проступков и преступлений. Командир сотни был всегда затруднен в выборе казаков в учебную команду. Хороший, честный, ловкий, расторопный, хорошо грамотный казак, но — беден, в сотне не будет иметь авторитета. Сотенное начальство из нижних чинов мирволило богатым и влиятельным в станице казакам, опасаясь, что те посчитаются с ними после службы — дома. В одну сотню изобильно попадали казаки, знающие мастерство, сапожники, портные, кузнецы и т.п., станица была ремесленная, в другую простые хлеборобы, большинство — малограмотные.

Односумство давало очень мало выгод и очень много неудобств. Вопросы эти были давно подняты в военной литературе и без приказа свыше, но при молчаливом одобрении строевого начальства. Донские казаки примерно с 1896 года начали переходить на комплектование сотен казаками разных станиц, и для такого искусственного перемешивания казаков в сотне избрали способ назначения казаков в сотни по цвету рубашки лошади казака. Первым уговорил сделать это командир 2-й сотни л.-гв. Атаманского полка есаул Вершинин своего командира полка, тогда — полковника Ширму. Опыт оказался хорошим, и за л.-гв. Атаманским полком постепенно последовали и другие полки Донского войска.

В Сибирском войске этого не было. Живущие более разбросанно, чем казаки других войск, узкой лентой по реке Иртышу сибирские казаки отличались еще более тесной спайкой по станицам. Нарушить эту спайку было нелегко.

Сначала я выранжировал сотни по взводам. Поставил в первые взводы более крупных лошадей — гнедых, во вторые — рыжих, в третьи — караковых и вороных и в четвертые — серых. При этом я заметил, что гнедые и серые лошади были крупнее других, а между последними попадались лошади облагороженные, с сухими красивыми головами, с длинной шеей и широким крупом. Из книги «Лошади Туркестана» — к сожалению, совсем не могу вспомнить автора этой большой и прекрасной книги, изданной в Ташкенте, — я узнал и причину этого явления. Около тысячи лет тому назад один из китайских императоров, желая улучшить породу местной лошади, послал экспедицию в Аравию и Персию, чтобы закупить там жеребцов. Было закуплено несколько сот исключительно серых жеребцов. Когда их вели в Китай, за Алтайскими горами на провожающих лошадей напали киргизы и отбили жеребцов. Таким образом в киргизскую лошадь давным-давно попала арабская кровь, и эта кровь сохранила на протяжении веков черты благородства арабской лошади.

Выранжировав сотни, я объявил сотенным командирам, что с приходом молодых казаков я разверстаю их не по станицам, а по мастям лошадей, назначив в 1-ю сотню крупных гнедых, во 2-ю сотню остальных гнедых, в 3-ю — рыжих, в 4-ю — вороных, в 6-ю — серых и в 5-ю что останется — в нее попало больше полусотни серых. Сотенные командиры выслушали мое распоряжение угрюмо молча. Войсковой старшина Первушин сказал мне, как бы предупреждая:

— Вы будете иметь большие неприятности с Войском.

И точно, впоследствии дошли до меня слухи — в порядке рассказов и сплетен, что войсковой наказный атаман и войсковое правительство были весьма недовольны моими реформами и новшествами, но, вероятно, не желая сноситься с такой мелкой сошкой, какой я был, они писали командующему Туркестанским военным округом генерал-лейтенанту Самсонову, а генерал Самсонов, сочувствующий моим начинаниям, ожидал их результата и не тревожил меня писаниями из Войска.

Результаты сказались с первого же года. Дисциплина в сотнях окрепла, казаки, сталкиваясь с казаками других станиц, лучше развивались и охотнее соревновались друг с другом, мастеровой

элемент равномерно распределялся по сотням. Сотни наружно похорошели.

В 1911 году в каждой сотне одна полусотня была одномастной, в 1912 году пестрыми были только третьи взводы, и в 1913 году сотни стали вполне одномастными.

В этом году я расставался с полком и был с прощальным представлением генералу Фольбауму.

— Хорошее дело вы сделали, — сказал мне Михаил Александрович, — выранжировав полк по мастям. Все время я слышал о том, как крепла дисциплина в сотнях. А третьего дня на прогулке встретил я ваш дивизион и прямо не узнал своих сибиряков — такая красота! Остановился и залюбовался ими. Так красиво выглядели сотни на одномастных лошадях, хорошо убранных и вычищенных. Я ведь тоже сначала был не на вашей стороне, считал, что все это лишнее, да молчал, не хотел вам мешать. Вижу, что ваши противники были не правы, — правы оказались вы.

Я тогда уезжал. Мне было больно и грустно расставаться с полком. Мне досталась тяжелая, но и радостная работа созидания, плоды пожать мне пришлось уже в другом месте и с другим полком.

21. Все в строй!

Неохотно стали отпускать себе сзади волосы и стричься по-казачьи казаки — но скоро и это недовольство прошло. Помогли гарнизонные дамы. Они оценили новую стрижку, они признали, как похорошели от этого ермаковцы — помогла этому, конечно, и гимнастика, и систематическая выправка, и маршировка с носка, — они громко говорили, особенно артиллерийские дамы, что ермаковцев издали можно узнать, так красиво лежат на них фуражки и папахи.

Ефим Никитич устроил при полку швальню и в ней перекроил мундиры старой формы на новый образец, нашил петлицы, выровнял шинели и по лекалу подровнял алые петлицы воротников. Все стало единообразно, форменно и как бы новое. Осипов же подыскал татар, которые по образцу, данному генералом Калитиным, построили на весь полк папахи настоящего кавказского образца из бараньего меха, очень красивого курпея, слегка волнистого. Папахи обошлись по три рубля за каждую, и казаки очень охотно согласились их сделать. Полк принял совсем гвардейский вид.

В тот день, когда я ранжировал сотни, вечером я собрал сотенных командиров в канцелярии и потребовал от них именные списки казаков.

Это был тяжелый разговор и трудная операция.

В эти годы, 1909—1911, так много говорили и писали в военной и гражданской литературе об «армии денщиков и барабанщиков», о «крепостном праве» в войсках, и кое-где у офицеров отобрали казенную прислугу. Те, кто это писал и кто отбирал прислугу, совершенно не отдавали себе отчета в том, что положение офицеров, особенно при казарменной жизни, не позволяет им держать вольнонаемную и тем более женскую прислугу, они не понимали и того, что есть места, где никакой прислуги ни за какие деньги иметь нельзя.

Мои мечты иметь «туземцев» не осуществились. Туземцы не шли на работу, они не знали ее и не хотели ей учиться. На такой окраине, как Джаркент, денщик являлся не только слугою офицера и его семьи, но и ее другом. Характерно, что денщики-казаки не называли офицерских детей — «барин» или «барышня», но звали уменьшительными именами: Вася, Коля, Тася, Маруся; проходили годы, Тася и Маруся приезжали к родителям из гимназии или института взрослыми девицами, а для денщика все оставались Тасей и Марусей...

Такой семейственный порядок отношений делал, с одной стороны, службу денщика более привлекательной, с другой — вызывал злоупотребления. И точно начиналось — «крепостное право». При моем предшественнике оно достигло в полку значительных размеров. Сотни расползлись по офицерским усадьбам и растаяли. Мне предстояло собрать их.

Я начал перекличку.

— Никита Гороховодатсков?

— В строю.

— Абрам Михайлов?

— В строю... в строю... в строю...

Потом началось:

— У подъесаула М. в денщиках... у подъесаула М. конюхом... у него же при детях... у него же поваром...

— Да кто такой этот подъесаул М., что его обслуживают целых пять человек?

— Видите, господин полковник, он очень семейный... и запойный пьяница притом... Семье трудно без людей... Бедность... Ну и жалеем его семью...

К Рождеству я расстался с подъесаулом М. По аттестации... Тяжелая операция, но необходимая. Пьяницы нетерпимы в офицерской семье.

Я боялся, что у меня выйдут затруднения с генералом Калитиным, у которого немало моих людей застряло на дворе и на кухне. Но генерал Калитин очень легко расстался со своими драбантами. Они были ему нужны, когда его семья жила с ним, когда была генеральша и две генеральские дочки. «Послать туда»... «Послать сюда»... «Сбегай»... «Отнеси»... «Купи»... «Узнай»... Теперь семья Калитина была в Петербурге, и генерал Калитин на мою просьбу вернуть казаков в строй сейчас же согласился.

— Конечно... конечно... в строй их. Даром меня объедают. Всех и у всех отберите дармоедов. Что зря небо коптят. Это безобразие, что в сотнях людей нет.

Итак, самым неожиданным образом там, где я больше всего опасался наткнуться на протест, я получил самую широкую поддержку.

При офицерах остались денщики, обязанные два раза в неделю являться на строевые занятия, и вестовые для ухода за лошадьми, которые должны были быть на всех учениях сотни.

И в сотнях оказалось по три взвода, по десяти рядов во взводе, а когда придут молодые казаки, будет четыре взвода, и при доведении наряда до минимума можно будет вывести и все двенадцать рядов (штатный состав Сибирских полков был уменьшенный — четырнадцать рядов).

Полк собирался к своим сотенным значкам.

Я принялся за дела хозяйственные.

22. Дела хозяйственные

В делах хозяйственных я нашел в лице войскового старшины Осипова не только на редкость честного и бескорыстного человека, но и человека, прекрасно знающего полковое хозяйство, и умелого, распорядительного организатора.

На наше первое хозяйственное заседание я пригласил, кроме Осипова, войскового старшину Первушина, делопроизводителя по хозяйственной части и адъютанта.

— Господа, — начал я, — осмотр полка привел меня к грустным размышлениям. У нас по существу ничего нет... Ни полкового обоза, ни неприкосновенного запаса, ни приборов для обучения казаков, ни канцелярии.

— Ничего и нет, — подтвердил мои слова Первушин. — Полк стоял мелкими постами по границе Китая. Что и было заведено — растерялось. Сведен полк совсем недавно... Некогда было обзавестись.

— Я, господа, никому этого не ставлю в вину. Все это я понимаю. Я пригласил вас, чтобы с вами обсудить, что надо заводить в первую очередь и с чем можно будет повременить.

— Это как вы сами укажете, — сказал как-то нерешительно и недоверчиво Осипов.

— Я понимаю, как я укажу, но мне без вашей дружной помощи ничего не сделать, не наладить и не устроить. Прошу вас мне помочь в моей работе. Моя первая забота — лошади. Нельзя допустить, чтобы в течение двух осенних месяцев, когда лошади особенно нуждаются в усиленном питании, когда они обрастают на зиму шерстью, когда их нужно поддержать хорошим кормом после маневров, они вместо корма... газеты читали...

— Нам это известно... Сотенные командиры от себя как-то изворачиваются. Им и самим неприятно получать замечания. Прикупают сена. Но ведь это — закон, и не нам его изменять. Отпусков на фураж нет, лошади считаются на подножном корму, пастбища полагаются даровые, а на этих пастбищах ничего нет, — сказал с легким раздражением и досадою Первушин и попросил разрешения курить.

— Да, конечно, нарушить закон мы не можем, — сказал я, — но применить закон к местным условиям мы обязаны, и вот что я вам предлагаю в этом отношении. Будьте любезны проверить мои расчеты.

Мы занялись арифметикой. Делопроизводитель бойко стучал костяшками счетов.

— Если вычесть из 365 годовых дней 61 день августа и сентября, мы получим 304 дня, на которые корм отпускается полностью на каждую лошадь по 10 фунтов и 20 золотников ячменя. Значит, каждая лошадь имеет на год 3103 фунта. Для нашей мелкой лошади при небольшой зимней работе я считаю, что 10 фунтов 20 золотников большая дача. Не все лошади ее и выедают. Если мы поставим лошадей на девятифунтовую дачу на круглый год, на каждую лошадь потребуется 3285 фунтов, то есть полку придется добавить на лошадь по 4 $^{1}/_{2}$ пуда ячменя, что потребует расхода по 2 рубля 45 копек на каждую казачью лошадь, или в среднем на полк 2450 рублей. Вот я вас и прошу первым пунктом сметы настоящего года внести эту сумму, при-

бавив к ней добавку на лагерное время до десяти фунтов, на маневры до 12 фунтов и для учебной команды на круглый год до 10 фунтов.

— Это очень все ново, — хмуро сказал Первушин, — и я боюсь, как бы чего не вышло с казаками. Им — подавай полагаемое. В отнятии фунта 20 золотников они увидят ущемление их интересов.

— Если бы я начинал это позже, начинал с отнятия ячменя — я это понял бы, но я начинаю с того, что с завтрашнего дня даю девять фунтов, когда ничего не полагается давать. Все это будет совершенно открыто объявлено в приказе, сотенные командиры со своей стороны растолкуют эту меру казакам, и, когда те поймут, что полк не только ничего не берет, но еще от себя прибавляет сверх нормы, они не могут не оценить этого.

— Допустим, что казаки и поймут, а как к этому отнесется высшее начальство?

— Думаю, что если и казаки поймут, то тем более поймут это генералы Фольбаум и Самсонов.

В этом я не ошибся. От генерала Фольбаума я получил записку: «Прочел ваш фуражный приказ. С интересом слежу за вашим опытом. Летом в лагере проверю его результаты»...

В генерале Самсонове я не сомневался. Александр Васильевич слишком хорошо меня знал, чтобы заподозрить меня в каком бы то ни было шахер-махерстве или «комбинациях» с фуражом.

— Далее... И это, Ефим Никитич, я прошу вас сделать завтра же, — нам необходимо выписать зернодробилку. Я в полку четвертый день, а у меня на столе три рапорта о падеже лошадей от колик. Просматривая старые дела, я вижу вообще большой отход лошадей от кормления их недробленым ячменем.

— Слушаюсь... Завтра по телеграфу выпишу зернодробилку из Москвы. Но это пройдет три месяца, пока она дойдет до нас. А до тех пор?.. Разрешите мне что-нибудь придумать?

— Придумайте, Ефим Никитич. Далее... Ну, подскажите мне, с чего начинать.

— В прошлом году мы устроили хорошее стрельбище в лагере. Теперь бригадный командир неоднократно говорит, что он требует упорядочения нашего лагерного расположения, — сказал Осипов.

— На это нужно... Сколько?

— Да не менее пяти тысяч.

— Господин полковник, — сказал адъютант, — вы сами видели полковой приказ, просто прокламация какая-то на гектографе. Неудобно как-то.

— Да... внесите в смету литографский станок и вторую пишущую машинку.

— Каждую осень, господин полковник, — сказал Первушин, — полк ходит на плавание на реку Или, и каждую осень мы там хороним казака, утонувшего в реке. У нас нет ни лодки, ни канатов, ни спасательных кругов. Нужно это непременно завести.

Каждый указывал то, что ему казалось необходимо нужным. В смете показались гимнастические снаряды для сотен и полковой учебной команды, станки Ливчака и приборы для стрельбы уменьшенным зарядом, призы для казаков, деньги на учреждение скакового общества, постройка открытого манежа, выписка из Финляндии санитарных двуколок, какие я видал в Японскую войну в Приморском драгунском полку, на замену нашей полковой тяжелой допотопной колымаги времен покорения Туркестана, новый хорный инструмент белого металла с фанфарами с подвесками, на чем непременно настаивал адъютант... Смета росла и росла, Осипов крутил головою и тяжело вздыхал.

Была глубокая ночь. На моем столе выросла высокая груда различных каталогов и объявлений от рижских, петербургских, московских и саратовских фирм.

Осипов показал на нее и сказал:

— Вы позвольте мне завтра с делопроизводителем все это разобрать и подсчитать, во что это выльется, и завтра я вам все и доложу.

В третьем часу ночи мы закончили обсуждение нужд полка и пошли каждый к себе по тихому и совершенно безлюдному, словно вымершему Джаркенту.

23. Бай Юлдашев — «Маркиз де Карабас» наших мест

— Прежде всего, — так встретил меня на другой день в канцелярии мой помощник по хозяйственной части, — позвольте вам доложить о зернодробилке. Телеграмму я послал, а пока она придет, вот что мне придумал наш оружейный мастер, нестроевой старшего разряда Поротиков. Если вы разрешите произвести расход в 20, самое большое, 50 рублей и попросите у полковника Михайлова, командира артиллерийского дивизиона, два пустых шрапнельных стакана, мы своими средствами соорудим зернодробилку.

И соорудили...

Через неделю я осматривал на ходу тяжелую машину, некоторое подобие какой-то римской катапульты, с рукоятью, железными шестернями, где два шрапнельных стакана вращались один навстречу другому, дробя зерно. Недостатком ее было, что она была тяжела на ходу, медленно работала и требовала четырех человек для приведения ее в ход. Но пока не было настоящей, машина эта на зависть других частей гарнизона отлично работала, давая нужное количество дробленого ячменя для полка.

— Мы подсчитали, — продолжал, покончив с зернодробилкой, Осипов, — с делопроизводителем смету, и выходит за пятьдесят тысяч.

— Что же, — сказал я. — Вы мне говорили, что справочные цены на ячмень ожидаются не менее рубля пяти копеек, а рыночная цена будет около полтинника, значит, деньги у нас будут.

— Вы знаете, господин полковник, — сказал мне Осипов, — условия создания полковой экономии?

Он встал, запер двери кабинета, сел ближе ко мне и принял таинственный вид.

— Да, конечно, знаю. VII Отдел. Фуражное довольствие.

— Вот именно.

Ефим Никитич помолчал немного, как будто не решаясь говорить дальше, потом тихо и медлительно спросил меня:

— Вы получили от бая Юлдашева приглашение на обед?

— Нет.

— А вы были у него?

— В порядке делания визитов городским властям — был.

— Так что вы знаете, кто такое бай Юлдашев? — понизив голос до шепота, сказал Ооипов.

Знал ли я? Я знал лишь одно, что, когда я ездил верхом на ученья с адъютантом или, делая визиты, проезжал в коляске по городу с ямщиком Прокофьевым, я всегда невольно вспоминал сказку про «Кота в сапогах». Как там на все вопросы, кому принадлежит то или другое угодье, любезный кот, снимая шляпу, отвечал: «Маркизу де Карабасу», так и тут — спросил адъютанта:

— Геннадий Петрович, чей это дом?

— Бая Юлдашева.

— А чьи это на окраине такие большие скирды стоят?

— Бая Юлдашева.

Едешь в коляске, встретишь вереницу ослов, груженных виноградом, спросишь Прокофьева:

— Чей это виноград?

— Да чей, не чей, как бая Юлдашева.

Все кругом принадлежало ему. Вот только не помню, ему ли принадлежал пивоваренный завод, стоявший на окраине Джаркента над Усеком, — ему или какой-то акционерной компании.

Генерал Калитин, бывший моим руководителем при моих неопытных шагах в новом краю, сказал мне: «Непременно в первую очередь сделайте визит баю Юлдашеву. Очень он любит почет... Ну и все-таки нужный нам человек, без него мы тут и не прожили бы».

И вот после обоих батюшек, командиров полков и артиллерийского дивизиона подлетел я на тройке серых к юлдашевской усадьбе. Уже кто-нибудь предупредил бая, что я еду к нему. Тяжелые дубовые ворота распахнулись настежь, человек пять слуг, в китайском одянии, пахнущих чесноком, с низкими поклонами встретили меня и хотели подхватить меня под локти и вести к большой китайской фанзе, стоявшей в глубине обширного пыльного двора.

Помню: резные двери, тихий сумрак в очень обширном и почти пустом помещении, где были на полу циновки («барданки») из рисовой соломы и пестрые ковры, стояла кое-какая тяжелая резная мебель, были высокие фарфоровые вазы, низкие столы и где пахло ладанным дымком.

Неслышными быстрыми шагами вышел ко мне хозяин.

Баю Юлдашеву было, вероятно, под пятьдесят лет. Он был в дорогой шапке из темного бархата, отороченной красивым соболем. Он носил усы и небольшую черную бородку. Этим он отличался от китайцев. На нем был дорогой вышитый шелками халат. Обеими руками он принял мою руку и усадил в низкое широкое кресло против четырехугольного столика.

— Очень рад!.. Очень рад... Новый командир полка... Надеюсь, жить будем в ладу и согласии...

Юлдашев хорошо и правильно говорил по-русски, с тем мягким произношением, с которым говорят по-русски азиаты.

— Как доехали? Я очень жалел, что не нашлось у меня дома для вас... Но я не знал, как и чем вам угодить. Но это дело поправимое. Можно построить такой, какой вам будет угодно.

Юлдашев хлопнул в ладоши.

Двери в глубине покоя распахнулись, и двое нарядных слуг принесли на лаковых темных подносах обычное в Туркестане угощение — «достархан».

В высокие хрустальные европейские бокалы было налито теплое шампанское, в маленьких тонкого фарфора чашечках без ру-

чек дымился бледный цветочный чай, на блюдечках было наложено разнообразное варенье, китайское миндальное печенье, русские ландриновские леденцы в бумажках и монпансье, черный горький китайский сахар и фрукты.

Разговор не вязался. Я чувствовал себя неловко в парадной форме, при эполетах. Заговорил о пароходе, который бай Юлдашев хотел пустить по реке Или, и попал на больное место хозяина.

— Да вот — насоветовали!.. Купи да купи пароход, так-то выгодно будет. А кого и что возить — и не подумали? Так и стоит мой пароход на песке подле реки никому не нужный... Один чистый убыток.

Я просидел минут пять, выпил шампанское и чай и собрался выходить.

— Будем теперь шибко знакомы, — сказал мне, прощаясь, бай.

По восточному обычаю провожал он меня через двор, показал свой зверинец — за загородкой у него была дикая лошадь, какие-то козы, дикий баран с крутыми большими рогами и павлины.

Юлдашев не произвел на меня никакого впечатления. Во время путешествий по Маньчжурии и Китаю, а потом во время Японской войны я достаточно повидал этой китайщины, и притом много более богатой. Я был у Дзянь-Дзюня в Гирине, у Фудутуна в Нингуте, и Юлдашев меня не удивил ни обилием слуг, ни пыльною роскошью своего дома с крашенными сандалом и покрытыми позолотой балками, ни резными воротами и просторным двором. От всего этого повеяло на меня глухою, степною, провинцильною скукою и затхлым запахом замкнутой в себе жизни. И я не проникся к баю тем особым уважением, какое питал к баю Юлдашеву генерал Калитин. Не почувствовал я в нем и князя, владетельной могущественной особы. Капитал меня не трогал и не покорял. А тут и капитал-то был грязный и плохо позолоченный.

— Так что же с юлдашевским обедом? — сказал я после короткого раздумья, во время которого быстро пронеслось передо мною видение полутемного зала, кресел с резными рукоятками и достархана с теплым шампанским и горьковатым чаем. — Что же, это будет какой-нибудь особенный китайский обед, который интересно смотреть и невозможно есть?

— О нет. Самый обыкновенный европейский обед, и даже не очень тонкий, но изобильный блюдами и винами.

— Тогда в чем же дело?.. Вы, пожалуйста, говорите мне все. Я тут человек новый и могу попасть впросак.

— Я и хотел именно все вам сказать... Предупредить вас...

Осипов сделал некоторую паузу. Потом продолжал:

— На вашем приборе, в салфетке, вместо меню будет лежать... пятисотенный кредитный билет...

— Какая мерзость!..

— Вот видите... Поднимать тут же скандал, в присутствии всех...

— Бить за это надо, — сказал я, вставая, — по роже бить...

— Невозможно... Возьмете вы или оставите там же, сделав вид, что вы не заметили, не обратили внимания, — все равно, тень на вас будет наброшена, и вы потеряете то уважение, которое вы начали завоевывать у офицеров. Я слышал, как офицеры говорили: «Посмотрим, пойдет или нет наш командир обедать к Юлдашеву».

— Спасибо, Ефим Никитич, что предупредили меня. Конечно, не пойду.

— Обида будет большая... Разрыв...

— Да вот оно что?.. Разрыв? А как же тогда с довольствием полка? Ведь тут, кажется, все у Юлдашева и ничто без Юлдашева. Это очень осложняет, знаете, дело.

— Нет, господин полковник, в этом вы неправильно осведомлены. Все у Юлдашева вследствие его хитрости и нашей доверчивости и непредприимчивости. Есть тут татарин Нурматетов — он давно набивается на поставки. Человек богатый и честный. Если вы согласны порвать с Юлдашевым, выйти из-под его весьма невыгодной для полка опеки — у нас и деньги хозяйственные будут, и все будет честно и прямо, без всяких грязных намеков. Если вы позволите, я завтра приведу Нурмаметова к вам в обеденное время, чтобы никто его не видал. Вы познакомитесь с ним и сами убедитесь, что это за человек.

24. Нурмаметов. — Сами у себя воруем

Нурмаметов мне очень понравился. В нем не было важности и самоуверенности Юлдашева. Высокий, красивый татарин с голым лицом, опрятно, но не роскошно одетый во все черное, он быстро с нами сговорился.

Подряды на поставки в полки сдавались с торгов. В Джаркенте никаких газет не было, и негде было объявлять о назначении таких торгов. Дня за три до торгов на дверях штаба бригады

вывешивалось для проформы объявление о том, что в такой-то день и час назначаются торги на поставку частям гарнизона мяса, муки, крупы, приварка, ячменя, дров, сена, соломы и пр. в такой-то пропорции. Все знали заранее, что запечатанный конверт с обозначением цен будет только один, от бая Юлдашева — никто другой не смел выступать на торгах против всемогущего бая.

На этот раз в штабе оказался и другой пакет. Купец Нурмаметов брался за поставку всего нужного для 1-го Сибирского Ермака Тимофеева полка, и цены его были на все на пятачок меньше юлдашевских.

К великому неудовольствию генерала Калитина и негодованию бая Юлдашева, поставка осталась за Нурмаметовым. Вскоре после и наши батареи порвали с Юлдашевым и перешли на Нурмаметова.

Мы могли теперь спокойно представить нашу смету на 1912 год.

Генерал Калитин торопился ехать в Петербург в отпуск. Смета была спешно пересмотрена. Генерал Калитин приказал прибавить денег на призы казакам, против чего я не возражал, и смета была утверждена. Оставалось ее выполнить.

Но я должен сознаться, что все-таки и я получил взятку от Нурмаметова и принял ее.

Жили мы с ним душа в душу. Он согласился специально для полка весною засеять свои поля вместо ячменя овсом, и с осени лошади наши стали на овес и начали быстро нагуливать тело и блестящую овсяную «рубашку». Нурмаметов всячески старался угодить нам и помочь и своими знаниями, и своими рабочими при всех полковых работах. Он был очень крупный местный землевладелец и обладатель лучшего в крае фруктового сада. Осенью, когда созрели плоды, он прислал господам офицерам и мне по большой, аршина полтора в диаметре, корзине замечательных дынь, разного винограда, груш, яблоков, персиков и слив. Все это было красиво уложено и сопровождалось запиской с «хорошими» словами. Зная ничтожную рыночную ценность присланного, я не решился отказаться от подарка, посланного от чистого сердца и без задней мысли, и потом отдарил Нурмаметова какой-то европейской вещицей. Разбирая претензии сотника А. и хорунжего И., я наткнулся на поразившее меня открытие. Верненское казначейство задерживало все денежные отпуски полку ровно на полгода. От этого полку приходилось жить в долг и задерживать все оплаты. Когда Осипов доложил мне об этом, я спросил:

— Почему же это так делается?

— Не могу знать... Но... Полугодовая стоимость содержания гарнизона выражается во многих сотнях тысяч. Задержанные на шесть месяцев, возможно, что они дают какой-нибудь доход казне.

Я накатал свирепый рапорт, и, так как в это время я был за начальника бригады, рапорт мой прямо пошел в Верный.

Я не знаю, что там вышло. Кажется, вышла довольно-таки скверная история, вооружившая против меня чиновный и общественный мир (донос!), но в полку установилось полное благополучие. Офицеры каждого двадцатого стали получать жалованье, между 1-м и 5-м все расчеты с казаками были закончены и жалованье и ремонтные были розданы. Поставщики получали по счетам без задержки. Потом я узнал, что этим моим поступком был очень доволен генерал Фольбаум, от него раньше скрывали эти задержки.

Чтобы покончить с делами хозяйственными, я должен рассказать и еще о небольшом случае, когда я опять-таки благодаря моему ангелу-хранителю — войсковому старшине Осипову — вышел с честью из беды.

Это было под весну, когда и служба, и отношения между нами наладились и мы хорошо поняли друг друга и друг другу поверили.

Заходит ко мне на квартиру Осипов и говорит:

— Не согласитесь ли вы, господин полковник, вместе со мною на половинных началах пожертвовать сто рублей на одно дело?

— Какое дело?

— Видите — каждую осень в полку не оберешься претензий таранчей-бахчевников на то, что казаки у них воруют дыни и арбузы. Отучить от этого казаков невозможно. Стоимость дыни — 2—3 копейки, а скандала, крика, жалоб на сотни рублей. Предавать суду рука не поднимается. Тороватый у себя дома, казак даже не понимает, что он совершил преступление. Вот я и придумал. Вы знаете тот клин полковой земли, что лежит между казармами 4-й и 6-й сотен, манежем и берегом Усека. За сто рублей я найму двух таранчинцев, и те нам разделают на этом клину восхитительную бахчу, засадят ее самыми разнообразными дынями и арбузами. Казакам будет большой соблазн воровать тут же подле казарм. Никто не будет знать, что бахча принадлежит нам с вами, а мы будем молчать и не станем самим себе жаловаться.

Я, конечно, охотно согласился. За казармами были разбиты большие бахчи, казаки осенью наслаждались и своими удалыми

ночными набегами, и прекрасными дынями. Одно их удивляло, что никто не жалуется на них, никто не тягает к ответу.

На второй год они или догадались, или, быть может, таранчинцы-бахчевники им проболтались, кому принадлежат бахчи, и тогда казаки стали посылать мне лучшие фрукты. Я ел ворованные у меня дыни.

25. На занятиях «одиночкой»

Пришли молодые казаки, были по-новому распределены по сотням, и прочно установилось расписание занятий.

Оно у меня несколько отличалось от тех расписаний, какие были раньше в полку. Понедельник, вторник и пятница были посвящены одиночному обучению казака и выездке его лошади. Среда — баня и уборка помещений, а очередная сотня и с нею любители офицеры и казаки-охотники отправлялись до рассвета на охоту. Четверг — пеший строй всему полку под музыку (муштровка). Суббота — одну неделю дневной маневр, с выступлением до рассвета и возвращением к полудню, другую неделю ночной маневр с выступлением в пятницу вечером и возвращением в субботу утром.

Как памятны мне эти утра одиночных учений. В восемь часов утра я выхожу из своей квартиры, огибаю угол квартала и вхожу в широкую улицу. Уже почти голы высокие раины аллей вдоль арыков. В конце улицы, как в раме оголенных деревьев, — широкий плац, величиной с Марсово поле в Петербурге. За ним розовеет восток и стена снеговых гор. Слов нет — поразительно красиво. Но и постоянно и непрерывно напоминает о том, как далеко забросила нас служба от всего того, что нам по-родному, по-родственному дорого и мило, от всех близких и дорогих людей... Рубеж Китая... Край Небесной империи... Конец земному царству.

Угол плаца занят полковой учебной командой и молодыми казаками и их лошадьми 1-й сотни.

На двух больших кругах, уткнувшись мордами в хвосты, ходят рысью лошади старослужащих казаков. На них без стремян и поводьев сидят молодые казаки. Они в суконных рубашках, без оружия.

Мне издали слышно, как командует сотник Анненков:

— Руки на бедра! Нагибание корпусом налево и направо, начинай.

Мирно бегут маленькие киргизские лошадки, трясутся на них казаки, гнутся корпусами...

— Наметом — ма-арш!.. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх и вниз.

В воздухе свежо. Джаркентская зима дает себя знать. Уже были утренние заморозки. Розоватая пыль курится над сменами. В ней видны машущие руки казаков, скачущие лошади.

Я стою в стороне и наблюдаю. Хорошо ведут учения. Там, подальше, у Артифексова в учебной команде на тридцати вольтах бегают на веревочных кордах лошади, щелкают самодельные бичи.

— Принять! Отцепить корды!.. Разобрать лошадей.

У всех казаков камышовые палочки шесть вершков длиной. Начинается «работа в руках».

— На трот — ма-арш!

Подбираются киргизские коньки, становясь на трот, задирают им кверху «топориком» тяжелые головы казаки.

Но... Меня увидали.

— Смена, стой!.. Смирно! Господа офицеры!

Я подхожу к сменам и здороваюсь с казаками.

На противоположном краю плаца учатся сотни 2-го полка. Там поставлена лоза и глина и скачут, скачут, скачут длинными вереницами казаки. Сверкают на солнце шашки.

Такой это контраст с кордами, с качанием ноги вперед и назад на намет по кругу.

Первый час кончен. Вспотевшие казаки ведут парящих лошадей к казармам. Офицеры подходят ко мне.

— Господин полковник, — несмело говорит Артифексов, — вы не думаете, что мы так отстанем от 2-го полка, что уже не нагоним его? Весною состязания. Долго ли до весны.

— Ну а сами-то вы как, разве не находите, что после двух недель всего лошади стали мягче на повод и гибче.

Артифексов высокого роста, с безбородым сухим лицом, покрытым бурым загаром. Он самый сильный в полку человек и отличный гимнаст. Он недоверчиво смотрит на меня и говорит:

— Вчера был на занятиях генерал Калитин. Стоял долго, кривился, щурился, смялся, потом показал на 2-й полк, там джигитовали, и сказал: «Вот это дело — по-казачьи, а то что...»

Я останавливаюсь в улице-аллее в тени еще не совсем облетевшего сада.

— Смотрите сами, Леонид Александрович, и проверьте себя. Вон, видите — казак нагнулся рубить, а лошадь бросилась от лозы

в сторону. Он едва усидел. Его ворочают назад, опять тоже... Бегают, кричат, нагайками бьют лошадь. Чем она виновата — она просто не выезжена, и казак сидит на ней кулем.

— У нас, господин полковник, этого не будет, — говорит Анненков. — Казаки начинают понимать, в чем тут дело, и увлекаются этим. У меня на «принимания в руках» становятся.

Я смотрю на Анненкова. Нет, это не лесть, не подмазывание к командиру полка, не «4711»*, как говорит командир 2-й батареи подполковник Никольский, не «мыловарство», — но Анненкова точно захватила систематическая работа.

У перекрестка с проспектом мы расстаемся. Я иду быстрыми шагами по проспекту к выходу из города на наш главный большой плац, где казармы сотен.

Там тоже делается нечто, по мнению многих, несуразное. Барабанщик-стрелок бьет «редкий шаг», казаки — и тоже без оружия — маршируют гуськом по квадрату. В стороне блещут звездами в небе острия пик, там казаки, расставив ноги, делают боковые и горизонтальные круги, ширяют пиками по воздуху. В соседней смене то же проделывают с шашками — развивают кисть, локоть, плечо.

Идет муштровка, та «дрилль», без которой не создать воина даже из такого прекрасного материала, каким были сибирские казаки.

За всем здесь наблюдает войсковой старшина Первушин. Я могу быть совершенно спокоен. В Павловском училище Первушин в совершенстве постиг тайны маршировки и муштры.

Издали видна его маленькая стройная фигура. Он идет рядом с молодым казаком и показывает ему игру носка.

— Смотри на меня, — звонко кричит он, заглушая барабанный бой, — тяни носок книзу, неси прямую ногу вперед, вались на нее всем телом. Поставил — поднимай ту, что осталась позади, носок кверху, проноси плавно...

Первушин увидал меня:

— Дивизион, стой! Смирно!.. Господа офицеры!

Яркое ноябрьское солнце светит с безоблачного неба. Близкими кажутся громадные Алатауские горы. Снега спустились низко. Весь хребет сверкает во всю длину, как чеканное серебро. Горы напоминают Гималаи у Дарджилинга. Над ледниками курится серая дымка метели. Там воет и ревет страшная горная буря.

---

* Мыло № 4711 — особенно рекламируемое в то время.

Здесь тихо. Поднятая марширующими золотистая пыль медленно ложится на землю. Бьет барабан: там... там... там-та-там...

26. Полковые охоты

По средам — охота. Если только полковые дела мне позволяют, я принимаю в ней участие не как командир полка, но как охотник-любитель. На наших охотах хозяином-распорядителем всегда войсковой старшина Первушин. Ему помогает сотник Грибанов. Первушин страстный охотник. Он исходил здесь все места, заранее знает, где какой зверь или птица будет. Он и создает план охоты, направляет загонщиков на облаве, распределяет жеребья и ставит по ним стрелков.

Наша охотничья семья невелика и почти всегда одна и та же. Первушин, Грибанов, Осипов, Дорогов-Иванов, хорунжий Иванов, иногда есаул Волков и сотник Анненков, два-три казака, да еще присоединяются к нам офицеры-любители стрелкового полка.

Места не откупные и не арендованные. Громадная площадь камышей, тянущаяся от Джаркента до реки Или и вдоль нее до озера Балхаш, ничья — Божья. В ней тигры водятся. Раньше они подходили к Джаркенту, теперь откочевали далеко вниз по Или, к самому Балхашу. Тигр не любит шума людского, не любит, чтобы его беспокоили. Он царь здешних зверей. Ближе к Или у самой китайской границы, где глуше, водятся, и в изобилии, кабаны, здесь, у Джаркента, — козлы, зайцы, набежит иногда лисица и всегда в изобилии — фазаны. На реке Или множество уток самых разнообразных пород.

Мы выступаем около шести часов утра с расчетом к рассвету быть на месте первого загона.

Ночь еще в полной силе. На сборном месте, на главном проспекте около гарнизонного собрания, стоит, ожидая, очередная сотня. Люди в полушубках, без оружия. К ней со всего города подъезжают охотники. Первушин на крупном англо-арабе осматривает и проверяет, все ли заявившие вчера о желании участвовать на охоте собрались.

— Господин полковник, можно вести?

Это только для проформы. Первушин знает, что он тут полный хозяин.

Едва начинает светать, когда мы выбираемся за город, по броду переходим реку Усек. Казаки поят в ней лошадей. Визжит галька под копытами коней. Перед нами желтой стеной стоят заросли сухого камыша — приилийские джунгли. Разговоры смолкают. Папиросы потушены. В утренней тишине мерно стучат по мягкой илистой дороге шаги сотни лошадей.

Без команды, по знаку, останавливаемся. Слезаем с лошадей. Первушин насыпает в папаху приготовленные жеребья и подходит ко мне. Лицо его сосредоточенно и серьезно. Жеребья разобраны, и первому Первушин указывает его место. Потом идет и вполголоса совещается с вахмистром. Слышно только, как вахмистр говорит: «Понимаю... Не извольте беспокоиться, я сигнал тогда подам, когда все готово будет...»

Сзади нас по пустыне бегут золотые лучи. Солнце восходит. Заиндевелые камыши блестят бриллиантами. Мы тихо расходимся и становимся шагах в шестидесяти от них. Утренний ветерок набегает и шуршит сухими листьями. Небо без облака, как почти всегда здесь, солнце сзади. После ночного мороза становится теплее, кое-кто снял шинель или полушубок и отдает вестовому повьючить на лошадь. Кругом молчание, ни разговора, ни шуток. Все как-то нахохлились. Кто стоит у корявой безлистой джигды с кривым серым стволом, кто присел за болотной кочкой. Шум сотни, раздвигавшей лошадьми камыши, затихает. Кажется, томительно медленно тянется время.

Вдруг, и не там, где мы ожидали, раздается резкий трубный звук: «Не прозевайте трубный звук сигнала» и потом «Вперед, вперед, вперед»... Он кажется совсем близким. И сейчас же лес камышей оживает и наполняется криками и гамом.

— О-э!.. О-ооо! Ого-го!.. А-та-та!.. А-та-та!..

Красавец петух фазан с характерным квохтаньем порвался из камышей, за ним другой, третий. Цепь стрелков гремит то одиночными уверенными выстрелами — сразу знаешь, что попал, то двойными, неуверенными — промахами. Вдруг все смолкает, и на нашей линии наступает напряженнейшая тишина ожидания.

От загонщиков раздается предупреждающий крик:

— Левый фланок смотрить — берегить козла!

Затихавшие было голоса уставших кричать загонщиков оживают снова. То и дело передают наблюдения за козлом, казакам с лошадей видным, для нас пока невидным. Да уже не два ли там козла?

— Пошел в середку... Смотри, смотри!.. А-та-та!..

Линия стрелков замирает... Фазаны, треща крыльями, взлетают и перелетают тут и там. Никто не смотрит на них. Все ждут козла.

Резко и как-то внушительно прогремел одиночный выстрел. Загонщики на мгновение смолкают, потом снова кричат:

— Берегить! Козел на левый фланок пошел!..

Уже слышно, как хрустят камыши под лошадиными грудями. Снова выстрел и радостные крики:

— Взяли козла!

Из камышей появляются казаки с оживленными, разрумянившимися лицами. Загон окончен.

Козел и шесть фазанов отвозятся казаками на дорогу, где ожидает добычу сотенная артельная телега. Мы садимся на лошадей и едем дальше.

Первушин всегда сумеет так сообразить охоту, что мы до полудня сделаем около пяти загонов и выйдем на одну из больших дорог, или на Верненский тракт к «муллушкам» у карагачевой рощи, или на Илийскую дорогу у Чолокая. Там нас ожидает сотенная кухня с горячим обедом и четвертью водки для казаков, холодная закуска, заготовленная заботливыми руками жен охотников, — хлеб со вложенными в него котлетами или кусками курицы, печенье, чай, водка и вино.

Тут все настоящие охотники, а не любители пикников и выпивки под предлогом охоты. Время летит незаметно. Офицеры разлеглись на земле по буркам и полушубкам. Убитая дичь разложена сзади. Веселым кругом толпятся казаки с котелками около кухни. Звенит черпак. Вкусно пахнет казачьими щами. Не смолкают разговоры — подтрунивания над неудачниками, легкая, невинная лесть хорошим стрелкам.

— Ведь я почему, Ефим Никитич, козла не стрелял. Вижу — на вас идет. И мне притом же стрелять навкось.

— Козел что твоя лошадь!.. О пяти отростках рога.

— Да ты и правильно делал, что не стрелял, все одно — промазал, только козла напугал бы.

— Ну! Про-ма-зал!.. Почему я промазал?

— А Ефим Никитич враз. Ударил и готов.

— Ваше здоровье, Ефим Никитич!

Осипов герой дня. Два козла уже его да несколько фазанов. Он чокается со мною. На него приятно смотреть, как он пьет водку. Такой он большой, сильный, румяный, красивый, пьет и нисколько не хмелеет.

— Что же, господа, — вставая, говорит Первушин. — Зимний день короток. Еще загончика три сделаем, да и айда домой.

К вечеру взято шесть козлов и двадцать фазанов. Первушин распределяет, кому что отвезти. Начальству, собранию, участникам — семейным, но и казаки не забыты. Во всех сотнях послезавтра будет прекрасная козлятина.

Уже ночь, когда мы въезжаем в Джаркент. В черном небе сверкают ясные звезды. В городе темно. Лишь кое-где сквозь запертые ставни сквозит золотая полоска.

Все устали от езды, ходьбы по болотным кочкам в камышах, от морозного воздуха и от волнения охоты. Но все встряхнулись и освежились, завтра легче будет идти на занятия.

Всю дорогу молчавшие загонщики, как только выехали в городские улицы, подтянулись, песельники запевают хриплыми, застуженными голосами:

Мы давно сжились с степями
И давно привыкли к ним...
Перед дикими ордами
Мы не первый раз стоим!..

Мы прошли всю степь, как море,
Сквозь песочный ураган...
Там он ходит на просторе,
Бьет с бархана на бархан...

Песня грозно гудит, широко разливается по темным аллеям Джаркента, где белыми привидениями стоят высокие заиндевелые тополя. В этой песне своя музыка и особенная дикая, первобытная сила. На ноты ее не положишь, мелодии не уловишь. Создали ее многодневные походы через степи и пустыни, вылилась в ней тяжелая доля сибирского казака с борьбою с природой и жизнью в необъятных просторах Азии. В ее грубом напеве своя суровая, несокрушимая прелесть.

Перед полковым и войсковым праздником, 6 декабря, Первушин испрашивает разрешение устроить «грандиозную» охоту на кабанов в верховьях реки Или. Пойдут на китайскую границу, недели на полторы, будут жить в киргизских кошмяных юртах, вести суровый образ жизни первобытных охотников.

Для меня велик соблазн поехать вместе с ними, но генерал Калитин уехал в отпуск, я остаюсь за начальника бригады и не могу надолго покинуть стоянку полка.

Охотники поехали на другой день после Георгиевского праздника, 26 ноября. Это — войсковой старшина Первушин, сотники Дорогов, Иванов и Асанов, хорунжие Иванов и П. (не могу вспомнить фамилию). С ними пятьдесят казаков-любителей со всех сотен, все народ серьезный и надежный, лихой и предприимчивый, много с ними и урядников. Каждый понимает, что охота на кабана — серьезная охота. Будут стрелять с загона, а если прорвется кабан на чистое — погонят его на конях, чтобы колоть пиками и рубить шашками. Вернулись они 4 декабря и привезли на нанятых арбах пять громадных кабанов и 6 великолепных диких козлов. Будет что подать к обеду на праздник и в сотнях, и в собрании, у всех будет кабанина и козлятина в изобилии.

Охота прошла благополучно. Только у хорунжего Иванова была довольно серьезно ранена лошадь. Когда кабан вышел из камышей, Иванов погнал его верхом, пытаясь с коня пристрелить зверя. Кабан, чуя гибель, извернулся, кинулся под лошадь, Иванов и кабан свалились на землю в одну общую кучу. Первым из нее выбрался кабан, на него наскочил казак и прикончил его ударом шашки.

Так наши охоты были не только забавой и развлечением в монотонной жизни на азиатской окраине, но и серьезной школой находчивости, смелости, расторопности, ловкости, умения рискнуть и взаимной выручки.

27. Полковой праздник

По четвергам был общий пеший строй всему полку. На площадь, у гарнизонной церкви, центральное место для всех сотен и команд, сходился полк и часа полтора, а иногда и два делал общие шашечные и ружейные приемы и маршировал под трубачей по широкому плацу, то медленно, учебным шагом, в колонне по три разомкнутыми рядами, где каждый казак был виден, то обыкновенным шагом по шести, потом повзводно, по полусотенно и, наконец, развернутым строем сотен, шагом и бегом. Шла пешая тренировка полка, выработка свободного дыхания, легкой и красивой походки, выжимание ноги, развитие грудной клетки. Люди приучались отвечать под ногу, кричать «ура», каждый сотенный командир мог тут видеть, в чем отстала от других его сотня, в чем она была слабее, я же выравнивал полк по лучшей сотне.

На первом же полковом празднике я и пожал плоды этой работы.

К великой радости моих офицеров, это была первая наша победа в гарнизоне.

Как вышли на площадь ермаковцы — трубачи, три сотни по полных двенадцати рядов во взводах и нестроевая команда — красота!

Рост гвардейский, на всех обновленные шинели, у всех новенькие нашитые красные погоны с новой шифровкой «Сб.», у всех одинаковые папахи настоящего бараньего меха с алыми тумаками. Как стали на свое место левее батарей и стрелков, так просто заглядеться можно.

Знамя по туркестанскому, скобелевскому обычаю принимали дружным «ура», и мои ермаковцы были научены кричать по-гвардейски — «ура-а-а-а», с бесконечно протяженным звуком «а», а не лаять, отрубая по-немецки, «ура»... «ура»... «ура»...

...А после музыки и дружное ура!..
Красив парад в морозный зимний день.
Чубы казачьи завиты с утра,
Папахи ухарски надеты набекрень...*

Как пошли ермаковцы после батарей и стрелков пополусотенно широким вымаханным шагом, смело и быстро, как вскинули головы в сторону начальника и последовал ответ на похвалу начальника гарнизона, командира 21-го Туркестанского стрелкового полка полковника князя Баратова:

— Рады стараться, ваше сиятельство! — я услышал, как гул одобрения пронесся в толпе горожан, офицеров и их семей.

«Действительно молодцы ермаковцы!»

На свое, на первое место стали ермаковцы. Поверили тогда все сомневающиеся в пользу одиночного обучения и муштры, в необходимость нашей зимней работы.

После коротких здравиц — в настоящей армии речей говорить не принято — разошлись по сотням.

В казармах чисто прибрано, убраны казармы флагами, столы накрыты чистыми скатертями и покрыты расшитыми полотенцами. Принесли прозрачные водочные четверти, разлили чарки-манерки, и уже несут тяжелые миски, полные горячих пельменей. Вчера и занятий не производили — все казаки сотен раскатывали тесто и готовили тысячи пельменей из свежего ба-

---

* *Мария Волкова.* Песни Родине. Харбин, 1936, стр. 37.

раньего мяса. После пельменей — кабанина и козлятина, туркестанское вино ташкентского винодела Иванова и пиво. Торжественный тост:

— О здравии Державного Вождя Русской армии Государя Императора!

«Ура!» и гимн.

В гарнизонном собрании в шесть часов вечера был общий обед. Полки-именинники угощали весь гарнизон. Были все чиновники Джаркента, был и бай Юлдашев.

В зале и столовой за четырьмя столами разместились гости и хозяева. Собранский повар и его помощники щеголяли столичным меню, в него входила индейка, кабанье мясо и козлиное седло. Русские вина лились рекой. Играли трубачи двух полков, и пели песельники.

Я был предупрежден моими обоими помощниками, что это уже так заведено — ничего тут не поделаешь! — такая традиция, что три дня — пей до дна!.. пей до дна!!. пей до дна!!!

На 7-е назначались так называемые «доедки». С доедками я примирился, ну а когда на 8-е хотели начинать все сначала, собрал я полк в семь часов утра по тревоге и повел его с полными мерами охранения, в чинном порядке, с головной сотней и заставами с дозорами в Голубевское за пятнадцать верст.

Шли переменными аллюрами. Шли молча, нахохлившись, весьма недовольные и маневром, и своим командиром. Опохмелялись свежим, слегка морозным воздухом пустыни, растрясли и праздники, и «доедки».

В Голубевском был на полчаса привал, назад шли «вольно» с трубачами и песельниками. Понемногу расходились казаки и господа. Все веселее, громче и звонче звучали песни. С присвисточкой пели:

...Утром рано весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый...
Я на пушке сижу,
Сам на крепость гляжу,
Сквозь прозрачные волны тумана...

Когда у въезда в город, за длинным Борохудзирским мостом, распуская сотни по казармам, я пропускал мимо себя полк, войсковой старшина Первушин сказал мне:

— А это вы недурно придумали, господин полковник, вся праздничная дурь и пьянство вылетели из голов господ офицеров и казаков. Теперь опять шутя станем на работу. А то раньше, бывало, с неделю у всех головы трещат, никак не раскачаемся на службу.

Но особенно были этим довольны наши милые полковые дамы. Этот третий день праздника влетал их мужьям не в одну копеечку, а народ в полку вообще был небогатый.

28. Маневры

По пятницам в ночь или по субботам с утра я делал полку маневры. Молодые казаки на этот случай надевали полную походную амуницию и становились в строй сотен.

Конечно, большого, замысловатого, словом настоящего маневра я не мог разыграть — сил для этого было недостаточно и люди не были подготовлены. Давалась самая простая задача, но на ней я требовал самого внимательного и вдумчивого исполнения ее каждым отдельным казаком.

Так, например, в моей полевой книжке значится на 19 ноября 1911 года:

«19 ноября в 8 часов утра в городе Джаркенте получено известие, что небольшой отряд, имея в авангарде конницу, неизвестно сколько, движется по Хоргосской дороге и прошел кишлак Аккент.

6-я сотня поднята по тревоге и двинута навстречу противнику в авангарде полка. Когда она подходила к православному кладбищу, она была обстреляна из деревни Тышкан редким огнем. Послала о том донесение. Получила приказание: «Спешьтесь в улицах Джаркента, займите опушку города. Задерживайте противника до подхода полка.

Исполнить: к 9 часам утра подойти к опушке Джаркента у кладбища. Спешиться из походной колонны с батовкою коней. Послать пешие дозоры и выставить конные наблюдательные посты. Занять опушку для обороны. Применение к местности. Установка прицела и правильное прицеливание. Перемена целей и огня. Противодействие охвату. Назначать раненых и выносить их к коновязям. Учредить перевязочный пункт. Обратить особое внимание на толковое применение к местности и на правильную установку прицела. Управление огнем. Наблюдение за противником».

Противника на этом маневре изображала 4-я сотня. Она вела наступление тоже пешком. Мы разыгрывали стрелковый бой спешенными частями конницы.

Я старался разнообразить маневры, вносить в них элемент правдивости и соответствия нашей жизненной обстановке. Старался создать иллюзии настоящего боя.

Незаменимыми моими помощниками в таких маневрах была полковая учебная команда с ее офицерами хорунжими Артифексовым и Ивановым.

Однажды весною я поручил им незаметно перетащить к себе из всех сотен чучела для рубки. Когда наступила ночь, учебная команда расставила и разложила их в беспорядке на большой окраинной площади Джаркента. Казаки же учебной команды расположились укрыто за стенами окружающих площадь садов. Они были обильно снабжены холостыми патронами.

Когда все было исполнено, я приехал верхом в 4-ю сотню и поднял ее по тревоге. В две минуты сотня была готова, через три минуты примчались к ней жившие в городе офицеры. Тогда я сказал:

— Из Аккента к Джаркенту пробираются мятежные дунгане, есть сведения, что они уже вошли в город. Смотрите, увидите их — рубите на совесть. Подъесаул Волков, ведите сотню к Аккентской дороге.

Ураганом поскакала сотня. Но как только голова ее показалась на площади — кругом из садов затрещали выстрелы, а на самой площади были видны какие-то темные фигуры. Не своим голосом скомандовал командир сотни: «Строй взводы! Первый взвод врознь марш!»

Казаки выхватили шашки из ножен, взяли пики к бою и понеслись по площади...

Великолепная вышла атака. Я должен был выскочить вперед и поторопиться подать сигнал «отбой», боялся, что в пылу азарта не хватили бы и по казакам учебной команды по-настоящему.

Мне рассказывал командир первого взвода хорунжий Попов:

— Я был и точно уверен, что это дунгане. Мне показалось даже, что они бегут. Я так от сердца рубанул. И было просто досадно, когда увидал перед собою чучело...

Эти еженедельные маленькие маневры готовили полк к большим маневрам всех войск Семиреченской области, а те готовили незаметно к войне, которая невидимо приближалась к нам, тогда таким мирным.

В августе 1913 года генерал Фольбаум был в нашем Тышканском лагере. Почти каждый день были маневры всех родов войск или боевые стрельбы с маневрированием.

Однажды под вечер, ведя наступление на 22-й Туркестанский стрелковый полк, я обнаружил его окопавшимся лунками (по-настоящему) на крутом и каменистом скате Тышканского плоскогорья. Я выходил к окопам из Бурханского ущелья. Быстро сообразив, что стрелкам придется стрелять круто вниз, что ротные поддержки и батальонный резерв и вовсе не смогут принять участие в отражении атаки, на полевом галопе по трудной местности, развернул все четыре сотни для атаки на пехоту и эшелонами атаковал пехоту в конном строю. Атака имела грозный вид. Кремневая галька летела из-под конских копыт, круча была на вид неодолимая, маленькие киргизы, как кошки, сжимаясь в клубок, неслись вверх. Стрелки встали в окопах, казаки пронеслись сквозь них и дошли до полкового резерва.

Генерал Фольбаум подал «отбой» и через адъютанта вызвал меня отдельно к себе. Он был круто недоволен мною.

— Полковник, — сказал он сердито. — Это не решение задачи! Все это было очень стремительно и лихо. Я и представить себе не мог, что по таким горам конница и вообще может ходить, но — это никуда не годится. Весь ваш полк был бы перебит. Я вашим людям этого, конечно, не скажу, потому что в восторге от виденного, но вам делаю замечание. Это маневры, а не шутки. Не упражнения в езде в итальянском духе.

И на моем сером Киргизе, прекрасно ходившем по горам, Фольбаум стал подниматься к собранному в резервную колонну полку. Он горячо благодарил казаков и ничего не сказал о том, что считает атаку невозможной, не сказал и я о полученном замечании ни офицерам, ни казакам. Не только потому, что считал, что прежде всего нельзя угашать конный дух, а еще и потому, что не был согласен с оценкой моего решения задачи. Считал, что всегда, когда можно, надо атаковать на конях — в этом смысл и сила конницы.

Прошло с того дня полтора года. В обстановке еще более тяжелой, потому что зимою, в гололедицу и по снегу, по таким же крутым горам, но уже не на маневре, а на войне, на Кавказском фронте. На рассвете 22 декабря 1914 года ермаковцы, во главе со своим командиром полковником Раддацем, по обледенелым кручам атаковали турок под Ардаганом.

Историк мировой войны на Кавказском фронте Е.В.Масловский на стр. 122 своего труда так отмечает этот подвиг сибирских казаков: «...Казаки же Сибирской бригады, произведя обход, нанесли быстрый удар с северо-западной стороны и конной атакой овладели Ардаганом. Атака была произведена утром 22 декабря. Турки в беспорядке бежали через Яла-нуз-гамский перевал, оставив сибирякам много пленных и два орудия»...

Это славное дело произошло так: на рассвете морозного туманного дня 1-й Сибирский казачий полк, шедший в авангарде бригады, своими дозорами усмотрел табор турецкой пехоты на неприступных, обледенелых, покрытых снегом горах. Впереди лежали стрелковые цепи, несколько сзади стояла батарея, и еще дальше был батальон резерва, стоявший в густой колонне. При нем было знамя. Полк построился поэшелонно для атаки — и, как тогда на нашем маневре под Тышканом, в голове полка шла 4-я сотня есаула Волкова. И казаки на $^{2}/_{3}$ были те же самые, которые атаковали тогда на маневре. Ураганом, по кручам понеслась ермаковская атака. Невозможное на маневре и там осужденное оказалось возможным блистательным подвигом на войне, щедро награжденным начальством. Табор пехоты положил оружие. Знамя было схвачено казаками 4-й сотни. Подвиг говорил сам за себя. Полковник Раддац, командир полка, был награжден за эту атаку орденом Св. Георгия 4-й степени.

Я в это время был на Германском фронте. Под Новый год я получил письмо от П.П.Калитина, написанное им под горячую руку сейчас после ардаганского дела. В письме этом генерал Калитин вспомнил наш маневр полтора года тому назад на Тышкане... «Вот совсем так, как тогда, и тут атаковали ваши доблестные ермаковцы и Вячеслав Волков со своей 4-й опять впереди. Все получили Георгиевские кресты. Оставайтесь вы у нас — и у вас был бы уже крест. Посмотрели мы потом на горные кручи и изумились, как можно было так атаковать. Джаркентская школа сказалась», — писал мне Калитин. Письмо заканчивалось печальным для меня известием: мой бывший вестовой приказный Порох, услужливый, вежливый, всегда приветливый, бодрый и веселый — как он любил и ласкал мою Гризетку, каким незаменимым был для моей жены и меня человеком, когда мы ездили верхом в Верный и Пржевальск и ночевали в пустыне в палатке! — был убит в этой атаке... Царство ему небесное...

Наши маневры мало походили на те маневры, которые мы проделывали под Красным Селом и Петербургом. Редкие кишла-

ки... Почти нигде нет засеянных полей, гладкая ровная пустыня и горы со всем их разнообразием скатов, подъемов, перевалов, ущелий и плоскогорий... Пошлешь с вечера разъезды на тридцать, на сорок верст и утром, когда выступишь с полком, — увидишь, как далеко в горах играет зеркальный солнечный зайчик. Едущие сзади меня гелиографисты слезут с лошадей, расставят треногу — и вот уже бежит нам со скоростью света подробное донесение о том, что делается перед нами. Мы широко применяли гелиограф, мы буквально все время разговаривали по солнцу с разъездами и соседними колоннами. Нам днем нужно было только солнце, а солнце здесь было всегда. Ночью мы работали с лампами Манжена.

В 1913 году, на Тышкане, была собрана вся 6-я Туркестанская стрелковая бригада, причем походом пришли — 20-й полк из Верного за 325 верст, 22-й полк из Пржевальска походом в 360 верст, подошла из Верного мортирная батарея и ко мне одна из верненских сотен. Собралось 6 батальонов, 3 батареи, 7 сотен казаков и один саперный батальон.

Для большого маневра части были сначала распределены на две стороны. 20-й и 21-й полки, 4 сотни моих ермаковцев и две полевые батареи, наступая от Тышкана на Джаркент, задерживались 22-м полком, мортирной батареей и тремя сотнями 2-го полка. Произошел ряд встречных боев, наш отряд занял Джаркент и преследовал противника к Илийскому на реке Или. Там оба отряда были сведены вместе и получили задачу с боем форсировать переправу у Илийского.

За время маневров на том берегу реки офицеры Генерального штаба с заведующими в полках оружием и оружейными мастерами соорудили большую позицию, расставили мишени, обозначающие цепи, поддержки, резервы и батареи. К войскам были подвезены боевые патроны и снаряды, и маневр был обращен в боевую стрельбу с маневрированием всеми частями области.

Высокий наш берег был занят стрелками и батареями, и под их огнем внизу, у самой реки, готовилась переправа. Саперы наводили из подручного материала, плотов и лодок мост, моя учебная команда с сотником Анненковым, принявшим ее после того, как к 1-й сотне прибыл со льготы есаул Рожнев, переправилась вплавь через реку. Я хотел пустить вплавь и весь полк, ручаясь генералу Фольбауму, что несчастных случаев не будет, но, так как здесь река Или была около 200 сажень ширины, при сильном течении и очень вязком, илистом дне, покрытом корчагами, — генерал

Фольбаум не разрешил пустить людей вплавь. Казаки переправлялись на пароме, лошади плыли за паромом.

Как только казаки переправились, пехота и артиллерия прекратили обстрел мишеней, казачья бригада начала решение своей задачи, обстреливая приготовленные для нее мишени, а пехота тем временем переправлялась по мосту и на паромах.

Боевая стрельба закончилась атакой мишеней стрелками и казаками. Казачьи сотни доскакали до мишеней батарей. Там был подан общий отбой.

Маневр был кончен. Кто думал тогда, что это был последний маневр войск Семиреченской области, что будущую осень части области будут готовиться к походу, в ожидании вызова их на войну.

Генерал Фольбаум на почтовых уезжал в Верный. Части потянулись к своим зимним стоянкам. 20-й, 22-й полки, саперы и мортирная батарея левым берегом реки Или пошли в Верный и Пржевальск. Части Джаркентского гарнизона переправлялись обратно и по пыльной дороге на Чолокай шли по квартирам.

Это были и мои последние в жизни большие маневры.

В облаках серой пыли блистали копья поваленных «за плечо» пик. Любимая в те дни казаками песня неслась в душном неподвижном воздухе над зарослями камыша:

...Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны...

Щемило сердце непонятной тоской...

29. Занятия с офицерами. «Дедовское оружие»

Занятия с офицерами происходили каждый день. Они состояли из: верховой езды, гимнастики и фехтования, стрельбы из винтовок и револьверов и тактических занятий на плацах. Одно время с учителем местной туземной школы занимались киргизским языком.

Наш манеж под наблюдением войскового старшины Осипова воздвигался таранчинцами, присланными Нурмаметовым, и рос не по дням, а по часам. Мы строили его на плацу,

где были бараки инженерного ведомства. Земли было много, земля была своя, не арендованная, и мы размахнулись постройкой 60 шагов на 40. Высокие, четырехаршинные стены из самана окаймляли этот прямоугольник. С короткого края были устроены легкие жердяные ворота. Посередине длинной стены свои полковые плотники строили крытую беседку-ложу на 60 мест.

Занятия ездой с офицерами я начал с прогонки лошадей на кордах, работы в руках, напрыгивания на препятствия на кордах и систематичной манежной езды. На троту добивался равновесия лошади под всадником, мягкого повода, работы шенкеля. Ездили преимущественно врозь, каждый самостоятельно работал свою лошадь. Для большинства офицеров все это было ново, и скоро этой работой заинтересовались.

Манежная езда заканчивалась маленьким пробегом. Все офицеры жили в городе, манеж же помещался за городом. В конце езды я садился верхом, и мы широкой вольной группой скакали полевым галопом до первого перекрестка, откуда офицеры самостоятельно разъезжались по квартирам.

Сначала это был только легкий кентер по ровным аллеям города, на полверсты, на версту. По мере того как лошади совершенствовались в выездке и преодолевании препятствий, дистанция становилась больше, мы выезжали за головной арык, шли по пустыне и по снятым полям, прыгая через арыки, потом выезжали к реке Усеку, по очень крутому спуску спускались в его русло и заканчивали пробег по гальке. Иногда я заранее ставил где-нибудь по пути два-три препятствия, неожиданных для смены, и мы прыгали их. Все это нравилось и приносило пользу. Молодежь шалила — я не препятствовал. В аллее города увидали таранчинца, который вез длинные жерди.

— Господин полковник, можно?

И, не дожидаясь моего ответа, зная, что можно, Анненков и Артифексов вылетают карьером из смены, мигом поворачивают жерди поперек аллеи, и мы прыгаем через хворост мимо изумленного таранчинца. Прыжок нетрудный, растяжной, в возе и полутора аршина не будет, но он новый, и все довольны. Таранчинец получает бакшиш за задержку и беспокойство и тоже доволен.

По четвергам, после пешего учения, все офицеры спускались по тропинке к Усеку. Там были приготовлены круглые «офицерские» мишени и оружейный мастер ожидал нас с патронами.

Помню, когда пришли мы первый раз, как вдруг смутились Осипов, Первушин и Волков, увидев, что там ожидает меня и мой вестовой Порох с моей собственной винтовкой, отделанной в мореный американский орех с никелированным затвором и наново вороненным стволом.

— Господин полковник, вы будете стрелять? — спросил меня Осипов.

— Господин полковник, у нас в таких случаях командир полка никогда не стрелял, — заметил, хмуро глядя на меня исподлобья, Первушин.

Волков досадливо пожал плечами.

Это не «обструкция». Это гордость и полковое самолюбие. Офицерская смена ермаковцев на стрельбе всегда давала полные сто процентов или около того. «Гадили» только молодые хорунжие. Ну а если и командир полка, кто его знает, как он стреляет, в пенсне притом? Положит одну или две пули, при небольшом числе стрелков процент будет такой, что 2-й полк смеяться будет.

Я их отлично понимаю и сочувствую им. Молча беру я свою винтовку и становлюсь на линию огня.

Мы стреляем «по-смотровому», по одной пуле без показки.

«Тах», — раздается мой первый выстрел, и Первушин, у которого изумительное зрение, говорит успокоенно:

— В четвертый номер.

С каждой очередью голос Первушина становится ласковее. Осипов мягко улыбается в усы.

Я им не нагадил.

Испортили нам процент два молодых хорунжих — один попал две, другой три пули. Все остальные попали по пяти...

Шипит на хорунжих Первушин:

— Прикладкой заниматься надо. По три раза в день. Мишеньки на окна наклеить. Срам!.. Портите полк!

«Тактические занятия» велись в гарнизонном собрании со всеми офицерами гарнизона под руководством начальника штаба бригады Генерального штаба полковника Криницкого. Занятия эти офицерам не нравились. Велись они на планах Кайгородова и Преженцова — и Джаркентскому гарнизону диким казалось оборонять какое-то Пабианице или наступать на Лодзь, когда все это было так далеко от нас. Кто мог тогда думать, что все это окажется близким и нужным? 4-й и 7-й Сибирские полки, образованные из людей 1-го полка в Великую войну, оказались на Германском фронте.

Со скукой чертили красным и синим карандашами биваки и сторожевое охранение, выбирали позиции, ставили батареи... Все это так надоело и в училище.

Иногда из деревянного ящика доставали помятые оловянные квадратики и полоски и разыгрывали некоторое подобие военной игры.

Не увлекало и это. Тактика здесь не была в моде. Какая тактика? Противник — китайцы или дикие орды киргизов и дунган — только поспевай их рубить.

Читали в собрании и сообщения на заданные темы. Топтались все около той же Плевны, которую изучали и в училище. Более интересными были сообщения о Японской войне. В Сибирской бригаде почти все старшие офицеры были ее участниками.

Я завел в дополнение к гарнизонным тактическим занятиям свои полковые. Мы собирались раза два в месяц в «сборной» при канцелярии. Это были не столько занятия, сколько беседы на военные темы.

Вот во время одной из таких бесед и произошло нечто, над чем сибирские остряки очень изощрялись, а мои офицеры в душе были довольны.

Не помню кто — подъесаул Волков или подъесаул Калмыков — оба были горячие патриоты войска и полка и оба нервные, стал желчно и с едкой досадой говорить:

— Господин полковник, высочайшим приказом казачьим офицерам разрешено носить дедовское оружие произвольного образца и с украшениями. И я знаю, что кавказские казаки и донцы украсились прекрасными шашками, саблями и клычами, кто знает, точно ли дедовскими или полученными от «дедушки Шафа»*. А чем, позвольте мне вас спросить, виноваты мы, что наши деды вели войны с туркменами и дунганами, у которых такое оружие, что нам не подойдет?.. Вот у нас, — говоривший показал на свою шашку, — видите, какая дешевенькая казенщина, носить тошно! Разве передашь такое сыну или внуку?

— Если ваши деды сделали такую ошибку, зачем вы будете ее повторять? — спокойно сказал я.

— То есть? Я вас не понимаю.

— Если ваши деды были вам плохими дедами, будьте вы хорошими вашим внукам. Заведите себе прекрасные сабли или шаш-

---

* Шаф — известный фабрикант холодного оружия в Петербурге, на Вознесенском проспекте.

ки, освятите их верной службой Государю и Родине и передайте их своим сыновьям.

Я сказал это почти что... так. Просто чтобы рассеять то недовольство своею судьбою, которое слышалось в речи задавшего мне вопрос и которое было мне неприятно.

Совсем неожиданно мои слова были горячо приняты и подхвачены. Офицеры заволновались, сразу все заговорили. Не помню, кто из офицеров полка был тогда в командировке в Петербурге, в Офицерской стрелковой школе, сейчас же решили послать ему телеграмму, указать ему сходить к Шафу и узнать, во что обойдется хорошая шашка, если заказ будет сделан на тридцать штук сразу.

— Не шашку, а саблю, как у гвардейских казаков, — раздавались голоса.

— Клыч!

— Клыч, с хорошим венгерским клинком!

— С эмблемами полка на лезвии!

Я ни во что не вмешивался. Я считал это движение здоровым и полезным. Была составлена телеграмма в Петербург, и, по-видимому, она захватила и офицера, бывшего там, потому что уже через три дня получился ответ. Каждая сабля обойдется около 60 рублей. Образец высылался в полк.

Через два месяца пришел и образец. На прекрасном клинке венгерского образца проволочной стали, с изображением на нем — на том месте, где на венгерских клинках бывало изображение Божией Матери или надписи, — Ермака в шеломе, отлично награвированного с надписью славянскими буквами «Ермак Тимофеевич» кругом, с эфесом из слоновой кости в оправе из белаго металла, с цепочкой, с белыми прорезными ножнами на красной юфти — клыч этот всем понравился.

Полк открыл офицерам для приобретения этой сабли годовой кредит с вычетом по пяти рублей в месяц из жалованья, и к весне мы все получили «дедовское оружие» наших внуков.

Мы стали надевать его явочным порядком во всех парадных случаях. Летом, когда был объезд лагеря генералом Фольбаумом и были вызваны «все на линию», офицеры были при этих саблях, на поясных портупеях. Я заранее предупредил Михаила Александровича о нашем самовольстве, и добрейший наш корпусный командир одобрил желание офицеров приукраситься оружием.

Подъехав к флангу моего полка, Фольбаум остановил лошадь и сказал:

— Очень красиво, господа. Носите же с честью эти сабли, носите так, чтобы внуки ваши гордились своими дедами.

Я не знаю, взяли ли в поход офицеры ермаковцы эти сабли. Освятили они их подвигами своими и смелою рубкою врага? Не знаю я также, после российского погрома сохранилась ли хотя у кого-нибудь из оставшихся в живых офицеров, ермаковцев, наша «дедовская» ермаковская сабля. Но по тому, что совершили ермаковцы в Великую войну и что проделали они потом в армии Колчака, — если у кого сохранилась такая сабля, она многое может рассказать о подвигах владельца. Теперешние внуки ермаковцев, а я знаю, что таковые уже растут, воспитываются дедами в любви к России и Сибирскому войску, могут на вполне законном основании и с гордостью носить такие сабли своих дедов.

30. Джаркентские развлечения

Все это может показаться мелочным, суетным и смешным, а попустительство генерала Фольбаума даже и излишним, ненужным и неуместным. Но нужно знать условия жизни в Джаркенте, на рубеже Китая, на далекой и труднодостижимой окраине Российской империи.

Расстояние и отсутствие сообщений давили. Нормально, в летнее и осеннее время, мы получали петербургские и московские газеты на двадцать пятый день. Зимою, когда между Пишпеком и Аулие-Ата прольют осенние дожди и дороги расплывутся в грязи, — почта приходила на сороковой и даже на шестидесятый день! О Георгиевском празднике, 26 ноября, мы читали в конце января!

Когда началась война на Балканском полуострове, по инициативе начальника штаба бригады были выписаны агентские телеграммы, их литографировали в канцелярии полка и рассылали всем господам офицерам гарнизона.

Надо было занимать молодежь. Женатым было легче, но каково было холостым?! Барышень в Джаркенте — на беду, а может быть, к счастью — почти не было. Дочери генерала Калитина зимы проводили в Петербурге и очень скоро повыходили замуж за офицеров 2-го Сибирского казачьего и л.-гв. Сводно-казачьего пп. Грибановских. У старика вдовца полковника Селядцева, получившего 21-й стрелковый полк после князя Барато-

ва, было три дочери-барышни, но они жили замкнуто и нигде не появлялись. У соборного протоиерея была прехорошенькая дочь, барышня лет семнадцати — вот и все. Осиповы, Тася Баженова, Маруся Волкова, Тата Никольская — все это были девочки восьми, девяти, десяти лет, большинство зиму проводили в Семипалатинске в гимназии и приезжали только на лето на Тышкан.

Жизнь, таким образом, для офицера складывалась одинокая, угрюмая, замкнутая в тесном кругу полковых интересов.

Бывало, летом смотрит в знойный день офицер на горы, где все меньше и меньше становится как бы белое облачко ледника, — и неотвязная мысль крутится в его мозгу: а что, если в один далеко не прекрасный день ледник совсм растает и с ним иссякнет Усек и головной арык, вся жизнь замрет без воды и доскакать никуда не успеешь.

Почти каждый год бывали самоубийства офицеров.

Надо было занять общество, отвлечь от тяжелых мыслей, заставить забыть свою оторванность.

В гарнизонном собрании от поры до времени устраивались балы.

Помню первый бал, на который приехал я с женой. Генерал Калитин еще не уехал в отпуск. Но семья его была в Петербурге, и моя жена оказалась старшей дамой в гарнизоне.

Пустой просторный зал. Белые, некрашеные дощатые полы блестят от воска. По стенам ярко и чадно горят керосиновые лампы. Моя жена вошла в зал и только хотела сесть на стул, как к ней, шаркая ногами, подбежал адъютант Самсонов:

— Лидия Федоровна, не садитесь на стулья. У вас светлое платье, а наша прислуга, «для блеска», смазала стулья керосином...

Мою жену провели вглубь, на возвышение «сцены» и усадили в кресло. Она увидала в той же комнате жену нашего делопроизводителя по хозяйственной части, даму старшую ее годами, подошла к ней и поздоровалась. И сейчас же раздался среди бывших там дам шепот удивления: «Сама поздоровалась», «Первая подошла»... «Почему?»

Как водится всюду и везде, дамы боялись первыми приехать на бал, почему и являлись с большим опозданием. Они подходили к моей жене, здоровались с нею и сейчас же, как-то даже поспешно, отходили от нее. Они были так милы на визитах, моя жена входила в их семьи, ласкала их детей, на людях ее остерегались — боялись, что скажут, что они заискивают перед женою командира полка, ищут чего-то... Моя жена осталась в мужском

обществе. Милейший «дедушка Калитин», прекрасной души человек, умный, образованный уездный наш начальник Василий Васильевич Смирнов оставались при ней, подходили и «занимали» ее офицеры; молодежь, Анненков и Артифексов в промежутке между танцами окружали ее, дамы держались в стороне, таков был обычай.

Молодые дамы — много было красивых, интересных: наши, ермаковские, Волкова, Калмыкова, Асанова, жена доктора Белевича, 2-го полка Михайлова и Вологодская, стрелковая дама Керман, артиллерийская Сакулина — танцевали. Дамы постарше и с ними молодая и очень красивая Осипова уселись в глубине гостиной играть в лото.

Моя жена смотрела танцы. Керосиновые лампы лили мягкий и теплый свет на дамские лица, руки и плечи. Незанавешенные окна зияли высокими прямоугольниками, беленые стены, некрашеные полы, простые стулья по краям залы. В певучем, плавном вальсе кружатся пары. Чуть звякают в такт шпоры, длинные шлейфы взвиваются при повороте, мягко играют трубачи. Адъютант Самсонов в белых перчатках следит, чтобы дамы не сидели без кавалеров, разгоняет молодежь, подпирающую стены у входной двери.

— Не правда ли, Лидия Федоровна, — говорит Смирнов моей жене, — как наши дамы умеют хорошо одеваться...

Моя жена поднимает на него голову. Что он, шутит? Это ирония или он говорит серьезно? Восхищение на лице Смирнова. Он наслаждается всем, что он видит.

Дамы одеты... мило... Есть одна-две — Волкова в том числе, которые бывают в Петербурге и там пошили себе туалеты... Остальные?.. Где же им было сшить себе «бальное» платье? В Джаркенте никаких портних не было. А между тем желание принарядиться, блистать на гарнизонном балу, быть лучше других было. Кто побогаче и менее связан семьею, недели за четыре до бала ехал в тарантасе в Верный — три дня пути туда да столько же обратно, там останавливался у знакомых и у местной верненской портнихи по «Парижским модам» из «Нивы» прошлого года сшил себе платье, а большинство вооружалось иголкой, составлялись компании и дружно сами шили себе платья по тем же выкройкам «Нивы»... Это было трогательно, мило, на красивых и красиво, но было не совсем то, что привык видеть глаз моей жены на балах. Много было яркого, пестрого, вычурного, так не отвечавшего белым, некрашеным тополевым полам, темным окнам и беленным

известкой простенкам, к которым нельзя было прислониться без того, чтобы не запачкаться.

Генерал Калитин требовал, чтобы кавалеры были в перчатках, но кавалеры старались уклониться от этого: «ловчее без перчаток». Дамы построже говорили таким кавалерам:

— Наденьте перчатки, Иван Михайлович, сейчас же наденьте перчатки. У меня платье светлое, залапаете потными руками.

Памятуя, что стулья смазаны керосином, кавалер, прежде чем посадить даму, накидывал на стул свой чистый носовой платок.

Тихо мимо незанавешенных окон собрания шествовала темная холодная зимняя ночь. Таранчи толпились под окнами, глазели на непонятные им танцы.

Танцевали кадриль, вальс, польку, краковяк, падеспань, мазурку, венгерку и хиавату. Бал неизменно заканчивался котильоном. Кидали конфетти, пускали длинные цветные ленты серпантина, и долго потом собранская прислуга не могла выбить из щелей пола пестрые бумажки серпантина и мелкие кружки конфетти.

Часа в два ночи подавали ужин — с индейкой, дикой козой, фазанами, мороженым и винами ташкентского винодела Иванова.

За ужином сидели долго, было шумно, гамно и тесно. После ужина танцевали русскую, казачок и лезгинку, кто что умел.

Разъезжались — в колясках, тарантасах и просто в артельных телегах, а большинство расходилось пешком в седьмом часу, когда уже светало и ярко горели на солнце вдали ледники громадных гор.

На один из балов, под весну 1913 года, моя молодежь придумала и объявила, что от ермаковцев на балу будет сюрприз, а какой — никто не знает. Знали о том учебная команда, семьи Осиповых и Первушиных, я, моя жена, но мы никому не выдавали тайны.

Весь Джаркент был заинтригован. Дамы говорили:

— Эти головорезы верхом въедут в зал.

— Да что вы! Никогда Петр Петрович (Калитин) этого не позволит! Прямо с бала на гауптвахту!

— Пол провалится. Стены рухнут...

— Таким, как Анненков, Артифексов, Иванов, это все равно.

— Командир им во всем попустительствует.

Дамы допытывали Самсонова:

— Геннадий Петрович, душечка, скажите, что будет?

Но адъютант был нем, как рыба. Очень просто почему — он и сам ничего не знал.

Может быть, Лидия Федоровна будет петь...

— Лидия Федоровна будет петь, но только другой раз. Не на балу.

Бал начался и шел как и всякий другой бал. Уже начинали разочаровываться, думать, что все это было пущено нарочно, только для того, чтобы подразнить, и что ничего особенного не будет.

У дам в маленьких «карнэ» были расписаны все кадрили, вальсы и мазурки. Блистали Асанова, Сакулина, много танцевала молодая золотокудрая красавица Борисевич, жена нашего нового начальника штаба бригады, недавно приехавшего в Джаркент. Нервы были напряжены. Дамы невнимательно отвечали на вопросы кавалеров, следили, не уйдут ли ермаковцы. Но все они были на своих обычных местах. Самсонов танцевал, Анненков и Артифексов, по своему обыкновению, подпирали стены у дверей. Их командир сидел в глубине гостиной и ничем не выдавал волнения.

Уже подходило время к котильону и ужину. Вдруг грянул марш с фанфарами, двери, ведущие в прихожую, распахнулись на обе половинки, и в них появился маленький шестилетний Осипов. Хорошенький мальчик был одет строго по форме, в мундир с алыми погонами, с шифровкой полка, в шароварах с лампасами, в высоких сапожках, при шашке. Папаха лихо была сдвинута набекрень. Он вел под уздцы ослика. Что за прелесть был этот ослик! Выхолен, вычищен, расчесан, белая грудка как серебро, спина и бока точно прочерчены черными полосами, кисть хвоста разобрана и — дамы уверяли — надушена! За длинным ухом, как у таранчинских красавиц, торчит громадная бумажная хризантема. На ослике белая уздечка в серебре, ослик повьючен большими алыми шелковыми подушками, свисающими с его боков. Подушки сплошь утыканы самыми разнообразными орденами и цветами для котильона, присланными от Пето из Петербурга. Оба — и мальчик, и ослик — были как очаровательная живая игрушка!

Мальчик быстрым взглядом окинул гостей. Мать подала ему незаметный знак, и под звуки фанфарного марша мальчик решительными шагами направился к моей жене. В дверях прихожей толпились казаки учебной команды, смотрели, не подведет ли в этом блеске и шуме восторженных восклицаний осел?.. Нет! Не подвел.

Генерал Калитин остановил маленького казака.

— Ты что же? — сказал он. — Коня-то своего не боишься?

Надо было видеть, как поднял пушистые свои ресницы, как посмотрел голубыми глазами на Калитина маленький Осипов.

— Это, ваше превосходительство, — с тихим упреком сказал он, — не конь, а осел...

Сюрприз ермаковцев имел громадный успех...

Балы — они устраивались три-четыре раза в зиму — сменялись любительскими спектаклями. Здесь орудовала неугомонная, энергичная, талантливая и, что оригинально, шепелявящая — в этом была значительная доля комизма ее игры — жена делопроизводителя 2-го Сибирского казачьего полка мадам Аркашова. Ей помогала видная и очень интересная — она играла роли гранддам — жена нашего полкового врача Белевич.

Очень трудно было ставить спектакли. Не было рьяных любителей. Офицеры ленились, да и некогда было учить назубок роли. Сцена собранская была мала, тесно было и в зале. Спектаклями больше увлекалось второе поколение нашего гарнизона — офицерские дети.

На Рождество вместо елки горел огнями свечей раскидистый кедр, привезенный из Алатауских гор из казенного леса. На Новый год в соборной нашей церкви в полночь служили молебен, а после в собрании был общий ужин и танцы, что, впрочем, не отменяло визитов в парадной форме на следующий день. Ведь здесь и визиты были развлечение.

На Пасху — заутреня и общие разговены. В это время Джаркент был бело-розовый от мощного цвета фруктовых деревьев. По бульварам благоухала джигда, тополя были налиты душистыми почками, цвела белая акация. Все цвело здесь разом, одновременно, точно торопясь отцвести до наступления жары. Пригретые за день ледники к ночи посылали шумные воды в арыки, и арыки шумели, и пели соловьи, а на болотах под Усеком неистово заливались в своих концертах бесчисленные лягушки.

Все это — полковые смотры и церковные парады, балы и спектакли, праздники и другие наши развлечения — происходило в своем кругу, между своими. Мы варились в своем соку. Души же наши жаждали впечатлений извне, из другого мира, жаждали каких-то новых людей, нам незнакомых.

Но какие новые люди поедут в этот глухой угол Российской империи, куда нет дороги и откуда некуда податься?

И потому происшествия, на которые в ином месте никто особенного внимания не обратил бы, в Джаркенте, выходя из рамок повседневной жизни, становились событиями. О них потом дол-

го говорили. Они являлись до некоторой степени эрой нашего счисления времени. Это было до того-то или после этого. И таких «событий» на протяжении двух зим 1912 и 1913 годов было только три.

31. «События»

Зимою 1912 года в Джаркент приехал странствующий кинематограф. Он привез всего один фильм. Это было какое-то цирковое приключение, где акробатку, ходящую по канату, играла очень красивая артистка. Там была такая сцена — соперница акробатки пускает ядовитую змею на канат, и змея лежит на середине каната, когда по нему идет артистка.

Офицеры и их семьи не выходили из кинематографа, по несколько раз смотрели все один и тот же фильм. Все казаки, артиллеристы и стрелки были на представлении. Смотрели с жадностью, столь понятною в нашем положении. Это был мертвый мир, мир теней, но это был какой-то другой мир — не наш, это было не в Джаркенте, и в этом были прелесть и обаяние кинематографа.

Туземное население интересовалось не фильмом. Его оно, по-видимому, не понимало. Но кинематограф привез с собою динамомашину, и вывеска кинематографа освещалась электрическими лампочками. Туземцы никогда в жизни не видали электричества. По вечерам, задолго до начала спектакля, вся улица перед сараем, где давали представления, была черна от народа. Ждали, когда сами загорятся лампочки. Тогда раздавался восторженный гул и толпа стояла на улице как зачарованная до тех пор, пока по окончании представления лампочки сами гасли.

— Никто и не дунет на них, — говорили в толпе.

Фильм был, конечно, немой и сопровождался игрой на разбитом пианино, скрипке и флейте. Но все это — и пианино, и скрипка, и флейта вместе с мельканиями теней — были не наши и потому привлекали и нравились.

Второе событие было устроено нашим славным ермаковским полком. Мы выписали керосино-калильные фонари. Первые фонари в Джаркенте. Когда пришли они и нестроевая команда соорудила высокие мачты и поставила один у полковой канцелярии на главном перекрестке Джаркента, другой в пятистах шагах во дворе 1-й сотни и еще два за городом, где были казармы двух сотен, все туземное население стало собираться к ним

и смотреть, как оружейник спускает их на проволоке, как заправляет и как, поднятые наверх, они начинают лить яркий свет на землю. Тогда по освещенному пространству начиналось настоящее гулянье.

Наконец, третье событие, оставившее глубокий след в жизни полка, был приезд цирка.

Осенью 1912 года, когда полк вернулся с плавания на реке Или, старослужащие казаки ушли на льготу, молодые не прибыли еще, в полку было самое скучное и монотонное время, — в Джаркент приехал странствующий цирк и, как это часто бывает с такими цирками, с очень хорошими артистами.

Гимнасты этого цирка просили моего разрешения тренироваться по утрам на снарядах, недавно нами полученных из Риги в полковой учебной команде. Разрешение было дано. Цирковые артисты приходили ежедневно на двор команды и там проделывали свои упражнения. Великолепные гимнасты наши Анненков и Артифексов свели с ними знакомство, подружились, что облегчилось еще и тем, что лучший цирковый гимнаст оказался бывшим гимназистом Бакинской гимназии, которую окончил и Артифексов, стали брать у них уроки, за офицерами потянулись казаки — и наша команда стала проделывать цирковые номера.

Как только на рыночной площади было поставлено «шапито» и начались представления, весь гарнизон повалил в цирк. Артисток засыпали цветами и подношениями. Самая пламенная, чистая любовь загорелась в сердцах самых неприступных офицеров. Цирк пробыл около недели. Все представления прошли при полном сборе. Цирк не надоедал. Его принимали с детской жадностью. Артисткам аплодировали неистово. В эти дни «мошенники» хорошо расторговались, надо было одаривать небожительниц, явившихся из иного мира и в него уходящих.

Когда цирк походным порядком потянулся дальше, молодежь полка отпросилась проводить его и провожала верхом на сто с лишним верст до Зайцевского. Расставались как с самыми дорогими и милыми друзьями. Клялись свидеться снова и не свиделись. Где уже там! — через год началась Великая война, а там вся Россия завертелась в кровавом урагане революции, — и где оказался цирк, где почитатели его артистов и артисток, одному Господу Богу известно.

32. Джаркентское общество любителей спорта

При такой монотонной и скучной жизни нас весьма выручал спорт. Уже зимою 1912 года было учреждено Джаркентское общество любителей спорта, с уставом, с членскими взносами — кажется, 10 рублей в год. В Общество записались все офицеры Отдельной сибирской казачьей бригады, многие офицеры артиллерийского дивизиона во главе с полковником Михайловым, командиром дивизиона, и некоторые офицеры 21-го Туркестанского стрелкового полка.

Осенью 1912 года сотник Анненков получил от полка командировку «в Россию». Он должен был побывать на аукционах скаковых лошадей в Москве и Коломягах, у барышников в Воронеже и привести лошадей офицерам обоих казачьих полков. Он и привел несколько чистокровных лошадей и несколько полукровок.

Летом 1913 года, с благословения генерала Фольбаума, при верненских сотнях был устроен полковой конный завод. Войсковой старшина Первушин совершил путешествие в китайские пределы в горы Кунгей-Алатау и привел оттуда шесть прекрасных торгаутских маток. Эти горные лошади отличаются своею нарядностью, крепостью и силой. Они считаются лучшими из киргизских лошадей. Маток этих предполагалось покрыть жеребцами Верненского и Пржевальского пунктов. Осенью 1913 года в бригаду прибыл еще новый транспорт арабов и арабокабардинцев, приобретенных офицерами 2-го полка на заводе графа Строганова, на Кавказе, на станции Минеральные Воды.

Так началось появление на скаковых полях Семиречья кровных и полукровных лошадей. Многими встречено оно было скептически. Генерал Калитин, медицинские и ветеринарные врачи и кое-кто из офицеров продолжали стоять на том, что «чистокровная английская лошадь — да, слов нет, — отличная лошадь, но лошадь изнеженная, хрупкая, для наших мест непригодная. Как пойдет она по горам! Может быть, на скачках, на резвость, на малые дистанции — она и непобедима, но пустите ее на пятьдесят, на сто верст — и она выдохнется. Киргиз ее обгонит. Тут уже, извините, она спасует».

Считаясь с такими взглядами, джаркентское общество любителей спорта весьма продуманно составило программу своих состязаний, чтобы дать возможность всесторонне убедиться в качествах кровной лошади.

Состязания были весенние, в полковом манеже нашего, а потом 2-го Сибирского казачьего полка, построившего прекрасный манеж в центре города, и летние, в лагере на Тышкане.

Я начал с классического «Конкур-иппик», по образцу устраивавшихся Великим постом в Петербурге, в Михайловском манеже. Дело у нас было новое. Кровных лошадей почти что еще и не было, для киргизов препятствия нормального размера были пока недоступны. Пришлось понизить препятствия. Самое высокое было 1 аршин 4 вершка, остальные 1 аршин 2 вершка. Первый день было два заезда — один для офицеров и другой для казаков. Было шесть препятствий — плетень, каменная стенка, двойной плетень, бревенчатый забор и канава, прикрытая плетнем. После барьеров были состязания офицеров и казаков в рубке, уколах пиками и джигитовке.

Воскресный день был на редкость красивый. Тепло, но еще не жарко. Заросли кустов вдоль головного арыка были голые, но уже порозовели и погустели, ветки наливались весенними соками. За их кружевною линией совсем близкими казались Алатауские горы. Снеговая линия лежит низко, и горы сверкают на солнце. Над ними голубое безоблачное небо.

К нашей манежной беседке один за другим подкатывают экипажи. Моя жена приехала с уездным начальником и маленьким шестилетним Асановым, сыном полкового казначея, ее постоянным «кавалером» на всех праздниках. Она приехала на тройке серых полковых киргизов. Семен Васильевич Буров лихо подкатил на тройке гнедых в прекрасной коляске, лошади в сбруе с малиновыми махрами — его приезд возбудил в толпе зрителей возгласы восторга перед прекрасной запряжкой. Приехал в коляске на паре крупных «российских» артиллерийских лошадей полковник Михайлов, новый командир стрелкового полка полковник Селядцев, бай Юлдашев, беседка наполнялась дамами и почетными гостями. У беседки толпа офицеров. Смотрят выезды командиров, сравнивают одни с другими. Пальма первенства за 2-м полком. Мои офицеры нахмурились. Недовольны. Особенно Осипов. Он по своей грузности в состязаниях участия не принимает. Он весь в рассмотрении выездов.

Звенят бубенцы и колокольцы приезжающих и отъезжающих троек. Трубачи играют марши. В ложе, впереди, на стульях, дамский цветник. Нарядные манто, шубки, шляпы верненских шляпниц. Сзади сплошная толпа офицеров гарнизона.

Чуть колышутся флаги на беседке. Кругом всего манежа над стеною нависли таранчи и конные киргизы, приехавшие из пустыни смотреть конные забавы.

Все у нас как полагается. Звенит колокол. Судьи с важным и сосредоточенным видом расходятся по препятствиям. Музыка смолкает. Одиноко ударяет колокол, ворота растворяются, и первый всадник с номером на рукаве въезжает в манеж.

Лица моих офицеров сияют. Я сдержал обещание, моя система — да моя ли она?.. — оправдала себя. Все первые и вторые призы остались за ермаковцами. «Порядок бьет класс». Выездка, систематичная тренировка, напрыгивание лошадей, умелая посадка сделали свое дело. Уверенно и смело прыгали один за другим мои офицеры в полной и напряженной тишине манежа.

И потом, когда выскакивал на рубку или на уколы казак-ермаковец, любо-дорого было смотреть, как совершенно правильным галопом шла его лошадь, не мешая, но помогая казаку рубить, как после каждого взмаха шашки или удара пикой раздавалось восторженное «ах!» в толпе зрителей. Не прошла даром скучная зимняя подготовка.

Этот первый в Джаркенте «Конкур-иппик» прошел блестяще для полка, а для меня имел еще и совсем неожиданные, глубоко меня тронувшие последствия.

На другой день вечером, когда я занимался в канцелярии, войсковой старшина Осипов обратился ко мне:

— Господин полковник, у нас по смете остается свободных несколько сотен рублей, разрешите сейчас же выписать из Москвы от Волка хорошую троечную сбрую с алыми махрами и кистями и с набором колокольцев и бубенцов.

Я с удивлением посмотрел на него и сказал:

— Зачем, Ефим Никитич? У нас совсем не плохая упряжь. Вы сами знаете, я почти никогда не езжу в экипаже, а жена моя вполне довольна тем, что мы имеем. Нам еще так многое нужно завести для полка, что мы не можем позволить себе эту роскошь.

Ефим Никитич немного замялся и потом решительно и убедительно сказал:

— Вчера на наших скачках не только нашим офицерам, но и казакам было чрезвычайно обидно, что жена их командира подъехала на тройке, которая оказалась не лучшей в Джаркенте.

«А, — подумал я, — так это, значит, задето полковое самолюбие. Что же, это то, что надо лелеять и беречь и на что можно пожертвовать несколькими десятками рублей».

В это время из соседней комнаты пришли на поддержку Осипову Первушин и адъютант, и они втроем так насели на меня, что я принужден был сдаться.

В большом секрете от 2-го полка и вообще от всех была выписана какая-то особенная сбруя, с какими-то особенными колокольцами, и, когда летом к нашему скаковому павильону подъезжала на тройке вороных или серых моя жена со своим неизменным кавалером — маленьким Асановым, я видел полное удовлетворение у казаков и офицеров полка: «Забили 2-й полк!» Прокофьев подкатывал с такою лихостью, что у меня сердце замирало, вот-вот вывалит и мальчика, и мою жену.

33. «Конкур-иппик»

По мере улучшения конского состава полков и лучшей подготовки всадников и лошадей скаковой комитет разнообразил состязания. В 1913 году мы уже ставили нормальные препятствия в полтора аршина и аршин три четверти. Некоторые наши киргизские кони были так напрыганы, что прыгали и эти препятствия. Комитет объявил состязание на 14 препятствий, никогда не виданных, и без предварительной подготовки. Это были весьма оригинальные препятствия. Между ними был накрытый стол, на котором стояла посуда и бутылки и за которым сидели офицеры. Для прыжка был оставлен только пролет в полтора аршина. Это было новостью только в Джаркенте — в Поставах давно прыгали через такой стол... и во Франции, в Сомюре... Было еще препятствие — шесть буковых стульев, поставленных рядом, прыгать надо было со стороны сиденьев, потом садовая скамейка, телега с хворостом, поваленное дерево, снопы соломы, тюки с сеном... и — два живых ослика, поставленных между оглобель, задами вместе, головами в стороны. Их держали за поводки казаки.

Джаркентские дамы возмущались:

— Какое безобразие, покалечат бедных осликов! Эти ермаковцы! Чисто шалые! Был бы тут Петр Петрович, никогда не разрешил бы такого тиранства!

Но с особенным жадным, женским любопытством смотрели, как шли на живое препятствие лошади. Шли прекрасно, издали прицеливались ушами, нюхали воздух ноздрями и прыгали так деликатно, что ни одна не свалила белую рейку, положенную на спины ослам. Ослы же волновались только тогда, когда шла первая

лошадь, но это шел знаменитый Султан, улучшенный киргиз от киргизской матки и новоалександровского почти чистокровного жеребца, он шел под своим владельцем, сотником Анненковым, лучшим наездником в полку.

Во всех этих состязаниях я принимал участие вне конкурса. Мои лошади и по кровям, и по выездке были много выше лошадей офицеров, состязаться им со мною было нельзя. Я же шел на состязания, чтобы показать критикам, что все, что предлагается, не так уже и страшно.

Очень скоро на наших состязаниях наметилась компания фаворитов. Впереди всех стоял в нашем полку сотник Анненков со своим Султаном, потом войсковой старшина Первушин с англоарабским жеребцом, хорунжий Артифексов с Вахмистром, полукровным конем, хорунжий Иванов с серым киргизом, очень сильным и прекрасно напрыганным, во 2-м полку сотник Грибановский и хорунжие Михайлов и Вологодский, в артиллерии поручик Сакулин... Они и делили по преимуществу между собою все первые и вторые призы.

Наши конкуры увлекали Джаркентский уезд. В дни состязаний город принимал праздничный вид. Тысячные толпы таранчей и киргизов, все конные, устремлялись к месту состязаний. По городу раздавалась музыка, и весь город бывал в эти дни на площади, где происходили состязания.

Особенно красивы были они в манеже 2-го полка, построенном больше и богаче нашего, в центре города, на площади, окруженной садами.

Цирк оставил следы и на наших состязаниях. На состязании 1913 года, под звуки рыси, гуськом, на точной дистанции трех шагов, на арену манежа вбежало на свободе 16 лошадей нашей полковой учебной команды — четыре гнедых, четыре рыжих, четыре чисто вороных и четыре серых. Они были вычищены и выхолены, как картина. Красные уздечки с поводьями, подтянутыми к красным трокам, над ушами перья орлов — все было сделано как... в цирке. На арене были только сотник Анненков со своим вахмистром. Они слегка помогали лошадям исполнять урок. Музыка играла рысь, и под нее, строго соблюдая темп, лошади на свободе бегали по манежу, одновременно делали вольты, поворачивались, как бы вальсируя, ходили навстречу друг другу, строились рядами и по четыре. Потом трубачи заиграли галоп, и лошади перешли на галоп. В конце же построили шеренгу, стали на дыбы и пошли на Анненкова, потом сели как собаки на задние ноги и наконец лег-

ли. К ним вбежали казаки-владельцы и сели на них. Это все было для Джаркента и его публики, особенно для туземцев, так ново, лошади показались такими красавицами, что гул восторга и восхищения стоял все время показа — как в ложе, так и кругом в туземной толпе.

Когда я выходил из манежа, то слышал, как одна из наших дам — сибирячка — говорила с восторгом:

— Я никогда не думала, что наши лошади могут быть такими красавицами и умницами. Что это за прелесть была! Я еще более полюбила наших казачьих коней!

На конкуре офицеры показывали — и в гимнастических костюмах — ловкость и силу на гимнастике. Хорунжий Артифексов и казаки учебной команды прыгали через шесть, а потом через восемь лошадей. Артифексов делал при этом сальто-мортале.

С такими офицерами и казаками, какие были в полку, можно было позволить себе и цирковые номера.

34. Скачки и пробеги

Летом на Тышкане были скачки.

Мы установили традицию: в день открытия скачек на высшей точке хребта Терскей-Алатау на высоте 4679 метров должен быть поднят ермаковцами русский флаг. В экспедицию за два дня до скачек отправлялись знаток этих гор сотник Анненков и с ним хорунжий Иванов и все офицеры, вышедшие осенью в полк, — это было их горное крещение. С ними шли казаки учебной команды, несли высокую мачту, громадный флаг, канаты, кирки и лопаты. На горе был положен железный ящик, в него все участники экспедиции должны были бросить свои карточки с именами. Ночевали в горах и точно по часам должны были к началу скачек приготовить все к подъему флага.

На Тышканском скаковом поле к шести часам вечера полно народу. У раскрытой собранской беседки стоят дамы, офицеры, все бинокли подняты кверху, все смотрят на вершину. Черная и суровая, она возвышается над белыми ледниками и кажется недоступной. Людей на ней и в бинокль не видно. Трубачи держат трубы наготове.

Шесть часов вечера... Еще минута-две — и вдруг радостный гул несется в толпе. Над темной вершиной, чуть колеблясь, развертывается русский флаг. Он кажется таким маленьким, как носовой

платок, а в нем четыре сажени длины. Вот он развернулся совсем и начал реять на ветру. Какая там должна быть буря!

Трубачи грянули гимн. Офицеры держат руки «подвысь». Толпа туземцев замерла. Громкое «ура» несется к горам. Слышно ли оно там? Участники говорили, что им все у нас было сверху видно и что слышали и гимн, и наше «ура»...

Скачки были сначала гладкие — на версту для казаков и на две версты для офицеров, потом барьерные на две версты и наконец стипль-чезы на три и четыре версты, причем последний был с препятствиями казенной, так называемой министерской скачки.

Кроме скачек были самые разнообразные состязания: в рубке, уколах пиками, стрельбе, джигитовке, разведке, решении простых тактических задач в поле, наконец, были состязания песельников...

Вот тут на рубке и рубили мы арбуз и баранью тушу в шерсти. Очень хотелось казакам рубить живого барана, как это делают туркмены, но я не разрешил этого.

Не только взрослое население Тышкана, но и дети были захвачены скачками.

Те самые ослики, которые служили живым препятствием на весенних состязаниях, были подарены обществом семейным офицерам, кое-кто и сам купил своим детям ослов, и летом была скачка для детей на ослах на дистанцию триста шагов. 1-й приз — столовая серебряная ложка, 2-й приз — чайная ложка, 3-й приз — коробка конфет.

Выходит как-то утром моя жена на прогулку и видит, что перед хатой соседа, командира 5-й сотни есаула Баженова, на площадке дети шумят, бегают. Они привязали к уздечке осла веревку и заставляют его бегать по кругу.

— Что это вы тут делаете? — спросила моя жена карапуза шести лет.

— А это мы осла тленилуем, — последовал точный ответ.

Детский заезд на ослах был назначен в промежутке между скачками, когда заводили участников на противоположный конец круга к старту. Я поручил адъютанту пустить детей.

Но... Что-то там неладное выходит. Мамаши волнуются у финиша, ожидая своих сыновей. На старте же крики и споры, адъютант машет рукой и бежит ко мне.

— Что случилось, Геннадий Петрович?

— Чистая беда с ними, — говорит запыхавшийся адъютант. — Наездники не желают скакать, требуют, чтобы их пускал, как то полагается на скачках, командир полка.

А старшему наезднику всего восемь лет!

Пришлось командиру садиться в коляску и скакать с синим флагом к старту ослиной скачки.

Наконец ослы выровнены.

— Пошел!

Взмахнул синий флаг. Три осла, надо полагать те, которых «тлениловали», поскакали ослиным галопцем, остальные предпочли бежать, несмотря на отчаянные понукания седоков, рысью.

К финишу подошли, сильно растянувшись. «Командирша» раздавала призы. Маленькие наездники целовали ей руку, счастливые мамаши сияли — все было честь-честью. Для многих этот номер оказался самым интересным, памятным и важным.

В деятельности Джаркентского общества любителей спорта при мне наиболее серьезными состязаниями были: трехверстный стипль-чез в Пржевальске осенью 1912 года и 136-верстный пробег со скачкою на версту в Кульдже весною 1913 года.

Скачки в Пржевальске были приурочены к конской там выставке. Душою выставки и организаторами скачек была чета Пяновских.

Не совсем обыкновенная, даже и по туркестанскому масштабу, была эта пара.

Пяновский служил офицером в стрелковом полку, расположенном в Ташкенте. Он был наездник Божьею милостью, постоянно скакал в Ташкенте и был тонким знатоком лошади. В ту пору начальником артиллерии Туркестанского военного округа был генерал Петраков. Старые артиллеристы его хорошо помнят — он был раньше командиром батареи Михайловского артиллерийского училища. Знаток лошади и отличный наездник, он составил единственное в своем роде руководство езды и выездки верховой и артиллерийской упряжной лошади. У генерала Петракова была красавица дочь, такая же наездница и любительница лошадей, как и ее отец. И так было естественно, что в Ташкенте она увлеклась стройным и красивым штабс-капитаном, непобедимым на скачках. Молодые люди сговорились. Пяновский устроился начальником Пржевальского случного пункта. Ночью он с дочерью Петракова явился на конюшню генерала, отобрал двух лучших жеребцов, и они верхом ускакали в Пржевальск.

Петраков потом с досадою говорил:

— Что он дочь у меня украл — Бог ему судья, но что он украл лучших моих жеребцов — этого я ему никогда не прощу.

По приглашению Пяновского 1-й и 2-й полки прислали в Пржевальск своих джигитов, рубак, фланкировщиков пиками и наездников.

Я приехал в Пржевальск верхом с женою и офицерами — войсковым старшиною Первушиным, сотниками Самсоновым, Анненковым и хорунжими Артифексовым и Ивановым, с учебной командой и сотенными призовиками.

Я и моя жена были гостями у Пяновских. Трогательно было смотреть, как молодая Пяновская с раннего утра и до поздней ночи возилась с годовичками и двухлетками, приводимыми на выставку, делала им туалет, чистила и прибирала их, подстригала им гривки, челки и хвосты, убирала их цветными лентами. Она проделала это не только с казенными жеребятами конюшни ее мужа, но и с теми, которых привели из гор киргизы.

На выставке ее заботами все лошади были представлены так, как в Петербурге или в Москве.

За городом, на высоте почти 3000 метров, на большом зеленом лугу обширного плоскогорья был устроен ипподром, окруженный забором, и длинные, на несколько сот зрителей, трибуны.

Несказанной красоты был вид с этих трибун. По ту сторону забора высились снеговые отроги Небесных гор — Тянь-Шаня. Основание их было покрыто густым хвойным лесом. Темную зелень кедров и елей сменяла светлая и пестрая горных лугов, над ними высились черно-голубые скалы, и еще выше сверкала, блистала, слепила глаза серебряная зубчатая полоса снегов.

По другую сторону, под самым ипподромом, широко раскинулся березовыми садами и зарослями кустов, красными крышами домов Пржевальск, а за ним море голубой воды в раме лилово-розовых гор — озеро Иссык-Куль. Красивее знаменитого вида на Женевское озеро с «Коль де Форсий», мощнее, грознее, величественнее и лучше Люцернского озера в Альпах.

Состязаний было много. Были скачки для киргизов — на резвость на одну версту и на тягучесть — на пятьдесят верст, были заезды для двухлеток и для трехлеток, были для кровных киргизов и для киргизов улучшенных. Гвоздем дня, конечно, был наш стипль-чез с восемью препятствиями, в числе которых настоящий трибунен шпрунг, валы с канавами и канавы. Так как нас, могущих пройти этот стипль-чез, было очень мало, я решил скакать на нем на своей Гризетке, и, конечно, вне конкурса.

Когда это было решено и мое имя появилось на афишах, Анненков стал мрачнее ночи. До сих пор он еще никем не был по-

бежден в Семиречье на скачках. Теперь он видел, что его Султану никогда не обогнать Гризетки — разный был класс и одинаково прекрасный порядок.

— Борис Владимирович, — сказал я ему, — не беспокойтесь, я не дам никому посрамить вашего Султана.

— Но?... Господин полковник, а ваша Гризетка?

— Она придет голова в голову с вашим Султаном, и мы, строго равняясь, подскачем к финишу. У скаковых трибун я пожму вам руку.

Мы так и сделали к великому восторгу Анненкова и еще большему — госпожи Пяновской.

Мне это ровно ничего не стоило — свою Гризетку я знал и знал, что здесь пока никто не мог с нею состязаться. Первыми пришли голова в голову Гризетка и Султан, потом с большим просветом англоараб Первушина, за ним Вахмистр Артифексова, далее ивановский киргиз и потом остальные.

Это был мой последний в жизни стипль-чез. Потом пошли другие скачки, приведшие меня к печальному финишу в чужих краях.

Из Пржевальска мы возвращались дружною семьею. Пяновские провожали нас на пятьдесят верст до спуска в долину Каркары. Очень красива была наша кавалькада с двумя амазонками на кровных лошадях среди зеленых плоскогорий, на фоне снеговых гор и причудливых утесов.

Моя жена и я унесли незабываемое воспоминание от этого пробега по пустыням и неприступным горам Тянь-Шаня на протяжении в оба конца на 700 верст, с ночлегами в палатке среди немой тишины пустыни, с подъемами на крутые перевалы и спусками в закрытые долины. Подле одного такого перевала мы нашли две груды камней, насыпанных пирамидами. Одна громадная, много выше человеческого роста, другая совсем малая. Предание говорит, что эти пирамиды насыпаны солдатами армии Тамерлана. Первая — тогда, когда он шел в Европу, вторая — на обратном пути. Каждый воин клал по камню, так много было воинов при походе туда и так мало осталось, когда Тамерлан возвращался в Азию.

134-верстный пробег был намечен из Джаркента в Кульджу, в китайские пределы. Через нашего консула г. Бродовича было получено на то разрешение соответствующих китайских властей. Пробег надо было сделать в 10 часов. В 8 часов утра на окраине

Джаркента был старт. К шести часам вечера участники должны были прибыть на окраину Кульджи, где была разбита «прямая» на версту. В 6 $^1/_2$ часов вечера все прибывшие в норму принимали участие в скачке на резвость на одну версту. Эта скачка определяла первенство. Все пришедшие в Кульджу в норму получали серебряные жетоны с надписью, первый пришедший на скачке получал 400 руб. деньгами и золотой жетон с бриллиантами и рубинами от консула. Получали еще призы вторая, третья и четвертая лошади.

На пути в Хоргос и Суйдун были устроены контрольные пункты, там были фельдшера и все необходимое на случай болезни седока или лошади.

В Кульджу были посланы оба хора трубачей полков бригады, туда съехались почти все офицеры и дамы гарнизона Джаркента. Всем самое широкое гостеприимство оказали Бродовичи.

К шести часам вечера, кажется, вся Кульджа собралась на окраине Джаркента у временного скакового поля. Трубачи играли в ожидании всадников, которые начали прибывать с пяти часов вечера. Очень волновались китайцы, они ставили пари, расспрашивали офицеров о шансах той или другой лошади.

Пробег в норму прошли все — и кровные, и киргизы. Разница была лишь в том, что офицеры, ехавшие на кровных лошадях, меньше устали, чем ехавшие на киргизах, которых пришлось с половины пробега посылать.

На скачках лошади разместились строго по коэффициенту чистой крови, находившейся в них. Первою пришла чистокровная — и как легко! — под офицером 2-го Сибирского казачьего полка, второю — почти чистокровная и тоже под офицером 2-го полка, третьим — анненковский Султан — это было первое его поражение, очень огорчившее Бориса Владимировича и заставившее его тем же летом привести себе чистокровную лошадь, четвертым — Иванов на своем сером киргизе...

После скачек дамы и офицеры были на парадном обеде у консула. На этом обеде были и китайские власти. Ласково выговаривал мне суйдунский фудутун:

— Твоя говорил моя, будет несколько офицеров — только скачка. Твоя привел трубачи, сколько казаков!.. Целый полк!.. Что скажет Пекин?.. Ай-ай, что скажет Пекин?!

Как мог я успокаивал фудутуна, налегая главным образом на сладкую смирновскую вишневку как на лучший аргумент, когда и сам сознаешь свою вину.

После обеда и до утра танцевали те самые офицеры, которые сделали пробег и потом скакали — так были у всех празднично и радостно приподняты нервы, так были прелестны наши дамы, что усталости как бы вовсе не было.

35. Свой дом. Приемы

В середине ноября 1911 года, то есть на пятый месяц после того, как были посланы наши вещи из Петербурга, возвращаясь с занятий, я увидел на проспекте против нашего дома арбы, запряженные лошадьми и волами, и таранчей, носивших тяжелые ящики в дом.

Скучное, почти одиночное заключение моей жены в пустом доме окончилось. Она могла наконец заняться тем, что так любила, что составляло профессию ее, — музыкой и пением, могла устраивать свой home, свое гнездо.

Трудное это было дело. Не легко и не просто было на покатых книзу стенах повесить оконные и дверные портьеры, развесить картины с нужным, а не обратным наклоном. Ефим Никитич Осипов прислал двух прекрасных мастеров из нестроевой команды, и с их помощью, благодаря необычайной изобретательности казаков, все трудности были преодолены.

Конечно, далеко это вышло не то, о чем мы мечтали в Петербурге, не так, как мы видали у Кунста и Альбертса во Владивостоке и у посланника г. Лессара в Пекине, но все-таки ермаковцы, и не без основания, стали гордиться квартирой своего командира полка.

Белые щелявые полы затянули сероватым сукном в тон мебели, ковры, купленные у «мошенников», теперь не так резали глаза, в простенке между окнами стали часы — подарок л.-гв. Атаманского полка с бронзовым изображением нашего штандартного вахмистра Нехаева, часы эти играли атаманский марш. Напротив стало пианино и подле — высокая этажерка с нотами. Шуберт и Шуман, Григ и Сен-Санс, Чайковский, Глинка, Бородин, Даргомыжский, Цезарь Кюи, Гречанинов, Рубинштейн, Варламов, Гурилев, словом — все кумиры моей жены стали в чинном порядке, совсем так, как стояли они в Петербурге. Жена моя могла начать свои занятия.

Тут узнала она, что жена командира 2-й батареи подполковника Никольского, Ольга Николаевна, рожденная Лопухина, — прекрасная пианистка, а сам Никольский играет на скрипке, между

моею женою и Ольгой Николаевной вскоре завязалась дружба, музыка сблизила их на далекой окраине. Теперь я спокойнее мог оставлять одну жену, зная, что ей уже не так скучно.

Генерал Калитин, уезжая в Петербург, передал нам, «чтобы не баловался и не забыл своего искусства» своего повара, казака 2-го полка, обучавшегося поварскому делу в Верном, и мы могли начать свои «приемы».

Наша столовая была невелика. Мы не могли принять одновременно больше восьми человек. Жена моя стала устраивать по воскресеньям обеды — один раз для старших, женатых, другой раз для молодежи, потом для младших женатых.

С молодежью было веселее, непринужденнее, мы как-то быстро сошлись, спорт связал нас, разговоры про службу, про лошадей нравились офицерам, и мы проводили эти дни весело и хорошо.

С дамами было труднее, нужно было их хорошо узнать, понимать их обычаи, в разговоре они были очень сдержанны, мужья ли их стесняли, но они почти ничего не ели и не пили за столом. Это обижало мою жену. Потом уже, много позднее, прелестная Осипова, мать большой семьи, примерная матрона, прекрасная хозяйка, красавица с глубокими темно-голубыми глазами, с светлыми, цвета спелой ржи волосами, призналась моей жене, что «в гостях дамам не принято есть», что «оне приходят, покушавши дома, чтобы ничем не соблазняться в гостях».

Но приемы наши вызвали желание нам отвечать, и это беспокоило меня. Если Осиповы и Волковы были с некоторыми средствами и их это не стеснило бы, то остальные были бедны. Им было не до приемов. Надо было как-то это расстроить. Нужно было с кем-то посоветоваться, как это сделать. Советоваться с Осиповым или Первушиным было бесполезно, они уже звали нас.

Я обратился к адъютанту. К этому времени Геннадий Петрович был моим другом и вполне откровенно говорил все то, что адъютант должен говорить командиру полка.

Самсонов взъерошил свои густые, красивые, вьющиеся от природы темные волосы, покраснел и сказал:

— Деликатное это дело, господин полковник. Ваш предшественник и его жена очень любили эти приемы. У офицеров установилось своего рода соревнование, кто лучше примет и угостит командира. Ну... и...

— Дальше.

— Принимали, конечно, не одного командира, были и другие гости... Многим это было не по карману... Отсюда — долги...

— Так лучше отказать?

— Обидятся... Конечно — обидятся... Особенно Осиповы... Они такие хлебосолы... Но... Ведь вы всем откажете?.. Я думаю — поймут... И — оценят...

Сославшись на недосуг — и правда, нелегко нам было бывать на постоянных званых обедах, — мы отказались. Обида была... Но поняли, простили... Простили — и оценили.

У Осиповых все-таки, хотя и очень редко, нам пришлось обедать, но не торжественно, а интимно, без других приглашенных. Слишком тесно спаяла нас служба с ее непрерывными заботами, и очень нам полюбилась вся их крепкая сильная семья, полная простого благородства. Раза два были мы у Первушиных на дневном чае. Первушин был женат на польке — похоже, что дочери ссыльного. Семья их была культурная, образованная, но замкнутая в самой себе. Много было у Первушиных книг, о многом можно было с ними говорить.

Существует ходячее мнение, что офицеры, да еще армейские, да притом в такой глуши, и казаки!! — люди грубые, невоспитанные, необразованные, полуграмотные.

Ефим Никитич Осипов окончил Оренбургское казачье училище. Его жена вряд ли была в гимназии, вернее всего кончила четырехклассное городское училище. Но сколько природного ума, такта было в этой крепкой семье, как воспитывали и чисто держали они своих детей. Постоянные кочевки из Семипалатинска в Джаркент и обратно развили их ум и наблюдательность, сделали их практически находчивыми и умеющими применяться к жизненной обстановке. Осипова никогда в жизни не видала железной дороги. Она вся была в семье, в хозяйстве, в детях, но как тонко и умно она умела поддерживать разговор, без сплетен и пересудов.

Ефим Никитич был отличным хозяином, практичным, рассудительным, находчивым, ловким, он на лету ловил все хозяйственные преобразования в полку.

Устраивал я с ним наш Тышканский лагерь.

— Хотелось бы, господин полковник, чтобы было как в Красном Селе, — говорит мне Осипов. — Знаете — передняя линейка, грибы для дневальных и все прочее... Вы мне нарисуйте, а мы сообразим, как сделать.

И сообразили...

В лагере негде казакам было мыться. Бани не было, река Тышканка и мелка, и камениста, и, главное, как текущая из близкого ледника имела слишком холодную воду. И вот Осипов надумал от-

вести воду Тышканки в особый деревянный бассейн, где вода нагревалась бы солнечными лучами, оттуда поступала бы, уже нагретая, в другой бассейн с дырочками и проливалась бы душем вниз. Так устроился у нас прекрасный душ-купальня для полка.

Осипов постоянно что-то строил, придумывал, изобретал для улучшения быта полка.

Первушин в молодые годы исходил все Алатауские горы, бывал на Тянь-Шане, ходил на Памир, где раньше был пост нашего полка, теперь Памир занимал пост 2-го полка. Он ходил на тигров в камыши у озера Балхаш. Как-то провел он довольно долгое время на охотах с англичанами и научился говорить по-английски. Он недурно объяснялся по-китайски и по-киргизски. Он много читал, путешествовал, охотился, был знаком со всеми охотниками приилийского края, как русскими, так и туземцами — и все это без всякой позы, без снобизма, просто так, что это так и быть должно. Он пользовался большим авторитетом среди офицеров и казаков полка.

Судьба некоторых офицеров 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка в военное и смутное время оказалась столь замечательна и интересна, что о них необходимо особо поговорить, ибо вошли они в историю.

36. Вячеслав Иванович Волков

4-ю сотню при мне принял подъесаул Вячеслав Иванович Волков. Он окончил кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Он был женат на уральской казачке из старого рода Толстовых. У него была единственная дочь — Маруся. Застал я ее восьмилетней девочкой, с густою темною косою и громадными пытливыми глазами. Кто мог тогда думать, что в кабинете командира 4-й сотни, на тахте, в углу, наблюдая за нашим спором, лежит будущая незаурядная русская поэтесса, певец казачьей доблести, скорби и неизбывного горя?

Вячеслав Иванович был «рыцарь без страха и упрека» — образцовый командир сотни, всегда выдающийся, но для меня, особенно первое время, пока мы друг друга не поняли, — командир трудный.

Горячий, пламенный патриот Сибирского войска, самолюбивый и нервный, пылкий, не всегда сдержанный, — думаю, что он и был во главе оппозиции, ставшей против меня, как чужого войску, как донского казака.

С его сотни начинал я ломку, потому что знал, что если Волков примет новшество, то и доведет его до конца, до настоящей шлифовки. Да так оно и было. Из прекрасных сотен полка 4-я была лучшей, и побивала ее только 1-я, когда ею временно командовал сотник Анненков.

У Вячеслава Ивановича были свои симпатии и антипатии. Сибиряков он любил, «чужим» не доверял, Анненкова ненавидел — и не только как серьезного соперника, но и по моральным причинам. Анненков требовал тяжелой руки и, когда остался без управления, — свихнулся.

Волков нигде и никогда не погрешил против совести и присяги.

Со мною ему было тяжело, временами и мне было нелегко с ним. Он видел, что я веду полк по верному пути, но признать это долгое время не хотел. Когда у меня что-нибудь срывалось — не все же шло у меня гладко, — Волков указывал мне это с некоторым даже злорадством.

И в то же время я был уверен в Волкове. Если мне нужно было — тогда на маневре — дать ответственную задачу, я давал ее Вячеславу Ивановичу и знал, что выполнит он ее блестяще. Дал бы ему такую задачу и на войне, как дал ее узнавший Волкова мой преемник полковник Раддац.

Волков был первым георгиевским кавалером в полку, и за какое блестящее дело — за конную атаку под Ардаганом!

В 1917 году Волков получил в командование 7-й Сибирский казачий полк и с Кавказского фронта попал на Германский. Там и застала Волкова революция. Все Сибирские полки были отправлены на Родину. 7-й полк в Кокчетаве был расформирован. Волков переехал в Петропавловск. Тут началась его конспиративная работа по организации правительства на смену омскому, составленному из социалистов, ведших Сибирский край под ярмо большевиков. Здесь Волков подобрал себе сотрудников, таких же пламенных патриотов Сибири, каким был он сам, и надежнейших офицеров — Апол.В.Катанаева и высокого, тощего, русобородого Ивана Красильникова, бывшего при мне хорунжим в полку и прозванного за свой большой рост «Полтора Ивана».

Волков получил должность начальника гарнизона города Омска. 18 ноября 1918 года, видя полную неспособность переехавшей в Омск Директории бороться против большевиков, Волков со своими сподвижниками арестовал социалистов, членов этой Директории и передал всю власть адмиралу Колчаку.

Очевидцы этого переворота писали тогда: «...чудный, памятный день переворота в Петропавловске остался навсегда в душе. Как много надежд воскресло тогда, как много стало уверенности в том, что Россия выходит на путь избавления!»

Виновники переворота Волков, Катанаев и Красильников были арестованы и преданы военно-полевому суду. Из суда мятежных офицеров суд обратился в суд над Директорией. Подсудимые стали национальными героями. Накануне суда Волков имел свидание с адмиралом Колчаком. Он умолял адмирала, чтобы тот приказал судьям строго осудить его и расстрелять как инициатора переворота. Этим Верховный правитель и его сотрудники показали бы, что они твердо стоят на страже закона и никому не позволят никакого самоуправства. Таким актом расстрела Волкова адмирал Колчак заставил бы замолчать всех своих врагов.

Волков был так уверен, что адмирал Колчак согласился с его доводами, что подготовил свою жену и дочь к мысли о неизбежности ужасного конца.

На скамье подсудимых он был спокоен.

Суд оправдал Волкова. Оставаться в Омске Волкову было невозможно. Адмирал Колчак послал его на Дальний Восток с особым поручением. Атаман Семенов, не признававший адмирала Колчака Верховным правителем, не пропустил Волкова на свою автономную «семеновскую» территорию. Волков принужден был задержаться в Иркутске и был назначен командующим войсками Иркутского военного округа. Тыловая должность не удовлетворила Вячеслава Ивановича. С разрешения Колчака Волков сформировал Сводный казачий корпус и с ним выступил на помощь Колчаку. С казаками прошел Волков за Урал и с ними же принужден был пережить весь ужас отступления зимою через всю Сибирь. Измена была кругом. Измена чехов, которым так верили и на кого так надеялись, измена союзников... Наступила страшная зима 1919/20 года. Шел ни с чем не сравнимый по ужасам зимний поход по пустыням Сибири, через таежную глушь. За Иркутском у станции Китай 11 февраля 1920 года в глухом и страшном лесу остатки корпуса Волкова были окружены большевиками. Оставалось одно — сдаться.

Глухо раздавшийся в таежной глуши одиночный револьверный выстрел окончил жизнь сибирского героя.

Нежный памятник трогательной дочерней любви поставлен ему той маленькой Марусей, которая выросла в Джаркенте

в 1-м Сибирском Ермака Тимофеева полку. Она помянула его в своих прекрасных стихах:

...Твой образ всегда предо мной, как живой,
Безумно любимый отец.
За что тебе послан жестокой судьбой
Такой беспощадный конец?

Ты Родину свято и верно любил
И жертв для нея не считал,
Ты верой в ее возрождение жил,
Но гибель ее увидал...

Был стоек и храбр в неустанной борьбе
В тяжелые злые года,
Но, жизнью играя, ты лавров себе
Не ждал, не искал никогда.

Заветы казачьи ты крепко хранил,
В бою был всегда впереди
И дерзкой отвагой с лихвой заслужил
Свой беленький крест на груди*.

Мария Волкова воспела героический поход казаков с адмиралом Колчаком. Она была его участницей. Она в нем потеряла своего первенца — дочь. Она пережила со своим мужем, офицером 7-го Сибирского полка Эйхельбергером, все ужасы Ледяного похода через сибирскую тайгу. О своих соратниках так сказала она:

Люди с душою открытою,
Траурным флером повитою,
В жертву себя принесли вы —
Отчизне.

Бились с судьбой непреклонною —
Вечной тоске обреченные —
И пали, уйдя красиво
Из жизни...**

---

* «Казаку отцу». — *Мария Волкова.* Песни Родине. Харбин, 1936.

** «Павшим рыцарям белой Сибири». — *Мария Волкова.* Песни Родине.

Теперь в далекой и чужой ей Литве у Марии Вячеславовны растут сын и дочь. У Вячеслава Ивановича — внук. Как пригодилась бы этому внуку ермаковская сабля его деда, над которой Вячеслав Иванович, охотно носивший ее, любил иногда посмеяться! Когда молод, разве знаешь, что будет впереди? Когда дочери восемь лет — не подумаешь, что не так далеко время, когда станешь дедушкой и внукам понадобится память о своем светлом герое деде.

...Дедовское оружие...

37. Борис Владимирович Анненков

Вячеслав Иванович Волков иногда упрекал меня в том, что Анненков мой любимец.

Было это так или нет?

И да... И нет...

Я не мог не благоволить к Борису Владимировичу Анненкову потому, что это был во всех отношениях выдающийся офицер. Человек, богато одаренный Богом, смелый, решительный, умный, выносливый, всегда бодрый. Сам отличный наездник, спортсмен, великолепный стрелок, гимнаст, фехтовальщик и рубака — он умел свои знания полностью передать и своим подчиненным-казакам, умел увлечь их за собою.

Когда сотник Анненков временно, до прибытия со льготы из войска есаула Рожнева, командовал 1-й сотней — сотня эта была и первой в полку. Когда потом он принял полковую учебную команду, команда эта стала на недосягаемую высоту. Чтобы быть ближе к казакам, Анненков жил в казарме команды, отгородившись от казаков полотном. Он шел далеко впереди моих требований, угадывал их с налета, развивал мои мысли и доводил их до желаемого мною завершения.

На дворе 1-й сотни он настроил самые разнообразные препятствия, и я часто приезжал к нему, чтобы на них проверить своих Ванду и Гризетку. Он часто садился под поваленное дерево, имея на руках своего фокса, и казаки сотни прыгали на лошадях через своего сотенного командира. Не было ничего рискованного, на что он не вызвался бы.

Чистота одежды, опрятность казаков, их воспитание и развитие — все это было доведено у него в сотне, а потом в команде до совершенства.

Как же мне было не любить и не ценить такого офицера? Он никогда не «дулся» на замечания, всегда был весел и в хорошем расположении духа.

Он был сыном курского помещика и цыганки. Когда эта цыганская кровь прорывалась в нем, мне приходилось круто одергивать его.

Вдруг явится он в строй в фуражке с тульей чуть не в четверть аршина, в каком-то диком подобии фуражки. Он не обижался, когда я делал ему замечание, и покорно уничтожал фуражку.

Потом встречу я его в кителе, на котором, как у какого-нибудь циркового борца, вместо орденов на груди прицеплены все те жетоны, которые он получал на скачках и иных состязаниях. Да мало того, что так ходит по городу, но еще снимется со всеми этими «регалиями». А мне шлют из Верного его фотографию и пишут: «Полюбуйтесь — ваш Анненков!»

Ну и опять кислые разговоры с Борисом Владимировичем. У Анненкова — и в этом опять сказывалась цыганская кровь — была страсть менять, продавать и покупать лошадей. Только своему непобедимому Султану он и был верен. То появится у него чистокровная двухлетка с ипподрома, то отпросится он на две недели в отпуск, умчится в Аулие-Ата и приведет оттуда прелестную трехлетку англо-текинской породы.

Незадолго до сдачи мною полка и отъезда моего Волков обвинял на словах Анненкова в нечестной торговле лошадьми. Я потребовал рапорта для производства дознания. Пожалел ли Вячеслав Иванович Анненкова или не мог получить точных данных, но рапорта не подал, а я, по словесным рассказам, носившим характер обычных казачьих сплетен, дела над одним из лучших офицеров полка не начал. Я поручил войсковому старшине Первушину негласно проверить эти слухи. Первушин не нашел ничего предосудительного в поступках Анненкова... Волков же считал, что я не начал дела потому, что Анненков был моим любимцем.

Вскоре после моего ухода из полка Анненков был спущен на льготу и во время Великой войны был в 4-м Сибирском казачьем полку на Германском фронте. Я получал от Бориса Владимировича с фронта восторженные письма, и все о лошадях. Он писал мне, каких лошадей он отнял у немцев, писал, что лошадь немецкого офицера оказалась хуже его Султана. Он скоро и с честью получил орден Св. Георгия 4-й степени.

К концу войны он командовал сотней, едва ли не полком. Я потерял его из вида. После революции Анненков оказался в ставшем ему родным Семиречье.

Тут начинается темная, недостаточно изученная страница его жизни и деятельности.

Выборным войсковым атаманом Семиреченского войска в ту пору был Генерального штаба генерал-майор Александр Михайлович Ионов, сын знаменитого семиреченского наказного атамана и первого устроителя Семиречья и города Верного генерал-лейтенанта Ионова.

И вдруг на окраине Семиречья появляется другой атаман — Анненков. Он против большевиков, он яростно сражается с ними, наносит им большие потери, оттягивает их силы от Колчака и Семенова, рыщет вдоль границ Монголии с конным отрядом.

Кто он? Он сам назвал себя *партизаном* и в течение почти целого года вел партизанскую войну с большевиками. Он не пожелал признать адмирала Колчака — не захотел подчиняться колчаковским генералам, не веря им, не пожелал и соединяться с Семеновым. Он остался самостоятельным правителем разбойничьего типа в Семиречье. Край ему прекрасно знаком. Киргизским и китайским языками он достаточно владеет, монгольские нойоны и китайские фудутуны — ему друзья. Он подобрал себе вольницу головорезов и с ними рыскал по Семиречью, грабя население и воюя с большевиками. Кумир для одних — ненавистный для других.

Весною 1924 года встретил я в Париже только что прибывшего с Дальнего Востока генерала Лохвицкого.

Я спросил его об Анненкове.

— Какой позор этот Анненков, — сказал мне Лохвицкий. — Это типичный «зеленый». Одел свой отряд в черные гусарские доломаны, награбил хороших лошадей и шарил по Семиречью, не столько помогая, сколько вредя адмиралу Колчаку. Никого, кроме себя, не признавал. Мне рассказывали: в его отряде возится громадное малиновое знамя с надписью золотыми буквами: «С нами Бог — и атаман!»... Каков!

Расправившись с адмиралом Колчаком, большевики бросили значительные силы в Семиречье, приводя его население под свою тяжелую руку. Они нажали на Анненкова, и я стороною услышал, что Анненков ушел в китайские пределы.

12 сентября 1924 года во Франции, в Сантени, я получил телеграмму из Северо-Западного Китая, из города Лян-чу-фу: «При-

вет, лучшие пожелания прошу принять от меня и моих партизан. Атаман Анненков».

«Отыскался Тарасов след».

Я ответил Анненкову телеграммой же, и на этом наша связь опять оборвалась.

Прошел год. Однажды вечером в Шуаньи Великий Князь Николай Николаевич спросил меня:

— Вы ведь, Петр Николаевич, знали атамана Анненкова?

— Да, Ваше Императорское Высочество, знал, и даже хорошо знал.

— Что это был за человек?

Я сообщил Великому Князю все то, что пишу об Анненкове здесь.

— Я получил телеграмму, — сказал Великий Князь. — Анненков томится в китайской тюрьме. Просит помочь ему. Что вы скажете?

— Анненков, несомненно, много напутал в дни своей партизанщины, — сказал я, — но ведь надо сознаться, что обстановка в том краю была такая, что молодому и неопытному политически человеку трудно было в ней разобраться.

— Но Анненков был против большевиков?

— Несомненно против, Ваше Императорское Высочество.

— И он в прошлом, при вас, и потом на войне был хороший офицер?

— Прекрасный офицер, Ваше Императорское Высочество.

— Надо ему помочь.

Великий Князь поручил состоявшему при нем генерал-лейтенанту барону Сталю съездить к Михаилу Николаевичу Гирсу, стоявшему в Париже во главе русских послов, и просить его ходатайствовать перед китайским посланником в Париже об освобождении Анненкова.

Анненков был освобожден, остался в Китае и где-то, не помню точно где, близ границы Внешней Монголии, занялся своим любимым конным делом, куплей, продажей и разведением лошадей.

Но Анненков был по духу слишком военный человек, одно коневодство его не удовлетворяло, ему хотелось опять формировать, создавать, учить и воспитывать конные войсковые части.

Этим воспользовался сотрудник большевистского комиссара в Китае Бородина, бывший полковник Генерального штаба Гущин, по происхождению донской казак, человек опытный в делах предательства. Он свиделся с Анненковым и уговорил его переехать в Монголию. Там, по словам Гущина, образуется свободная

и независимая Монгольская республика, она создает свое войско, ей нужна многочисленная конница и кому же, и создавать ее, как не знаменитому *партизану* атаману Анненкову? Перспектива стать во главе, на первых порах десятитысячного, конного отряда в Монголии, обучать его по-ермаковски соблазнила Анненкова. Он согласился приехать к Гущину со своим начальником штаба, полковником Денисовым, для выработки плана создания монгольской конницы.

Ночью у Гущина Анненков и Денисов были схвачены большевиками и отправлены для «показательного процесса» в Семипалатинск.

Кто-то с Дальнего Востока, быть может, это был и сам Гущин, который в давнее время меня хорошо знал и с кем я одно время вместе скрывался от большевиков в Константиновской станице Донского Войска, прислал мне небольшую печатную брошюру: «Покаянное письмо атамана Анненкова».

Не думаю, чтобы это письмо было и точно написано Борисом Владимировичем. Не его был стиль. Очень было похоже оно на все то, что фабрикуется в таких случаях большевиками. В письме Анненков раскаивался во всех своих заблуждениях, грабежах и насилиях над крестьянами, и особенно в том, что он пошел против рабоче-крестьянской советской власти, лучшей власти в мире. Он призывал всех русских офицеров последовать его примеру и передаваться большевикам. В Советском Союзе, дескать, идет подлинное народное строительство, и каждый должен быть там и помогать делу Ленина.

Очень все это было грубо и казенно написано, так что и недоброжелатели Анненкова, получившие эту брошюру, писали мне из Шанхая: «Обычная чекистская агитка»....

Вскоре после этого получил я с Дальнего Востока советские газеты с подробным описанием процесса и с портретами Анненкова и Денисова. Анненкова я сейчас же узнал. Он мало изменился. Только ужасно было выражение его лица и совершенно безумных глаз.

Процесс был проведен по всем правилам советского правосудия. Выступали многочисленные свидетельницы и свидетели, которые по существу ничего из того, что они показывали, не могли видеть. Они были из-под Семипалатинска, Анненков действовал в Семиречье. Они рассказывали о зверствах, совершенных Анненковым и его партизанами, о насилиях, убийствах и грабежах. Их показания прерывались дикими криками толпы, присутствовавшей на суде: «Смерть им! К расстрелу!!»

Анненкова и Денисова расстреляли. Анненков принял смерть со спокойствием и гордо. Денисов труднее.

Так окончил свои дни «атаман» Анненков.

Когда он был еще в 1-м Сибирском казачьем Ермака Тимофеева полку, в наших с ним долгих поездках с учебной командой по горам и пустыням Приилийского края, он часто и охотно говорил со мною о Стеньке Разине, о Пугачеве, о разбое, о романтической удали разбойничьей жизни. Кипела и бушевала в нем цыганская кровь. Любимой песнью его была разинская «Схороните меня, братцы, между трех дорог»...

Бывало, запоют ее песельники, Анненков обернется ко мне и скажет:

— Вот это смерть!.. Господин полковник, вы не находите, что так это хорошо покоиться одному на вольной земле между трех больших российских дорог?

Его глаза блестят, в них дрожит так не свойственная Анненкову слеза.

Сбылось, да не так, как ему хотелось.

Уже очень в ту пору, и особенно в глухом и богатом Семиреченском краю, сложное было время и трудно было молодым и богато одаренным натурам удержаться и не скользнуть в бездну, так заманчиво развернувшуюся перед ними.

Когда-нибудь историк этого нового Смутного времени отметит имена теперешних Тушинских воров и Болотниковых, всех этих атаманов «зеленых», зазнавшихся, никого не признававших, никому не подчинявшихся мальчишек — атаманов и партизан. Мутна была вода, и много плавало в ней жирной рыбы.

Соблазнился тогда не один Анненков. В ту пору на всех фронтах Гражданской войны, как пузыри на лужах в осенний дождь, появились подобные ему. Кое-кого пришлось самим белым расстрелять...

Анненкова расстреляли большевики. Этим сняли они с него вольные и невольные вины его партизанства и приобщили его к сонму мучеников, умученных за Россию.

38. Леонид Александрович Артифексов

Выдающуюся большую карьеру сделал и другой молодой офицер 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка, кого я застал в 1911 году молодым хорунжим, — Леонид Александрович Артифексов.

Родом он был терский казак, учился в Бакинской классической гимназии, потом окончил Тифлисское военное училище. Высокого роста, могучего сложения, силач и прекрасный гимнаст, он так же, как и Анненков, шел впереди моих требований. Но был он много мягче, податливее Анненкова, и работать с ним было легко и приятно. Сказывалась в этом кавказская кровь терца. Он был приятен в обращении, без заискивания и робости, но с достоинством и уважением.

Вспыльчивый и нетерпеливый по натуре, он умел владеть собою и поражал своим терпением при обучении казаков учебной команды. Он никогда не срывался на уроке, но приходил ко мне после с излияниями, жалобами и возмущением. Его громкий, звучный голос гудел у меня в кабинете.

— Да никогда, господин полковник, терскому казаку и объяснять этого не пришлось бы!... — говорил он. — Это дубины какие-то стоеросовые. Прихожу, пишу на доске: 12 помножить на 12. Каждому ясно — будет сто сорок четыре. И думать не надо. Вызываю к доске Запевалова. Он стоит, потеет, мажет мелом, решить не может. Я спрашиваю его: сколько в коробке перьев? «Дюжина дюжин, ваше благородие», — быстро отвечает он. Сосчитай. Считает. «Сто сорок четыре, ваше благородие». Ну, так сколько будет двенадцать помножить на двенадцать? Молчит, потеет... Дубина стоеросовая... Я не могу с ними заниматься. Сил не хватает.

А на экзамене эти дубины стоеросовые шутя слагали, вычитали, умножали и делили простые и десятичные дроби.

Артифексов изумительный был учитель. Самолюбив, горяч и горд.

Немало мне было с ним неприятностей и огорчений из-за его вспыльчивого характера.

— Господин полковник, позвольте доложить о происшествии: побил нагайкой таранчинского учителя.

— Боже мой! Да за что, Леонид Александрович?

Гудит на всю канцелярию Артифексов.

— Едем с учения строем. Навстречу учитель. Прет прямо в середину фронта. «Сворачивай», — кричу ему я. Он отвечает: «Сам сворачивай, царский опричник» — и врезался в строй. Я не стерпел, говорю вахмистру: «Дай раза!» Он дал. Тот вылетел из строя и поскакал жаловаться.

— Да что он, пьян, что ли, был?

— Ничего не пьян. Он просто социалист и нас ненавидит.

— Позвольте, да ведь он — учитель?

— Учитель и есть. Они все тут такие подобрались. Он к генералу Калитину поехал... Прошу покорно заступиться за меня.

— Ну, генерал Калитин вас в обиду и так не даст.

— Знаю, господин полковник, что Петр Петрович меня любит, да уже очень он боится этих самых таранчинцев и жалоб и кляуз ихних.

В таких случаях звал я генерала Калитина обедать и за обедом обхаживал его и доказывал, что Артифексов не мог иначе поступить, что сам генерал, будь он на его месте, так же поступил бы. Иногда сходило, иногда и нет....

С моим уходом из полка ушел из Сибирского войска и Артифексов. Сбылась его мечта — состоялся его перевод в Кубанское войско. Он поступил в 1-й Запорожский Императрицы Екатерины Великой полк.

С этим полком, начальником пулеметной команды, и выступил на войну в Закавказье Леонид Александрович. И в первом же бою, 6 ноября 1914 года, у селения Верхний Харгалых на реке Евфрат имел страшный бой, дрался врукопашную с курдами, был изранен и получил орден Св. Георгия 4-й степени.

Оправившись от ран и чувствуя, что раны будут мешать ему служить как надо в коннице, жадно стремясь ко всему новому в военном деле, Артифексов изучил броневое дело и поступил в броневые войска.

Судьба свела нас опять в страшные дни октября 1917 года.

С частями III Конного корпуса, которым я тогда командовал, я вел наступление на Петроград, где большевики только что прогнали Временное правительство. У меня было очень мало войска. Казаки разлагались. Среди них была брошена пропаганда: «На большевиков идут только казаки и юнкера — то есть господа. С большевиками весь народ»... Мне необходимо было хотя немного *солдат*. В Гатчине приносят мне записку: «Иду к вам на поддержку с броневым дивизионом. Полковник Артифексов».

Как обрадовала и как ободрила меня тогда эта записка. Вдвойне обрадовала. Я получал не только броневые машины с так нужными мне *солдатами*, что поднимет дух казаков, но приходил ко мне в эту поистине жуткую минуту Леонид Артифексов, которого я прекрасно знал, кого любил и кому верил и кто меня любил и понимал меня с полуслова.

Прошел томительный день ожидания — броневики не являлись. Поздно ночью доложили мне, что меня желает видеть какой-то странный офицер. Я вышел. В коридоре Гатчинского двор-

ца стоял Леонид Александрович. Его голова была окручена окровавленным платком, он опирался на выломанную в лесу палку и едва держался на ногах. Я провел его к себе, приказал подать вина, чаю, есть.

— Что же случилось, Леонид Александрович? Где ваши броневики?

— Я пришел один, — глухо сказал Артифексов. Рыдание вырвалось у него из груди.

Он замолчал. Я ждал, что скажет он дальше.

— Иду к вам. Мои подлецы — как я им верил, как мы с ними сжились! — мои подлецы клялись смести из Петрограда большевиков. В лесу, без команды, машины останавливаются, прислуга соскакивает с них, и все бегут ко мне. Окружают. Понимаете — митинг!.. Не желают идти против большевиков, большевики за народ... Ах, канальи! Я кричу — по местам! Никакого повиновения. Я выхватываю револьвер. На меня набрасываются пятеро. Вы меня, ваше превосходительство, знаете. Меня этим не испугаешь, произошла безобразная свалка. Вот видите, как изукрасили, я двоих уложил из револьвера, троих сбросил с себя, но избили и изранили они меня ужасно. Удалось бежать в лес. Преследовать меня не решились. Стреляли много, да не попали. Лесом целый день пробирался к вам, чтобы сказать вам, чтобы вы чего худого про меня не подумали. Артифексов вам не изменил и не обманул вас, но — судьба.

Да... Судьба...

Мне оставалось только отправить Артифексова к врачам и эвакуировать его по причине тяжких его ранений.

Эти ранения и раны, полученные в Великую войну, помешали Артифексову нести службу в строю в Добровольческой армии. Он был генералом для особых поручений при Главнокомандующем Русской армией генерале Врангеле и пользовался полным доверием Главнокомандующего.

В 1922—1923 годах встретил я его в Германии, в Мюнхене, где он, жаждая знаний и почти совершенно не зная немецкого языка, поступил в немецкий Политехникум вольнослушателем. Одновременно с лекциями он брал и уроки немецкого языка. Он весь горел непременным желанием что-нибудь основательно изучить, чтобы быть полезным России.

Пули, оставшиеся в его могучем теле, мучили его. В мюнхенском госпитале сделали ему операцию. Я навещал его. Казалось, он совсем оправился. Он переехал в Югославию

и вдруг, почти внезапно, скончался от скоротечной чахотки. Борьба с броневыми солдатами не прошла даром и сломила его могучий организм.

39. А.Г.Грызов и А.Д.Баженов

Листая в памяти список офицеров, служивших вместе со мною в 1-м Сибирском казачьем Ермака Тимофеевича полку на рубеже Китая, с болью в сердце я слышу, как при каждом знакомом и дорогом мне имени как бы похоронный колокол отзванивает: «Умер!.. убит!.. замучен большевиками!.. убит!.. убит!..»

Почти никого не осталось.

В переписке со мною бывали при мне командиром 2-й сотни есаул Алексей Георгиевич Грызов, с кем препирался я вечерами на его маленькой квартире в Верном по казачьим вопросам. Грызов живет в Харбине и помогает представителю Сибирского казачьего войска за границей, полковнику Ефиму Прокопьевичу Березовскому.

Знаю, что жив командир 5-й сотни, принявший ее в 1913 году, есаул Баженов, мой сосед по Тышканскому лагерю. Его хижина стояла рядом с моей «усадьбой».

В Шанхае проживает генерал-лейтенант Глебов... Этот Глебов в звании урядника, только что окончивший полковую учебную команду, вел шестерых казаков в Ташкент в конвой командующего войсками округа и был первым ермаковцем, которого я увидел подле станции Кабул-Сай, когда ехал к полку. В Сибирских армиях он подвигами личной храбрости и умением организовывать части дослужился до чина генерал-лейтенанта.

А.Г.Грызов и А.Д.Баженов продолжают тщательно и любовно работать для родного Сибирского войска. Они украсили рядом статей прекрасный «Войсковой юбилейный сборник Сибирского казачьего войска — 1582—1932», вышедший в Харбине под названием «Сибирский казак».

А.Д.Баженов в нем поместил свои статьи: «Краткий исторический очерк Сибирского казачьего войска», описал проезд Наследника Цесаревича Николая Александровича через Сибирское войско в 1891 году, Войсковой Круг 1903 года, боевую работу 6-го и 9-го Сибирских казачьих полков в Японскую войну, свою службу в полках 1-й очереди и на льготе, дал очерк об артиллерии Сибирского казачьего войска, написал о своем

пребывании в сотне юнкеров Николаевского кавалерийского училища — все это ярко, красочно, красиво написанное, с глубокой любовью к Родине и сибирскому казаку.

И на литературной ниве ермаковцы дали прекрасные всходы.

А.Г.Грызов в этом же сборнике дал трогательные образы своих первых учителей. Назвал он очерк «Неизвестному учителю». Учили Грызова в поселке Ачаир сначала урядник Андрей Тимофеевич Саблин, а потом Екатерина Ивановна Чащина, старушка, вдова унтер-офицера из Омска.

Учениками этих «неизвестных учителей» были и столь известные в Сибири люди, как генерал И.Ф.Путинцев, бывший атаманом 3-го отдела войска, и его братья Петр и Павел, артиллерийские генералы, Генерального штаба генерал П.Н.Буров, бывший одно время начальником штаба Семиреченской области, и многие другие. Вот из каких народных твердых глубин вырастало крепкое русское офицерство, хорошо грамотное, страстно и самоотверженно любящее Россию.

По следам отцов последовали и дети Грызова и Баженова. К ним присоединяется и дочь Волкова. Они составили талантливую семью поэтов, воспевающих Сибирское войско, его доблести и славу. Сын Грызова, печатающий свои стихи под псевдонимом — именем родного поселка Ачаир, уже теперь известный поэт с модным налетом символизма, но с ясным и четким стихом и красивыми образами. Мария Волкова дала в «Сибирском казаке» несколько стихотворений и прекрасных очерков в прозе, посвященных Джаркенту, Тышкану, Верному и Кокчетаву, и в 1936 году выпустила прелестный сборник стихов «Песни Родине». Таисия Баженова написала несколько прекрасных лирических стихотворений и отличный очерк в прозе «Лагерь на Аблакетке».

«Есть еще порох в пороховницах, не оскудела сила казачья».

У детей моих бывших офицеров уже есть дети — внуки ермаковцев.

Так бывает на степном пожарище. Сухою осенью налетел на Сибирскую степь *пал*. Все сгорело дотла. Кругом вся степь черна, все уныло и плоско, безотрадно и мертво. Земля потрескалась, и кажется, никогда и ничего здесь не будет живого. Но пролили благодатные весенние дожди — тут, там показались зеленые иголочки молодой травы... И не успеешь оглянуться, как буйно и пышно зацветет радостными цветами погорелая степь. Дотла выжгли моих некогда ермаковцев... Никого не осталось. Умерли, убиты, ис-

треблены, и самого имени полка нет. Но вот встают, из далеких, чужих краев подают весть. И радостно сознавать, что растет новое поколение, что есть кому наново создавать славный ермаковский полк во всей его былой славе и красоте.

40. Китай и китайцы

Мы жили и служили на рубеже Китая. Некоторые офицеры полка, как Первушин, Грибанов, Анненков, могли объясняться по-китайски, кое-кто из казаков тоже говорил на китайском языке, но мы совершенно не знали ни Китая, ни китайцев.

Такая разница была между нашей и китайской культурой, между нашим и их бытом, что ни мы их, ни они нас не могли понять. Годами живет офицер на китайском дворе, где-нибудь в Кульдже или Суйдуне, а с хозяевами не сходится, и они с ним не сойдутся. Бывают друг у друга в гостях, разговаривают, угощают друг друга, а все чужие. Даже наружно мы их усвоить не могли.

Когда были мы в Кульдже, моя жена пошла с женою консула Бродовича, безупречно говорившей по-китайски, по лавкам. Моей жене хотелось купить что-нибудь особенно китайское, чтобы послать друзьям в Петербург... Госпожа Бродович объяснила, что нужно, купцу. Китаец стал доставать и уставлять прилавок картонками с товаром. Нежные розовые и голубые ткани с прелестно исполненными цветами, изумительной красоты шелк разворачивался перед глазами покупательниц. Совсем французская работа! Это и был подлинный Китай.

— А вон там, на полке, — сказала моя жена, — вон те желтые платки с такими страшными черными драконами... Вот это, кажется, и есть то, что мне нужно. Настоящий китайский рисунок.

Госпожа Бродович перевела слова моей жены купцу, тот достал желтые платки и, расплываясь в широкой улыбке голого лица, раскинул их по прилавку и ногтем показал на кромку платка. На ней печатными буквами по-русски было выткано: «Саратовская сарпинка».

Не знали мы, офицеры и казаки, китайцев еще и потому, что было у нас какое-то презрительное, свысока, отношение к ним: *«Китай»*...

«У китайца нет души, у него — пар»...

Когда ездили на охоту в верховья Или, свободно охотились в китайских пределах — никто этому не препятствовал.

«Рубеж Китая», а где, собственно, был-то этот рубеж, кто его знает?..

Хоргосские горы — граница Китая. Еду я в Кульджу. По нашему, западному склону невысокого хребта показались саманные постройки русско-таранчинского поселка — Хоргос. Небольшая русская церковь, низкие постройки казарм двух сотен 2-го Сибирского казачьего полка. Пыльный шлях идет через горы. На опушке справа небольшой дом, над ним реет русский флаг — наш таможенный пост. Дальше, в низине, течет по камушкам мелкая речушка Хоргоска. За нею — Китай.

Ни постройки, ни поста, ни часового, ни шлагбаума — даже пограничного столба нет. В крепости Суйдун — это в пятидесяти пяти верстах от границы — стоит пост 2-го полка при офицере, также и в Кульдже, при консуле.

Казаки — те как-то даже и не верили, что это чужая земля, чужое иноземное государство — так только, Китай!

Из-за таких взглядов, из-за такого отношения иногда выходили пограничные недоразумения и неприятности для командира полка.

Весною 1912 года, согласно с наставлением для ведения занятий с разведчиками, отправил я команды сотенных разведчиков 3-х джаркентских сотен в полевую поездку. С ними поехал войсковой старшина Первушин.

Поездка была намечена вдоль границы Китая, по Хоргосским горам.

Когда разведчики вернулись, Первушин пришел ко мне с докладом и почему-то привел с собою и командовавшего 1-й сотней сотника Анненкова, ездившего с разведчиками своей сотни.

— Господин полковник, во время поездки разведчиков 1-й, 4-й и 6-й сотен вверенного вам полка происшествий никаких не случилось... Только... Об этом вам доложит сотник Анненков.

— Что же случилось, Борис Владимирович? — спросил я.

— Сущие пустяки, господин полковник... Когда мы шли вдоль границы, шел я в левой заставе. Мы увидали на границе пост — белая башенка с зубцами поверху, над нею дымок вьется, — развязно и наигранно беспечно докладывал мне Анненков. — Казаки и говорят мне: «Ваше благородие, давайте посмотрим, какой такой Китай?» Я думаю — чем мы рискуем? Мы поехали на пост. Ну какой же это был пост! Там и всего-то был один человек. Он, значит, часовой, он и начальник поста, он сам себе и смена. Маленькая комнатушка у него, солома, как в хлеву, накидана, на стене висит

прелестный новенький маузер. Игрушка — не карабин. Манза нам кланяется, улыбается, просто не знает, как любезнее нас принять. «Покажи, — говорим ему, — твое ружье». Он подает. Взяли мы маузер, зарядили, выстрелили. Хорошо бьет. Потом по лестнице поднялись на крышу башенки, там зубцы поделаны из глины. Солдат, вы его, господин полковник, наверно, помните, первый силач в сотне, говорит мне: «Дозвольте, ваше благородие, я руками всю их крепость повалю». — «Дуй, — говорю, — в мою голову». Он, знаете, понатужился и свалил зубец... Манза испугался, разахался, завздыхал: ах да ах... Мы его как могли ублаготворили, угостили чем могли и, дружески простившись, поехали дальше. Он нас еще с полверсты провожал пешком. Вот, господин полковник, и все.

Мы переглянулись с Первушиным.

— Я уже жучил за это Бориса Владимировича, — сказал мне Первушин. — Да я думаю — ничего... Сойдет... *Китай!*

На том и успокоились и за суетою полковой нашей жизни совсем забыли об этом происшествии.

Прошло полгода. Получаю я из штаба Семиреченской области грозный запрос и при нем целое «дело». «Переходил я с вооруженным отрядом китайскую границу?.. Обезоруживал пост пограничной стражи?.. Разрушал китайскую крепость?» и т.д. и т.д. Запрос шел из нашего Военного министерства к генералу Самсонову. Из рассмотрения дела оказалось: тот китайский солдатик донес обо всем в Куре, крепость подле Суйдуна, суйдунский фудутун Фен-ты-мин — наш друг, прекрасно говоривший по-русски, дувшийся на нас за нашу Кульджинскую оккупацию, вместо того чтобы, как это раньше бывало, полюбовно со мною переговорить, катнул донесение в Пекин, оттуда — и все почтой — пошло донесение-жалоба в наше Министерство иностранных дел, там, вероятно, порядочно попраздновали труса и переполошились и написали в наше Военное министерство, в нем посмотрели на дело спокойнее, написали генералу Самсонову, тот генералу Фольбауму, и от него все пришло ко мне с порядочной головомойкой.

Выросло целое «досье».

Пришлось отписываться, объясняться, оправдываться, извиняться. Хорошо, что мой «тетенькин хвостик» дотянулся до Ташкента и там меня знали и в обиду не дали. Не знаю, что написал Александр Васильевич Самсонов для Певческого моста*, но, ве-

---

* Наше Министерство иностранных дел помещалось в Петербурге у Певческого моста на Мойке.

роятно, написал твердо и хорошо. Меня оставили в покое, а я съездил к Фен-ты-мину в Суйдун и попенял его за нетоварищеское отношение. Разговор был примерно такой:

— Моя к тебе не ходи, твоя ко мне не ходи. Такой уговор. Твой Анненков нехороший человек, шибко смеется над Китаем, над моими солдаза. Моя солдаза теперь республиканска, нельзя теперь смеяться над моя солдаза.

А все почему?

Китай! Никак не могли принять его всерьез, хотя и произошла в нем революция, в которой и нам пришлось принять умиротворяющее участие.

41. Революция в Китае

В ночь на 26 декабря 1911 года я проснулся в своем кабинете от какого-то далекого гулкого удара. Первая моя мысль была — землетрясение. Я посмотрел на часы. Было два часа ночи. На землетрясение не было похоже. При землетрясении, так мне рассказывали, гул бывает продолжительный — здесь был один короткий гул, какой бывает от взрыва большого количества динамита. Это не могло быть у нас, в Джаркенте. У нас и нечему было взрываться. В джаркентском пороховом погребе хранились только артиллерийские и ружейные патроны да незначительное количество толовых шашек. Если бы там что-нибудь случилось, звук был бы совсем другой... Взрыв был далеко от нас и на восток. Я подождал немного, не зазвонит ли телефон. Все было тихо кругом. Раскинув в уме карту окрестностей Джаркента, я старался сообразить, где бы это могло быть. В Хоргосе нечему было взрывать, значит, это было не у нас, а в Китае, вернее всего в Суйдуне или Куре. Это восемьдесят верст от нас, значит, какой же это был страшный взрыв, если гул его долетел до нас...

На другой день утром я пошел в свою полковую канцелярию и в штаб бригады. Генерал Калитин был в отпуске, я временно командовал бригадой. И в канцелярии, и в штабе — пустота. Кроме дежурных писарей — никого. Праздники — Рождество Христово. Я зашел на квартиру начальника штаба полковника Криницкого, у него был старший адъютант штаба есаул Ребров. Никто из них ничего ночью не слыхал. Возвращаясь, я на улице встретил войскового старшину Первушина. Тот взрыв слыхал, как и я, в два часа ночи и тоже определил его в Куре или в Суйдуне.

— Не случилось ли там чего-нибудь? — сказал мне мой помощник. — Когда мы были на охоте в начале декабря на кабанов, китайцы мне говорили, что у них большие волнения в Пекине. Император — ребенок... Смута идет... Хотят реформ. Нам надо на всякий случай быть наготове.

— Генерал Калитин нас так нажучил тревогами, что мы всегда готовы.

— Вы отпустили сотника Анненкова и хорунжего Красильникова на охоту в Хоргосские горы, не отзовете ли вы их и не расспросите ли их? Они там были ближе, должны были и видеть, и слышать, что там происходит.

Я согласился с Первушиным и по телефону сообщил в Хоргос, чтобы оттуда отправили конных искать моих офицеров и приказали им возвращаться к полку.

День шел тихий и спокойный. Жена моя принимала визиты гарнизонных дам, был чай и шоколад. Вечером в собрании должна была быть зажжена елка и состояться семейно-танцевальный вечер для детей.

Около шести часов вечера мне доложили, что в Джаркент из Хоргоса под конвоем доставлен прибежавший из Китая командир китайского саперного батальона Дзу-хай-цын. Я послал за переводчиком и допросил беглеца. Офицер был из новых реформированных войск, без косы, в мундире японского образца, светло-песочного цвета. Он сообщил следующее:

«В ночь на 26 декабря в Куре началась резня. Новые революционные войска (Джан-цзо-лина), состоявшие под начальством японофильского генерала Ян-ту-лина, напали на маньчжур. Ямын (губернаторский дом) Дзянь-дзюня подожжен, в него стреляют из орудий. Генерал Ян-ту-лин послал просить русских занять Кульджу впредь до усмирения края. Он обещает, что Ли (Джан-цзо-лин) заплатит русскому правительству за занятие Кульджи пять миллионов рублей».

Опасаясь попасть на провокацию, я задержал Дзу-хай-цына при канцелярии 2-го полка под караулом и послал по команде телеграммы.

Почти одновременно пришла тревожная телеграмма от кульджинского консула. Бродович сообщал, что в Китае произошла революция, что Император бежал. В Кульдже, где много русских подданных китайцев и дунган, где находится отделение Русско-Китайского банка, могут возникнуть беспорядки. Консул просил занять Кульджу сильным русским гарнизоном.

Вечером пришло донесение от сотника Анненкова из Хоргоса. Анненков писал: «26-го числа я выехал в Суйдун. Проехав укрепление Чимпандзы, я заметил усиленное движение по дороге из Суйдуна таранчей и дунган. По опросам оказалось, что укрепление Куре занято революционными китайскими солдатами. Во главе их стоит Ян-ту-лин. Дворец Дзян-дзюня взорван или снесен артиллерией. Сам Дзян-дзюн убит. Комендант укрпления Чимпандзы с тридцатью конными солдатами ускакал в Суйдун. Он подтвердил все это. В Чимпандзы оставлено 5 солдат при унтер-офицере. Пограничные посты пусты — солдаты отозваны в Суйдун, где Джан-тай собирает отряд. Населению выдаются винтовки и патроны. Ночью на 27 декабря распространился слух, что в Суйдуне из маньчжур, сабинцев и солонов формируется отряд и около Кульджи собираются войска старого формирования для самозащиты и движения на Куре. Ночью с Хоргоса не было видно никакого зарева и не было слышно стрельбы».

На посланные мною обо всем этом по команде шифрованные телеграммы я получил 27 декабря около полудня непосредственно из Ташкента приказание занять Кульджу двумя сотнями с ружьями и пулеметами.

Так как 2-й полк стоял ближе к Кульдже, занимая Хоргос и имея офицерский пост в самой Кульдже, я приказал командиру 2-го полка передвинуть Хоргосские сотни в Кульджу и снабдить их пулеметами. Полковник Буров назначил командовать дивизионом войскового старшину Шмонина.

В полдень, готовый к походу, рослый, тяжелый и хмурый, в пальто на вате, при боевой аммуниции, явился ко мне Шмонин.

— Какие будут распоряжения? — мрачно спросил он.

— Сегодня вечером выступить из Хоргоса и завтра днем быть в Кульдже. Охранять консульство, отделение Русско-Китайского банка, обеспечить полную безопасность русских подданных.

— Слушаю. Мне придется идти на Суйдун?

— Да.

— А если суйдунские войска меня не пропустят? Там большие дивизии, у меня всего две сотни.

— Не допускаю этой мысли. Тем более что Ян-ту-лин, который, по-видимому, берет верх, сам просил меня о занятии Кульджи.

— Вы знаете, господин полковник, поговорку, когда две собаки дерутся... Фен-ты-мин, который в Суйдуне, может и не пустить нас.

— Пройдете с боем.

— Там дивизия и с артиллерией. Могу и не пройти.

— Завяжете бой. Дадите мне знать, я приду со своим полком, и, если будет нужно, князь Баратов с артиллерией и стрелками подкрепит нас.

— Так-то оно так... А только?..

Я отлично понимал колебания Шмонина. Китайцев и боя с ними он нисколько не боялся, но попасть в ответ перед своим начальством весьма опасался. Трудно воевать, когда точно не знаешь, имеешь ли право на это? Молча предложив Шмонину сесть, я в полевой книжке большого формата «согласно пункту 2 приказа по Главному управлению Генерального штаба 1906-го года № 144» стал писать приказ отряду войскового старшины Шмонина, в котором в категорической форме требовал от отряда занятия Кульджи, предусматривая возможные случайности и ставя все точки над «і».

Я подал приказ Шмонину, он просмотрел его, тщательно сложил, положил в свою полевую сумку и уже не хмуро, но решительно сказал:

— Теперь я все понимаю Будет в точности исполнено. Завтра я буду в Кульдже. Можете быть совершенно спокойны.

Он пошел садиться на лошадь, ожидавшую его у дверей канцелярии.

В 4 часа дня он был в Хоргосе, в 8 часов вечера выступил оттуда и на рассвете 28 декабря подошел к Суйдуну. Здесь встретили его встревоженные офицеры, присланные Фен-ты-мином.

— Почему русские войска вошли в Китай? — спросили они Шмонина. — Разве объявлена война?

— У меня есть приказ, и я его исполняю, — отвечал, не останавливая лошади, Шмонин.

— Фен-ты-мин просит вас всех заехать в Суйдун к нему. Он хочет угостить вас достарханом.

— Указаний на то не имею-с. Когда-нибудь в другой, более благоприятный раз.

— Но позвольте, вы же понимаете, что, если вы так проедете мимо Фен-ты-мина, вы обидите его, он потеряет тогда лицо. Очень это некрасиво выйдет.

— А уже это красиво или некрасиво, меня, простите, не касается. Дивизион, р-рысью, ма-арш!

Казачьи сотни рысью прошли мимо Суйдуна, не въезжая в городские ворота.

После полудня Шмонин входил в Кульджу. Город был убран русскими флагами. Были люди, помнившие русских во времена

оккупации и усвоившие себе, что русские — это порядок и спокойствие. Толпы народу приветствовали казаков.

Полковник Буров вскоре заменил войскового старшину Шмонина молодым и энергичным войсковым старшиною Волковым.

По прибытии в Кульджу Волков мне сообщил, что по всему видно, что пребывание казаков в Кульдже будет весьма продолжительным, не месяцы, а годы. Стоять по обывательским квартирам (китайским) он считает неудобным и непрактичным, просит, чтобы Инженерное ведомство соорудило помещение для дивизиона — это погрузиться в междуведомственную волокиту и не дождаться казарм, да и смета выйдет такая большая, что в ней может быть отказано. Волков просил меня выхлопотать пособие на постройку казарм — двадцать тысяч. Кульджинское городское самоуправление отводило безвозмездно отличный участок земли. Волков брался за эти деньги своими казаками построить вполне приличные казармы.

Я поехал в Верный к генералу Фольбауму, получил от него разрешение на постройку своими средствами казарм на две сотни и ассигновку. Казаки с полною охотою принялись за работу.

В феврале 1912 года я поехал смотреть только что законченные дивизионом 2-го полка казармы.

Какая это была радость и гордость на сердце, когда я въехал через красивые каменные китайские ворота усадьбы, отведенной городом, над которыми тихо реял большой русский флаг, и увидел новые постройки. В линию вытянулись стройные многооконные светлые белые бараки саманной постройки на деревянной в клетку основе. Два барака для сотен, несколько меньший барак для пулеметной команды, отдельные домики для офицеров, дивизионное собрание, конюшни, обозный сарай, механическая прачечная, кухни, баня, отхожие места, хлебопекарня, открытый манеж, все чистенькое, хорошо построенное, светлое, по линейке выровненное. В казармах просторные нары, голландские печи, широкие коридоры для занятий. Все выросло в каких-нибудь 6 недель и обошлось в двадцать тысяч!

Была зима. Глубокий снег лежал во дворах и в саду со старыми карагачами усадьбы; на ярком азиатском солнце блистали стекла домов. В казармах было тепло. На кухне казак-кашевар готовил щи, на хлебопекарне вкусно пахло свежим хлебом.

Два дня провел я у Волкова, восторгаясь созданным им благоустройством дивизиона. Стали прочно, надолго... *Навсегда!*

Вот так же некогда строился Куропаткиным Джаркент, так же войсками устраивался русский Ташкент, и в глубокой, дремучей

дали казаки нашего шефа Ермака Тимофеевича ставили, рубили городки в Сибири, поднимаясь по Иртышу к озеру Зайсану, подаваясь к «мунгальским» пределам....

Велик русский колонизаторский гений. Что остановит это могучее шествие русского народа на восток, несение мягкой, христианской, творческой культуры в темные недра Китая?

Никакая сила не могла остановить этого, кроме болезни нации, ее самоубийства.

Как далеки мы были тогда, в этом краю, от самой мысли о возможности *такого* конца России.

Я послал подробное донесение с альбомом фотографий нашего Кульджинского казачьего городка генералу Фольбауму.

Я знал, что это его очень порадует.

42. Тышканский лагерь

Летом в Джаркенте жить и служить было невозможно. Жара доходила до 62°, и выносили ее только привычные к солнечному зною таранчи и дунгане, совершенно голыми работавшие в полях. Полки уходили на лето в лагерь, в горы, на Тышканское плоскогорье.

Как только опытным глазом Ефим Никитич Осипов определил, что снег сошел с Тышкана, он пригласил меня поехать осмотреть нашу лагерную стоянку. Осипов с командиром нестроевой команды, сотником Дороговым-Ивановым и оружейным мастером поехали в тарантасе, я с женою и сотником Анненковым верхом.

От Джаркента до Тышкана считается сорок верст, никем не меренных. Широко натоптанный войсками в пустыне шлях сначала полого и незаметно поднимается в горы. С середины пути, от кишлака Тышкан характер местности меняется, пологая пустыня сменяется крутым подъемом в гору. Справа идет глубокое ущелье, над ним торчат причудливой формы голубые, розовые и серые скалы мергеля.

Наши лошади легко бегут вверх. Дыхание свободно, горный воздух пьянит. Ярко светит солнце, слепят глаза совсем близкие снега вершин.

Еще один подъем покруче по каменистому пути, покрытому галькой когда-то сползшего сюда ледника, — вот и Тышкан.

Мы въезжаем на наше «военное поле». За ним справа жалкий таранчинский поселок из двенадцати-пятнадцати маленьких ха-

ток, в его улице несколько кривых акаций. За ним на голом поле, уступами поднимающемся к горам, лагерное место. По нему — обыкновенно в таких случаях пишут в «живописном беспорядке», но ничего тут живописного не было — разбросаны были бедные, кривобокие саманные постройки. Ни деревьев, ни садов, ни улиц, ни заборов. Мы подъехали к длинной саманной постройке в четыре окна — полковой канцелярии, над нею, на плоском месте, над обрывом, стояла избушка на курьих ножках — из тонких кривых жердей была сложена клетка, в эту клетку вмазаны глиняные стены, вставлены большие окна, подвешена дверь и устроено подобие крыльца. Вся она просвечивала насквозь — это и было мое жилище, квартира командира полка. В ней было три больших, полных яркого горного света комнаты со щелявыми полами и таким же щелявым потолком и больше ничего. Ни кухни, ни помещения для прислуги, ни конюшни, ничего... На открытом всем ветрам и всем взорам юру стоит, как палатка, этот домик.

Я тут же нанял таранчей и сговорился с ними обнести дом забором из глины, устроить двор, поместить на дворе конюшню, домик для казаков и прислуги, кухню, словом, создать хотя некоторое подобие уюта. Но, конечно, нигде не было ни дерева, ни куста. Песок, камни и желтая верблюжья сухая трава.

Мы пошли с Осиповым по лагерю вдоль разбросанных по скату маленьких хаток.

— Мой дом, — говорил Осипов, — а это подъесаула Волкова, там Калмыкова, эта сакля Анненкова и Артифексова, видите, какое жилье! Кое-кто из семейных нанимает у кочевых киргизов кошмяные юрты, да так и живет. Очаги у всех открытые, даже и без навеса. Тут дождей почти не бывает, ну а прольет, все равно все крыши и в домах протекают. Бивак, а не лагерь!

Большая саманная постройка было гарнизонное собрание, отделенное от лагеря стеною. В нем просторная светлая столовая, зал, библиотечная комната. На дальнем краю довольно хороший дом начальника лагерного сбора и подле штаб бригады. Сейчас же за этими постройками был крутой обрыв, в узком ущелье неслась, пенясь и шумя по камням, речка Тышканка, за ущельем стеною стояли темные скалистые горы. Ущелье мрачно уходило вглубь. Северные его бока были покрыты густым лесом горной ели и кедрами.

Часа три ходил я с Осиповым, Дороговым-Ивановым и оружейным мастером Поротиковым по лагерю, намечая места пала-

ток. Было решено устроить их как в гвардии, с деревянным дощатым основанием и нарами, потом наметили шестами место середины полкового лагеря, место полкового образа, караульной палатки, знаменного намета. Спустились вниз и на скате к Тышканке наметили места навесов столовых, места кухонь, коновязей, отхожих мест, все разбивали в математически строгом военном порядке.

На всем плоскогорье, занятом нашим Джаркентским гарнизоном, росло всего пять раскидистых старых карагачей, стоявших вдоль линейки 2-го Сибирского казачьего полка.

Пока мы размеряли, моя жена с вестовыми и сотником Анненковым приготовили нам завтрак и чай. Есть нам пришлось сидя на полу, и все, что было приготовлено, стояло тоже на полу, потому что в пустом бараке не было никакой мебели.

С крыльца барака, с высоты более 2000 метров, открывался несказанно красивый вид на всю ширь Илийской долины. Горизонт в полтораста верст замыкался длинным хребтом снеговых гор Кунгей-Алатау.

Работы по наметке лагеря были окончены. Весенний день догорал. Солнце склонялось к пустынному плоскогорью. Было так тихо в воздухе, что отчетливо было слышно, как шумела внизу речка Тышканка, и сверху из узкой долины доносилось далекое мычание коров и блеяние овец.

Мы вышли садиться на лошадей и остановились, зачарованные красотою вечера в горах.

— Что это там такое? — сказала моя жена, стиком указывая на небо. — Какое странное облако.

В прозрачном зеленовато-синем небе, в бесконечной дали, за снеговыми горами и много выше их точно висела в воздухе громадная, опрокинутая розовая роза. Ее краски дрожали, становились ярче и ярче, точно внутри ее какой-то огонь разгорался, потом вдруг стали потухать, белеть, синеть, и внезапно исчезла эта таинственная роза, точно растаяла, растворилась в небе.

— Это вершина Хан-тен-Гри, — сказал Осипов. — Ее называют еще «Подножием Божьего Трона». По преданию, на ней остановился Ноев ковчег, и здесь верят, что он и поныне стоит там с хрустальными окнами, недостижимый для людей, никому не доступный.

И Анненков добавил:

— Хан-тен-Гри считают едва ли не самой высокой горой в мире, во всяком случае, самой высокой из гор Тянь-Шаня, в ней, мне говорили, 24 000 футов, то есть около 6867 метров, почти 7 верст. Никто еще не был на ее вершине. Моя мечта — взобраться на нее. Господин полковник, я буду просить вас когда-нибудь отпустить меня с казаками, и мы поднимемся на самую вершину.

Мы возвращались домой ночью при луне.

Пять всадников ехало по беспредельной азиатской окраине, вдоль китайского рубежа: дама, два офицера и два казака, собака бежала за ними. Они никого не встретили, им никто и ничто не угрожало, самая мысль об опасности такой поездки им и в голову не приходила. Они ехали по Российской империи.

На другой день я скрепя сердце отобрал от сотен пятьдесят казаков, плотников и мастеровых, и отправил их с инструментом и лесным материалом на Тышкан — строить лагерь.

Как в Красном Селе!

43. Жизнь в лагере

Лагерь вышел на славу. Палатки были выровнены по фронту и в затылок, дистанции и интервал математически точны, основания палаток покрашены белой масляной краской, с красным узким багетом по швам досок. По краям передней линейки поставлены «грибы» для дневальных, тоже белые с красными кантами. Впереди выровнена по ватерпасу широкая линейка, обложенная дерном и усыпанная белым песком.

Сзади на широком пологом скате к ущелью, под прямыми углами к линейке стали навесы столовых, за ними кухни, далее закрытые отхожие места. Коновязи стали на фланге столовых.

К отведенному от Тышканки рукаву вела разделанная, обрамленная камнями дорога, она подходила к душу, с деревянным полом, скамьями и забором кругом. К этому душу постоянно притекала согретая солнцем вода и вечно лилась крупным и частым дождиком.

Наш душ стал предметом зависти всего лагеря.

За ермаковцами потянулись и другие полки. Когда генерал Калитин приехал в лагерь, он остался всем очень доволен. Покривился только на наши керосино-калильные фонари, постав-

ленные — два по краям передней линейки, один у полковой канцелярии и один на коновязях.

— Обнаруживаете себя. На этой-то высоте эти фонари будут из самого Китая видны, как маяки стоят. Приползут на них с гор киргизы и вырежут вас, ей-богу, вырежут.

Не обошлось у иных и без некоторого «кондитерства». Год был юбилейный. На наших зимних докладах в гарнизонном собрании и в сотнях поминали мы и Смоленск, и Бородино, и Тарутино, и Березину.

2-я батарея подполковника Никольского устроила перед своей караульной палаткой громадный план Бородина с показанием всех частей, выложенный мозаикой из разноцветных камешков, собранных в русле Тышканки. Вышло очень красиво и поучительно.

20 мая мы выступили походом в лагерь. Три дня устраивались в нем, а главное, привыкали к высоте. Первое время у многих голова кружилась, шумело в ушах и были среди казаков случаи обмороков. Двухверстная высота давала себя знать.

Потом начались учения по обычному, общему для всей российской кавалерии расписанию. Конные учения по утрам, стрельба после обеда....

Солнце уходит за плоскогорье — «в Россию»... Темнеет в лагере. Без четверти в девять часов заиграют на правом фланге горнисты, забьют барабанщики повестку к заре, им ответят трубы в артиллерии и у казаков.

Ежедневная заря отправлялась у нас всегда особо торжественно. Все офицеры сходились на фланги своих частей. Ковыляя и опираясь на палку, спешил к какому-нибудь полку и «дедушка Калитин».

Перекличка кончена. Приказ прочитан. От дежурного по лагерю с середины общей линейки четко слышна в горном воздухе команда «Смир-р-рна!».

Наступает мгновенная тишина. Слышнее ропот бурно несущейся Тышканки. Страшнее в своей тишине за спиною стоящие громадные неприступные горы. Впереди в дымке ночного тумана беспредельный простор пустыни. За нею — Китай, горы Тянь-Шань, Гималаи, Индия. С этой высоты все кажется близким.

Плавно, в две трубы, а иногда всем хором играют у ермаковцев зарю.

Дежурный офицер командует: «На молитву, шапки долой!»

Особенно здесь, недалеко от подножия трона самого Господа Бога, звучит молитва казаков.

— Трубачи! Отбой! Накройсь! Караул, шай на кра-ул!

Секунда тишины, какое-то раздумье, сосредоточенность и... гимн!

Каким величественным, могучим, несокрушимым, *вечным* казался наш великолепный гимн-молитва здесь, на краю империи, у китайского рубежа. Он несся, он плыл с высот от самого неба по пустыне, несся далеко, далеко, казалось, до самого Китая. В серебряном тумане стлалась долина. В темнеющем небе вдруг показывалась опрокинутая роза. На ней еще сияли отблески уже зашедшего у нас солнца. Точно слушали и там «у подножия Божьего Трона», нашу молитву веры и верности.

Сильный, державный,
Царствуй на славу нам!
Царствуй на страх врагам!
Царь православный!

Кто раз слыхал гимн в *той* обстановке пустыни, гор, тишины окраины, тот никогда его не забудет и не изменит ему.

— Караул! Шашки в нож-ны! По палаткам марш!

Лагерный день кончен.

44. Лагерные учения

Утром в лагере — конные учения. Для сотенных учений наш плац был хорош, для полковых, даже для трех сотен, а в 1912 году ко мне из Верного пришла и четвертая сотня, — маловат.

Развернешь все три сотни, станешь заводить плечом — и уже попал какой-нибудь фланг на ручей, на обрывистые берега, на гальку. Потеряно равнение, нет стройности движения. Лава же и рассыпные строи всегда захватывали оба берега ручья, пересекавшего почти посередине наше военное поле.

Зато для учений с обозначенным противником, для тактических учений полка — какое раздолье! Кругом на версты, на десятки верст — «местность». Никаких засеянных полей, никакой частной собственности, «чужого» места, по которому нельзя скакать и ездить, — все свое, вернее — ничье. Божье! Пустыня!..

И какая местность! Плоскогорье, поросшее чахлой травой, прерывается оврагом с крутыми берегами, перейдешь через него — и опять широкая, на версты, долина, а там пойдут скалы, теснины, кручи. Какую «итальянскую школу» езды здесь можно проделывать, с каких головокружительных спусков спускаться, на какие отвесные горы вскакивать. Суворов учил: «Где олень пройдет — там солдат пройдет»... Как же не пройти по этим горам сибирскому казаку?

Поставлю я обозначенного противника — батарею и роты прикрытия на плоскогорье и уведу полк за десять верст от него. Потом иду походным порядком с заставами и дозорами.

Дозоры донесут: «Видна батарея и пехотные цепи».

Мы строим двойную взводную колонну, и, как только построили, я объявляю: «Артиллерия открыла огонь по нам. За нами рвутся шрапнели».

На широком намете (полевом галопе) мы разворачиваемся, вытягиваемся в «линию колонн по три разомкнуто» и продолжаем идти полевым галопом. До противника шесть верст. Мы спускаемся в балку, тут огонь нас не настигает, мы переходим на рысь, если возможно, выгадываем фланг противника, потом поднимаемся и рассыпаемся поэшелонно и с пяти верст идем в атаку непрерывным полевым галопом.

Такие учения я всегда повторял. Один раз я сам вел полк, давал указания, другой — я поручал вести полк одному из своих помощников, а сам становился с биноклем на месте противника и следил за порядком атаки.

В те дни, увлекаясь защитным цветом после войны, так много писали о вреде серой масти в кавалерии... В Великую войну был один гусарский полк, который покрасил своих серых лошадей в защитный цвет, а вот я смотрю с горы в бинокль на свой атакующий полк. В дрожащем мареве пустыни показалась вороная сотня, сейчас же за нею гнедая, рыжая и значительно позже — серая. Серая масть сама по себе и без всякой краски оказалась защитной.

Я писал тогда об этом в «Русском инвалиде», но мода на защитное оказалась сильнее здравого смысла.

После такого маневра бывал разбор. Шести-семиверстный пробег возбуждал. Лица раскраснелись, стали оживленными, каждый передает свои впечатления. Являлась вера в могущество конной атаки, и сибирские казаки эту веру проявили в бессмертной конной атаке на турецкую пехоту под Ардаганом.

Я делал маневры на смешанный бой, одна или две сотни действовали в спешенном порядке, остальные атаковали на конях, делая обход.

Я наслаждался на этих учениях. Нигде, даже под Красным Селом, не было такого простора. Там было военное поле и полигон, а уйдешь за Кавелахты — и пошли засеянные поля, огороды, и — туда не ходи, сюда не смей появляться. Дозоры идут обозначенные — засеянные поля мешают, развернуться — нельзя.

После обеда — стрельба.

Стрельба доставляла нам всем немало огорчений. Пока стреляли на двести, четыреста, шестьсот шагов — все шло хорошо. Но как пошли стрелять на большие дистанции — то и дело ерзает по мишеням белая указка, отмахивает нам промахи.

Унылы и злы казаки. Об «отлично» и думать не приходится, лишь бы в «хорошо» попасть.

Сердится, разносит, стыдит казаков генерал Калитин. Язвит над ними, обижает сравнениями с кавказцами.

Винтовки у нас отлично пристреляны, а на большие дистанции идет непозволительное рассеивание пуль. Причина для нас проста — винтовки полк получил еще в 1891 году, и служат они без замены стволов уже 20 лет. Срок не так большой, да 18 лет казаки стояли по постам на границе, без надзора, жили в хижинах, винтовки ржавели, ко дню смотров нещадно отдирались песком и кирпичом, нарезы стирались, появлялись свищи, зазубрины, и бесподобная меткость великолепной нашей трехлинейки была утеряна.

Но вот докажи это «начальству», которое знай только ругает сотенных командиров и казаков.

Совещался я с сотенными командирами, а те с казаками, как нам выйти из такого незаслуженно обидного, позорного положения.

— Просите, господин полковник, разрешения устроить нам стрельбу из пехотных винтовок, — горячо говорил мне командир шестой сотни есаул Калмыков, самый строгий, вспыльчивый и обидчивый из моих сотенных командиров. — Я вам ручаюсь за прекрасные результаты.

Отношения между родами войск в Семиреченской области, как и во всем Туркестане, были отличные, дружеские, настоящие товарищеские. Стрелки охотно ссудили нас на одну стрельбу своими винтовками.

Трогательно было наблюдать, как передавали казакам ружья стрелки. Каждый стрелок, передавая винтовку казаку, говорил об особенностях ее боя.

— Ты, паря, как стрелять будешь на большую дистанцию, скажем, на тысячу или больше шагов, чуток влево придержки мушку, потому она у меня вправо уносит. А ты влево придержи на вершок или два — так-то ладно попадешь.

Стреляли 4-я волковская и 6-я калмыковская сотни.

Выше отличного!

Иначе оно и быть не могло. Казаки обладали великолепным зрением, были отлично развиты гимнастикой, много упражнялись прикладкой, были старательны, болезненно самолюбивы, они должны были отлично стрелять.

В штабе бригады был составлен об этом акт, и начальник бригады усугубил свои хлопоты о замене винтовок.

Каждый год в конце июля в лагерь приезжал генерал Фольбаум. К этому времени на Тышкан приходили все полки 6-й Туркестанской стрелковой бригады, мортирная батарея и саперный батальон.

Лагерь оживал. Бывал объезд лагеря и заря с церемонией, смотры полков и батарей, маневры и боевые стрельбы. Наше общество устраивало свои самые интересные состязания.

В 1913 году генерал Фольбаум приехал в лагерь, недовольный мною и моим полком. Много жалоб поступило на меня и на чинов полка. По этим жалобам было назначено особое расследование, и для этого прислан штаб-офицер Генерального штаба из Верного.

Но увидал генерал Фольбаум наш красивый, аккуратно разбитый, чистый лагерь, веселые, бодрые, смелые лица казаков, побывал на учениях и маневрах, на скачках и состязаниях и начал отходить.

Полку была назначена боевая стрельба с маневрированием. Место для нее было выбрано в горах, выставлено оцепление, и генерал Фольбаум приехал на нее с только что назначенным начальником штаба Семиреченской области Генерального штаба генерал-майором Кондратовичем, прибывшим к нам прямо из Варшавского округа.

Три сотни вели наступление, с перебежками, четвертая была в полковом резерве. Это была 6-я сотня полка, «каторжная» сотня. В ней этим летом вышла крупная неприятность с сотенным командиром есаулом Калмыковым, дело чуть не дошло до суда, но мне удалось покончить дело полным покаянием казаков и наложением взысканий в дисциплинарном порядке на всех виновных. После этого сотня эта необычайно старалась показать, что она совершенно исправилась.

Ведя наступление, цепи спустились с крутого, почти отвесного обрыва в широкую долину, на которой были поставлены мишени. За цепями сошел генерал Фольбаум со своим штабом. Теперь за нашими спинами была как бы стена саженей десять вышиной.

Генерал Фольбаум обернулся ко мне и сказал:

— По ту сторону долины (это было примерно в версте расстояния, и там на горах были заранее установлены восьми- и двенадцатифигурные мишени) показались колонны противника.

По телефону, следовавшему за мною, я передал приказание Калмыкову обстрелять колонны.

6-я сотня рассыпалась в цепь, бегом подошла к краю обрыва и, не спускаясь вниз, на «линию огня», залегла по краю обрыва и сейчас же открыла над нами огонь пачками. Пули запели и засвистали над нашими головами. Генерал Кондратович схватил меня за руку и воскликнул в большом волнении:

— Полковник, вы с ума сошли!.. Что вы делаете?!

— Обстреливаю колонны противника, ваше превосходительство, — совершенно спокойно сказал я.

— Да разве можно делать это, когда все начальство находится впереди? Ведь они могут?!..

Он не договорил, я перебил его.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — это сибирские казаки, и с сибирскими казаками я могу решать задачу так, как решал бы ее и на войне. С горы резерву гораздо удобнее обстреливать колонны противника, кроме того, он не мешает этим стрельбе цепей.

— В Варшавском округе это было бы совершенно невозможно, — сказал потрясенный генерал Кондратович.

Генерал Фольбаум был видимо очень доволен всем этим. Когда был подан «отбой» и полк собран в резервную колонну, командующий войсками области горячо благодарил полк, сказал много лестного по адресу офицеров и казаков. После стрельбы Фольбаум обедал у меня, и я понял, что мое «дело» решилось в мою пользу.

После обеда на дворе перед нашей хижиной пели песельники учебной команды, моя жена запевала с ними некоторые песни, Фольбаум был в самом хорошем настроении духа.

— Полковник Х. допросил всех свидетелей, — сказал мне Фольбаум, — ни одно обвинение против вас не подтвердилось. Вы везде действовали лояльно и строго по закону. Все оказалось клеветою левых туземцев и некоторых наших русачков, все не могу-

щих забыть 1905 года. Виновные, есаул Калмыков и сотник Артифексов, вами своевременно наказаны, что и видно из полковых приказов и штрафного журнала. В трудное время мы живем. Много доносчиков расплодилось там, где, казалось бы, доносчикам и нет места. Я видел ваш полк и на нем убедился лучше всего, что все, на вас писанное, оказалось ложью и анонимною гадкою клеветою... Что же это были за «преступления», о которых доносили в Верный?

45. Восемьдесят два пункта преступлений

19 февраля 1913 года вся Россия праздновала 300-летие со дня воцарения Дома Романовых. Праздновал этот день и русский военный Джаркент. Утром было торжественное богослужение в городской церкви (соборе), а после — парад всем частям гарнизона. Погода была теплая и великолепная, части были выведены в мундирах, знамена без чехлов. Все вышло очень красиво и величественно.

От двух часов дня на той же площади были назначены игры и состязания казаков бригады и солдат артиллерии. Была рубка, уколы пиками, джигитовка с различными фигурами (умыкание невесты), офицерская гимнастика и общая всем моим полком сокольская гимнастика.

Площадь кругом была заполнена таранчами и дунганами. Все население уезда стеклось посмотреть на русский праздник. Играли трубачи, для этого случая одетые в старую форму времен завоевания заилийского края, в киверах с алыми султанами, с расшитыми белою тесьмою рукавами.

Так как туземцы народ очень впечатлительный, особенно женщины и дети, выбегают на линии скачки, чтобы лучше посмотреть, и перебегают площадь во время состязаний, по распоряжению генерала Калитина были назначены казаки учебных команд обоих казачьих полков, чтобы «осаживать» толпу во избежание несчастных случаев. Казаки эти были без оружия и без плетей.

Праздник прошел прекрасно. Все, и участники и зрители, были очень довольны. Уже в наступавших зимних сумерках мы расходились с площади, счастливые, что так хорошо и по-военному отпраздновали этот исторический день.

Прошло месяца два. К генералу Фольбауму поступил из Государственной думы запрос с приложением анонимного доноса.

Донос начинался витиевато: «Торжественный день 300-летнего юбилея воцарения Дома Романовых в городе Джаркенте омрачился печальным неистовством. Пьяные казаки Краснова нагайками избивали несчастный таранчинский народ, в наивной вере в справедливость собравшийся на праздник на площади» и т.д. и т.п. Я всего теперь не помню.

На празднике был начальник уезда, были все гражданские русские и туземные власти, никто ничего никому не заявил, и ни я и никто из офицеров не видал никакого насилия или бесчинства. А пьяных вообще в этот день не было, все были заняты состязаниями.

Но есть в России люди, которые казака трезвым и без нагайки представить себе не могут. Были в Джаркенте люди, которых коробило, что в полку и в сотнях после зари поют «Боже, Царя храни», что по Джаркенту днем, а иногда и ночью звучат военные марши, что бравый казак стал хозяином положения и никому спуску не дает, что казаки стали любимцами простого народа, падкого на всякие зрелища. Вся наша «военщина» была противна полуинтеллигентным туземцам. Те видели в ней усиление русского влияния в пустыне, закрепление за нами края.

Городской голова где только мог делал мне неприятности. Когда я как-то проехал с женой верхом по широким аллеям городского сада, по которым ездят арбы, он под носом у меня запер ворота на замок. Ехавший с нами на третьей моей лошади казак Порох сбил замок и выпустил нас. Городской голова написал донос, что я взломал ворота и силою ворвался в сад. Кто-то из офицеров шутя сказал городскому голове, что я взял хлыст и иду бить голову, и тот убежал в пустыню и скрывался там три дня.

Все это было скучно и очень тяжело, потому что все эти милые «мелочи жизни» приходилось расхлебывать и разбирать.

В некоторых общественных кругах нас не любили, и чем мы были лучше, чем выше поднимались, тем больше нас ненавидели. Хорошо одетые казаки, полные сознания собственного достоинства, фанфарные марши, наши конные праздники и состязания, маневры — им были поперек горла.

У Артифексова, вспыльчивого и горячего, такие столкновения доходили до драки.

На меня доносили врачи госпиталя, чиновники, таранчи, туземные учителя, я думаю — больше всех бай Юлдашев, которому я много досадил, сдав довольствие полка Нурмаметову.

Все эти дрязги и вылились в обширное «дело» с 82 пунктами обвинения, с которым был прислан на Тышкан полковник Х.

Все рассеялось как дым. Если у полка и у меня были враги, то еще более оказалось друзей. Ни одно обвинение ни в чем не подтвердилось. Нурмаметов и его туземцы славословили ермаковцев. Наш уездный начальник полковник Смирнов, вскоре после этого покончивший с собою, стал целиком на нашу сторону, но самое главное — внешний вид ермаковцев и отправление ими службы сказали Фольбауму, что этого *просто не могло быть*!

По всем 82 пунктам дело пошло на прекращение. Клеветники остались безнаказанными. Да большинство были анонимы, безымянны, а те, кто выступал сам, говорили всегда не от себя: «Мы слышали»... «нам передавали»... «сами мы, конечно, ничего такого не видали»...

Это были те шипы, без которых нет роз, это были тернии жизни. Жизнь и вообще не сладка, а в том людском, пестром по населению муравейнике, каким был Джаркент, она и не могла быть сладкой.

46. Концерты в Джаркенте и на Тышкане

Скрашивалась она для меня и для нас всех пением моей жены. Когда наладились отношения с Ольгой Николаевной Никольской, жена моя стала устраивать музыкальные вечера у себя дома. Ее стали просить устроить в гарнизонном собрании настоящий концерт для офицеров ермаковского полка и их семей.

На своих вечерах моя жена тщательно подбирала программу. Музыка была почти исключительно русская. В 1-е отделение обыкновенно ставились «Свадьба» Даргомыжского (отличная вещь, чтобы распеться), его же «Песня Ильиничны» — «Ходит ветер у ворот» из оперы «Хованщина»; «Ночь» и «Отворите мне темницу» Рубинштейна; «Степью иду я унылою» Гречанинова; «Северная звезда» и «Венецианская ночь» Глинки; «Погоди» Чайковского и т.п. Особенным успехом пользовалась почему-то «Свадьба» Даргомыжского, которую всегда просили еще и еще раз повторять. Иногда в это отделение романсов моя жена вставляла итальянские вещи — Penso, Tosti и Mattinata, Leonkovallo. 2-е отделение составлялось из народных русских песен по сборникам Балакирева, Римского-Корсакова и Лядова: «Ах ты, поле мое», «Во пиру была», «Заиграй, моя волынка» и других, 3-е — из тех ложнонародных, полуцыганских песен репертуара А.Д.Вяльцевой и Н.В.Плевицкой, которые в ту пору

были в моде в Петербурге и явились совершенной новинкой для Джаркента: «Забыты нежные лобзанья», «Скажи, зачем тебя я встретил», «Коробейники» и обожаемая казаками «Из-за острова на стрежень».

Такую программу составила моя жена и для весеннего концерта в 1913 году для ермаковцев.

Вечер был теплый, окна собранского зала были раскрыты настежь. Под ними собралась толпа. Перед третьим отделением в окно протиснулся громадный букет прелестных роз и «буль-денежей» — «от благодарной галерки»...

Весь гарнизон был в этой галерке. Уездный врач, обладатель лучшего в Джаркенте цветочного сада, обожавший музыку и пение, так растрогался, что в антракт слетал к себе домой и обобрал все свои парники, оранжереи и сад.

Все это было так трогательно, что пришлось моей жене подумать об устройстве концерта для всего гарнизона. Такой концерт было решено устроить в лагерном собрании, где поместительнее был зал и лучше резонанс.

Во время этого концерта произошло весьма нас взволновавшее событие, едва не перевернувшее всей нашей жизни.

Третье отделение приходило к концу, когда полковой адъютант подал мне только что привезенную с гелиографа телеграмму.

На Тышкане не было ни правительственного, ни военного телеграфа, но, когда полки уходили в лагерь, устанавливались посты гелиографа, один на окраине Джаркента, другой на краю нашего военного поля на Тышкане. Днем работали солнцем, ночью лампами Манжена.

Телеграмма была из Петербурга от начальника Офицерской кавалерийской школы генерал-майора Химеца:

«Багратион уходит коннозаводство телеграфируйте согласие принять должность помощника начальника школы».

Я едва мог дождаться конца концерта, «бисов», оваций, цветочных подношений — за ними посылали в Джаркент — и ужина. Как только явилась возможность под предлогом усталости моей жены нам уйти, мы ушли к себе, и я показал своей жене телеграмму.

Это было такое ни с чем не сравнимое счастье, такое, казалось, недостижимое для меня, казака, положение — быть помощником начальника Офицерской кавалерийской школы! Служить в школе, которую я так горячо любил!! Быть опять при том конном деле, которое было всегда самым моим любимым занятием. Рабо-

тать с офицерами. Иметь в своем распоряжении лошадей, лучших из всего годичного ремонта, почти сплошь чистокровных! Каждую осень принимать участие в королевской забаве — в парфорсных охотах в Поставах!.. Наконец, жить в Петербурге, на прекрасной квартире, на Шпалерной улице — в Петербурге, где и я, и моя жена родились, где жили моя мать и брат и родственники моей жены, где каждый камень мостовой был точно родным.

Было от чего кружиться голове, было от чего не спать всю ночь.

В эту же ночь я отправил телеграмму о согласии и написал Василию Александровичу письмо, полное благодарностей.

Но предаваться мечтам не приходилось. Лагерная жизнь кипела. Со дня на день ожидался приезд генерала Фольбаума. Из Верного и Пржевальска приходили полки и батареи. По обычаю их встречали, и офицеров и солдат, хлебом-солью. Гремела музыка, в собрании произносились короткие тосты.

А потом приехал Фольбаум и с ним штаб-офицер с «82 пунктами», начались смотры, состязания, скачки, маневры — предложение Химеца позабылось, некогда было думать о нем. Больше мечтала о нем моя жена, которую так естественно тянуло в Петербург.

В самый разгар лагерного сезона я получил письмо от войскового наказного атамана Донского войска генерал-лейтенанта Покотило. Атаман писал мне, что ему и Войску неприятно, что я командую сибирскими казаками, и спрашивал меня, согласен ли я принять освобождающийся осенью 10-й Донской казачий полк в 1-й Донской казачьей дивизии, стоящей в Замостье.

Когда-то ничего лучшего и быть не могло. Теперь прекрасный этот, родной мне полк заслоняла школа. Я телеграфировал генералу Химецу и спрашивал его, как мне надлежит поступить. В тот же день я получил от Василия Александровича ответ: «Назначение затягивается, принимайте Замостье, лучше быть ближе».

Я ответил генералу Покотило благодарностью и согласием принять 10-й Донской казачий полк.

Назначение князя Багратиона откладывалось по пустому поводу. Князь Багратион настаивал на том, чтобы при назначении его в Государственное коннозаводство ему была сохранена школьная (гусарская) форма. По закону этого нельзя было сделать, так как право сохранения формы при уходе из школы имел только ее начальник. Надо было или уломать князя Багратиона согласиться надеть общегенеральскую форму «по гвардейской кавалерии», или как-то обойти закон. Этим и были заняты в Петербурге.

Отбыв большие маневры и боевую стрельбу с маневрированием, я после «отбоя» у селения Илийского уехал в разрешенный мне отпуск по болезни в Кисловодск. Моя жена уезжала из Джаркента совсем, надеясь скоро устраиваться в Петербурге, я должен был вернуться, чтобы сдать полк.

К полку я вернулся в октябре.

Было томительно грустно расставаться с так полюбившимися мне ермаковцами, с которыми было столько пережито. Столько различных дел было начато и не завершено. В Верно̀м, на участке, отведенном для пастбища полкового конного завода, на плоскогорье, поросшем высокими травами, цветущими вторым осенним цветением, я смотрел наших кобыл. Прекрасными показались они мне, отъевшиеся на траве, выхоленные и вычищенные, как будто подросшие во время моего отсутствия.

В Джаркенте тополя, посаженные нами вокруг манежа, разрослись. Еще год, и они будут бросать тень на дорожку манежа.

Все сотни стали одномастными. На каждом шагу я видел работу полка — и свою тоже — так много было задумано на 1914 год. Поговаривали, что полк переведут в Ташкент на место 1-го Семиреченского казачьего полка. Сибирским казакам надо было дать хотя одну хорошую полковую стоянку.

Да — шел на лучшее, более родное; готовился уйти в школу, где столько было радостного, а больно было расставаться с сибиряками.

В ноябре были проводы. Как я ни просил ничего не делать, офицеры поднесли мне прекрасно сделанную голову кабана своей охоты. Делал ее наш делопроизводитель по хозяйственной части, бывший когда-то препаратором чучел у самого Пржевальского. В голове этой, еще не отделанной, было полтора пуда веса. Клыки торчали длинными завитками, внизу была серебряная дощечка с надписью и та трехлинейная пуля, которая сразила зверя.

Провожал меня весь полк до Борохудзира-Голубевского. Я ехал на знаменитом анненковском Султане. Мои лошади уже ушли в Замостье...

В Голубевском у почтовой станции была «стремянная» — простился я со своими сотрудниками-офицерами, простился сердечно и с казаками: «Не поминайте лихом своего командира, который всегда и везде желал только славы и чести полку».

Мне подали полковой тарантас. Тот же Прокофьев, те же серые киргизы, которые и привезли меня сюда, подъехали к полку.

Слезы наворачивались на глаза.

— Прощайте!

Залились колокольцы, зазвенели бубенцы, вихрем подхватили лошади. Прощальное «ура!» раздалось сзади.

Кто знал, что ожидает каждого из нас в близком будущем? Кто знает, что ожидает и теперь, завтра, через год... через одну минуту? У нас нет настоящего — есть только будущее и прошедшее... В этом прошедшем — моя служба на рубеже Китая, у подножия суровых Небесных гор — Тянь-Шаня.

...Встает из тьмы загадочный Тянь-Шань,
Смеется небо ясно-бирюзово.
И пусть судьба протягивает длань,
Грозя нас сжать в тисках своих суровых!
Чем путь трудней — тем выше будет честь!
Пускай горька недопитая чаша!
При нашей бедности — у нас богатство есть:
То, что прошло, — неотторжимо наше!*

Декабрь 1936 — февраль 1937
Дер. Сантени. Франция

---

* Из ненапечатанного стихотворения Марии Эйхельбергер-Волковой, написанного в 1935 году.

На внутреннем фронте

Глава первая
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В апреле 1917 года 2-ю Сводную казачью дивизию, которой я командовал около двух лет и с которой был почти все время в боях, сменила на позиции под Пинском 172-я пехотная дивизия, и ее отвели в тыл, на отдых. Я тогда же решил подать рапорт об увольнении меня в отставку. Новые порядки, введенные Временным правительством, отсутствие какой бы то ни было власти у начальников, передача в руки комитетов всех полковых дел быстро расшатывали армию. Пока дивизия стояла на позиции, в непосредственной близости к неприятелю, она держалась. Наряд исполнялся правильно, офицеров слушались, форму одежды соблюдали. 10 апреля к нам в дивизию приезжал кн. Павел Долгоруков, член к.-д. партии. Он смотрел собранную для этого случая Донскую бригаду — 16-й и 17-й Донские полки — и сказал весьма патриотическую речь. На речь отвечали я и начальник штаба 4-го кавалерийского корпуса генерал-майор Черячукин, а затем один урядник 16-го полка, который от имени казаков клялся, что казачество не положит оружия и будет драться до последнего казака с немцами — до общего мира в полном согласии с союзниками. Князь Павел Долгоруков ездил со мною в окопы, занятые пластунским дивизионом. Он присутствовал при смене пластунов с боевого участка, видел их жизнь в окопах и был поражен их выправкою, чистотою одежды, молодцеватыми ответами и знанием своего дела. Все это он мне высказал в самой лестной форме и потом задумчиво добавил:

— Если бы это было так во всей армии!..

— А что? — спросил я.

Мы на позиции были далеки от жизни. В гости к нам никто не приезжал, письма политики не касались, газеты были старые. Мы

верили, что великая бескровная революция прошла, что Временное правительство идет быстрыми шагами к Учредительному собранию, а Учредительное собрание — к конституционной монархии с Великим Князем Михаилом Александровичем во главе. На Совет солдатских и рабочих депутатов смотрели как на что-то вроде нижней палаты будущего парламента.

— Я видел Московский гарнизон, — сказал кн. Долгоруков. — Он ужасен. Никакой дисциплины. Солдаты открыто торгуют форменною одеждою и дезертируют. Армия вышла из повиновения. Спасти может только наступление и победа.

— И наступление не спасет, — отвечал я, — потому что такая армия победы не даст.

Я помню, что тогда же меня спросили, как я смотрю на переход в наступление *революционными* войсками, с комитетами во главе. Я ответил, что, как русский человек, я очень хотел бы, чтобы оно завершилось победою, но как военному, сорок лет верившему в незыблемость принципов военной науки, мне будет слишком больно сознавать, что я сорок лет ошибался.

Как только казаки дивизии соприкоснулись с тылом, они начали быстро разлагаться. Начались митинги с вынесением самых диких резолюций. Например, требовали разделить суммы, хранящиеся в денежном ящике (16-й Донской полк), выдать в постоянную носку обмундирование 1-го срока, с великими трудами заготовленное для 1918 года (почти все полки), требовали, чтобы офицеры, приходя на учение, здоровались с каждым казаком за руку (1-й Волжский полк), увеличения числа отпускных казаков. Все эти требования отклонялись, но казаки сами стали проводить их в жизнь. 16-й Донской казачий полк разобрал полковые цейхгаузы и вырядился во все новое, когда и старое было хорошо. Примеру его частично последовали и другие полки. Казаки перестали чистить и регулярно кормить лошадей. О каких бы то ни было занятиях нельзя было и думать. Масса в четыре с лишним тысячи людей, большинство в возрасте от 21 до 30 лет, т.е. крепких, сильных и здоровых, притом не втянутых в ежедневную тяжелую работу, болталась целыми днями без всякого дела, начинала пьянствовать и безобразничать. Казаки украсились алыми бантами, вырядились в красные ленты и ни о каком уважении к офицерам не могли и слышать.

— Мы сами такие же, как офицеры, — говорили они, — не хуже их.

Потребовать и восстановить дисциплину было невозможно. Все знали, — потому что многие казаки были этому очевидцами, — что

пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреляли на воздух данные им патроны, а ящики с патронами побросали в реку Стырь, заявивши, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником Святой Пасхи на походе. Солдаты потребовали, чтобы им было устроено разговенье, даны яйца и куличи. Ротные и полковой комитет бросились по деревням искать яйца и муку, но в разоренном войною Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты постановили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева, и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что он употребил все усилия, чтобы достать разговенье, и ценою страшного унижения и жестоких оскорблений выторговал себе жизнь. Все это осталось безнаказанным, и казаки это знали.

Меня на ст. Видибор 4 мая на глазах у эшелонов 16-го и 17-го Донских полков арестовали солдаты и повели под конвоем со стрельбою вверх в Видиборский комитет. Там меня обвинили в том, что я принадлежу к числу тех генералов, которые ради помещиков и иностранных капиталистов настаивают на продолжении войны. Одним из обвинителей был казак 17-го Донского казачьего полка Воронков. Потом меня под конвоем же отправили в Минск, где меня должен был судить какой-то трибунал при Армейском комитете. На мое заявление, что есть начальство, которое, если я в чем виноват, будет меня судить, и что никто не смеет задерживать меня при исполнении служебных обязанностей, мне нагло было заявлено, что единственное начальство, которое они признают, — это местный Видиборский комитет, а на Главнокомандующего им плевать. Комитет выше Главнокомандующего. В Минске, однако, мои конвойные растерялись, дали мне возможность повидать коменданта станции, передать о всем случившемся в штаб Западного фронта, меня доставили к Главнокомандующему фронтом генералу от кавалерии Гурко, который меня сейчас же освободил и отправил к дивизии.

Все это осталось без наказания. Стоило только начальству возбудить какое-либо дело против солдата, как на защиту его поднимались комитеты. В ротах собирались митинги, солдатская масса волновалась, и начальство испуганно бросало дело.

Пехота, сменявшая нас, шла по белорусским деревням, как татары шли по покоренной Руси. Огнем и мечом. Солдаты отнимали у жителей все съестное, для потехи расстреливали из винтовок коров, насиловали женщин, отнимали деньги. Офицеры были за-

пуганы и молчали. Были и такие, которые сами, ища популярности у солдат, становились во главе насильнических шаек.

Ясно было, что армии нет, что она пропала, что надо как можно скорее, пока можно, заключить мир и уводить и распределять по своим деревням эту сошедшую с ума массу. Я писал рапорты вверх; вверху — ближайшее строевое начальство — командир корпуса, те, кто имеет непосредственное отношение к солдату, встречали их сочувствием, но выше, в штабе особой армии — генерал Балуев, в Военном министерстве, во главе которого стал А.Ф.Керенский, к ним относились скептически.

— К этому надо привыкнуть, — говорили там. — Создается армия на новых началах, сознательная армия. Без эксцессов такой переворот обойтись не может. Вы должны во имя родины потерпеть.

Я горячо любил свою дивизию, свидетельницу стольких славных побед. Я стал собирать офицеров, комитеты и казаков, вести с ними горячие, страстные беседы, возбуждая в них прежнее полковое и войсковое самолюбие, напоминая о великом прошлом и требуя образумиться.

— Правильно! Правильно! — раздавались голоса; толпа как будто бы понимала и сознавала ошибки свои, хотела становиться на правильный путь, но уходил я — раздавался чей-нибудь бесшабашный голос:

— Товарищи! Это что же, генерал-то нас к старому режиму гнет! Под офицерскую, значит, палку! — и все шло прахом.

В голове все решили, что война кончена.

«Какая нонче война! Нонче свобода!»

Это звучное, славное слово стало синонимом самых ужасных насилий.

Мне было совестно получать жалованье за то, что я ничего не делал и жил своею жизнью, и я поехал в штаб Особой армии настаивать на отставке.

Однако командующий армией генерал Балуев моей отставки не принял, основываясь на приказе Керенского никого из лиц командного состава от службы не увольнять, но, понявши, что мне оставаться в дивизии, где авторитет мой был поколеблен, нельзя, предложил мне принять в командование 1-ю Кубанскую дивизию.

10 июня я прибыл в дивизию, расположенную в окрестностях города Мозыря.

Глава вторая
В 1-й КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ. КАЗАЧЬИ НАСТРОЕНИЯ

1-я Кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны. Много было босых. Лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. Заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину.

Надо отдать справедливость — все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий армией приказал отпустить вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков, довольствие было улучшено. Мозырское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать нам лучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От Кубанского войска удалось добиться пополнений. Все полковые суммы, которые, на счастье, оказались в целости, были мобилизованы, и заведующие хозяйством с представителями от комитетов поехали кто в Киев, кто в Войско заказывать для казаков бешметы и черкески, которых они давно не видали.

Эти хозяйственные заботы отвлекали казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный, домовитый, хозяйственный вид. Сотенные и полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину.

До революции и известного приказа № 1 каждый из нас знал, что ему надо делать, как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам, офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу на отдыхе и тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, зачинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, к которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песенники и играли трубачи — день был полон, он нес свои заботы и свое утомление, полковая машина вертелась, и каждый что-

нибудь да делал. Лодыри преследовались и наказывались. Лущить семечки было некогда. После революции пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на боевые и не боевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду выражению *постольку-поскольку.* Безусый, окончивший четырехмесячные курсы, прапорщик или просто солдат — рассуждал, нужно или нет то или другое учение, и достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятие не вышла, и началось бы то, что тогда очень просто называлось *эксцессами.* Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника, и все сходило совершенно безнаказанно.

Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятия надо было очень осторожно. Я решил повести их двух видов — беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и чинами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы «данного политического момента» — конечно, земля, земля и земля... Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть, и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с объединения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем или о монархии, но без царя и т.п. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей войны, рассказал о значении Босфора и Дарданелл, что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью, вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России, показал на примитивных, от руки сделанных чертежах взаимное соотношение казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы даже и с офицерскими погонами на плечах. Говорил и о патриотизме, о победе и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами; беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. «Так, дескать, будет прочнее и вернее».

Маневры, которые я вел параллельно с беседами и делал неутомительными (2—6 часов), вначале тоже нравились, но тут, к великому огорчению своему, я наткнулся на *отрицание войны*. Война шла кругом. В двадцати верстах от нас была позиция. Очень редкий, правда, орудийный огонь был слышен на наших биваках, когда мы перешли в селение Тростенец. Мы знали, что на юге было наступление, руководимое Корниловым и Керенским и закончившееся позорным бегством наших, но тем не менее, когда на маневрах я обучал резать проволоку, метать ручные гранаты, врываться в окопы, а потом бросаться в конном строю в преследование, я слышал разговоры, что «нам этого делать не придется, война кончена».

Она шла кругом, но революция так сильно потрясла души казаков, что в них уже не укладывалась с понятием о гражданской свободе необходимость сражаться и умирать за родину. И это было ужасно.

Во 2-м Уманском, 2-м Полтавском и 2-м Запорожском полках занятия шли особенно хорошо. Занимались для выправки, здоровья и бодрости даже сокольскою гимнастикой под музыку. Несколько туже шло дело во 2-м Таманском полку. Во всей дивизии было установлено правило приветствовать друг друга отданием чести. Переход на новые места — около 200 верст — дивизия, по моему настоянию, сделала не по железной дороге, а походом, причем походом шел и стрелковый ее дивизион. Весь поход прошел в образцовом порядке, нигде не было жалоб жителей на обиды и притеснения. Казаки, напротив, щеголяли ласковостью и предупредительностью к крестьянам.

Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно. Я не обольщался этим. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одною жизнью 34 года, я чувствовал, что все это непрочно. Это было баловство — игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их идти вперед, все разбежится и исчезнет, предавши офицеров. Не было страха перед неисполнением приказа или команды, того страха, который, странное дело, сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал: «Вперед! Вперед! Ничего! Вперед!» — было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. А бросились бы эти? — спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица и отвечал —

нет, не бросились бы. Раньше казаку или солдату стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода или промок — при пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселые, как бы над самим собою смеющиеся лица и на вопрос: «Что, холодно?» — слышал веселый, бодрый ответ: «Никак нет!» — иногда сопровождаемый какою-либо острой солдатской шуткой над самим собою. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые, мрачные взгляды. Они стали барами, господами, они искали комфорта и радости жизни — а это уже не солдаты и не казаки.

Внешне полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но внутренне они ничего не стоили. Не было над ними палки капрала, которой они боялись бы больше, нежели пули неприятеля, и пуля неприятеля приобретала для них особое страшное значение.

Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти лет — погибла армия.

И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль — и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения.

Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные *усмирения* неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и т.п. Бывая у своего командира корпуса, генерал-лейтенанта Я.Ф.Гилленшмидта, с которым я был в приятельских отношениях и на «ты», я постоянно просил его поберечь в этом отношении дивизию и не посылать ее с карательными целями.

Просьба была не напрасная. По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием приказа № 1 и разрушения армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить Временному правительству.

20 августа меня вызвали в штаб Особой армии, в Домбровицу. Я застал вр. командующего армией генерала Эрдели в большой тревоге. Командующий армией и штаб опасались, что их же войска могут арестовать и убить их. Меня спрашивали, насколько в этом отношении надежны казаки дивизии и станут ли они на защиту начальства своих солдат.

Что я мог ответить, оставаясь совершенно честным?

Я мог сказать только подлое слово, рожденное этим страшным временем: «постольку-поскольку».

Казаки будут нести честно караульную службу, они не заснут на часах, они не допустят единичных людей, в равном числе они будут драться, но если на них навалится *сила*, если их много будет бито и ранено — я за них не ручался.

Скоро пришлось с печалью убедиться, что я не ошибался.

В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходит в России. Смутно слышали, что Верховный главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановления полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано объявить в полках. Собранные мною с этою целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности, солдаты, казаки повесили головы.

— Это значит, опять к старому режиму, — печально говорили казаки... — Значит, прощай свобода! Не отдал чести али коня не почистил как следует, и становись в боевую!

Солдаты встревожились еще решительнее.

— Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим. Довольно!

Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде, офицеры ждали от него чуда — спасения армии, наступления, победы и мира, потому что понимали, что продолжать войну уже больше нельзя, но и мир получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозначащим смертной казни и всяким наказаниям.

— Корнилов хочет войны, — говорили они, — а мы желаем мира.

Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором, никто не думал. И не только казаки и офицеры или я, но даже и командир корпуса об этом не подозревал.

Об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. «Были беспорядки», — говорили в дивизии и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними и знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами.

И потому, когда 24 августа я получил от генерал-майора Д.П.Сазонова, бывшего помощника походного атамана Великого Князя Бориса Владимировича, телеграмму: «23 августа, 16 часов 57 мин. Наштаверх приказал представить вас назначению команкор. третьего конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать Ставку. Штаб-атаман 10777 Генерал Сазонов», — она меня только удивила. По имевшимся у меня частным сведениям, 3-й кавалерийский корпус, которым командовал генерал Крымов, находился где-то в Херсонской губернии, в районе города Ананьева, и ехать в него через Ставку мне было совсем не по пути. О том, что 3-й кавалерийский корпус уже перебрасывался к Петрограду, мы в своей деревенской глуши и не подозревали.

Будь это назначение в старое дореволюционное время, оно меня, конечно, страшно обрадовало бы. 3-й кавалерийский корпус, бывший раньше под командою гр. Келлера, пользовался необыкновенно громкой боевой репутацией. Я имел счастье в рядах этого корпуса командовать 10-м Донским казачьим полком и принять участие в громкой победе корпуса над австрийцами у селений Баламутовка, Малинцы, Ржавенцы и Топоруц, где мы захватили более 6000 пленных и большую добычу. 1-я Донская дивизия, входившая в состав этого корпуса, была для меня родною дивизией. Я в ней командовал полком в мирное время в Замостье и с нею проделал весь поход 1914 года и до конца апреля 1915 года. Все офицеры, и даже казаки этой дивизии, были не только моими боевыми товарищами, но, смело скажу, были моими друзьями. Иметь ее в своем корпусе по-настоящему — это было бы величайшим счастьем.

Теперь, при общем развале армии и крушении всех идеалов, это давало только новые огорчения и разочарования, а главное, задерживало меня на военной службе, которая при том характере, который она приняла, становилась мне противной и лишала меня возможности уйти в отставку...

Но прежде чем отправиться в Ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже не способны выдержать сколько-нибудь сильное испытание.

Глава третья

БУНТ 3-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ. УБИЙСТВО КОМИССАРА ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА Ф.Ф.ЛИНДЕ

В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки пехотной дивизии, стоявшей на позиции у селения Духче в 18 верстах от моего штаба, отказываются выполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководят несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. На переданное требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой.

Передававший мне приказание за начальника штаба корпуса полковник Богаевский добавил:

— Командир корпуса очень хотел бы, чтобы вы лично поехали с полком. Вероятно, все обойдется благополучно. Туда приедет комиссар фронта Линде, который все это и сделает. Вы нужны только для декорации. Солдаты должны увидеть часть в полном порядке.

Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира полка полковника Агрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. В 7 часов утра я приехал в деревню Славитичи, где был полк, и нашел его в полном порядке. Люди были отлично одеты, лошади вычищены, но, объезжая взводы и вглядываясь в лица казаков, я встречал хмурые, косые взгляды и видел какую-то растерянность. Объяснивши казакам нашу задачу, я сказал им, что от их дисциплинированности, их бодрого внешнего вида в значительной степени зависит и успех самого предприятия.

— Солдаты, — сказал я, — должны понять, что они ошибаются. В вас они должны видеть не врагов, но старших товарищей, понимающих долг службы и присяги!

— Постараемся, господин генерал, — ответили казаки.

Было решено, что мы придем в Духче с музыкой и песнями.

Когда полк тронулся, я спросил у командира полка:

— Как настроение казаков? — Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот, такой дикий полгода тому назад, вопрос о настроении, как справляются о настроении капризной женщины или больного.

— Ничего, — отвечал мне Агрызков. — Я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили.

В 10 часов утра мы прибыли в селение Духче, где нас ожидал начальник пехотной дивизии генерал-лейтенант Гиршфельдт. Он направил казаков к пехотному биваку, приказавши окружить его со всех сторон, оставив одну сотню в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением.

— Настоящее войско! — говорили они. — Значит, есть, сохранилось!..

Я остался в штабе с Гиршфельдтом ожидать комиссара Линде. Если я не ошибаюсь, Линде был тот самый вольноопределяющийся л.-гв. Финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казарм и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова.

Около 11 часов утра на автомобиле из г. Луцка приехал комиссар фронта Ф.Ф.Линде. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить с ясно слышным немецким акцентом, своим отлично сшитым френчем, галифе и сапогами с обмотками он мне напомнил самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своею молодою, легкою фигурою, задорным тоном, каким он говорил с Гиршфельдтом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками.

— Ну, еще бы, — говорил он, манерно морщась, на доклад Гиршфельдта, что все его увещевания не привели ни к чему и виновные все еще не выданы. — Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом.

Он был в нервном, сильно возбужденном настроении. Его тешило то внимание, которое обращали на него высыпавшие толпами на улицы деревни солдаты.

— Комиссар! Комиссар! — слышалось по рядам, и он медленно, рисуясь, садился в автомобиль с Гиршфельдтом. Я поехал сбоку автомобиля верхом.

Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шло две дороги. Одна на деревню Духче, другая через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком.

Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту.

Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты очень напуганы появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы.

Гиршфельдт и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий полдень. Солнце высоко стояло на синем небе, в лесу пахло хвоею, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться поротно. Некоторые роты уже были готовы и строем сводились в батальонные колонны. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдтом.

— Вот вторая рота (если память мне не изменяет), — сказал командир полка. — Она главная зачинщица всех беспорядков.

Линде вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту гневными глазами и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь.

— Когда ваша Родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага, — отрывисто, отчетливо говорил Линде, и его голос отдавало лесное эхо, — вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, вы сволочь, которую нужно уничтожить. Вы зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я, комиссар Юго-Западного фронта, я, который привел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказ начальника. Иначе вы ответите все. И я не пощажу вас!

Тон речи Линде, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник, делясь со мною впечатлениями дня, сказал: «Они, господин генерал, сами виноваты. Уже очень их речь была не *демократическая*. Вы с нами никогда так не говорите и не ругаетесь. Да и вам бы простили. А он что — свой же брат солдат, член исполнительно-

го комитета, а все сыплет: свиньи да сволочи... Сам-то кто? Немец притом. Может быть, солдаты его и за шпиона приняли».

Когда Линде замолчал, рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от «своего» комиссара.

— Ну что же! — грозно сказал Линде и пошел вдоль фронта.

Командир полка стал вызывать людей по фамилиям. Он уже знал зачинщиков. Выходившие были смертельно бледны, тою зеленоватою бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди большею частью молодые, типичные горожане, может быть рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось двадцать два человека.

— Это и все? — спросил Линде.

— Все, — коротко ответил командир полка.

Один из вызванных начал что-то говорить. Линде бросился к нему:

— Молчать! Сволочь! Негодяй! После поговоришь...

Возьмите их, — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру.

— Не выдадим!.. Товарищи! Что же это!.. — раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялись над фронтом.

Я обернулся. Конная сотня, стоявшая шагах в двадцати, грозно двинулась, и люди стихли.

— Ведите этих подлецов, и при малейшей попытке к бегству — пристрелить, — сказал Гиршфельдт казачьему офицеру.

— Понимаю, — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса.

Дело было сделано, настроение солдат было очень возбужденное, квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны, и я подумал, что хорошо будет, если Линде теперь же уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал это ему.

— Нет, генерал. Вы ничего не понимаете, — сказал Линде. — Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки.

Линде и начальник дивизии генерал Гиршфельдт сияли счастьем первой удачи; какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линде полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено, судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам

и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва пятьсот человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше четырех тысяч, да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах.

Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался, кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за Родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ.

Немцы изредка постреливали со своей позиции, и германские шрапнели, пущенные с далеких батарей, разрывались высоко над лесом в ясном синем небе. Это еще более возбуждало Линде. Он указывал на них и говорил, что на боевой позиции всякое преступление является изменой Родине и свободе. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец.

Кончив, Линде, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям первого батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линде, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат.

Ко мне то и дело подходили офицеры 2-го Уманского полка и говорили:

— Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом.

Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат и слышался разговор.

Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом воодушевления, он *верил* в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все.

— Вас считают за немецкого шпиона, — сказал я.

— Какие глупости, — сказал он. — Поверьте мне, что это все прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил.

Было около трех часов пополудни и сильно жарко. Линде уже не говорил речей, но и он, и генерал Гиршфельдт стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были

все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде. Помню одного из них. Неловкий парень, с длинными, как у обезьяны, руками, колченогий, с круглым идиотским лицом, бледная кожа которого была покрыта ярко-желтыми веснушками, типичный дегенерат, солдат этот все время привязывался с самыми неожиданными вопросами то к Линде, то к Гиршфельдту. Я удивлялся терпению Линде, с каким он старался объяснить самые острые вопросы.

Для того чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся четыре сотни на площадке, приказал завести машину Линде и подать ее ближе и решительно вывел Линде из толпы.

— Вам надо уехать сейчас же, — строго сказал я. — Я ни за что не отвечаю.

— Вы боитесь, — сказал Линде.

— Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, может быть, и не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте!

Линде колебался. Лицо его было возбуждено, я чувствовал, что он упоен собою, влюблен в себя и верит в свою силу, в силу *слова.*

Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова, шофер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофера напряженно впились в руль машины.

— Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля.

Я пошел садиться на свою лошадь. Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать.

— Уезжайте, — сказал он, — 443-й полк снялся с позиции и с орудием идет сюда. Он хочет с вами говорить.

— Как! — воскликнул Линде. — Самовольно сошел с позиции? Я пойду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии.

— Люди вооружены, — сказал командир полка.

— Я — комиссар. Меня не тронут. Это мой долг, — сказал он. — Ведь вы знаете, — сказал он мне, — они обвиняют генерала Гиршфельдта в том, что он продал немцам за 40 000 рублей свою позицию. Как это глупо! За сорок тысяч! Вечно нелепая басня об измене генералов!

В это время в лесу, в направлении позиции раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил:

— Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались.

Я передал этот доклад Линде и еще раз просил его немедленно уехать.

— Но ведь это уже настоящий бунт! — сказал он. — Мой долг — быть там! Генерал, вы можете не сопровождать меня. Я пойду один. Меня не тронут.

— Мой долг — ехать с вами, — сказал я и тронул свою лошадь рядом с автомобилем.

Толпа, тысяч в шесть солдат, запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы.

Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы:

— В ружье!..

Толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно, сзади и подле нас застучал пулемет, и началась бешеная пальба. Все шесть тысяч, а может быть и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки шарахнулись и понеслись к дороге и мимо дороги на проволоку резервной позиции.

— Стой! — крикнул я. — Куда вы! С ума сошли! Стреляют вверх.

— Сейчас вверх, а потом и по вас! — крикнул, проскакивая мимо меня, смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку.

Полк, мой отборный конвой, трубачи — все исчезло в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге да удаляющиеся там и сям упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при Линде я, генерал Мистулов и мой начальник штаба, Генерального штаба полковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня еще была надежда вывести Линде из этого хаоса.

Автомобиль повернули обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистеть мимо нас и щелкать по автомобилю. Ясно, что теперь уже автомобиль станет мишенью для стрельбы.

Шоферы остановили машину, во мгновение ока выскочили из нее и бросились в лес. За ними выскочили и Линде с Гиршфельдтом. Гиршфельдт побежал в лес, а Линде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в ви-

сок. Он побледнел, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. И сейчас же все с дикими криками, улюлюканьем бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехал из леса. Выстрелы провожали нас. Однако стреляли не целясь. Много пуль свистало над нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова.

За лесом я стал нагонять пеших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Их было человек двадцать. Сзади них шли два офицера и с ними генерал Гиршфельдт.

— Как вам не стыдно, уманцы! — сказал я им. — Ну, чего разбежались? Чего падаете? Пехота стреляет зря. Никого не убило. Видите, я еду верхом, на большой лошади, и то меня не тронуло.

— Его сила, ваше превосходительство! — отвечали исступленно казаки. — Всех перебьет. Наших много полегло. Полполка нет.

Из этих немногих слов мне стало ясно одно: полк надо собрать и успокоить. Верстах в двух за лесом мы встретили двуколку с солдатом, на нее усадили уставшего и запыхавшегося генерала Гиршфельдта и с ним двух офицеров и приказали ехать в штаб дивизии, в деревню Духче. Я продолжал ехать шагом. Стрельба почти прекратилась, лишь изредка свистала над нами какая-либо пуля. Мало-помалу ко мне начали собираться рассеявшиеся по полям казаки. Первым явился мой вестовой Алпатов, со сконфуженным лицом и без сил.

— А мы думали, вас убили, ваше превосходительство, — улыбаясь, сказал он.

— Фу! Да и дурной же! — сказал я ему. — Хороши будете без шапки!

— Я у пехоты скраду! — улыбаясь, отвечал Алпатов. — Как палили-то! Страсть! Я думал, никто жив не будет.

— Так ведь вверх! — с досадою сказал я.

— И то вверх, — согласился Алпатов.

Недалеко от Духче полковник Агрызков собирал полк. Увидевши меня, он поскакал ко мне.

— Полк сильно расстроен, — доложил он. — Половина людей не знаю где. Надо идти домой, успокоить. Меня и вас грозят убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить.

— Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были обязаны, — сухо сказал я ему.

— А где? — растерянно спросил Агрызков.

— Убит солдатами на моих глазах, — сказал я.

Агрызков тяжело вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих потерявших лошадей, был безотраден. Я молча объехал ряды и сказал Агрызкову:

— Соберите полк в Духче и ожидайте там приказаний.

После этого я поехал в Духче. Там все было спокойно. Я связался с командиром 4-го кавалерийского корпуса телефоном и доложил о происшествии. Командир корпуса потребовал, чтобы я приехал немедленно к нему, к нему же направил и уманцев. Он был очень обеспокоен тем, что произошло, и вызвал к штабу корпуса 2-й Полтавский полк и броневые машины.

В Духче приехал генерал от инфантерии Волкобой, командир армейского корпуса, в который входила пехотная дивизия, и стал совещаться с Гиршфельдтом о том, что делать. Я поехал верхом в деревню Пожарки, где был штаб 4-го кавалерийского корпуса. Уже затемно, с Муженковым и двумя вестовыми я приехал в Пожарки. На дворе господского дома стояло две броневых машины. Среди чинов штаба было волнение, носились слухи, что вся 3-я пехотная дивизия сошла с фронта и идет на Пожарки. Я рассеял эти слухи, да телефон из Духче скоро сообщил нам иные, хотя и очень печальные, известия.

При моем отъезде генерал Волкобой, считавший себя любимцем солдат, почтенный старик, с седой бородой, типичный русский старик, «дедушка», как звали его солдаты, убедил Гиршфельдта поехать в дивизию без конвоя и уговорить солдат повиноваться. Они поехали вдвоем на лесную прогалину. Там их окружила толпа солдат. Солдаты прежде всего потребовали освобождения арестованных — Волкобой тут же приказал их отпустить. Потом схватили Гиршфельдта, повели его в лес, раздели, привязали к дереву, истязали и надругивались над ним, после чего убили. Волкобой убежал в землянку, плакал и умолял пощадить его в уважение к его сединам. Солдаты со смехом выволокли его из землянки, посадили в автомобиль и, окружив издевавшимися над ним солдатами, отвезли в штаб его корпуса.

Вместе с Гиршфельдтом был убит командир полка и еще один офицер. Убийства, наступающая темнота, лес — все подействовало отрезвляюще на солдат, и они тихо ушли на позицию и решили сидеть в ней и никуда не уходить. Не раскаяние и не угрызение совести руководили ими, но страх наказания и сознание, что вина их очень велика.

Ночью полковник Агрызков, убедившись в плохом настроении казаков 2-го Уманского полка, увел их за реку Стырь на свои

квартиры! В полку никто не был убит. Было помято лошадьми несколько казаков, да несколько лошадей покалечилось на проволоках во время безумного бегства. Полтавцы, переговоривши с уманцами, постановили, что они *на верную смерть* не пойдут. Таким образом, в несколько часов была разрушена вся та работа по приобретению доверия, которую я делал три месяца.

В штаб корпуса ночью прибыл помощник комиссара Линде из Луцка и исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов гор. Луцка, — они утром хотели ехать творить суд и расправу над виновниками убийства Линде и Гиршфельдта. В штабе же находился войсковой старшина Хоперсков, командир пластунского (не из казаков, а из солдат) дивизиона бывшей моей 2-й казачьей Сводной дивизии и комитета дивизиона. Они явились по личному почину предложить командиру корпуса свои услуги по охране в штабе корпуса и восстановлению порядка на позиции.

Утром предполагалось начать разведку и приступить к смене частей 3-й дивизии с позиции для отвода ее в тыл. Но мне уже не пришлось принимать в этом участия. В ночь на 26 августа пришла из Ставки Верховного главнокомандующего телеграмма, подписанная Корниловым!.. Я был назначен командиром 3-го конного корпуса, и Корнилов требовал моего немедленного прибытия в Ставку. Генерал Гилленшмидт, у которого в корпусе я был больше двух лет и который очень меня любил, сердечно простился со мною.

— Поезжай немедленно, — сказал он. — Я не знаю, что там, но чувствую, что там тебе сразу предстоит работа. Бог да поможет тебе.

В те печальные дни, когда не проходило недели, чтобы кто-либо из начальников не был убит, то случайно, то умышленно, мы все чувствовали себя обреченными на смерть и были к ней готовы каждую минуту.

— Лишь бы не мучили, — сказал мне Гилленшмидт, говоря о смерти от руки своих же.

— Я не признаю мучений, — отвечал я ему. — Страшен первый удар. Но он, несомненно, вызывает притупление чувствительности, полубессознательное состояние, и дальнейшие удары уже не дают ни болевого, ни морального ощущения.

26 августа я уехал из дер. Пожарки и в тот же день, сдавши дивизии генералу Колесникову и отправив своих лошадей, ночью поехал на станцию Киверцы, чтобы выехать в Могилев.

Глава четвертая

В СТАВКЕ У ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

28 августа в 4 часа утра я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в Ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи, с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим, всегда так неумеренно болтливым офицерам. Как будто боялись друг друга и друг за другом следили.

Так, *ничего не зная* о том, что происходит, я на штабном автомобиле, всегда отходящем в 9 часов во дворец, отправился в штаб Верховного главнокомандующего. Я всю войну провел на позиции. В Ставке я никогда не был, даже в штабах армии за все три года войны счетом был три раза. Я с любопытством оглядывал большой город и массы солдат, ходивших по нему. Проехал взвод туркмен, я полюбовался их прекрасными статными лошадьми. В общем был полный порядок.

После небольших формальностей меня пропустили в дом Верховного главнокомандующего. Главнокомандующий был занят, и мне предложили подождать на площадке 2-го этажа парадной лестницы. Вскоре туда поднялся искалеченный офицер. Он страстно, в повышенном тоне стал говорить мне о том, что батальон инвалидов постановил предоставить себя в полное распоряжение Верховного главнокомандующего и что он приехал с депутацией заявить об этом генералу Корнилову. О Корнилове он отзывался восторженно, со слезами на глазах. «Тяжело же должно быть теперь положение Главнокомандующего, — подумал я, — если инвалидам приходится его защищать». Во время разговора с инвалидом меня потребовали в кабинет начальника штаба. Начальник штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснил мне, что только что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, где явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этою целью Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус, который приданной к нему Кавказской Туземной дивизией развора-

чивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия разворачивается в Туземный корпус приданием к ней 1-го Осетинского и 1-го Дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова 3-й конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской Туземной дивизии в корпус шла на походе, да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурийская конная дивизия 3-го корпуса не знала меня. На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде или в Пскове, в Пскове наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась и в нее быстрыми, твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными нависшими над губою усами. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я представился ему.

— С нами вы, генерал, или против нас? — быстро и твердо спросил меня Корнилов.

— Я старый солдат, ваше высокопревосходительство, — отвечал я, — и всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно.

— Ну, вот и отлично. Поезжайте сейчас же в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове; нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Клембовский? Во всяком случае явитесь к нему. От него получите указания. Да поможет вам Господь! — Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.

Поезд на Псков отходил в 2 часа дня, было всего половина двенадцатого, и я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улице толпилось очень много ударников из ударных батальонов, они щеголевато отдавали честь, но, видимо, были смущены, собирались кучками и о чем-то шептались.

В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба генерал от кавалерии Смагин, и Сазонов, и чины штаба, полковники Власов и Греков, были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что

Керенский определенно ведет армию к полному разложению, если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился исполнительному комитету Совета солдатских и рабочих депутатов, того совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает; России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, Верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до Учредительного собрания.

Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казака-крестьянина» звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанному не по-крестьянски. В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: «Долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир *по телеграфу*». А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фальшь, и его контрприказ, объявлявший Корнилова изменником и контрреволюционером, говоривший о тех завоеваниях революции, которые солдатом понимались как своевольничание, ничегонеделание, пьянство и отсутствие какой-то ни было власти, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу всего дела.

Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Coup d'état[1], для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали 3-й корпус под Могилевом? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные марши над полем, было сказано какое-либо сильное увлекающее слово, — боже сохрани, не речь, а именно *слово*, — была обещана награда? Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом, на станции, толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата, — кто его знает кого? Они не видели своих вождей с собою и даже не знали, где они. Я помню, как гр. Келлер повел нас

[1] Государственный переворот *(фр.)*.

на штурм Ржавендов и Топороуца. Молчаливо весенним утром на черном пахотном поле выстроились 48 эскадронов сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал солдатам и казакам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская масса «ура!», заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой — казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком. И он был тут, он был в поле, и его видали даже там, где его не было. И шли на штурм весело и смело.

Тут все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов неизвестно где, части не в руках у своих начальников.

Легенда о «всаднике на белом коне», въезжающем победителем в город, слишком сильно въелась в народные умы, чтобы ею можно было пренебрегать, совершая coup d'état.

Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили. Керенского в армии ненавидят. Кто он такой? — штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда идти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка; все подготовлено.

Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов?

В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел идти на станцию пешком. Меня не пустили.

— Нельзя, милый друг, — сказал мне Д.П.Сазонов. — Мало ли что может случиться? Мы тебе дадим автомобиль.

Смагин навязал сопровождать меня сотника Генералова, случайно бывшего у них, опять-таки под тем предлогом, что мало ли что может выйти и всегда хорошо иметь при себе верного и надежного человека.

В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только что уехал из Ставки в Петроград на паровозе Филоненков*, приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненкова в правоте своего поступка и Филоненков будто бы теперь помчал-

* Верховный комиссар.

ся уговаривать Керенского признать диктатуру Корнилова, причем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции.

В разговор вмешался другой офицер и стал доказывать, что Керенский никогда не примирится с постом министра юстиции, что он крайне честолюбив и сам жаждет диктатуры, при этом рассказывал те сплетни, которые ходили тогда, что Керенский спит в постели императрицы и носит белье императора.

Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду.

В 2 часа 50 минут я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе и поехал к Петрограду.

Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтоб кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загаживают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников.

По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в Ставке, являлся арест членов Временного правительства и арест Совета солдатских и рабочих депутатов, иными словами захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, краса и гордость революции — матросы вступятся за своего вождя и героя, может быть, рабочие и весьма вероятно Петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало. Но, считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно и офицеры Петроградского гарнизона, училища и пр., вероятно, на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только возможно скорее увидеть корпус *собранным в поле* как грозную силу, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги.

Невольно задумывался и о своем положении. В случае удачи — ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников, в случае крушения дела нам придется разделить его участь — тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае идти надо, потому что не только морально — все симпатии мои были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего Верховного главнокомандующего

и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генералы Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба походного атамана, мы ни разу не останавливались над вопросом о том, к какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении Государя Императора и сносился и дружил с Гучковым. Мы все так жаждали возрождения армии и надежды на победу, что готовы были тогда идти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия.

Спасти армию! Спасти какою угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений — вот что руководило нами тогда и заставляло верить Корнилову и Крымову.

Глава пятая
НА СТАНЦИИ ДНО. ТУЗЕМНЫЙ КОРПУС

В 6 часов утра 29 августа мы прибыли на станцию Дно, и здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет: между Вырицей и Павловском путь разобран, идет перестрелка между всадниками Туземного корпуса и солдатами Петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эшелонами с частями Туземного корпуса. В зале I и II классов и в буфете, несмотря на ранний час, столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказание. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого бы то ни было воинского порядка. Масса знакомых — в 1915 году я командовал 3-й бригадой Кавказской Туземной дивизии — меня обступила. Никто толком ничего не знал. Эшелоны стреляли на всем пути, но никто не знал, что делать, приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подойти только через несколько дней. Командир Туземного корпуса князь Багратион находился верстах в восьми от станции в каком-то имении. Туда ехал командир Ингушского полка полковник Мерчуле, я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться.

Странно было проезжать по шоссированной дороге между мокрых порыжелых кустов ивы и смотреть на болотистые луговины

и уже золотые березы, такие близкие и родные мне с детства, так напомнившие дачи и маневры всей моей жизни; и теперь предстояли тоже маневры, но только какие!

По пути попадались всадники, и так не гармонировали они своими изношенными серыми черкесками и рыжими папахами, своими поджарыми горскими лошадьми, сухими лицами с длинными носами — с печальной природой плаксивого Севера.

Князь Багратион только что встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меня рассмотреть с ним присланную ему диспозицию. Диспозицию и план Петрограда, приложенный к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизии занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все было предусмотрено: и занятие дворцов и банков, и караулы на вокзалах, железной дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже, и окружение казарм, и обезоружение гарнизона — не было предусмотрено только одного: встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчаться дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитавши это приказание, князь Багратион ехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады князь Гагарин мог донести Багратиону о том, что происходит.

Произошло же следующее: третья бригада, шедшая во главе Кавказской Туземной дивизии, у станции Вырицы наткнулась на разобранный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли походным порядком на Павловск и Царское Село. Между Павловском и Царским Селом их встретили ружейным огнем, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие навстречу солдаты гвардейских полков драться не хотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин не мог идти один с двумя полками, так как попадал в мешок. Надо было пододвинуть вперед эшелоны Туземной дивизии и начать движение 3-го конного корпуса на Лугу и Гатчину, а где находился 3-й конный корпус, никто точно не знал. Где-то тоже на путях, а Уссурийская конная дивизия даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов и сотен, а ударили одною бригадою князя Гагарина в 8 слабых сотен, наполовину без начальников. Вместо того чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили.

На станции Дно стояли эшелоны Кавказской Туземной дивизии. Было очевидно, что подать их вперед эшелонами нельзя. Все

равно почему. Потому ли, что настроение железнодорожников после воззвания Керенского изменилось и они уже были против Корнилова и называли его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а кн. Багратион не рисковал выгрузиться и идти походом к Вырицам. Казалось, далеко.

Мой поезд на Псков должен был отойти в 2 часа. Около этого времени на станцию прибыло 2 эшелона Приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на опушке леса за путями. У них уже были воззвания Керенского, и они горячо обсуждали, кто изменник, Корнилов или Керенский. Командир полка полковник Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станции и что я назначен командиром 3-го конного корпуса, пошел представиться мне и просил меня поговорить с солдатами.

Я отправился за пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вгляделся в лица. Хорошие, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно, щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по Японской войне, когда был с ними на охране побережья у Кайджоо и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего Верховного главнокомандующего как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном собрании рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас наш долг — повиноваться.

— Господин генерал, — отвечал мне солидный подпрапорщик, вахмистр со многими Георгиевскими крестами. — Оборони боже, чтобы мы отказывались исполнить приказ. Мы с полным удовольствием. Только вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и другой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело? Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда — с нашим удовольствием — свой солдатский долг отлично понимаем.

Но оставаться на станции Дно, когда каждая минута была дорога и каждый лишний солдат был нужен Крымову в Пскове, я считал невозможным.

— Хорошо, — сказал я. — Я с вами согласен, что без разведки не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий Северным фронтом. Я еду сейчас

в Псков, и если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова — мы обязаны его исполнить.

— Совершенно правильно, — раздались голоса солдат. — Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет.

Я надеялся на солидарность между генералами. Я был уверен, что генерал Клембовский станет на точку зрения Корнилова — необходимости спасать, но не разрушать армию.

Драгуны разошлись по вагонам, и через полчаса их эшелоны потянулись по свободному пути на Псков.

В 5 часов пополудни прибыл и мой псковский поезд, и я поехал с ним, обгоняя в пути драгунские эшелоны.

Глава шестая
В ЭШЕЛОНАХ

Ночь была темная, августовская. На остановках то я, то сотник Генералов выходили на станции и ходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину: где на путях, где в вагоне, на седлах у склонившихся к ним головами вороных и караковых лошадей сидели или стояли драгуны и среди них юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые фразы.

— Товарищи, что же вы! Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером да чтобы в зубы вам тыкали. Так, что ли?

— Товарищи! Керенский за свободу и счастье народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с Корниловым?

— Товарищи! Корнилов изменник России и идет вести вас на бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги на то получил, а Керенский хочет мира!..

Молчали драгуны, но лица их становились все сумрачнее и сумрачнее.

Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов, и ни одного не было от Корнилова.

Какая страшная драма разыгрывалась в темной душе солдата в эти дни? Какие ужасные мысли медленно ползли и копошились в его мозгу? Начальники с Верховным главнокомандующим, генералом Корниловым, вели солдат против Временного правительства, того Временного правительства, которое дало им неслыханную

свободу, которое попустительствовало им в их преступлениях против начальников и, не отказываясь на словах, отказалось на деле от войны, потому что лето, период упорных сражений, проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений — июньского на Юго-Западном фронте и июльского на Северном, сорванных солдатами, оставшимися совершенно безнаказанными.

После революции — даже и помимо приказа № 1 — между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата — это была свобода, а свобода — *отрицание войны*. После революции и отречения императора война исчезла из понятия солдата. Ведь войну все время называли капиталистически-империялистской. Императора больше не было, для того чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом откровенно кричали по всей армии большевики. Такие речи я слышал, когда меня 5 мая судил трибунал Видиборского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат 3-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от войны, окопная жизнь ему насмерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он наконец добился. Дезертировать мешал страх наказания и остаток совести, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было *мир*. Временное правительство и особенно исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира, они думали, значит, о мире, обсуждали его. Войны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды, — так внушали солдату, и солдат этому верил. Керенский вовсе не был популярен как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом, но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералами и потому был любим не как Керенский, а как идея мира. Уже то, что он был штатский, а не офицер, давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мир был нужен, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войну, отказался от мира «по телеграфу». Мир «по телеграфу» дали большевики, и солдатская масса пошла за ними.

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания дома, вследствие того, что война давала не только одни несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту — производство

в офицеры, Георгиевские кресты, иногда добыча, — на войну был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не принимали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные с традициями молодыми, в одних и тех же войсках были станицы воинственные и миролюбивые. Потому-то Корнилов и выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира «по телеграфу» не свила еще прочного гнезда и они согласны были повоевать еще.

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указаниями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть что — выбрать делегатов, снабдить их мандатами и — айда в Петроград в *исполком*, которому верили, как Богу. Недовольны пищей — фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провинность, не сменили старого ротного — в *исполком*, там свои рассудят истинным, правильным, честным солдатским и рабочим судом!

Предоставленные самим себе, томящиеся в застрявших на путях вагонах, казаки и солдаты, смущаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке — арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать. Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, а Петроградский гарнизон волновался и готов был сдаться Корнилову, Керенский же и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве — ведь наступали на них *казаки* и *Дикая* дивизия с самим бесстрашным Корниловым, — к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизий и команда связи, составленная из солдат, а не горцев, как представители Дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и не начавшись.

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петербург. Генералу Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И, твердый, волевой человек, генерал Крымов послушался. Он сел в автомобиль

с адъютантом — подъесаулом 9-го Донского казачьего полка Кульгавовым и помчался в Петроград, предавая этим Корнилова.

Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему, поехал глубоко взволнованный и сильно потрясенный...

Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станциях замершей в каком-то сне железной дороги. Иногда по чьему-то никому не известному распоряжению к какому-нибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два-три перегона, сорок-шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде без паровоза, без фуража для лошадей и без обеда для людей. В то время как штаб Корнилова был парализован и, выпустивши части, на этом и успокоился, пособники Керенского в лице разных мелких станционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение корпуса до невозможного.

30 августа части армии Крымова, *конной армии*, мирно сидели в вагонах с расседланными лошадьми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов за отсутствием приспособлений по станциям и разъездам восьми железных дорог: Виндавской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно—Псков—Гдов, Гатчина—Луга, Гатчина—Тосно и Балтийской! Они были в Новгороде, Чудове, на ст. Дно, в Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях и разъездах! Не только начальники дивизий, но даже командиры полков не знали точно, где находятся их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии, направленной для гражданской войны. Отсутствие пищи и фуража, естественно, озлобляло людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю ту бестолковщину, которая творилась кругом, и начали арестовывать офицеров и начальников. Так, большая часть офицеров Приморского драгунского, 1-го Нерчинского, 1-го Уссурийского и 1-го Амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го Донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й Донской казачьей дивизии генерал-майору Грекову удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил идти походом на Петроград. Но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Ке-

ренскому. Генерал Греков, понимая, что после отъезда Крымова ему ничего не остается делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда же отправился и начальник Уссурийской конной дивизии генерал-майор Губин, увлеченный к Керенскому своим комитетом.

Генерал Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета... Но... ошибся. Он был моложе многих. Были другие, которым тоже хотелось играть роль... Генерал Клембовский вместо помощи или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову снесся с Керенским и покинул Псков, оставив вместо себя начальника гарнизона, грубого и ловкого, не стесняющегося менять убеждения Бонч-Бруевича.

Таково было положение к тому времени, когда я наконец добрался до города Пскова.

Глава седьмая
В ПСКОВЕ

На станцию Псков поезд пришел в 12 часов ночи на 30 августа. Пассажирам было заявлено, что поезд дальше не пойдет. Опять та же история — полотно дороги разрушено, движения поездов нет. Так же как станция Дно была переполнена офицерами и всадниками Кавказской Туземной дивизии, станция Псков была переполнена офицерами и солдатами Приморского драгунского полка и солдатами Псковского гарнизона.

Я стал расспрашивать у офицеров об обстановке.

— Где генерал Крымов?

— Утром уехал на Лугу, должно быть, сейчас там.

Имея указание от генерала Корнилова соединиться возможно скорее с Крымовым и принять от него командование 3-м конным корпусом, я пошел к коменданту станции просить отправить меня на паровозе или на дрезине в Лугу. Измученный, усталый комендант отнесся к моей просьбе с полным участием, но сослался на категорическое приказание штаба фронта — ни одного человека не пропускать в Петроградском направлении. Нужно разрешение штаба фронта.

— Дайте мне телефон штаба, я буду говорить с генералом Клембовским, — сказал я.

— Генерала Клембовского нет.

— Где же он?

— Поехал в Петроград. Он назначен Верховным главнокомандующим.

— А Корнилов? — невольно спросил я.

— Не знаю. Или бежал, или арестован. Вы читали приказ Керенского, объявляющий его изменником?

— Читал. Но что из этого?

Впрочем, подумал я, комендант мог ничего не знать. Это могла быть и провокация.

Мне дали соединение со штабом фронта.

— Кто меня спрашивает? — услышал я голос.

— А позвольте спросить, кто у телефона? — спросил я, все еще надеясь, что это Клембовский.

— Временно командующий Северным фронтом генерал-майор Бонч-Бруевич, а вы кто?

Я назвал себя и просил извинения, что побеспокоил в столь поздний час. Было около двух часов ночи.

— Я прошу вас сейчас приехать ко мне. Мне нужно с вами переговорить. Я посылаю за вами автомобиль, — сказал мне Бонч-Бруевич.

Через полчаса я был принят генералом Бонч-Бруевичем в присутствии молодого человека с бледным лицом и с черными усиками, в рубашке с солдатскими защитными погонами.

— Комиссар Савицкий, — кинул мне Бонч-Бруевич, — мы будем говорить при нем. Какие вы задачи имеете?

Я ответил, что имею приказание явиться к генералу Крымову и никаких больше задач не имею.

— Генерал Крымов, — как-то загадочно проговорил Бонч-Бруевич, — находится в Луге, а пожалуй, что теперь и в Петрограде. Вам незачем ехать к нему. Оставайтесь лучше здесь.

— Я получил приказание, и я должен его исполнить. Я должен принять от него корпус и распутать ту путаницу, которая в нем происходит.

— А вы видите путаницу? — спросил Бонч-Бруевич.

Комиссар, присутствовавший здесь, меня стеснял, да и сам Бонч-Бруевич казался мне подозрительным. Я вскользь сказал о том, что эшелоны застряли на путях, люди и лошади голодают и дальше это не может продолжаться, так как грозит уничтожением конскому составу и может вызвать голодных людей на грабежи.

— Я с вами совершенно согласен, — сказал мне генерал Бонч-Бруевич. — Мы об этом с вами поговорим утром.

— Я буду вас просить дать мне автомобиль до Луги.

— К сожалению, не могу исполнить вашей просьбы. У нас все машины городского типа и не выдержат дороги, да и бензина нет.

Я видел, что генерал Бонч-Бруевич лгал. Не могло же не быть в штабе фронта нескольких полевых машин, да до Луги и городская машина могла довезти. Я попрощался с генералом Бонч-Бруевичем и пошел проводить остаток ночи в комендантское управление. Сидя в комнате дежурного адъютанта, я обдумывал, что же делать. Первое, что мне казалось необходимым, — восстановить части. Вынуть их из коробок, поставить по деревням или на бивак и накормить людей и лошадей. Все равно с голодными людьми и на некормленых лошадях далеко не уедешь.

Утром 30-го я отправился к генералу Бонч-Бруевичу. По-видимому, за ночь он получил какие-либо известия о проказах казаков на путях, потому что он начал с того, что спросил у меня совета, что делать с эшелонами, которые загромоздили все пути, остановили движение по железной дороге и прекратили подвоз продовольствия на фронт. Я предложил сосредоточить Уссурийскую дивизию в районе Везенберга, пользуясь тем, что она эшелонирована на путях, идущих к Нарве и Ревелю, и Донскую — в районе Нарвы. Этим совершенно разгружалась бы Варшавская дорога, а я имел весь корпус в кулаке и на путях к Петрограду, так что по соединении с Крымовым мог исполнить ту задачу, которая будет указана корпусу.

Генерал Бонч-Бруевич составил при мне телеграмму, которую адресовал: Главковерху Керенскому.

— Вы видите, — сказал он, — продолжать то, что вам, вероятно, приказано и что вы скрываете от меня, вам не приходится, потому что Верховный главнокомандующий — Керенский, вот и все.

Я ушел. И все-таки я считал своим долгом отыскать Крымова, своего непосредственного начальника. От Бонч-Бруевича я пошел в гараж попросить автомобиль, но получил там отказ: машины испорчены, нет бензина. Полковник Зарубаев, заведовавший гаражом, сообщил мне, что какой-то американский корреспондент, имеющий собственный автомобиль, едет в пять часов в Лугу, чтобы наблюдать бой между корниловскими войсками и Петроградским гарнизоном и что он устроит меня с ним. Я ухватился за это. Известие, что бой все-таки ожидается, говорило мне, что, может быть, не все еще потеряно и что сведения Бонч-Бруевича умышленно неверные.

В комендантском управлении меня ожидал полевой жандарм из штаба Главнокомандующего.

— Главнокомандующий приказал мне озаботиться отводом вам квартиры, — сказал он.

Такая заботливость о моей персоне меня удивила.

— Где же мне отвели квартиру? — спросил я.

— В кадетском корпусе, я сейчас вас туда могу отвезти.

Оставаться в дежурной комнате комендантского управления было нельзя, я стеснял адъютанта. Я забрал свои вещи и со своим ординарцем, кубанским урядником Пономаренко, и сотником Генераловым отправился в корпус.

На входной двери квартиры, в которую меня вводили, было написано: «Комиссариат Северного фронта». В прихожей толпились солдаты и какие-то люди подозрительного вида.

— Вероятно, вы ошиблись, — сказал я жандарму, — здесь помещение комиссариата.

— Ничего, они обещали потесниться.

Действительно, ко мне вышел Савицкий и сказал, что я могу здесь располагаться. Какой-то предупредительный и весьма обязательный хорошо одетый юноша пошел показать мне мою комнату. Это была большая комната в два окна, выходящая во внутренний сад. В комнате стояла прекрасная мягкая постель, так и манившая к покою после двух бессонных ночей.

— Вот здесь электричество, — показывал мне юноша. — Можно стол поставить, стулья. Очень хорошо.

— Комната отличная, — в раздумье сказал я. Меня поразил гул солдатских голосов и как будто стук ружей за дверью. Я открыл дверь. За дверью была просторная прихожая. Она наполнялась вооруженными солдатами. — Вы что за люди? — спросил я их.

— Так что, господин генерал, караул к арестованному, — бойко ответил мне бравый унтер-офицер.

— Благодарю вас, — сказал я любезному юноше, — но комната мне что-то не нравится. В ней будет слишком шумно, а мне надо заниматься. — И я спокойно прошел мимо караула, вышел во двор, а из двора на улицу, где еще стоял извозчик с моим чемоданом.

«Куда ехать? Куда ехать?» — думал я.

Очевидно, что Псков не на стороне Корнилова, а тот, «кто не с нами, тот против нас». В 5 часов дня за мною должен был приехать американец и везти меня к Крымову — к своим, к казакам. Оставалось ждать этого американца. А если он не приедет, что вполне возможно? Тогда все-таки ехать в Лугу — к казакам, к родному 10-му Донскому полку. На чем? На лошадях уральских каза-

Мой 20 век



ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ ПРОИСХОДИЛ ИЗ ЗНАМЕНИТОГО КАЗАЧЬЕГО РОДА. ЕГО ПРЕДКИ, НАЧИНАЯ С ПРАПРАДЕДА, БЫЛИ ИЗВЕСТНЫМИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛАМИ



Иван Козьмич Краснов, прапрадед, герой Очакова, Измаила и Бородино



Иван Иванович Краснов, дед, начальник обороны Таганрога во время Крымской войны



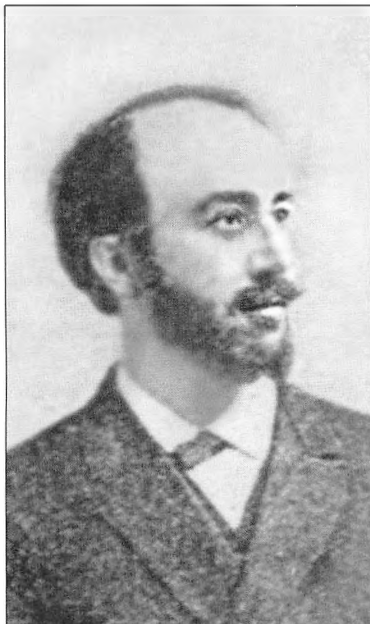
Николай Иванович Краснов, отец, участник обороны Севастополя в Крымскую войну и освобождения Болгарии от османского ига

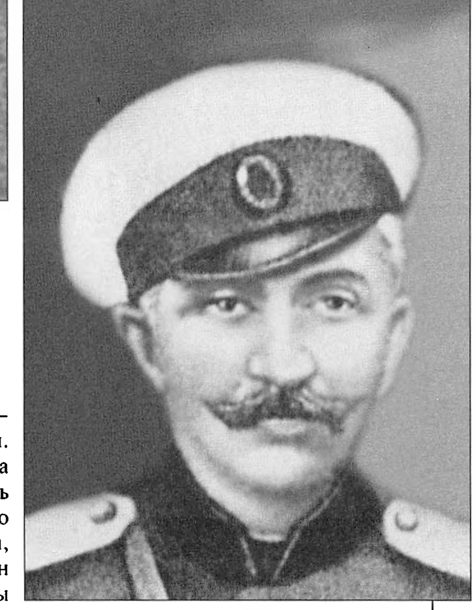
ИЗ ВСЕХ СЫНОВЕЙ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КРАСНОВА ТОЛЬКО ПЕТР — ВСЛЕД ЗА ПРЕДКАМИ — ИЗБРАЛ ВОЕННУЮ КАРЬЕРУ

Платон Николаевич Краснов, действительный статский советник, «железнодорожный генерал»



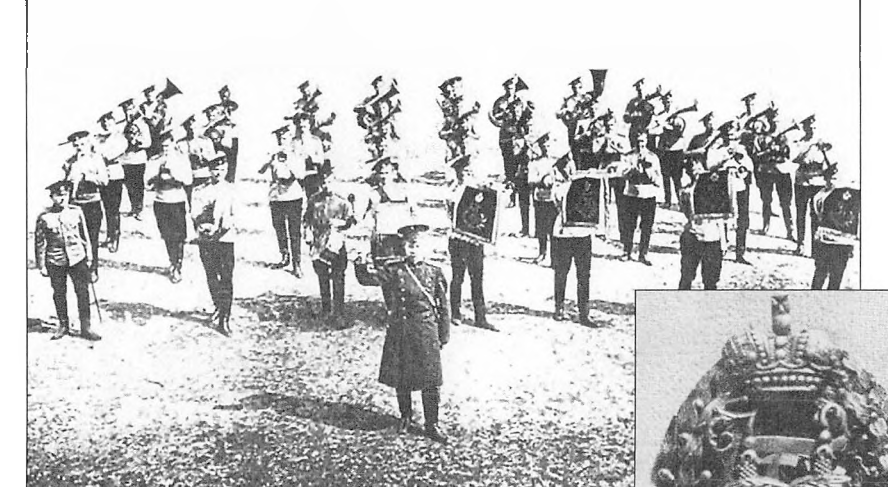
Андрей Николаевич Краснов, знаменитый ботаник, географ, путешественник





Петр Николаевич Краснов — герой Первой мировой войны. Уже 14 августа 1914 года за исключительную храбрость он был удостоен почетного Георгиевского золотого оружия, а в конце месяца произведен в генералы

В 1887 ГОДУ ПЕТР КРАСНОВ СТАЛ ЮНКЕРОМ ПАВЛОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА — ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ



Юнкера-«павлоны» на строевых занятиях



Эмблема Павловского военного училища



Юнкера заступают в наряд

ВО ВРЕМЯ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ П.Н.КРАСНОВ НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НО И БЫЛ СОБСТВЕННЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»



Генерал П.К.Ренненкампф, начальник 3-й Забайкальской дивизии

Свою первую заметку Краснов опубликовал в «Русском инвалиде» еще в 1891 году

Подъесаул лейб-гвардии Атаманского полка П.Н.Краснов

Нагрудные знаки Донского и Кубанского казачьих войск, утвержденные 18 февраля 1912 года





В Первую мировую войну казаки представляли собой грозную военную силу и наводили ужас на неприятеля

В 1918 ГОДУ, ОПИРАЯСЬ НА ПОДДЕРЖКУ ГЕРМАНИИ, АТАМАН КРАСНОВ ПОПЫТАЛСЯ СОЗДАТЬ НА ДОНУ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО — ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ

Большой Войсковой Круг только что избрал генерала Краснова (отмечен на фотографии крестиком) атаманом Войска. Новочеркасск, 8 мая 1918

Атаман Всевеликого Войска Донского. На обороте фотографии надпись: «Подо мною — добрый конь, надо мною — Господь Бог». 16 мая 1918

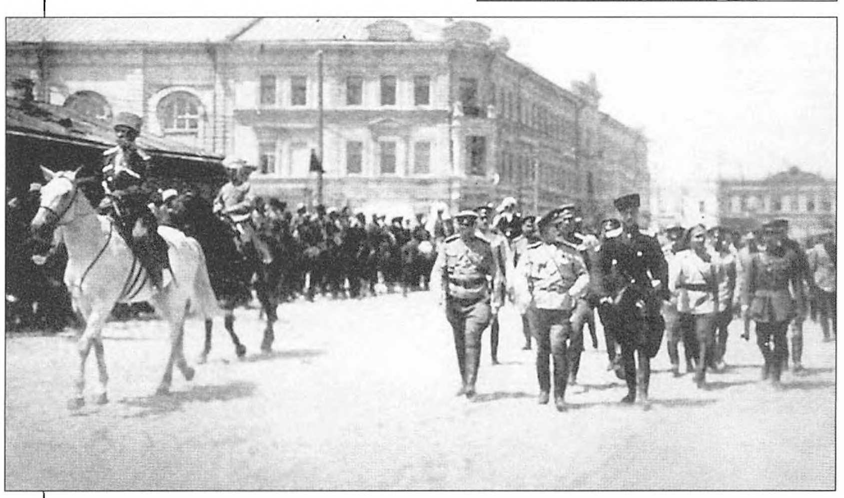




Генерал Л.Г.Корнилов готов был «навести порядок» в Петрограде в сентябре 1917-го

Генерал Н.Н.Юденич. С ним Краснов шел на Петроград в октябре 1919-го



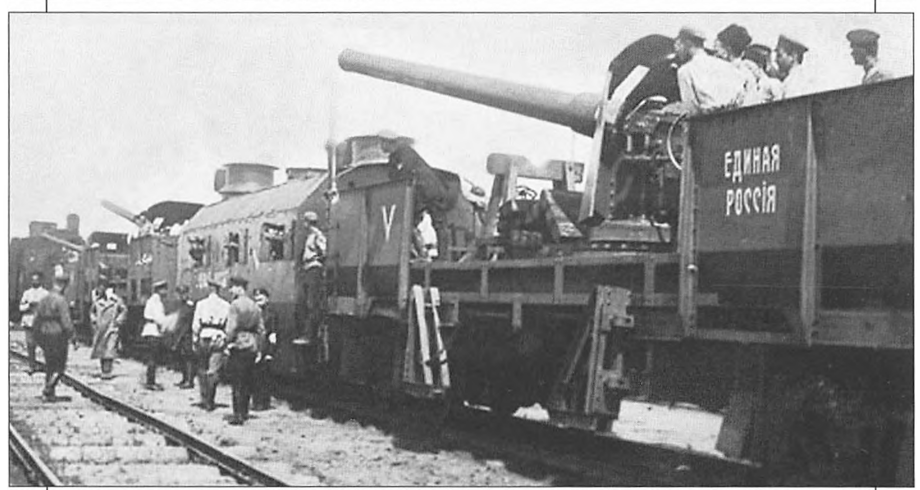


Парад войск в Царицыне. На переднем плане слева направо: генералы П.П.Мамонов (верхом), И.П.Романовский, А.И.Деникин, П.Н.Врангель. 1919

ЛИДЕРЫ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ ВЫСТУПАЛИ ЗА «ЕДИНУЮ НЕДЕЛИМУЮ РОССИЮ» И УПОВАЛИ НА ПОМОЩЬ АНТАНТЫ







Бронепоезд «Единая Россия». 1919

Император Николай II и цесаревич Алексей
проводят смотр лейб-гвардейского Атаманского полка. 1916



Генерал М.В.Алексеев покидает Ставку в знак протеста после того,
как Временное правительство объявило Главнокомандующего Л.Г.Корнилова
мятежником. Сентябрь 1917

Войсковой атаман П.Н.Краснов (сидит в центре) с членами Правительства Всевеликого Войска Донского. Новочеркасск, Атаманский дворец, май 1918

Экс-атаман покидает территорию Всевеликого Войска Донского: Большой Войсковой Круг принял его отставку. Слева направо: генералы А.П.Богаевский, А.И.Деникин, П.Н.Краснов, И.П.Романовский. 14 февраля 1919





В 1920 ГОДУ КРАСНОВ ЭМИГРИРУЕТ В ГЕРМАНИЮ

В эмиграции Красновым были написаны десятки романов, повестей, исторических хроник... Его талант писателя высоко оценивали И.А.Бунин и А.И.Куприн

БИБЛИОТЕКА НОВѢЙШЕЙ ЛИТЕРАТ

П. Н. КРАСНОВЪ

ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМЪ

Фантастическій романъ

Изданіе 2-ое исправленное и дополненное автор

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРАУГСЪ“
РИГА, ПЕТРОЦЕРКОВНАЯ ПЛОЩАДЬ 37

П.КРАСНОВЪ.

ТИХІЕ ПОДВИЖНИКИ

ВѢНОКЪ
НА МОГИЛУ НЕИЗВѢСТНАГО СОЛДАТА
ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ АРМІИ

П. Н. КРАСНОВ

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ

ПРИБОЙ

С НАПАДЕНИЕМ ГЕРМАНИИ НА СССР ТЫСЯЧИ КАЗАКОВ-БЕЛОЭМИГРАНТОВ ПОДДЕРЖАЛИ ГИТЛЕРА. В 1943 ГОДУ КРАСНОВ ВОЗГЛАВИЛ ГЛАВНОЕ КАЗАЧЬЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРМАХТА: «ХОТЬ С ЧЕРТОМ, НО ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ!»



Генерал Краснов — «почетный шеф» 1-й казачьей дивизии вермахта — беседует с казаками-ветеранами. Сентябрь 1943



Командир 1-й казачьей дивизии генерал Г. фон Панвиц (в центре) и генерал А.Г.Шкуро (в черкеске) среди офицеров дивизии. Сентябрь 1943

ОСЕНЬЮ 1944 ГОДА КАЗАКАМ БЫЛО РАЗРЕШЕНО ОСНОВАТЬ СВОЕ «КАЗАЧЬЕ ГОСУДАРСТВО»... НА АППЕНИНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В ИТАЛИИ. ГОРОД АЛЕССО, ВОКРУГ КОТОРОГО ОБОСНОВАЛИСЬ ДОНСКИЕ, КУБАНСКИЕ, ТЕРСКИЕ СТАНИЦЫ, БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН ИМИ В НОВОЧЕРКАССК

НА КАЗАЧЬЕМ ПОСТУ

Двухнедельный общеказачий журнал

№ 10 — 15 сентября 1943 года — № 10



содержание:

Адрес редакции: „Kosakenposten" F.P. Nr. 02306

Обращение П. Н. Краснова к казакам

С каким волнением прочитает казак помещенное в этом номере объявление Германского Правительства, подписанное высшими его представителями, Начальником Штаба Германских вооруженных сил [illegible] фельдмаршалом Кейтелем и министром Восточных областей доктором Розенбергом.

Загорелая, мозолистая, зачугуневшая в боях и походах, в схватках с врагами и работах рука [illegible]



Генерал П. Н. Краснов [illegible] перед [illegible] казачьей [illegible]

[illegible] казака поднимется ко лбу и сотворит крестное знамение.

«Услышал Господь молитвы наши!.. Пришло, чего ждали казаки! Пришло удостоверение Германской власти признания казачьих заслуг перед миром; обещание защиты и покровительства Вождя Германского Народа Адольфа Хитлера!

Пришло утверждение за казаками:

Прав и преимуществ служебных — возможности постоять за честь отчизны — родных казачьих войск.

— Самобытности, стяжавшей казакам историческую славу — славу дедов и отцов.

— Неприкосновенности земельных угодий: — своего «порога и угла».

Старые казаки! В этот великий день признания ваших прав на свободное существование, предками вашими и вами, великою кровью и многими муками заслуженное, забудьте ваши недавние страдания по тюрьмам и ссылкам, ваше унижение, потери близких; голод и болезни.

Выше головы!

Вы казаки!

Научите молодежь, не помнящую воли свободных войск, что такое казак. Пусть станут они горды казачьим именем, ныне признанным Великой Германией Адольфа Хитлера. Пусть станут они грозными карающими мечами для большевиков и их прислужников, и защитой большевиками угнетенных мирных жителей.

Казачья молодежь! Чутким ухом прислушайся к своим старикам. Скинь [illegible] в советской школе комсомольское ухарство и замени его подлинной казачьей лихостью и исполнительностью. Дружеским сердечным отношением к обывателям, которые тебя кормят и поят, внеси в их жизнь не дикое насилие, кровь и грубость, но честную, казачью, «рыцарскую» защиту страдающих от коммунизма людей. Следи за своими односумами, не допускай их до насилия и грабежа, недостойных казака.

Война с коммунизмом не кончена. Нужно уничтожить коммунизм везде, где он может помешать вам получить то, что вам дается теперь.

Где будет окончательная победа Германии над коммунизмом и его уничтожение нам не дано знать. Будет оно на берегах Атлантического Океана во Франции? В Италии, на Аппенинских горах у Средиземного моря? Завершится все это разгромом коммунистических банд на Балканах и освобождением Сербии и Хорватии от коммунистов! Или сдаст коммунизм на далеком Севере, или на реке Днепре, или в родных степях Придонья?

Где бы это ни было вы, казаки, должны везде, где вам укажут, не щадя жизни своей, способствовать этой победе.

После нее будут свободные Дон, Кубань и Терек, свободное казачество под защитой Германии Адольфа Хитлера.

Тогда — на своей-ли, исконной, или на временно вам предоставленной земле, соберутся Войсковые Круги и Рада, будет выбор атаманов, устройство войск, могучая, захватывающая творческая работа всех казаков и казачек — для создания казачьих образований — образца христианской веры, казачьего трудолюбия и несбычайной казачьей способности на голом «Диком поле», в горах, лесах и дебрях устраивать благодатный, богатый край, ставить церкви и школы, создавать всю красоту старинного казачьего быта.

Бог в помочь казаки! В час добрый!

ПЕТР КРАСНОВ

Казак Кергинской станицы

Всевеликого Войска Донского

К началу 1945 года на стороне вермахта сражалось более шестидесяти тысяч казаков



П.Н.Краснов (второй слева) с казачьими генералами и офицерами в день выдачи их англичанами советскому командованию. Юденбург, 29 мая 1945

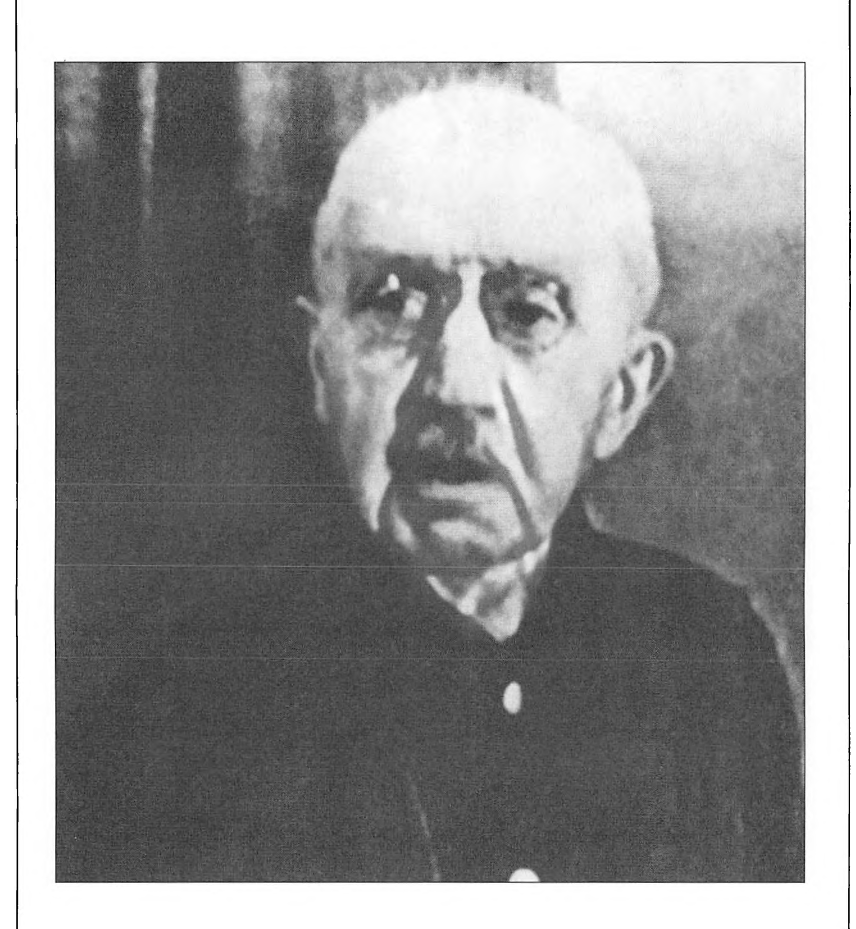
СВОЮ ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ БОРЬБУ С БОЛЬШЕВИКАМИ АТАМАН КРАСНОВ ПРОИГРАЛ И НА СУДЕ ПРИЗНАЛ СВОЕ ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ



Генерал-полковник юстиции В.В.Ульрих (в центре) открывает заседание Военной Коллегии Верховного суда СССР. 15 января 1947

Зачитывается приговор

Приговоренные. За час до казни.
Слева направо: Г. фон Панвиц, П.Н.Краснов, С.Краснов, А.Шкуро, Т.Доманов, С.Килыч-Гирей. 16 января 1947



П. Красновъ.

ков конвоя Главнокомандующего, на телеге, идти пешком. Таково было мое решение. Искать Крымова, но не бежать. Самое слово «бежать» мне было противно. Я никогда и ни при каких обстоятельствах ни от кого, ни от чего не бегал... Решил, что не побегу и теперь.

Американец, как и надо было ожидать, не приехал, может быть, и не было никакого американца.

Утомление сказывалось, а силы были нужны на завтра, чтобы ехать верхом или идти пешком. Мне предложил переночевать у него тот самый комендантский адъютант поручик Пилипенко, которого я так стеснял. Он имел комнату на окраине города недалеко от вокзала в семействе вдовы доктора или офицера, убитого на войне; меня можно будет поместить вместе с сотником Генераловым в гостиной.

К 9 часам вечера, подготовивши все для поездки верхом на лошадях уральских казаков в Лугу, я перебрался к поручику Пилипенко. Приняли меня там очень сердечно, угощали чаем с печеньями и холодным ужином, устраивали койки, и наконец около 12 часов ночи мы улеглись на покой в гостиной — я возле рояля, а сотник Генералов у стены за каким-то трельяжем. Благодетельсон сейчас же прогнал все думы, заботы, тревоги и волнения.

Но недолго он продолжался.

Сильные непрерывные звонки у входной двери меня разбудили. Я зажег свечу и посмотрел на часы. Было час ночи. Я спал меньше часа. Я сейчас догадался, в чем дело, но продолжал лежать, нарочно не вставая. Прислуга хозяйки зашлепала босыми ногами. В дверь стали раздаваться удары прикладами. Она отворилась, и прихожая наполнилась большим количеством людей, грозно стучавших ружьями. Они не помещались в прихожей, и часть стучала винтовками по лестнице. Спросили меня.

Прислуга ответила, что не знает, кто у них стоит, стоит какой-то генерал, а фамилии его не знает. В комнате хозяйки слышались охи и плач. В квартире шел растерянный шорох, мой верный ординарец Пономаренко, вероятно памятуя историю с Линде, моментально убежал на двор по черному ходу. Сотник Генералов сидел на постели и пугливо озирался. Было много комичного во всем этом, и это меня примирило.

В гостиную стали входить, стуча прикладами, юнкера школы прапорщиков Северного фронта, с ними был их офицер и какой-то молодой человек в штатском платье.

— Вы генерал Краснов? — обратился штатский ко мне.

— Да, я генерал Краснов, — отвечал я, продолжая лежать. — А вам что от меня нужно?

— Господин комиссар просит вас немедленно прибыть к нему для допроса, — отвечал он.

— Странный способ приглашать для допроса генералов, вваливаясь к ним с вооруженною командой и наводя панику на несчастных хозяев, — сказал я.

— Так делали при царском режиме, — вызывающе ответил мне молодой человек.

— Вероятно, вы для того и свергали Государя Императора, чтобы повторять все темные стороны его царствования, — сказал я.

Это сконфузило вошедшего, и он растерялся. Я медленно одевался. Зол я был страшно. И не на то зол, что меня арестовали. Я знал, что меня арестуют и куда-нибудь засадят, это естественно вытекало из неудачи корниловского предприятия, из арестов солдатами офицеров и отсутствия каких бы то ни было распоряжений от Корнилова и Крымова. Если не распоряжается Корнилов, то распоряжается Керенский, и тогда мы изменники и нам прямой путь в петлю. Волноваться об этом не стоило. То, что меня взяли через комиссара и юнкера, а не солдаты, это было хорошо. Я мог надеяться, что обойдется без «эксцессов», будет допрос и какое-то подобие суда, а если так, то обвинить меня не так-то легко. Исполнил приказ — вот и все. Но злило меня то, что мне не дали выспаться, что мне придется идти на допрос не в полной ясности ума, что меня разбудили и доставили столько волнений и беспокойства тем милым хозяевам, которые меня так радушно приютили. И потому я будировал. Умышленно медленно одеваясь и умываясь, я ворчал.

— Хорошее воспитание для будущих офицеров — арестовывать своих генералов, — говорил я. — Вероятно, вы очень боялись старого безоружного генерала, что пригнали чуть не целую роту юнкеров.

Уже надевши шинель и пристегнувши шашку с револьвером, я спросил:

— А автомобиль у вас есть?

— Нет, извините, автомобиля нет, — растерянно ответил молодой человек.

По тону его голоса я понял, что вечно правильная тактика никогда не обороняться, но всегда наступать возымела свое действие, юноша подавлен мною.

— Я пешком не пойду, — сказал я, усаживаясь на диван.

— Как же быть-то? — пробормотал юноша. — У меня есть извозчик.

— Шагом не пойду. Пусть сзади бежит рота. Это будет красиво, по крайней мере.

Юнкера фыркали, давясь от смеха. Офицер, бывший с юнкерами, понял, что я издеваюсь над молодым человеком, и вступился за него.

— Я полагаю, — сказал он, — что вы можете отпустить наряд. Сопротивления мы не встретили.

— А вы ожидали, что весь корпус с пушками и пулеметами станет мне на защиту? Один был при мне казак, да и тот прошмыгнул мимо вас, как заяц, — с горечью сказал я. — Не те времена, господа, теперь, чтобы генералы могли сопротивляться.

Было решено, что мы поедем с молодым человеком на извозчике, а юнкера пойдут по домам. Во втором часу мы молча поехали по городу. Ехал вооруженный шашкой и револьвером генерал и с ним штатский. Ничего подозрительного. Возвращались, может быть, с какой-нибудь пирушки. Город был тих и пустынен. Мы никого не встретили. Если бы я хотел бежать, я мог бы бежать сколько угодно. Но я бежать не хотел.

Глава восьмая

НА ДОПРОСЕ У КОМИССАРА

Знакомое здание корпуса. Помещение комиссариата. Как я был недальновиден, что отказался от комфортабельной комнаты с пружинной кроватью. Все было бы гораздо скорее, я успел бы выспаться, и не пришлось бы ночью ехать на плохом извозчике.

Почти пустая просторная казенного типа комната. Тускло горит электричество. У простенка между окнами небольшой стол. За ним три человека. Посередине молодой человек, с бледным, красивым, одухотворенным лицом, с большими возбужденными глазами. Маленькие усы над правильным ртом. Одет чисто в форму поручика саперных войск. Это, как я узнал впоследствии, поручик Станкевич, комиссар Северного фронта и правая рука Керенского. Справа — маленький, сгорбленный лохматый рыжий человек, в рыжем пиджаке. Скомканная рыжая бороденка и усы, бегающие рыжие глазки — типичный революционер, как их описывают в романах, какой-нибудь «товарищ Мирон» или «товарищ Тарас» — вероятно, в свое

время пострадал за убеждения. Но лицо умное и, несмотря на всю свою некрасивость, симпатичное. «С умными людьми всегда легче иметь дело», — подумал я. Это был помощник комиссара Войтинский, большевик, идейный человек, ставший на защиту армии от разрушения. Я слышал про него много хорошего. И наконец, по левую руку уже знакомый мне вольноопределяющийся Савицкий. Этот пронизывает меня своими красивыми черными глазами. Так и говорит: «Что, попался-таки, голубчик!»

Справа, у стены, на диване четыре человека, по костюму рабочие. Лица тупые, серые, безразличные. Вероятно, представители Псковского исполкома. Весь трибунал налицо.

Станкевич предложил мне сесть. Начался допрос. Почему я оказался в эти тревожные дни в Пскове? Ответ прост: получил предписание вступить в командование 3-м конным корпусом и ехать его принимать. У меня и предписание с собою.

— Почему именно вас, а не кого-либо другого наметил Крымов, а потом Корнилов на должность командира 3-го корпуса? — спросил Войтинский.

— Корпус мне хотели дать давно, еще весною. Генерал Алексеев выдвигал меня на корпус, и я знал, что получу или 4-й, или 3-й. 3-й освободился раньше, мне его и дали.

— Не дали ли его вам по политическим убеждениям? — вкрадчиво спросил меня Войтинский.

— Я солдат, — гордо сказал я, — и стою вне политики. Лучшим доказательством вам служит то, что я оставался до последней минуты при убитом на моих глазах комиссаре Линде и старался его спасти. А комиссар Линде один из крупных виновников революции.

Меня попросили подробно рассказать о смерти Линде, о чем в Пскове только что узнали. Я рассказал все, чему был очевидцем.

Мой рассказ расположил судей в мою пользу. Они стали совещаться между собою.

— Знаете ли вы, — сказал мне Войтинский, — что Корнилов арестован своими войсками и Керенский вступил в верховное командование?

— Это верно?

— Я вам говорю.

Я посмотрел на Войтинского. Да, этот человек не лжет. Он может заблуждаться в своих политических теориях, но в фактах он лгать не будет.

— Генерал Алексеев принял на себя должность начальника штаба Верховного главнокомандующего, — продолжал Войтинский.

— Это хорошо, — сказал я. — Генерала Алексеева очень уважают в армии.

— Вы видите, что вся эта авантюра, задуманная Корниловым, рухнула, — сказал Станкевич, — она пошла не на пользу, а во вред армии. В частности, в 3-м конном корпусе, считавшемся самым твердым, началось полное разложение. Необходимо теперь всем стать на работу и приняться за оздоровление армии.

— Поздно, — сказал я. — Армия погибла. У нас толпа, опасная для нас и безопасная для неприятеля.

Допрос начал принимать форму беседы. Я скоро понял, что Войтинский и Станкевич на моей стороне, обвинитель только один — Савицкий, члены исполкома, как статисты в плохом театре, дружно со всем соглашались.

Было решено, что я дам подписку о том, что без ведома комиссара не выеду из Пскова и буду отпущен к себе домой. Я написал эту исповедь, оставаясь в Пскове, я тем самым исполнял вторую часть приказа Корнилова, высказавшего пожелание, чтобы побольше генералов было в Пскове.

Станкевич был так любезен, что даже обещал послать моей жене телеграмму о том, что я жив и здоров.

В третьем часу я вышел из комиссариата и побрел пешком отыскивать свою квартиру. Долго я бродил по малознакомому мне городу, пока наконец не нашел своего дома и не улегся продолжать спать уже при свете наступающей зари.

На другой день, 31 августа, я был с докладом о том, что произошло со мною ночью, у начальника штаба генерала Вахрушева, а потом у и.о. главнокомандующего Бонч-Бруевича. Ни тот ни другой не возмутились моим ночным арестом.

— Что поделаете, — сказал мне своим грубым голосом Бонч-Бруевич, бывший на этот раз один, без ассистента из комиссариата. — Вот вчера на улице солдаты убили офицера за то, что он в разговоре с приятелем сказал «совет собачьих и рачьих депутатов». И ничего не скажешь. Времена теперь такие. Их власть. Я без них ничего. И потому у меня порядок и красота. И дисциплина, как нигде... Да, вы знаете, ведь Крымов-то ваш — вчера застрелился.

— Как? — спросил я.

— В Петрограде, у Керенского. Да! Вот как! Я его хорошо знал. Крутой был человек. А в командование корпусом вы все-таки вступите, я переговорю с генералом Алексеевым по прямому проводу. Корпус надо успокоить. А вас донцы знают...

На том мы и расстались, что я вступлю в командование корпусом по получении разрешения от Алексеева, что корпус будет включен в число войск Северного фронта и расквартирован в районе Пскова. Алексеев ответил приказом о допущении меня к командованию корпусом и о подчинении корпуса главнокомандующему Северным фронтом. Я пошел к генерал-квартирмейстеру, генералу Лукирскому, чтобы наметить с ним квартирные районы, написал приказ корпусу о сосредоточении его к Пскову и пошел к помощнику начальника военных сообщений полковнику Карамышеву, чтобы с ним вместе распутать все бродячие эшелоны.

Штабу корпуса было отведено помещение в квартире смотрителя Псковской тюрьмы, где я вечером того же дня и устроился вдвоем с сотником Генераловым; я и он — это был весь наш штаб, а работы предстояла масса.

Глава девятая

МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 3-го КОННОГО КОРПУСА

Люди задумывали планы, и планы эти казались им вполне исполнимыми и великолепными, но вмешивалась судьба, и разрушала все эти планы, и устраивала так, что результат того, что делали люди, был совершенно обратен тому, чего они хотели достигнуть.

Крымов застрелился. Это неправда, что его будто бы убил на квартире Керенского адъютант Керенского. Крымова всюду и везде неотлучно сопровождал честнейший и благороднейший офицер подъесаул Кульгавов. Он мне подробно доложил все обстоятельства смерти Крымова, и я не имею ни малейшего основания сомневаться в правдивости его показания. Да у Крымова, как у человека сильной воли, было слишком много причин, чтобы покончить с собою.

Разговор его с Керенским был очень сильный. Крымов кричал на Керенского, потом поехал к beau-frère'y[1] Керенского, полковнику Барановскому, и у него прилег в кабинете на оттоманке. Кульгавов был рядом в комнате. Никто не входил к Крымову. Через некоторое время раздался выстрел. Кульгавов бросился в комнату. Крымов лежал на оттоманке смертельно раненный, револь-

[1] Зять *(фр.)*.

вер валялся на полу. Это не была инсценировка самоубийства, но само самоубийство. Через некоторое время Крымов скончался, и армия его, шедшая на Петроград, осталась без вождя.

Все разваливалось. Штабные команды никого не признавали и не слушались. Начальник штаба, генерал-майор Солнышкин, слабый, безвольный человек, притом алкоголик, в решительные минуты безнадежно напивавшийся, не мог подобрать штаба. Начальник Уссурийской конной дивизии генерал-майор Губин был совершенно растерян. Почва ушла у него из-под ног, и он не знал, что делать. Драгуны арестовали полковника Шипунова и большинство офицеров, и ими правил, опираясь на комитет, его помощник, ловкий штаб-офицер, надеявшийся пройти, пользуясь смутой, в выборные командиры полка; в Уссурийском полку командиром был суетливый, но бестолковый полковник Пушков, в остальных полках дивизии командиров не было, они были в отсутствии, а исправляющие их должность старались как можно меньше делать, руководствуясь тем мудрым правилом, что тот, кто ничего не делает, не ошибается. В порядке была только 1-я Донская дивизия.

И вот потянулись комитеты к комиссарам. Я еще не успел вступить в командование корпусом, как увидел желтые погоны Уссурийцев в садике кадетского корпуса и среди них Войтинского, увидел драгун с их председателем комитета юным мальчиком, вольноопределяющимся Левицким, толпящихся возле Станкевича.

Le vin est tiré, il faut le boire[1].

Спасать Россию не пришлось. Передо мною стояла задача более скромная — спасать офицеров, оздоровлять корпус, восстановлять в нем порядок, хотя бы настолько, чтобы корпус не был опасен для мирных жителей. Это могли сделать по тогдашнему состоянию корпуса только комиссары.

Я пошел к Станкевичу и Войтинскому.

И Станкевич, и Войтинский, и Савицкий, в особенности первые два, с полною отзывчивостью, скажу более — сердечностью отнеслись к этому деликатному делу уговаривания солдат и казаков и примирения их с офицерами. Войтинский, разминая свою рыжую бороденку, целыми часами говорил с комитетами и делегатами от сотен и эскадронов и ответил на самые дикие вопросы. Ему несли жалобы не только на то, что где-то было претерпено от офицеров, но даже на то, что они в будущем могли потерпеть. Ка-

---

[1] Вино разлито и должно быть выпито *(фр.)*.

заки и солдаты торговались, добиваясь удаления некоторых офицеров — и почти всегда лучших, наиболее честных и стойких — и возвышения различных интриганов и воров. Войтинский их убеждал, советовался со мною, и взаимными усилиями работою до поздней ночи мы достигли того, что части вернули своих начальников и стали им повиноваться.

Одною из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными, ближайшим результатом неудачи похода было усиление комиссаров и поднятие значения комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя их на степень только хозяйственного контроля, артели, кооператива для закупок, и первый комиссар, которого я увидал, был Линде — теперь мне пришлось целыми днями беседовать с комитетами и быть частым гостем у комиссара и его помощника, и это было вызвано действительной необходимостью.

Но был результат и гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском Совете, и не прошло и трех дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почуял более сильную опасность слева — со стороны большевиков. «Завоеваниям революции» угрожали не правые круги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно это было, но за первою помощью Керенский обратился к тому самому 3-му конному корпусу, который шел арестовать его.

1 сентября к Пскову собрались Приморский драгунский и Уссурийский казачий полки и стали разгружаться и расходиться по деревням; драгуны в большом порядке, уссурийцы в порядке относительном. Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков, а 2 сентября в 8 часов вечера за мною экстренно приехал адъютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от Верховного главнокомандующего Керенского о том, что ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там необходимо сосредоточить 1-ю Донскую дивизию в районе Павловск—Царское, штаб в Царском, а Уссурийскую дивизию в Гатчине—Петергофе, штаб в Петергофе.

Каждый из нас, уже по самой дислокации корпуса, понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев — это тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного ин-

ститута и открытая пропаганда Ленина в войсках Петроградского гарнизона.

Я был в отчаянии. Только что сделанная работа успокоения разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? — скажут: опять контрреволюция, опять измена. Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссаров. И действительно, Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо исполнить. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе — большевики еще не были готовы. К 6 сентября корпус сосредоточился на указанных ему местах.

Глава десятая
ПЕТРОГРАДСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское Село и в час дня являлся главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым оказался мой старый знакомый по л.-гв. Измайловскому полку, генерал-майор Теплов. Эта милейшая личность, гуманнейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поэзии, совсем не военный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего. Главнокомандующим он, кажется, был всего пять дней.

26 лет я прослужил в войсках гвардии и Петроградского округа. Я помню округ при Великом Князе Владимире Александровиче, и я бывал в штабе, когда начальником штаба был Бобриков. С представлением о штабе была связана известная таинственность, серьезность, почти святость учреждения. Важный швейцар, безупречная чистота прихожей и лестницы, тишина в величественной приемной, где висят портреты бывших командующих войсками. Солидные посетители — генералы в орденах и лентах, почтенные вдовы, редко штатский, да и тот во фраке или вицмундире какого-либо ведомства.

Теперь у подъезда, во образе часовых, стояло два юнкера 1-го военного Павловского училища. Я сам окончил Павловское училище и был фельдфебелем роты Его Величества и потому знаю, что такое был юнкер Павловского училища на часах. Душевно — он

священнодействовал, телесно — это была прекрасно отделанная статуя, неподвижно замершая на своем посту — лепи с него модель или пиши картину.

Теперь у подъезда болтались, разговаривая и пересмеиваясь, два молодых человека, длинноволосых, растрепанных, небрежно, мешковато одетых в шинели с священными для меня погонами Павловского училища. Было больно смотреть на них. Да, демократизация армии совершилась — она началась вот здесь, у этого строгого здания Александровской эпохи, а окончилось под Тарнополем и Ригой убийством Линде и теперешним моим положением корпусного уговаривателя...

Тот же швейцар, но растерянный, недоумевающий, не знающий, что делать. Он сидел в углу у вешалки, заваленной сотнями пальто, и уже никому не помогал ни раздеваться, ни одеваться. Меня он узнал и только безнадежно махнул рукой. По лестнице непрерывное движение вверх и вниз солдат и молодых людей, то поодиночке, то группами, грязно, небрежно одетых. Лестница и приемная заплеваны и засыпаны семечками. Каждый идет куда ему угодно, на дверях наклеены бумажки небрежно сделанными надписями, что за ними, и, конечно, на первом плане — «политический комиссар».

В приемной на меня, одетого по форме при походной амуниции, смотрели как на чучело. Сюда каждый являлся по-товарищески в расстегнутой рубахе, без пояса, а многие уже и без погон. Демократизация армии завершила свой круг и подходила к большевизму.

Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы. Большая борода поседела и была растрепана.

— Да, вот в каком виде вы меня видите, — сказал он. — А штаб-то! Помните?..

Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами и возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день и Александровская колонна с Ангелом мира, осиянная солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились в воспоминании, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут больше, чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца и дальше идти уже некуда. Дальше — пропасть.

— Какие указания я вам могу дать? — говорил Теплов. — Я здесь халиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно — идет борьба за власть. С одной стороны, Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет ее с честью вывести из тяжелого

положения, но подле него никого, с другой — Совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным, который становится все более и более популярным среди Петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться?.. Да, тяжелые времена! Но помочь ничем не могу. Я... ведь до завтра.

Теплов и «до завтра» не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его место назначил командовавшего в моем же корпусе 1-м Амурским казачьим полком Генерального штаба полковника Полковникова.

Полковников — продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летели, как бабочки на огонь, и сгорали в ней без остатка. В Японскую войну 1905 года — это двадцатидвухлетний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жаждой славы. Он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны — Академия Генерального штаба; дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он командир 1-го Амурского полка — чуть что не выборный, пользующийся большою популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковников чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрывается от полка и мчится в Петроград к Керенскому.

34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшим в политическом отношении округом с почти двухсоттысячной армией. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность *«постольку-поскольку»*. Полковников помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он... И в конце концов Полковников в марте 1918 года зверски повешен большевиками на Дону, в Задонской степи, на зимовнике Безуглова.

Но теперь — Полковников, об измене которого Корнилову знал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковникову приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет — с большевиками или против них!

Керенский, взявши на себя управление армией, на первых же шагах своей деятельности запутался до крайности. 30 августа его начальник штаба генерал Алексеев подтвердил мое назначение на пост командующего 3-м конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавал мне приказания, а 9 сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии барона Врангеля.

Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей и в то же время не любящий с кем бы то ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в Ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не думая обо мне. Меня это только развязывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязались в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть, притом в Донской дивизии я был любим, а Уссурийская начинала любить меня — комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я остался командиром корпуса, потому что я казак и корпус казачий, а барон Врангель немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся.

Во главе Военного министерства был поставлен Верховский — революционный паж. В бытность в Пажеском корпусе за какую-то проделку, показавшуюся корпусному начальству слишком либеральной, Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и кончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховский был водворен на Мойку в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнилась солдатами, делегатами и депутатами, он проводил, выслушивая их, целые дни, начиная прием с 8 часов утра. Когда я был у него со своей отставкой 18 сентября, ему представлялись какие-то представители нового, не то Польского, не то Украинского корпуса, бравые молодцы, одетые в опереточную форму с малиновыми и голубыми лампасами на черных рейтузах.

— Не правда ли, хорошо? Не правда ли, красиво? — говорили они мне, охорашиваясь перед тем, как войти в кабинет министра.

Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контрреволюцию и посадить людей, сочувствующих революции, новым порядкам. Но свелось это к тому, что стройная, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки *система* назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения аттестаций, составленных целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционизмом. Всюду вылезали

вперед самые злокачественные ловчилы, которые тянули за собою других таких же, и грязь, муть поднимались со дна армии. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял по пути. Всякое средство было хорошо, всякая протекция годилась. Даже Совет солдатских и рабочих депутатов был хорошее и, пожалуй, самое верное средство занять новое положение. Немудрено, что Верховский и Полковников протолкались вперед.

Мне нужно было сменить начальника Уссурийской дивизии, который слишком пал духом и подпал под влияние комитета, и дивизией фактически командовал его начальник штаба и председатель дивизионного комитета, ловкий мальчишка, вольноопределяющийся Левицкий. Но Губин цеплялся за место и ездил к Керенскому, отстаивая свое право.

В трех полках Уссурийской дивизии не было командиров, хороший командир полка 1-й Донской дивизии, войсковой старшина Бочаров не был утвержден в должности. Мои ходатайства, мои просьбы и рапорты о назначениях валялись без ответа, и все это не способствовало укреплению порядка в частях корпуса.

У Керенского не было для его поста главного — *воли*. Не было власти — настоящей власти, а не позирования на власть; и под его командованием армия, разрушенная снизу, в корне подточенная революцией, гибла сверху.

Есть такая скверная поговорка — рыба с головы воняет, — и вот в эти-то дни тяжелый смертный дух потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта: и Временному правительству, и большевикам.

Не хочется, да, может быть, и не нужно — судьба все равно здорово покарала их расстрелами, нищетой, эмигрантством за границей, — не хочется называть фамилий, но сколько людей в это время уподобились той старушке, которая, стоя перед изображением Страшного суда, где были нарисованы ангелы в раю и черти в аду, ставила две свечи — одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись, и забегали, и возили свои доклады Керенскому и — в Совет, на всякий случай, а что из этого выходило — то будет видно из дальнейшего.

Керенского за все время я ни разу не видал. Он меня к себе не требовал, а мне незачем было идти к нему. Чем он мог мне по-

мочь? С меня довольно было и комиссаров. Я знал, что он мне не доверял, потому что я был старорежимный генерал и не скрывал своего отвращения к новым порядкам.

Глава одиннадцатая
РАБОТА В КОРПУСЕ

Но что бы ни было на душе, работать было нужно, и работать не покладая рук. Жизнь этого требовала.

Керенский правильно учел значение присутствия 3-го конного корпуса под Петроградом. Совет солдатских и рабочих депутатов присмирел. Царскосельский гарнизон, когда кругом стали донцы, изменился до смешного. Солдаты начали чисто одеваться и отдавать честь офицерам. Все это сделало только то, что появились нерасхлюстанные части, что у ворот дворца Великой Княгини Марии Павловны стоял чисто одетый часовой, который не лущил семечек, казаки праздно не шатались по городу, а те, кто появлялся на улицах, были чисто одеты и отдавали щеголевато честь офицерам. Одна внешность уже влияла оздоровляющим образом, надо было поддержать ее и воспитать снова офицеров и казаков.

Как и на Юго-Западном фронте, и здесь интендантство Петроградского военного округа широко пошло мне на помощь. Удалось получить даже серо-синие шаровары, о которых так мечтали казаки. Я опять начал с матерьяльного, с одежды и кухонь, но не оставлял и морального воздействия на части.

6 сентября начальники дивизий донесли мне о том, что полки собраны и расквартированы в указанных им районах. 7-го числа в 10 часов утра я был в Пулкове в районе расположения 9-го и 10-го Донских казачьих полков. В просторной сельской школе были собраны все офицеры и большая часть урядников полков. Прибыло много казаков, моих старых сослуживцев, для того, чтобы посмотреть на меня.

Я коротко и совершенно откровенно рассказал офицерам и казакам обстановку. Я не скрывал от них, что цель нашего присутствия в Петрограде не столько угроза немецкой высадки, сколько страшная темная работа большевиков, стремящихся захватить власть в свои руки.

Дорогие мне лица окружали меня. Я видел пламенные, восторженные взгляды моих соратников под Белжецем, Комаровом, Не-

звиской, Залещиками и во многих, многих делах. Я чувствовал, что среди них я свой.

Я кончил.

— *Ваше превосходительство!* — раздались гулом голоса. — Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы — *корниловцы*! Велите — и мы вам Керенского самого предоставим. Мы понимаем, где порядок.

Я тронулся к выходу. Толпа меня провожала. Старый бригадный командир полковник Толоконников, с красным лицом, длинными седыми усами и седою бородою, со слезами на выцветших бледно-серых глазах, поднял руку и остановил поток голосов. «Неужели речь?» — думал я; как это было бы бестактно и неуместно. Но он, в наступившей тишине, произнес верным голосом первое слово Донского гимна-песни. И все офицеры и казаки, не сговариваясь, дружно грянули:

Всколыхнулся, взволновался
Православный Тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв Монарха он...

Все сняли фуражки. Так, под могучие напевы этой песни, я сел в автомобиль и с нею в сердце и в душе уехал из Пулкова в Петроград в штаб округа, к полковнику Полковникову.

«Ну, эти, — думал я про казаков 9-го и 10-го полков, — надежны, не подведут», — и решил иметь их как свой последний резерв.

В 5 часов дня того же 7 сентября я говорил в Павловске с офицерами и представителями 13-го и 15-го Донских казачьих полков. Слушали внимательно, но настроение было не то. Не было общего слияния и единой мысли. Производство Керенским двух казаков-изменников в хорунжие возымело свои действия. В одном месте, где я говорил о том, что самочинные Советы солдатских и рабочих депутатов мешают работе правительства и ведут страну к внутренним потрясениям и пролитию крови, что это только жажда власти и неприятная борьба за власть, кто-то сзади крикнул по-митинговому: «Неправда». Крикнувшего сейчас же вытолкали сами казаки вон из помещения, впечатление от речи было потеряно. Я остался после сообщения и долго беседовал с офицерами и казаками. Здесь были аресты казаками офицеров, доверие было утеряно, и тут надо было поработать и привести части в порядок. Но командиры полков, полковники М.М.Иванов и Ситников, были мне хорошо известны как доблестные

офицеры, и они ручались, что не отстанут от 1-й бригады Толоконникова.

8 сентября я читал это же сообщение в Гатчине офицерам и представителям Уссурийского и Амурского полков и Уссурийского дивизиона. Сообщение делалось в громадном зале одной из гатчинских казарм, приспособленном после революции для спектаклей; говорить пришлось со сцены, и это, конечно, умаляло значение сообщения начальника. Кроме того, в зал набралось много посторонних солдат Гатчинской автомобильной школы. Несмотря на это, беседа прошла гладко. Оставшись потом с офицерами, я с грустью убедился, что здесь опасность угрожает именно от офицеров. Большинство были безнадежно серы по своему образованию и воспитанию. Они нисколько не возвышались над рядовыми казаками, во многих отношениях были ниже их. Но, главное, они не любили казаков. Возвысившись над ними дешевою пеною четырехмесячных курсов или угодливостью перед начальниками, они сторонились от казаков, и те отвечали им презрением. При обходе мною помещений, занятых полками, я всюду видел грязь, неряшливость и запущенность. В Амурском полку несколько казаков не имели сапог, белье было заношено, шаровары и рубахи порваны. Маленькие монгольские лошадки их стояли понурившись, нечищеные и некормленые. На все ответ один: нет, не получали, не добились...

Здесь работа нужна была громадная, а работать было некому. Командира бригады не было. Командир Уссурийского полка полковник Пупков был не казак и не сумел сойтись ни с офицерами, ни с казаками, командир Амурского полка Полковников милостью Керенского командовал всеми нами, а вместо него в полку был штаб-офицер, который для виду занимался широкой политикой отделения амурских казаков от России. Несколько лучше был Уссурийский дивизион.

Вечером я был в Петергофе в манеже Конногренадерского полка, по революционной моде обращенном в театр-кабаре, кинематограф и еще какую-то пакость. Командир Приморского полка перестарался и, воспользовавшись громадностью помещения, нагнал весь полк. При моем приходе никто не встал, а командир полка не скомандовал «встать», и пришлось это скомандовать самому. Между каких-то павильонов и пестрых киосков толпились солдаты Приморского и казаки Нерчинского полков. На лицах в большинстве — тупая скука, но у некоторых раздраженное любопытство с примесью злорадства. Говорить опять пришлось

с эстрады. Поднявшись на нее, увидал, что в манеже немало постороннего элемента. Какие-то штатские, какие-то дамы. Попросил удалиться. Ушли не без протеста, да могли и не уйти. Наступал вечер, в углах манежа клубились сумерки. Беседа потеряла характер интимности. Вместо ярких, выпуклых фактов пришлось говорить общими местами. Когда я начал говорить о необходимости строевых занятий и о том, как их вести, чтобы заинтересовать солдата, — большинство солдат демонстративно встало и начало уходить. Пришлось прикрикнуть на них и заставить вернуться. Привычка к митингам выявляла себя. После беседы раздались аплодисменты, а из темных углов крики «долой» и свистки. Командир Приморского полка заверял меня, что это кричали не драгуны, а посторонние, жаловался на то, что с последним пополнением ему прислали развращенных солдат, настоящих большевиков. Было уже темно, когда я сквозь густую толпу солдат проходил к автомобилю. Однако враждебного отношения к себе не заметил. Старались не толкаться. Из толпы я выехал в полной тишине.

Гадко, склизко и противно было на душе, когда я вернулся. Строил планы работы, как оздоровить весь этот материал, и всюду натыкался на одно главное препятствие — не было офицеров. Офицеры — даже и лучшие, кадровые, ушли от солдат, как солдаты ушли от офицеров. Испытавши унижение ареста, они уже боялись своих солдат и не верили им.

Раньше мы говорили офицерам: станьте ближе к солдату, не отходите от него, и офицер самоотверженно шел в солдатскую землянку и был все время с солдатом. Они поверяли друг другу свои думы, вместе мечтали о славе, о награде, о подвигах, об отдыхе, о возвращении домой после победы. Вместе пели свои хорошие солдатские песни.

Как я скажу теперь офицеру: станьте ближе к солдату, когда тихой беседы быть не могло? Злобно отворачивались серые глаза солдата от офицера, и на кроткую беседу слышался дикий выкрик: «Га — мало кровушки нашей попили...»

Стена стояла между ними. Военного братства не было и надо было вернуть. Конечно, не спектаклями и кинематографами, а старою песнею, общими учениями и маневрами...

Таковы были планы, таково было тяжелое, мучительное настроение на душе в эти сентябрьские дни, когда я даже не знал хорошенько, я или барон Врангель командует 3-м конным корпусом.

Глава двенадцатая
ОТНОШЕНИЕ К КОРПУСУ НАВЕРХУ

В середине сентября, ближе ознакомившись с петроградскими настроениями и с составом своего корпуса, я составил доклад, в котором указывал на необходимость в противовес Совету солдатских и прочих депутатов, Петроградскому гарнизону и вооруженным рабочим для поддержки правительства и обеспечения правильных и спокойных выборов в Учредительное собрание и самой работы Учредительного собрания сосредоточить в ближайших окрестностях Петрограда очень надежную конную часть с большою артиллериею, причем одну треть по очереди держать в самом Петрограде. Сделавши характеристику 3-му конному корпусу, я предлагал: Уссурийскую дивизию, как малонадежную, убрать в другое место. Вместо нее в корпус влить гвардейскую казачью и 2-ю казачью сводную дивизию; гвардейцев поставить в их постоянных казармах, где они по привычке перешли бы на мирное положение и восстановили бы внутренний порядок. Гвардейским офицерам хорошо была знакома вся тактика городской войны, и Петроград был им известен до мелочей. Революционные же казачьи полки — 1-й, 4-й и 14-й — отправить на Дон, где они, несомненно, оздоровели бы, соприкоснувшись со своими родителями.

Но кому я отдам этот доклад? По закону я должен был представить его по команде — Полковникову. А был я уверен в том, что Полковников идет заодно с правительством, а не против него?

Был ли я уверен в самом Керенском? По чистой совести отвечу — нет.

План был создан, рассмотрен с начальником 1-й Донской казачьей дивизии, с начальником штаба и штаб-офицером Генерального штаба, всеми одобрен, его надо приводить в исполнение, и приводить в исполнение спешно, потому что выборы не за горами, власти у меня для того нет, а тем, у кого власть, — я не верю.

Пойти по старому пути к комиссарам? Но Войтинского и Станкевича, которым я верил, что они не с большевиками, здесь не было, это их не касалось, а комиссар Петроградского округа капитан Кузьмин произвел на меня отталкивающее впечатление очень хитрого человека, глубоко конспиративного, неизвестно к чему стремящегося.

Я не политик и решил идти прямым солдатским путем. 16 сентября я поехал к Полковникову и доложил ему на словах, а потом пе-

редал и письменный доклад. С его стороны я встретил полное сочувствие этому, и мне показалось, что мои подозрения напрасны и что он в полной мере воспринял мою точку зрения. Он обещал очень осторожно нащупать Керенского и сделать ему об этом доклад.

— С Черемисовым (главнокомандующим Северным фронтом), — сказал он, — говорить не стоит. Я уже имею приказание передать корпус ему и отправить вас в район г. Острова, где он войдет в армию и будет считаться в резерве Главнокомандующего. Но надо расстроить. Они думают только о себе, а не о России.

Тем не менее, вернувшись в штаб корпуса в Царское Село, я нашел приказание приступить к перевозке корпуса в район Острова и отдал об этом распоряжения.

Но, по-видимому, Полковников все-таки попытался бороться за оставление 3-го конного корпуса под Петроградом. Прошла неделя, а мы не могли добиться эшелонов для спешной перевозки корпуса. Шла какая-то невидимая борьба. В штабе округа мне передавали, что Совет солдатских и рабочих депутатов очень недоволен присутствием корпуса в Царском Селе и настаивает, чтобы его убрали подальше.

«Ну, — подумал я, — если Совет этого хочет, Керенский непременно это сделает, а потом будет каяться. Но будет поздно».

Так и вышло. 26 сентября пришло категорическое приказание идти к Острову, и к 28 сентября все части корпуса сосредоточились в районе Острова по деревням.

28 сентября я представлялся в Пскове главнокомандующему Северным фронтом Черемисову. В ожидании приема присматривался к обстановке. Адъютант с громкой еврейской фамилией представителей богатого еврейского мира держался небрежно, свысока третируя меня и моего хорошего знакомого генерала Я.Д.Юзефовича, только что назначенного командующим 12-й армией. У вестового в руках большевистская газета «Окопная правда». Из беседы с Черемисовым выяснил, что он очень считается с местным Советом солдатских и рабочих депутатов и большой сторонник демократизации армии. Понял, что мне с ним не по пути. Перед тем как ехать из Пскова, зашел к комиссару Станкевичу. Этот молодой человек мне больше нравился. Он-то хотя был искренен, и если мы и были разных понятий, то я знал, что он честно хотел спасения армии и России. Поговорили по душам о занятиях и о необходимости перетасовать командный состав корпуса.

На другой день, 29 сентября, ко мне прибыл молодой офицер с университетским значком, отрекомендовавшийся поручиком

л.-гв. Егерского полка Матушевским, членом исполнительного комитета Совета солдатских и рабочих депутатов. Он прибыл с бумагами из Ставки, предлагающими допустить его до ознакомления с корпусом.

Итак, новая, побочная власть, знаменитый *исполком* уже заинтересовался корпусом. Из разговора с ним я понял, что моя докладная записка не секрет для него.

Кто же сообщил? Полковников или Керенский? Или оба вместе? Или записка забежала по пути в исполком, и исполком обеспокоился. Матушевский приехал с самыми хорошими намерениями. Он слышал о том непримиримом отношении к офицерам, которое существует среди команд штаба корпуса, он приехал примирить и от имени Совета, который пользуется исключительным влиянием на солдат, поговорить с корпусным комитетом.

Надо было выгнать его. Но выгнать его — это окончательно порвать тонкие нити, которыми я только что связывался со штабными командами. Решили устроить заседание штабного комитета, но в своем присутствии.

Вечером я пришел в заседание, но оказалось, что Матушевский забежал раньше меня, и я застал не беседу, но форменный солдатский митинг со страстными речами, с криками «правильно» и «долой». Однако при мне все затихли.

Председательствовал председатель комитета, солдат Соловьев, мрачный, болезненный человек из петербургских мастеровых, очень неглупый, с которым даже приятно было говорить с глазу на глаз, настолько верно понимал он всю нашу разруху и настолько искренно скорбел о прошлом. Но он ненавидел офицеров всеми фибрами своей души, ненавидел беспричинно за одно то, что они офицеры.

Говорил солдат Коржиков — искровой команды, большевик. Это тоже петроградец, но из зажиточной купеческой семьи. Он страстно обвинял начальника искровой станции и офицеров штаба в измене на фронте. Измена заключалась в том, что когда-то, еще до революции, начальник искровой станции и другие офицеры привели своих знакомых дам на станцию, показывали им действие искрового телеграфа, объясняли его устройство и принимали при них радиотелеграмму. В этом была измена и предательство. Коржиков истерично кричал, требуя немедленной смены этих офицеров и предания их военно-революционному суду. Глаза солдат горели злобою и ненавистью.

После него говорил Соловьев. Он еще подлил масла в огонь, и настроение команд было таково, что казалось, что солдаты вот-вот бросятся на офицеров и разорвут их.

Тогда выступил Матушевский. Он отрекомендовался членом исполкома, и это произвело сильное впечатление на комитет. Говорил он отлично, с приемами мастера оратора, то понижая голос до шепота, то доводя его до страстного болезненного крика. Это была защита офицеров. Яркая, блестящая защита. Она не убедила солдат, но она утишила злобу и залила огонь страстей.

На этом надо было кончить и расходиться. Но тут выскочил с ненужными и неуместными оправданиями начальник штаба Уссурийской дивизии, Генерального штаба капитан Смирнов, с крайне бестактной речью, и все пропало. Началось общее возбуждение и крики с мест.

Пришлось сказать мне. Я сказал о заслугах перед Родиной 3-го корпуса, о его славе и сказал, что этою славою корпус обязан офицерам.

Речь моя усмирила солдат, и мы разошлись более или менее мирно.

За ужином Матушевский, которого офицеры просили рассказать им о таинственном *исполкоме*, произнес горячее слово в защиту большевиков, Ленина и Троцкого.

Когда он кончил, кто-то из офицеров сказал: за ними никто не пойдет.

Матушевский встал. Лицо его было бледно.

— За ними не посмеют не пойти, — тихо, почти шепотом произнес он. — Вы не знаете, кто такой Троцкий. Поверьте мне, когда будет нужно, Троцкий не задумается поставить гильотину на Александровской площади и будет рубить головы всем непокорным... И пойдут за ним...

Стояла гробовая тишина. Впечатление его слов было ужасно. Я понял, что так оставить этого нельзя. Я встал и сказал несколько слов на тему о той Голгофе страстей, на которую восходит офицерство, о той великой крови, которую оно льет на защиту Родины. После Голгофы было Светлое Христово воскресение, я глубоко верую в то, что кровь офицеров пролита не напрасно...

Матушевский ночевал у меня и уехал рано утром. Прощаясь, он сказал мне: «В вас мы имеем сильного противника... А может быть, мы еще сойдемся...»

Ясно было одно: взоры исполкома обращены на нас.

Глава тринадцатая

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

На новых квартирах я повел ту же работу, что когда-то вел в 1-й Кубанской дивизии. Каждый день определенная часть корпуса была на маневре, почти всегда в моем присутствии после маневра разбор, отдача в приказе всех ошибок. Два раза в неделю беседа с офицерами. Во всех полках с 15 октября должны быть устроены полковые учебные команды для подготовки урядников, и широкие программы этих команд были разосланы; во всех полках были устроены библиотеки, для команд штаба был намечен ряд ежедневных бесед, по два часа по вечерам; предполагалось прочитать курсы географии и истории России, политической экономии и военного искусства. Лекторы усиленно готовились к этому по особым мною составленным программам.

Разврату и разлагающей пропаганде большевизма я решил противопоставить работу и силу образования и просвещения.

Деятельность моя, скрыть которую, конечно, нельзя было, обратила внимание. Одни сочувствовали и хотели посильно помочь, другие мешали. Я уклонялся от посторонней помощи и по мере сил боролся с мешающими.

1 октября ко мне приехал помощник комиссара Савицкий, с ним какая-то дама с университетским значком и А.Гликберг, известный поэт Саша Черный. Они говорили о каких-то библиотеках и чтениях для солдат. Когда я им рассказал, как в глухих деревнях, по маленьким избам, часто без освещения вечером живут солдаты и казаки корпуса, как к ним трудно добираться осенью по распутице, когда и верхом с трудом к ним проедешь, — они задумались.

— Но если я буду сегодня читать группе, завтра другой? — робко сказала дама.

— Что читать? — спросил я.

— Чехова.

— Чехова? Десяти тысячам человек, по три и по четыре сразу? Когда же вы кончите?

Они уехали.

9 октября у меня был полковник пограничной стражи Заневский, приехавший от Главнокомандующего «знакомиться с настроениями частей». Я его просто прогнал, чему он, кажется, был даже рад.

Все это было глупо, нудно, досадливо иногда, но не опасно.

Опасность угрожала с другого конца и скоро уничтожила корпус без остатка.

6 октября штаб Северного фронта экстренно потребовал посылки 2 сотен и 2 орудий в Осташков.

Это было самое страшное. Это сразу прекращало воспитание солдат, вырывало части из рук старших, более опытных начальников, подрывало правильность снабжения и довольствия и ставило маленькие казачьи части в густую солдатскую массу, уже обработанную большевиками. Я исполнил приказ и отправил на эту службу весь Уссурийский казачий полк и 1 1/2 из бывших у меня шести Донских батарей, но сейчас же написал в штаб фронта, кому только мог, просьбу этого не делать, так как это разрушает корпус, который может понадобиться в полном составе для борьбы против большевиков.

— Кому вы пишете? — сказал мне исправляющий должность начальника штаба полковник С.П.Попов.

— Как — кому? По команде. Главнокомандующему Северным фронтом, или, как по-большевистски называют, главкосеву Черемисову.

— Да разве вы не знаете, что Черемисов заодно с большевиками, что он все время проводит в Совете солдатских и рабочих депутатов, стоит за полную демократизацию армии и попускает, а кто говорит, что и покровительствует изданию большевистской газеты «Окопная правда»?

— Но что же делать, Сергей Петрович? Выходит, что все начальство передалось большевикам. Тогда проще — устранить Временное правительство и передать власть большевикам мирно. Столковаться с ними, как это теперь говорится. Был Львов, стал Керенский, ну, будет Ленин — хуже не будет. Это прямое последствие отречения Государя.

— Да, это так.

— Что же, прикажете плыть по течению?

— Но что вы сделаете, если изменили верхи? Везде все это делается не без ведома Керенского. Керенский сам рубит сук, на котором сидит.

— Керенскому это простительно. Он ничего не понимает ни в военном, ни в государственном деле, но о чем же думают Черемисов и Лукирский?

— Думают, как угодить новому барину — «грядущему хаму».

— И мы молча будем пособничать, — сказал я.

— Протестовать бесполезно.

— Будем не только протестовать, но и бороться. Может быть, и мы сумеем в борьбе обрести право свое.

Бумагу мы послали. Ответом было приказание поставить 5 сотен в Пскове. Я поехал лично в штаб и эти пять сотен отстоял, но победа была вызвана не силой моего убеждения, а просто тем, что для них не нашлось в Пскове помещения, да и Совет высказался против помещения казаков в Пскове.

Итак, с октября месяца корпус оказался фактически в распоряжении у большевиков, и большевики продолжали работу по его растасовке.

8 октября штаб потребовал два полка в Ревель. Я отправил 13-й и 15-й полки. Это требование было якобы боевого характера. После занятия острова Эзеля немцами командование фронтом опасалось за Ревель. Но что будет делать кавалерия в крепости, об этом не думали.

9 октября потребовали еще один полк с двумя орудиями в Витебск. Не без скандалов пошел Приморский драгунский полк. Полковой комитет заявил, что если это для действий против его братьев солдат, то он не пойдет и работать, как жандармы, не будет.

— Ну а если ваши братья солдаты дезертируют с фронта, братаются с немцами, грабят и насилуют жителей — вы будете молчать и пособничать? Ведь это измена Родине, — сказал я.

— И революции, — поспешил добавить вольноопределяющийся Левицкий, опасаясь, что слово *Родина* вызовет обратное действие.

— На это товарищи солдаты не способны, — отвечал кто-то из комитета.

— А вы ручаетесь за них?

Комитет молчал. Драгуны постановили идти. Мне было не жалко их отпускать. В случае какого-либо движения они не только не помогли бы, но внесли бы большую путаницу в действия.

21 октября потребовали 6 сотен и 4 орудия в Боровичи для усмирения тамошнего гарнизона. Там произошли обычные эксцессы. Убили начальника гарнизона и командира пехотного полка и ограбили лавки. Послал Уссурийский дивизион и часть амурцев.

Таким образом, к 22 октября от 1-й Донской дивизии оставалось — 6 сотен 9-го Донского полка и 4 сотни 10-го Донского полка (2 сотни ушли в Новгород), от Уссурийской конной дивизии было в моем распоряжении: 6 сотен 1-го Нерчинского полка и 2 сотни 1-го Амурского полка. Из бывших в корпусе 24 орудий донской ар-

тиллерии оставалось при мне 12 орудий, да было 4 орудия только что сформированной и почти необученной, во всяком случае, ни разу не стрелявшей 1-й Амурской казачьей батареи. Вместо грозной силы в 50 сотен мы имели только 18 сотен разных полков*.

Можно ли говорить, что большевики не готовились планомерно к выступлению 25 октября? Но кто им помогал?

23 октября весь «корпус», то есть оставшиеся 18 сотен, было приказано передвинуть в район Старого Пебальга и Вендена, где поступить в распоряжение штаба 1-й армии, потому что там ожидались беспорядки и массовые эксцессы. Я поехал в Псков узнать обстановку, 24 октября отправил в штаб 1-й армии квартирьеров и приступил к погрузке 10-го Донского казачьего полка в вагоны.

25 октября я получил телеграмму. Точного содержания ее не помню, но общий смысл был тот: Донскую дивизию спешно отправили в Петроград; в Петрограде беспорядки, поднятые большевиками. Подписана телеграмма двумя лицами: Главковерх Керенский и полковник Греков.

Полковник Греков — донской артиллерийский офицер и помощник председателя Совета Союза казачьих войск, казачьего учреждения, пользующегося большим влиянием у казаков.

«Ловко! — подумал я. — Но откуда же при теперешней разрухе я подам спешно всю 1-ю Донскую дивизию к Петрограду?»

Тем не менее 9-й полк направил к погрузке в вагоны. 4 сотни 1-го полка приказал остановить на станции, послал телеграммы в Ревель и Новгород о сосредоточении к Луге, откуда решил идти походом, чтобы не повторять ошибки Крымова, увы, уже сделанной мудрыми распоряжениями штаба фронта.

А квартирьеры? Они уже ушли и рыщут, вероятно, по имениям и мызам, отыскивая помещения. Послал нарочного и за ними...

Сам поехал в Псков просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки так, чтобы хотя бы к вечеру 26-го я мог бы иметь часть из Ревеля и Новгорода в Луге.

Все было обещано сделать. В штабе я нашел бо́льшую тревогу. Тихо, шепотом передавали, что Временное правительство свергнуто и не то разбежалось, не то борется в Зимнем дворце, отстаи-

---

* Корпус состоял из 9-го (6 сотен), 10-го (6 сотен), 13-го (6 сотен), 15-го (6 сотен) Донских казачьих полков, Приморского драгунского (6 эскадронов), 1-го Нерчинского казачьего (6 сотен), 1-го Амурского (6 сотен), 1-го Уссурийского казачьего (6 сотен) полков и Уссурийского казачьего (2 сотни) дивизиона и 6 донских и 1 амурской батарей.

ваемом юнкерами; вся власть захвачена Советами с Лениным и Троцким во главе.

Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ, где полностью передал телеграмму Керенского и Грекова и призывал казаков к уверенным и смелым действиям. Приказ послал с нарочными и в Ревель, и в Новгород. После чего собрался сам и поехал на станцию Остров, где уже был погружен штаб 1-й Донской дивизии, без ее начальника, случайно бывшего в отпуске в Петрограде.

Глава четырнадцатая
ИЗМЕНА ШТАБА ФРОНТА

Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции заставлены красными вагонами. В них лошади и казаки, казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только что погрузился. На станции санитары, врачи и сестры Проскуровского отряда. Просят, чтобы им разрешено было отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле.

Казаки кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона и поет вполголоса свои песни.

Ах, да ты подуй,
Подуй, ветер, с полуночи,
Ты развей, развей тоску!.. —

слышится откуда-то с дальнего пути.

Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе у казаков, и агитаторы это чуют.

После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей — штаба Уссурийской дивизии, 1-го Нерчинского полка и 1-й Амурской батареи — и длительных разговоров с новым командующим дивизией генерал-майором Хрещатицким я, в 11 часов ночи, прибыл на станцию.

— Лошади погружены? — спросил я.

— Погружены, — отвечал мне полковник Попов.

— Значит, можно ехать?

— Нет.

— Но ведь нашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без двух минут одиннадцать.

— Ни один эшелон еще не отошел.

— Как? А девятый полк?

— Стоит на путях.

— Стоило гнать сломя голову. Но что же вышло?

— Комендант станции говорит — нет разрешения выпустить эшелоны.

Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен.

— Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в Острове, — сказал он.

— Кто приказывает?

— Начальник военных сообщений.

Я соединился с Псковом. Полковник Карамышев как будто бы ожидал меня у аппарата.

— В чем дело?

— Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в Острове.

— Но вы знаете распоряжение Главковерха? Идти спешно на Петроград.

— Знаю.

— Ну так чье же приказание мы должны исполнить?

— Не знаю. Главкосев приказал. Я эшелоны не трону. И в Ревель и в Новгород послано: отставить.

Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами, одни усмирили большевиков. Одно — идти с *генералом* Корниловым против *адвоката* Керенского, кумира толпы, и другое — идти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравился.

Я послал за автомобилем, сел в него с Поповым и погнал в Псков.

Позднею глухою ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах, все окна темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. Насилу дозвонился. Вышел заспанный жандарм. В штабе никого. «Хорошо, — подумал я, — штаб Северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде».

— А может быть, уже все кончено, — сказал мне Попов, — и напрасно беспокоимся. Теперь бы спать и спать...

— Где начальник штаба? — спросил я у жандарма.

— У себя на квартире.

— Где он живет?

Жандарм начал объяснять, но я не мог его понять.

— Постойте, я оденусь, провожу вас.

Полковник Попов пошел на телеграф переговорить с Островом, там напряженно ждали — выгружаться или нет, а я поехал с жандармом к генералу Лукирскому. Парадная лестница заперта. На стуки и звонки никакого ответа. Нигде ни огонька. Пошли искать по черной. Насилу добились денщика.

— Генерал спит и не приказали будить.

С трудом добился от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба.

Наконец в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукирский в шинели, надетой поверх белья. Я доложил ему о том, что имею два взаимно противоречащих приказания и не знаю, как поступить.

— Я ничего не знаю, — лениво и устало сказал мне Лукирский.

— Как ничего не знаете? Но ведь вы начальник штаба.

— Обратитесь к главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома на совете. А я ничего не знаю.

Пошел к главнокомандующему. Весь верхний этаж его дома на берегу реки Великой ярко освещен. Кажется, единственное освещенное место в Пскове. С треском отскочил от него автомобиль с какими-то солдатами и помчался вверх по городу.

Опять тот же адъютант с громкой еврейской фамилией меня встретил.

— Главкосев занят в совете, — сказал он на мою просьбу доложить обо мне, — и я не могу его беспокоить.

— Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили. Дело не может быть отложено до утра.

Адъютант с видимой неохотой открыл дверь, из-за которой я слышал чей-то мерный голос. В открытую дверь я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном, и за ним человек двадцать солдат и рабочих. В голове стола сидел Черемисов. Он с неудовольствием выслушал адъютанта и что-то сказал ему.

— Хорошо, — сказал, возвращаясь, адъютант. — Главкосев вас примет, но только на одну минуту.

Меня провели в кабинет главнокомандующего. Минут десять я ожидал, стоя перед громадной картой, на которой цветными полосами было показано, как катился назад наш фронт этим летом. Сдали Ригу... Отошли к Вендену... Сдали Эзель... К весне, кто знает, — может быть, немцы уже будут в Петрограде?

Дверь медленно отворилась, и в кабинет вошел Черемисов. Лицо у него было серое от утомления. Глаза смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то нервною зевотою, не то ис-

кусственною, чтобы показать мне, насколько все то, о чем я говорю ему, пустяки.

— Временное правительство в опасности, — говорил я, — а мы присягали Временному правительству, и наш долг...

Черемисов посмотрел на меня.

— Временного правительства нет, — устало, но настойчиво, как будто убеждая меня, сказал он.

— Как нет? — воскликнул я.

Черемисов молчал. Наконец тихо и устало сказал:

— Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в Острове. Этого вам достаточно. Все равно вы ничего не можете сделать.

— Дайте мне письменное приказание, — сказал я.

Черемисов с сожалением посмотрел на меня, пожал плечами и, подавая мне руку, сказал:

— Я вам искренно советую оставаться в Острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше.

И он пошел опять туда — в «совет». Я вышел на улицу. У автомобиля меня ожидал Попов. Я рассказал ему результат свидания.

— Знаете, — сказал мне Попов. — Это дело политическое. Пойдемте к комиссару. Войтинский все это время был порядочным человеком. Его долг нам подать совет. Да без комиссара мы и части не повернем. Вон уже 9-й полк волнуется оттого, что сидит сутки в вагонах.

Я согласился, и мы поехали в комиссариат.

Войтинского, который и жил в комиссариате, не было там. По словам дежурного товарища, он ушел куда-то на заседание, но должен скоро вернуться.

Мы сели в комнате «товарища» и ждали. Уныло тикали стенные часы, и медленно ползла осенняя ночь. Било три, било половина четвертого. Наконец около четырех часов Войтинский приехал.

Он обрадовался, увидавши нас. Все лицо его, некрасивое, усталое, просияло.

— Вы как нельзя более кстати, — сказал он и начал расспрашивать про обстановку, про настроение частей. — Что говорил Черемисов? — быстро спрашивал он. — А вы как думаете?.. Прямо Бог послал вас сюда именно сегодня... Мне нужно с вами поговорить наедине. Пойдемте ко мне.

Мы пошли по пустым комнатам комиссариата. Кое-где тускло горели лампы. Наконец в какой-то дальней комнате он остано-

вился, тщательно запер двери и, подойдя ко мне вплотную, таинственно, шепотом сказал:

— Вы знаете... Он здесь!

Я не понял, о ком он говорит, и спросил:

— Кто он?

— Керенский!.. Никто не знает... Он тайно только что приехал из Петрограда... Вырвался на автомобиле... Идет осада Зимнего дворца... Но он спасет... Теперь, когда он с войсками, он спасет... Пойдемте к нему... Или лучше я скажу вам его адрес... Нам неудобно идти вместе... Идите... Идите к нему. Сейчас...

Глава пятнадцатая
ЧЕМ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ КЕРЕНСКИЙ

Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романическим Средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилем. Шли как заговорщики... Да по существу мы были заговорщиками — двумя мушкетерами средневекового романа!

Ночь была в той части, когда, утомленная, она готова уже уступить утру и когда сон обывателя становится особенно крепким, а грезы фантастическими. И временами, когда я глядел на закрытые ставни, на плотно опущенные занавески, на окна, подернутые капельками росы и сверкающие отражениями высокой луны, мне казалось, что и я сплю, и этот город, и то, что было, и то, что есть, не более как кошмарный сон.

Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который...

Я никогда, ни одной минуты не был поклонником Керенского. Я его никогда не видал, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения.

Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции — я молчал. Но когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне. Как, думал я, во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий! Военное искусство одно из самых трудных искусств, потому что оно, помимо знаний, требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетантизм нежелателен, то, в военном искусстве он недопустим.

Керенский полководец! Петр, Румянцев, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев... и Керенский!

Он разрушил армию, надругался над военною наукою, и за то я презирал и ненавидел его.

А вот иду же я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, иду как к Верховному главнокомандующему предлагать свою жизнь и жизнь вверенных мне людей в его полное распоряжение?

Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к Родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию...

Вот о чем грезили, о чем переговаривались мы с С.П.Поповым, пока искали квартиру полковника Барановского, у которого был Керенский.

Искали долго. Спросить? Не у кого. Город спит, никого на улицах. Наконец, скорее по догадке, усмотревши в одном доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли много неспящих людей, суету, суматоху, бестолочь, воспаленные глаза, бледные лица, квартиру, перевернутую кверху дном, и самого Керенского.

Глава шестнадцатая
КЕРЕНСКИЙ

— Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже, близко? Я надеялся встретить его под Лугой!

Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больною кожей и опухшими красными глазами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами — все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку верхом. Смотрит проницательно, прямо в глаза, будто ищет ответ в глубине души, а не в словах; фразы короткие, повелительные. Не сомневается: то, что сказано, то и исполнено. Но чувствуется какой-то нервный надрыв, ненормальность. Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер, несмотря на это «генерал», которое сыпется в конце каждого вопроса, —

ничего величественного. Скорее — больное и жалкое. Как-то, на одном любительском спектакле, я слышал, как довольно талантливо молодой человек читал стихотворение Апухтина «Сумасшедший». Вот такая же повелительность была и в словах этого плотного, среднего роста человека, чуть рыжеватого, одетого в защитное, бегающего по гостиной между столиком с допитыми чашками кофе, угловатыми диванчиками и пуфами и вдруг останавливающегося против меня и дающего приказание или говорящего фразу, и казалось, что все это закончится безумным смехом, плачем, истерикой и дикими криками: «Всё васильки, красные, синие в поле!»

Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах.

Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона. Слушает невнимательно. Будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда — знаю я вас; у вас всегда отговорки, но нужно сделать, и вы сделаете.

Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями — безумие.

— Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее, и за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует. Скажите, что вам надо? N.N., — обратился он к Барановскому*, — запишите, что угодно генералу.

Я стал диктовать Барановскому, где и какие части у меня находятся и как их оттуда вызволить. Он записывал, но записывал невнимательно. Точно мы играли, а не всерьез делали. Я говорил ему что-то, а он делал вид, что записывает.

— Вы получите все ваши части, — сказал Барановский. — Не только Донскую, но и Уссурийскую дивизию. Кроме того, вам будут приданы 37-я пехотная дивизия, 1-я кавалерийская дивизия и весь 17-й армейский корпус, кажется, все, кроме разных мелких частей.

— Ну вот, генерал. Довольны? — сказал Керенский.

— Да, — сказал я, — если это все соберется и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков.

Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков и в Гатчи-

---

* Я не помню имени и отчества Барановского.

не и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части 17-го корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно—Гатчина и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе... Но если бы это было так — разве сидел и Черемисов теперь с Советом? Разве принял бы он меня известием, что Временного правительства уже нет. Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, — это показывает, что армия на стороне Керенского, а если так — бунтовался бы разве гарнизон Петрограда, задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому.

Мне показалось, что он не только не уверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже и в том, что Ставка, то есть генерал Духонин, передала приказания. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.

«Ему надо отдохнуть», — подумал я и стал прощаться.

— Куда вы, генерал?

— В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою Гатчину.

— Отлично. Я пойду с вами. — Он отдал приказание подать свой автомобиль. — Когда мы там будем? — спросил он.

— Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове.

— Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, я хочу поговорить с ними.

«Ах, зачем это!» — подумал я, но ответил согласием. Кто его знает, может быть, у него особенный дар, умение влиять на толпу. Ведь почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что *сам Керенский* с ними.

Минут через десять автомобили были готовы, я разыскал свой, и мы поехали. Я — по приказанию Керенского — впереди, Керенский с адъютантами сзади. Город все так же крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.

Глава семнадцатая
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД

Бледным утром мы подъезжали к Острову. Верстах в пяти от города я встретил сотни 9-го Донского полка, идущие из города по своим деревням. Я остановил их.

— Куда вы? — спросил я.

— Ночью было передано от вас приказание выгружаться и идти по домам, — отвечал командир сотни.

— Я не отдавал такого приказания. Поворачивайте назад, мы сейчас едем на Петроград, с нами едет Керенский.

— Как, Керенский? — с удивлением спросил командир сотни.

Казаки, прислушивавшиеся к моим словам, стали передавать один другому: «Керенский здесь, Керенский здесь».

В эту минуту подъехал и Керенский. Он поздоровался с казаками. Казаки довольно дружно ему ответили. Сомнений не было, и сотни стали заходить плечом к Острову. Мы поехали дальше. Мне негде было устроить Керенского. Моя квартира была разорена, и я поехал с ним в собрание, где предложил ему чай и закусить, а сам пошел отдавать распоряжения. Мимо меня прошли сотни 9-го полка, лица казаков выражали любопытство.

Весть о том, что Керенский в Острове, сама собою распространилась по городу. Улица перед собранием стала запружаться толпою. Явились дамы с цветами, явились матросы и солдаты Морского артиллерийского дивизиона, стоявшего по ту сторону реки Великой в предместье Острова. Я поставил часовых у дверей дома и вызвал в ружье всю Енисейскую сотню, которая стала в длинном коридоре, ведшем из столовой, и никого не пропускала. Наверху собирались комитеты. Как ни следили мы, чтобы не было посторонних, но таковых набралось немало. Однако передние ряды были заняты комитетом 1-й Донской казачьей дивизии, бравыми казаками, на лицах которых было только любопытство и никакого озлобления. Совершенно иначе был настроен комитет Уссурийской дивизии, и особенно представители Амурского казачьего полка, в котором было много большевиков.

Я пошел доложить Керенскому, что комитеты готовы. Керенский спал, сидя за столом. Лицо его выражало крайнее утомление. При моем входе он сразу проснулся.

— А! Хорошо. Сейчас иду. А потом и поедем, — сказал он.

Я никогда не слыхал Керенского и только слышал восторженные отзывы о его речах и о силе его ораторского таланта. Может быть, потому я слишком много ожидал от него. Может быть, он сильно устал и не приготовился, но его речь, произнесенная перед людьми, которых он хотел вести на Петроград, была во всех отношениях слаба. Это были истерические выкрики отдельных, часто не имеющих связи между собою, фраз. Все те же избитые слова, избитые лозунги. «Завоевания революции в опасности». «Русский народ самый свободный народ в мире». «Революция совершилась без крови — безумцы большевики хотят полить ее кровью». «Предательство перед союзниками» — и т.д. и т.д.

Донцы слушали внимательно, многие — затаив дыхание, восторженно, с открытыми ртами. Сзади в двух-трех местах раздались крики.

— Неправда! Большевики не этого хотят! — кричал злобный круглолицый урядник Амурского полка.

Когда Керенский кончил, раздались довольно жидкие аплодисменты, сейчас же раздался полный ненависти голос урядника-амурца:

— Мало кровушки нашей солдатской попили! Товарищи! Перед вами новая корниловщина! Помещики и капиталисты!..

— Довольно!.. Будет!.. Остановите его... — кричали из первых рядов.

— Нет, дайте сказать!.. Товарищи! Вас обманывают... Это дело замышляется против народа...

Я послал вывести оратора и уговорил уйти Керенского.

Керенский торопился ехать на станцию, но оттуда передавали, что нет еще вагона.

Толпа у дома, где был Керенский, становилась гуще. Офицеры мне передавали, что настроение ее далеко не дружелюбное, и не советовали отправлять Керенского без конвоя. Я вышел на улицу. Стояли какие-то дамы с цветами.

— Что, скоро выйдет Керенский? — спросили они. — Ах, я никогда не видала Керенского! Попросите его поговорить с толпой.

— Большевики за дело стоят, — говорили в толпе. — Солдату что нужно? Мир, а он опять о войне завел шарманку, — говорили солдаты.

— Схватить его и предоставить Ленину — вот и все.

— А казаки?

— Казаки ничего не сделают.

Я вызвал со станции конный взвод 9-го Донского полка для конвоирования автомобиля и приказал на станции выставить почетный караул. Около первого часа пополудни мы поехали на станцию.

Почетный караул сделал свое дело. Он был великолепен. Временно командующий полком войсковой старшина Лаврухин (командир полка полковник Короченцов заболел дипломатическою болезнью) постарался. Громадная сотня была отлично одета. Шинели сверкали Георгиевскими крестами и медалями. На приветствие Керенского она дружно гаркнула: «Здравия желаем, господин Верховный главнокомандующий», — а потом прошла церемониальным маршем, тщательно отбивая шаг. Толпа, стоявшая у вокзала, притихла. Вагон явился как из-под земли, и комендант станции объяснял свою медлительность тем, что он хотел подать «для господина Верховного главнокомандующего салон-вагон» и стеснялся дать этот потрепанный микст.

Мы сели в вагон, я отдал приказание двигать эшелоны. Паровозы свистят, маневрируют. По путям ходят солдаты Островского гарнизона, число их увеличивается, а мы все стоим, нас никуда не прицепляют и никуда не двигают.

Я вышел и пригрозил расправой. Полная угодливость в словах и никакого исполнения.

Командир Енисейской сотни, есаул Коршунов, начальник моего конвоя, служил когда-то помощником машиниста. Он взялся провезти нас, стал на паровоз с двумя казаками, и дело пошло.

Все было ясно. Добровольно никто не хотел исполнять приказания Керенского, так как неизвестно, чья возьмет; «примените силу, и у нас явится оправдание, что мы действовали не по своей воле».

Зная настроение Псковского гарнизона и то, что, конечно, из Острова уже дали знать в Псков, что с казаками едет Керенский, я приказал Коршунову вести поезд, нигде не останавливаясь, набрать воды перед Псковом и Псков-пассажирский и Псков-товарный проскочить полным ходом — и не напрасно.

Наконец около трех часов пополудни мы тронулись.

На станции Черской остановка. Начальник военных сообщений генерал Кондратьев ожидал нас, он просил пропустить его к Керенскому. Я присутствовал при разговоре. Керенский накричал на него за промедление с эшелонами. Полная угодливость со стороны Кондратьева.

Керенский продиктовал ему, какие части должны быть направлены в первую очередь, речь шла о целой армии. Кондратьев почтительно кланялся.

Мне и полковнику Попову, бывшему со мной в одном купе, это показалось хорошей приметой. Значит, Черемисов пойдет с Керенским — решили мы.

На станции Псков громадная, в несколько тысяч, толпа солдат. Наполовину вооруженная. При приближении поезда она волнуется, подвигается ближе. Я стою на площадке, у паровоза Коршунов и его лихие енисейцы; поезд ускоряет ход, и станция, забитая серыми шинелями, уплывает за нами.

В вагонах на редких остановках слышны песни. Раздают запоздалый ужин. Пахнет казачьими щами. Слышна передобеденная молитва: «Очи всех на Тя, Господи, уповают». Никаких агитаторов. Все идет хорошо.

Со встречным петроградским поездом прибыли офицеры, бывшие в Петрограде. Сотник Карташов подробно докладывает мне о том, как юнкера обороняют Зимний дворец, о настроении гарнизона, колеблющегося, не знающего — на чью сторону стать, держащего нейтралитет. В купе входит Керенский.

— Доложите мне, поручик, — говорит он, — это очень интересно, — и протягивает руку Карташову. Тот вытягивается, стоит смирно и не дает своей руки. — Поручик, я подаю вам руку, — внушительно заявляет Керенский.

— Виноват, господин Верховный главнокомандующий, — отчетливо говорит Карташов, — я не могу подать вам руки. Я — *корниловец.*

Краска заливает лицо Керенского. Он пожимается и выходит из купе.

— Взыщите с этого офицера, — на ходу кидает он мне...

Поезд мчится, прорезая мрак холодной, тихой сентябрьской ночи. Проехали, не останавливаясь, Лугу... Приближаемся к Гатчине. Всюду тишина. Смолкли казачьи песни. Но беспрерывное движение поезда вселяет почему-то уверенность в успех.

Я задремал. Дверь купе распахнулась. Я открываю глаза. В дверях Керенский и с ним политический комиссар капитан Кузьмин.

— Генерал, — торжественно говорит мне Керенский. — Я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград; поздравляю вас, генерал!.. — И, переменивши тон, добавляет обыкновенным голосом: — У вас не найдется полевой книжки? Я напишу сейчас об этом приказ.

Я молча подаю ему свою книжку. Он выходит. Командующий армией, идущей на Петроград! Идет пока, считая синицу в руках — шесть сотен 9-го полка и четыре сотни 10-го полка. Слабого состава сотни, по 70 человек. Всего 700 всадников — мень-

ше полка нормального штата, если нам придется спешиться, откинуть одну треть на коноводов — останется боевой силы всего 466 человек — две роты военного времени!!..

Командующий армией и две роты!

Мне смешно... Игра в солдатики! Как она соблазнительна с ее пышными титулами и фразами!!!..

Бледное утро смотрит в окно. Серый тоскливый осенний день. Станционная постройка, выкрашенная красной краской. Мокрая рябина, покрытая гроздьями спелых, хваченных морозом ягод. Мы стоим на Гатчине-товарной...

Глава восемнадцатая
«ВЗЯТИЕ» ГАТЧИНЫ

В Гатчине меня ожидало приятное известие. Из Новгорода прибыл эшелон 10-го Донского полка, две сотни и 2 орудия. Командир эшелона, чудный офицер, есаул Ушаков пробился силою, несмотря на все препятствия со стороны железнодорожников. Я приказал выгружаться, имея целью захватить Гатчину врасплох. В полутьме раннего утра вышли сотни 9-го и 10-го полков и артиллерия. Я послал разведку в город, сам с сотнями выдвинулся на Петербургское шоссе. Офицеры, сопровождавшие Керенского, четыре человека, в какой-то придорожной чайной устроили чай для Керенского.

В Гатчине тихо. Гатчина спит. Разведка донесла, что на Балтийской железной дороге выгружается рота, только что прибывшая из Петрограда, и матросы. Посылаю туда сотни и сам еду с ними. Казаки со всех сторон забегают к станции. Видно, как рота выстраивается на перроне. Кругом ходит публика, железнодорожные служащие. Рота стоит развернутым строем, представляя собою громадную мишень. Я приказываю снять одно орудие с передков и ставлю его на путях. От пушки до роты не более тысячи шагов. Человек восемь казаков Енисейской сотни с тем же молодцом Коршуновым бегут к роте. Короткий разговор, и рота сдает ружья. Это рота л.-гв. Измайловского полка и команда матросов.

Ко мне ведут офицеров. Безусые растерянные мальчики.

— Господа, как вам не стыдно! — говорю я им.

Молчат. Тупо смотрят на меня, сами, видимо, не понимают, что произошло.

— Вы пошли против Временного правительства, — возвышая голос, говорю я. — Вы изменили Родине. Я повесить вас должен.

Лица бледнеют.

— Господин генерал, — лепечет один из них, — мы не шли против Временного правительства.

— Куда же вы шли?

— Мы шли... Мы шли в Гатчину... Охранять Гатчину от... от разграбления.

Что я буду делать с пленными? Их 360 человек, а в моих трех сотнях едва наберется 200!

Обезоруживши их, я отпускаю их на все четыре стороны. Мне некуда девать и некем охранять. Когда еще придут 37-я пехотная и 1-я кавалерийская дивизии, когда еще подойдет 17-й армейский корпус. Да и придут ли?

Какая опасность от этих людей?

— Мы можем ехать обратно? — спрашивают солдаты.

— Поезжайте и скажите вашим товарищам, чтобы они не глупили, — говорю я им.

— Да мы что! Мы ничего! — добродушно заявляют солдаты. — Нам что прикажут, мы то и делаем.

Ко мне подъезжает казак. Варшавская станция занята казаками. Взята в плен рота и 14 пулеметов. Что прикажете делать с пленными?..

— Обезоружить и отпустить!

Их некуда было девать и прятать, их нечем было кормить, потому что базы и тыла у нас не было. Отправлять в Лугу? Но отношение Луги к нам неизвестно. Посылать в Псков? Но Псков явно враждебен к нам. Оставалось распускать их, надеясь, что они распылятся, разойдутся по своим деревням, на несколько дней станут безопасны. А там подойдет 17-й корпус, и можно будет их или снова мобилизовать, или, если будет надо, посадить за проволоку.

Ясно было, что Гатчина обороняться не будет. Я еще отдавал на площади перед Балтийской станцией приказания, когда мне доложили, что Керенский уже находится в Гатчинском дворце и требует меня для распоряжений.

Я нашел его в одной из квартир запасной половины. С ним его адъютанты — молодые люди, капитан Свистунов, комендант дворца, капитан Кузьмин и какие-то две молодые, нарядно одетые, красивые женщины. Они закусывали. Обстановка была не для серьезного разговора, и я увел Керенского в другую комнату. Он настаивал на немедленном движении дальше. Но с кем? Было

у меня три сотни и 2 орудия. Гатчина спокойна, но кто знает, каково будет настроение ее частей, когда они увидят, что мы уйдем и нас слишком мало. Даже на разъезды не хватит!

— Но вы сами видите, что сопротивления никакого не будет. Петроградский гарнизон на нашей стороне, — сказал Керенский.

Я, однако, отказался идти вразброд. Надо было дождаться подхода остальных эшелонов, хотя бы своих, послать разъезды к Царскому, Красному и Петергофу и всеми возможными способами выяснить, что делается в Петрограде. Оттуда непрерывно прибывали юнкера и офицеры, бежавшие от большевиков, было много частных лиц, которые все допрашивались мною. Моя жена жила в Царском Селе у подруги моего детства, жены одного артиллерийского генерала, мне удалось связаться с нею городским телефоном и получить сведения о том, что делается в Царском. Все полученные донесения сводились к следующему.

В Царском спокойно. К вечеру с великими трудами удалось собрать две роты, одна пошла к Гатчине, другая к Красному Селу. Шли в беспорядке, вразброд.

В Петрограде идет борьба между большевиками и правительством. На стороне большевиков матросы, которых считают до пяти тысяч, и вооруженные рабочие. На стороне правительства только юнкера. По существу, правительства нет. Оно рассеялось и никаких распоряжений не отдает, но в городской думе заседает какой-то Комитет спасения Родины и Революции, который организует борьбу с большевиками и ведет агитацию в частях Петроградского гарнизона. Солдаты держатся агрессивно. Никакого желания выходить из города и воевать. Были случаи, что солдатские патрули обезоруживались женщинами на улице. Преображенский и Волынский полки будто бы решили выступить против большевиков, как только мы подойдем к Петрограду. 1-й, 4-й и 14-й Донские полки собираются выступить к нам навстречу, к Пулкову, и идти с нами. Их убеждает сделать это Совет Союза казачьих войск, который очень энергично работает. Этот совет непрерывно снабжал меня донесениями. От 1-го Донского казачьего полка приехала даже делегация. Я ее принял. Три казака весьма подлого вида. Косятся, выспрашивают, производя впечатление разведчиков наших настроений, а не переговорщиков о совместных действиях. Наш донской комитет, руководимый доблестным и прекрасным офицером, подъесаулом Ажогиным, обрушился на них, говоря им, что они позорят казачье имя, что им нельзя будет вернуться на Дон. Они отмалчивались, но,

уходя, заявили — какой же это демократический комитет, когда в него допущены офицеры?..

Но были сведения и менее оптимистические. Они говорили, что Петроградский гарнизон ничто — с ним и сами большевики не считаются. Он не выступит ни на чьей стороне и ничего делать не будет. Опора большевиков — матросы и красногвардейцы, то есть вооруженные рабочие, которых будто бы больше ста тысяч. Рабочие очень воинственно настроены и хорошо сорганизованы. Из Кронштадта в Неву пришла «Аврора» и несколько миноносцев. Большевистские вожди распоряжаются с подавляющей энергией и организуют все новые полки при полном бездействии правительства и властей. Верховский, Полковников и все военное начальство находятся в состоянии растерянности и лавируют так, чтобы сохранить свое положение при всяком правительстве.

Я это видел и в Гатчине. В Гатчине находилась школа прапорщиков. Почти батальон молодых людей отнюдь не большевистского настроения. Но начальство ее выступить с нами отказалось. Самое большее, что они могли взять на себя, — это поставить заставы на дорогах и наблюдать за внутренним порядком в городе. Офицеры авиационной школы все были с нами, но боялись своих солдат и могли только дать два аэроплана, которые полетели в Петроград разбрасывать мои приказы «командующего армией, идущей на Петроград» и воззвания Керенского.

Эшелоны с войсками приходили туго. Пришло еще две сотни 9-го Донского полка и пулеметная команда, полсотни 1-го Амурского полка и совершенно мне ненужный штаб Уссурийской конной дивизии.

— А где нерчинцы? — спросил я у генерала Хрещатицкого.

— Главкосев Черемисов оставил их в Пскове для охраны штаба фронта, — отвечал Хрещатицкий.

— Да ведь вы получили категорическое приказание отправить их в Гатчину.

— Главкосев приказал командиру полка, и они высадились, — отвечал начальник дивизии.

В распоряжения Керенского и мои вмешивались сотни лиц. Ставка — Духонин — бездействовала, была парализована. Из Ревеля примчал ко мне офицер и передал мне, что начальник гарнизона отменил погрузку 13-го и 15-го Донских полков «впредь до выяснения обстановки». Ни 37-й пехотной, ни 1-й кавалерийской дивизии, ни частей 17-го корпуса не было видно на горизонте. Тщетно справлялся я по всем телеграфам Николаевской дороги.

Никаких эшелонов на север не шло. Приморский полк в Витебске отказался исполнить мой приказ.

Таково было отношение *начальства* — именно начальства, — то есть Черемисова в Пскове, начальника гарнизона в Ревеле, Духонина в Ставке, командира 17-го корпуса и начальников дивизий, 37-й пехотной и 1-й кавалерийской, к выступлению большевиков. Никто не пошел против них.

Отозвалась только Луга: 1-й осадный полк в составе 800 человек решил идти на помощь Керенскому и погрузился в Луге. Да уже ночью ко мне пришел отличный офицер, капитан Артифексов, которого я знал по службе в 1-м Сибирском полку, — командовавший теперь броневым дивизионом в Режице, и обещал прийти ко мне на помощь со своими броневыми машинами.

Разъезд, шедший на Пулково, встретил застрявший броневик «Непобедимый» и недолго думая атаковал его. Команда «Непобедимого» бежала, и он достался нам. В авиационной школе нашлись офицеры-добровольцы, которые взялись исправить броневик и составить его команду. К 11 часам вечера он был доставлен на двор Гатчинского дворца, и офицеры принялись его чинить. К вечеру 27 октября я имел: 3 сотни 9-го Донского полка, 2 сотни 10-го Донского полка, 1 сотню 13-го Донского полка, 8 пулеметов и 16 конных орудий. То есть моих людей едва хватало на прикрытие артиллерии. Всего казаков у меня было, считая с енисейцами, — 480 человек, а при спешивании — 320.

Идти с этими силами на Царское Село, где гарнизон насчитывал 16 000, и далее на Петроград, где было около 200 000, никакая тактика не позволяла; это было бы не безумство храбрых, а просто глупость. Но гражданская война — не война. Ее правила иные, в ней решительность и натиск — все; взял же Коршунов с восемью енисейцами в плен полторы роты с пулеметами. Обычаи и настроение Петроградского гарнизона мне были хорошо известны. Ложатся поздно, долго гуляют по трактирам и кинематографам, зато и утром их не поднимешь — захват Царского на рассвете, когда силы не видны, казался возможным; занятие Царского и наше приближение к Петрограду должно было повлиять морально на гарнизон, укрепить положение борющихся против большевиков и заставить перейти на нашу сторону гарнизон. «Ведь, — опять думал я, — идет не царский генерал Корнилов, но социалистический вождь — демократ Керенский, вчерашний кумир солдат и толпы, идет за то же Учредительное собрание, о котором так кричат солдаты...»

Я собрал комитеты. В этой подлой войне они мне были нужны для того, чтобы и то, что у меня было, не развалилось. Высказал свои соображения. Казаки вполне согласились со мною.

На 2 часа утра 28 октября было назначено выступление.

Глава девятнадцатая
«ВЗЯТИЕ» ЦАРСКОГО СЕЛА

В 2 часа мне доложили, что отряд готов. На площади перед районом в резервной колонне стоял казачий полк, батареи вытянулись по улице. Я объехал ряды. Все было в порядке. Головная сотня по моему приказанию вытянулась вперед, бойко застучали копытами по грязному шоссе лошади дозорных казаков. За второю от головы сотнею двинулись, громыхая, казачьи пушки. Гатчина притаилась. Нигде ни огонька, нигде не светится ни одна щель ставни. Вряд ли спала она в тревожную ночь, когда быстро стучали конские копыта по камням и тяжело гремели и звенели пушки.

Было темно. Я попробовал вести отряд переменными аллюрами, но батареи отставали — пришлось идти шагом. Отошли четыре версты, остановились, слезли, подтянули подпруги и пошли дальше. В восьми верстах от Гатчины, не доходя деревни Романова, остановились. В чем дело?

Впереди застава — рота стрелков. Не пропускает. Что же делает? Разговаривает.

Прорысил мимо меня дивизионный комитет с подъесаулом Ажогиным. Такая «война» была мне противна, но при малых моих силах приходилось покоряться: она была выгодна для меня.

Разговоры затягиваются, время идет. Близок рассвет. Я командую «шагом марш» и еду к заставе. На средине шоссе три офицера-стрелка и несколько солдат.

— Сдавайтесь, господа, — говорю я им ласково.

— Уже сдают винтовки, — говорит мне командир головной сотни.

Мы едем дальше. В предрассветных сумерках видна выстраивающаяся рота без оружия. С поля, из наскоро нарытого окопа, подходят люди, несут и отдают казакам винтовки. Путь свободен.

— Куда прикажете вести людей? — спрашивает меня офицер-стрелок.

— Оставайтесь в деревне до обеда, отдохните, а после обеда идите домой, в Царское Село...

Не расстреливать же их поголовно? А другого исхода не было. Или на волю, или перестрелять.

В мутном свете наступающего хорошего солнечного дня показалось Царское Село. Опять остановка. Дорогу преграждает цепь. Солдат много. Не меньше батальона (800 человек). Раздаются редкие выстрелы. Заставы мои прижались за домами деревни Перелесино. Наступает психологический момент — от него зависит все дальнейшее. Я приказываю спешить две головные сотни и выехать на позицию трем батареям. Остальным сотням их прикрывать. Сам иду к цепям.

Огонь со стороны стрелков усиливается. Трещит пулемет, но все-таки это не настоящий огонь батальона. Или у них мало патронов, или они не хотят стрелять. Я приказываю энергично наступать, а артиллерии открыть огонь по казармам. Там, подле казарм, живет моя жена — это знают многие казаки и офицеры, бывавшие у нее тогда, когда стояли в Царском. Командир батареи деликатно бьет на высоких разрывах. Казармы Царского окутываются дымками шрапнелей. Но цепи не отходят. Идти вперед? Но нас до смешного мало. Продвигаясь вперед, мы попадаем под обстрел с обоих флангов.

Опять выручают енисейцы. Коршунов ведет их — всего 30 человек — в обход.

И цепи стрелков отходят. Мы продвигаемся за Перелесино. Видны в конце шоссе ворота Царскосельского парка. Там все кишит людьми. Весь гарнизон столпился у ворот. Если они откроют дружный огонь по нас, то моих казаков сметет так же, как смела 111-я пехотная дивизия моих кубанцев. Но они не стреляют. Похоже, что там митинг. Дивизионный комитет садится на лошадей и едет вперед. По нему раздается пять-шесть выстрелов. Он, не обращая внимания, едет дальше. Кучка в 9 всадников быстро приближается к толпе. От толпы отделяется несколько человек. Разговоры...

Октябрьское солнце поднимается на бледном небе. Серебрится роса на рыжей траве и кочках болота, блестят дощатые крыши домов, ярко сверкают зеленые купола Софийского собора. День настает, а они все разговаривают. Это надо кончить. Я сажусь на свою громадную лошадь и в сопровождении адъютанта, ротмистра Рыкова, и двух вестовых галопом еду туда.

Комитет окружен офицерами-стрелками. Идут разговоры. Или они стараются выиграть время, ожидая помощи (конечно, моральной — физической силы у них было слишком достаточно) из Петрограда, или сами не знают, что делать.

— Господа, — говорю я им. — Не нужно кровопролития. Сдавайте оружие и расходитесь по домам.

Офицеры соглашаются со мною и идут уговаривать стрелков. Но между стрелками раскол. Часть — около полка — густой колонной отделяется вперед и идет к нам, чтобы сдать ружья. Но другая часть бежит в цепь по опушке парка, стараясь отхватить нас. Я и комитет отъезжаем к цепям.

В цепях разговаривает с казаками статный, красивый человек средних лет, с выправкой отличного спортсмена в полувоенном платье, с амуницией и биноклем. С ним какие-то два молодых человека и офицер-казак.

— Савинков, — говорит он мне.

Мы здороваемся. Савинков расспрашивает про обстановку.

— Что вы думаете делать? — спрашивает он меня.

— Идти вперед, — говорю я. — Или мы победим, или погибнем, но если пойдем назад, погибнем наверно.

Савинков соглашается со мною. Он говорит мне несколько слов по поводу того, как лестно и любовно отзывались обо мне казаки.

Революционер и царский слуга!

Как все это странно!

Сзади из Гатчины подходит наш починенный броневик, за ним мчатся автомобили — это Керенский со своими адъютантами и какими-то нарядными экспансивными дамами.

— В чем дело, генерал? — отрывисто обращается он ко мне. — Почему вы ни о чем мне не доносили? Я сидел в Гатчине, ничего не зная.

— Доносить было не о чем, — говорю я. — Все торгуемся.

И я докладываю ему обстановку. Керенский в сильном нервном возбуждении. Глаза его горят. Дамы в автомобиле, и их вид праздничный, отзывающий пикником, так неуместен здесь, где только что стреляли пушки. Я прошу Керенского уехать в Гатчину.

— Вы думаете, генерал? — щурясь, говорит Керенский. — Напротив, пойду к ним. Я уговорю их.

Я приказываю Енисейской сотне сесть на лошадей и сопровождать Керенского, иду и сам.

Керенский врезается в толпу колеблющихся солдат, стоящих в двух верстах от Царского Села. Автомобиль останавливается. Керенский становится на сиденье, и я опять слышу проникновенный, истеричный голос. Осенний ветер схватывает слова и несет их в толпу, отрывистые, тусклые, уже никому не нужные, желтые и поблекшие, как осенние листья.

«...Завоевания революции. Удар в спину... Немецкие наемники предатели!..»

Казаки-енисейцы въезжают в толпу и силой отбирают винтовки. Сзади подъехал наш грузовик, и гора винтовок растет на нем.

Обезоруженные солдаты сконфуженно идут прямо полем к казармам. Но там, у ворот Царского, настроение иное. Там кто-то распоряжается. Цепи выходят из парка, они учуяли нашу малочисленность и стараются окружить нас. С моего правого фланга тревожные донесения. На него из Павловска наступают цепи, и оттуда стреляет батарея.

Я прошу Керенского отъехать назад и вызываю взвод Донской батареи, той самой батареи, которая не раз выручала меня в тяжелые минуты в настоящей войне. Донские пушки становятся на шоссе в какой-нибудь версте от цепей и громадного скопища солдат у ворот Царскосельского парка. Молодцов артиллеристов можно перестрелять как куропаток. Я и енисейцы отъезжаем в боковые улички предместья.

Наступает томительная тишина. И вдруг — тах-тах-тах — затрещали ружья по нашему левому флангу.

— Первое... — раздалась команда, — пли!

И за первой, почти сливаясь, ударила вторая пушка. И затихла. Два белых мячика разрыва отчетливо сверкнули над самыми головами центральной толпы. И будто слизнули они все это море голов и блестящих штыками винтовок. Все стало пусто. Вся эта громадная многотысячная толпа метнулась в сторону и побежала сломя голову к станции, наваливаясь в вагоны и требуя отправки в Петроград.

Казаки стали входить в Царское...

В сумерках Царское было занято. Солдаты гарнизона, не успевшие убежать по железной дороге, попрятались в казармы, отказывались выдать оружие, но и не предпринимали ничего враждебного против нас. Казаки почти без сопротивления овладели станцией железной дороги, подошли к Александровской и заняли радиостанцию и телефон.

Победа была за нами, но она съела нас без остатка.

Глава двадцатая
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

До часу ночи я оставался на окраине Царского Села, устанавливал связь со своими частями. Тактически мне не надо было входить в Царское. Окруженное громадными парками с путаными дорожками, представляющее из себя множество домов, легких для обороны и трудных для атаки, требующее большого гарнизона для наблюдения за порядком, оно было мне не нужно. Но политически нужно было не только войти в него, но и занять дворцы, сесть в них прочно, выкурить оттуда местные силы. Царское занято тогда, когда Керенский будет сидеть во дворце, а я на своей старой штаб-квартире — в служительском доме дворца Марии Павловны; без этого Царское не поверит, что оно взято, а не поверит Царское — не поверит и Петроград. В час ночи я перешел в центр Царского Села, и маленькая горсть казаков, всего две сотни, стала на дворе дворца Марии Павловны. Надо было отдохнуть, накормить людей и лошадей, обдумать положение.

И опять для того, чтобы продолжить моральную победу, надо было идти, не останавливаясь, буде возможно тою же ночью — на Петроград.

Хорошо — идти. Но с кем?

За весь день, 28 октября, к нам подошло три сотни 1-го Амурского казачьего полка, но амурцы заявили, что «в братоубийственной войне принимать участия не будут, что они держат нейтралитет», и отказались даже выставить заставы для охраны Царского Села и сменить усталых донцов... Они стали в деревнях, не доходя до Царского Села.

Те люди, которые шли со мною, были сильно утомлены. Они двое суток провели без сна в непрерывном нервном напряжении. Лошади отупели, не имея отдыха. Необходимо было дать передышку. Но мои люди не столько устали физически, сколько истомились в ожидании помощи. Комитеты мне заявили, что казаки до подхода пехоты дальше не пойдут. Надежда на то, что кто-либо подойдет за день, и желание лучше выяснить обстановку заставили меня назначить на 29 октября дневку в Царском Селе.

Офицеры моего отряда — все корниловцы — возмущались поведением Керенского. Он обещал дать помощь, но он не только не дает нам посторонних войск, но и не может принудить вернуть корпусу части, входящие в него. Его популярность пала, он ничто

в России, и глупо поддерживать его. Вероятно, под влиянием разговоров с офицерами и нами, которые говорили: пойдем с кем угодно, но не с Керенским, ко мне зашел Савинков и предложил мне убрать Керенского, арестовать его и самому стать во главе движения.

— С вами и за вами пойдут все, — говорил мне Савинков.

Но я знал, что это было не так. Я был *генерал*, это во-первых. Во-вторых, мое отношение к войне и победе было слишком хорошо известно солдатским массам. Я мог усмирить солдатское море не из Петрограда, а из Ставки, ставши Верховным главнокомандующим и *отдавши приказ о немедленном перемирии с немцами* на каких угодно условиях. Только такая постановка дела могла привлечь на мою сторону солдатские массы. Но, конечно, на это я не мог пойти. Да это не спасло бы Россию от разгрома. С этим не согласились бы офицеры и лучшая часть общества. А без этого, без мира, — свержение и арест Керенского только сделали бы из него героя и еще более усилили бы разруху.

Была и еще одна деликатная сторона дела. Керенский явился ко мне искать у меня спасения и помощи. Я не отказал в ней, я не прогнал его сразу. Он был до некоторой степени гостем у меня, он мне доверился, и арестовывать его было бы нечестно, неблагородно, не по-солдатски. Я отверг предложение Савинкова.

Но с известными настроениями казаков все-таки приходилось считаться. 9-й Донской казачий полк волновался. Ко мне явился войсковой старшина Лаврухин, окруженный крайне возбужденными казаками, почти с требованием немедленно удалить Керенского из отряда, потому что казаки ему не верят, считают, что он идет заодно с большевиками и предает нас для того, чтобы уничтожить единственных верных правительству людей, а отчасти мстя за участие в походе с Корниловым. На мое счастье, в Царское приехали Станкевич и Войтинский. Я просил их поговорить с казаками и разъяснить им всю политическую сторону борьбы и необходимость наступления на Петроград во что бы то ни стало, сам отправился к Керенскому. С большим трудом мне удалось уговорить его переехать в Гатчину, где отношение было лучше, куда прибыл мой штаб корпуса, установил аппарат Юза со Ставкой и откуда он мог скорее подать нам помощь.

Другой моею заботою было усилить до пределов возможного свой отряд за счет Царскосельского гарнизона. Неужели из 16 000 солдат-стрелков не найдется хотя бы одной тысячи, которая согласилась бы пойти с нами! Я вызвал офицеров к себе. Они все были против больше-

виков и обещали повлиять на солдат. Начались митинги. Но резолюции были самые неутешительные. Солдаты обещали не вмешиваться в братоубийственную войну и держать полный нейтралитет. Я и этому должен был быть рад, по крайней мере не ударят в спину.

В Царском Селе находилась пулеметная команда 14-го Донского казачьего полка. Я вызвал ее офицеров и комитет. Явились самые настоящие большевики. Злые, упорные, тупые, все ненавидящие. Тщетно и я и чины дивизионного комитета говорили им о любви к Дону, о необходимости согласия всех казаков между собою, о призыве от Совета Союза казачьих войск стать на защиту правительства. Напрасно простые казаки комитета, энергично разрушая программу большевистских вождей, говорили: «Нам, господа, казакам, с большевиками никак не по пути», — представители 14-го полка уперлись как бараны, что они заодно с Лениным, что Ленин за мир, и категорически отказались помочь.

Весь день прошел в бесплодных переговорах. Пришли ко мне помогать несколько человек юнкеров из Петрограда, запасная сотня оренбуржцев л.-гв. Сводного казачьего полка, вооруженная одними шашками и предводительствуемая очень лихим юношей, два орудия запасной конной батареи из Павловска, наполовину без прислуги, отличный блиндированный поезд, да к вечеру я узнал, что три сотни 9-го Донского казачьего полка высадились в Гатчине. Я послал им приказание спешно выступить походом к Царскому Селу.

Итак, к вечеру 29 октября мои силы были — 9 сотен, или 630 конных казаков, или 420 спешенных, 18 орудий, броневик «Непобедимый» и блиндированный поезд. Если настроение Петроградского гарнизона такое же, как настроение гарнизонов Гатчины и Царского Села, — войти в город будет возможно... А там? Там это будет уже дело Керенского, Войтинского и Станкевича, дело Комитета спасения Родины и Революции, дело Советов Союза казачьих войск, наконец, дело Савинкова и министров организовать гарнизон Петрограда и произвести с помощью его, а не нас необходимую чистку города и аресты.

Керенский, Савинков и Станкевич настаивали на наступлении. По их сведениям, в Петрограде борьба с большевиками в полном разгаре. Нас ждут, мы должны прийти и спасти жителей города и Россию от большевистского ига. Вечером ко мне явились комитеты 1-й Донской, Уссурийской дивизий. Подъесаул Ажогин, конфузясь и стесняясь, заявил, что казаки отказываются идти на Петроград одни, без пехоты. Если пехота не приходит, зна-

чит, она вся против правительства и идет с большевиками. Нам одним все равно ее не победить. Я горячо начал возражать им. Я говорил, что пехота сама не знает, чего она хочет. Заняли же мы без боя Гатчину и Царское? Как можем мы отказываться идти вперед, не зная, что будет. А если правда, что 1-й, 4-й и 14-й Донские полки выйдут нам навстречу, если преображенцы и волынцы только и ожидают нас? Мы должны разведать, узнать все и тогда решить. Я сам понимаю, что девятью сотнями нам Петрограда не взять, да если бы и взяли, так не охранили бы, но к нам примкнут сотни тысяч людей; будет великим позором для наших славных знамен, если мы откажемся даже разведать.

— Вы меня знаете за всю войну, — горячо говорил я казакам. — Разве я водил вас когда-либо очертя голову? Сделаем разведку, произведем усиленную рекогносцировку с боем, а тогда и увидим, кто наш противник. И если нельзя — то нельзя. Отойдем, будем обороняться и ждать помощи.

— Не придет эта помощь! Все против нас! — с тоскою сказал кто-то из казаков.

Но комитет сдался. «Попробовать надо, — раздавались голоса. — Как же так, без разведки-то никак невозможно. Генерал прав...»

Разошлись, постановив на том, что мой приказ исполнять точно. Я понимал, что при таком настроении казаков нечего было и думать о серьезном бое, да и мало было нас, и отдал приказ об усиленной рекогносцировке в направлении на Пулково.

Всю ночь казачьи заставы перестреливались с матросами у Александровской станции. Небольшая команда матросов прошла к виадуку, лежащему между Александровской и р. Пудостью, и здесь обстреляла поезд, шедший осадным полком из Луги. Солдаты осадного полка остановили поезд, частью сдались, частью разбежались куда глаза глядят, бросивши свои пушки на платформах. Мне стоило большого труда уже своими казаками, офицерами и юнкерами при помощи броневого поезда довезти эти пушки обратно в Гатчину.

От Артифексова — ничего. Позднее я узнал, что его дивизион отказался грузиться в Режице. Он повел его походом. Но на пути солдаты взбунтовались. Ему пришлось двоих застрелить из револьвера и только этим спастись и бежать от своего дивизиона.

Да... Не везло...

Рано утром 30-го прорвавшийся из Петрограда гимназист передал клочок бумаги, величиной немного более гербовой марки,

на котором стоял бланк Совета Союза казачьих войск и мелко было написано:

«Положение Петрограда ужасно. Режут, избивают юнкеров, которые являются пока единственными защитниками населения. Пехотные полки колеблются и стоят. Казаки ждут, пока пойдут пехотные части. Совет Союза требует вашего немедленного движения на Петроград. Ваше промедление грозит полным уничтожением детей-юнкеров. Не забывайте, ваше желание бескровно захватить власть — фикция, так как здесь будет поголовное истребление юнкеров. Подробности узнаете от посланных*.

Председатель А.Михеев
Секр. Соколов».

Я объявил эту записку собравшимся казакам и, казалось, поднял им настроение.

Глава двадцать первая
БОЙ ПОД ПУЛКОВОМ

Свежий осенний день. То солнце, то косой холодный дождь. На западной окраине Царскосельского парка ввиду Александровской станции выстраивается мой отряд. У Александровской идет редкая перестрелка.

Я направляю сотню 13-го полка по шоссе на Красное Село на дер. Сузи, сотню 9-го полка на Петроградское шоссе на дер. Редкое Кузьмино, полусотню на нижнюю дорогу на Большое Кузьмино в обход Пулкова, взвод на Славянку и к Колпину. Ушли... и у меня почти никого не осталось. Ожидаю донесений. Обстановка совсем какого-либо малого маневра под Красным Селом. Даже и разведка накоротке... Не прошло и часа, как я получил известие, что сотни остановились. У Сузи и у Кузьмина началась перестрелка.

Идем на выстрелы. Броневой поезд продвигается по Варшавской ветке к Петрограду.

Я выезжаю в Кузьмино. По Кузьмину уже свищут пули. Приходится слезать и идти пешком. За мною целая свита, чего я так не

* Эта записка совершенно случайно сохранилась у меня в одной из моих записных книжек. Печальный свидетель начала кровавого кошмара.

люблю. Савинков не отстает от меня, как бы рисуясь своим нахождением в цепях. С ним два каких-то штатских, только что прибывших из Петрограда. Мне называют их. Кажется, господа Гоц и Дан. Мне эти имена ничего не говорят. Я их не знаю, но знаю одно, что им не место в цепях, в бою, и я их под разными предлогами удаляю. Помогает мне в этом и все усиливающийся огонь противника. Часто свистящие пули заставляют исчезнуть с поля битвы каких-то гимнастов-велосипедистов, офицера с двумя барышнями, вышедшими из дач посмотреть на бой. Только мужики и бабы с ребятишками все не могут понять, что это не маневры, и никак не уходят. Офицеры прогоняют их.

— Ну чего гонишь-то! Эка невидаль. Сколько маневров-то тут было. Никогда не гоняли. И царь приезжал, и то не гоняли, — ворчат мужики.

Но появляются раненые, и настроение меняется. Редкое Кузьмино пустеет. Посторонних никого. Один Савинков бесстрашно ходит по цепям и смотрит в бинокль на Пулково.

С окраины дер. Редкое Кузьмино, где залегли казаки, позиция противника и вся местность до Петрограда видны отлично. За Редким Кузьмином глубокий овраг, по дну которого в осыпях голубой глины течет река Славянка. Этот овраг отделяет нас от большевиков. За оврагом небольшая деревушка, потом Пулково. Все склоны Пулковской горы изрыты окопами и черны от Красной гвардии. Даже на глаз можно сказать, что там не менее пяти-шести тысяч. Они то рассыпаются в цепи, то сбиваются в кучи. Густые, длинные цепи их спускаются вниз и идут к оврагу. В бинокль видно, что это не солдаты. Цепи двух видов. Одни в черных штатских пальто, идут неровно, то подаются вперед, то бегут назад — это Красная гвардия. Другие, одетые в черные, короткие бушлаты, наступают, соблюдая строгое равнение, быстро залегают, применяясь к местности, — это матросы. Красная гвардия в центре, на Пулковской горе, матросы — по флангам. Три броневика работают по шоссе. Они снабжены пушками и обстреливают Редкое Кузьмино. Другой артиллерии — *пока* нет.

Моя сила в артиллерии и броневом поезде. Я расставил батареи за Редким Кузьмином — одну батарею вызвал совсем открыто перед Редким Кузьмином и артиллерийским огнем держу противника в почтительном отдалении. Один из наших снарядов попал подле броневика, и видно, как из него убежала команда, а броневик остался стоять за дер. Сузи. Кто-то, вероятно началь-

ник и распорядитель боя, носился в автомобиле по шоссе, но и его остановили на шоссе удачным попаданием...

Слева мои пулеметчики перешли в наступление и заставили отойти противника к деревне Сузи. Мне уже было очевидно, что противник решил сопротивляться, что одним огнем артиллерии его не собьешь, а живой силы, чтобы надавить на него, у меня недостаточно, рекогносцировка дала свои результаты, но я не уходил. У меня были другие ожидания. Гром пушек под самым Петроградом, известие, что мы деремся под Пулковом, должны же были как-нибудь повлиять на Петроградский гарнизон и на Донские полки, там находящиеся. Если они станут на нашу сторону, если в Петрограде произойдет восстание не одних юнкеров — Пулково будет очищено. Но на это нужно время. Хотя бы до вечера. И до вечера надо драться. Около полудня я получил донесение, что большая колонна *солдат* — тысяч до десяти — движется от Московского шоссе наперерез Варшавской железной дороги, выходя в тыл к Большому Кузьмину. Я послал броневой поезд и тридцать конных казаков. После получаса томительного ожидания донесение: колонна — л.-гв. Измайловский полк, в полном составе, после первой же шрапнели бежал в беспорядке, один офицер взят в плен.

Офицера привели ко мне. Он показал, что солдаты, услышавшие выстрелы под Пулковом, выступили в весьма воинственном настроении. Но по мере того как подходили ближе к месту боя, настроение падало. Он с комиссаром полка пошли вперед, чтобы подать пример. Когда подошел поезд, они залегли в канаве. После первого выстрела комиссар выскочил из канавы и побежал к полку с криком: «Спасайся, кто может». Офицеру показалось совестно лежать в канаве, он пошел к поезду и сдался. Полк разбежался.

Разговоры об этом произвели сильное впечатление на молодого офицера л.-гв. Сводного казачьего полка, стоявшего, за неимением винтовок у его казаков, в бездействии сзади Александровской. Он прискакал ко мне и просил разрешить ему атаковать деревню Сузи.

— Погодите, — сказал я ему. — Еще рано. Вы атакуете вместе со всеми.

Но не понял ли он меня, или уже очень хотелось ему отличиться и потешиться над большевиками, но не прошло и пяти минут, как за домами стали мелькать конные фигуры скачущих казаков. Ко мне подошел полковник Попов и с тревогою спросил:

— Вы приказывали атаковать оренбуржцам.

— Нет, — отвечал я.

— Смотрите, они уже атакуют!

Вернуть было невозможно. Сотня оренбургской молодежи с беззаветной лихостью развернулась в лаву и ринулась на деревню Сузи, занятую матросами.

Мы все вышли из-за домов следить за нею. Казалось, что вот-вот она достигнет своей цели и — кто знает — потрясет противника. Правее Сузи, вне поля атаки, целые толпы черных фигур в беспорядке ринулись бежать. Но это были красногвардейцы. Матросы стойко оставались на местах. Донцы-пулеметчики бегом побежали вперед, чтобы пулеметным огнем помочь атакующей части...

Но казаки наткнулись на болотную канаву. Лошади стали вязнуть, и атака остановилась. Еще секунда напряженного волнения. Видно, как под выстрелами, едва не в упор, падают люди. Командир сотни убит. И сотня — кто верхом, кто соскочивши с лошади, пешком, побежала назад. Освободившиеся от всадников лошади, задравши хвосты, метались вдоль фронта и падали, сраженные пулями матросов.

Потери сотни были не так велики, как того можно было ожидать. Убит командир сотни, и около 18 казаков было ранено, да погибло до сорока лошадей, но морально эта неудачная атака была очень невыгодна для нас. Она показала стойкость матросов. А матросы численно более нежели в 10 раз превосходили нас. Как же было бороться при таких условиях?

Бой стал затихать. Прибывшие из Гатчины две сотни 9-го полка с великою неохотою спешивались и вступали в бой. То та, то другая батарея смолкала. Снаряды были на исходе. Патронов было мало. Я послал за снарядами и патронами в Царское Село. Но там у артиллерийского склада стояла сильная вооруженная команда, которая сказала, что ввиду заявленного нейтралитета она никому ни снарядов, ни патронов не даст.

Ко всему этому на Пулковской горе матросы установили морское дальнобойное орудие и начали обстреливать мой тыл, бросая снаряды вдоль шоссе по коноводам. Снаряды долетали и до Царского Села и падали возле Экономического общества и дворца Великой Княгини Марии Павловны. Это начало влиять на Царскосельский гарнизон. Во всех полках собрались митинги.

Царскосельская молодежь, студенты, лицеисты и кадеты — кто верхом, кто на велосипеде, кто на извозчике — все время поддерживали связь со мною, сообщая мне обо всем, что творится у меня в тылу. Они бесстрашно проникали в казармы, присут-

ствовали на митингах, некоторые даже встревали в споры и поставляли меня в известность обо всех резолюциях Царскосельского гарнизона.

Резолюции были одинаковы: потребовать от казаков прекращения боя с угрозой, что иначе весь гарнизон с оружием в руках выйдет казакам в тыл. Эти резолюции волновали коноводов. Обремененные кто тремя, кто четырьмя лошадьми, они чувствовали себя под такою угрозой совсем плохо.

Смеркалось. Короткий осенний день сменялся сумерками ненастной ночи. Моросил дождь. Артиллерийский огонь смолкал. Батареи без приказа отходили назад. Матросы, не сдерживаемые артиллерийским огнем, перешли в наступление. С большим искусством они стали накапливаться на обоих флангах; не только Большое Кузьмино было занято ими, но они выходили уже на Варшавскую железную дорогу, на царскую ветку и приближались к станции Царское Село, выходя мне в тыл. Пули прорезывали деревню Редкое Кузьмино с трех сторон. Я приказал отойти за полотно Варшавской дороги. Уходил я последним. У меня болела левая нога, и я хромая не мог поспевать за быстро уходящими казаками. Матросы уже входили в Редкое Кузьмино, непрерывно стреляя. Но стреляли они плохо. Казаки, укрываясь за домами, перебегали от дома к дому, я шел с подъесаулом Кульгавовым и ротмистром Рыковым прямо по дороге. Пули свистали близко, но ни одна не попала.

С трудом перелез я через крутую насыпь железной дороги и прошел в одну из ближайших дач, чтобы написать приказ об отходе. В ста шагах вдоль по насыпи лежала редкая казачья цепь. Дальше все Редкое Кузьмино было полно матросами и красногвардейцами. Они подходили уже и к станции Александровской, но из Редкого Кузьмина не выходили. Боялись темноты.

Черная непогодливая ночь наступала.

Глава двадцать вторая
«ПЕРЕМИРИЕ» С БОЛЬШЕВИКАМИ

В несуразной обстановке дачной гостиной — дачи, спешно покинутой жильцами, при свете кухонной чадной лампочки, достанной у дворника, я писал приказ «3-му конному корпусу». «Усиленная рекогносцировка, проведенная сегодня, выяснила то, что...

для овладения Петроградом, считаю наших сил недостаточно... Царское Село постепенно окружается матросами и красногвардейцами... Необходимость выжидать подхода обещанных сил вынуждает меня отойти к Гатчине, где занять оборонительное положение... для чего: головной отряд и т.д.».

К чему я это писал? Разве что для истории. В «обещанные силы» никто не верил. Они были обещаны, и им послано приказание еще 25 октября, прошло пять дней, и никто не подошел. Зрели планы отсидеться в Гатчине за реками Пудостью и Ижорой, укрепить мосты. А там что Бог даст. В крайности, в случае нажима неприятеля отходить с боем на Дон. Лишь бы люди дрались, не изменили и не предали.

Командиры полков, батарей и сотен собирались получить приказания. Лица хмурые, недоверчивые, усталые. Чувствуется глубокое разочарование и страшный надрыв. Тяготит и беспокоит вопрос о раненых и убитых. Не бросать же их большевикам. Мы видали сегодня утром трупы солдат осадного полка. Они были раздеты и изуродованы Красной гвардией до неузнаваемости.

Глухою ночью, когда зги не было видно, подошли коноводы к опушке парка, цепи незаметно сошли с насыпи и разошлись по лошадям. Я не мог идти и послал за своею лошадью. Долго отыскивали ее, наконец подали. Ничего не видно со света.

— Алпатов, где вы? — окликнул я.

Лошадь узнала мой голос и ответила тихим ржанием.

— Я здесь, — отвечал Алпатов.

Я ощупью нашел стремя и сел. Поехал за полками в Царское. На штабной квартире никого. Ожидает последний мой автомобиль. Я послал его за моей женой: ей уже небезопасно было оставаться в Царском. Казармы стрелков ярко освещены, и в окнах толпятся солдаты. Ни выстрелов, ни криков. Нас пятеро конных едет мимо них темными силуэтами, мелькая вдоль парка. «Кто идет?» Молчим. Зловещая тишина провожает нас. В небе не видно звезд. Мелкий надоедливый дождь начинает накрапывать.

За Царским Селом я пошел рысью, нагнал и стал обгонять полки. Шли в порядке. Пулеметчики 9-го полка шли пешком и волокли за собою пулеметы. Коноводы их удрали и не подали им лошадей. Но ругали они коноводов, а со мною разговаривали без озлобления.

Около часу ночи я был в Гатчине. Керенский меня ожидал. Он был растерян.

— Что же делать, генерал? — спросил он меня.

— Будет помощь? — спросил я его.

— Да, да, конечно. Поляки обещали прислать свой корпус. Наверно, будет.

— Если подойдет пехота, то будем и драться и возьмем Петроград. Если никто не придет — ничего не выйдет. Придется уходить.

Отдал распоряжение на все дороги к переправам поставить заставы с артиллерией и глубокою ночью прилег отдохнуть. Не успел я уснуть, как меня разбудили. У меня полковник Марков, командир артиллерийского дивизиона.

— Ваше превосходительство, — взволнованно говорит он, — казаки отказываются идти на заставы и не берут снарядов. Сказали, что по своим больше стрелять не будут.

— Передайте, что я приказываю разобрать снаряды и выполнить боевой приказ.

Едва ушел Марков, как явился Лаврухин и заявил, что 9-й Донской полк не взял патронов и не пошел на заставы. Гатчина никак не охраняется.

Накануне вечером пришли две сотни 10-го Донского полка из Острова. Я направил их на заставы и ожидал установки с ними связи. Рано утром поехал их проверить. В Гатчине спокойно, но как-то сумрачно. Донцы 10-го полка устроили окопы, перекопали шоссе, чтобы броневые машины не могли подойти, смотрят на холодные воды реки Пудости и говорят: никогда красногвардеец вброд не пойдет, а тут удержим.

На душе стало немного спокойнее. Поехал назад уговаривать артиллерию. На дворцовом дворе, где стояли казаки, нашел толпы казаков и среди них матросов. Это прибыли переговорщики. Они вели переговоры не от себя, а от таинственного Союза железнодорожников «Викжеля». «Викжель» уговаривал прекратить братоубийственную войну и сговориться миром. Он угрожал в противном случае железнодорожникам забастовкой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения казаков. Идея мира на внутреннем фронте казалась им не менее заманчивой, нежели идея мира на фронте внешнем. Все, даже самые солидные казаки, носились с этою идеею и находили ее прекрасной. Я вызвал комитеты. Говорят одно, но думают другое.

«Никогда донские казаки не подпадут под власть Ленина и Бронштейна...» «Этому не бывать». «Нам с большевиками не по пути!..»

И рядом с этим: «Отчего не вступить в мирные переговоры, может быть, до чего-нибудь и договоримся. Что же, разве большевики не люди?» «Они тоже драться не хотят». «Это дело Керенско-

го». «Он заварил кашу, он пускай и расхлебывает». «Время протянется, может быть, к нам и подойдет кто. Тогда со свежими силами можно и снова войну начать». «Все одно нам, одним казакам, против всей России не устоять. Если вся Россия с ними — что же будем делать?»

Тщетно я, Ажогин и фельдшер Ярцев, лихой казак, перевязывавший мне рану, когда меня ранили в 1915 году в бою под Незвиской, уговаривали и доказывали, что с большевиками мира быть не может, — у казаков крепко засела мысль не только мира с ними, но и через посредство большевиков отправления домой на Дон, и с этим уже не было никакой силы бороться. В конце переговоров ко мне пришел адъютант Керенского, он просил меня, председателя комитета и начальника штаба прийти к нему на совещание.

В дворцовой гостиной запасной половины Керенский нас ожидал. Он получил телеграмму от «Викжеля», по-видимому, с ультимативными требованиями сговориться с большевиками. С ним был капитан Кузьмин и Ананьев, член Совета Союза казачьих войск; он послал за Савинковым и Станкевичем.

Разговор шел о высшей политике. Возможно или невозможно примирение с большевиками? Керенский стоял на том, что если хотя бы один большевик войдет в правительство, то все пропало, работа станет невозможна. Станкевич полагал, что с большевиками сговориться все-таки можно, допуск их к власти и сознание ответственности за эту власть должно отрезвить. Савинков настаивал на продолжении военных действий, говорил, что надо отстояться в Гатчине, он сам сейчас идет к командиру польского корпуса Довбор-Мусницкому, который готов драться, Войтинский поедет в Псков и Ставку, а раз явится сила, то можно будет сломить большевиков.

Я, начальник штаба полковник Попов и подъесаул Ажогин молчали. Образование нового министерства с большевиками или без них — это было дело правительства, а не войска и нас не касалось. На вопрос, поставленный мне Савинковым, можем ли мы продержаться несколько дней в Гатчине, я ответил, оценивая позицию у Пудости и Таиц и боеспособность Красной гвардии, — да, можем, но, оценивая моральное состояние казаков, отказавшихся брать снаряды и патроны и воевать, конечно, нет. Перемирие нам необходимо, чтобы выиграть время, если за это время к нам подойдет хотя один батальон свежих войск, мы продержимся и боем.

Решено было войти в переговоры о перемирии с «Викжелем». Против этого был только Савинков. Станкевич должен был поехать в Петроград искать там соглашения или помощи, Савинков ехал за поляками, а Войтинский — в Ставку просить ударные батальоны.

Но пока шло совещание начальства, другое совещание шло у комитетов. Прибывшие матросы-парламентеры, безбожно льстя казакам и суля им немедленную отправку специальными поездами прямо на Дон, заявили, что они заключать мир с генералами не согласны, что они желают заключить мир через головы генералов с подлинной демократией, с самими казаками.

Казаки явились ко мне. Они просили меня составить им текст договора, который они и будут отстаивать от своего имени, как бы игнорируя меня.

Я составил текст такого содержания:

— Большевики прекращают всякий бой в Петрограде и дают полную амнистию всем офицерам и юнкерам, боровшимся против них.

— Они отводят свои войска к Четырем рукам. Лигово и Пулково нейтральны. Наша кавалерия занимает исключительно в видах охраны Царское Село, Павловск и Петергоф.

— Ни та ни другая сторона до окончания переговоров между правительствами не перейдет указанной линии. В случае разрыва переговоров о переходе линии надо предупредить за 24 часа.

С такими мирными предложениями наши представители-казаки отправились уже поздно вечером 31 октября к большевикам.

Керенский выработал свой текст, мне неизвестный, и с этим текстом на большевистский фронт поехал на автомобиле капитан Кузьмин.

Казаки вздохнули свободно. Они верили в возможность мира с большевиками.

Совсем иначе чувствовали себя я и офицеры. Только борьба и беда могли сломить большевиков.

Вечером из Ставки в Гатчину прибыл французский генерал Ниссель. Он долго говорил с Керенским, потом пригласили меня. Я сказал Нисселю, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хоть один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было бы заставить Царскосельский и Петроградский гарнизоны повиноваться правительству силой. Ниссель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал.

Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои и резня офицеров и юнкеров. Ни один солдат не встал за Временное правительство. Мы были одиноки и преданы всеми...

Глава двадцать третья

БЕГСТВО КЕРЕНСКОГО. В ПЛЕНУ У БОЛЬШЕВИКОВ

Я не хочу испытывать терпение читателя и потому не передаю многих мелких подробностей. Эти дни были сплошным горением нервной силы. Ночь сливалась с днем, и день сменял ночь не только без отдыха, но даже без еды, потому что некогда было есть. Разговоры с Керенским, совещания с комитетами, разговоры с офицерами воздухоплавательной школы, разговоры с солдатами этой школы, разговоры с юнкерами школы прапорщиков, чинами городского управления, городской думы, писание прокламаций, воззваний, приказов и пр. и пр. Все волнуются, все требуют сказать, что будет, и имеют право волноваться, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Все ищут совета и указаний, а что посоветуешь, когда кругом стала непроглядная осенняя ночь, кругом режут, бьют, расстреливают и вопят дикими голосами: «Га! Мало кровушки нашей попили!»

Инстинктивно все сжалось во дворце. Офицеры сбились в одну комнату; спали на полу, не раздеваясь, казаки, не расставаясь с ружьями, лежали в коридорах. И уже не верили друг другу. Казаки караулили офицеров, потому что, и не веря им, все-таки только в них видели свое спасение, офицеры надеялись на меня и не верили и ненавидели Керенского.

Утром 1 ноября вернулись переговорщики и с ними толпа матросов. Наше перемирие было принято, подписано представителем матросов Дыбенко, который и сам пожаловал к нам. Громадного роста, красавец мужчина с вьющимися черными кудрями, черными усами и юной бородкой, с большими томными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физически силач, позирующий на благородство, он очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офицеров.

— Давайте нам Керенского, а мы вам Ленина предоставим, хотите — ухо на ухо поменяем! — говорил он, смеясь.

Казаки верили ему. Они пришли ко мне и сказали, что требуют обмена Керенского на Ленина, которого они тут же у дворца повесят.

— Пускай доставят сюда Ленина, тогда и будем говорить, — сказал я казакам и выгнал их от себя.

Но около полудня за мной прислал Керенский. Он слыхал об этих разговорах и волновался. Он просил, чтобы казачий караул у его дверей был заменен караулом от юнкеров.

— Ваши казаки предадут меня, — с огорчением сказал Керенский.

— Раньше они предадут меня, — сказал я и приказал снять казачьи посты от дверей квартиры Керенского.

Что-то гнусное творилось кругом. Пахло гадким предательством. Большевистская зараза только тронула казаков, как уже были утеряны ими все понятия права и чести.

В три часа дня ко мне ворвался комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиною Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной выдачи Керенского, которого они сами под своей охраной отвезут в Смольный.

— Ничего ему не будет. Мы волоса на его голове не позволим тронуть.

Очевидно, это было требование большевиков.

— Как вам не стыдно, станичники! — сказал я. — Много преступлений вы уже взяли на свою совесть, но предателями казаки никогда не были. Вспомните, как наши деды отвечали царям Московским: «С Дона выдачи нет!..» Кто бы ни был он — судить его будет наш русский суд, а не большевики...

— Он сам большевик!

— Это его дело. Но предавать человека, доверившегося нам, неблагородно, и вы этого не сделаете.

— Мы поставим свой караул к нему, чтобы он не убежал. Мы выберем верных людей, которым мы доверяем, — кричали казаки.

— Хорошо, ставьте, — сказал я.

Когда они вышли, я прошел к Керенскому. Я застал его смертельно бледным, в дальней комнате его квартиры.

Я рассказал ему, что настало время, когда ему надо уйти. Двор был полон матросами и казаками, но дворец имел и другие выходы. Я указал на то, что часовые стоят только у парадного входа.

— Как ни велика вина ваша перед Россией, — сказал я, — я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь.

Выйдя от Керенского, я через надежных казаков устроил так, что караул долго не могли собрать. Когда он явился и пошел открывать помещение, Керенского не было. Он бежал.

Казаки кинулись ко мне. Они были страшно возбуждены против меня. Раздавались голоса о моем аресте, о том, что я предал их, дав возможность бежать Керенскому.

Но тут произошло новое событие, которое совершенно все перевернуло. К Гатчинскому дворцу, в стройном порядке сверкая штыками, подходила густая колонна солдат. Она тянулась далеко по дороге, идущей к Петрограду. Люди были отлично одеты, на всех взводах, сверкая погонами, шли офицеры. Это шел л.-гв. Финляндский полк. Он стал выстраиваться в резервную колонну против дворца. Казаки оставили меня и разбежались куда попало. Я остался один. Офицеры штаба находились все вместе в соседней комнате.

В мою комнату вошло человек двадцать вооруженных финляндцев.

— Господин генерал, — сказал мне один из них. — Финляндский полк требует, чтобы вы вышли к нему на площадь.

— Как смеете вы, — закричал я что было силы на них, — требовать меня, корпусного командира! Вон отсюда, чтобы и духа вашего не было.

И, к моему удивлению, солдаты стали пятиться и, толкая друг друга, выбежали из моей комнаты. Прошло минут десять в грозной томительной тишине. В мою комнату постучали.

— Можно войти? — послышался голос.

— Войдите, — отвечал я, готовый на все.

Вошел элегантно одетый капитан Финляндского полка, видимо кадровый офицер.

— Господин генерал, — сказал он, — честь имею представиться: командующий л.-гв. Финляндским полком. Я должен извиниться перед вами. Мои люди без меня позволили себе самочинно ворваться к вам. Где разрешите стать полку на ночлег? Люди сильно устали. Они походом шли из Петрограда.

«Что сей сон обозначает, — подумал я, — уже не помощь ли это пришла к нам?»

— Становитесь в Кирасирских казармах, — любезно сказал я.

— Слушаюсь. Будет исполнено, — повернулся кругом и вышел.

Я пошел взглянуть, что происходит. Неужели действительно помощь? Но за финляндцами шли матросы, за матросами Красная гвардия. В окна, сколько было видно, все было черно от черных шинелей

матросов и пальто Красной гвардии. Тысяч двадцать народа заполнило Гатчину, и в их темной массе совершенно растворились казаки.

Таково было большевистское перемирие.

И вот в эту-то пору ко мне пришел Лаврухин и сказал, что 9-й полк просит меня выйти и объяснить ему, как бежал Керенский.

Я пошел. Казаки 9-го полка были построены в резервную колонну при винтовках, пешком. Их окружала густая толпа солдат, матросов, красногвардейцев и любопытных жителей Гатчины. Я протолкался через них и, подходя к полку, обычным голосом крикнул, как кричал им и в 1914 и 1915 годах на полях настоящей войны:

— Здорово, молодцы станичники! — Привычка взяла свое.

Громовой ответ: «Здравия желаем, господин генерал!» — раздался из рядов полка.

Положение было спасено. Я глубоко вошел в ряды полка, стал среди казаков.

— Да, — сказал я, — Керенский бежал. И это к нашему счастью. Как охраняли бы мы его теперь, когда мы окружены врагами?

— Мы бы его выдали, — глухо пронеслось по рядам.

— А Ленина вы получили? Вы бы выдали его, чтобы позором покрыть свое имя, чтобы про вас говорили, что вы предатели. Хорошо? А?

Казаки молчали.

— Я знаю, что я делаю. Я вас привел сюда, и я вас отсюда выведу. Поняли это?! Верьте мне, и вы не погибнете, а будете на Дону.

И я спокойно, в гробовой тишине притихшего полка вышел из рядов. Когда я проходил через толпу, я слышал, как там говорили: «Керенский бежал». И одни говорили это со вздохом радости, другие — со вздохом разочарования.

Глава двадцать четвертая

КОШМАР

Во дворце творилось черт знает что. Матросы, красногвардейцы и солдаты шатались по комнатам, тащили ковры, подушки, матрацы. Казаки сбились в кучу в коридоре и притихли, за ними в двух комнатах были офицеры. Начальник Уссурийской дивизии со штабом и комитетом под суматоху сел на лошадь и уехал из Гатчины.

Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский с жидкой бородкой и типичным еврейским лицом. За ним неотступно следовал маленький казак 10-го Донского полка с винтовкой, больше его роста, в руках и один из адъютантов Керенского.

— Генерал, — сказал, останавливаясь против стола, за которым я сидел, штатский, — прикажите этому казаку отстать от нас.

— А вы кто такие? — спросил я.

Штатский стал в картинную позу и гордо кинул мне:

— Я — Троцкий.

Я внимательно посмотрел на него.

— Ну же! Генерал! — крикнул он мне. — Я Троцкий.

— То есть Бронштейн, — сказал я. — В чем дело?

— Ваше превосходительство, — закричал маленький казак, — да как же это можно? Я поставлен стеречь господина офицера, чтобы он не убег, вдруг приходит этот еврейчик и говорит ему: «Я Троцкий, идите за мной». Офицер пошел. Я часовой, я за ним. Я его не отпущу без разводящего.

— Ах, как это глупо, — морщась, сказал Троцкий и вышел, провождаемый адъютантом Керенского и уцепившимся в его рукав маленьким, но бойким казачишкой.

— Какая великолепная сцена для моего будущего романа! — сказал я толпившимся у дверей офицерам.

Но было не до романа. Было ясно, что перемирие полетело к черту и все погибло. Мы в плену у большевиков. Однако эксцессов почти не было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлся Дыбенко или юный и юркий Рошаль и разгонял матросов.

— Товарищи! — говорил Рошаль офицерам. — С ними надо умеючи. В морду их! В морду! — И он тыкал в морды улыбающимся красногвардейцам.

Я присматривался к этим новым войскам. Дикою разбойничьею вольницею, смешанною с современною разнузданною хулиганщиною, несло от них. Шарят повсюду, крадут что попало. У одного из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого сумку, но если их поймают с поличным, то отдают и смеются: «Товарищ, не клади плохо! Я отдал, а другой не отдаст». Разоружили одну сотню 10-го Донского казачьего полка, я пошел с комитетом объясняться с Дыбенко. Как же это, мол, так — по перемирию оружие остается у нас — оружие вернули, но не преминули слизнуть какое-то тряпье. Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы.

— А, буржуи, — говорили они, — ну погодите, скоро мы всех вас передушим.

И это уже не шутка, это действительная угроза. Офицеры 3-го конного корпуса входили на ту Голгофу страданий, которую пройти пришлось всему офицерству и которая еще не кончилась и теперь.

Несмотря на позднее время, всюду во дворце по коридорам и комнатам, по дворам и на улице, при свете ламп и фонарей споры и митинги. Матросы ругают Керенского, но и Ленина не хвалят.

— Нам что Ленин! Окажется Ленин плох, и его вздернем. Ленин нам не указ.

Чувствуется полное безвластие наверху. Сейчас вожди — Дыбенко, Рошаль и другие. За ними пока пустое место. Возьмет власть тот, кто даст мир этому народу и разгонит его по домам и тогда уже будет создавать новую силу, более послушную и менее мятежную.

Около часу ночи меня позвали обедать. За всеми этими событиями мы ничего еще не ели.

Обед приходил к концу, когда в коридоре послышался шум. Быстро приближалась к нам толпа, грозно стуча сапогами и винтовками. Громадные двери распахнулись на обе половины, и в комнату ворвалось, наполняя ее, несколько солдат и во главе их высокий худощавый загорелый офицер с полковничьими погонами. Он направился ко мне и, протягивая властным жестом руку и становясь в величественную театральную позу, воскликнул:

— Генерал, я вас арестую! — Он сделал паузу, обвел рукою кругом и добавил: — И со всем вашим штабом!

— Кто вы такой? — спросил я.

— Полковник Муравьев! — торжественно заявил офицер. — Вы трофей!..

В комнате стало тихо. Театральность обстановки повлияла на офицеров. Но вдруг к самому носу полковника Муравьева протолкался бледный, исхудалый, измученный подъесаул Ажогин и за ним, как два его постоянных ассистента, сотник Коротков и фельдшер Ярцев.

— Я требую, полковник, — кричал маленький Ажогин, — чтобы вы немедленно извинились перед генералом и нами в том, что вы вошли, не спросивши разрешения.

Муравьев презрительно скосил глаза.

— П-п-аззвольте! Пажжалуйста... Как вы, обер-офицер, говорите с полковником! — начальственным тоном заявил Муравьев. — Вы з-заб-ываетесь!

— Я и не знал, что в демократической армии существует чинопочитание, — с иронией воскликнул Ажогин. — Кроме того, я представитель дивизионного комитета, выборный от пяти тысяч казаков, и не мне с вами, а вам со мною нужно считаться.

Муравьев опешил от такого стремительного натиска. А Ажогин так и сыпал. Хороша, мол, честность большевиков, хорошо их слово! Дыбенко клянется и божится, что никто и тронуть не смеет, а уже начинаются аресты.

— Я ничего не знал, — сказал Муравьев.

— Да где вы были тогда, когда мы переговаривались?

— Я был в поле...

— Пока вы были в поле и ничего не делали, все было сделано без вас.

Начался длинный, бурный спор, потом помирились, Муравьев заявил, что он извиняется перед нами, и сел за стол, а с ним и его свита. Вдруг вспомнили, что где-то видались на войне, были вместе, и перед нами вместо грозного вождя большевиков оказался добрый малый, армейский забулдыга полковник, и офицеры стали говорить с ним о подробностях боя под Пулковом и о потерях сторон. Мы скрыли свои потери. У нас было 3 убитых и 28 раненых, большевики, по словам Муравьева, потеряли более 400 человек. Спор о моем аресте был исчерпан, но множество вопросов было еще не решено, и ко мне в комнату пришел Дыбенко и подпоручик одного из гвардейских полков Тарасов-Родионов, человек лет тридцати, с университетским значком.

— Генерал, — сказал Тарасов, — мы просим вас завтра поехать со мною в Смольный для переговоров. Надо решить, что делать с казаками.

— Это скрытый арест? — спросил я.

— Даю вам честное слово, что нет, — сказал Тарасов.

— Я ручаюсь вам, генерал, — сказал Дыбенко, — что вас никто не тронет. В 10 часов вы будете в Смольном, а в одиннадцать мы вернем вас обратно.

— Вы понимаете, — сказал Тарасов-Родионов, — или нам придется арестовать и разоружить ваш отряд, или взять вас для переговоров.

— Хорошо, я поеду, — сказал я.

— Я поеду с вами, — решительно заявил и.д. начальник штаба полковник С.П.Попов.

Когда офицеры штаба узнали, что я еду в Смольный, они стали настаивать, чтобы я взял с собою и их. Особенно домогались

мои адъютанты, подъесаул Кульгавов и ротмистр Рыков, но я попросил поехать с собою только сына подруги моего детства — Гришу Чеботарева, который знал, где находится моя жена, и должен был уведомить ее, если бы что-либо случилось...

До утра во дворце продолжался шум и гам. То арестовывали, то освобождали офицеров. Матросы явно ухаживали за казаками и льстили им.

— В России только и есть войско, товарищи, что матросы да казаки, — остальное дрянь одна.

— Соединимся, товарищи, вместе — и Россия наша. Пойдем вместе.

— На Ленина! — лукаво подмигивая, говорил казак.

— А хоть бы и на Ленина. Ну его к бесу! На что он нам сдался, шут гороховый.

— Так чего же вы, товарищи, воевали? — говорили казаки.

— А вы чего?

И разводили руками. И никто не понимал, из-за чего пролита была кровь и лежали мертвые у готовых могил, офицер-оренбуржец и два казака, и страдали по госпиталям раненые...

Глава двадцать пятая
В СМОЛЬНОМ

Перед рассветом выпал снег и тонкою пеленою покрыл замерзшую грязь дорог, поля и сучья деревьев. Славно пахнуло легким морозом и тихою зимою.

Автомобиль должны были подать к 8 часам, но подали еле к десяти. Тарасов-Родионов волновался и нервничал. То просил меня выйти, то обождать в коридоре. Рошаль собрал вокруг себя на внутреннем дворцовом дворе всех матросов и, ставши на телегу, что-то говорил им. У дворца громадная толпа солдат и Красной гвардии, и это нервит Тарасова, он отдает дрожащим голосом приказания шоферам.

Мы садимся. Впереди Попов и Гриша Чеботарев, сзади я и Тарасов-Родионов. Автомобиль тихо выезжает из дворцовых ворот.

Какой-то громадный солдат в пяти шагах от нас схватывает винтовку на изготовку и кричит:

— Стрелять этих генералов надо, а не на автомобилях раскатывать!

Тарасов мертвенно бледен. Я спокоен — тот, кто выстрелит, тот не кричит об этом. Этот не выстрелит. Я смотрю в злобные серые глаза солдата и только думаю: за что? — он и не знает меня вовсе.

— Скорее! Скорее! — говорит Тарасов шоферам, но те и сами знают, что зевать нельзя.

Автомобиль поворачивается налево и мчится мимо статуи Павла I, стоящего с тростью и засыпанного белым чистым снегом, мимо обелиска, поворачивает еще раз — мы на шоссе.

В Гатчине людно. Шатаются солдаты и красногвардейцы. У Мозина обгоняем роту Красной гвардии. Она запрудила все шоссе, автомобиль дает гудки, и красногвардейцы сторонятся, косятся, бросают злобные взгляды, но молчат.

Под Пулковом из какого-то дома по нас стреляли. Одна пуля щелкнула подле автомобиля, другая ударила в его край.

— Скорей! — говорит Тарасов-Родионов.

Третьего дня здесь был бой. По сторонам дороги видны окопы, лежат неубранные трупы лошадей оренбургских казаков, видны воронки снарядов.

За Пулковом Тарасов-Родионов становится спокойнее. Он начинает мне рассказывать, сколько счастья дадут русскому народу большевики.

— У каждого будет свой угол, свой домик, свой кусок земли. И у вас будет покой на старости лет.

— Позвольте, — говорю я, — но ведь вы коммунисты, как же это у меня будет свой дом и своя земля? Разве вы признаете собственность?

Молчание.

— Вы меня не так поняли, — наконец говорит Тарасов. — Все это принадлежит государству, но оно как бы ваше. Не все ли вам равно? Вы живете. Вы наслаждаетесь жизнью, никто у вас не может отнять, но собственность это действительно государственная.

— Значит, будет государство, будет Россия? — спрашиваю я.

— О, да еще и какая сильная! Россия народная! — отвечает настороженно Тарасов-Родионов.

— А как же Интернационал? Ведь Россия и русские — это только зоологическое понятие.

— Вы меня не так поняли, — говорит Тарасов и умолкает.

Мы въезжаем в Триумфальные ворота. Когда-то их любовно строил народ для своей победоносной гвардии, теперь... где эта гвардия?

— Увижу я Ленина? Представят меня перед его светлые очи? — спрашиваю я Тарасова.

— Я думаю, что нет. Он никому не показывается. Он очень занят, — говорит Тарасов.

Знакомые, родные места. Вот Лафонская площадь, вот окна конюшни казачьего отдела, манеж № 1, где я провел столько счастливых часов, служа в постоянном составе школы. Там дальше на Шпалерной моя бывшая квартира. Не нарочно ли судьба дает мне последний раз посмотреть на те места, где я испытал столько счастья и радости... Печальное предчувствие сжимает мое сердце.

Последствие усталости, бессонных ночей, недоедания, слабость?.. Не нужно этого.

У Смольного толпа. Крутится кинематограф, снимая нас. Ну как же! Привезли трофеи победы Красной гвардии — командира 3-го кавалерийского корпуса!!

В Смольном хаос. На каждой площадке лестницы пропускной пост. Столик, барышня, подле два-три лохматых «товарища» и проверка «мандатов». Все вооружены до зубов. Пулеметные ленты сплошь да рядом без патронов крест-накрест перекручены поверх потрепанных пиджаков и пальто, винтовки, которые никто не умеет держать, револьверы, шашки, кинжалы, кухонные ножи.

И, несмотря на все это вооружение, толпа довольно мирного характера и множество дам — нет, это не дамы, и не барышни, и не женщины, а те «товарищи» в юбках, которые вдруг, как тараканы из щелей, повылезали в Петрограде и стали липнуть к Красной гвардии и большевикам, — претенциозно одетые, с разухабистыми манерами, они так и шныряют вниз и вверх по лестнице.

— Товарищ, ваше удостоверение?

— Член следственной комиссии Тарасов-Родионов, генерал Краснов, его начальник штаба...

— Проходите, товарищи.

— Куда вы, товарищ?

— К товарищу Антонову...

Так с рук на руки нас передавали и вели среди непрерывного движения разных людей вверх и вниз на третий этаж, где наконец нас пропустили в комнату, у дверей которой стояло два часовых матроса.

Комната полна народу. Есть и знакомые лица. Капитан Свистунов, комендант Гатчинского дворца, один из адъютантов Керенского, а затем различные штатские и военные лица из числа сочувствовавших движению. Настроение разное. Одни бледны,

предчувствуя плохой конец, другие взвинченно-веселы, что-то замышляют. Новая власть близка, источник повышений здесь, игра еще не проиграна.

Кто сидит третий день, уже сорганизовался. Оказывается, кормят недурно, дают чай, можно сложиться и купить сахар, тут и лавочка специальная есть в Смольном.

— Но ведь это арест?

— Да, арест, — отвечают мне. — Но будет и хуже. Вчера генерала Карачана, начальника артиллерийского училища, взяли, вывели за Смольный и в переулке застрелили. Как бы и вам того же не было, генерал, — говорит один.

— Ну, зачем так, — говорит другой, — может быть, только посадят в Кресты или Петропавловку.

— В Крестах лучше. Я сидел, — говорит третий.

Внимание, возбужденное нашим приходом, ослабевает. Каждый занят своими делами. Пришла жена одного из арестованных, они садятся в углу и тихо беседуют.

Часы медленно ползут. В два часа принесли обед. Суп с мясом и лапшой, большие куски черного хлеба, чай в кружках.

Рядом комната. Бывшая умывальная институток. В ней тише. Я прошел туда, снял шинель, положил под голову и прилег на асфальтовом полу, чтобы отдохнуть и обдумать свое положение. Более чем очевидно, что Тарасов-Родионов обманул, что меня заманили и я попал в западню.

В 5 часов я проснулся. Ко мне пришел Тарасов-Родионов и с ним бледный лохматый матрос.

— Вот, — сказал мне Тарасов, — товарищ с вас снимет допрос.

— Позвольте, — говорю я, — поручик, вы обещали мне, что через час отпустите, а держите меня в этой свинской обстановке целый день. Где же ваше слово?

— Простите, генерал, — ускользая в двери, проговорил Тарасов.

— Но лучшее наше помещение, где есть кровать, занято Великим Князем Павлом Александровичем, если его сегодня отпустят, мы переведем вас в его комнату. Там будет великолепно.

Матрос, назначенный для следствия, имел усталый и измученный вид. Он дал бумагу, чернила и перо и просил написать, как и по чьему приказу мы выступили и как бежал Керенский.

Вдвоем с Сергеем Петровичем Поповым мы составили безличный отчет и подали матросу.

— Теперь мы свободны? — спросил Попов.

Матрос загадочно посмотрел на нас, ничего не ответил и ушел.

Я долго смотрел, как сгущались сумерки над Невою и загорались огни на набережной и на мосту Петра Великого. Скоро темная ночь стала окном. В наших двух комнатах тускло горело по одной электрической лампочке. Кто читал, кто щелкал на машинке, учась писать, кто примащивался спать на полу. Кое-кого увели. Увели Свистунова, и пронесся слух, что он получает какое-то крупное назначение у большевиков, увели адъютанта Керенского, еще троих выпустили. Всего оставалось человек восемь, не считая нас.

И вдруг в комнату шумно, сопровождаемый Дыбенко, ворвался весь наш комитет 1-й Донской дивизии.

— Ваше превосходительство, — кричал мне Ажогин, — слава богу! Вы живы. Сейчас мы все устроим. Эти канальи хотели разоружить казаков и взять пушки вопреки условию. Мы им покажем! Вы говорите, что это зависит от Крыленко, — обратился Ажогин к Дыбенко, — тащите ко мне этого Крыленко. Я с ним поговорю как следует.

Он горел и кипел благородным негодованием, этот доблестный донской офицер, и его волнением заражались и чины комитета, сотник Карташов, не подавший руки Керенскому, фельдшер Ярцев и тот маленький казачок, что привязался к Троцкому; все они были при шашках, в шинелях, возбужденные быстрой ездой на автомобиле и морозным воздухом, шумные, смелые, давящие большевиков своею инициативой.

Дыбенко был на их стороне. Сам такой же шумный, он, казалось, не прочь был пристать к этой казачьей вольнице, которой на самого Ленина начихать.

Через полчаса меня попросили в другую комнату. Я пошел с Поповым и Чеботаревым. У дверей стояло два мальчика лет по 12, одетых в матросскую форму с винтовками.

— Что, видно, у большевиков солдат не стало, что они детей в матросы записали? — сказал Попов одному из них.

— Мы не дети, — басом ответил матрос и улыбнулся жалкой, бледной улыбкой.

В комнате классной дамы посередине стоял небольшой столик и стул. Я сел за этот стол. Приходили матросы, заглядывали на нас и уходили снова. По коридору так же, как и днем, непрерывно сновали люди.

Наконец пришел небольшой человек в помятом кителе с прапорщичьими погонами, фигура невзрачная, лицо темное, прокуренное. Мне он почему-то напомнил учителя истории захолуст-

ной гимназии. Я сидел, он остановился против меня. В дверях толпилось человек пятьсот солдат в шинелях.

Это и был прапорщик Крыленко.

— *Ваше превосходительство*, — сказал он, — у нас несогласия с вашим комитетом. Мы договорились отпустить казаков на Дон с оружием, но пушки мы должны отобрать. Они нам нужны на фронте, и я прошу вас приказать артиллеристам сдать эти пушки.

— Это невозможно, — сказал я. — Артиллеристы никогда своих пушек не отдадут.

— Но судите сами, здесь комитет 5-й армии требует эти пушки, — сказал Крыленко. — Каково наше положение. Мы должны исполнить требование комитета 5-й армии. Товарищи, пожалуйте сюда.

Солдаты, стоявшие у дверей, вошли в комнату, и с ними ворвался комитет 1-й Донской дивизии.

Начался жестокий спор, временами доходивший до ругательств, между казаками и солдатами.

— Живыми пушки не отдадим! — кричали казаки. — Бесчестья не потерпим. Как мы без пушек домой явимся! Да нас отцы не примут, жены смеяться будут.

В конце концов убедили, что пушки останутся за казаками, комитеты, ругаясь, ушли. Мы остались опять с Крыленко.

— Скажите, ваше превосходительство, — обратился ко мне Крыленко, — вы не имеете сведений о Каледине? Правда, он под Москвой?

«А, вот оно что! — подумал я. — Вы еще не сильны. Мы еще не побеждены. Поборемся».

— Не знаю, — сказал я с многозначительным видом. — Каледин мой большой друг... Но я не думаю, чтобы у него были причины спешить сюда. Особенно если вы не тронете и хорошо обойдетесь с казаками.

Я знал, что на Дону Каледин едва держался, и по личному опыту знал, что поднять казаков невозможно.

— Имейте в виду, прапорщик, — сказал я, — что вы обещали меня отпустить через час, а держите целые сутки. Это может возмутить казаков.

— Отпустить вас мы не можем, — как бы про себя сказал Крыленко, — но и держать вас здесь негде. У вас здесь нет кого-либо, у кого вы могли бы поселиться, пока выяснится ваше дело?

— У меня здесь есть квартира на Офицерской улице, — сказал я.

— Хорошо. Мы вас отправим на вашу квартиру, но раньше я поговорю с вашим начальником штаба.

Крыленко ушел с Поповым. Я отправил Чеботарева с автомобилем в Гатчину для того, чтобы моя жена переехала в Петроград. Вскоре вернулся Попов. Он широко улыбался.

— Вы знаете, зачем меня звали? — сказал он.

— Ну? — спросил я.

— Троцкий спрашивал меня, как отнеслись бы вы, если бы правительство, то есть большевики, конечно, предложили бы вам какой-либо высокий пост.

— Ну и что же вы ответили?

— Я сказал: пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст!

Я горячо пожал руку Попову. Милейшая личность был этот Попов. В самые тяжелые, критические минуты он не только не терял присутствия духа, но и не расставался со своим природным юмором. Он весь день нашего заключения в Смольном то издевался над Дыбенко, то изводил Тарасова-Родионова, то критиковал и смеялся над порядками Смольного института. Он и тут остался верен себе. О том, что мы играли нашими головами, мы не думали, мы давно считали, что дело наше кончено и что выйти отсюда, несмотря на все обещания, вряд ли удастся.

— Вы знаете, ваше превосходительство, — сказал мне Попов серьезно, — мне кажется, что дело еще не вполне проиграно. По всему тому, что мне говорил и о чем спрашивал Троцкий, они вас боятся. Они не уверены в победе. Эх! Если бы казаки вели себя иначе...

Нас перевели в прежнее помещение, и о том, чтобы отправлять на квартиру, не было ни слова. Наступила ночь. Заключенные понемногу затихали, устраиваясь спать в самых неудобных позах, кто сидя, кто лежа на полу, кто на стульях, не раздеваясь, как спят на станции железной дороги, в ожидании поезда; да каждый из них и ждал чего-то. Ведь они были приведены сюда только для допроса.

Наконец, в 11 часов вечера, к нам пришел Тарасов-Родионов.

— Пойдемте, господа, — сказал он.

Часовые хотели было нас задержать, но Тарасов сказал им что-то, и они пропустили.

В Смольном все та же суматоха. Так же одни озабоченно идут вверх, другие вниз, так же все полно вооруженными людьми, стучат приклады, гремит уроненная на каменной лестнице винтовка.

У выхода толпа матросов.

— Куда идете, товарищи?

Тарасов-Родионов начинает объяснять.

— По приказу Троцкого, — говорит он.

— Плевать нам на Троцкого. Приканчивать надо эту канитель, а не освобождать.

— Товарищи, постойте... Это самосуд!

— Ну да, своим-то судом правильнее и скорее.

Гуще и сильнее разгорелась перебранка между двумя партиями матросов. Объектом спора были мы с Поповым. Матросы не хотели выпускать своей добычи. Вдруг чья-то могучая широкая спина заслонила меня, какой-то гигант напер на меня, ловко притиснул к двери, открыл ее, и я, Попов и великан-красавец в бушлате гвардейского экипажа и в черной фуражке с козырьком и офицерской кокардой втиснулся с нами в маленькую швейцарскую.

Перед нами красавец боцман, типичный представитель старого гвардейского экипажа. Такие боцмана были рулевыми на императорских вельботах. Сытый, холеный, могучий и красивый.

— Простите, *ваше превосходительство*, — сказал он, обращаясь ко мне, — но так вам много спокойнее будет. Я не сильно толкнул вас? Ребята ничего. Пошумят и разойдутся без вас. А то как бы чего нехорошего не вышло. Темного народа много.

И действительно, шум и брань за дверьми стали стихать, наконец и совсем прекратились.

— Вас куда предоставить прикажете? — спросил меня боцман.

Я сказал свой адрес.

— Только простите, я вас отправлю на автомобиле «Скорой помощи», так менее приметно. А то сами понимаете, народ-то какой!.. А людей я вам дам надежных. Ребята славные.

Нас вывели матросы гвардейского экипажа. Долго мы бродили по грязному двору, заставленному автомобилями, слышали выклики между шоферами, как в старину, только имена звучали другие.

— Товарища Ленина машину подавайте! — кричал кто-то из сырого сумрака.

— Сейчас, — отзывался сиплый голос.

— Товарища Троцкого!

— Есть...

В эту грозную эпоху со стоическим хладнокровием несли службу и оставались на своих постах железнодорожники и шоферы... Сегодня эшелоны Корнилова, завтра Керенского, потом товарища Крыленко, потом еще чьи-нибудь. Сегодня машина соб-

ственного его величества гаража, завтра товарища Керенского, потом Ленина. Лица сменялись с быстротою молнии и plus que ça change, ça reste la même chose...[1]

Громадный автомобиль Красного Креста, в который влезли я, Попов, Тарасов-Родионов и шесть гвардейских матросов, с неистовым шумом сорвался с места и тяжело покатился к воротам. У разведенного костра грелись красногвардейцы. При виде матросов они пропустили автомобиль, не опрашивая и не заглядывая вовнутрь.

В городе темно. Фонари горят редко, прохожих нигде не видно!

Через четверть часа я был дома. Почти одновременно подъехала моя жена с Гришей Чеботаревым и командиром Енисейской сотни есаулом Коршуновым.

Глава двадцать шестая
В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ. КОНЕЦ 3-го КОННОГО КОРПУСА

Писать ли дальше? Я жил дома, пользуясь полной свободой. Ко мне приходили гости, жена моя уходила в город и приходила, мы говорили по телефону. В прихожей неотлучно находилось два матроса, но это были не часовые, а скорее генеральские ординарцы. Они помогали мне одеваться. На кухне и черной лестнице не было никого. Я в любую минуту мог переодеться в штатское платье и бежать.

Но повторяю, бежать я и теперь не хотел, это не в моей натуре, и глубоко я верил в то, что от своей судьбы не убежишь.

А Донской комитет, непрерывно сообщаясь со мною и советуясь у меня, делал свое дело. 4 ноября он добился отправки эшелонов в район Великих Лук, куда стягивался весь корпус. 6 ноября комитет явился ко мне с подъесаулом 53-го Донского казачьего полка Петровым, назвавшимся чем-то вроде комиссара нового правительства. Мне показалось, что он играет двойную роль. Хочет служит большевикам и в то же время на всякий случай подслуживается ко мне. Таких людей в ту пору было много. Я решил использовать его. В Кронштадте сидели три офицера 13-го Донского казачьего полка, захваченных матросами, когда они ехали ко мне

---

[1] Сколько изменений, а все остается по-прежнему *(фр.)*.

из Ревеля, и есаул Коршунов, арестованный в Петрограде. Я дал задачу Петрову освободить их. Петров добился их освобождения.

Наконец вечером 6 ноября члены комитета сотник Карташов и подхорунжий Кривцов привезли мне пропуск на выезд из Петрограда. Я не знаю, насколько этот пропуск был настоящий. Мы об этом тогда не говорили, но мне рекомендовали его не очень давать разглядывать. Это был клочок серой бумаги с печатью Военного Исполнительного Комитета С.С. и Р.Д. с подписью товарища Антонова, кажется того самого матроса, который снимал с меня показание. В сумерки 7 ноября я, моя жена, полковник Попов и подхорунжий Карташов, забравши кое-что из платья и белья, сели на сильную машину штаба корпуса и поехали за город. Мы все были в форме, я с погонами с шифровкой 3-го корпуса, при оружии.

В наступившей темноте мы промчались через заставу, где что-то махал руками растерявшийся красногвардеец, и понеслись, минуя Царское Село, по Новгородскому шоссе. В 10 часов вечера мы были в Новгороде, где остановились для того, чтобы добыть бензин.

А в это время на петроградскую мою квартиру явился от Троцкого наряд Красной гвардии, чтобы окончательно меня арестовать.

На другое утро мы были в Старой Руссе, где среди толпы солдат сели на поезд и поехали в Великие Луки.

9 ноября я был в Великих Луках и здесь испытал серьезное огорчение. В Великих Луках стояли эшелоны 10-го Донского казачьего полка, *моего полка*. Казаки этого полка были мною воспитаны, они со мною вместе были в боях, мы жили тесною, дружескою жизнью. Кому-то из моих адъютантов пришло в голову, что самое безопасное будет, если я поеду с ними на Дон, и он пошел в полк переговорить об этом.

Казаки отказались взять меня, потому что это было для них *опасно*.

Не то огорчило меня, что они не взяли меня. Я бы все равно не поехал, потому что долг мой перед корпусом не был выполнен, мне надо было его собрать и отправить к Каледину, а огорчил мотив отказа — *трусость*.

Яд большевизма вошел в сердца людей моего полка, который я считал лучшим, наиболее мне верным, чего же я мог ожидать от остальных?

Я поселился в Великих Луках.

Я считался командиром 3-го кавалерийского корпуса, со мною был громадный штаб, и при мне было казначейство с двумя миллионами рублей денег, но все дни мои проходили в разговорах с казаками. Все неудержимо хлынуло на Дон. Не к Каледину, чтобы сражаться против станицы, чтобы ничего не делать и отдыхать, не чувствуя и не понимая страшного позора нации.

Они готовы были какою угодно ценою ехать по домам. И приходилось часами уговаривать их, чтобы ехали-то они хотя бы честно, с оружием и знаменами.

Это было то же дезертирство с фронта, которое охватило пехоту, но пехота бежала беспорядочно, толпами, а это было организованное дезертирство, где люди ехали сотнями, со своими офицерами в полном порядке, но не все ли равно — они ехали домой, ехали с фронта, покидая позицию, они были дезертирами. Я говорил им это, говорил часами. Они слушали меня, убеждались как будто, и после трех-четырехчасовых разговоров наступало молчание, лица становились упрямыми, и кто-нибудь говорил общую всем мысль:

— Когда же, господин генерал, будет нам отправка?

Одна мысль, одна мечта была у них — *домой!* Эти люди безнадежно потеряны для какой бы то ни было борьбы, на каком бы то ни было фронте. Им нужно было, как Илье Муромцу, коснуться родной земли, чтобы набрать новые силы. Я написал атаману Каледину свои соображения по этому поводу. Я писал ему, что, переживши весь развал армии в строю, непосредственно командуя частями, я пришел к тому заключению, что казаки стали совершенно небоеспособными, что единственное средство вернуть войску силу — это отпустить всех по домам, призвать на их место под знамена молодежь, не бывшую на войне, начать учить ее по старым методам. Для подготовки же офицеров, которые были далеко не на высоте знаний, создать в Новочеркасске офицерскую школу и расширить училище и корпус. В станицах образовать спортивные общества и кружки.

Ответ от Каледина получился в виде нервно, порывисто написанного на листе почтовой бумаги письма. Каледин соглашался со мною, но писал, что это невозможно, что у него для этого нет власти. Я понял, что он плывет по течению, а течение несло неудержимо к большевикам.

12 ноября 1-я Донская дивизия потекла на Дон и успокоилась, но начала волноваться Уссурийская конная дивизия, требуя отправки ее на Дальний Восток. Это не входило в мои планы. Я хо-

тел отправить ее тоже на Дон, где она могла бы быть полезной. Но комитет дивизии поехал сам в Ставку к Крыленко и добился от него пропуска на восток.

6 декабря началась отправка эшелонов Уссурийской конной дивизии.

В середине декабря в Великих Луках, переполненных большевистскими пехотными полками, оставался только прикомандированный к корпусу 3-й Уральский казачий полк и команды штаба корпуса. Уральские казаки одиночным порядком уходили по домам, и полк таял с каждым днем. Моя квартира охранялась только моим денщиком и вестовым, спавшими так крепко, что разбудить их было нелегко. Но большевики еще не определили своего отношения к казакам и казачеству. Казаки были как бы государство в государстве, и их пока не трогали, с ними заигрывали. Так, 6 декабря начальник пехотного гарнизона полковник Патрикеев отдал приказ о снятии погон и знаков отличий, сейчас же добавил, что это не касается частей 3-го корпуса, которые, как казачьи, имеют право продолжать носить погоны, так как управляются своими законами. С местным комиссаром Пучковым мы жили дружно. Он хотя и называл себя большевиком, но оказался ярым монархистом, офицеры штаба корпуса часто бывали у него, дело всегда оканчивалось выпивкой и воспоминаниями отнюдь не большевистского характера. Я решил использовать это выгодное положение и добиться пропуска для штаба корпуса в Пятигорск, для расформирования. Моя цель была остановить эшелон в Великокняжеской и передать все имущество корпуса Каледину. Имущество было немалое. Оставалось полмиллиона денег, было более тысячи комплектов прекрасного обмундирования, вагон чая, вагон сахара, несколько автомобилей, аппарат Юза, радиостанция и т.д. Генерала Солнышкина я командировал в Ставку, он, благодаря личному знакомству с Бонч-Бруевичем, бывшим начальником штаба у Крыленко, и генералом Раттелем, начальником военных сообщений, добился назначения эшелона на Пятигорск и пропусков.

Дело это шло медленно, а положение наше в Великих Луках становилось очень тяжелым. Последние казаки покидали город, мы остались одни. Носить погоны больше стало немыслимо. Солдаты с ножами охотились за офицерами. Но снимать погоны мы считали для себя оскорбительным, и потому 21 декабря все переоделись в штатское. Однако это не улучшило положения. Нас знали в лицо и готовились расправиться с нами, и особенно со мной.

Я каждый день ездил верхом. Раз за мною погнались солдаты с ножами, другой раз в деревне стреляли по мне.

Может быть, думал я, настало время бежать, но как бежать? За мною следили команды штаба, писаря, мой денщик и вестовой наблюдали за мной. Конечно, я мог выехать на прогулку верхом и не вернуться. Я часто ездил один. Но тогда пришлось бы бросить жену и офицеров штаба, которые так надеялись на меня, что я их выведу.

А между тем, несмотря на все обещания об отправке штаба в Пятигорск, эшелонов нам все не давали. 11 января 1918 года пришло требование сдать все деньги корпусного казначейства в Великолуцкое уездное казначейство. Деньги сдали, протестовать было бесполезно, да и законного права не было. Корпус был расформирован. Наконец 16 января нам дали поезд на Пятигорск. Совершенно благополучно погрузились офицеры и чиновники корпуса, остатки команд, погрузили имущество, автомобили, лошадей, сели и мы. Все шло гладко. Я решил воспользоваться случаем и проехать с женою к ее сестре в Москву с тем, чтобы догнать эшелоны в пути. В Москве я узнал, что атаман Каледин объявлен большевиками изменником, что где-то у станции Чертково идут бои между большевиками и донскими казаками. С трудом в товарном вагоне, переполненном солдатами, неистово ругавшими Корнилова, Каледина и два раза помянувшими и меня, я с женою 28 января добрался до Царицына. Надо было искать свой эшелон. Справляться на станции, оцепленной солдатами, матросами и красногвардейцами, было рискованно, и я пошел в город. В гостинице я увидал одного из офицеров штаба, ротмистра фон Кюгельгена, который сообщил мне, что накануне в Царицыне их эшелон остановили, отобрали все имущество, лошадей, повсюду искали меня. Я приговорен к смертной казни, мои портреты, найденные в вещах моей жены, посланы по всем станциям от Царицына до Пятигорска, чтобы искать меня. По всему городу ходят солдаты и красногвардейцы, разыскивая меня, так как есть сведения, что я в Царицыне.

Настало время бежать.

Ротмистр Кюгельген и ротмистр Щербачев, стоявший здесь же в гостинице, провели меня в номер жены начальника штаба, которая была больна, и у нее я дождался вечера. Тем временем Щербачев изготовил мне документ, что я артельщик 44-й пехотной дивизии Семен Никонов, командированный для закупки рыбы на юге России. У жены моей был ее настоящий паспорт.

Вечером мы сели с женой в поезд, идущий на Тихорецкую. В маленьком купе набилось 11 пассажиров. Было темно. Тускло горела свеча в фонаре. Пришел патруль. Матрос и два красногвардейца. Я стал в тени и подал свой документ. На мне старое пальто с барашковым воротником и шапка поддельного бобра. Матрос посмотрел мой документ и молча вернул его мне. Документы всех мужчин были проверены. Моя жена документа не дала.

Матрос пошел к выходу.

— А у дамы документа не смотрели, — сказал красногвардеец.

— Мы у дамочек документов не проверяем, — галантно отвечал матрос и вышел из вагона.

Был осмотр вещей. У меня в чемодане лежало военное платье, погоны, послужной список, дневники. Но красногвардейцам надоела проверка, пассажиров было много, начальник станции ворчал, что поезд слишком задерживают, и до нашего вагона осмотр не дошел.

Поздно ночью мы тронулись...

На другое утро мы переехали границу Войска Донского. Станция Котельниково. Я спокойно выхожу из вагона. Спасен... Свои!..

На дверях дамской комнаты большой плакат: «Канцелярия Котельниковского Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих депутатов»...

И тут уже была советская власть.

Поспешно иду в вагон.

Три казака и солдат останавливают меня у самого вагона.

— Товарищ, вы кто такое будете? — спрашивают они меня.

— А вам какое дело, — кидаю я и сажусь в вагон.

На счастье, поезд трогается.

В 5 часов дня в Великокняжеской. Здесь еще держится атаманская власть. Мои дорогие члены Донского комитета, Ажогин, Карташов в штабе дивизии. Но уже все кончено. Все казаки штаба разошлись. Офицеры сами чистят лошадей. Дивизии давно нет. Завтра или послезавтра здесь будет признана советская власть. О Каледине ничего не знают. Бои идут под Новочеркасском, но, кажется, Новочеркасск еще не занят большевиками.

Все-таки надо ехать туда. Коннозаводчик Михалюков дает мне лошадей, и 30 января под проливным дождем мы едем в открытом шарабане.

Два дня я ехал по родной Донской степи. Менял лошадей, обедал и ночевал на зимовниках у коннозаводчиков. Тишина и без-

молвие кругом. Поют жаворонки, солнце пригревает, голубое марево играет на горизонте.

На зимовнике Вонифатия Яковлевича Королькова комитет из 2 казаков, 2 солдат и 2 германских военнопленных. Он взял опеку над имением, чтобы «народное хозяйство» не расхищалось. Узнали о моем приезде, пришли ко мне.

— Вы что за человек? — хмуро и сердито спрашивает казак, и вдруг лицо его расплывается в широкую улыбку. — А вы не генерал Краснов будете?

— Если знаете, так чего же спрашиваете? — говорю я.

— А я у вас в дивизии в конносаперной команде служил, помните, Акимцев-казак*, — радостно говорит член комитета. — Вам лошадей? Сейчас подам.

Очевидно, здесь не скроешься. «Попа, — как говорит пословица, — и в рогоже узнаешь».

Через полчаса мне подали четверик в отличной коляске. «Комитет» провожает меня наилучшими пожеланиями.

Ночью 31 января я был на берегу замерзшего Дона в станице Богаевской. Из окон въезжей избы видны огни Новочеркасска, ярко горят электрические фонари по Крещенскому спуску и у собора. До Новочеркасска 23 версты.

Но лошадей нет. Надо ждать до утра.

На въезжей, в комнате, где вместо свечей тускло мигает лампадка, три молодых офицера. Я достаю свечу и зажигаю ее. Один всматривается в меня и вдруг говорит:

— Вы генерал Краснов?.. А меня помните? Мальчиком я у вас в трубаческой команде служил. Помните, когда вы адъютантом были.

Где же узнать! Это было 16 лет тому назад, и ему было лет 15.

— Тяжело, ваше превосходительство, на Дону. Третьего дня мы бежали из Нижне-Чирской станицы. Большевики заняли... А вчера, слышно, Каледин застрелился!..

— Как застрелился? — говорю я.

— Так точно. Сегодня похоронили...

Я не могу больше говорить. Первый раз нервы изменяют мне. Я выхожу на улицу, и долго мы ходим вдвоем с женой по узкой тропинке по берегу Дона.

Каледин застрелился! Что там в Новочеркасске, который так таинственно мигает своими электрическими фонарями, что за

* Если память мне не изменяет в фамилии.

широким Доном и займищем, поросшим кустами, на гордом обрыве, где стоит златоглавый собор и бронзовый Ермак протягивает сибирскую корону московскому царю? Что там, где под скалою, накрытою буркою, спит вечным сном Бакланов?

Ужели советская власть?

Куда ехать? Где скрыться тому, у кого на каждом хуторе есть сослуживцы, есть друзья и враги?

1 февраля на тряской телеге, запряженной парой худых лошадей, я въезжал в Новочеркасск, потому что куда же мне было ехать больше?!*

---

* В Великих Луках мною было составлено официальное *«Описание действий 3-го конного корпуса под Петроградом против Советских войск с 25 октября по 8 ноября»*. В описании этом воспроизведены все приказы мои и Керенского, все телеграммы и юзограммы, относящиеся к походу. Описание было напечатано в 100 экземплярах в типографии штаба корпуса. При разгроме штабного эшелона в Царицыне большевики с особенным усердием искали и уничтожали эти книжки. Единственный экземпляр, оставшийся у меня, был мною передан в Новочеркасске Павлу Ник. Милюкову и у него пропал в Киеве. Настоящее описание сделано мною по моим дневникам по памяти в июле 1920 года.

Всевеликое Войско Донское

Глава первая

Работа Круга спасения Дона. — Состав Круга и его настроение. — Выборы донского атамана. — Основные законы, предложенные донским атаманом. — Отношение к ним общества и генерала Деникина

Общее собрание членов Временного Донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей в заседании 28 апреля в здании Судебных установлений в Новочеркасске, «признавая число присутствующих в настоящем собрании делегатов от войсковых частей и станиц, принявших участие в изгнании из Донской области советских войск, достаточным, постановило объявить настоящее собрание *Кругом спасения Дона*»*.

В нем было 130 членов. Это было едва ли не самое народное или демократическое собрание, какое когда-либо бывало. Круг называли серым. В нем не было интеллигенции. Трусливая интеллигенция сидела в эту пору по подвалам и погребам, тряслась за свою жизнь или подличала перед комиссарами, записываясь на службу в советы и стараясь устроиться в более или менее невинных учреждениях — по народному образованию, по продовольствию или по финансовой части. Ей было не до выборов в такое смутное время, когда и выборщики и выбранные играли своими головами. Круг собирался без партийной борьбы. Было не до партий. В Круг выбирали и на Круг были выбраны исключительно казаки, которые страстно желали спасти родной Дон и для этого готовы были и жизнь свою сложить за него. И полагали жизнь потому, что большинство выборщиков, послав своих делегатов, сами разобрали оружие и пошли спасать Дон.

И потому название — *Круг спасения Дона* — было им как нельзя более к лицу.

---

* Постановления Круга спасения Дона. 28 апреля по 5 мая 1918 г. Новочеркасск: Областная типография, с. 1.

Круг не имел политической физиономии, и потому в нем не было и не могло быть политической борьбы. Этот серый Круг имел одну цель — спасти Дон от большевиков, спасти во что бы то ни стало и какою бы то ни было ценой.

Он был истинно народным и потому коротким, мудрым и деловым в своих заседаниях и решениях. Он коротко и просто сказал, что хочет Дон теперь, — *порядка.*

Что будет в России и какова она будет, он не думал. Это не его дело, и не потому не его дело, что он отшатнулся от России, а потому, что он чувствовал себя слишком маленьким и ничтожным, чтобы затрагивать такие большие вопросы. Круг искал людей для того, чтобы вручить им власть, и, ища таковых, он не спрашивал, какой они партии, но интересовался их прошлым, что делали и что умеют делать. На нем не было партий и лидеров этих партий, но весь Круг прислушивался к мнению тех людей, которых знал и которым верил. Такими людьми были председатель Круга есаул Г.П.Янов и командующий Южной группой полковник Денисов. Им Круг верил безусловно, потому что видел, что они любят Дон и готовы за Дон отдать и саму душу свою.

Круг спасения Дона отлично понимал, что он не может говорить от имени всего Войска, потому что далеко не от всех станиц были на нем представители. Он взял на себя лишь подготовительную работу до освобождения всего Войска от большевиков и возможности созвать правомочный Круг, которому тогда и вручить всю власть. А пока единственная цель: спасти Дон.

И этот *серый*, то есть истинно демократический, Круг разумом народным и спас Дон. К 15 августа 1918 года, ко времени созыва полного Войскового Круга, большевиков не было на донской земле, и не вмешайся в дела Войска генерал Деникин и союзники, может быть, и сейчас Войско Донское существовало бы на тех же основаниях, как существует Эстония, Финляндия, Грузия, — существовало отдельно от *советской* России.

Конечно, вопрос об отношении к немцам и к Украине был в данное время самым острым вопросом, и в заседании 29 апреля Круг постановил утвердить избранное Временным Донским правительством полномочное посольство на Украину в составе М.А.Горчукова, И.Т.Семенова, полковника Гущина и генерал-майора Сидорина. Посольству этому поручить «командироваться в город Киев для выяснения отношений к Дону самой Украины и осведомления о целях вступления германских войск на территорию Донской области, а также твердо отстаивать суще-

ствующие ныне границы области, ее независимость и самобытность казачества»*.

Круг повел этот деликатный вопрос хитро, по-народному. Он не признал Украины, он не признал и немцев, хотя и сознавал, что без них он не сидел бы в Новочеркасске, и членами посольства он избрал именно тех людей, которые больше всего кричали о ненависти к немцам и о вечной преданности союзникам. Эти-то люди уже не выдадут и не продадут. Здесь Круг именно и ошибся, но и ошибся правильно. Он мог загубить все дело, испортить совершенно отношения с Украиной и немцами, но он для этого потом и избрал атамана, который все это должен был исправить, а сам сохранил свое лицо, национальную гордость, и на суд истории и грядущих союзников Войско Донское явилось непоколебимо верным союзникам и ненавидящим немцев.

В том же заседании Круг поставил вопрос «об организации на Дону постоянной армии, упорядочении казачьих сил, поднявшихся для борьбы с большевиками, и об установлении законов об организации армии и установлении в ней дисциплины»**.

То, вокруг да около чего топтался почти целый год атаман Каледин с войсковым правительством и Малым Кругом, составленным из интеллигентных болтунов, народный Круг спасения Дона вырешил на втором же заседании. Он точно и определенно сказал, что Дону нужна настоящая армия, а не партизаны, добровольцы или дружинники, армия *старого режима*, повинующаяся законам и строго дисциплинированная.

И еще армия эта не существовала, как уже генерал Деникин сделал попытку подчинить себе донские части и осуществить единое командование, как это сделал Корнилов в ауле Шенджи 14 марта с кубанскими казаками. На вопросы представителя Добровольческой армии, кто должен фактически командовать военными силами Добровольческой армии и донскими воинскими силами и каково отношение Дона к Украине и Германии, Круг ответил: «Верховное командование всеми без исключения военными силами, оперирующими на территории Донского войска, должно принадлежать войсковому атаману, или, как в данном случае, — походному атаману, и так как вопрос об отношениях к Украине и Германии еще не выяснен, то для выяснения этого

* Постановления Круга спасения Дона, с. 3.

** Там же.

вопроса временным правительством командируется в гор. Киев посольство от Войска Донского...»*

Ответ этот не удовлетворил генерала Деникина. Планы генерала Деникина были иные. Он думал в лице донских казаков получить большие пополнения людьми и материальной частью, усилить Добровольческую армию, а не иметь рядом «союзную» армию. Когда этот ответ дошел до генерала Деникина, он решил лично переговорить об этом с донским атаманом.

Круг работал интенсивно. Заседания шли утром и вечером. Он торопился восстановить порядок и не боялся упреков в стремлении возвратиться к старому режиму.

Так, в заседании 1 мая Круг постановил: «В отличие от большевистских банд, которые никаких внешних знаков отличия не носят, всем частям, участвующим в защите Дона, немедленно принять свой воинский вид и надеть кому положено погоны и прочие знаки отличия»**.

На вечернее заседание 1 мая Круг пригласил генерал-майора Краснова как старшего по службе из донских генералов. Краснов был еще Верховным главнокомандующим Корниловым назначен командующим 3-м кавалерийским корпусом. Круг просил его высказаться о современной политической обстановке. Генерала Краснова знали почти все члены Круга. Именно *серые* члены Круга его знали хорошо, потому что это были его сослуживцы. Тридцать лет служил генерал Краснов исключительно в строю с донскими казаками, и за эти тридцать лет много казаков было под его начальством и служило с ним то в Петербурге в гвардейском полку, то на границе Австрии, то на войне. Члены Круга знали генерала Краснова как молодого офицера, знали как полкового командира, как начальника дивизии и командира корпуса, они видели его в боях, привыкли верить ему и повиноваться ему, а главное — суеверно верили в его *счастье*, потому что не раз на войне он выходил победителем из очень сложных и тяжелых положений. Про него знали, что он любит и *жалеет* донских казаков, и каждый знает, что простой народ этому слову *жалеть* придает особенное значение.

Почти два часа говорил генерал Краснов о положении России. Напряженно, в гробовой тишине слушали его казаки. Он говорил о том, что Дон со времен царя Михаила Федоровича был неотъем-

---

* Постановления Круга спасения Дона, с. 7.

** Там же, с. 8.

лемой частью государства Российского, его губернией и управлялся из России ее министрами и потому своих органов управления, своих финансов, казны, своего войска никогда не имел. Он говорил о том, что Россия теперь поругана и опозорена большевиками, она разгромлена ими и лежит в обломках. Можно сказать, нет России. Дон стал совершенно одинок. Ему нужно — впредь до восстановления России — стать самостоятельным государством, завести свою казну, своих управляющих министерствами для того, чтобы каждый отдел народной жизни имел своего ответственного руководителя и ни в чем не было бы ущерба. Простым и ясным языком, доступным пониманию рядового казака, он рассказал, что должно делать какое министерство.

Он коснулся отношения к немцам. Воевать с ними казаки не могут, им остается постараться мирным путем удалить их с донской земли. Он говорил о необходимости тесного сотрудничества с Украиной и доблестной Добровольческой армией и об исторической задаче донцов спасти Москву от воров и насильников. Он советовал казакам потом не вмешиваться в дела русского государства и предоставить ему самому устроить свой образ правления, как ему будет угодно, а самим зажить тою вольною жизнью, когда тесно связанные с Московским царством донские казаки жили управляемые своим Кругом и своим атаманом и когда обычной поговоркой их было: «Здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!..»

Круг постановил доклад генерала Краснова принять к сведению и выразить ему благодарность*.

На утреннем заседании Круга 3 мая по вопросу об организации областной власти Круг спасения Дона, выразив общее желание избрать временно, до созыва Большого войскового Круга, войскового атамана, вынес принятую единогласно следующую резолюцию: «Впредь до созыва Большого войскового Круга, каковой должен быть созван в ближайшее время и, во всяком случае, не позже двух месяцев по окончании настоящей сессии Круга спасения Дона, вся полнота верховной власти в области принадлежит Кругу спасения Дона. На время прекращения работ Круга спасения Дона вся полнота власти по управлению области и ведению борьбы с большевизмом принадлежит избранному войсковому атаману»**.

* Постановления Круга спасения Дона, с. 13.

** Там же.

На вечернем заседании того же числа были произведены закрытой баллотировкой выборы атамана. 107 голосами против 13 при 10 воздержавшихся на пост донского атамана был избран генерал-майор Краснов.

Генерал Краснов не принял этого избрания впредь до того, как Круг утвердит те основные законы, которые он считает нужным ввести в Войске Донском для того, чтобы иметь возможность исполнить задачи, поставленные ему Кругом спасения Дона.

Законы эти были рассмотрены Кругом на утреннем заседании 4 мая.

Они представляли из себя почти полную копию основных законов Российской империи.

«Впредь до созыва Большого войскового Круга из представителей всех округов Войска Донского и полного успокоения Войска на всем его пространстве, государственный строй Всевеликого Войска Донского и порядок правления основываются на следующих законах:

Об атаманской власти

1. Власть управления Войском во всем ее объеме принадлежит войсковому атаману в пределах всего Всевеликого войска Донского.

2. Атаман утверждает законы, и без его утверждения никакой закон не может иметь силы.

3. Атаман назначает как председателя совета управляющих отделами, так и самих управляющих отделами, которые являются ответственными перед Большим кругом.

4. Атаман есть высший руководитель всех сношений Всевеликого войска Донского с иностранными государствами.

5. Атаман есть верховный вождь Донской армии и флота.

6. Атаман объявляет местности на военном, осадном или исключительном положении.

7. Атаману принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождение их от суда и наказания, а также сложение казенных взысканий и дарование милости в случаях особых, когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом интересы и гражданские права.

8. Атаман производит военных за отличие в делах против неприятеля в чины, назначает им награды и утверждает все назначения офицерских чинов, которые делаются по команде.

9. Приказы и распоряжения атамана скрепляются председателем совета управляющих отделами или подлежащим управляющим отдела.

О вере

10. Первенствующая во Всевеликом Войске Донском есть вера христианская православная.

11. Все не принадлежащие к православной вере граждане Всевеликого войска пользуются каждый повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной.

О правах и обязанностях казаков и граждан Всевеликого Войска Донского

12. Условия приобретения прав гражданства Всевеликого Войска Донского, равно как и прав казачества, а также утрата их определяются законом.

13. Защита отечества есть священная обязанность каждого казака и гражданина Всевеликого Войска Донского.

14. Казаки и граждане Войска обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлениям закона.

15. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом определенном.

16. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных.

17. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния, предусмотренные действующими во время совершения их деяний уголовными законами.

18. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище без согласия его хозяина обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом определенных.

19. Каждый донской казак и гражданин имеет право свободно избирать местожительство и занятия, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы Войска.

20. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда это необходимо для какой-либо государственной или общественной пользы, допускается не иначе, как за соответствующее вознаграждение.

21. Донские казаки и граждане имеют право устраивать собрания в целях, не противных законам, мирно и без оружия.

22. Каждый может в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными способами.

23. Донские казаки и граждане имеют право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам.

О законах

24. Впредь до издания и обнародования новых законов Всевеликое Войско Донское управляется на твердых основаниях Свода законов Российской империи, за исключением тех статей, которые настоящими основными законами отменяются.

25. Все воинские части как постоянной армии, так и временно вызываемые по мобилизации руководствуются законами, уложениями и уставами, изданными в Российской империи до 25 февраля 1917 года.

26. Все декреты и иные законы, разновременно издававшиеся как Временным правительством, так и Советом народных комиссаров, отменяются.

27. Сила закона равно обязательна для всех без изъятия донских подданных и для иностранцев, в Всевеликом Войске Донском пребывающих.

28. Законы, изданные специально для какой-либо местности или части населения, новым общим законом не отменяются, если в нем именно такой отмены нет.

29. Законы обнародуются во всеобщее сведение в установленном порядке и прежде обнародования в действие не проводятся.

30. По обнародовании закон получает обязательную силу со времени, назначенного для него в самом законе срока. В самом издаваемом законе может быть указано на обращение его до обнародования к исполнению по телеграфу, телефону или посредством нарочных.

31. Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. Поэтому до тех пор, пока новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу.

32. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он обнародован установленным порядком.

33. Законы разрабатываются в соответствующих управлениях.

34. По одобрении советом управляющих законопроектов они представляются на утверждение атаману.

35. Законы, касающиеся нескольких ведомств, представляются в совет управляющих по предварительному согласованию их заинтересованными управляющими.

36. Управляющим отделами предоставляется издавать распоряжения в развитие и разъяснение законов, причем все такие распоряжения подлежат предварительному одобрению совета управляющих.

О совете управляющих и самих управляющих отделами

37. Направление и объединение действий отдельных ведомств по предметам как законодательства, так и высшего государственного управления возлагается на совет управляющих.

38. Управление делами совета управляющих возлагается на войскового секретаря и на подчиненную ему канцелярию.

39. Председатель совета управляющих и управляющие ответствуют перед атаманом, а потом по созыве Большого Войскового Круга перед ним за общий ход войскового управления. Каждый из них в отдельности ответствует за свои действия и распоряжения.

40. За преступные по должности деяния председатель совета управляющих и управляющие подлежат гражданской и уголовной ответственности на основаниях, в законах определенных.

Об отделе финансов

41. Отдел финансов есть высшее совещательное учреждение по делам войскового кредита и финансовой политики.

42. Отдел финансов состоит из председателя и членов, назначаемых атаманом. Кроме того, в состав отдела входят на правах членов: председатель совета управляющих, управляющий финансами и войсковой контролер.

43. На отдел возлагается: 1) соображение времени и условий совершения войсковых займов; 2) обсуждение дел, касающихся войскового кредита, а также вопросов денежного обращения, и 3) предварительное, с особого каждый раз распоряжения атамана, рассмотрение дел по финансовой части, подлежащих разрешению в законодательном порядке.

44. Суждения отдела представляются на усмотрение атамана.

О войсковом суде

45. Войсковой суд Всевеликого Войска Донского является высшим защитником и хранителем закона и высшим судом на Дону по делам судебным и административным.

46. Суд публикует все законы и правительственные распоряжения и наблюдает за закономерностью их издания.

47. Председатель войскового суда и войсковые судьи назначаются атаманом.

О донском флаге, гербе и гимне

48. Три народности издревле живут на Донской земле и составляют коренных граждан Донской области — донские казаки, калмыки и русские крестьяне. Национальными цветами их были: у донских казаков — синий, васильковый, у калмыков — желтый и у русских — алый. Донской флаг состоит из трех продольных полос равной ширины: синей, желтой и алой.

49. Восстанавливается старинная печать и герб Донского войска, изображающий нагого казака в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящего верхом на бочке. Печать и герб этот употреблять во всех нужных случаях.

50. Народным гимном Всевеликого Войска Донского объявляется «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», который и исполнять во всех предусмотренных законом случаях»*.

Этими законами вся власть из рук коллектива, каковым являлся Большой или Малый Круг, переходила в руки одного лица — атамана. Перед глазами Круга спасения Дона стояли окровавленные призраки застрелившегося атамана Каледина и расстрелянного атамана Назарова, Дон лежал в обломках, он не только был разрушен, но он был загажен большевиками, и немецкие кони уже пили тихие струи Дона, священной для казаков реки. К этому привела работа Кругов, потому что и Каледин, и Назаров боролись с их постановлениями, но победить не могли, потому что не имели власти. Коллектив разрушал, но не творил. Задачами же донской власти было широкое творчество.

— Творчество, — сказал в одной из своих речей перед Большим войсковым Кругом атаман Краснов, — никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не комитет художников...

Донскому атаману предстояло творить, и он предпочитал остаться один вне критики Круга или Кругом назначенного правительства.

— Вы хозяева земли Донской, я ваш управляющий, — сказал Кругу атаман. — Все дело в доверии. Если вы мне доверяете, вы

---

* Постановления Круга спасения Дона, с. 14—19.

принимаете предложенные мною законы, если вы их не примете, значит, вы мне не доверяете, боитесь, что я использую власть, вами данную, во вред Войску. Тогда нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править Войском не могу.

Этими законами отметалось все то, что громко именовалось «завоеваниями революции» и «ее углублением». И это высказали атаману. Но атаман этого и хотел. Законы императорской власти были привычные народу законы, народ их знал, понимал и исполнял. После революции Временное правительство спешно издало целый ряд законов, которые не были известны в народе, к которым народ не привык. Законы эти возбуждали кривотолки. А затем последовал ряд безумных декретов народных комиссаров. Все перемешалось в мозгах несчастных русских граждан, и многие не знали, что представляет из себя закон правительства Львова или Керенского и что декрет Ленина. Атаман счел необходимым вернуться к исходному положению — до революции. В особенности это было важно для Войска, да еще ввиду военного времени, чтобы совершенно аннулировать приказ № 1, разрушивший всю великую русскую армию.

На вопрос одного из членов Круга атаману, не может ли он что-либо изменить или переделать в предложенных им законах, атаман ответил: «Могу. Статьи 48, 49 и 50. О флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне другой флаг, кроме красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн, кроме "Интернационала"...»

Круг рассмеялся и принял законы, предложенные атаманом, в полном объеме.

Законы эти создали атаману многих врагов. Та часть интеллигенции, которая пряталась до сих пор по подвалам и погребам и вылезла наружу, как только исчезли большевики, стала упрекать атамана в стремлении к проведению принципа l'état c'est moi[1]. Стремящаяся к власти, воспитанная на критике ради критики, на разрушении, а не на творчестве, она повела широкую кампанию против атамана. В своих нелепых обвинениях она доходила до того, что, например, С.П.Черевков, редактор издававшейся в Екатеринодаре газеты, писал, что атаман стремится устроить на Дону феодальные порядки и хочет восстановить крепостное право и jus primae noctis[2].

---

[1] Государство — это я (*фр.*).

[2] Право первой брачной ночи (*фр.*).

Не удовлетворили эти законы и генерала Деникина. Они показали ему, что Дон становится на путь самостоятельного строительства, вне зависимости от Добровольческой армии, что он не признает Добровольческой армии за Россию и Деникина за своего диктатора. Отсюда последовали обвинения атамана в стремлении к самостийности, к отделению от России. Донского атамана в Добровольческой армии прихвостни Деникина ославили едва не изменником России, самостийником и человеком «немецкой ориентации». Его слова — «Здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону» — повторение слов, которые говорились в эпоху Смутного времени на Руси, до избрания Романовых, создали атаману в Добровольческой армии репутацию монархиста.

Донской атаман не раз шутя говорил: «У меня четыре врага: наша донская и русская интеллигенция, ставящая интересы партии выше интересов России, — мой самый страшный враг; генерал Деникин; иностранцы — немцы или союзники — и большевики. И последних я боюсь меньше всего, потому что веду с ними открытую борьбу, и они не притворяются, что они мои друзья...»

4 мая было последнее заседание Круга спасения Дона, и 5 мая Круг разъехался. Атаман остался один править Войском.

Глава вторая

Письма атамана к императору Вильгельму и гетману Скоропадскому. — Сношения с немцами. — Свидание атамана с генералом Деникиным 15 мая. — Результаты этого свидания

Все лежало в Войске Донском в обломках и запустении. Самый дворец атаманский был загажен большевиками так, что поселиться в нем сразу без ремонта было нельзя. Церкви были поруганы, многие станицы разгромлены, и из 252 станиц Войска Донского только 10 были свободны от большевиков. Не только пушечная, но ружейная и пулеметная стрельба были слышны кругом Новочеркасска. Бои шли под Батайском и у Александро-Грушевского. Полиции ни городской, ни станичной, ни железнодорожной стражи не было. Грабежи и убийства были ежедневным обычным явлением. Немцы прочно заняли Таганрог и Ростов, немецкая кавалерия занимала всю западную часть Донецкого округа, станицы Каменская и Усть-

Бело-Калитвенская были заняты германскими гарнизонами. Немцы продвигались к Новочеркасску, и аванпосты баварской конницы стояли в 12 верстах к югу от Новочеркасска. Планы и намерения немцев были совершенно неизвестны атаману.

Но все это были пустяки в сравнении с тем ужасным злом, которое сделали большевики в душах населения. Все понятия нравственности, чести, долга, честности были совершенно стерты и уничтожены. Совесть людская была опустошена и испита до дна. Люди отвыкли работать и не желали работать, люди не считали себя обязанными повиноваться законам, платить подати, исполнять приказы. Необычайно развилась спекуляция, занятие куплей и продажей, которое стало своего рода ремеслом целого ряда лиц, и даже лиц интеллигентных. Большевистские комиссары насадили взяточничество, которое стало обыкновенным и как бы узаконенным явлением.

В стране, заваленной хлебом, мясом, жирами и молоком, начинался голод. Не было товаров, и сельчане не хотели везти свои продукты в города. В городах не было денежных знаков, и их заменяли суррогаты, купоны займа свободы и другие, что до крайности затрудняло торговлю.

Перед атаманом лежал целый ряд задач, разрешить которые он должен был во время страшной и упорной борьбы с большевиками. В голову всего атаман поставил главную задачу, данную ему Кругом спасения Дона, — освобождение земли Донской от большевиков.

Для выполнения ее ему нужно было создать армию, выяснить отношения немцев к Дону и войти в тесную связь с Украиной и Добровольческой армией, чтобы привлечь их к совместной работе против большевиков.

5 мая атаман вступил в управление Войском, и в тот же день вечером доверенный его, адъютант есаул Кульгавов, поехал с собственноручными письмами атамана к гетману Скоропадскому и к императору Вильгельму. Императору Вильгельму атаман писал на немецком языке о своем избрании, сообщил о том, что Войско Донское не находится в войне с Германией, просил, чтобы дальнейшее продвижение немецких войск в Донскую землю было приостановлено, чтобы Войско Донское было признано впредь до освобождения России от большевиков самостоятельною республикою, управляемою основными законами, приложенными к письму. Атаман просил о помощи оружием, взамен чего предложил установить через Украину правильные торговые отношения.

Есаул Кульгавов должен был передать это письмо в Киев командующему немецкими войсками на Украине генералу Эйхгорну, которому была послана копия этого письма. Гетману атаман писал о своем избрании, о вечной дружбе, которая была между Украиной и донскими казаками, указывал на то, что украинцы неправильно считают свои границы, и просил о скорейшем восстановлении старой границы земли Войска Донского. Вместе с тем атаман писал о сложении полномочий посольством Семенова, Горчукова, Сидорина и Гущина, об отозвании их и о посылке вместо них нового посольства в лице генерал-лейтенанта Свечина и генерал-майора Черячукина.

Результатом посылки письма императору Вильгельму было то, что уже 8 мая вечером к атаману явилась делегация от генерала от кавалерии фон Кнерцера из Таганрога, заявившая, что германцы никаких завоевательных целей не преследуют, что они заинтересованы в том, чтобы на Дону восстановился возможно скорее полный порядок, что Таганрогский округ и Ростов они заняли лишь потому, что украинцы им сказали, что они принадлежат Украине и что этот пограничный спор надо разрешить с гетманом Скоропадским. Что касается станиц Донецкого округа, то немцы их заняли по приглашению самих казаков. Депутация заявила, что она считает в интересах казаков, чтобы германские войска оставались временно на донской территории, что они уйдут, как только увидят, что на Дону восстановился полный порядок.

Свидание атамана с представителями германского командования носило самый деловой характер. Атаман убедился в том, что немцы боятся казаков и что они действительно заинтересованы в помощи Дону. На первом же свидании было решено, что немцы дальше продвигаться не будут и что в Новочеркасск ни германские офицеры, ни солдаты без особого разрешения атамана ездить не будут, чтобы не раздражать казаков.

9 мая в Новочеркасск прибыли для жительства кубанский атаман полковник Филимонов и кубанское правительство, а также депутация от Грузинской Республики. Донской атаман вошел в тесные дружеские сношения с теми и с другими. Он искал союзников и помощников в жестокой борьбе с большевиками, и главным союзником своим он считал генерала Деникина и Добровольческую армию и искал скорейшего свидания с генералом Деникиным.

14 мая атаман получил известие о том, что 15 мая генералы Алексеев и Деникин прибудут из Мечетинской станицы в станицу Манычскую и хотели бы иметь переговоры с атаманом.

15 мая донской атаман вместе с председателем совета управляющих и управляющим отделом иностранных дел генерал-майором А.П.Богаевским, генерал-квартирмейстером штаба Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым отбыл на пароходе «Вольный казак» из станицы Аксайской в станицу Манычскую, куда прибыл около часу дня. Около двух часов дня туда же на автомобилях прибыли представители Добровольческой армии генералы Алексеев и Деникин, начальник штаба армии генерал Романовский, полковники Ряснянский и Эвальд. Тут же находился командующий донскими частями Задонского района полковник Быкадоров.

В небольшой хате станичного атамана у разложенной карты с показанием расположения войск произошла беседа, длившаяся до самых сумерек.

Прежде чем начать разговоры с атаманом, генерал Деникин предложил выслушать доклад только что прибывших из Киева его агента полковника Лисового и из Москвы господина Панченко. По словам этих лиц, в Москве и в России начиналось сильное монархическое движение, народ жаждал царя, и большевистская власть была накануне крушения.

Атаман и, по-видимому, генерал Деникин отнеслись к этому сообщению без особого доверия. Генерал Алексеев был совершенно больной. Езда на автомобиле его укачала. Безучастно, закрыв глаза, он сидел за столом, облокотившись на ладони, и временами выходил из хаты. После доклада Лисового и Панченко, когда они ушли, генерал Деникин начал в довольно резкой форме выговаривать атаману за то, что в диспозиции, отданной для овладения селением Батайск, было указано, что в правой колонне действует германский батальон и батарея, в центре — донцы, а в левой колонне — отряд полковника Глазенапа Добровольческой армии.

— Согласитесь с тем, что это недопустимо, чтобы добровольцы участвовали с немцами. Добровольческая армия не может иметь ничего общего с немцами. Я требую уничтожения этой диспозиции, — говорил генерал Деникин.

Атаман ответил, что уничтожить историю нельзя. Если бы эта диспозиция относилась к будущему — другое дело, но она относится к сражению, которое было три дня тому назад и закончилось полной победой отряда полковника Быкадорова, и уничтожить то, что было, невозможно. Атаман дал понять генералу Деникину, что он уже более не бригадный генерал, каким знал атамана на войне генерал Деникин, но представитель пятимиллионного свободного

народа, и потому разговор должен вестись в несколько ином тоне. Атаман рассчитывает и надеется на то, что цели, преследуемые Войском Донским и Добровольческой армией, одни и те же — уничтожение большевиков. К этому же стремится и атаман Дутов с оренбургскими казаками и чехо-словаки.

Генерал Деникин заговорил о едином командовании и о том, что желательно поступление донских частей в Добровольческую армию. Атаман ответил на это, что единое командование возможно осуществить только при условии существования единого фронта.

Если генерал Деникин считает возможным со своими добровольческими отрядами оставить Кубань и направиться к Царицыну, то все донские войска Нижне-Чирского и Великокняжеского районов будут подчинены автоматически генералу Деникину. Движение на Царицын при том настроении, которое замечено в Саратовской губернии, сулит добровольцам полный успех. В Саратовской губернии уже начались восстания крестьян. Царицын даст генералу Деникину хорошую чисто русскую базу, пушечный и снарядный заводы и громадные запасы всякого войскового имущества, не говоря уже о деньгах. Добровольческая армия перестанет зависеть от казаков. Кроме того, занятие Царицына сблизило бы, а может быть, и соединило бы нас с чехо-словаками и Дутовым и создало бы единый грозный фронт. Опираясь на Войско Донское, армии могли бы начать свой марш на Самару, Пензу, Тулу, и тогда донцы заняли бы Воронеж...

— Я ни за что не пойду на Царицын, — сказал категорически Деникин, — потому что там мои добровольцы могут встретить немцев. Это невозможно.

— Но ручаюсь вам, — возразил атаман, — что немцы дальше Усть-Бело-Калитвенской станицы на восток не пошли и без моего разрешения не пойдут.

— Все равно на Царицын я теперь не пойду, — упрямо сказал Деникин. — Я обязан раньше освободить кубанцев — это мой долг, и я его исполню.

Генерал Алексеев поддержал Деникина. Он считал, что направление на Царицын действительно создаст единый фронт, но вся беда в том, что кубанцы из своего Войска никуда не пойдут, а Добровольческая армия бессильна что-либо сделать, так как в ней всего около 2500 штыков. Ей надо отдохнуть, окрепнуть и получить снабжение, и Войско Донское должно ей в этом помочь. Кубань хотя и поднялась против большевиков,

но сильно нуждается в помощи добровольцев. Если оставить кубанцев одних, можно опасаться, что большевики одолеют их, и тыл Донской армии будет угрожаем со стороны Кубани.

На совещании было решено, что Добровольческая армия пойдет вместе с кубанцами на Екатеринодар и только после освобождения его она может помочь донцам в операциях на Царицын. Таким образом, обе армии — Донская и Добровольческая — расходились по двум взаимно противоположным направлениям: одна шла на север к сердцу России — Москве, другая шла на юг — к Минеральным Водам. Вопрос о едином командовании отпадал.

Атаман настаивал на немедленном наступлении. Надо использовать настроение казаков, их порыв, надо воспользоваться растерянностью комиссаров.

Деникин отказал и в этом. После тяжелого похода Добровольческая армия нуждалась в отдыхе и пополнении. Ей необходимы были широкие квартиры и правильная организация тыла. Дон должен был снабдить Добровольческую армию всем необходимым и быть ее тылом.

Совещание свелось к тому, что Добровольческая армия потребовала устройства лазаретов и госпиталей, этапных пунктов и вербовочных бюро в Ростове и Новочеркасске, потребовала оружия и снаряжения и взяла заимообразно 6 миллионов рублей у Донского войска, обязуясь обеспечивать тыл Донского войска со стороны Кубани. Кубанский атаман никакой роли на совещании не играл.

Начать активные действия добровольцы и кубанцы могли только через месяц.

О союзниках не было сказано ни слова. К Украине и немцам генерал Деникин высказал самое непримиримое отношение и старательно закрывал глаза на то, что оружие и снаряжение для Добровольческой армии донской атаман может получить только из Украины, то есть от немцев. Этот вопрос был повернут так, что на Украине остались громадные склады российской Юго-Западной армии. Добровольческая армия является прямою наследницею Юго-Западной армии, и потому Украина должна передать ей имущество складов. Про то, что эти склады были опечатаны немецкими печатями и к ним приставлены немецкие часовые, командование Добровольческой армии умалчивало.

Генерал Деникин потребовал немедленного присоединения отряда полковника Дроздовского к Добровольческой армии.

Со смутным чувством неудовлетворенности ехал донской атаман из Манычской со свидания с генералом Деникиным. Войско

Донское стояло одно-одинешенько перед громадной задачей освободиться от большевиков и положить начало освобождению и самой России.

Глава третья

Тыл Добровольческой армии на Дону. — Поведение офицеров. — Две разные точки зрения на Дон. — Мелочность характера генерала Деникина. — Враждебное отношение его к атаману и генералу Денисову

Обе столицы Донского войска, Ростов и Новочеркасск, стали тылом Добровольческой армии. Это уже такой непреложный закон всякой армии, как бы строго дисциплинирована она ни была, что совершенно механически совершается отбор ее представителей. Все прекрасное, храброе, героическое, все военное и благородное отходит на фронт. Там совершаются подвиги, красотою которых умиленно любуется мир, там действуют чудо-богатыри Марковы, Дроздовские, Нежинцевы, там красота, благородство и героизм. Но чем дальше отходишь от боевых линий к тылу, тем резче меняется картина. Все трусливое, уклоняющееся от боя, все жаждущее не подвига смертного и славы, но наживы и наружного блеска, все спекулянты собираются в тылу. Здесь люди, не видевшие раньше и сторублевого билета, ворочают миллионами рублей, и у них кружится голова от этих денег, здесь продают «добычу», здесь постоянно вращаются герои с громадной популярностью в тылу и совершенно неизвестные на фронте. Фронт оборван, бос и наг, фронт голоден — здесь сидят люди в ловко сшитых черкесках, в цветных башлыках, во френчах и галифе, здесь пьют вино, хвастают своими подвигами, звенят золотом и говорят, говорят. Там, в передовых окопах, про политику не говорят, о будущем не думают, смерть сторожит эти думы — здесь политиканствуют и создают такую окраску и физиономию, которой армия на деле не имеет.

В тылу лазареты с врачами, санитарным персоналом и сестрами. В тылу любовь и ревность. Раненые и больные часто бывают капризны и требовательны и на правах раненых и больных позволяют себе весьма многое, оскорбляющее тех здоровых, которые отдали себя на служение им. Но настоящие раненые и больные не в счет, им это охотно прощают, но в лазаретах всегда бывает изве-

стный процент таких раненых, которые никогда ранены не были, таких больных, болезнь которых не найдет и не определит самый искусный врач. Эти «раненые» и «больные» приносят вино в лазареты, эти «раненые» и «больные» до глубокой ночи шатаются по городу, горланя песни, и управы на них нет нигде. Что может им сделать дежурная сестра, которая сама их безумно боится? Так было во всех армиях, так было и в Добровольческой армии. В Добровольческую армию вместе с идейными юношами шли шкурники, и эти шкурники прочно оседали в тылу и теперь наводнили Ростов и Новочеркасск. И вот начались те тяжелые отношения между Доном и Добровольческой армией, которые бросались в глаза человеку вдумчивому. Сами армии были дружны вечной дружбой, спаянной вместе пролитой кровью, но тылы ссорились, и генерал Деникин и его окружающие, которые жили в тылу тыловой жизнью, поддались этому тыловому, враждебному Дону, настроению.

Войско Донское все, но особенно Новочеркасск, в эти весенние дни 1918 года жило особенною повышенною жизнью. Создавали ли это настроение постоянные победы Донской армии или та энергичная, нервно пульсирующая жизнь проснувшегося народа, но это была не обычная сонная жизнь глухого провинциального города.

Атаман восстановил старинный допетровский титул «Всевеликое Войско Донское», и все Войско — от казака до генерала — подхватило этот титул. В Новочеркасске спешно печатались свои уставы, широко распространялась история Войска, писали его географию, составляли особую хрестоматию. В школах и гимназиях после молитв дружно пели «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», и гимн этот подхлестывал и взвинчивал, как «Марсельеза». На школьных праздниках в ученических выступлениях неизменно фигурировало полное горячей любви к Родине стихотворение в прозе донского писателя Ф.Крюкова «Родимый край», и над ним плакали. Была мысль одеть Донскую армию в особую от русской форму, но этому воспротивились командующий армией генерал Денисов и атаман. Над дворцом гордо реял сине-желто-красный флаг, и новочеркасские жители ходили им любоваться. Все это было «свое», особенное, новое, принадлежащее Всевеликому Войску Донскому.

Большевизму атаман противопоставил шовинизм, интернационалу — яркий национализм. Ездя по станицам и полкам, атаман везде говорил одно: «Любите свою великую, полную славы Родину — Тихий Дон и мать нашу Россию! За веру и Родину — что может быть выше этого девиза!»

Что такое было Всевеликое Войско Донское для офицера Добровольческой армии? Донская область, Донская губерния — и больше ничего. Казаки — четвертые полки кавалерийских дивизий, штабная конница, прикрытие обозов и конвои — словом, презрительно-ласковое — *казачки*.

Тем, кто в сердце своем носил священное бело-сине-красное знамя великой и неделимой России, претил новый донской флаг. Не многие понимали значение его как переходного флага. Не понимал его и Деникин. Гимн донской для них был не гимн, но только песня. В Войске Донском была старая дисциплина со всем старым воинским ритуалом, со знаменами, встречаемыми звуками похода, и с караульной службой, где часовой был лицом неприкосновенным. В Добровольческой армии была дисциплина новая, упрощенная и бьющая на внешность, часто офицерски распущенная.

А.А.Суворин пишет: «Нужно, чтобы в армии было прямо и строго поставлено требование доблести и чтобы она осталась истинно доблестной, какою она была при Корнилове. Но, чтобы быть прочною, доблесть эта должна иметь под собою опору дисциплины, которая вовсе не всегда непременно сопутствует доблести. И именно о Добровольческой армии всегда можно было сказать: «Доблести много, дисциплины мало!» Мне говорил один из генералов армии: «Когда в сторожевом охранении находятся солдаты, я уверен, что часовые не спят, но я не уверен в этом, когда в охране офицеры!»

И для утверждения дисциплины, действительно благонадежной, необходимо ввести в армии точное исполнение Устава внутренней службы. Без него все разговоры о дисциплине останутся только разговорами...»*

На Дону первым был отпечатан Дисциплинарный устав и сейчас же следом за ним Устав внутренней службы...

Атаман строго преследовал пьянство и офицеров, замеченных в нетрезвом поведении, увольнял вовсе от службы без мундира и пенсии. И он, и особенно командующий Донской армией генерал-майор Денисов требовали не только полного соблюдения воинской дисциплины и порядка, но и форменной, щегольской, насколько позволяли обстоятельства, одежды и благопристойного поведения в общественных местах. Разлад между Доном и Добровольческой армией начался с мелочей и пустяков, но вылился в тяжелые формы вследствие крайнего самолюбия Деникина.

Его постоянно раздражала мысль, что Войско Донское находится в хороших отношениях с немцами и что немецкие офицеры

---

* *А.А.Суворин.* Поход Корнилова, с. 108.

бывают у атамана. Генерал Деникин не думал о том, что благодаря этому Добровольческая армия неотказно получает оружие и патроны, и офицеры едут в нее через Украину и Дон совершенно свободно, но он видел в этом *измену союзникам* и сторонился от атамана...

В лице командующего Донской армией атаман имел блестящего помощника. Но горячий патриот генерал Денисов отличался резким, порывистым характером. Он был молод. Ему было всего 34 года, и, когда генерал Деникин командовал дивизией, Денисов был всего капитаном Генерального штаба. Ставши командующим армией, Денисов установил отношения с генералом Деникиным как с равным, и это коробило Деникина. Штаб Донской армии, богато снабженный и блестяще оборудованный, щеголял точностью донесений, красотою исполнения схем, аккуратностью работ, чего нельзя было сказать про штаб Добровольческой армии, и Денисов зло смеялся, критиковал и иронизировал над Добровольческой армией.

В Новочеркасске, в Александровском саду, по приказанию генерала Денисова действовало летнее гарнизонное собрание, куда могли приходить обедать офицеры с их семьями и где они могли иметь дешевую (за 2 руб. 50 коп.) и здоровую пищу. По вечерам там играл войсковой хор и пели войсковые певчие. Офицеры Добровольческой армии допускались туда на совершенно одинаковых условиях с офицерами-донцами. Добровольцы не раз устраивали там пьяные кутежи со скандалами и наконец пустили по адресу Войска Донского «крылатое» слово — *Всевеселое Войско Донское.*

Денисов промолчал. Вскоре на одном вечере в присутствии Денисова и одного полковника из Добровольческой армии на Войско Донское стали жестоко нападать за его сношения с немцами.

— Но что же Войску делать, — сказал Денисов, — немцы пришли на территорию его и заняли. Войску Донскому приходится считаться с совершившимся фактом. Не может же оно, имея территорию и народ, ее населяющий, уходить от них, как то делает Добровольческая армия. Войско Донское — не *странствующие музыканты*, как Добровольческая армия.

Эти «*странствующие музыканты*» были переданы генералу Деникину, и он в свое время припомнил это словцо Денисова. Когда Войско Донское начало свои сношения с союзниками, в штабе Деникина сказали: «*Войско Донское — это проститутка, продающая себя тому, кто ей заплатит*».

Денисов не остался в долгу и ответил: «Скажите Добровольческой армии, что *если Войско Донское проститутка, то Добровольческая армия есть кот, пользующийся ее заработком и живущий у нее на содержании*».

Это были мелочи. Но они разожгли самолюбие Деникина, и он стал добиваться удаления Денисова.

Генерал Деникин хотел, чтобы Войско Донское было Донскою областью с некоторой автономией, он не соглашался признать Донской армии, но желал иметь донские полки там, где они понадобятся; он решительно шел к тому *старому режиму*, о котором при обстоятельствах теперешнего момента атаман не мог и заикнуться. И Деникин стал во враждебные отношения к атаману, считая его главным виновником шовинистической политики Дона.

Но пока у донского атамана на фронте была 60-тысячная армия, а у него вместе с кубанцами насчитывалось 12 тыс., пока все снабжение шло через донского атамана, взявшегося быть посредником между Украиной и немцами, с одной стороны, и Добровольческой армией — с другой, Деникин молчал, и только окружающие его готовили грозную кампанию против генерала Денисова, атамана и всех донских патриотов. Они стремились свалить Войско Донское, и впоследствии при помощи союзников они свалили его... но в результате погубили последний ресурс в своей борьбе. Как только война перестала быть национальной, народной, она стала классовой и как таковая не могла иметь успеха в беднейшем классе.

Казаки и крестьяне отпали от Добровольческой армии, и Добровольческая армия погибла. Говорят об измене казаков Деникину, но нужно посмотреть, кто изменил раньше: казаки — Деникину или Деникин — казакам. Если бы Деникин не изменил казакам, не оскорбил бы жестоко их молодого национального чувства, они не покинули бы его. И прав был атаман, когда в числе своих врагов ставил и генерала Деникина. Генерал, быть может, сам того не понимая, работая на разрушение Донского войска, рубил сук, на котором сидел...

Глава четвертая

Отношение к немцам. — Второе письмо донского атамана императору Вильгельму

Очень остро и болезненно проходили для атамана отношения к немцам. Без немцев Дону не освободиться от большевиков — это было общее мнение фронтового казачества, которое умирало, защищая с оружием в руках свои станицы и освобождая станицы своих соседей.

Совершенно иначе смотрела донская интеллигенция и особенно пришлые из России люди, которые хотели и на Дону сыграть ту крупную роль, которую они играли когда-то в царской России. К числу таковых нужно отнести и бывшего председателя Государственной думы двух последних призывов М.В.Родзянко, жившего в Новочеркасске, и всю кадетскую партию, которая объединилась в борьбе против атамана. Отозванные из Украины члены первого посольства генерал Сидорин и полковник Гущин вели сильную пропаганду против атамана, постоянно проповедуя о том, что победа союзников, несомненно, будет и союзники никогда не простят донским казакам того, что они сносились с немцами.

Дон раскололся на *ориентации*. Весь простонародный, хлеборобный Дон и большая часть интеллигенции держались германской ориентации, напротив, члены могущественной кадетской партии и многие политические беженцы считали, что все спасение Дона в демократии Англии и Франции, которые придут и спасут и Дон, и Россию. Как спасут? Непременно и не иначе, как *живой силой*.

В начале июня у атамана было совещание с представителями кубанского правительства, горских народов, именующим себя астраханским атаманом князем Тундутовым и некоторыми членами Круга спасения Дона, оставшимися в Новочеркасске. Член президиума Круга А.П.Епифанов горько упрекал атамана в том, что он ведет сношения и опирается на немцев.

— Придут союзники, и они никогда этого не простят донским казакам! — говорил Епифанов.

Остальные присутствовавшие на заседании молчали. Атаман еще раз рассказал ту обстановку, в которой он застал Войско. Целая треть его была уже занята германскими войсками, местами казаки сами приглашали немцев помогать в борьбе с Красной гвардией, у казаков не было оружия для борьбы с нею, и получить его можно было только от немцев или через немцев. Дону предстояло одно: или подчиняться советским властям, или войти в соглашение с немцами. У Дона не было иного выхода.

— Ждать союзников, — сказал Епифанов. — Союзники придут и помогут.

— Да, — нервно сказал атаман, — так же, как они пришли в Новороссийск в январе, когда застрелился Каледин... А до тех пор?

— До тех пор? Побольше крови, побольше терпения! — в мрачной тишине сказал Епифанов.

— Увы, и так слишком много льется крови, — отвечал атаман.

— Надо поступать так, как поступает Добровольческая армия, то есть уходить от немцев, — продолжал развивать свою мысль Епифанов.

— Хорошо Добровольческой армии: у нее нет ни земли, ни народа, она может идти хотя до Индии, но куда я пойду со станицами, хуторами, со стариками и детьми. Нет, кто бы ни пришел сюда, — сказал атаман, — я останусь в Новочеркасске и не выдам Донского войска.

— А у меня уже на этот случай и чемодан уложен, — с иронией сказал Епифанов.

Атамана поддержал только председатель Круга спасения Дона Г.П.Янов.

Другой раз, уже во время сессий августовского Круга, атаман, отвечая на нападки в сношениях с немцами и слыша, что ему ставят в пример голубиную чистоту Добровольческой армии, которая на знамени своем неизменно носит непоколебимую верность союзникам, воскликнул:

— Да, да, господа! Добровольческая армия чиста и непогрешима. Но ведь это я, донской атаман, своими грязными руками беру немецкие снаряды и патроны, омываю их в волнах Тихого Дона и чистенькими передаю Добровольческой армии! Весь позор этого дела лежит на мне!

Буря аплодисментов покрыла слова атамана. Нападки за «германскую ориентацию» прекратились.

Нелегки были и отношения с самими немцами. Атаман не хотел, чтобы германское командование имело хотя бы какой-нибудь намек, что оно имеет влияние на управление Доном. Поэтому никаких миссий, никаких представителей от немцев в Новочеркасск допущено не было. Дон считается с фактом занятия части территории германскими войсками, смотрит на них не как на врагов, но как на союзников в борьбе с большевиками и старается использовать их для вооружения и снабжения всеми средствами борьбы своей армии. Так было сказано в первом приказе атамана, отданном 4 мая ночью.

«...В тяжелые дни общей государственной разрухи приходится мне вступать в управление Войском, — писал атаман. — Вчерашний внешний враг, австро-германцы, вошли в пределы Войска для борьбы в союзе с нами с бандами красноармейцев и водворения на Дону полного порядка. Далеко не все Войско очищено от разбойников и темных сил, которые смущают простую душу казака.

...Казаки и граждане! Я призываю вас к полному спокойствию в стране. Как ни тяжело для нашего казачьего сердца, я требую, что-

бы все воздержались от каких бы то ни было выходок по отношению к германским войскам и смотрели бы на них так же, как на свои части. Зная строгую дисциплину германской армии, я уверен, что нам удастся сохранить хорошие отношения до тех пор, пока германцам придется оставаться у нас для охраны порядка и пока мы не создадим своей армии, которая сможет сама охранить личную безопасность и неприкосновенность каждого гражданина без помощи иностранных частей. Нужно помнить, что победил нас не германский солдат, а победили наше невежество, темнота и та тяжелая болезнь, которая охватила все Войско, и не только Войско, но и всю Россию»*.

При посещении тех станиц и железнодорожных станций, где были германские гарнизоны, атаман требовал, чтобы ему выставляли почетный караул от донской части, но чтобы на левом фланге представляющихся чинов армии находились германские начальники расквартированных частей.

Немцы отлично понимали, для чего это делается, и сами шли навстречу желаниям атамана. Они, победители в данное время, всеми силами старались упрочить положение атамана и возвысить его в глазах населения. И этому иногда мешали те темные силы, которые были в интеллигенции. Одни боролись против атамана потому, что считали его врагом революции и неискренно сочувствующим идее народоправства, другие выступали против него «страха ради иудейска», стараясь заслужить в будущем благодарность союзников, большинство же было лично обижено тем, что они или не получили того высокого поста, который хотели получить, или были сняты с занимаемого поста. Все эти люди собрались в Екатеринодаре при штабе генерала Деникина и, пользуясь теми тяжелыми отношениями, которые установились между атаманом и Деникиным, вели свою работу против атамана и немцев, и работа эта скоро возымела свои последствия.

Сношения с немцами вылились в определенную форму. Генерал фон Арним 14 июня вместе со своим начальником штаба майором фон Шлейницем прибыли в Новочеркасск и представились атаману, 16 июня атаман был у них в Ростове с ответным визитом.

Еще раньше, 5 июня, от генерала Эйхгорна приезжал из Киева майор Стефани, который передал о признании атамана германскими властями.

27 июня в Ростов прибыл майор фон Кокенхаузен, назначенный официально для сношений с донским атаманом. Сношения

* Приказ Всевеликому Войску Донскому №1, 4/17 мая 1918 г.

вылились в чисто деловую форму. Установлен был курс германской марки в 75 коп. донской валюты, сделана была расценка русской винтовки с 30 патронами в один пуд пшеницы или ржи, заключен был контракт на поставку аэропланов, орудий, винтовок, снарядов, патронов и т.п., установлено было соглашение, что в случае совместного участия германских и донских войск половина военной добычи передавалась Донскому войску безвозмездно, выработаны были планы действий под Батайском. Наконец, немцы со значительными потерями для себя отразили безумную попытку большевиков высадиться на Таганрогской косе и занять Таганрог. Немцы не особенно охотно вступали в бои с большевиками, но тогда, когда боевая обстановка этого требовала, они действовали вполне решительно, и донцы могли быть совершенно спокойны за ту полосу, которая была занята немецкими войсками. Вся западная граница с Украиной от Кантемировки до Азовского моря, длиною более 500 верст, была совершенно безопасна, и донское правительство не держало здесь ни одного солдата.

Сначала германское командование не обращало внимания на то, что офицеры едут из Украины в Добровольческую армию, и даже оказывало им содействие в этом, оно пропускало снаряжение одинаково как на Дон, так и на Кубань и в Добровольческую армию. Но когда после взятия добровольцами Екатеринодара туда прибыл бывший редактор «Киевлянина» Шульгин, а во главе отдела внешних сношений стал генерал А.М.Драгомиров, в Екатеринодаре стали появляться в газетах статьи с призывом объявления войны Украине и изгнания немцев. Майор фон Кокенхаузен обратился к донскому атаману с просьбой повлиять на генерала Деникина в том смысле, чтобы он прекратил газетную травлю гетмана Скоропадского и возбуждающие против немцев статьи. Генерал Деникин не обратил внимания на просьбу атамана, и тогда немцы стали делать затруднения офицерам в проезде к Деникину, поставили атаману условие, чтобы выдаваемое ему оружие и снаряды не были отправляемы в Добровольческую армию. Для наблюдения за этим в селении Батайск немцами была поставлена застава. Войско Донское продолжало, однако, снабжать Добровольческую армию и оружием, и патронами, посылая часть того, что получало, Деникину, минуя немцев, через Новочеркасск и далее степью на грузовых автомобилях на станцию Кагальницкую. Немцы знали про это, но закрывали на это глаза.

Но к Добровольческой армии отношения немцев резко изменились. Немцы стали считать генерала Деникина своим врагом

и в противовес Добровольческой армии стали формировать Южную армию и Астраханский корпус. Формирования эти по причинам, которые будут указаны ниже, успеха не имели.

За первые полтора месяца немцы передали Дону, кубанцам и Добровольческой армии 11 651 трехлинейную винтовку, 46 орудий, 88 пулеметов, 109 104 артиллерийских снаряда и 11 594 721 ружейный патрон. Треть артиллерийских снарядов и одна четверть патронов были уступлены Доном Добровольческой армии.

В середине июня на Дону распространились слухи о том, что чехо-словаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге Восточный фронт для наступления на Германию. Как ни были невероятны эти слухи, тем не менее они взволновали германское командование, и 27 июня в Новочеркасск к атаману прибыли майоры фон Стефани, фон Шлейниц и Кокенхаузен. Разговор происходил в присутствии председателя совета управляющих генерала Богаевского. Немецкое командование заявило атаману, что оно всеми силами, до вооруженного вмешательства, поддерживало и помогало Донскому войску в его борьбе с большевиками, что оно готово и впредь оказывать эту помощь, что германское командование отстаивает перед Украиной неприкосновенность границ Войска Донского и Германия считает себя союзницей донских казаков в борьбе с большевиками. Со стороны же Донского войска немцы видят только холодное отношение к себе. Теперь, когда создается опасность войны на востоке, когда на Волжском фронте может образоваться чехо-словацкий фронт, который союзники могут использовать для своего наступления, Германия хотела бы знать, какую политику поведет в этом случае Донское войско, Кубань и вообще Юго-Восточный союз.

Это были дни, когда Войско Донское только что начало освобождаться от большевиков. Оно по-прежнему было одиноко в борьбе. Немцы помогали оружием, но живою силою помогать избегали. Добровольческая армия и кубанцы были заняты своим делом и настолько мало интересовались Доном, что как раз в эти дни части Добровольческой армии, обеспечивающие Кагальницкую и Мечетинскую станицы, по стратегическим соображениям без уведомления о том донского атамана были сняты, и угроза висела над Новочеркасском.

Сказать германцам, что Войско Донское примкнет к чехо-словакам и пойдет войною на немцев, значило в лучшем случае лишиться и последней помощи, в худшем — быть раздавленными немцами, потому что казаки определенно заявляли, что воевать

с немцами они не будут. Атаман не верил в это чехо-словацкое наступление. Фронт его войск был всего в 60 верстах от Царицына. Неужели же на фронте не знали бы, что Царицын уже не в руках большевиков?! Взвесив все эти обстоятельства, атаман заявил майору фон Стефани, что Дон останется нейтральным и не допустит войны на своей территории. Он не пропустит ни чехо-словаков через свои земли и не позволит немцам делать Дон ареной борьбы с чехо-словаками. Атаман в этом случае говорил то, чего хотели казаки. Они хотели мира, но не войны. Атаман не строил себе иллюзий, не бряцал оружием, не становился в донкихотскую позу, но печально и твердо смотрел на то, что происходит. Он не имел армии солдат в точном значении этого смысла, то есть людей, которых можно двинуть куда угодно и которые пойдут умирать за своим вождем, не спрашивая, во имя чего. Он имел народную армию и должен был считаться с мнением народа. Народ не хотел войны, он хотел мира. Нейтралитет Дона усилил бы и укрепил его физически, а этого только и желали казаки. И атаман ответил то, что думал донской народ.

Представители германского командования удовлетворились его ответом, но пожелали, чтобы это были не только слова, но чтобы они были закреплены в письменной форме. Было решено, что атаман напишет германскому императору письмо, в котором выскажет свои взгляды на отношения к Германии.

28 июня атаманом было составлено следующее письмо главе германского народа:

«Ваше Императорское и Королевское Величество. Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при Дворе Вашего Императорского Величества и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать Ваше Императорское Величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее.

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей Родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на девять десятых освобождена от диких красногвардейских банд.

Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск Вашего Императорского Величества создалась тишина на юге Войска и мною приготовлен корпус казаков для поддерживания порядка

внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами Астраханского и Кубанского войск, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем, чтобы по очищению земли Астраханского войска и Кубанской области от большевиков оставить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого Войска Донского, Астраханского войска с калмыками Ставропольской губернии, Кубанского войска, а впоследствии по мере освобождения и Терского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство в полном согласии со Всевеликим Войском Донским решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать полный нейтралитет.

Атаман Зимовой станицы нашей при дворе Вашего Императорского Величества уполномочен мною просить Ваше Императорское Величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних Кубанского, Астраханского и Терского войск и Северного Кавказа право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать Ваше Императорское Величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более пятисот лет и для которого Таганрогский округ является частью Тьмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить Ваше Величество содействовать к присоединению к Войску по стратегическим соображениям городов Камышина и Царицына Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить Ваше Величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной гвардии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшед-

шие от нашествия большевиков, должны быть возмещены Советской Россией.

Просить Ваше Императорское Величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского орудийный, ружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеской услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807 и в 1813 годах донские казаки со своим атаманом графом Платовым боролись за свободу Германии. И теперь почти за $3\,^1/_2$ года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу Вашего Императорского Величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман Астраханского войска князь Тундутов, и Кубанское Правительство, а по присоединении остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков за удовлетворением местных потребностей хлеба, зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответствующим запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленные и торговые, в частности по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К Вашему Императорскому Величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямоту моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

Уважающий вас Петр Краснов, донской атаман, генерал-майор»*.

Письмо это было рассмотрено 2 июня в совете управляющих отделами. Отношение к нему было сдержанное, скорее даже отрицательное. Прения и редакционные поправки затянулись до 10 часов вечера. После доклада командующего войсками о том тяжелом положении, в котором находятся войска не только Донской, но и Добровольческой армии, о полной зависимости от того, будут ли эти армии в достаточном количестве и своевременно снабжены патронами и снарядами, совет управляющих одобрил это письмо.

— Во всяком случае, — сказал атаман, — всю ответственность за это письмо я беру на себя. Независимо от вашего мнения я отправлю это письмо, потому что в нем вижу спасение Дона и, следовательно, и России, так как судьбы одного тесно связаны с судьбами другой, и для меня они неразделимы. Приближается время уборки урожая. Если при помощи немцев нам удастся добиться того, что большевики дадут передышку на фронтах, мы справимся, если этой передышки не будет, мы рискуем, что казаки будут покидать фронт и передаваться советским войскам. Что касается союзников, то в случае их победы неужели они не поймут, что наш нейтралитет был вынужденным? И если не поймут, то пусть судят меня, меня одного...

5 июля герцог Н.Н.Лейхтенбергский, назначенный атаманом Зимовой станицы в Берлине, поехал в Киев, где он должен был соединиться с генералом Черячукиным и вместе с ним ехать дальше.

---

* Текст взят из разосланного г. М.В.Родзянко письма, почему за точность выражений не ручаемся. Содержание же верно.

Глава пятая

Результаты письма императору Вильгельму. — Активная помощь Дону. — Восстановление старых границ земли Войска Донского. — Ослабление натиска большевиков. — Большой войсковой Круг. Интриги против атамана. Вмешательство немцев. — Атаман Краснов вторично избран атаманом

Письмо это имело громадные последствия.

29 июля Украина сообщила о признании старых границ Донского войска, и донские власти вошли в Таганрог и Таганрогский округ. Натиск большевиков действительно ослабел, и Донские войска вышли за пределы земли Войска Донского и победоносно вступили в Воронежскую и Саратовскую губернии. Германские гарнизоны были поставлены в зависимость от атамана и оставались лишь там, где атаман считал их присутствие необходимым. Таким образом они вскоре покинули Донецкий округ и оставались только в Ростове и Таганроге, где атаман находил их присутствие необходимым до тех пор, пока полки молодой Донской армии не будут в состоянии их сменить. В Ростове была образована смешанная Доно-Германская экспортная комиссия, нечто вроде торговой палаты, и Дон начал получать сначала сахар из Украины, а затем должен был получить все просимые им товары из Германии. В Войско Донское были отправлены тяжелые орудия, в посылке которых до этого времени германцы отказывали. Наконец, германское командование предложило участие своих войск для операций по овладению Царицыном, но атаман это предложение отклонил, надеясь, что Добровольческая армия, как это было условлено в Манычской 15 мая, по овладении Екатеринодаром перейдет в наступление на север и вместе с донцами овладеет Царицыном. Дон был весь свободен от большевиков и достиг большого процветания внутри. Атаман созвал Большой войсковой Круг на 15 августа. Германцы были настолько внимательны к атаману, что в районе, ими занимаемом, сами следили за охранением внутреннего порядка во время выборов на Круг...

Все это были положительные результаты письма и тех переговоров, которые велись герцогом Лейхтенбергским и генералом Черячукиным в эти трудные дни. Это было время последнего германского наступления на Париж, и гордые своими победами немцы возили ге-

нерала Черячукина на позиции, где он лично мог убедиться в силе и мощи германской армии и страшном могуществе ее артиллерии.

Но вместе с тем письмо это было употреблено во вред атаману. Вследствие предательства отдела иностранных дел, где письмо это переводилось и печаталось, копия этого письма попала в руки враждебной атаману партии. Она была размножена с соответствующими комментариями и послана во все станицы для того, чтобы повлиять на окружные Круги, где обсуждались кандидаты в атаманы. Наконец оно было напечатано в екатеринодарских газетах.

Донского атамана обвиняли в измене России, в предательстве Дона немцам, в страшной *«германской ориентации»*. Агитаторы из Екатеринодара поехали по станицам и прямо говорили, что атаман продал Дон немцам.

Но агитация эта не имела успеха. Простым умом своим донской казак понял одно — что атаман стремится всеми силами дать мир и благосостояние Донскому войску и считается с силами его, те же, кто говорит против атамана, стараются вовлечь его в бесконечные войны и заставить служить для союзников. «Что говорить пустое о верности союзникам, — говорили казаки. — Кто изменил: Россия — союзникам или союзники — России? Кабы союзники-то были верны России, разве ж они допустили бы такую беду! Или они и сами изменники, или они так слабы, что нам с ними нечего делать. То-то Добровольческая армия верна союзникам, а как что — патроны или снаряды — от нас берет. Небось союзники-то ей ничего не дали!» — и слова агитации разбивались о то, что казаки видели своими глазами.

А видели они свободные от Красной армии станицы, где собирали редкий по размерам урожай, видели они сахар с немецкими бандеролями, видели тяжелые немецкие пушки, запряженные восьмерками донских лошадей, видели они свою молодую, прекрасно одетую, выправленную и обученную армию, видели постепенный привоз товаров. Они видели свое донское мыло, донское стекло, донское сукно. Слышали они о широких планах атамана, знали они, что крупные московские капиталисты хотят на Дону устроить фабрики для донских казаков, и знали одно про атамана, что атаман крепко любит Дон и душу свою готов отдать за него. Это они твердо знали про атамана. Круг собрался 15 августа. Это уже не был сплошной, однородный *серый* Круг, каким был Круг спасения Дона. Интеллигенция и то, что еще хуже, полуинтеллигенция, народные учителя, мелкие адвокаты вошли в него, сумели овладеть умами казаков, и Круг разбился уже не только географически по окру-

гам и по станицам, но и по политическим партиям. Председателем Круга был не пылкий патриот Янов, вся вера которого заключалась в горячей любви к Донскому войску и казаку, но лидер кадетской партии В.А.Харламов, бывший членом российской Государственной думы, опытный парламентарий, искушенный в политической борьбе. Партии, настроенные против атамана, повели свою подпольную работу. Несмотря на то что в первом же заседании, 16 августа, атаман просил о сложении своих полномочий и перевыборах атамана, как то было решено еще Кругом спасения Дона, Круг тянул с выборами. Партия, враждебная атаману, видела восторженное отношение к атаману, слышала громовые крики «ура!» при встрече его и аплодисменты после его речей, и она приложила все усилия, чтобы изменить настроение Круга.

Управляющий отделом иностранных дел генерал-майор Богаевский, выставляемый Добровольческой армией как кандидат в атаманы, сдавая перед Кругом отчет о работе отдела, упомянул и о письме императору Вильгельму, написанному единолично атаманом. Письму была придана особая таинственность. Это было сделано с целью повлиять на умы серой части Круга и пошатнуть ее доверие к атаману.

После речи А.П.Богаевского встал атаман и громко и четко прочел Кругу свое письмо императору Вильгельму и заявил, что всю ответственность за него он берет на себя.

В заседании 24 августа Круг постановил:

«Одобрить общее в отношении центральных держав направление политики правительства, основанной на принципе взаимного и равноправного удовлетворения обеих сторон в практических вопросах, выдвигаемых жизнью, без вовлечения Дона в борьбу ни за, ни против Германии.

Приветствовать наладившиеся добрососедские отношения с родственной Украиной и указать правительству на необходимость дальнейшего сближения в общих интересах Дона и Украины»*.

Народная мудрость и национальный эгоизм одержали верх над хитрыми выпадками политических партий. Победа осталась за атаманом. Одновременно политические враги шли по другому пути, более опасному для атамана. Благодаря большевистской и социалистической пропаганде слово *«Царь»* было все еще жупелом для многих людей и из серой части Круга. С именем царя неразрывно

* *Г.Щепкин.* Донской атаман генерал от кавалерии П.Н.Краснов. Новочеркасск, 1919, с. 74.

связывали представление о суровом взимании податей, о продаже за долги государству последней коровенки, о засилии «помещиков и капиталистов», о белопогонниках офицерах и об «офицерской палке». *Царь* и *монархия* противопоставлялись понятию *свобода*. Между тем атаман служил торжественную панихиду по зверски убитом большевиками царе и отдал об этом приказ, официозная газета «Донской край» редактировалась опытным и талантливым писателем И.А.Родионовым, считавшимся ярым монархистом, и в ней помещались статьи, говорившие благожелательно о восстановлении монархии в России. Для членов Круга, желавших свалить атамана, была благодатная почва, и 18 августа было весьма бурное заседание, где левые партии требовали немедленной смены редактора Родионова. Им удалось так разжечь настроение на Кругу, что атаман не счел возможным оставаться на своем посту. 20 августа атаман попросил слова и сказал следующую речь:

— Господа, с чувством грусти и сердечной боли вхожу я на эту трибуну. С нее третьего дня были брошены громкие, заезженные слова: «К прошлому возврата нет», и весь Круг дружно аплодировал этим словам.

Господа, о каком прошлом здесь говорилось? Потому что у нас, у казаков, было три прошлых.

Одно давнее, славное прошлое, когда были казаки вольными людьми, имели свое выборное правительство и своего выборного атамана. Они жили тогда у себя на Дону сами по себе и в чужие дела не мешались. *«Здравствуй, Царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону»*, — гордо говорили они посланникам царя Московского и сами слали свои Зимовые станицы, то есть посольства, в царскую Москву. Царь не волен был тогда распоряжаться казачьими головами, но только Круг Войсковой и донской атаман. И было Войско Донское тогда Всевеликим Войском Донским.

Знаем мы и другое прошлое. Тоже славное, но и тяжелое, подневольное. Сидели у нас на Дону наказные атаманы из России, служили мы на задворках российской конницы, спасали Россию и от француза, и от турка, держали порядок в России, и русский народ звал нас в благодарность за это *палачами, опричниками и нагаечниками.*

Знаем мы и недавнее страшное прошлое, алою братскою кровью залитое и красным знаменем прикрытое, когда правили вами и помыкали и измывались над вами *комиссары и советы.*

Я вас вел к тому отдаленному прошлому, когда Войско Донское было Всевеликим Войском Донским. Я до мелочей воскре-

шал в вашей памяти старый уклад вольного Тихого Дона и будил гордость казачью.

Те же, кто восклицал третьего дня: «К прошлому возврата нет», ведут вас к страшному кровавому прошлому советов.

Далее атаман говорил о разложении в армии, вызванном отчасти пропагандой, идущей изнутри войска, о том, что Царицынский фронт уже пошатнулся. Он говорил об усталости в войсках, о том, что только твердая власть может удержать на местах слабовольных и легковерных, о невозможности шатать эту власть. Атаман горячо заступился за Родионова, как за писателя, имеющего громкую славу. Атаман горько упрекал Круг за то, что на Кругу говорили о том, что атаман отдал, помимо Круга, приказ о мобилизации еще трех возрастов. Народ прислушивается к тому, что делается на Кругу, и такими речами шатается войско, ибо не верит власти.

— Когда, — закончил свою речь атаман, принимая из рук войскового есаула принесенный ему тяжелый золотой атаманский пернач и стоя перед Кругом уже с перначом в руках, — управляющий видит, что хозяин недоволен его работой, да мало того, что недоволен, но когда хозяин разрушает сделанное управляющим и с корнем вырывает молодые посадки, которые он с таким трудом сделал, он уходит! Это его долг! Ухожу и я, но считаю своим долгом предупредить вас, что атаманский пернач очень тяжел, и не советую вам вручать его в слабые руки!

С этими словами атаман с такой силой бросил пернач на стол, что он расколол верхнюю доску, и ушел из зала заседаний.

На Кругу царило гробовое молчание. И сейчас же заволновалось большинство. Серая часть Круга, станичники и фронтовые казаки, почувствовали себя как стадо без пастыря, и на Кругу раздались крики: «Вернуть, вернуть атамана!»

Депутация от Круга во главе с председателем его поехала во дворец и уговорила атамана вернуться и оставаться на посту впредь до выборов. Атаман согласился, но просил ускорить выборы. Этот случай еще раз показал противникам атамана его силу и его популярность, и они решили вопреки его просьбам оттянуть выборы.

Германское командование с глубоким интересом следило за всем происходящим на Кругу. Немцы волновались оттяжкой выборов, они видели разлагающее действие Круга на армию и, несмотря на всю свою сдержанность, решили предупредить атамана, что если Дон станет опять ареной политической игры, то они откажутся ему помогать.

4 сентября майор Кокенхаузен писал из Ростова:

«Атаману Всевеликого Войска Донского, господину генералу от кавалерии Краснову.

...Имею честь доложить Вашему Высокопревосходительству, что за последнее время высшему командованию в Киеве стал известен целый ряд событий на Дону, произведших там очень нехорошее впечатление.

Прежде всего удивляются, что выборы атамана, назначенные на 23 августа, не состоялись и отложены на неопределенный срок. В то время как на фронте в тяжелой борьбе с большевиками дерутся доблестные и храбрые войска Вашего Высокопревосходительства, Вы и Ваши министры отвлекаются от работы скучными и длинными заседаниями на Кругу. Высшее командование боится, что Ваше твердое и самостоятельное управление страной тормозится Кругом, его продолжительными спорами из-за внутренних конституционных вопросов, тем более что враждебно настроенная Вашему Высокопревосходительству партия стремится урезать полноту власти, Вам данной.

Немецкое высшее командование не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Дона, но не может умалчивать, что ослабление власти атамана вызовет менее дружеское отношение к Дону германцев.

Высшее германское командование просит Вас потребовать немедленного выбора атамана, которым, несомненно, будете избраны Вы, Ваше Высокопревосходительство (судя по всему тому, что нам известно), чтобы скорее приняться за работу и твердо вести Всевеликое Войско Донское к устроению его.

Далее получено известие, что генерал-лейтенант Богаевский в одном из заседаний Круга, на котором Ваше Высокопревосходительство не присутствовали, осуждал Вашу деятельность и все большое строительство на Дону в этот короткий срок приписывал исключительно себе. В другом заседании он пытался ослабить речь генерала Черячукина, который беспристрастно описал положение дел на Западном фронте. Генерал Богаевский выражал сомнение в окончательной победе германцев и указывал на близкое осуществление союзнического Восточного фронта. На вывод наших войск из Таганрога он указал, как на последствие наших неудач на Западном фронте, между тем как с нашей стороны это было только доказательством наших дружеских и добрососедских отношений.

Откровенно говоря, мне очень неприятно обращать внимание Вашего Высокопревосходительства на отзывы Вашего председателя министров, тем более что генерал-лейтенант Богаевский не раз уверял меня в своем дружеском расположении к немцам.

Я считаю себя все-таки обязанным поставить Вас в известность и предупредить, что если мнение господина председателя министров действительно таково, то высшее командование германцев примет согласно с этим свои меры. Я еще пока не доносил об этом высшему командованию в Киеве, но буду принужден сделать это, если в будущем дойдут до меня слухи о враждебном отношении к немцам господина председателя.

...Я не могу скрыть от Вас, что все эти известия не могут произвести хорошего впечатления в Киеве, тем более что высшее командование, очистив Таганрог, допустив туда донскую стражу, снабжая Дон оружием и политически воздействуя на советскую власть на Северном фронте, явно выказало высшую предупредительность.

Отсрочка выборов атамана дает возможность агитировать враждебным немцам элементам, и я боюсь, что высшее командование сделает свои выводы и прекратит снабжение оружием. Примите уверения в моем совершенном уважении. Вашего Высокопревосходительства покорный слуга фон Кокенхаузен, майор Генерального штаба...»

Из этого письма видно, что к этому времени на Дону наметились два кандидата в атаманы: генерал Краснов — «германской ориентации», сторонник свободного Дона, и генерал Богаевский — «союзнической ориентации», сторонник подчинения генералу Деникину.

12 сентября наконец Круг приступил к выборам атамана. В первом часу ночи 13 сентября закончился подсчет записок, поданных для выборов атамана. Из 338 записок 234 были поданы за генерала Краснова, 70 за генерала Богаевского, 33 записки пустых и одна за войскового старшину Янова...

Атаман Краснов остался на своем посту.

Глава шестая

«Ориентация» атамана. — Его взгляд на союзников по речам и действиям. — Отношение к немцам. — «Самостийность» атамана. — Подготовка к движению для освобождения Москвы

Был ли действительно атаман «германской ориентации» и самостийником? Этот вопрос тогда занимал многих, на этом строилось тогда обвинение атамана Добровольческою армиею, из-за этого Войску

Донскому не была оказана своевременная помощь ни союзниками, ни Добровольческой армией, из-за этого атаману пришлось уйти со своего поста, не докончив начатого дела. Если обвинение в союзнической ориентации для русского человека и истинного патриота далеко не лестно, то тем более обвинение в приверженности ко вчерашним нашим врагам, ненависть к которым искусственно воспитывалась в течение всей войны, является тяжким обвинением. Это обвинение было пущено врагами атамана, собравшимися в Екатеринодаре, Сидориным и Гущиным, которых атаман отозвал из Киева и к которым выказал полное недоверие ввиду их прошлой некрасивой деятельности (Сидорина в дни похода Корнилова на Петроград и Гущина в первые дни революции), Семилетовым, уволенным от командования партизанами, Родзянко, высланным из Новочеркасска за вредную политическую деятельность, С.П.Черевковым и другими. Оставшись без дела при шумном и многолюдном штабе Деникина, они вымещали свою злобу на атамана в клевете на него. «Calomniez, calomniez — il en reste toujours quelque chose»[1], и эти обвинения остались за атаманом.

Если обратиться к речам и поступкам атамана, то трудно найти в них какую-либо особую симпатию к немцам и тем более самостийность.

В большой программной речи, сказанной при открытии Круга 16 августа 1918 года, атаман несколько раз останавливался на том, каковы должны быть отношения к немцам и союзникам.

— ...Россия побеждена? — говорил атаман. — Россия завоевана неприятелем? Нет... Неприятельские войска вошли на Украину, в Польшу, в Прибалтийский край, дошли до берегов Дона и были встречены как избавители. Несчастный русский народ потерял голову и уже не знает, кто у него друг и кто враг...

То, чего ожидали со страхом и трепетом народы Европы с конца прошлого века, — великая мировая война разразилась летом 1914 года. Это война между Англией и Германией. Война не на жизнь, а на смерть, война капиталистов за рынки, война рабочих за право жить и работать. Франция и Россия, Австро-Венгрия и Турция, Румыния и Италия, Болгария и Япония — это только пособники.

Они работали каждый на своей стороне — одни за Англию, другие за Германию. Но своей задачи, своей роли они не имели.

Англия не была готова для войны, и раньше 1916 года она не могла выступить. Америка колебалась — и вот в два года занять

[1] «Клевещите, клевещите — все равно что-нибудь останется» *(фр.)*.

и истощить Германию, парализовать Австро-Венгрию было поручено Франции и России.

Россия честно выполнила свою задачу. И когда немцы вторглись во Францию и самому Парижу угрожала опасность захвата, началось наступление русских войск в Пруссию во имя спасения Франции. С беззаветным мужеством дрались русские солдаты и казаки, и наш бывший войсковой наказный атаман Самсонов погиб, окруженный врагами в Пруссии. Но мы спасли Францию.

В 1915 году немцы начали свои жестокие атаки на Верден, и снова Парижу грозила опасность. И опять, устилая долины Карпатских гор трупами солдат и казаков, истекая кровью, без снарядов и патронов, бросились русские армии выручать положение. Верден не был взят: Франция спасена от разгрома, но нам пришлось откатиться назад и уступить Варшаву. Но мы благородно спасли союзников.

В 1917 году Англия была готова к решительному бою, Россия была снабжена орудиями и военными припасами, готовилось грозное решительное наступление, которое должно было привести нас к победе. Уже смело говорили и в обществе, и в печати не только о возврате всего потерянного, но и о занятии Галиции и Константинополя.

И Германия поняла, что она погибла.

При преступном содействии некоторой части нашей интеллигенции, при предательстве и измене многих сановников и генералов рушится великое здание Российской империи и под радостный визг черни совершается «великая бескровная революция». А затем приезжает из Германии в запломбированном вагоне Ленин и начинает вместе с великим провокатором и предателем Керенским сознательно разрушать Россию.

Атаман знал про слухи, что Англия, испугавшись могущества русской армии, готовой грозным прыжком овладеть Берлином и Веной, испугавшись, что тогда придется ей исполнить свое обещание и отдать России Константинополь и проливы и утвердить ее влияние в Персии, что не входило в планы Англии, побудила изменников, генералов и сановников потребовать отречения императора Николая II и вдохнула в умы несчастной русской интеллигенции подлую мысль — «без аннексий и контрибуций». Атаман знал, какую роль приписывали во всем этом кровавом деле английскому послу Бьюкенену и английскому золоту, но он промолчал об этом, всю вину взваливши на Германию с ее Лениным, который ничего не мог бы сделать, если бы не имел своих предте-

чей. Он знал про это и молчал, потому что еще верил в благородство союзников.

— ...Но шли и шли в Донскую землю, — говорил дальше атаман, — немецкие полки, и вместе с конницею Туроверова в Ростов вошел германский отряд фон Арнима, и у храма Святой Аксайской Божией Матери стали баварские кавалеристы. В 11 верстах от Новочеркасска растянулась линия германских аванпостов, и пулеметы германские были направлены на Новочеркасск...

...Немцы — наши враги, мы дрались с ними три с половиною года — это не забывается. Они пришли за нашим хлебом и мясом, и мы им совсем не нужны. Они нам не союзники. У нас должны бы быть союзники настоящие. Но где эти союзники? — с горечью воскликнул атаман. — Вот в январе месяце, когда жив был еще Алексей Максимович Каледин, по всему Новочеркасску распубликованы были официальные известия о том, что в Новороссийске высадился англо-французский корпус и идет на помощь Дону... Но умер Каледин, расстреляли Назарова, прошло полгода, а никаких англо-французов не пришло спасти сжигаемый большевиками Дон.

С конца мая месяца мы слышим о чехо-словаках. То они занимают Саратов, то подходят к самому Царицыну, то дерутся под Екатеринбургом и Иркутском. Последнее время все настойчивее и настойчивее говорят о движении японцев и китайцев и о создании Восточного фронта на Волге.

Какой ужас и позор! Сделать Россию ареной мировой борьбы, подвергнуть ее участи Бельгии и Сербии, обескровить ее, сжечь ее города и села, истоптать ее нивы и ее, голодную, поруганную и оплеванную, ее, поверженную в прах собственным бессилием, добить до конца!

Россия больна. Она лежит в горячечном бреду, а что же делают иностранцы? Германцы заняли Украину и вывозят хлеб и масло, отнимая у нас последний кусок. Ну эти-то — враги, мы не можем рассчитывать на снисхождение от тех, кого мы ненавидим...

Англичане хозяйничают на севере и тянут под шумок оттуда лес, а Россия, бедная Россия, она, как тот деревянный турка с кожаной головой, должна сносить удары и врагов, и союзников...

Так неужели цепляться за иностранную помощь, неужели Дону и великой России скулить так, чтобы нам помогли извне?

Послушайте, как в песне казачьей поется:

Ты воспой, сирота, песню новую!
— Хорошо песню играть, пообедавши,
А я, сирота, еще не ужинал...
Поутру сироту в допрос повели.
— Ты скажи, сирота, где ночевал?
Ты скажи, с кем разбой держал?
— У меня, молодца, было три товарища:
Первый товарищ — мой конь вороной,
А другой товарищ — я сам молодой,
А третий товарищ — сабля вострая в руках!..

В этих словах атамана все его *credo*. Россию должна спасать сама Россия — это он понимал твердо. Он гнал всякую мысль о помощи извне, и родной Дон он стремился спасти силами донских казаков. Но он отлично понимал, что спасти Дон — это одна задача, спасти Россию — задача другая. Ко всем иностранцам — будут это союзники или немцы — атаман относился отрицательно. Он твердо верил, что прошли те времена, когда проливали кровь и воевали «pour les beaux yeux de la reine de Prusse»[1], он знал, что и немцы, и французы, и англичане едут в Россию не для России, а для себя, чтобы урвать с нее что можно, и отлично понимал, что Германии и Франции по взаимно противоположным причинам нужна Россия сильная и могущественная, «единая и неделимая», а Англии, напротив, слабая, раздробленная на части, быть может, федеративная, пожалуй, даже большевистская. И потому Германии и Франции атаман верил, Англии же не верил нисколько. Все стремления атамана были направлены к тому, чтобы независимо от иностранцев поставить Дон на ноги, дать ему все, что нужно для борьбы.

Едва только он получил Таганрог, как сейчас же забрал Русско-Балтийский завод, приспособил его для выделки ружейных и артиллерийских трехдюймовых патронов и достиг к ноябрю 1918 года выделки 300 тыс. ружейных патронов в сутки, он вел переговоры об устройстве своего порохового завода и снаряжательной мастерской. Атаман поставил на работу все ремесленные школы и гордился тем, что вся Донская армия одета с ног до головы в «свое», что она сидит на своих лошадях и на своих седлах. У императора Вильгельма он просил машин, фабрик, чтобы опять-таки как можно скорее освободиться от опеки иностранцев. Его *ориентация* сквозила во всех его речах и на Кругу, и особенно в станицах и войсковых частях. Это

[1] «Ради прекрасных глаз королевы Пруссии» *(фр.)*.

была ориентация *русская* — так понятная простому народу и так непонятная русской интеллигенции, которая привыкла всегда кланяться какому-нибудь иностранному кумиру и никак не могла понять, что единый кумир, которому стоит кланяться, — это Родина.

Добровольческая армия, как армия не народная, а интеллигентская, офицерская, не избежала этого и рядом со знаменем «единой и неделимой» воздвигла алтарь непоколебимой верности союзникам во что бы то ни стало. Эта верность союзникам погубила императора Николая II, она же погубила и Деникина с его Добровольческой армией.

Атаман смотрел на немцев как на врагов, пришедших мириться с протянутой для мира рукою, и считал, что у них он может *просить*, но когда пришли союзники, то на них он смотрел как на должников перед Россией и Доном и считал, что они обязаны вернуть свой долг и с них нужно *требовать*.

Дальше история сношений Войска Донского покажет ярко, какова была ориентация атамана.

В деле обвинения в самостийности вопрос гораздо сложнее. Атаман вступил в управление Войском вскоре после Каледина, которого погубило доверие к крестьянам, знаменитый «паритет». Дон раскололся в это время на два лагеря — казаки и крестьяне. Крестьяне за малым исключением были большевиками. Там, где были крестьянские слободы, восстания против казаков не утихали. Весь север Войска Донского, где крестьяне преобладали над казаками, Таганрогский округ, слободы Орловка и Мартыновка 1-го Донского округа, города Ростов и Таганрог, слобода Батайск были залиты казачьей кровью в борьбе с крестьянами и рабочими. Попытки ставить крестьян в ряды донских полков кончались катастрофой. Крестьяне изменяли казакам, уходили к большевикам и насильно, на муки и смерть, уводили с собою донских офицеров. Война с большевиками на Дону имела уже характер не политической или классовой борьбы, не гражданской войны, а войны народной, национальной. Казаки отстаивали свои казачьи права от *русских*. Атаман, являясь ставленником казаков, не мог с этим не считаться. Он не мог допустить и мысли о каком-либо *паритете*, потому что это погубило бы Дон, погубило бы все дело.

— Казачий Круг! — говорит он Кругу 16 августа. — И пусть казачьим он и останется.

Руки прочь от нашего казачьего дела — те, кто проливал нашу казачью кровь, те, кто злобно шипел и бранил казаков. Дон для донцов!

Мы завоевали эту землю и утучнили ее кровью своей, и мы, только мы одни, хозяева этой земли.

Вас будут смущать обиженные города и крестьяне. Не верьте им. Помните, куда завел атамана Каледина знаменитый паритет. Не верьте волкам в овечьей шкуре. Они зарятся на ваши земли и жадными руками тянутся к ним. Пусть свободно и вольно живут на Дону гостями, но хозяева только мы, только мы одни... Казаки!

Вот где самостийность атамана. В страшном домашнем споре о земле и правах на нее! Атаман понимал, что этого вопроса трогать нельзя, но, как только вопрос коснулся общей политики, атаман счел, что Дон не только неразделимая часть России, но что он обязан бороться и восстановлять «единую и неделимую»...

— Помните, — заканчивает атаман свою первую большую речь перед Кругом, речь — программу всей работы, — не спасут Россию ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы — они только разорят ее и зальют кровью. Помните нашу старую песню:

У меня, молодца, было три товарища:
Первый товарищ — мой конь вороной.
А другой товарищ — я сам молодой,
А третий товарищ — сабля во́страя в руках!..

Спасет Россию сама Россия. Спасут Россию ее казаки! Добровольческая армия и вольные отряды донских, кубанских, терских, оренбургских, сибирских, уральских и астраханских казаков спасут Россию.

И тогда снова, как встарь, широко развернется над дворцом нашего атамана бело-сине-красный русский флаг — *единой и неделимой России.*

И тогда кончен будет страшный крестный путь казачества и Добровольческой армии, путь к свободе России и православного Тихого Дона!

Где же тут самостийность?

В конце сессии Круга, при пересмотре донской конституции, при рассмотрении статей о гимне, гербе и флаге, атаман возбудил сам вопрос о том, что не пора ли вернуться к общерусскому флагу. Его речь была сильна, но встал какой-то казак с фронта, окуренный порохом, с ухватками оратора солдатского митинга, и воскликнул:

— Господа, когда мы там, на фронте, идем с нашим флагом — неприятель бежит. Мы полюбили этот победный флаг. Надоть оставить его. В нем победа!..

Гром аплодисментов был ответом на эту короткую речь, и «самостийный» флаг остался развеваться над атаманским дворцом, к великому негодованию Деникина.

Атаман решил идти с казаками спасать Россию не только на словах, но и на деле. Он готовил и берег для этого особый корпус молодых казаков. 1-я Донская казачья дивизия — 5 тысяч шашек и 12 конных орудий, 1-я пластунская бригада — 8 тыс. штыков, 8 полевых орудий, 4 тяжелых орудия, 1-я стрелковая бригада — 8 тыс. штыков, 8 полевых орудий и 4 мортиры, 1-й саперный батальон — 1000 штыков, все технические войска — броневые поезда, аэропланы, броневые машины и прочее — должны были идти с Деникиным на Москву. Их особо снаряжали, особо воспитывали и прививали им идею похода для спасения России. Но Деникин требовал, чтобы пошло все войско, чтобы оно дошло до полного напряжения и выставило 200—300 тыс. бойцов. Атаман же давал всего около 30 тыс. — в этом была его самостийность. Но атаман знал, что все казаки на Москву ни за что не пойдут, а эти 30 тыс., а за ними столько же охотников наверное пойдут. Атаман чувствовал, что у него нет силы заставить пойти, и потому делал все возможное, чтобы пошли сами. Деникин решил заставить пойти...

21 сентября Круг наконец разъехался. Врагам атамана не удалось ни свалить его, ни уменьшить или обрезать его права. Напротив, в заседании 15 сентября Круг составил указ, в котором было сказано: «Пусть казак и гражданин Всевеликого Войска Донского памятует о своем долге перед родным краем. Пусть в каждом из нас атаман найдет верных исполнителей. Одна мысль, одна воля да объединит нас: помочь атаману в его тяжелом и ответственном служении Дону...»

Эта мысль была у всего Круга, кроме маленькой части политических врагов атамана. Эти политические враги не разъехались. Они остались вместе с председателем Круга В.А.Харламовым в Новочеркасске в законодательной комиссии, завели тесные сношения с Екатеринодаром и повели серьезную подпольную работу для замены атамана Краснова — «германской ориентации» атаманом Богаевским — «союзнической ориентации». На случай прибытия союзников готовилась полная перемена декорации.

Глава седьмая

Первоначальная организация народной Донской армии. — Вооружение. — Снаряжение. — Офицерский состав. — Дисциплина. — Тактика, отношение к пленным. — Реорганизация армии. — Сведение дружин и станичных полков в тактические единицы. — Молодая армия. — Донской флот. — Численность армии к осени 1918 года. — Снабжение ее

Ко времени занятия казаками Новочеркасска и вступления в управление Войском Донским атамана все вооруженные силы Донского войска состояли из шести пеших и двух конных полков при 7 орудиях и 11 пулеметах, составлявших Северный отряд полковника Фицхелаурова, одного конного полка в Ростове и нескольких небольших отрядов, разбросанных по всему Войску, сила, численность и вооружение которых ни атаману, ни командующему войсками не были известны. Дон кипел восстаниями и поднялся весь от крайнего севера до юга. Но сведения о восставших, об их силе, об успехах их борьбы первое время приходили лишь со случайными людьми, прорывавшимися сквозь большевиков и привозившими известия в Новочеркасск.

Полки имели дружинную, станичную организацию. Каждая станица выставляла свой полк из казаков-охотников, добровольцев. Сила полков была разная и колебалась от величины станицы и от того, каков был патриотический подъем в станице. Обыкновенно после прочтения воззвания и речей служили молебен, и после молебна выходило на фронт очень много. Но по пути многие отдумывали, других отговаривали жены.

— Чего ты, старый, пошел, куды тебе, а пахать да хлеб убирать кто будет? Ведь убьют! На кого меня, горемычную, покидаешь, да еще с малыми детями? — голосила казачка, провожая мужа, а тот только отмахивался.

Но многие останавливались под предлогом «прикурить маленько», отставали и возвращались тихонько домой. Шли больше старики и юная зеленая молодежь, фронтовики серьезничали, ждали приказа, и если собирались, то «своим» полком и тогда были по большей части отлично одеты и сорганизованы. От этого и сила полков была разная. Одни станицы выступали почти поголовно и дали полки в 2—3 тыс. человек, в других, напротив, едва

насчитывалось 300—500. Полки были пешие, но при каждом полку была непременно своя конная часть от 30 до 200—300 человек. Вооружены были пешие винтовками, наполовину со штыками, наполовину без штыков, конные — шашками, иногда пиками и винтовками. Каждый полк имел свои пулеметы от 4 до 16 на тысячу человек. Если полку посчастливилось забрать у Красной гвардии пушки, то он оставлял их у себя и считал своими. В каждой станице были артиллеристы, они и приставлялись к этим пушкам. Патронов было мало. Обыкновенно 15—25 патронов на винтовку. Иметь 50 патронов на ружье считалось роскошью. Снарядов еще меньше. От 5 до 20 на орудие. Орудия были запряжены своими рабочими, но достаточно хорошими лошадьми, по 4, иногда по 6 лошадей на орудие. Конница сидела тоже на своих, и часто очень хороших, лошадях. Казаки Черкасского, 1-го Донского и отчасти 2-го Донского округов разграбили зимовники частного донского коневодства и отремонтировали свои полки отличными задонскими лошадьми. Казаки стремились служить в коннице, но недостаток в седлах удерживал их от этого. Штатный обоз был заменен частными подводами. Пулеметы возили на легких бричках и драндулетах, запряженных парами и четверками по большей части отличных лошадей. Часть обоза восточных округов были запряжены степными одногорбыми верблюдами. Обозы были небольшие. Район военных действий был так близок к станицам, что с наступлением темноты, когда бой затихал, на «позицию» являлись пешком и на телегах жены, отцы, матери и дети бойцов и приносили хлеб, молоко, мясо. Здесь иногда происходили душу раздирающие сцены, когда пришедшие находили своего близкого убитым или тяжело раненным. Легко раненные оставались в строю, и были казаки, имевшие по пяти, шести ранений.

Офицеры в полках были свои же станичники. Если их не хватало, брали казаков-офицеров из других станиц, брали офицеров и не казаков, но им первое время не доверяли и к ним присматривались. Если офицер оказывался молодец, его зачисляли к себе в станицу казаком и не отказывали в земельном наделе.

С казаками бороться против большевиков пошли и многие крестьяне, жившие поблизости от станиц и в самих станицах. Этих казаки приговором станичного общества зачисляли в казачье сословие. Такие добровольцы дрались отлично и подавали пример удали казакам.

Казаки в бою действовали великолепно, с громадным мужеством и искусством. Младшие офицеры были хороши, но в сотен-

ных и полковых командирах ощущался большой недостаток. Пережившие за время революции слишком много оскорблений и унижений старшие начальники недоверчиво относились к казачьему движению и первое время прятались по станицам и в Новочеркасске, избегая идти на фронт.

Одеты казаки были в свое полувоенное платье, многие по форме и по летнему времени достаточно хорошо. Недоставало только сапог. До 30 процентов вместо сапог имело опорки, лапти, а многие и вовсе были босиком. Почти все носили погоны. Если у кого не было погон, то не потому, что он их не признавал, а потому, что у него их не имелось и негде было достать, но при первом же случае он их добывал и с гордостью надевал на себя. Офицеры за редким исключением были в погонах. Все имели на фуражках или папахах белую полоску для отличия в рукопашном бою от Красной гвардии.

Дисциплина была братская. Офицеры ели с казаками из одного котла, жили в одной хате — ведь они и были роднею этим казакам, часто у сына в строю во взводе стоял отец или дядя, но приказания их исполнялись беспрекословно, за ними следили, и если убеждались в их храбрости, то поклонялись им и превозносили. Такие люди, как Мамонтов, Гусельщиков, Роман Лазарев, были в полном смысле вождями, атаманами старого времени, при этом Мамонтов и Гусельщиков влияли на казаков своим умом, волею и храбростью, Роман Лазарев — храбростью и удалым, бесшабашным характером, разгульным пьянством и веселою гульбою с казаками. Офицерам «своего» полка, то есть знакомым, казаки отдавали воинскую честь.

Штабы были маленькие. Штаб «отряда», ведшего совершенно самостоятельные операции, состоял из начальника штаба и одного-двух адъютантов. Для хозяйственных целей сами станицы отряжали к отряду нескольких «общественных деятелей», представителей кооперации или торговых казаков, которые распределяли добычу, взятую у неприятеля, и заботились о правильном снабжении всем необходимым отряда. Добыча, из чего бы она ни состояла, считалась собственностью отряда и сейчас же шла — одежда и оружие — на пополнение отряда, а остальное отправлялось в станицу, к себе, в дома или в общую станичную казну. На случай получения оружия от неприятеля в тылу всегда бывало достаточно мобилизованных, но еще не вооруженных казаков.

Бой был краткотечен. Если он начинался с рассветом, то обыкновенно к полудню он уже завершался полной победою. Окопов и укреплений не строили. Самое большое, что окапывались лункою для защиты плеч и головы, большею же частью лежали открыто.

Шанцевого инструмента было мало, да и окапываться мешала природная казачья леность. Тактика была проста. Обыкновенно на рассвете начинали наступление очень жидкими цепями с фронта, в то же время какою-либо замысловатою балкою двигалась обходная колонна главных сил с конницею во фланг и тыл противнику. Если противник был в десять раз сильнее казаков, это считалось нормальным для казачьего наступления. Как только появлялась обходная колонна, большевики начинали отступать, тогда на них бросалась конница с леденящим душу гиком, опрокидывала их, уничтожала и брала в плен. Иногда бой начинался притворным отступлением верст на двадцать казачьего отряда, противник бросался преследовать, и в это время обходные колонны смыкались за ним, и он оказывался в мешке. Такою тактикою полковник Гусельщиков с Гундоровским и Мигулинским полками в 2—3 тыс. человек уничтожал и брал в плен целые дивизии Красной гвардии в 10—15 тыс., с громадными обозами и десятками орудий. Отличное знание местности, природная военная сметливость казаков, их неутомимость в преследовании сильно помогали им в этой тактике, всегда основанной на маневре.

Казаки требовали, чтобы офицеры шли впереди. Поэтому потери в командном составе были очень велики. Начальник целой группы генерал Мамонтов был три раза ранен, и все в цепях.

В атаке казаки были беспощадны. Так же они были беспощадны и с пленными. Когда казаки у хутора Пономарева захватили знаменитого Подтелкова, сопровождаемого 73 казаками, оставшимися при нем, они устроили полевой суд. Полевой суд приговорил Подтелкова и двух его помощников комиссаров к повешению, а 73 казаков конвоя к расстрелу. Казнь сейчас же была приведена в исполнение в присутствии всех хуторян. Старуха казачка соседнего хутора жалела очень, что она не поспела посмотреть, «как этих злодеев вешать будут...». Пленных отправляли на работы в поля и каменноугольные копи, пленные же чистили Новочеркасск и исправляли все то, что испортили и запакостили большевики. Лишь очень небольшое число пленных ставили в строй. Особенно суровы были казаки с пленными казаками, которых считали изменниками Дону. Тут отец спокойно приговаривал к смерти сына и не хотел и проститься с ним.

Еще более жестоко обращались большевики с пленными казаками. Они вымещали свою злобу на казаков за их победы не только на пленных, но и вообще на станичном населении. Во многих станицах, занятых Красной гвардией, все девушки были изнасилованы красногвардейцами. Две гимназистки покончили с собою

после этого. Священников и стариков, почетных, уважаемых станичников пытали до смерти. На Царицынском фронте большевики привязали пленных казаков к крыльям ветряных мельниц и в сильный ветер пустили мельницы в ход — казаков завертело насмерть. Там же стариков закопали по шею в землю, и они умерли голодною смертью. Там же привязывали казаков к доскам и бросали эти доски о землю, пока не отшибало внутренности и казак не умирал. Казаки находили своих родных распятыми на крестах и заживо сожженными...

Ни один пленный большевик не был казнен без суда. Но казаки сами следили за тем, чтобы суд не давал пощады комиссарам, и суд был неподкупен и строг.

Это была в полном смысле этого слова *народная война*.

Атаман и командующий армией приложили все усилия к тому, чтобы внести полный порядок в организацию армии и боевые действия, построить организацию на началах военной науки, добиться правильного управления отрядами, *не нарушая в то же время ее народного характера*.

12 мая войсковому штабу было подчинено 14 самостоятельных отрядов: полковника *Туроверова* в Таганрогском округе, полковника *Алферова* в Верхне-Донском округе, генерала *Мамонтова* во 2-м Донском округе, есаула *Веденеева* в Усть-Медведицком, войскового старшины *Старикова* у Суворовской станицы, полковника *Абрамовича* в 1-м Донском округе, войскового старшины *Мартынова* и полковника *Топилина* в районе слобод Орловки и Мартыновки 1-го Донского округа, полковника *Епихова* и полковника *Киреева* в Задонском районе Черкасского и Сальского округов, генерала *Быкадорова* и полковника *Толоконникова* в Ростовском округе, полковника *Зубова* в Ростове и генерала *Фицхелаурова* у Новочеркасска. Только с некоторыми ближайшими к Новочеркасску отрядами была телеграфная или телефонная связь, об остальных известия получались донесениями с конными людьми, прорывавшимися сквозь занятые большевиками районы. Телеграфа было всего 340 верст и 100 аппаратов, телефона — 400 верст и 80 аппаратов, кроме того, работало 9 автомобилей и 8 мотоциклеток*.

К 1 июня командующему армией удалось связать мелкие отряды в более крупные соединения, и в управлении его находилось уже всего шесть групп: полковника *Алферова* — на севере Дона, генерала *Мамонтова* — под Царицыном, полковника *Бы-*

* Отчет управляющего военным и морским отделами и командующего Донской армией и флотом Большому войсковому Кругу в 1918 году.

кадорова — под Батайском, полковника *Киреева* — под Великокняжеской, генерала *Фицхелаурова* — в Донецком районе и генерала *Семенова* — в Ростове. Все эти группы были связаны с новочеркасским телеграфом (по большей части с аппаратами Юза) и телефоном. Кроме того, работало три радиостанции: в Новочеркасске, Каменской и Мечетинской. Все это имущество было отбито у большевиков.

К июлю командующий армией влил отряд полковника Киреева в отряд полковника Быкадорова и сократил число отдельно действующих частей до пяти. В августе месяце необходимость отражать прорыв в северо-восточной части Дона заставила создать шестой отряд полковника Топилина. В это время все Войско было опутано сетью телеграфов и телефонов, и не только с каждым отрядом, но и с каждою дивизиею, полком и отдельною сотнею можно было разговаривать из соответствующего штаба и из Новочеркасска. Всего было 1750 верст телеграфного провода при 240 аппаратах, 1200 верст телефона при 300 аппаратах, 25 автомобилей, 15 мотоциклеток и 6 радиостанций.

Командующий армией приступил к постепенной реорганизации отрядной системы в общеармейскую. К этому времени 25 возрастов казаков было мобилизовано, а всего под ружьем находилось 27 тыс. пехоты, 30 тыс. конницы, 175 орудий, 610 пулеметов, 20 самолетов и 4 бронированных поезда, не считая молодой, постоянной армии. В августе месяце по приказу атамана командующий армией постепенно заканчивал реорганизацию мобилизованных частей. Станичные полки сводились по нескольку в один, образуя номерные пешие полки двух- и трехбатальонного состава по тысяче штыков в батальоне при 8 пулеметах на батальон, конные полки были сведены в шестисотенные полки, по 16 рядов во взводе при 8 пулеметах на полк, орудия были выделены из состава полков, сведены в четырехорудийные пешие и конные батареи. Пешие полки были сведены в бригады и дивизии, конные полки тоже составили бригады и дивизии, к ним приданы артиллерийские четырехбатарейные бригады и двухбатарейные дивизионы. Дивизии сведены в корпуса, которые поставлены на четырех фронтах: Северном — для наступления на Воронежскую губернию, Северо-Восточном — для обороны Балашовского направления между Урюпинской и Усть-Медведицкой станицами, Восточном — у Царицына и Юго-Восточном — у станицы Великокняжеской.

К этому же времени почти было закончено формирование постоянной армии из молодых казаков 19—20-летнего возраста. Эта молодежь, не бывшая на русско-германской войне, не усталая,

не развращенная большевистской пропагандой, не знавшая ни комитетов, ни комиссаров, была собрана в трех лагерях — Персиановском, Власовском и Каменском — и составила 2 пехотные бригады, пластунскую и стрелковую, 3 конные дивизии, саперный батальон и технические части, а также легкую, конную и тяжелую артиллерию. Части эти были нормального российского штата, имели казенных лошадей и все казенное обмундирование и снаряжение от Войска, штатный обоз, были воспитаны, муштрованы и обучены по старым русским уставам и составляли гордость Войска Донского. Когда при открытии Войскового Круга члены Круга и население Новочеркасска первый раз увидали эти части на церковном параде, слезы умиления текли по лицам старых казаков. Былая, славная армия, армия 1914 года возродилась в лице этих бравых юношей, отлично кормленных, развитых гимнастикой, прекрасно выправленных, бодро маршировавших по площади в новой щегольски пригнанной одежде. Умиленный Круг потребовал отдачи об этом приказа, который был составлен председателем Круга в следующих выражениях:

«Донские орлята! 16 августа на Соборной площади своей столицы у памятника народного героя — Ермака Тимофеевича — члены Большого войскового Круга видели вас на параде.

Слезы гордости и бесконечной радости блестели у ваших дедов и отцов, когда вы стройными и мощными колоннами проходили мимо войсковых регалий и старых боевых знамен — немых свидетелей былых подвигов и славы казачьей.

Только два с половиной месяца прошло с тех пор, как вы слетелись с вольных хуторов и станиц на службу Тихому Дону. Но успела уже вырасти за это короткое время из вас молодая и сильная армия.

Крепкое казачье спасибо, родные, шлет вам Большой войсковой Круг за вашу службу.

Бог в помощь вам и на будущее время.

Разъедутся члены Круга по всему Войску Донскому и разнесут по всем уголкам горделивую весть о том, что не погиб еще наш седой Дон, так как есть у него молодые орлы, которые смогут сберечь его честь и седую славу...»

26 августа донской атаман представил Большому войсковому Кругу всю Молодую армию, собранную под Новочеркасском в Персиановском лагере. Всего было 7 батальонов, 33 сотни спешенных казаков, 6 батарей без запряжек (одна прислуга), 16 конных сотен, 1 мортирная батарея и 5 аэропланов. Этот парад произвел неизгладимое впечатление на членов Круга. По окончании парада головные взводы всех частей были вызваны на середину

фронта. Составилась внушительная колонна. К ней подошел председатель Круга В.А.Харламов, окруженный членами, и сказал следующую, вылившуюся из сердца речь:

«Большой войсковой Круг Всевеликого Войска Донского рад видеть свою родную армию.

Привет вам, молодые донские орлы, от Тихого Дона сверху донизу и снизу доверху.

Вы призваны на защиту Дона, его прав и вольностей. Мы, казаки, ни на кого не нападали; на нас напали предатели, погубившие могучую русскую армию и нашу родину.

Дон всколыхнулся, взволновался, грудью встал на защиту своего существования, своих прав, своего достояния. Но отстоять свое существование, свои права и достояние может только тот народ, то государство или область, который имеет сильную армию.

Армия сильна железной дисциплиной. Революционной дисциплины нет — есть одна дисциплина. Она требует точного, неуклонного, немедленного и безоговорочного исполнения приказов начальства. Воля начальства — закон для каждого: от генерала до казака.

Одна мысль, одна воля должны направлять и двигать армию. Никаких комитетов, никаких комиссаров в ней не должно быть. Армия сильна, когда она не занимается политикой. Политика — дело избранников населения и правительства. Помните, что на страже интересов армии и населения должны стоять его избранники.

Армия сильна, когда между начальством и подчиненными существует полное единодушие, когда она составляет одну семью, проникнутую духом чести и рыцарства.

Я убежден, что такую сильную армию Большой войсковой Круг видит в вас. Донские орлы! Передайте вашим братьям по оружию, что Большой войсковой Круг гордится своей армией. Круг убежден, что в ней он имеет могучую, неодолимую силу, грозную для всех врагов Дона, и что долг свой перед родным краем и родиной армия выполнит до конца.

В честь Донской армии и ее вождей — дружное могучее «ура»! Объявляю Донской армии постановление Большого войскового Круга о производстве донского атамана генерал-майора Краснова в чин генерала от кавалерии...»

Громовое «ура» раздалось по полю. Однако враги атамана не дремали и тут. Они здесь же, на персиановском военном поле, среди членов Круга стали говорить, что парад — это пускание пыли в глаза Кругу. Молодые казаки умеют только маршировать с носка под музыку и совершенно не готовы для боя. Члены военной комиссии попросили показать тактическое учение пехоты

и конницы. Для этого был вызван 3-й стрелковый полк из крестьян Донского войска, который на глазах Круга произвел примерное наступление, потом произвела конное учение сотня 1-го Донского казачьего полка. Члены Круга в полной мере были удовлетворены виденным. Но злые языки не унимались.

«Вот посмóтрите, — говорили они, — что армия эта никуда не годится. В бою она побежит перед большевиками. Армию надо учить на войне, а не в учебных лагерях».

Но не прошло и недели после парада, как телеграф принес известие о громкой победе 1-й пластунской бригады и 2-й Донской казачьей дивизии над большевиками в Чирском районе. Части Молодой армии наступали как на параде, не ложась, неся винтовки на ремне, противник бежал перед ними, а когда они залегли и открыли меткий огонь по врагу, то сильные позиции красных были ими покинуты. Молодая армия получила боевое крещение и показала, чего она стоит.

«Впечатление от всего виденного на параде, — пишет Г.Щепкин, — незабываемое... Члены Круга были поражены, ослеплены таким результатом 3-месячной работы, и их «ура» долго слышалось из поезда при возвращении в Новочеркасск»*.

Ввиду того, что почти все станицы Войска Донского расположены по реке Дон и в летнее время река Дон является такою же важною артерией, как и железнодорожные пути, атаман одновременно с постройкою броневых поездов был озабочен и созданием речной флотилии. Часть пассажирских пароходов была приведена в боевое положение, на них поставлены полевые орудия на вращающихся платформах и установлены пулеметы. Было положено начало боевому флоту. К зиме 1918 года в Донском флоте было восемь судов: яхта «Пернач», бывшая океанская яхта великого князя «Тамара», речные пароходы «Донец», «Кубанец», «Цимла», «Вольный казак» и «Новочеркасск» и морские пароходы «Христофор» и «Сосиетэ». Речные пароходы несколько раз совершали боевые плавания по Дону, очищая от большевиков захватываемые ими станицы, особенно Цимлянскую и Нижне-Курмоярскую, а пароходы «Христофор» и «Сосиетэ» плавали в порты Румынии и Крыма и доставили оттуда для Донской армии 12 шестидюймовых морских длинных пушек Канэ, которые были установлены на изготовленные в Ростове броневые поезда, 4 мелких орудия Канэ, 100 пулеметов, 9 аэропланов, 500 тыс. ружейных патронов и 10 тыс. снарядов. Для подго-

---

* *Г.Щепкин.* Донской атаман генерал от кавалерии П.Н.Краснов, с. 48.

товки личного состава Донского флота был устроен в городе Таганроге флотский береговой батальон.

К зиме 1918 года Донская армия и флот приняли стройную организацию, были снабжены всем необходимым, закалены в постоянных боях с неприятелем и были готовы к наступлению *совместно с союзниками* и Добровольческой армией на Москву для спасения России.

Армия имела к этому времени 1282 офицера, 31 300 бойцов на фронте, 79 пушек и 267 пулеметов и, кроме того, Молодую армию в составе 20 тыс. бойцов. Технические средства армии состояли из 68 самолетов, 14 броневых поездов, 3 броневых автомобилей, химического взвода, имевшего 257 баллонов с удушливыми газами и 15 тысяч дымовых шашек, 450 самокатов, более 3 тыс. верст телеграфного и телефонного кабеля и с лишком 2 тыс. аппаратов. Донская армия руководствовалась своими строевыми уставами и наставлениями, в достаточном количестве напечатанными в Новочеркасске и представляющими из себя исправленные и дополненные по опыту русско-германской войны уставы и наставления Российской императорской армии.

Войско Донское имело свой Донской кадетский Императора Александра III корпус на 622 кадета, с приготовительным пансионом для малолетних на 40 сирот; Новочеркасское казачье военное училище с отделениями: пластунским (пехотным), казачьим (кавалерийским), артиллерийским и инженерным; Донскую офицерскую школу с такими же отделениями; самолетную школу и военно-фельдшерские курсы.

Артиллерийским, инженерным и интендантским довольствием Донское войско снабжалось сначала исключительно ввозом из Украины, но постепенно все снабжение ставилось самостоятельно. Достаточно сказать, что потребность Войска выражалась в следующих цифрах:

Шинелей и полушубков	76 505	Войско дало 89%
Рубах походных	76 505	» 85%
Шаровар походных	76 505	» 87%
Белья тельного	229 515	» 86%
Папах и фуражек	153 010	» ...... $43^1/_2$%
Обуви	153 010	» 26%
Седел	25305	» ...... $^1/_5$%
Людской амуниции и патронташей	153 010	» ...... $32^1/_2$%

Для этой цели войсковое интендантство организовало суконную фабрику с производством 500 аршин сукна шинельного и рубашечного в месяц и поставило на работы все военно-ремесленные школы.

С весны 1919 года Донская армия должна была совершенно выйти из-под иностранной опеки, но обстоятельства сложились иначе. Нужно внимательно проследить за ходом боевых операций на Дону для того, чтобы вполне уяснить, почему Войско Донское, так успешно развивавшееся до прихода союзников на юг России, погибло, как только слилось с Добровольческой армией.

Историю борьбы донцов с большевиками можно разделить на следующие три периода.

Период первый — народная война казачьей народной армии против разбойничьих шаек большевиков — Красной гвардии.

Период второй — народная война казачьей народной армии против Красной рабоче-крестьянской народной армии за целость своих станиц.

Период третий — классовая война Добровольческой армии, в которую влились, как части, казачьи армии, против рабоче-крестьянской Красной армии. Первые два периода были при косвенной помощи германцев, последний — под руководством и при материальном участии союзников — французов и англичан.

Глава восьмая

Постепенное очищение Войска Донского от большевиков. — Соединение восставших казаков на севере с южными округами. — Образование единого фронта. — Движение за пределы Войска. — Необходимость посторонней поддержки

Немедленно по овладении Новочеркасском полковник Денисов, произведенный Кругом спасения Дона в генерал-майоры, решил для окончательного закрепления за собою Новочеркасска овладеть городом Александро-Грушевским, куда отступили красные войска. Эта операция была поручена Северной группе войск под начальством генерал-майора Фицхелаурова.

28 апреля* генерал Фицхелауров с боем занял город, а вслед за тем своими конными частями очистил весь угольный район и призвал рабочих к мирной работе.

* Числа проставлены по старому, православному стилю.

Одновременно в Донском округе, на реке Белой Калитве, 25 апреля самостоятельный станичный Ермаковско-Екатерининский отряд разбил красногвардейский эшелон и отнял целый поезд с боевыми припасами (около 5 тыс. артиллерийских снарядов и 600 тыс. ружейных патронов), и тогда же пришло известие о крупной победе казаков Мигулинской станицы над большевиками, где тоже была взята значительная добыча.

Все это заставило только что назначенного командующим армией молодого и решительного генерала Денисова спешить для соединения с восставшими казаками и развить действия на север и северо-восток.

Генералу Фицхелаурову было приказано начать наступление к станице Каменской, по овладении которой повернуть на восток и стремиться к соединению с восставшими казаками 2-го Донского округа, ведшими упорные бои у Нижне-Чирской станицы.

В отряде генерала Фицхелаурова насчитывалось 9 тыс. пехоты и конницы при 11 орудиях и 36 пулеметах.

Между 15 и 19 мая генерал Фицхелауров выбил сильный отряд «товарища» Щаденко из Морозовской станицы, заставил его отойти к станции Суровикино и начал наступление на Суровикино. Отходящие вдоль железной дороги к Царицыну части Щаденко напали с тыла на части генерала Мамонтова и поставили его в очень тяжелое положение, принудив бороться на два фронта. Были дни, когда положение генерала Мамонтова, имевшего очень мало патронов, было критическим. Казаки Мамонтовской группы уже готовы были призвать на помощь нёмцев, но донской атаман не разрешил им этого, убедивши, что они сами справятся с большевиками.

1 июня войска генерала Фицхелаурова и генерала Мамонтова совместными усилиями овладели станцией Суровикино и принудили Щаденко бросить железную дорогу и грунтовыми путями отойти к станции Чир.

Это была первая победа донцов, имевшая стратегическое значение. Благодаря уничтожению отряда Щаденко казаки Верхне-Донского, Донецкого и 2-го Донского округов объединились с казаками южных округов, и таким образом из десяти округов восемь получили единое командование, да и с боровшимися на севере Войска Донского в Хоперском и Усть-Медведицком округах отрядами была установлена связь. Главное было достигнуто. Командующий армией приступил к систематической очистке станиц и слобод от Красной гвардии.

Здесь ему и донскому атаману пришлось столкнуться с местным казачьим патриотизмом. В некоторых казачьих частях были

митинги и выносились резолюции о том, что сражаться надо только за станицы своего округа и не переходить его границ. Многие окружные атаманы, атаманы станиц и даже просто коменданты станций и пристаней самовольно выносили постановления о невывозе из пределов станиц хлеба, реквизировали проходящие через них грузы. Большевистский яд крепко впитался в их натуру, и Дону грозила опасность расколоться на части и погибнуть во взаимной вражде. Атаман суровыми мерами расправился с митинговавшими полками, предал полевому суду самовольцев — эти меры, с одной стороны, с другой — благородный порыв некоторых полков, например Гундоровского и Егорлыцкого, которые по первому приказу выступили за пределы своих округов и пошли отстаивать Войско, а не свои станицы, вернул армию к порядку. Эти случаи заставили спешить атамана с постепенным уничтожением станичных дружин и заменой их номерными полками, где местный патриотизм был бы сглажен и заменен патриотизмом общевойсковым. Эти случаи показали атаману, как нужно быть осторожным при подготовке армии к походу за пределы Войска.

Наступление донских частей на север и восток продолжалось. Генералу Фицхелаурову скоро удалось связаться с полковником Алферовым, который еще 14 мая, собравши казаков подле Зотовской станицы, начал успешную борьбу против Красной гвардии. В Хоперском округе ничего не знали ни об освобождении Новочеркасска, ни об избрании атамана. Почти одновременно и генерал Мамонтов вошел в связь с отрядами полковников Старикова и Секретева, очищавших от большевиков Усть-Медведицкий округ.

К концу мая все Войско Донское представляло единый фронт, подчиненный командующему армией и атаману и имеющий своею базой Новочеркасск и Украину. Отделу снабжения надо было лихорадочно работать, чтобы укрепить этот фронт оружием и средствами борьбы и не дать храбрецам дойти до отчаяния.

Прочная база на Украине, возможность благодаря германским гарнизонам быстро наладить транспорт и заставить работать железные дороги — все это помогло атаману довести восстание казаков до страшного напряжения и обратить его в правильную планомерную войну с Красной гвардией.

5 июня командующий армией снарядил речной десантный отряд из пароходов «Новочеркасск» и «Донец» в составе Каменского полка силою около 2 тыс. штыков и конной сотни под общим начальством полковника Дубовского и послал этот отряд вверх по Дону для окончательной очистки левобережных станиц. Отряд ос-

вободил от большевиков станицы Каргальскую и Романовскую и помог Цимлянскому, Нижне-Курмоярскому и Потемкинскому отрядам овладеть всем левым берегом. Красногвардейцы должны были покинуть богатые придонские станицы и хутора и уходить в степь. Здесь им пришлось столкнуться с отрядами, посланными в Задонье. Красная гвардия базировалась на железную дорогу Царицын—Торговая—Тихорецкая. Центральные станции этой дороги Котельниково и Великокняжеская явились сильными узлами обороны. Кавказские большевики, не тревожимые пока никем, сообщались с Царицыном, и силы казаков, слишком незначительные, не могли сломить сопротивления большевиков.

В первых числах июня Добровольческая армия, снабженная и окрепшая в Мечетинской, вышла из своего инертного состояния и начала наступление на Сосыку и Торговую. Одновременно и войска Задонской группы Донской армии были двинуты на Торговую и Великокняжескую.

17 июня донцы совместно с добровольцами заняли Великокняжескую станицу. В Великокняжеской добровольцы оставили свой гарнизон, а донцы самостоятельно продолжали наступление и заняли станции Двойную, Куберле и Зимовники и, таким образом, стали выходить во фланг и тыл большевистским бандам, боровшимся против Мамонтова у станции Чир. Гнездо большевиков, слобода Мартыновка, упорно защищавшаяся от казаков и не признававшая атаманской власти, была окружена и через месяц осады сдалась...

История этого периода борьбы в глубине донских степей изобилует полными драматизма эпизодами. Нет возможности описать всех ужасов, всей нравственной нелепости гражданской войны братьев со своими братьями. Казаки долго не могли овладеть Мартыновкой лишь потому, что против нее действовали полки 1-го Донского округа. Большинство казаков имело своих жен из Мартыновки, и, обратно, многие крестьяне слободы были женаты на местных казачках. Борьба между родичами обращалась в нелепость. Ни казаки, ни слободские большевики не подходили друг к другу ближе чем на две версты, боясь поранить своих. Только тогда, когда атаману удалось вывести части 1-го Донского округа на фронт 2-го Донского округа, а к Мартыновке направить полки Донецкого округа, «родственная» война окончилась, и Мартыновка была захвачена.

Движение Добровольческой армии наперерез Владикавказской железной дороге заставило большевиков, торчавших под

самым Новочеркасском — в Азове, покинуть побережье Азовского моря и отходить на Кубань. 13 июля на юге Войска не оставалось больше большевиков, и Новочеркасск мог быть совершенно спокойным.

Командующий армией стал перебрасывать войска с юга для развития операций на севере по направлению к Воронежу и Камышину.

17 июля казаки-хоперцы овладели станциями Филиппово, Панфилово и Кумылга и отрезали Царицын от станции Поворино. Одновременно генерал Фицхелауров вышел к границам Саратовской губернии.

Генерал Мамонтов, оправившись после тяжелых июньских боев у Суровикина, пополнивши свои части и, главным образом, получивши сильную артиллерию, 21 июля перешел в наступление и, сбивши противника с позиции у станции Чир, к 31 июля выгнал его за пределы области и сдавил у Царицына.

Наконец 27 июля части полковника Алферова вышли на севере за пределы Войска и захватили город Богучар Воронежской губернии, который стал опорным пунктом казаков для освобождения России от большевиков.

Но мысль соединиться с добровольцами, дождаться помощи союзников и идти спасать Москву от большевиков атаман мог хранить в сердце своем и никому не высказывать.

Войско Донское было свободно от Красной гвардии, в Новочеркасске собрался Войсковой Круг и приступил к созданию «конституции» и внутреннему строительству. Интеллигентная часть Круга, понимая, что не может быть Войска Донского вне и независимо от России, стояла на дальнейшем развитии военных действий, серая часть Круга, громадное большинство, стояли на принципе «без аннексий», «при свободном самоопределении народов» и самоопределилось в пределах земли Войска Донского, не желая переходить его границы.

Что такое были границы Войска? Границы губернии, межи, часто идущие прямо по степи без всякого признака границы. И только потому, что эта нива принадлежит казаку, а другая рядом — крестьянину Саратовской или Тамбовской губернии, можно было узнать, что это граница. Но для казаков это было все. И дальше идти они не желали.

Атамана выбрала серая часть Круга. Она ему верила, и она вверила ему свои судьбы. И эта серая часть Круга определенно говорила: «Что нам Россия? От нее нам были всегда одни лишь непри-

ятности да обиды». Россия и «царский режим» отождествлялись. А царский режим — это тяжелая повинность, казаки на задворках русской конницы, презрительно-ласковое «казачки» и оскорбительное «нагаечники», «палачи», «опричники»!

— Вы посмотрите, какое Войско Донское маленькое, — говорили атаману серые донцы, — может ли оно одно идти спасать Россию? Да и с какой стати! Коли она сама спасаться не хочет. Пусть поднимается, как мы, и идет спасать себя. А на что добровольцы? Засели на Кубани, по Кисловодскам шатаются, а настоящей войны не хотят! Мы хотим мира — и айда по домам. Ведите переговоры с советскими, чтобы, значит, нас не трогали, и мы их не тронем!

И, несмотря на всю свою силу почти самодержца, атаман чувствовал себя бессильным. Перейти границы Войска Донского — это значило из народной войны сделать войну гражданскую, завоевательную в лучшем случае, идти ради добычи, ради грабежа.

Создавался заколдованный круг — идти надо, но идти нельзя. Пойдешь вперед — не будешь иметь успеха, все повернется против тебя.

Атаману удалось добиться постановления Круга о переходе границ Войска Донского, которое было выражено в приказе Всевеликому Войску Донскому следующими словами: «Для наилучшего обеспечения наших границ Донская армия должна выдвинуться за пределы области, заняв города Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач в районах Саратовской и Воронежской губерний»*.

Но это была мертвая буква. За границу шли неохотно.

«Пойдем, если и русские пойдут», — говорили казаки.

Атаман снесся с генералом Деникиным. Он снова и весьма настойчиво просил его оставить кубанцев самих доканчивать освобождение Кубани, как это сделало Войско Донское, а самому идти на Царицын и Воронеж. Атаман писал, что Добровольческая армия и кубанцы имеют против себя одну деморализованную банду «товарища» Сорокина, тогда как на севере силы большевиков крепнут и сопротивление их почти неодолимо. Екатеринодар занят, 11 сентября на Кубани созывается Рада казачья, самое время генералу Деникину идти и становиться самостоятельным, вне казаков.

Но генерал Деникин отказал в этом атаману. Он должен оставаться на Кубани, пока не освободит от большевиков всего

---

* Приказ Всевеликому Войску Донскому № 844. Отчет управляющего военным и морским отделами и командующего Донской армией и флотом. Новочеркасск, 1919, с. 4.

Северного Кавказа. Он откладывал свое движение на север и совместные действия с донцами. Он не хотел работать рядом с атаманом, сила и популярность которого в Войске была сильнее его популярности. Ему приятнее было иметь дело с мягким и податливым Филимоновым, нежели с крутым и твердым донским атаманом. С Радой он не считался, с Кругом и донским атаманом пришлось бы считаться. Генерал Деникин в это время уже не был ни солдатом, ни горячим патриотом — он был политиком. Политика приковывала его к Екатеринодару и Новороссийску.

Он ждал союзников.

Глава девятая

В поисках союзников. — Украина. — Состояние воинских сил Украины. — Беспомощность гетмана Скоропадского. — Переговоры Украины с Советской республикой. — Свидание гетмана Скоропадского с донским атаманом на станции Скороходово. — Переписка по этому поводу со штабом генерала Деникина. — Необходимость создания неказачьей армии на севере Донского войска

В этом тяжелом положении атаман все чаще и чаще присматривался к тому, что делалось рядом на Украине. Левый фланг его армии и отчасти тыл, губернии Харьковская, Екатеринославская и Херсонская, были Украиной. Пока на Украине был порядок, пока была дружба и союз с гетманом, атаман мог быть спокоен за свой левый фланг. На гетмана Скоропадского атаман мог положиться. Гетман был старым товарищем, почти другом атамана по службе в 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, и, пока П.П.Скоропадский находился на Украине, атаман мог быть спокоен за свой тыл и фланг. Мало того, с Украиной начинался правильный товарообмен, Дон получал от нее не только оружие и снаряжение, но получал сахар, кожу, сукно и мог развивать свою торговлю.

Но мог ли атаман быть спокоен и уверен в том, что в буре, бушевавшей над Россией, гетман Скоропадский устоит? Будет ли он тем дубом, которому не страшны стихии? Умиротворяется ли действительно Украина, или ее благополучие чисто внешнее?

Донесения атамана Зимовой станицы в Киеве генерал-майора Черячукина беспокоили атамана. Атаман с детства усвоил, что может быть свободно только то государство, которое опирается на сильную национальную армию.

У гетмана армии не было. Немцы мешали ему создать таковую. Они боялись осложнений, они оккупировали Украину для своих целей, и им украинская армия была не нужна. Украинские верхи, посаженные волею немцев, боялись объявлять мобилизацию и собирать армию: большевизм был слишком силен в низах, и такая армия могла легко подпасть под пропаганду большевиков или быть увлеченной авантюристами, коих много бродило тогда по Украине.

Гетман и его приближенные считали, что в то время можно было рассчитывать только на немцев, а если уж придется создавать армию, то создавать ее на особых началах из вольнонаемных добровольцев, набираемых из крестьян-собственников.

На Украине создание армии шло прямо противоположно тому, как создавалась армия на Дону. На Дону народ поднялся против большевиков, собрался в дружины, дружины призывали офицеров, а затем уже работою командующего армией генерала Денисова и его штаба эти дружины выкристаллизовались в полки, дивизии, корпуса и армии, и туда пришлось назначить соответствующих начальников. На Украине целый ряд генералов и офицеров получил назначения командиров корпусов, начальников дивизий и командиров полков, надел оригинальные украинские жупаны, расшитые шнурами, со сборками сзади, отпустил оселедцы, навесил кривые сабли, занял казармы, наклеил вывески на украинском языке, напечатал уставы по-украински, ввел немецкие слова в команды*, издал множество очень интересных военных книг с обложками на украинском языке и с содержимым на русском, но солдат в армии не было.

Создавалась в Киеве из молодых земельных собственников прекрасная дивизия «сечевых стрельцов», были офицерские батальоны и народный Сумской гусарский полк, но это были тысячи человек, тогда как для защиты Украины и для войны с большевиками требовались сотни тысяч.

Переговоры о мире с Советской республикой затягивались и выливались в форму праздной болтовни и пустого митинга. Советская республика недвусмысленно грозила восстанием в тылу, общественные деятели левого толка, подобные Петлюре, подни-

---

* Например: «Смирно! Равнение направо!» по-украински — «Ахтунг! Струнко направо!»

мали голову и говорили против гетмана, и если все это еще не выступало открыто, то только потому, что молчаливо стояли повсюду часовые в германских касках и грозное «halt» заставляло поджимать хвосты самых смелых политических шавок.

Однако гетман чувствовал, что опираться вечно на германские войска невозможно, что Украина одна не может существовать, и он решил создать тесный оборонительный союз, слившись с Доном, Кубанью, Крымом и народами Кавказа, а также самостоятельною Грузиею. Это входило и в немецкие планы, и при содействии германского командования 20 октября (ст. ст.) на станции Скороходово между Полтавой и Харьковом в поезде гетмана Скоропадского между атаманом и гетманом состоялось политическое свидание.

Атаман прибыл на Скороходово в своем поезде из трех вагонов в сопровождении генерала Свечина, двух адъютантов и майора Кокенхаузена. Его сопровождал почетный караул из казаков атаманского конвоя, одетых в прежнюю, 1914 года, казачью форму.

Гетмана сопровождали его военный министр полковник Сливинский, начальник снабжения Молов, флигель-адъютант полковник Зеленевский, атаман Зимовой станицы в Киеве генерал Черячукин и другие лица свиты. С гетманом был офицерский караул, и, кроме того, при нем был германский конвой.

После завтрака в вагоне гетманского поезда и общей беседы, касавшейся главным образом снабжения Донской армии, гетман остался наедине с атаманом и здесь в откровенной беседе высказал свои политические взгляды на будущее России.

— Вы, конечно, понимаете, — говорил гетман, — что я, флигель-адъютант и генерал свиты Его Величества, не могу быть щирым украинцем и говорить о свободной Украине, но в то же время именно я, благодаря своей близости к государю, должен сказать, что он сам погубил дело империи и сам виноват в своем падении. Не может быть теперь и речи о возвращении к империи и восстановлении императорской власти. Здесь, на Украине, мне пришлось выбирать — или самостийность, или большевизм, и я выбрал самостийность. И право, в этой самостийности ничего худого нет. Предоставьте народу жить так, как он хочет. Я не понимаю Деникина. Давить, давить все — это невозможно... Какую надо иметь силу для этого? Этой силы никто не имеет теперь. Да и хорошо ли это? Не надо этого! Дайте самим развиваться, и, ей-богу, сам народ устроит это все не хуже нас с вами...

Меня упрекают за то, что я вел переговоры с императором Вильгельмом и ездил к нему... Шульгин в Екатеринодаре пишет

бог знает какие статьи про меня. Называет меня изменником. И к нему пристала вся интеллигенция, все те общественные деятели, которых я спас от большевистской петли!

Я прошу вас быть посредником между мною, Деникиным, кубанцами, Грузией и Крымом, чтобы составить общий союз против большевиков. Разве не можем мы или наши представители съехаться где-либо и сговориться? Мы все русские люди, и нам надо спасти Россию, и спасти ее мы можем только сами. Поверьте, никакие немцы, никакие англичане или французы нас не спасут...

На совещании было решено, что атаман снесется с генералом Деникиным для устройства совместных с украинцами переговоров. Там же атаман заручился согласием гетмана на создание на средства гетмана особой русской армии в юго-восточном углу Харьковской губернии, которая заслоняла бы Войско Донское от большевиков со стороны Воронежской и Курской губерний.

В 6 часов вечера атаман уехал со станции Скороходово и 21 октября прибыл в Новочеркасск. В тот же день он писал генералу Лукомскому, заведующему политическою частью Деникина, в Екатеринодар:

«Я вчера виделся с гетманом Скоропадским. Цель нашего свидания — установление более дружеских отношений, слияние отдельных частей раздробившейся России, объединение для общей борьбы с большевизмом, борьбы для освобождения России. Вы отлично понимаете, что гетман не может громко говорить о борьбе с большевиками, потому что он не имеет для этого армии и вынужден «играть в мир» с Советской республикой. Но тайно и он, и те русские люди, которые его окружают, хотят и готовы помогать и Войску Донскому, и Добровольческой армии, и Кубани в этом общем нашем деле: освободить Россию от нестерпимого гнета большевизма. Гетман готов делиться со всеми нами имуществом складов, патронами, снарядами и т.п., готов помогать и денежно, потому что Украина все-таки богаче Дона и Добровольческой армии.

Тут не может быть разговора о так навязших в зубах ориентациях. Снаряжение и вооружение русское, наследство разложившейся под язвами большевизма и разбежавшейся российской республиканской армии, деньги даны русскими людьми, русскими банками.

Я совершенно искренне говорю вам, Александр Сергеевич, та политика обособленности от России и ее частей, которую ведет Добровольческая армия, к добру не приведет. Вы все ждете *барина. Вот приедет барин — барин нас рассудит.* Но время идет и несет свои неудачи, и падает вера в силы. Нельзя рассчитывать на чужеземную

помощь, надо работать самим, самим в своем творчестве искать жизненные силы. Иначе мы будем как цветок, подвязанный к палке, хилый и больной. Выдерните палку, и он упадет и завянет.

Вы живете надеждами, что через две недели придут иностранцы и помогут вам и войсками, и снарядами, и одеждой, и деньгами. Этою надеждою вы заразили даже и мою армию, и на Царицынском фронте ждут французов. И дух от этого не повышается, а падает.

А если не придут?

Я вам прямо говорю — так скоро, наверно, не придут. То есть могут приехать отдельные люди, новые и новые возбудители надежд, но реальная сила — тысяч сорок войска, комплектов 200—300 тысяч одежды и вооружения при самых благоприятных условиях ранее декабря не придут. Да и придут ли?

А ведь вы все надежды возлагаете на них. Я не знаю, как одета и обута ваша армия, но про свою могу сказать — у меня две трети не имеет сносных сапог, одна треть совсем не имеет сапог, обута в лапти, даже офицеры! Не только полушубков, не только телогреек, но даже шинелей далеко не хватает. Патронов осталось только 13 миллионов. А война идет страшно жестокая. Я имею дело с 4 красноармейскими армиями, руководимыми генералами русского Генерального штаба, армиями, богато снабженными и отлично вооруженными.

Скажите по совести, имею ли я право при таких обстоятельствах отказываться от помощи оружием и снаряжением, не брать синицу в руки и ожидать журавля в небе?

Задайте себе тот же вопрос, и я думаю, что, когда вы трезво посмотрите на свою армию, на своих солдат и офицеров, когда вы вспомните всю ту великую кровь, которою вам приходится добывать победы, вы поймете, что ждать нельзя. Да, поверьте, и *барин*, которого вы ждете и которому хотите поднести свою непоколебимую верность обещаниям, поймет, что иного выхода не было.

Да, для Добровольческой армии есть еще выход — славно погибнуть, но будет ли это на пользу России, которая вся ждет от вас чуда? Могут ли погибнуть Дон, Кубань, Украина — их гибель не будет ли гибелью всего дела?

Нам нужно просто только столковаться. Ведь не дети же мы? Капризные своенравные дети, которые друг друга в чем-то обвинили и не хотят разговаривать один с другим.

Верьте мне, не политиканы же и газетчики, которые, как вороны, слетелись в Екатеринодар, спасут Россию. Ведь то, что теперь происходит в Екатеринодаре, так напоминает январь и февраль месяцы этого года в Новочеркасске. Говорить о будущем России,

всей России, еще рано — надо освободить ее. Нельзя делить шкуру медведя, не убивши самого медведя. Убить этого медведя каждому из нас порознь трудно, почти невозможно. Надо соединиться.

Ведь нам надо только столковаться и понять друг друга.

«Tout comprendre c'est tout pardonner»[1].

Гетман предполагает на этих днях обратиться к Добровольческой армии, Дону и Кубани, если возможно — Тереку, Грузии и Крыму, чтобы всем этим образованиям выслать определенное число депутатов на общий съезд. Цель этого съезда пока *только одна*: выработка общего плана борьбы с большевиками и большевизмом в России, чтобы наши действия не были отрывочными и эпизодическими, но в полной мере планомерными. И я надеюсь, что протянутая рука единения и дружбы не будет вами оттолкнута. Ведь это еще шаг по пути к единой и неделимой России, не предрешая ее будущего. Не будем же мы сами толкать Украину на взятый ею ложный путь самостийности. Соберемся и столкуемся, памятуя, что L'union fait la force[2], и никто не посмеет бросить камень в русских людей, которые стремятся соединиться, а не разойтись»*.

Но протянутые гетманом и атаманом руки остались не принятыми. Все не нравилось Деникину в этом письме. Во-первых, предложение о съезде исходило не от него, а от гетмана, а во-вторых, согласиться на разговоры с гетманом, Грузией и Крымом значило признать их самостоятельность. От кого? Этим вопросом Деникин и его правительство не задавались. От Добровольческой армии, конечно, которая олицетворяла всю Россию и являлась ее эмблемой. В-третьих, письмо говорило о союзнической помощи и сомневалось в ней, а это было недопустимо с точки зрения Добровольческой армии, и, наконец, до сведения Добровольческой армии дошли слухи о том, что в Киеве собирается какая-то Южная армия. Генерал Деникин усмотрел в этой армии злой умысел, каверзу, придуманную немцами для того, чтобы ослабить Добровольческую армию и не пускать в нее офицеров из России, задерживая их на Украине. Почти одновременно с письмом в Екатеринодар приехал из Киева генерал А.М.Драгомиров, который весьма сурово и жестко высказывался про гетмана Скоропадского и про его германофильскую политику.

---

[1] «Все понять — значит все простить» (*фр.*).

[2] Единение — это сила (*фр.*).

* Письмо донского атамана А.С.Лукомскому от 22 октября 1918 г. Из Новочеркасска. Весьма секретно, № 15.

28 октября помощник главнокомандующего и начальник военного и морского отдела Добровольческой армии генерал Лукомский письмом за № 007 ответил атаману, что он считает необходимым начать переговоры по выработке соглашения и об условиях такового, но в основу этих переговоров должно быть поставлено единое командование, единая власть генерала Деникина. Письмом от 2 ноября за № 002/72 ш. генерал Лукомский развил свои мысли по этому поводу:

«Командование Добровольческой армии, ставя своими задачами объединение осколков бывшей России в Единую, Неделимую Россию и исходя из известных вам, связанных с конечной целью основных положений, отнюдь не может быть нетерпимо и недоброжелательно к тем русским людям и силам, которые определенно выразили и выражают однородные с Добровольческой армией стремления...»

Итак, в задачах Добровольческой армии и в тех задачах, которые ставили себе Украина и Дон и к которым они хотели привлечь Добровольческую армию, Грузию, Крым, Кубань и народы Северного Кавказа, было существенное расхождение. Гетман и атаман первою задачею ставили борьбу с большевиками и уничтожение большевизма в России, и только по завершении этой задачи они склонялись решать вопрос о будущем России. Добровольческая армия ставила если не первой своей задачей, то, по крайней мере, задачей одновременной с борьбой с большевиками *«объединение осколков бывшей России в Единую, Неделимую Россию»* — иными словами, уничтожение самостоятельной Украины, самостоятельной Грузии, посягательства на полную автономию Крыма, Дона и Кубани. Если Скоропадский и Краснов, как русские люди, не менее русские, нежели Деникин, могли пойти на это, то гетман и атаман идти на это, не предавая избравший их народ, не могли.

Генерал Лукомский указывал атаману, что Добровольческая армия не согласна с политикой атамана и энергично протестует против некоторых действий атамана. Так, атаман 21 октября для успокоения умов казаков, взволнованных сильною затяжкой и изнурительностью войны с большевиками, в приказе Войску Донскому за № 1263 писал: «Недалеки те дни, когда вновь сформированная Народная армия сменит в боевой линии донских казаков». Генерал Лукомский усматривал в этом, что «дальнейшая борьба за воссоздание Единой России уже не составляет задачи и обязанности Войска Донского, как части общего организма, стремящегося к этой конечной цели. Проводимые таким образом в народную

казачью массу воззрения верхов, безусловно, могут в будущем послужить благодарной и не лишенной юридической обоснованности почвой для отказа донских казачьих частей к выполнению общих боевых задач по освобождению центра России от деспотизма большевиков и тем, следовательно, могут причинить трудно даже ныне предвидимый вред общему делу спасения Отечества. Опасность такой постановки вопроса ясна до очевидности. Всецело разделяя Вашу оценку значения заслуг Войска Донского в деле борьбы с большевизмом, командование Добровольческой армии тем не менее считает, что до окончания борьбы и до полного низложения власти большевиков не может быть речи об уклонении казачьих войск от этой общей цели, и потому считает указанное место приказа одним из очень серьезных поводов к порождению недопустимых разногласий...»*

Командование Добровольческой армии настаивало на уничтожении этого приказа.

Академически генерал Лукомский и генерал Деникин, конечно, были правы. Донские казаки должны были умирать за свободу Родины. Но мог ли требовать этого атаман, когда рядом воронежские, харьковские, саратовские и т.д. крестьяне не только не воевали с большевиками, не освобождали этой Родины от них, но шли против казаков. Атаман стоял перед фактами суровой действительности. Казаки отказывались выходить за пределы Войска Донского. В полках были митинги протеста.

«Расстреливать виновных», — говорили Деникин и Лукомский. Но кто же будет расстреливать, когда все Войско солидарно с протестующими? Почему же Деникин и Лукомский не мобилизовали население Ставропольской губернии и Кубанского войска и не создали свою русскую армию, которая пошла бы вместе с казаками? Почему же они держались принципа добровольчества? Да потому, что когда мобилизовали, то мобилизованные передавались красным и уводили с собою офицеров. То, что было невозможно для Деникина, Лукомский считал возможным для донского атамана.

У атамана было единственное средство заставить казаков идти к Москве — это дать им хотя бы немного передохнуть от боевых лишений за чьею-то спиною и потом заставить их примкнуть к русской народной армии и идти с нею на Москву. Атаман просил сделать это добровольцев. Он просил это дважды и дважды

---

* Письмо атаману генерала Лукомского от 2 ноября 1918 г., № 2/72 ш.

получил отказ. Атаман дошел до границ Войска и понял, что один не может идти дальше. Фронт расширялся, база удалялась, удлинялись коммуникационные линии, фланги повисали в воздухе. Должен же был кто-либо помочь ему. Он искал союзников. Союзников не было. Ему оставалось одно: самому приступить к созданию новой русской армии, и он приступил к устройству Южной армии. Но идея эта успеха не имела. Генерал Деникин препятствовал этой организации.

Глава десятая

Создание Южной армии. — Поиски командующего. — Генерал Деникин против этой армии. — Воронежский, Саратовский и Астраханский корпуса. — Работа монархистов в Воронежской губернии. — Организация Красной армии

Какая-то — все равно какая, но армия, составленная из русских людей на северной границе Войска Донского, была необходимо нужна атаману ввиду крайнего утомления донских казаков, решительного отказа их бороться и *спасать Россию в полном одиночестве* и, наконец, ввиду усиления напора большевиков с севера.

Атаману предложили организацию, подготовленную в Киеве союзом «Наша Родина», предложили средства на эту армию. Атаман просил генерала Деникина взять на себя организацию и руководство этой армией, снова и снова указывая ему, что обстановка повелительно требует переноса центра тяжести операций от окраин к середине и выдвижения на главный операционный путь Харьков—Москва. Переговоры велись с М.М.Драгомировым, которому атаман при проезде его через Новочеркасск предложил занять место начальника штаба этой армии, которая получила название Южной армии с подчинением ее генералу Деникину. На место командующего этой армией предполагалось пригласить генерала Щербачева или генерала Н.И.Иванова. Раньше атаман вел об этом переписку и с Николаем Николаевичем Головиным, ища его помощи и совета. Н.Н.Головин отказался быть создателем этой армии, ссылаясь на нездоровье, на деле же он не хотел работать с генералом Щербачевым, с которым у него были старые нелады, и считал невозможной работу с Ивановым.

Генерал М.М.Драгомиров сказал, что раньше, нежели ответить, он должен съездить в Екатеринодар. Из Екатеринодара он привез категорический отказ. Без чувства гадливого пренебрежения он не мог говорить о Южной армии.

— Это немецкая затея!.. Это делается на немецкие деньги лишь для того, чтобы помешать работе Добровольческой армии. Эта армия создается не на пользу, а во вред России ее заклятыми врагами немцами...

Напрасно атаман доказывал ему, что армия будет обеспечена деньгами, которые дает на нее гетман, что гетман дает деньги потому, что он лично заинтересован в том, чтобы границы Украины были защищены от большевиков, что, кроме того, деньги дадут русские банки и Войско Донское. Генерал Драгомиров получил категорическое приказание в Екатеринодаре отказаться от этой армии и отказался.

Вести переговоры с генералом Щербачевым не удалось, и атаман остановился на бывшем главнокомандующем Юго-Западным фронтом и герое Львова и Перемышля генерале от артиллерии Н.И.Иванове. Генерал Иванов проживал в бедности в Новочеркасске без всякого дела. Скромный и благородный, он постоянно отказывался от всякой помощи от атамана, и атаману приходилось помогать ему тайно. Пережитые им в Петербурге и Киеве страшные потрясения и оскорбления от солдат, которых он так любил, а вместе с тем и немолодые уже его годы отозвались на нем и несколько расстроили его умственные способности. Он сильно ослабел. Но он был знамя, к которому охотно шли офицеры. Он пользовался репутацией и был в действительности безупречно честным человеком и стоял вне политики. Однако и он не решался взять на себя этот пост без переговоров в Екатеринодаре с генералом Деникиным. Из Екатеринодара он приехал сумрачный и недовольный. Видимо, сильно его расстроили тамошние политики, но командовать армией согласился.

— Я об одном прошу, чтобы пока что, — сказал он атаману, — армия была подчинена командующему Донской армией и вам. Святославу Варламовичу (Денисову) и вам я верю. Это русское дело, и отказываться от него грех. По мере сил моих буду работать. А там — не судите строго. Времена-то нынче не те.

Начальником штаба он взял себе энергичного, талантливого, но немного суетливого генерала П.И.Залесского. Армию предполагалось составить из трех корпусов: Воронежского, формируемого союзом «Наша Родина» из Киева, Саратовского, формируемо-

го из саратовских крестьян-беженцев полковником Генерального штаба Манакиным, и Астраханского, возглавляемого Астраханским атаманом князем Тундутовым. Впоследствии предполагалось каждый корпус развернуть в армию и создать Южный фронт, в который должна была влиться Донская армия. Но эти широкие замыслы не удались, потому что с самого начала в Южную армию вмешалась политика, и армия эта была не народной, а политической, и, как ни боролся с этим атаман и Н.И.Иванов, им не удалось исправить ошибки, положенные в самом начале организации. Атаман принял готовый материал для создания Южной армии, но материал этот оказался гнилым, и армия распалась, ничего для России не давши.

Союз «Наша Родина» был чисто монархической организацией. Во главе его стоял опытный и ловкий общественный деятель господин Акацатов. И он, и члены союза хотели, чтобы армия вела Россию к старому порядку и восстановлению монархии хотя бы насильственным путем. Еще армия не существовала и только между крупными земельными собственниками и монархическими организациями собирались на нее деньги, как уже около нее сплеталась политическая интрига, и каждый старался использовать ее для политических целей. Проживавший в это время в Харькове бывший командир 3-го кавалерийского корпуса граф Келлер, рыцарь, оставшийся безупречно верным государю и непоколебимо преданный идее монархии, писал еще 9 октября, то есть до свидания атамана с гетманом, следующее относительно этой армии атаману:

«...Скоропадский, по-видимому, предполагает ввести всех в заблуждение, намеревается сформировать под видом Русской армии украинскую, отнюдь не монархическую армию, с единой целью охраны северных границ Украины от большевиков, предвкушая прелести своего коронования на престол украинского королевства, которое он рисует себе в том же положении относительно России или Австрии (это не доказано), в каком была Саксония относительно Германии.

К новой армии, которую надумал формировать Скоропадский, он, Лейхтенбергский и Бискупский рядом интриг силятся притянуть и Южную армию.

Положение нашего отечества в настоящую минуту, когда союзники каждый день могут высадиться у нас на юге, настолько серьезно, что, мне казалось бы, времени терять нельзя, так как высадившиеся англо-французы могут ложно учесть положение

в России; видя, что есть фронт Учредительного собрания, существует Добровольческая армия с программою далеко не монархическою и т.п., но не видя реальной силы, открыто стремящейся к объединению России и монархии, они могут вообразить, что в нашем отечестве все только мечтают о республике.

Казалось бы, настала минута, когда необходимо спешить из всех сил, дабы сорганизовать из Астраханской и Южной армий одну сильную монархическую армию, которая, поддержанная Доном и всем казачеством, а также торгово-промышленниками и народом в Малороссии, представилась бы союзникам реальной силой, не признающей другой идеи, кроме Единой, Неделимой России с законным государем на престоле...»

Такие планы совершенно не соответствовали политической обстановке на Дону. Атаман всегда считал, что армия должна быть вне политики: лучшая та армия, которая слепо и не рассуждая повинуется своему вождю, но если невозможно создать такую армию, то армия должна быть национальной и стремиться только к освобождению России от большевиков, предоставив вопросы будущего вырешить истории, вождям, народу через Учредительное собрание, Земский собор, словом, *кому угодно, но не солдатам и офицерам*.

В Киеве союз «Наша Родина» готовил армию определенно монархическую. Ею руководили герцог Лейхтенбергский, генерал Шильдбах (Литовцев) и генерал Семенов. Последний фактически являлся начальником уже собранной группы офицеров, солдат и юнкеров. Генерал Семенов, гвардейский офицер, любитель покутить, человек недалекий, сделался центром, к которому стремились те офицеры и та молодежь, которая не хотела ехать к Деникину, опасаясь попасть в бой. Южная армия только формировалась, когда она попадет на фронт, было неизвестно, и к ней выгодно было приписаться героям тыла, любителям воевать на Крещатике и на Подоле.

Офицеры понадевали на себя погоны, нашили на рукава полоски бело-желто-черного цвета — «романовских» цветов и двуглавые орлы, распевали по кафе «Боже, царя храни» и очень мало думали о спасении родины и о царе.

Атаман настойчиво потребовал переселения их из Киева в Кантемировку, где в деревенской глуши они больше могли заниматься делом. С большим трудом, отрешивши от командования корпусом Шильдбаха (Литовцева), атаману удалось добиться переселения Семенова со штабом и «организацией» в район Чертко-

ва и Кантемировки. Здесь атаман и Н.И.Иванов произвели смотр приезжим и убедились в том, что союз «Наша Родина» работал в целях не военного, боевого дела, но политики. В «корпусе» едва насчитывалось 2 тысячи человек. Из них не более половины было боеспособных, остальные были священники, сестры милосердия, просто дамы и девицы, офицеры контрразведки, полиция (исправники и становые), старые полковники, расписанные на должности командиров несуществующих полков, артиллерийских дивизионов и эскадронов, и, наконец, разные личности, жаждущие должностей губернаторов, вице-губернаторов и градоначальников, с более или менее ярким прошлым.

Вся эта публика наполнила Кантемировку шумом и скандалами. Семенов начал водворять по уездам Воронежской губернии, только что очищенным казаками, земскую полицию старого режима со всеми ее недостатками — взятками и лихоимством.

Это так не согласовывалось с обещаниями атамана и его программой, так не соответствовало вожделениям населения, что возбудило общее неудовольствие, вылившееся местами в бунты, усмирять которые пришлось казакам.

В боевом отношении армия эта не многого стоила. В политическом — она повредила атаману и создала для врагов его благодарную почву для обвинения атамана в стремлении вернуть все «к старому режиму» и способствовала разложению северных округов.

Атаман повыгнал больше половины офицеров, порвал сношения с союзом «Наша Родина», обратился к генералу Деникину с просьбой снабдить Воронежский корпус опытными офицерами из Добровольческой армии, но Деникин ответил ему отказом под предлогом неимения офицеров, хотя Екатеринодар был переполнен офицерами резерва.

Самозваный астраханский атаман, князь Тундутов, гордо именовавший себя другом императора Вильгельма, оказался пустым и недалеким человеком, готовым на всяческую интригу, и очень плохим организатором. Он играл роль не то царя, не то полубога у калмыков, то предлагал себя и всех калмыков в полное распоряжение атамана, носился с фантастическим проектом создания особого юго-восточного союза, возглавляемого «великим атаманом», то, напротив, грозил идти со своими калмыками против Донского войска. Его калмыки были босы и оборванны, сидели на двухлетках и трехлетках, большинство не имело седел и оружия. Он был не страшен и не опасен, но беспокойства и тревоги доставил много.

Астраханский корпус численностью около 3 тыс. пехоты и тысячи конных, несмотря на всю безалаберность управления, все-таки хорошо дрался и довольно крепко оборонял восточные степи за Манычем от бродячих шаек Красной гвардии. В предвидении приезда союзников князь Тундутов со своим начальником штаба полковником Рябовым переехал в Екатеринодар, где, желая услужить штабу генерала Деникина, занялся клеветою на атамана.

Саратовский корпус никак не мог вырасти больше бригады. Бригада эта, составленная преимущественно из крестьян, ушедших от большевиков из Саратовской губернии и крепко их ненавидевших, отлично дралась вместе с казаками на Царицынском, Камышинском и Балашовском направлениях.

Продолжая активную борьбу с большевиками на всех своих фронтах, атаман и командующий армией всеми силами старались закрепить положение Войска. Вдоль границы с востока от Кантемировки на Богучар, Калач и далее командующий армией строил укрепленную полосу. Население было вызвано рыть окопы, забивались колья, устраивались проволочные заграждения. Ночью подходили к ним большевистские разведчики, пытались выдернуть колья и скверно ругались: «Буржуйская затея!»

Атаман искал помощи и союзников. Он понимал, что одному ему не устоять против большевиков. Он видел реформы Красной армии и сознавал, что на реформы надо ответить усилением своей боевой мощи.

Осенью 1918 года заканчивается первый период борьбы с большевиками. Период, когда народная Донская армия боролась против разбойничьих красногвардейских банд.

Наступал второй период — против народной Донской армии появилась только что созданная народная рабоче-крестьянская Красная армия, построенная на принципах военной науки.

Усилиями военных «спецов» различных чинов и различного положения к зиме 1918 года на фронте Донского войска были уже не разбойничьи банды, а худо ли, хорошо ли, но сорганизованная армия, правильно управляемая своими штабами. Советское командование, объявивши к осени 1918 года своим главным врагом донского атамана, сосредоточило на Южном фронте 99 полков, из которых на Донском фронте было 44 полка, на Добровольческо-Кубанском — 22, на Астраханском — 5 полков, на Курско-Брянском — 28 полков.

В это время Западный — Польско-Латвийский фронт занимал 65 полков, Северный — Германо-Финский фронт — 38 полков

и Восточный — против Колчака — 97 полков. А всего Советская армия насчитывала 299 полков.

Для уничтожения всех дефектов Красной армии в заседании 15 ноября (нов. ст.) 1918 года ВЦИК постановил учредить Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Ленина. Совету обороны была предоставлена вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств обороны в интересах обороны. Непосредственное руководство армией и флотом осталось по-прежнему в руках Революционного военного совета республики. В целях большого сосредоточения деятельности этого учреждения было выделено его бюро в составе Троцкого, главнокомандующего — Вацетиса и одного члена — Аралова.

Это уже был переход к диктатуре одного лица, так как при наличии в бюро Вацетиса и Аралова Троцкий явился единоличным вершителем судеб Советской армии.

Троцкий к началу декабря 1918 года сосредоточил на Донской фронт 127 тыс. солдат при 414 орудиях и на фронт Добровольческой армии (к 3 декабря) — 60 тыс. при 60 орудиях.

К весне 1919 года советское командование предполагало закончить организацию Красной армии и поставить под красные знамена 3 миллиона человек.

Однако осуществить эту программу советской власти мешало внутреннее неустройство страны. Власть держалась исключительно силою штыков. Необыкновенно показательным является распределение броневых машин Советской армии. Всего в распоряжении советского командования имелось к концу 1918 года 122 машины, из которых 6 находилось на Западном фронте, 25 — на Восточном, 45 — на Южном и 46 — в городах в тылу. Одна Москва обслуживалась 24 машинами, и, кроме того, 12 машин было при Латышской дивизии, употреблявшейся со специально карательными целями (против врага внутреннего — крестьянской бедноты).

Штаб Южной армии, получивший в октябре месяце определенное задание смести с лица земли все донское казачество и занять во что бы то ни стало Ростов и Новочеркасск, считавшийся главным гнездом контрреволюции, находился в Козлове. Фронтом командовал генерал Генерального штаба «товарищ» Сытин. Фронт состоял из 11-й армии Сорокина (штаб в Невинномысской), действовавшей против добровольцев и кубанцев, 12-й армии Антонова (штаб в Астрахани), 10-й армии Ворошилова (штаб в Царицыне), 9-й армии Генерального штаба генерал-майора Его-

рова (штаб в Балашове) и 8-й армии генерала Чернавина (штаб в Воронеже).

Сорокин, Антонов и Ворошилов являлись остатками прежних выборных главнокомандующих, все остальные высшие начальствующие лица были генералами Императорской Российской армии, отлично разбиравшимися в обстановке.

Таким образом, к зиме 1918 года положение дел на Донском фронте слагалось весьма грозным образом. Донской атаман и командующие армиями генералы Денисов и Иванов вполне отдавали себе отчет в том, что происходит. Они отлично понимали, что период «кустарнических операций» миновал, что те времена, когда одного казака было достаточно на десять красноармейцев, прошли, и серьезно готовились к отпору. Ввиду крайнего утомления казаков донской атаман совместно с командующим армией решил к началу зимы закончить укрепленную полосу по границе земли Войска Донского, прекратить наступательные операции, отойти из занятых мест Воронежской губернии и временно перейти к обороне. Этого повелительно требовала обстановка и настроение казачьих войск. Опираясь левым флангом на Украину, занятую германскими войсками, а правым на Волгу с труднодоступным Заволжьем, атаман надеялся удержать Войско Донское до весны, а за это время усилить и укрепить свою армию.

Глава одиннадцатая

Наступление донцов в Воронежскую губернию. — Подвиги Гундоровского Георгиевского полка. — Мобилизация всего Войска поголовно

Еще в начале августа Донская армия занимала часть Богучарского уезда. Донское правительство не вмешивалось в дела внутреннего управления уездом; оно восстановило разрушенную большевиками городскую думу и все земские учреждения и субсидировало богучарское казначейство деньгами для того, чтобы жизнь в уезде могла идти нормально. Атаман приказал приступить к занятиям во всех учебных заведениях, собрать суды и другие правительственные учреждения и впредь до устройства русского центрального правительства предписал сноситься с отделами в Новочеркасске.

Войска генерала Алферова, работавшие здесь, были усилены освободившимися после удаления с берегов Азовского моря боль-

шевиков войсками Южного фронта, и им было приказано развить успех, воспользоваться благоприятным настроением среди жителей и овладеть городом Новохоперском, станцией Таловой и городом Калачом.

26 августа донцами был занят Калач, 22 сентября — город Павловск и слобода Бутурлиновка. Противник громадными силами, около шести дивизий (однако не более 12 тыс.), в конце сентября перешел в наступление со стороны станции Таловой. Казачий отряд Гундоровского и Мигулинского полков, силою около 2 тыс. пехоты и 400 конницы, под начальством генерала Гусельщикова прибегнул к своей обычной тактике. Быстрым отступлением до самой Бутурлиновки вовлек противника в мешок между своею пехотой и затем решительным ударом с обоих флангов сдавил его в долине Бутурлиновки и принудил к сдаче.

Почти целый месяц противник не предпринимал ничего в этом районе. Имя гундоровцев было так известно большевикам, что при встрече с казаками красноармейцы спрашивали: «Гундоровцы?» — и, получив утвердительный ответ, сдавались безропотно. Это действительно был особенный полк. Великолепно одетый в новые шинели, серые папахи и обутый в прекрасные сапоги, с петлицами из георгиевских лент на шинелях и на воротниках защитных мундиров, с донскими синими погонами с номером того полка, в котором в германскую войну служил казак (преимущественно 10-го), за редким исключением все георгиевские кавалеры за германскую войну, иные имевшие по 2, по 3 и по 4 креста, эти люди не только отличались мужеством и храбростью, но и необычайным товариществом. Сила полка колебалась, в зависимости от потерь, от одной до другой тысячи человек пехоты, от 200 до 400 конницы, полк имел два своих орудия. Атаман не нарушал его организации, настолько прекрасно она была сделана. Любовь к родине, неутолимая жажда славы и подвигов руководила этим полком. Раненые не залеживались здесь по госпиталям, но, едва оправившись, спешили снова в ряды полка. Гундоровца редко можно было встретить в Новочеркасске или Ростове — они все стремились к своему полку. После больших потерь, когда полк таял, уменьшался численно, не дожидаясь никаких мобилизаций или пополнений, гундоровцы писали в свою станицу: «Нас мало. Высылайте пополнения». И шли старые и малые. Шли все свободные, не взятые по мобилизации, но шли крепкие и бодрые. Конница сидела на прекрасных лошадях и щеголяла их уборкой, артиллерия имела отличные запряжки. Впрочем, и станица была особенная. В ней уже несколько

лет существовало по почину станичников основанное и на их средства содержимое высшее политехническое училище.

История борьбы с большевиками знает три таких полка — Марковский и Корниловский офицерские в Добровольческой армии и Гундоровский казачий в Донской армии — рыцарские полки, без страха и упрека, никогда не считавшие врага, не интересовавшиеся своими потерями, но жаждущие только славы и победы.

В первых числах ноября гундоровцы обрушились неожиданно на врага и нанесли ему страшный удар. Озлобленный противник, в рядах которого уже появились коммунисты, перешел в контратаку, но гундоровцы бросились на него у слободы Васильевки с таким мужеством, в таком грозном боевом порядке не стреляющих и не ложащихся цепей, что красноармейцы побросали оружие и сдались. Было взято 5 тыс. пленных и богатая военная добыча. Командующий армией генерал Денисов учел, что на том месте, где было взято 5 тыс. пленных, образовалось пустое место, и приказал ударить туда всеми силами. Донские части после упорного боя овладели городом Бобровом, а 10 ноября штурмом заняли важный железнодорожный узел — станцию Лиски.

Эта осень 1918 года была для Донской армии временем жестоких и упорных боев на севере и востоке Войска. Командование Красной армии для того, чтобы парировать успехи казаков в Воронежской губернии, где казаки доходили до станции Анны и были в 35 верстах от Воронежа, собрало значительные силы в Тамбовской и Саратовской губерниях, присоединило к ним всех красных казаков Миронова и, пользуясь тем, что в этом месте Грязе-Царицынская железная дорога охватывает северную границу Войска, бросило все это на Хоперский округ. 40 тыс. пехоты и конницы при 110 орудиях, шесть по-новому, отлично организованных дивизий были двинуты по направлению к Урюпинской и Усть-Медведицкой станицам. К войскам приезжал Троцкий; он говорил о том, что Красная армия должна очистить Дон от казаков и взять от них хлеб и каменный уголь. Операция этого наступления была задумана в широком масштабе, и с самого начала ее исполнения казаки увидали, что они имеют дело с регулярной армией, руководимой опытными и знающими свое дело штабами.

Хоперцы были малочисленны. Их не было и 8 тысяч.

Генерал Денисов пожертвовал успехами на Воронежском фронте, оставил Лиски и Бобров и спешно перебросил лучшие части Северного фронта к Усть-Медведицкой станице. Он ослабил

нажим на Царицын, собрал конницу генерала Мамонтова и смелыми маневрами сбил неприятеля.

К 10 ноября Красная армия была выброшена из Хоперского округа, а в Усть-Медведицком округе Миронов — «непобедимый» — был дважды разбит наголову и бежал в Саратовскую губернию. Троцкий заподозрил его в измене, и казаку-коммунисту Миронову пришлось снова паломничать в Москву и оправдываться перед Троцким и Реввоенсоветом.

Казачья конница с орудиями подходила на 12 верст к городу Камышину на Волге.

Весь север Войска кипел войною. Орудия непрерывно гремели от Воронежа к Камышину и от Камышина к Царицыну. Два раза здесь казачьи части генерала Мамонтова подходили к Царицыну, занимали уже Сарепту и оба раза принуждены были отходить. Не было тяжелой артиллерии, чтобы парировать огонь царицынских батарей, мало было сил, чтобы преодолеть и взять опутанную проволокой и весьма пересеченную оврагами царицынскую позицию. Атаман не терял надежды до зимы овладеть Царицыном, чтобы этим закончить наступательные операции. Для усиления Царицынского фронта спешно укомплектовывались и вооружались 3-я Донская дивизия и 2-я стрелковая бригада Молодой постоянной армии и выписаны были пушки из Севастополя, для которых в Ростове, в мастерских Владикавказской железной дороги делали особые бронированные платформы.

Чтобы закрепить до зимы все Войско Донское, на Дону были мобилизованы все казаки. Не было ни одной казачьей семьи, где кто-либо из мужчин не был убит или ранен. Были семьи, которые потеряли главу семьи и двух сыновей. Все отдавалось за свободу Родины — жизнь и достояние. Все лошади были отданы или в строй, или в обозы, коров и волов резали без сожаления, чтобы кормить фронт, хлеб возили туда же, туда же отдавали последнее платье и белье...

Трогательную картину представляли в зимнее время казачьи транспорты, доставлявшие на позиции снаряды, колючую проволоку, хлеб и мясо.

С оврага в овраг, с балки в балку по безграничной степи по широкому военному шляху в сумраке короткого зимнего дня тянется длинный обоз. Утомились лохматые лошаденки и везут тихо, упорно, усердно, точно понимая всю важность того, что они делают. Не слышно криков понукания, и не хлещут бичи над ними. Некому понукать. За подводами идут девочки и мальчики — под-

ростки двенадцати-пятнадцати лет. Матери и старшие сестры остались дома заправлять хозяйством. Там без конца работы. Урожай был большой, а убирать его некому. Без всякой мобилизации труда все поднялось на работу. Женщины принялись жать, возить снопы, молотить, молоть, печь хлеба для своих кормильцев, которые все были на фронте. Тут захватила подводная повинность. Фронт ушел далеко от Войска, потребовались транспорты...

И вот в зимнюю стужу дети возили тяжелые клетки со снарядами, ящики с патронами, без конвоя, без защиты, по глухой степи тянулись эти грозные транспорты, и детские голоса звонко перекликались над ними.

Оттуда не шли порожняком. Везли страшную добычу... Добычу смерти!.. Везли раненых и тела убитых, чтобы похоронить на родном погосте. Хмуро маленькое личико, насупились юные брови, низко надвинута барашковая шапчонка на самые глаза. Мерно шагает казачок с ноготок за санями, на которых длинно вытянулись чьи-то тела, накрытые рогожами и кулями. Иногда любопытный ветер приподнимет холст, и почудится под ним чья-то вьющаяся мелкими завитками седая борода и рядом черные кудри казачьи.

— Кого везешь-то, хлопчик?

— Да вот деда да бачку... Обоих вчера снарядом убило... — И, помолчав, гордо добавит: — На штурму рядом шли! Ихних много побили. Наши-то, слышь, броневик ихний отбили да пушек не то шесть, не то восемь забрали... Две тяжелых... С лошадями, со всем... А вот бачку да деда убило.

На фронте в полках стояли люди от 19 до 52 лет, но были охотники и старше. Шел казак с сыном, а с ними увязывался и дед. «Все помогать буду — вы в бой пойдете, а я вам кашу уварю! Так-то!..»

И стоял дед у каши, но, когда услышал, что наша взяла, что на «уру пошли», и его раззадорило. Позабыл и про кашу и пошел бить красных!..

Таково было Войско Донское, одинокое в своей великой борьбе, но сильное своим глубоким патриотизмом и национальным чувством, когда произошло величайшее событие: победа союзников над центральными державами, отречение императора Вильгельма от престола, разложение германской армии и прибытие союзников на помощь добровольцам.

На Дону эти события выразились в том, что в грозную минуту страшного напряжения борьбы, когда ни одного лишнего человека не было на фронте, прибавился новый, Западный Укра-

инский фронт протяжением в 600 верст, и явилась глубокая вера, что союзники придут и выручат, и все данные для этой веры были налицо...

Глава двенадцатая

Посольство донцов к союзникам. — Письмо атамана генералу Франше д'Эспре. — Декларация Войска Донского. — Английский адмирал посылает миноносцы в Таганрог для осведомления о Донском войске

При первом же известии о событиях в Болгарии атаман поручил находившемуся в городе Яссах по делам снабжения предметами артиллерийского довольствия генералу барону Майделю войти в связь с союзниками и нащупать почву для сношения с ними. Известия от барона Майделя были получены самые благоприятные. Союзники вполне благожелательно относятся к Донскому войску, считают, что сношения и связь его с германцами были вызваны обстоятельствами, но не изменой и предательством, наконец, союзники при первой же к тому возможности помогут Дону и Добровольческой армии оружием и живой силой. Союзникам нужна точная ориентировка о том, что происходит на Дону и чем они могли бы помочь Донскому войску и его атаману в борьбе против большевиков. Наконец, союзники стоят на том взгляде, что Россия должна быть восстановлена в прежних границах 1914 года, за исключением Польши, то есть должна быть «великая, единая и неделимая».

Лучшего ответа атаман не мог ожидать.

6 ноября (по ст. ст.) атаман снарядил Зимовую станицу, то есть посольство, в лице двух горячих донских патриотов генерал-майора Сазонова и товарища председателя Большого Круга, бывшего председателя Круга спасения Дона полковника Янова. Лица эти были назначены официальными представителями Войска Донского перед державами Согласия. Они должны были передать письмо на французском языке генералу Франше д'Эспре, командовавшему союзными войсками на востоке, и копию этого письма посланнику русскому в Румынии С.А.Поклевскому-Козеллу. К письму этому был приложен изданный донским атаманом 22 мая 1918 года политический меморандум под названием: «Декларация Всевеликого Войска Донского».

В этой декларации говорилось:

«Всевеликое Войско Донское, существующее как самостоятельное государство с 1570 года и входящее в состав Российского Государства, как нераздельная его часть с 1645 года, во все времена и годы было верным сыном державы Российской и таковым оставалось и после революции, стремясь вместе с Временным правительством довести страну до Учредительного собрания, на котором предполагалось установить образ государственного устройства и дальнейшие свои отношения к Российскому Государству.

Большой Донской Круг и выбранный им атаман Каледин не могли признать власть народных комиссаров за истинную и правомочную власть и отшатнулись от Советской России, ставшей игрушкой в руках безумцев — большевиков и авантюристов, — и, провозгласивши себя самостоятельной Донской демократической республикой, вступили на путь борьбы с советской властью.

Жертвою этой борьбы пал атаман Каледин, и Кругом атаманская власть была передана атаману Назарову. В неравной борьбе с мятежными казаками и большевиками погиб мученической смертью на своем посту доблестный атаман Назаров, и власть атамана временно перешла в руки походного атамана Попова.

Мужеством и энергией донского казачества и его вождей и руководителей Войско Донское освобождено от большевиков, и Кругом спасения Дона я выбран 17 сего мая (нов. ст.) Донским атаманом с предоставлением мне впредь до созыва Большого Круга чрезвычайной власти, в основных законах указанной.

Объявляя об этом, я прошу Вас, милостивый государь, передать Вашему Правительству, что

1) Впредь, до образования в той или иной форме Единой России, Войско Донское составляет самостоятельную демократическую республику, мною возглавляемую.

2) На основании ранее, 21 октября 1917 года, при атамане Каледине заключенных договоров Донская республика как часть целого входит в состав Юго-Восточного союза — из населения территорий Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск, горских народов Северного Кавказа и Черноморского побережья, вольных народов степей юго-востока России, Ставропольской губернии, Черноморской губернии и части Царицынского уезда Саратовской губернии и обязуется поддерживать интересы этих государств и их законных правительств.

3) Относительно установления точных границ и торговых и иных отношений между Донским войском и Украиною ведут-

ся переговоры, для чего послано посольство в лице Черячукина и Свечина.

4) Донское войско не находится ни с одною из держав в состоянии войны, но, держа нейтралитет, ведет борьбу с разбойничьими бандами красногвардейцев, посланных в Войско Советом народных комиссаров.

5) И впредь Донское войско желает жить со всеми народами в мире на основании взаимного уважения прав и законности и соблюдения общих интересов.

6) Донское войско предлагает всем государствам признать его права, впредь до образования в той или иной форме Единой России, на самостоятельное существование и государствам, заинтересованным в торговых или иных отношениях, прислать в Войско, в его столицу Новочеркасск, своих полномочных представителей или консулов.

7) В свою очередь, Донское войско пошлет в эти государства свои «зимовые станицы», то есть посольства, для установления дружеских отношений.

Обо всем этом прошу Вас, милостивый государь, широко объявить с согласия Вашего Правительства всем гражданам Вашего государства. Донской атаман генерал-майор Краснов»*.

В письме генералу Франше д'Эспре атаман коротко писал о постепенном освобождении Войска Донского от большевиков, о тех кровавых жертвах, которые при этом пришлось принести Войску, о причинах, побудивших его войти в сношения с Германией и написать письмо императору Вильгельму. Донской атаман указывал на то, что силы, борющиеся против большевиков, — Донская и Добровольческая армии — в общем невелики, он писал, что без иностранной помощи Россию не спасти. Донской атаман указывал, что единое командование будет возможно осуществить лишь тогда, когда Добровольческая армия повернет на настоящее направление и пойдет на Москву. Наиболее желательными вождями для такого объединенного командования атаман назвал генералов Щербачева и Николая Иудовича Иванова.

«...Без помощи союзников освободить Россию невозможно, — заканчивал свое письмо атаман. — Помощь эта может выразиться в присылке снаряжения, оружия, технических средств борьбы, обмундирования и денег, тогда борьба затянется на один,

---

* Декларация Всевеликого Войска Донского 22 мая 1918 года.

на два года, или в присылке кроме этого еще 3—4 корпусов войск 90—120 тыс., тогда в 3—4 месяца можно всю Россию освободить.

Советские власти ненавидимы русским народом, и русский народ ждет только толчка, чтобы свергнуть их. Красная армия труслива, подвержена панике и бежит даже от наших войск, численно раз в 10 меньших, нежели она.

Если назначить один корпус для освобождения Кавказа, один вверх по Волге на Царицын, Саратов, Самару, Пензу, Тулу и Москву, один на Воронеж, Рязань и Москву и один на Харьков, Курск и Москву, можно с уверенностью сказать, что только до Саратова, Воронежа и Курска придется идти походом и с боями — по взятии их Москва падет и дальнейшее движение примет характер триумфального шествия и торжественных встреч.

Украину временно придется занять иностранными войсками...

Было бы крайне желательно, чтобы теперь же опытные генералы французских, английских или американских войск прибыли бы в Новочеркасск, посетили бы со мною фронты, посмотрели бы войска, чтобы они могли бы составить правильное представление как о Донской армии, так и о самом характере борьбы с большевиками.

Из прилагаемого при сем правительственного сообщения Войска Донского от 22 мая сего года Вы усмотрите, что Войско Донское все время было верно идее Единой, Неделимой России и за свободу и счастье ее только и борется, рассчитывая на сохранение за собою своих вечных привилегий и казачьих прав.

Податели этого письма, я это позволю себе еще раз повторить, являются вполне осведомленными и полномочными послами моими для переговоров с державами Согласия, на которых мы и теперь, как и всегда, смотрим как на своих верных союзников, притом обязанных нам за помощь в 1914, 1915 и 1916 годах, когда мы, русские, помогли им своими победами в Пруссии и Галиции...»*

Атаман преподал своим посланникам тот взгляд, что он считает, что союзники, и особенно Франция, обязаны помочь России в борьбе с большевиками, что это ее нравственный долг и что донские казаки верят в глубокую порядочность французской нации, которая не откажется в уплате по векселю. Атаман настаивал на полной самостоятельности Донского войска до тех пор, пока не явится настоящее российское правительство, будь то император или президент, или соберется полномочное Учредительное собра-

---

* Письма донского атамана С.А.Поклевскому-Козеллу и генералу Франше д'Эспре от 6 ноября 1918 г., № 034.

ние, и атаман не признавал генерала Деникина ни за диктатора, ни за полноправного Главнокомандующего, но смотрел на него только как на командующего союзной армией. Посланные им люди были строевые офицеры, полковник Янов притом же был пылкий, несколько экзальтированный, влюбленный в Дон человек, гордый победами и успехами донских казаков.

Когда донские посланцы прибыли в Яссы, ясское заседание там уже закончилось. Генерала Франше д'Эспре в Яссах не было, и вместо него был генерал Бертелло. У Бертелло были уже готовые инструкции. В Версале было решено признать одного вождя, и этим вождем был заочно признан генерал Деникин. С ним шла слава кристальной чистоты и верности союзникам, он глубоко ненавидел немцев. Его агенты уже были при французском командовании. Они доложили об измене гетмана Скоропадского России, они нарисовали Донское войско полубольшевистским государством, руководимым немцами, не имеющим никакой армии, словом «quantite negligeable»[1], а донского атамана как ставленника и клеврета императора Вильгельма.

Все это было высказано генералом Бертелло на первом приеме Сазонову и Янову и встретило с их стороны горячий, страстный отпор. Может быть, слишком горячий и более страстный, нежели позволяли требования дипломатии. Были сказаны упреки по адресу Добровольческой армии, было сказано, что самым бытием своим Добровольческая армия обязана Донскому войску и немцам...

Расстались холодно, и дальнейшие переговоры прервались. Только благодаря глубокому такту генерала Щербачева и его примирительной политике через три дня генералу Сазонову удалось добиться вторичного свидания с генералом Бертелло, на котором все шероховатости были сглажены и Дону была обещана помощь в одинаковой мере с Добровольческой армией.

Там же было выяснено, что Украина непременно вся будет занята иноземными войсками. Или союзники принудят оставить там германские войска, или Украина будет занята англо-французской армией. Помощь была обещана широкая, готовилась к перевозке на юг России вся Салоникская армия. От союзников веяло победой, и донские посланники вынесли то убеждение, что победители Германии сокрушат и большевиков. Относительно присылки на Дон своих представителей генерал Бертелло высказался осторожно. Представители будут посланы в Новороссийск к гене-

---

[1] «Малочисленным» *(фр.)*.

ралу Деникину, на Дон же никого посылать не предполагается, так как Донское войско рассматривалось в Версале как часть Добровольческой армии.

Донесения об этом успокоили атамана за его левый фланг — Украину, и атаман приказал взять 36-ю Донскую дивизию из района Каменской станицы для усиления Царицынского направления, где ожидали только прибытия купленных у немцев 12 шестидюймовых морских орудий Канэ, платформы и установки для которых были уже готовы и собраны в Таганроге. За пушками этими был послан в Севастополь донской пароход «Сосиетэ».

Непосредственным сношениям с союзниками атаман придавал только моральное значение как поддержке его влияния и авторитета в Войске. Большевики знали, конечно, о событиях на западе и повели сейчас же широкую пропаганду о том, что *союзники никогда не будут помогать ни Деникину, ни донскому атаману, потому что демократия Западной Европы с большевиками заодно и не допустит, чтобы ее солдаты пошли против большевиков.*

Эта пропаганда имела большой успех как в Красной армии, так и у донских казаков. Прибытие союзнических полков на фронте показало бы красноармейцам, что их комиссары лгут. Красная армия только что зарождалась. Факты сдачи целыми тысячами, убийства комиссаров на фронте, митинги и обсуждения боевых приказов ясно показывали ее неустойчивость. Появление на фронте даже незначительных частей иноземных войск должно было поразить воображение противника, а в той войне, которая была тогда, это было девять десятых успеха.

Обратно, неприезд союзников на Дон, отсутствие их военных частей на фронте или хотя бы в тылу у казаков должно было окончательно подорвать силы казаков. А эти силы были напряжены теперь до крайности. Казаки держались только надеждами на скорую выручку и на помощь союзников. Донскому атаману нужно было добиться того, чтобы союзники были на Дону на Донском фронте, потому что именно на Донском фронте разыгрывались теперь события первостепенной важности, события, которые грозили самому существованию Дона. И с этой стороны прибытие союзников только в Новороссийск подрывало у казаков веру в своего атамана в минуту решительного сражения на фронте.

Но то, чего не удалось добиться официальной донской миссии генерала Сазонова и полковника Янова у генерала Бертелло, то совершенно частным образом устроил адмирал Кононов, донской казак по происхождению, бывший случайно в Севастополе

на встрече англо-французской эскадры. Ему удалось свести с английским адмиралом атамана Зимовой станицы Донского войска при крымском правительстве полковника Власова, они рассеяли те неправдоподобные слухи, которые распускались агентами генерала Деникина про Донское войско и его атамана, заинтересовали адмирала в военной и строительной работе Донского войска, и он отправил 21 ноября (ст. ст.) из Севастополя два миноносца в Таганрог. Официальная цель похода миноносцев была заняться промерами Азовского моря, неофициально английскому капитану Бонду и французскому капитану Ошэну (Hochain) было приказано с несколькими офицерами и матросами посетить Донское войско и доложить, кто прав — донские казаки, которые говорят о том, что Войско Донское вполне самостоятельное, организованное государство с армией, опирающееся на законы, или Добровольческая армия, которая говорит, что Донское войско есть полубольшевистская страна, раздираемая анархией и находящаяся в полувассальном отношении к Германской империи.

На Дону начали готовиться к встрече так давно и так жадно ожидаемых союзников. И казалось, что яркое солнце появилось в хмурые и холодные осенние ноябрьские дни.

Глава тринадцатая

Положение Добровольческой армии на Кубани. — Смерть лучших вождей этой армии: генерала Маркова и полковника Дроздовского. — Генералы Покровский и Шкуро. — Отношения к Кубани и Дону. — Требование признания Доном над собой власти генерала Деникина

После освобождения Екатеринодара и созыва Кубанской Рады положение Добровольческой армии на Кубани стало двойственным. Кубанское войско, видя быстрые успехи Донского войска в государственном строительстве, мечтало освободиться от опеки Добровольческой армии и начать устраиваться так же, как и донцы. Оно и план государственного устройства взяло донской. Устроило у себя военное училище, приступило к устройству офицерской школы, создавало политехнический институт и мечтало о своем университете. Рада разбилась на два главных течения: украинское и самостийное. Украинцы уговаривали кубанцев совершенно слиться с ними и стать час-

тью Украины. Об этом вели переговоры председатель Рады Быч и Рябовол. Самостийники стояли за устройство федерации, в которой Кубань была бы совершенно самостоятельной, и для проведения этого они искали тесного союза с донскими казаками. И те и другие соединялись в одном — в стремлении освободиться от опеки генерала Деникина. Умеренная часть Рады — фронтовые казаки и войсковой атаман Филимонов — держались за добровольцев. Они боялись остаться одинокими в борьбе с большевиками, хотели за счет добровольцев освободиться от большевиков. Атаман Филимонов всем был обязан генералу Деникину, но для казаков он был ничто. Война выдвинула своих героев, кумиров народной толпы. Жадный до наживы кубанский казак боготворил тех вождей, которые добычей считали не только оружие и снаряды, но и имущество магазинов и кооперативных лавок занятых городов и сел, которые налагали на жителей контрибуции, взыскивали их и делились полученными деньгами с казаками. Такими вождями были генералы Покровский и Шкуро. Тот самый Покровский, который в апреле пробовал самостийничать перед генералом Корниловым, стал послушным слугою у генерала Деникина. Характера он был решительного и в основу войны положил грабеж. Когда соединенный Доно-Кубанский отряд переходил весною 1918 года снова в Кубанскую область, генерал Покровский до основания взорвал фундаментальный железнодорожный мост через реку Кубань лишь для того, чтобы Донцы не перешли в Кубань и не стали там требовать своей части добычи. Пока в его отряд входили донские части, между кубанцами и донцами были постоянные споры из-за добычи.

Другой кумир кубанцев был генерал Шкуро. Молодой еще человек, он в русско-германскую войну командовал партизанским отрядом при 3-м кавалерийском корпусе. Как и все партизаны в эту войну, он ничем особенно не отличался. Во время войны с большевиками он выдвинулся быстрым освобождением и такою же быстрою сдачею Кисловодска. Однажды в изнемогавший под большевистским гнетом Кисловодск с гор спустился небольшой конный отряд, предводительствуемый элегантно одетым в свежую черкеску молодым офицером. Большевики после недолгой перестрелки бежали. Отряд вошел в город и сейчас же расклеил афиши об освобождении города от большевиков частями Добровольческой армии Шкуро. Начальник отряда — это и был Шкуро, — сам тогда затруднявшийся, в каком чине он находится, потому что его подлинный чин есаула казался ему слишком малым, ходил по парку, ездил по окрестным станицам, поднимал против большевиков

Терское войско. Он потребовал, чтобы скрывшиеся по подвалам и закуткам генералы и офицеры открыли свое звание и явились к нему регистрироваться. Это была очень неосторожная и преждевременная мера. Население с удивлением узнало, что многие сапожники и ремесленники — люди в больших чинах. Шкуро собирал деньги на продолжение борьбы, был кумиром кисловодских дам как освободитель... Но когда из гор загремела по Кисловодску большевистская артиллерия, а терские казаки Волгского полка из Пятигорска не то держали нейтралитет, не то примкнули к большевикам, Шкуро так же быстро, как пришел, так и скрылся, уведя с собою незначительную толпу кисловодских «буржуев».

Большевики снова вошли в Кисловодск и жестоко расправились с офицерами. Тогда от их руки погиб и Рузский, один из главных виновников отречения царя и начала русской революции. «Мне отмщение и Аз воздам!..»

Покровский и Шкуро нравились кубанцам. Они отвечали и духу Добровольческой армии — духу партизанскому.

По мере освобождения Кубанского войска от большевиков число кубанцев увеличивалось, и они преобладали над добровольцами. Ко времени прибытия союзников, то есть к ноябрю 1918 года, в Добровольческой армии считались $35^1/_2$ тыс. кубанцев и $7^1/_2$ тыс. добровольцев. Не было прежних вождей Добровольческой армии.

Убит был и красиво, истинным героем умер генерал С.Л.Марков. 12 июня в одном из первых боев Добровольческой армии после отдыха на Дону в станице Мечетинской «предводительствуемые генералом Марковым части 1-й пехотной дивизии после упорного боя овладели мостом и станцией Шаблиевка. Задача, поставленная дивизией, составлявшей левый фланг Добровольческой армии, была блестяще выполнена. Враг бежал, но часть его артиллерии еще продолжала стрелять, и одним из последних снарядов был ранен генерал Марков».

Был ранен в ногу и умер от заражения крови в ростовском госпитале другой герой — рыцарь Добровольческой армии — Дроздовский.

Генерал Деникин становился одиноким. Покровский, Шкуро, новая знаменитость — генерал из рядовых казаков, окончивший всего учебную команду военного времени, Павличенко не могли быть ему ни советниками, ни помощниками, они сами нуждались в советах и руководстве, а генерал Деникин все более удалялся от армии и углублялся в политику.

В Новочеркасске политике не было места. Донской атаман определенно отмежевался от политики и искал только работников. Его кабинет управляющих отделами был совершенно пестрый. В нем были кадеты, были монархисты, управляющим отделом народного просвещения был левый социалист-революционер, почти большевик. Атаман одинаково разрешал собрания эсеров, кадетов и монархистов и одинаково их прикрывал, как только они выходили за рамки болтовни и пытались вмешаться во внутренние дела Войска. На Дону одновременно с эсеровской газетой «Приазовский край» выходил монархический «Часовой». На Дону разрешалось работать, но воспрещалось мешать работе других. «Общественные деятели», если они не были у дела, на Дону не ценились. С Дона был выслан М.В.Родзянко, и на Дону дали понять А.И.Гучкову, что ему делать там нечего.

Все это собралось теперь в Екатеринодаре. Генерал Деникин оказался в центре самых сложных и запутанных политических интриг. Он поставил на своем знамени «Единую и Неделимую Россию», и все то, что не совпадало с этим, было ему ненавистно, и он враждебно к этому относился.

Скоропадский был изменником, изменниками были все украинцы, а с ними вместе изменниками были и руководители Рады — Быч, Рябовол, П.Л.Макаренко и все те, которые мечтали о федерации.

Как-то, несколько позднее, генерал Деникин был на большом официальном обеде у кубанского атамана в его дворце. Над дворцом, подобно тому как это было на Дону, реял свой кубанский национальный флаг. Атаман сидел на первом месте, Деникин на втором. Это его оскорбило и взорвало. Когда дошло дело до речей, он сказал почти буквально следующее:

— Недавно над этим дворцом развевалось красное знамя и под ним во дворце сидела разная сволочь. Теперь над дворцом развевается знамя иных цветов и сидят иные, прочие люди. Я жду, когда над этим дворцом взовьется флаг Единой Великой России! За Единую, Неделимую Россию, ура!..

Заслуги кубанцев в боях и на походе затирались. В донесениях о них умалчивали или ставили на втором месте. Природные кубанские казаки, за исключением Шкуро, Улагая и Павличенко, не занимали видных мест. В штабе Деникина кубанцев не было, а генералы русской службы Май-Маевский, барон Врангель, Эрдели, Покровский выдвигались на видные места. Это злило кубанцев.

К Дону отношение было сдержанное. На него тоже смотрели как на неблагодарного сына и стремились прибрать к рукам. В это время известным поэтом-сатириком Мятлевым в Киеве было написано следующее остроумное стихотворение, рисующее положение Юга России к прибытию союзников:

Не поется мне и не пишется,
День-деньской в ушах моих слышится:
«Ах ты, Русь моя, Русь родимая,
Ты единая, неделимая!..»

Из хохлов создав чудом нацию,
Пан Павло кроит федерацию,
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Атаман Краснов подпевает в тон:
Будет Тихий Дон, наш казачий Дон.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

И журчит Кубань водам Терека:
Я республика, как Америка.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

И друг друга злей и нелепее,
Палачи галдят на Совдепии.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

И лихой моряк, и большой смельчак,
На Сибири сел адмирал Колчак.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

И в Уфе эсер речью пылкою
Возрождает край учредилкою.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Выезжает лях на позицию,
Подавай ему всю Галицию.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Всю Лифляндию и Курляндию
Латыши хотят, финн — Финляндию.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

И нельзя понять, чего хочет Крым:
Хан Набоков там, Соломон ли Крым?
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Все спешат на юг и под небом Ясс
Шепчут всякий вздор и галдят зараз:
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Не хотим Павло, пана щирого,
Подавайте нам Драгомирова.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Власть растрепана, власть рассеяна,
Вся надежда на Кривошеина.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Мы сидим, сидим, вроде узников,
И все ждем чудес от союзников.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Господин Энно, господин Энно!
А ему плевать! И смотреть смешно.
«Ах ты, Русь моя...» и т.д.

Но велик Господь, и придет, как встарь,
И, на троне сев, грозно крикнет Царь:
«Ах ты, Русь моя, Русь родимая,
Ты Единая, Неделимая...»

Пока дела Германии были хороши и все снабжение шло в Добровольческую армию из Украины через Дон, отношения Деникина к атаману были холодные, но сдержанные. Не желая оставить никаких следов о том, что Добровольческая армия получала патроны и снаряды от немцев, генерал Деникин не требовал письменно или через свой штаб нужного ему снаряжения, но к атаману или к командующему Донской армией прибывали из Добровольческой армии частные люди (инженер Кригер-Войновский и др.) или кто-либо из «общественных деятелей» и рассказывал о тяжелом положении добровольцев, о том, что у них не хватает ни патронов, ни снарядов и что им необходимо послать столько-то того-то или того-то. Или об этом передавал представитель Донского войска при Добровольческой армии генерал от кавалерии

Смагин, и Донское войско, если только имело просимое, сейчас же, иногда в ущерб своим частям, отправляло транспорты добровольцам. Отношения между обеими армиями были вначале дружные, но равные. Дон не считал себя подчиненным генералу Деникину, и генерал Деникин, избегая прямых сношений с Доном, считал Дон независимым от себя.

Как только стало известно о победе союзников и о близкой перемене «ориентации», Добровольческая армия стала требовать от Дона все ей необходимое.

19 октября генерал Лукомский писал атаману: «Представитель артиллерийской части Всевеликого Войска Донского на Украине генерал-майор барон Майдель довел до сведения главного начальника снабжений Добровольческой армии, что Украина может уступить Дону 640 пулеметов «Льюиса» и 30 миллионов патронов к ним, 20 тысяч ручных гранат, около 10 миллионов 3-линейных патронов россыпью и 100—200 тысяч 3-дюймовых пушечных патронов.

Ввиду острой нужды в предметах артиллерийского снаряжения обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшею просьбою, не признаете ли возможным уделить Добровольческой армии часть из указанных запасов или оказать Ваше содействие к получению армией от Украины, под видом снабжения Дона, следующих предметов артиллерийского довольствия: 1) 100 пулеметов Льюиса и 5 миллионов патронов к ним; 2) 10 тысяч ручных гранат; 3) 5 миллионов ружейных патронов россыпью; 4) 75 тысяч 3-дюймовых пушечных патронов, из них 25 тысяч шрапнелей и 50 тысяч гранат, по возможности французских; 5) горных 5 тысяч, из них 2 тысячи шрапнелей и 3 тысячи гранат; 6) 48-линейных — 5 тысяч, из них 500 шрапнелей и 4500 бомб с зарядами; 7) 6-дюймовых — 3 тысячи бомб. О последующем прошу Вас не отказать уведомить меня...»*

Атаман не мог исполнить в полной мере этой просьбы Добровольческой армии, потому что он сам ничего из обещанного не получил. Способ требования через него запасов от Украины, нежелание Добровольческой армии сноситься непосредственно с гетманом, ее брезгливость к гетману и немцам и вследствие этого выставление атамана каким-то посредником, наконец, та властная, обособленная политика, которую вел Деникин, — все это огорчало и возмущало

---

* Письмо атаману начальника военного и морского отделов Добровольческой армии от 19 октября 1918 г., № 48.

атамана. 13 октября он в длинном письме на имя генерала Смагина высказывал свои соображения по этому поводу.

«...Спешу ответить, хотя коротко, на Ваше письмо, — писал атаман. — Во-первых, о патронах и снарядах. Почему Войско Донское должно быть маклером по продаже их Добровольческой армии? Нам и патроны, и снаряды нужны гораздо более, нежели Добровольческой армии, и достаются они нам с большими трудами, неприятностями и волокитой. Мы ведем борьбу с восемью советскими армиями в то время, как против Добровольческой армии только одна армия — Сорокина, да и та более чем наполовину выпущена против нас. Нам снаряды и патроны нужны не менее, чем добровольцам, и торговать ими мы не можем. Такого случая, чтобы мы задержали патроны оттого, что нам не выслали хлеб за них, не было. Не мы задерживаем патроны, а генерал Эльснер не послал их вовремя, да и способ, который употребляет Добровольческая армия для получения от нас патронов, довольно странный. Она их просит через случайных проезжих гражданских инженеров, просит намеками, а не прямо. И тем не менее на прошлой неделе я послал Добровольческой армии 4 миллиона патронов и 5 тысяч снарядов. Но ни Кубань, ни Добровольческая армия не могут рассчитывать получать от нас патроны и снаряды по той простой причине, что у нас их нет. Вы же знаете, что у нас нет ни фабрик, ни заводов для изготовления их, и у нас не было складов — все на Украине, и, значит, и Кубани, и Добровольческой армии надо получать снаряды и патроны оттуда, для чего не самостийничать, а стремиться к единой, неделимой России. На мне теперь лежит еще и питание Южной армии — откуда же я возьму еще и для добровольцев, которые притом совершенно не считаются со мною и не желают меня знать. Я, конечно, понимаю, что они мне косвенно помогают, но в трудные минуты вашей боевой жизни — это уже не первый раз, что мы терпим неудачи из-за несогласованности наших действий с действиями добровольцев. Прибытие отряда Сорокина и дивизии Жлобы, не преследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление.

Вот Вам и еще пример отношения к нам Добровольческой армии. Добровольческая армия просила у нас сухие и мокрые элементы, мы ей их немедленно послали, не говоря о цене и не торгуясь об этом. Теперь нам понадобилась мощная радиостанция, так как при помощи ее мы могли бы разговаривать и узнавать все, что делается в Петербурге, Москве, Пензе, Уфе и т.д. Доброволь-

ческая армия имеет две такие свободные и совершенно ей ненужные морские станции. Добровольческая армия на нашу просьбу о станции, которая и ей будет давать нужные сведения со всего света, ответила, что она может уступить такую станцию за 300 тысяч рублей. Согласитесь, что даже немцы с нами не торговались и предметы добычи отдавали или даром, или по пониженной цене. Все это так некрасиво рисует вождей Добровольческой армии.

А присутствие в ней Семилетова и Сидорина?* Что это, вызов Дону? Подготовка новой междоусобной войны?

Стыдно и больно все это писать и как бесконечно грустно. Ослепленные вожди и политиканы Добровольческой армии такими поступками марают честное белое знамя Корнилова.

Ваши сведения о проходе флота союзников через Дарданеллы совершенно неверны. Дарданеллы и Босфор заняты исключительно германскими войсками и германской артиллерией, Чаталджинская позиция в руках германцев. Кому нужен этот обман? Зачем сулить скорую помощь, чтобы еще более горькое было разочарование. Ведь из-за этого погиб в январе Каледин, которому тоже обещан был десант союзников. Но его не было, не так скоро он будет. А эти обманы так расстраивают слабых...

...Вот и судите сами, Алексей Алексеевич, кто виноват? Мы люди простые, бесхитростно и просто, без шумливой рекламы ведем мы свое тяжелое солдатское дело. Там — громкая шумная реклама, «Вечернее время» и «Россия» с кадилами лести в руках, там мания величия и присвоение себе титула спасителя отечества, хотя спасена одна двухсотая этого отечества. И нам и жутко, и неприятно, и противно смотреть на эту шумиху, на эту мишуру в святом для нас деле. Конечно, это письмо только тема для Вас. Оно не для огласки»**.

С прибытием союзников генерал Деникин нашел возможным дать понять донскому атаману, что он во всем зависит от него и что хочет или не хочет он, но ему придется подчиниться ему и подчи-

---

* Генералы Сидорин и Семилетов не пожелали служить с донским атаманом и вышли в отставку. Во время предвыборной кампании они ездили по Войску и агитировали против атамана, говоря казакам, что атаман продал Дон немцам. Семилетов, кроме того, не отчитался в казенных суммах и не расплатился с партизанами. Они уехали в Добровольческую армию, где Семилетов в Новороссийске стал формировать особый отряд для борьбы с большевиками слева и большевиками справа, как они называли атамана.

** Письмо донского атамана генералу от кавалерии А.А.Смагину от 13 октября 1918 г., № 010.

нить Донскую армию единому командованию. Донская армия к ноябрю месяцу подошла к Царицыну. Царицын был обложен с трех сторон, и сообщение его с его тылом прервано. Атаман ожидал прибытия тяжелых орудий, которые были куплены в Севастополе у немцев и за которыми в Севастополь прибыл донской пароход «Сосиетэ».

Командированный на этом пароходе за орудиями офицер телеграфировал 18 ноября в Новочеркасск: «Адмирал Канин получил приказание генерала Деникина никому покамест ничего не давать». Одновременно с этим капитан 1-го ранга Лебедев телеграфировал по поводу тех же орудий: «Генерал Лукомский приказал доставить платформы в Новороссийск, где и будут установлены орудия по доставке их морем из Севастополя. Посылать орудия по железной дороге и в Ростов не признано возможным»*.

Донское командование ответило, что оно и не предполагало отправлять орудия по железной дороге, но что за ними послан пароход. Начальнику Генерального штаба Добровольческой армии генералу Вязьмитинову было передано по прямому проводу из Новочеркасска в Екатеринодар, «что это вопрос серьезный и срочный. На организацию поездов (броневых) и личного состава затрачено много энергии и денег, *а главное — они страшно нужны на фронтах...*».

Генерал Вязьмитинов ответил: «По вопросам платформ и орудий по докладу генералу Лукомскому сообщаю: необходимо точно выяснить, для кого именно подготовляются поезда, так как приказание Главнокомандующего предусматривает *воспрещение выдачи чего-либо другим армиям, кроме Добровольческой.* Средства для этой последней направлять в Новороссийск, где и будет произведена установка орудий...»**

Генерал Деникин начинал мстить донскому атаману и показывать ему, что все находится теперь в его руках. После длительных переговоров и при содействии союзников эти орудия удалось получить только в феврале 1919 года, когда Азовское море замерзло, Донская армия находилась в разложении и не только нельзя было думать о штурме Царицына, но приходилось спешно убирать войска с Царицынского фронта!

Вопрос о едином командовании был особенно важен генералу Деникину ввиду того, что по мере освобождения Кубанского вой-

---

* Телеграммы № 21 и № 1852/96 от 18 ноября 1918 г.

** Разговор по прямому проводу между Морского генерального штаба капитаном 1-го ранга Кононовым и генералом Вязьмитиновым 18 ноября 1918 г.

ска от большевиков Кубанская Рада все более хотела освободиться от опеки генерала Деникина. Один из ее членов П.Л.Макаренко предполагал, что настало время собрать конференцию из представителей Добровольческой армии, Дона и Кубани для решения вопросов, между которыми стояли и такие: будущая Россия — федеративное или унитарное государство? Какое положение займет в ней Юго-Восточный союз и из кого он будет состоять? Возможна ли теперь единая власть и кому она может принадлежать?

Макаренко обратился со всеми этими вопросами к донскому атаману, который в декабре 1918 года отвечал ему:

«...Рассмотревши вопросы, подлежащие предварительному обсуждению в согласительной комиссии, то есть на конференции представителей Добровольческой армии, Дона и Кубани, я полагаю, что заседания таковой комиссии являются преждевременными, так как большинство вопросов в данное время решено быть не может, а гадание о будущем, не имея никаких данных, явится лишь пустыми разговорами, для чего у меня нет свободных людей, ни средств, чтобы оплачивать их напрасную поездку и жизнь в Екатеринодаре, потому что: будущая Россия — федеративное или унитарное государство? — праздный вопрос. Надо раньше освободить Россию от большевиков. Тогда прислушаться к голосу подлинной России, России, пережившей муки большевизма, и всем вместе обсудить этот вопрос. Говорить об этом Дону и Кубани — одной тридцатой России — преждевременно. Логически, конечно, Россия — единая и неделимая, потому что самим создавать принцип divide et impera[1] — на свою голову не годится...

...Освобождены Дон, три пятых Воронежской губернии, Кубань и части Ставропольской и Черноморской губерний. Дон избрал атамана, Воронежская губерния признала этого атамана, на Кубани, в Ставропольской и Черноморской губерниях, по-видимому, признана власть Добровольческой армии. Остается столковаться Дону с Добровольческой армией и идти вместе по одному пути, потому что цели их одинаковы: единая, неделимая Россия...

...Вряд ли общая власть возможна...

...Нужно, чтобы Добровольческая армия смотрела более жизненно на эти вопросы и не требовала от донских и кубанских казаков невозможных жертв. Мы пробовали сговориться, но это не удалось. Торговаться мы не умеем и торговать кровью донских, да, думаю, и кубанских казаков не будем...

---

[1] Разделяй и властвуй (*лат.*).

Надо, чтобы Добровольческая армия стала на практический путь работы с казаками, а не за счет казаков»*.

На 13 ноября в Екатеринодаре генералом Деникиным было собрано совещание между представителями Добровольческой армии, Дона и Кубани под председательством генерала Драгомирова. Предстояло решить три главных вопроса — о единой власти (диктатуре генерала Деникина), едином командовании и едином представителе перед иностранными союзными державами. От Донского войска были командированы генерал-лейтенанты Греков и Свечин и начальник войскового штаба генерал-майор Поляков. Им от донского атамана были даны готовые ответы: диктатура генерала Деникина не может быть признана, единое командование может быть лишь при едином фронте, и единый представитель возможен и желателен.

Совещание продолжалось два дня. Генерал Драгомиров настаивал на полном подчинении Дона Добровольческой армии и на осуществлении единого командования настолько, чтобы Добровольческая армия могла распоряжаться каждым полком Донской армии независимо от донского атамана.

К соглашению комиссия не пришла, а отношения обострились еще больше. Непосредственно за комиссией начались репрессии по отношению Войска Донского. Не были отпущены из Севастополя столь нужные войску тяжелые орудия, генерал Семилетов получил разрешение на формирование донского отряда в Добровольческой армии, что давало возможность укрываться от мобилизации и нарушало организацию Донской армии. В отряд этот собирались все недовольные и враждебные атаману лица.

Наконец, было решено не допускать представителей союзных держав на Дон и всячески мешать непосредственным сношениям Дона с союзниками.

Когда в Екатеринодаре узнали о том, что капитаны Бонд и Ошэн едут на Дон, министр торговли и промышленности Добровольческой армии В.А.Лебедев телеграфировал председателю Войскового Круга В.А.Харламову, что Бонд и Ошэн никем не уполномочены ехать на Дон и являются подставными лицами, нанятыми атаманом, чтобы инсценировать его дружбу с союзниками...

Так с приездом союзников началась жестокая интрига против атамана и Войска Донского, но им было уже не до того, чтобы парировать ее. Военные события изменились, Войску Донскому угрожала гибель.

---

* Письмо донского атамана П.Л.Макаренко, № 074.

Глава четырнадцатая

События на Украине и в Германии осенью 1918 года. — Разложение германской армии. — Восстание Петлюры и Винниченко. — Обещания французов. — Уход гетмана. Большевики на Украине

10 ноября (нов. ст.) атаман Зимовой станицы на Украине генерал-майор Черячукин писал управляющему отделом иностранных дел Войска Донского генерал-лейтенанту Богаевскому: «События идут быстрыми шагами, Император Вильгельм отказался от престола. В Германии социалистическая республика. В Киле делается то же самое, что у нас было в Кронштадте. Говорят, образовалось несколько республик. Отказ Вильгельма страшно гнетуще подействовал на армию, особенно убито духом офицерство. Здесь украинцы начинают побаиваться, поддержат ли их немецкие солдаты против большевиков и не станут ли они заодно с совдепами. Вообще настало время скорее вызывать союзников, если действительно последние хотят нам помочь в борьбе с большевиками. Вчера слышал, что переговоры Украины с союзниками в Яссах начались, и благоприятно; говорят здесь, что союзники требуют от немцев посылки двух корпусов против совдепов и что будто сами готовы дать на Украину сколько угодно войск. Австрийцы совсем разложились и грабят все. Предназначенные нам к отпуску из Ярмолинец тяжелые орудия трудно вывезти из-за той разрухи, которую устроили там австрияки; вагоны и поезда ими запружены, вообще картинка из недавнего нашего прошлого. Третьего дня гетман вызывал меня, кубанцев, терца и представителя Грузии для предварительного обсуждения вопросов о тесном единении и о будущем положении. Будут заготовлены письма от гетмана к правительствам с приглашением обсудить предварительно, до всеобщей мирной конференции назревшие вопросы о будущем России и о тех государствах, которые теперь отделились от России. Я боюсь, что это уже поздно. Сегодня мы должны были быть вновь вызваны для прочтения и получения этих писем, но, очевидно, опять задержка»*.

Это письмо было написано 28 октября, а еще 24 октября на Дону надеялись на совершенно иное. В этот день у управляющего от-

* Письмо атамана Зимовой станицы Всевеликого Войска Донского от 10 ноября (нов. ст.) № 886 получено в Новочеркасске 5 ноября (ст. ст.).

делом иностранных дел был германский майор Кокенхаузен, который сообщил ему, что под влиянием неудач на Западном фронте в Германии произошел целый ряд перемен. Рейхсканцлером назначен принц Макс Баденский, германское правительство нашло необходимым изменить свое отношение к Советской России, между Советской республикой и Германией прекращены дипломатические сношения, условия Брест-Литовского мирного договора аннулированы, Германия отозвала своего дипломатического представителя из Москвы и выслала Иоффе, советского посла, из Берлина. Майор Кокенхаузен весьма секретно сообщил, что в ближайшие дни германские войска, стоящие на Украине, начнут военные действия и перейдут в наступление против советских войск... Тогда — и это по тогдашнему настроению и состоянию Красной армии, совершенно не желавшей драться с немцами, несомненно, так и было бы — тогда немецкие полки освободителями вошли бы в Москву. Тогда немецкий император явился бы в роли Александра Благословенного в Москву и вся измученная интеллигенция обратила бы свои сердца к своему недавнему противнику. Весь русский народ, с которого были бы сняты цепи коммунистического рабства, обратился бы к Германии, и в будущем явился бы тесный союз между Россией и Германией. Это была бы такая громадная политическая победа Германии над Англией, перед которой ничтожной оказался бы прорыв линии Гинденбурга на Западном фронте и занятие Эльзаса. И державы Согласия приняли все меры, чтобы не допустить этого. Они усилили свой напор на фронт, а требования Вильсона и нежелание союзников говорить о мире с императором Вильгельмом, но лишь с германским народом, пошатнуло положение династии. Император Вильгельм был принужден отказаться от престола, власть в стране перешла в руки социалистов во главе с Эбертом, а император Вильгельм с наследным принцем покинул страну. В войсках немедленно образовались советы солдатских депутатов, а в городах — советы рабочих депутатов. Ни о каком выступлении германских войск против Советской республики уже нельзя было думать. В самой стране начались беспорядки, поднятые большевистски настроенными группами «Спартака». Грозные германские солдаты, всего неделю тому назад суровым «halt»[1] останавливавшие толпы рабочих и солдат на Украине, покорно давали себя обезоружить украинским крестьянам. Украинские большевики останавливали эшелоны со

[1] «Стой» (*нем.*).

спешившей домой баварской кавалерийской дивизией, отбирали оружие и уводили из вагонов лошадей!

Первыми покинули Украину австрийцы. Их места пришлось занять германцам, для чего германцы вывели свои гарнизоны из Ростова и Таганрога. Это входило в планы донского атамана, и Ростов был занят образцово обученными частями молодой Донской армии — л.-гв. Казачьим полком, двумя батальонами 1-го пластунского полка и 1-й конной казачьей батареей, в Таганрог были поставлены л.-гв. атаманский полк, батальон 1-го пластунского полка и саперный батальон.

Но когда германские части стали покидать восточную границу Украины и угольный район, где среди рабочих оставалось много большевиков, остался незащищенным, атаман с согласия гетмана выдвинул части 3-й и 2-й Донских дивизий и занял Луганск, Дебальцево и Мариуполь. Для этого пришлось прекратить наступательные операции на Царицынском фронте. С печалью смотрел командующий Донской армией, как постепенно, но очень быстро обнажался весь левый фланг с тремя дорогами, идущими в Войско и тыл его фронта и открывались прямые пути на Ростов и Новочеркасск — к сердцу Войска Донского. В дни страшного напряжения на севере Войска, когда все резервы были уже введены в боевую линию, командующему армией пришлось создавать новый фронт — Западный протяжением в 600 верст. Донской атаман обратился с просьбой о помощи к генералу Деникину. Генерал Деникин перебросил освободившуюся пехотную дивизию генерала Май-Маевского, которая заняла линию от Мариуполя до Юзовки. Эта линия была занята очень слабо, но ведь шли же, наконец, союзники!

В середине ноября ушла из Кантемировки наиболее дисциплинированная 2-я германская кавалерийская дивизия, а 4 декабря из города Ростова ушел германский штаб с майором Кокенхаузеном.

Левый фланг и тыл Донской армии на протяжении с лишком в 600 верст уже не защищался, даже не охранялся, а только наблюдался кавалерийскими и пешими заставами.

Украина кипела и бурлила восстаниями. Петлюра, окруженный сечевыми стрельцами, соединившись с Винниченко, поднял мятеж, обвиняя гетмана в стремлении соединиться с Россией. К ним примкнули щирые украинцы и масса голытьбы, желавшей пограбить помещичьи усадьбы и богатые города и села.

В ночь с 3 на 4 ноября по улицам Киева было расклеено воззвание Винниченко и Петлюры с призывом к низвержению гетмана

и объявлению Директории Украинской республики во главе с Винниченко (голова), Петлюрой, Швецом и Андреевским.

Директория, опираясь на сечевых стрельцов в Белой Церкви, подняла восстание и, пополнив их бандами из окрестных деревень, двинулась на Фастов и далее на Киев.

Почти одновременно с этим вспыхнуло восстание в других центрах Украины: в Харькове появился атаман Балбочан, потребовавший от донского правительства, чтобы оно убрало свои гарнизоны из угольного района, и грозивший войною, в Ровно, в Житомире, Ромодане, Крутах, Елизаветграде и Екатеринославе — по всей Украине резали, жгли и под шумок расхищали имущество.

Идейно восстание это не пользовалось никаким успехом. На Петлюру и на его сообщников смотрели просто как на разбойников, но подавить это восстание, уничтожить этих разбойников было некому. Немецкие солдаты не повиновались своим офицерам. Надеяться на них было нельзя. Своей силы не было.

Русские «общественные деятели» успокаивали гетмана, говоря, что восстание заглохнет само собою, что украинцы покончат с Винниченко и Петлюрой, союзники из Ясс дали знать, что они поддерживают правительство гетмана, и французский консул Энно 9 ноября должен был приехать в Киев, а за ним было обещано прислать и французские войска.

Между тем к 7 ноября сечевые стрельцы продвинулись к станции Боярка и потом подошли к Жулянам.

Энно настаивал перед немецким командованием, что немцы должны поддерживать порядок на Украине, но что могло сделать германское командование, когда войсками уже правили советы! 15 ноября германский совдеп заключил с повстанцами перемирие, одним из пунктов которого было то, что войска гетмана должны отойти с позиции в Киев, оставив только сторожевое охранение, а петлюровцы должны были отойти на 30 верст от Киева. Перемирие это было заключено без ведома главнокомандующего украинскими войсками в Киеве генерала князя Долгорукова и фактически не соблюдалось. Немцы не только не охраняли Киева, но местами сдавали петлюровцам оружие и уезжали в эшелонах, поданных Петлюрою для желающих ехать на родину.

Союзники обещали, что 20 ноября в районе Жмеринки, Могилева на Днестре, Одессе и Бирзуле будет сосредоточено до дивизии союзников, 27 ноября из Константинополя прибудет две дивизии, а ко 2 декабря с устья Дуная еще две-три дивизии...

Это были обещания французского командования на Черном море. Обещания генерала Бертелло. Но в Версале смотрели иначе. В Версале одни не понимали или не хотели понять всей важности назревающего момента, всей его психологической ответственности, другие желали видеть Россию уничтоженной, сгоревшей на медленном огне. Кроме той маленькой политики, которую вели военные начальники, видевшие в русских союзников, друзей, несчастных погибающих братьев и от всей души желающих им помочь, была еще другая, большая политика, видевшая в России угрозу Персии, Индии и Ближнему Востоку, и вот эта-то другая политика и отставляла все распоряжения первой политики.

Зло получилось ужасное.

В Советской республике со страхом и трепетом следили за всем тем, что происходит в России. Победа союзников была поражением большевизма. Это понимали и комиссары, понимали и красноармейцы. Как донцы говорили, что не могут они одни бороться против всей России, так и красноармейцы заявляли, что они не могут сражаться против всего мира. Появись в эту минуту, именно зимою 1918 года, на фронте в Украине и на Дону синие капоты французских солдат или английские шинели — и большевизм бы рухнул. Но тогда рухнул бы и Интернационал. Тогда началось бы братство народов, национальностей, тогда были бы Россия, Франция, Англия, но не было бы одного лица — вернее, одной безличной народности. И вот в Версале отложили помощь Украине.

Была и другая грозная причина. Хотя французы и англичане уверяли, что большевизм есть болезнь побежденных армий, что они — победители и их армии не тронуты этою страшною болезнью, на деле было не так. Французские и английские солдаты не желали воевать с большевиками, их армии уже были разъедаемы тою страшною гангреною усталости, которая явилась следствием войны.

И когда союзные войска не пришли на Украину, когда уже высадившиеся было в Одессе союзные войска покинули город и снова сели на суда, у большевиков явилась надежда на то, что в мировой войне победят они, потому что демократии Англии и Франции идут не против них. И они стали ожидать того, что будет на Дону.

Защищать Украину и гетмана остались наскоро сформированные, состоящие из одних офицеров и учащейся молодежи дружины.

Петлюра требовал разоружения всех русских офицеров, обещая им за это право свободного выхода из Украины. Слабые колебались. Помощи не было ниоткуда. Германские войска у Раздельной были разбиты и отходили к Одессе.

Совет украинских министров послал Петлюре делегацию, и в ее составе секретаря французского консульства Мулена, с просьбою разрешить офицерам проезд с оружием на Дон или Кубань; в случае согласия на это Киев должен был быть сдан без боя.

Гетману нечего было делать. Те самые «общественные деятели», которые убеждали его в необходимости вести более русскую политику и говорили, что с Петлюрою никто не пойдет, предали его и повели переговоры с Петлюрою. Гетман скрылся из Киева. Совет министров передал всю власть городской думе, и в тот же день в Киев вошли войска Директории. Начались казни и самочинные убийства русских людей, началось жестокое преследование всего того, что носило имя русского. Мать городов русских, стольный град Владимира Святого и Ольги, Киев стал ареной мучений русских людей за исповедание ими любви к Родине...

Командование советскими войсками, как только узнало об удалении гетмана и о занятии Петлюрой Украины, двинуло туда армию Антонова, и она без труда одолела петлюровские банды, и вскоре Харьков, а затем и Киев были заняты большевиками. Петлюра со своими сечевиками бежал в Каменец-Подольск.

Все внимание атамана было обращено теперь на то, чтобы отстоять западные границы Войска Донского. Но ввиду ожидания скорой помощи от союзников атаман надеялся не только отстоять Войско Донское, но вместе с Добровольческой армией и союзниками идти освобождать Москву от большевиков.

Глава пятнадцатая

Прибытие союзнической миссии генерала Пуля в Екатеринодар. — Приезд капитанов Бонда и Ошэна на Дон. — Торжественная встреча их в Новочеркасске. — Поездка по Войску

На Дону союзников ожидали уже около года. Большая часть интеллигенции была настроена к союзникам любовно и восторженно. Благодаря широкому распространению в России английской

и французской литературы, французы и англичане, несмотря на свою удаленность, были ближе русскому сердцу, нежели немцы. Немцы пользовались симпатиями и нравились простым казакам как серьезный, трудолюбивый народ, на француза простые люди смотрели с некоторым презрением, на англичанина — с недоверием. Крепко сидело в простом русском народе убеждение, что в решительные минуты успехов русских всегда «англичанка гадит». Но интеллигенция вся была на стороне союзников и ожидала их с восторженным нетерпением.

Прибытие союзников — это была эра в понятиях всего русского общества. Поворотная точка в борьбе с большевиками. Придут союзники — и сейчас же быстрое наступление, победы, и Москва, и Петроград, и свидание с родными, и конец казням и большевистскому застенку. И время до занятия Москвы при помощи союзников измерялось неделями. Ну, через два месяца, весною, самое позднее, все будет кончено. И одни видели Земский собор и выборы царя, другие — Учредительное собрание и президента — это было неоспоримо.

Ведь должна же была вся эта разруха наконец кончиться!..

Союзники приехали в Новороссийск; их торжественно встречали. В Новочеркасске знали до мелочей, до самых мельчайших подробностей все, что было. От Англии приехал генерал Пуль, немного знающий по-русски, и полковник Киз, хорошо говорящий по-русски, от Франции капитаны Фуке и Бертелло и лейтенант Эрлиш (Erlich). Последний говорит по-русски как русский. Знали, что у добровольцев вышло недоразумение с русским гимном. Пили на торжественном обеде за Великую, Единую, Неделимую Россию. Музыкантам надо было играть что-либо после. Заиграли Преображенский марш*. Тогда генерал Пуль попросил сыграть русский гимн. Переглянулись, пошептались и опять заиграли Преображенский марш. Это оттолкнуло от Деникина монархически настроенные элементы, а их было немало, особенно в гвардейском отряде Кутепова.

Когда в Новочеркасске узнали об этом, командующий армией, в распоряжении которого находился войсковой хор, спросил атамана, что играть, если будут пить за Россию.

— Русский гимн, — отвечал атаман.

---

* Характерно, что старые и общеизвестные слова Преображенского марша «Русского Царя солдаты рады жертвовать собой» в смысле монархическом не менее компрометируют, нежели «Боже, Царя храни», но англичане этого не знали.

— Какой? — спросил генерал Денисов.

— Я знаю только один русский гимн — «Боже, Царя храни», и, пока не написан и не утвержден другой, мы и должны его играть. Великая Россия относится к прошлому, в настоящем — России нет, а будущего мы не знаем... — отвечал атаман.

Вопрос был сделан не напрасно. По-видимому, в программу союзников входило нащупывание политических настроений в массах и этим путем.

25 ноября в Новочеркасск прибыли союзники. Они шли до Мариуполя на миноносцах, а потом по железной дороге на Таганрог, Ростов и Новочеркасск. Как потом признавался капитан Бонд, ехали не без страха. А что, если на Дону большевики? Как-то проедут? Небольшие рабочие команды, которые они видели в Севастополе, принадлежавшие к составу Добровольческой армии, внешним видом своим доверия не внушали. Союзных офицеров отговаривали ехать на Дон: там, дескать, весь порядок держится на немцах, а немцы ушли, и там, как на Украине, беспорядки и большевики.

Однако в Мариуполе их ожидал поезд атамана. Прекрасные вагоны, вагон-ресторан с обильной едой и винами, которых они давно не видели, электрическое освещение, безупречная чистота, бравые провожающие поезд конвойные казаки и точное, по расписанию, движение поезда их успокоили.

В Таганроге на перроне стоял прекрасно одетый в новые шинели, с белой ременной амуницией и весь в кожаных высоких сапогах караул л.-гв. Атаманского полка, сотня с хором трубачей. Смело и уверенно заиграли трубачи английский гимн и, когда офицеры дошли до середины фронта, начали играть гимн Франции. Все это отзывало старым твердым строем, но не большевизмом. В 10 часов утра поезд прибыл в Ростов. Такой же прекрасный караул л.-гв. Казачьего полка их ожидал. На перроне стояли депутации от города, от французской и английской колоний. Начались речи, адреса.

В Новочеркасске их ожидал почетный караул 4-го Донского казачьего полка и опять депутации и хлеб-соль от Новочеркасской станицы, первой станицы, куда прибыли союзники. По всему почти двухверстному пути от станции до собора стояли шпалерами войска Молодой армии, пехота, кавалерия и артиллерия.

Новочеркасск был полон гостей. Прибытие союзников на Дон было торжеством политики атамана, ожидались речи глубокого политического значения, и присутствовать на этом торжестве бы-

ли приглашены представители Добровольческой армии, Кубани и народов Северного Кавказа и астраханский атаман. От Кубанского войска в Новочеркасск прибыли генерал Гейман, член Рады П.Л.Макаренко, от горцев — господин Гатагогу, от астраханцев — князь Тундутов и его начальник штаба полковник Рябов-Решетин, от Добровольческой армии — генерал-майор Боровский и полковник Шкуро. Большая часть членов Большого войскового Круга съехалась в Новочеркасск, чтобы приветствовать союзников от народа. Англичан приехало трое офицеров — капитан Бонд и лейтенанты Блумфельд и Монро и с ними 10 матросов, французов тоже трое — капитан Ошэн и лейтенанты Дюпре и Фор и 10 матросов.

Стоял пасмурный, но тихий день. Чуть таяло. Печальная торжественность разлита была в воздухе. Так неутешная вдова в глубоком трауре, но с очаровательной улыбкой встречает жениха своей дочери, полная радости, но радости сдержанной, помнящей о невозвратимой потере. Все улицы были покрыты сплошными массами празднично одетого народа. Несмотря на глубокую осень, у всех были цветы — хризантемы в руках. Каждый глубоко верил, что приезд союзников знаменует свободу, конец этой страшной войне, где брат идет против брата, и этой веры нельзя было отнять у измученных, столько раз смотревших в лицо смерти людей.

Автомобили длинной вереницей двигались по середине бульвара Крещенского спуска, и им сопутствовали тихо-торжественные певучие звуки донского гимна и несмолкаемое «ура» жителей и войск. По одну сторону бульвара стояли войска, по другую — дети учебных заведений. И за теми, и за другими — толпа народа, из которой непрерывно летели и сыпались дождем цветы осени, нежные пушистые хризантемы.

С собора шел перезвон: все духовенство в золотых ризах ожидало своих избавителей. Как только союзники вошли в собор, приехал атаман и начался молебен, который служил архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан, в сослужении с архиепископом Аксайским Гермогеном.

Преосвященный Митрофан сказал короткое приветственное слово. При французах и англичанах были переводчики, которые переводили им каждую фразу.

После молебна мимо союзников, окруженных восторженной толпой народа, проходили войска. Это была Молодая армия, прекрасно одетая в зимнюю форму. За войсками в оригиналь-

ных английских костюмах шли дружины новочеркасских бой- и герлскаутов.

В тот же день, в 7 часов, в большом зале атаманского дворца, увешанном портретами донских атаманов, был обед на 100 кувертов. Играли музыканты, и пели донские казачьи песни певчие войскового хора. Здесь присутствовали управляющие отделами, высшие войсковые начальники и многие члены Круга. Были представители всего Войска. Ожидали, что скажет атаман и что ответят ему союзники.

Атаман произнес свою речь по-французски — он приветствовал союзников как друзей великой России. Он напомнил о вековом долге Франции, обязанной и за свою свободу в 1814 году, и за свое спасение в 1914—1915 и 1916 годах...

«Вы находитесь, господа, в историческом зале, со стен которого на вас глядят немые глаза героев другой народной войны, войны 1812 года. Платов, Иловайский, Денисов напоминают нам священные дни, население Парижа приветствовало своих освободителей — донских казаков, когда император Александр восстановлял из обломков и развалин прекрасную Францию.

Здесь гремит музыка, горят огни, и лица сияют счастьем. Мы встретились наконец с нашими доблестными союзниками, но мы не можем быть вполне счастливы. Наши союзники одержали полную блистательную победу, враг побежден, но один из сражавшихся в этой великой войне — Россия — лежит в развалинах, поругана, почти уничтожена. Россия — наша Родина!

Восьмой месяц донские и кубанские казаки ведут кровавую войну за свободу и счастье России. Они помогли Добровольческой армии сорганизоваться и устроиться после ее исторического Кубанского похода.

И теперь, когда эта зала полна светом и музыкой и когда повсюду во Франции, Англии, Америке и Италии идет веселое ликование по случаю столь прекрасного мира, здесь льется кровь казаков и добровольцев, и не видно конца этому ужасному избиению, не видно помощи в борьбе с бандами разбойников, разрушающих нашу веру, наши дома, мучающих наших стариков, наших женщин и детей.

Мы изнемогаем в этой героической борьбе, где один казак борется против десяти противников, где на одну пушку отвечает двадцать орудий неприятеля. Мы ожидаем помощи.

Восемь месяцев как бы темная ночь окутала мраком нашу землю. И теперь луч света перед нами, заря загорается, помощь идет

к нам, и мы боимся лишь одного — доживем ли до нее, хватит ли сил у наших воинов. С мая по ноябрь без всякой помощи, совершенно одни мы прошли семьсот верст к сердцу России — Москве, и только пятьсот верст нас от нее отделяют.

У каждого из нас есть там родные. У меня сестра в Москве, другой оставил там своего брата, отца или мать — они обречены на голод, им грозят страшные муки, быть может, расстрел. Дождутся ли они счастливого дня освобождения?

Страшно сказать, но они ждут вашей помощи, и им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать — мы свободны! Но все наши помыслы, цель нашей борьбы — великая Россия, Россия, верная своим союзникам, отстаивавшая их интересы, жертвовавшая собою для них и жаждущая так страстно теперь их помощи. Сто четыре года назад в марте французский народ приветствовал императора Александра I и российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место.

Сто четыре года тому назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне.

Мы ожидаем вас в Москве! Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы!

Великая Россия. В этих словах все наши мечты и надежды!

А пока... Пока мы печальны, ибо все так же льется кровь казаков и наши силы напряжены до последней степени, чтобы спасти Отечество...»

После речи атамана встал капитан Бонд и заявил, что он и капитан Ошэн уполномочены заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от союзников, чтобы узнать о том, что происходит в России. Союзники помогут всеми силами и всеми средствами, не исключая и войск, донским казакам и Добровольческой армии.

Эти слова были покрыты громовым «ура!». И особенно ликовали члены Круга, фронтовые казаки, те люди, которых война касалась непосредственно.

Затем шли тосты за Войско Донское, за союзников, и наконец капитан Бонд сказал:

— Я провозглашаю тост за великую Россию, и я хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать значения его словам, но я бы хотел услышать только его музыку!..

Едва только переводчик кончил переводить слова английского офицера, как атаман при гробовом молчании всего зала отчетливо сказал:

— За Великую, Единую и Неделимую Россию! Ура!

Величаво-мощные, волнующие сердце, могучие звуки старого русского гимна были исторгнуты из скрипок и труб. Все мгновенно встали и застыли в молитвенных позах. Архиепископ Гермоген плакал горькими слезами, и слезы лились по его серебристой седой бороде. Все были глубоко растроганы охватившими вдруг воспоминаниями прошлого и тяжелыми думами о настоящем.

Едва гимн кончился, громовое «ура» потрясло весь зал и не смолкало до тех пор, пока музыканты не начали играть снова гимн. Они принуждены были повторять его четыре раза.

Англичане и французы вынесли впечатление, что на Дону настроение монархическое. Но это было верно только отчасти. Русский гимн напомнил всем собравшимся времена великой славы русской, времена побед, а не поражений, времена благородного самопожертвования, а не подлой измены. Но если бы спросили казаков, хотят ли они вполне вернуться к старому, более половины решительно ответили бы: нет!

Простые казаки и крестьяне не желали реставрации, потому что с понятием о монархии первые связывали поголовную принудительную воинскую повинность, обязанность снаряжаться на свой счет и содержать верховых лошадей, ненужных в хозяйстве, казачьи офицеры связывали с этим представление о разорительной «льготе», плохие стоянки и бесправное положение. Крестьяне думали о возвращении помещиков и о наказании за те разорения, которые они сделали в помещичьих усадьбах, в остальном им было все равно, республика или монархия, потому что по существу немногие понимали разницу. Казакам, кроме того, нравился их новый самостоятельный строй, их тешило, что они сами теперь обсуждают такие серьезные вопросы, как вопросы о земле и земельных недрах. Что предполагала и чего желала донская интеллигенция, сказать трудно. Она давно уже раскололась на два противоположных лагеря — монархистов и социалистов-революционеров. Все, кто считал себя передовыми, просвещенными людьми — учителя, юристы, — все это было настроено крайне лево, и тем не менее и они восторженно приветствовали русский гимн. Русский гимн был для них русским, но не царским гимном. Играли же и признавали они донским

гимном «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон», но когда пели его, то пели с новыми словами, где исключалась и преданность монарху, и готовность отдать свои жизни за царя, за славу и победу*.

Позднее, когда французский лейтенант Эрлиш, встретивший Новый год в офицерском собрании л.-гв. Казачьего полка и слышавший, как там играли русский гимн, настойчиво говорил донскому атаману, что «такая проповедь монархизма неуместна и не входит в планы союзников», атаман сказал ему:

— Что прикажете мне играть, когда величают Великую, Единую и Неделимую Россию?

Эрлиш молчал.

— Большевики играют вашу «Марсельезу», но это гимн Франции, но не России, — продолжал атаман.

— Да, «Марсельезу» играть неудобно, — согласился Эрлиш.

— У меня две возможности — играть в таких случаях «Боже, Царя храни», не придавая значения словам, или играть похоронный марш. Я глубоко верю в Великую, Единую и Неделимую Россию и потому играть похоронный марш не могу... Я играю русский гимн, и он всегда останется русским, что бы ни случилось.

Атамана за это за границей считали монархистом.

Русский гимн как бы еще теснее спаял все общество, собравшееся в атаманском дворце. Капитан Бонд, взволнованный всем виденным, несколько раз повторил: «Как это хорошо! Как хорошо все то, что я вижу!»

На другой день офицеры союзных держав были на обеде, устроенном в честь их съехавшимися в Новочеркасск депутатами Войскового Круга. Это был вполне «демократический» обед. На главном месте сидел председатель Войскового Круга В.А.Харламов, по правую руку — атаман. Далее вперемежку иностранные гости, управляющие отделами и члены Круга. Мундиры с серебряными донскими погонами офицеров и генералов перемешались с рубахами с темно-синими и защитными погонами простых казаков и урядников, избранников народа, рядом с изящно сши-

* Старые слова донского гимна «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв Монарха он». Далее говорится о сборах в поход на Царьград. Песня относится к 1855 году. Донцы заменили все слова, создавши трогательное стихотворение, рисующее мирную картину и готовность отстоять свою свободу.

тыми в Новочеркасске сюртуками были домашнего изготовления «тройки». Оживление было общее. Было много речей. Но главное было то, что и англичане, и французы торжественно подтвердили, что они помнят заслуги России, что они желают ее освобождения от большевиков и что они помогут Добровольческой армии и Донскому войску. Каждое слово союзников, раздававшееся здесь, в зале бывшего областного правления, где был обед, звучало далеко и разносилось по самым глухим станицам и хуторам, доходило до казачьего фронта. Депутаты с обеда шли на прямой провод и посылали во все места телеграммы о том, что они видали и что слышали.

И смысл их телеграмм был один: «Союзники с нами и за нас!..»

Это было 26 ноября, День святого Георгия Победоносца. В Новочеркасске был традиционный парад и обед георгиевских кавалеров. На этот парад съехались изо всех полков, со всех фронтов и позиций казаки, георгиевские кавалеры. И они знали от своих депутатов, от людей, которым они верили безусловно, они знали это от своего атамана, который их никогда не обманывал, что союзники прибыли и помощь близка — это говорил им атаман на их обеде в станичном правлении и в гарнизонном собрании, и они сами видели иностранные формы и слышали иностранную речь на спектакле в театре Бабенко, где в ложе у атамана сидели его гости — английские и французские офицеры. На другой день они поехали по своим полкам на студеную обледенелую позицию в свои примитивные окопы, и они понесли ликующую весть — помощь близка!..

27 ноября союзники посетили Донскую офицерскую школу, где особенно заинтересовались практическими работами офицеров в столярной и слесарной мастерской, где офицеры сами изготовляли все принадлежности телеграфа и телефона, потом были в военном училище, смотрели езду юнкеров, выездку ими лошадей, стрельбу, гимнастику и фехтование. После юнкерского завтрака они были на кладбище. Они видели бесконечно длинные шеренги крестов — жертв междоусобной войны и насилий большевиков. Они читали простые, но так много говорящие надписи: «Партизан Чернецовского отряда, гимназист Платовской гимназии 5-го класса», «Партизан, реалист», «Сестра милосердия, замученная большевиками», «Неизвестный доброволец», и таких крестов были многие, многие сотни. При них служилась торжественная панихида, и они ходили на могилы Каледина, Назарова, Богаевского...

Серое небо низко нависло над землею. Глухо шумели голыми сучьями деревья кладбища. Обрывки печальных песнопений неслись по кладбищу, и странными были яркие ризы духовенства и голубые кафтаны певчих посреди унылой степи, уставленной бесконечными рядами белых крестов. С кладбища союзники поехали в кадетский корпус, потом в Донской Мариинский и Смольный институты. Неотразимо прелестное впечатление производила эта масса девочек и девушек в голубых юбках и белых передниках, глубоким низким институтским реверансом приветствовавших гостей-освободителей. Барышни говорили стихи по-французски и по-английски, играли на рояле, пели и танцевали.

— А не забыли ваши барышни своего русского гимна? — спросил капитан Ошэн у начальницы института. — Не могли бы они нам спеть его на прощание?

Начальница бросила вопросительный взгляд на атамана. Атаман кивнул головой.

— Mesdemoiselles, — сказала начальница детям, — иностранные гости спрашивают, не забыли ли мы наш русский гимн. Споем им его!

Никто ничего не говорил и не подсказывал девушкам — это все случилось в полной мере неожиданно. Все институтки как одна повернулись к иконе своей покровительницы Марии Магдалины, и девичий хор дружно и согласно запел «Боже, Царя храни». И это была молитва, а не гимн, молитва, пропетая с глубоким чувством, с чистыми слезами умиления на глазах...

Тогда дети — ученики средней школы и большинство студентов были монархистами. Монархия преследовалась, государь был зверски убит, быть монархистом было опасно, а детские и юношеские сердца жаждут геройства, подвига, им нравится таинственное обожание, стремление к поруганному, ставшему для них святыней...

Вечером был раут, на котором присутствовало все новочеркасское общество и с которого атаман в 12 часов ночи увез гостей прямо на позицию.

28 ноября иностранцы были представлены на станции Кантемировка командующему Южной армией генералу от артиллерии Иванову и смотрели его войска, а затем по морозу при небольшой метели поехали в Богучар, Калач и Бутурлиновку. Повсюду в слободах и селах их встречали крестьяне Воронежской губернии с хлебом-солью. В Бутурлиновке союзники видели доблестный

Георгиевский Гундоровский полк. Их удивило, что атаман вызвал перед строем полка своих бывших однополчан 10-го полка, которые были с ним в германскую войну. Вышло около половины полка. Атаман перецеловался с каждым из казаков и представил их союзникам.

— Это те герои, — сказал он, — с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжеца и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом. Они знают меня скромным полковым командиром, и они видели меня в боевых цепях своих...

По возвращении с позиций с Северного фронта атаман показал союзникам Русско-Балтийский завод в Таганроге, на котором только что начиналась работа: чистили и устанавливали станки для изготовления снарядов и ружейных патронов. Из Таганрога после интимного сердечного обеда в собрании л.-гв. атаманского полка союзники поехали на свои миноносцы в Мариуполь, а капитаны Бонд и Ошэн отправились в Екатеринодар с подробным докладом главам миссий генералу Пулю и капитану Фуке обо всем, что они видели и слышали на Дону. Они везли с собой напечатанный специально для них на английском и французском языках «Un court apercu historique de la delivrance du pays du Don des maximalistes (bolschevikis) et du commencement de la lutte pour la restauration de Toutes les Russies unies»*, подробную табель артиллерийскому, инженерному, интендантскому и медицинскому имуществу, которое Войско Донское желало бы получить для себя от Англии и Франции, ведомость тем материалам и сырью, которое Войско Донское могло отпустить взамен военного имущества, подробные карты с показанием на них как своих, так и красных войск и план кампании против большевиков с показанием движения пяти иноземных корпусов.

Они вывозили с собой самые отрадные и самые светлые воспоминания о донских казаках, они видели прочное, живущее полною жизнью государственное образование, где правил народ через свой Круг и где был атаман, и по некоторым чисто внешним признакам они полагали, что весь Дон политически — монархисты...

* «Исторический очерк освобождения Донской области от большевиков и начала борьбы за восстановление единой России».

Глава шестнадцатая

Переписка донского атамана с генералом Пулем. — Почему атаман не хотел признать генерала Деникина Главнокомандующим и диктатором. — Свидание атамана с генералом Пулем на станции Кущевка. — Речь атамана генералу Пулю

Впечатление от приезда союзников на Дону было сильное. Оно отозвалось и на всех фронтах. Но случилось именно то, чего так боялся атаман. После короткого подъема настроения, выразившегося в частичных переходах в наступление, причем отряд генерала Гусельщикова овладел Борисоглебском и станцией Поворино и выгнал красные войска из Хоперского округа, где было взято более пяти тысяч пленных, наступил упадок духа. Приезд союзников был допинг, был наркоз, опьянивший казаков и заставивший их совершить небывалые подвиги, но работать под наркозом постоянно нельзя, после одной дозы нужна более сильная, нужно исполнение обещания — помощь, и помощь реальная — войсками.

Большевики усилили свою агитацию, не дремала и екатеринодарская партия врагов атамана. Она стала распространять слухи, что те офицеры, которые были на Дону, просто туристы, совершенно невольно сыгравшие роль Хлестаковых, что настоящие иностранцы находятся в Екатеринодаре — это Пуль и Фуке, и они никакого дела не желают иметь с германофилом атаманом. Этому сильно помогал Эрлиш, парижский адвокат, поведший кампанию против атамана в Екатеринодаре и всеми силами старавшийся дискредитировать скромного и молчаливого капитана Ошэна.

На фронте шла небывалая борьба, усугубленная наступившими сильными морозами, вьюгами и метелями, усталость казаков сказывалась все сильнее, а в тылу шла своя работа. Уже и председатель Круга в законодательной комиссии высказывал сомнение, что союзники будут помогать Дону. Атаману было необходимо войти в сношения с генералом Пулем и добиться присылки на Дон войск. В этих целях атаман написал письмо Пулю, в котором просил его не верить всему тому, что про него говорится в Екатеринодаре, и лично посмотреть ту работу, которая сделана донскими казаками.

Доклад капитанов Бонда и Ошэна поколебал генерала Пуля, и хотя он не пожелал и смотреть всего того, что привезли с Дона

эти офицеры, считая все это провокацией, но и к письму атамана отнессся уже более внимательно. Этому немало помогли громкие победы, совершенные казаками в эти дни на Северном фронте и в Хоперском округе.

7 декабря генерал Пуль писал атаману из Екатеринодара:

«...Ваше письмо от 6/19 декабря лично передано мне есаулом Кульгавовым.

Я должен поблагодарить Вас за то, что Вы так полно и откровенно высказали Ваши взгляды, хотя я очень сожалею, что они не гармонируют с моими собственными по вопросу о назначении генералиссимуса, долженствующего командовать всеми русскими армиями, действующими против большевиков.

Я постараюсь ответить одинаково откровенно.

Я осмелюсь указать Вашему Превосходительству, что я считаю вопрос назначения Главнокомандующего пунктом, о котором следовало бы сперва посоветоваться с союзниками, так как я вынес впечатление из Вашего письма, что Вы считаете, что только с союзной помощью и союзным снабжением Вы сможете наступать или даже удержать занятое Вами.

Инструкции от моего правительства указали мне войти в связь с генералом Деникиным, представителем в британском мнении Русских армий, действующих против большевиков. Поэтому я сожалею, что для меня невозможно обдумывать признание какого-либо другого офицера таковым представителем.

Я вполне отдаю себе отчет в той великолепной работе, которую Ваше Превосходительство так искусно выполнили с донскими казаками, и я осмелюсь поздравить Ваше Превосходительство по случаю Ваших блистательных побед.

Я надеюсь, что Ваше Превосходительство теперь покажете себя не только великим солдатом, но и великим патриотом.

Если я буду вынужден вернуться и доложить моему правительству, что между русскими генералами существует взаимная зависть и недоверие, это произведет самое болезненное впечатление и, безусловно, уменьшит шансы того, что союзники окажут какую-либо помощь. Я предпочел бы донести, что Ваше Превосходительство показали себя настолько великим патриотом, что согласились даже подчинить Ваши собственные желания общему благу России и согласились служить под командой генерала Деникина.

Как я уже устно уведомил князя Тундутова, я буду рад встретиться с Вашим Превосходительством неофициально и обсудить весь вопрос, в случае, если Вы этого пожелаете, и я не думаю, что

мы не придем к удовлетворительному разрешению этого вопроса. На это свидание я привез бы с собой генерала Драгомирова из штаба генерала Деникина. Имею честь быть Вашего Превосходительства покорным слугой Ф.С.Пуль, генерал-майор, командующий Британской миссией на Кавказе»*.

Атаман не хотел признавать генерала Деникина Главнокомандующим не потому, что Войско Донское и Деникин жили не в ладу, не потому даже, что генерал Деникин не хотел отрешиться от старого взгляда на казаков как на часть Русской армии, а не как на самостоятельную армию, чего добивались казаки и за что боролись, но потому, что атаман считал генерала Деникина неспособным на творчество и притом совершенно не понимающим характера войны с большевиками и считал, что генерал Деникин погубит все дело. Кто угодно, но только не Деникин с его прямолинейной резкостью и уверенностью, что можно силой заставить повиноваться.

Атаман считался с обаятельной внешностью Деникина, с его умением чаровать людей своими прямыми солдатскими честными речами, которыми он подкупал толпу, но за этими речами атаман видел и другое. В то время как на Дону были вызваны все производительные силы страны и создана покорная армия, генерал Деникин опирался на кубанских казаков и офицерские добровольческие полки. Солдатам он не верил, и солдаты не верили ему. Армия не имела правильного снабжения, не имела точных штатов, не имела уставов. От нее все еще веяло духом партизанщины, а партизанщина при возникновении Красной, почти регулярной, армии была неуместна.

Генерал Деникин борьбе с большевиками придавал классовый, а не народный характер и при таких условиях, если его не подопрут извне иностранцы, должен был потерпеть крушение. Боролись добровольцы и офицеры, то есть *господа*, *буржуи* против *крестьян* и *рабочих*, *пролетариата*, и, конечно, за крестьянами стоял народ, стояла сила, за офицерами только доблесть. И сила должна была сломить доблесть.

Генерал Деникин угнетал проявление кубанской самостоятельности, он не считался с Радой. Такого же отношения надо было ожидать и к Дону — это охладило бы казаков и могло бы окончиться катастрофой.

Генерал Деникин не имел ничего на своем знамени, кроме единой и неделимой России. Такое знамя мало говорило сердцу укра-

---

* Для точности перевод сделан буквальный.

инцев и грузин, разжигало понапрасну страсти, а силы усмирить эти страсти не было. Деникин боялся сказать, что он монархист, и боялся пойти открыто с республиканцами, и монархисты считали его республиканцем, а республиканцы — монархистом. В Учредительное собрание уже никто не верил, потому что каждый понимал, что его фактически не собрать, презрительным названием «учредилки» оно было дискредитировано, унижено и опошлено в глазах народа.

Иди Деникин за царя — он нашел бы некоторую часть крестьянства, которая пошла бы с ним, иди он за народ, за землю и волю — и за ним пошли бы массы, но он не шел ни за то, ни за другое. «Демократия» отшатнулась от него и не верила ему, и Деникин боялся призвать ее под знамена.

Добровольцы были плохо одеты, плохо дисциплинированы, они не были войском — армия Деникина все была только корпусом, и, хотя Деникин уже владел тремя громадными губерниями, он ничего не создал, и атаман боялся, что он не только ничего не создаст в будущем, но развалит и созданное такими трудами, неокрепшее и хрупкое.

Атаман не считал Деникина хорошим стратегом, потому что Деникин действовал по плану, который казался атаману некрупным и бесцельным. План Деникина состоял в покорении окраин, в этом Деникин видел обеспечение своего тыла. Сначала Кавказ, потом Крым, далее Украина. Атаман считал, что с окраинами, в том числе и Украиною, воевать нельзя и не стоит: с ними должно столковаться, признавши их права на свободное существование. Главная цель казалась атаману — борьба с большевиками и большевизмом: с первыми — оружием, со вторым — воспитанием, и только после победы над ними и освобождения от коммунистов *всей России* можно говорить о «единой и неделимой России». Генерал Деникин прямо шел к этой *единой* и *неделимой* и, по мнению атамана, создавал себе еще новых врагов, не справившись и со старыми. Деникин не признавал гетмана Скоропадского, потребовал подчинения себе Крыма, ссорился с Грузией, был в холодных отношениях с Кубанскою Радою, и атаман боялся, что он раздражит и донских казаков. Атаман считал, что во время войны не время заниматься мелочами. Надо идти прямо к цели — и цель эта: гнездо большевизма — Москва и Петроград. Еще недавно атаман сговаривался с гетманом Скоропадским и завязывал сношения с Польшей и Грузией — он искал друзей. Он считал, что путь к Москве один — создание единого фронта с чехо-словаками

и Колчаком. Движение на северо-восток к Царицыну, Саратову и Самаре, посылка большого конного отряда для связи с атаманом Дутовым, собрание сначала *единой Русской армии*, а затем поход на Москву. Генерал Деникин работал по обратным операционным линиям — на юг и на запад. На Владикавказ — Дербент, Петровск, Баку, на Сочи и Гагры, потом на Киев...

К этому примешивалось взаимно враждебное отношение штабов Донского войска и Добровольческой армии. Генерал Денисов имел большое влияние на атамана как ежедневный непосредственный докладчик перед атаманом и его постоянный спутник в поездках по фронту и по станицам. Атаман высоко ставил Денисова и к мнению его всегда прислушивался. Генерал Денисов считал подчинение генералу Деникину крушением всего дела. Генерал Денисов слишком гордился своей работой и работой своего штаба. У него была отлично налаженная техническая связь, Войско Донское выпустило к этому времени 90 тысяч листов планов и карт для войск и издало заново почти все уставы и войсковые учебники, и генерал Денисов не желал передавать всего этого Добровольческой армии. Он считал операции, задуманные в его штабе, глубоко обоснованными, действия же Добровольческой армии — кустарными операциями и по-прежнему презрительно называл армию «странствующими музыкантами».

После приезда союзников и письма генерала Пуля перед атаманом стояла непременная задача согласиться на признание генерала Деникина Верховным главнокомандующим и подчинить ему не только Донскую армию, но и все Войско. События на фронте, появление большевиков на Украине, создание нового, Западного фронта и вследствие этого необходимость во что бы то ни стало получить помощь извне требовали от атамана уступок и изменения своего мнения. Генерал Деникин, так сказать, авансом послал дивизию Май-Маевского на Украину, но дивизия эта очень вяло работала и долго оставалась в районе Мариуполя и Юзовки, не продвигаясь на север и не занимая Луганска, Купянска и Харькова, особенно последнего, на чем настаивал атаман. Дивизия эта оказывала мало помощи, и было похоже, что генерал Деникин и не окажет большей помощи, пока не будет признан Войском Донским.

Атаман просил о присылке подкрепления Май-Маевскому и о побуждении его энергично продвигаться на север и занимать северную границу Украины. Деникин отвечал телеграммами, полными участия, и писал, что у него нет ни одного свободного

полка. А между тем атаман знал, что большевики так поспешно отступали к Каспийскому морю, что преследовала их только одна конница, пехота же, две Кубанские пластунские дивизии, которые были поставлены на отдых, легко могли покончить с большевиками, еще не окрепшими на Украине. Но политика заслоняла от Деникина соображения стратегии. Раньше признание его власти над Войском, потом уже помощь. А время не терпело. При таких условиях состоялось 13/26 декабря на станции Кущевка свидание между атаманом и генералом Пулем. Свидание началось очень холодно. Генерал Пуль настаивал на том, чтобы атаман первым явился к нему в вагон и чтобы разговоры происходили у него. Атаман отказался от этого, и одно время казалось, что свидание не состоится. К атаману был послан для переговоров английский полковник Киз.

— Передайте генералу Пулю, — сказал ему атаман, — что я являюсь выборным главою свободного пятимиллионного народа, который для себя ни в чем не нуждается. Слышите: ни в чем! Ему не нужны ни ваши пушки, ни ружья, ни амуниция — он имеет все свое, и он убрал от себя большевиков. Завтра он заключит мир с большевиками и будет жить отлично... Но нам нужно спасти Россию, и вот для этого-то нам необходима помощь союзников, и они обязаны ее оказать. С генералом Пулем будет разговаривать суверенный глава сильного и могучего народа, и он требует к себе известного уважения. Генерал Пуль обязан явиться ко мне — я не замедлю ответным визитом к нему.

Полковник Киз ушел, и опять шли переговоры, и два поезда стояли на путях друг возле друга к великому соблазну любопытных. Наконец атаман приказал прицепить паровоз к своему поезду, он решил ехать обратно в Ростов. К нему явился переводчик генерала Пуля полковник Звягинцев и сказал, что генерал Пуль согласен прийти для переговоров к атаману, если атаман согласится, что завтрак будет у генерала Пуля. Это атаману было все равно, где ни завтракать, лишь бы договориться так, чтобы достоинство Всевеликого Войска Донского не было унижено.

Как два индейских петуха, важных и надутых, встретились атаман и генерал Пуль. На вопрос о полном подчинении всего Войска Донского с его населением и армией генералу Деникину атаман ответил категорическим отказом. Армия — да, армия может подчиниться, но как совершенно самостоятельная армия. Войско теперь не может признать Деникина иначе как через атамана.

— Вы имеете в виду, — сказал атаман, — австрийскую армию, она отлично дралась у вас, но она самостоятельна. Поверьте, что генерал Деникин только выиграет от того, если Донская армия не распылится и не уничтожится, а будет в руках у своего атамана.

Присутствовавший при разговоре генерал Драгомиров стал настаивать на том, что Донская армия должна войти в Добровольческую армию не как нечто целое, а подчиниться вполне. Все назначения, все распоряжения по ней должны идти только через штаб Добровольческой армии, иначе какое же это единое командование! Все Войско Донское со всем его населением, хлебом и иными средствами снабжения должно отойти в распоряжение генерала Деникина, который должен распределять все это согласно с требованиями всего фронта, всей армии.

Атаман не согласился с этим, и Пуль стал на его сторону. Генерал Пуль считал, что предложение атамана передать полностью всю армию и самого себя в подчинение генералу Деникину, который будет иметь сношение с Войском Донским через него, атамана, вполне приемлемо. После этого разговор стал идти спокойнее. Генерал Пуль становился все более сторонником атамана, и против предложений и требований генерала Драгомирова уже было два голоса — атамана и генерала Пуля.

Генерал Пуль спросил атамана о его дальнейших планах. Атаман принес карты и показал, как он полагал бы при помощи иностранных войск освободить Россию. Первое — оккупация и устроение Украины как Украины, а не России, второе — движение на соединение с чехо-словаками и Колчаком, третье — движение всеми силами на Москву.

Оказалось, что и у Пуля был тот же план — создать единый фронт от Сибири до берегов Черного моря.

Около трех часов дня после с лишком трехчасового разговора генерал Пуль покинул вагон атамана, обещая ему в ближайшие дни посетить Войско Донское и на месте ознакомиться, как и куда направить войсковые части для помощи Дону в его наступлении на Воронеж и Царицын.

За обедом атаман сказал страстную речь о помощи, и непременно скорой, немедленной помощи России. Эта речь была тут же переведена на английский язык и передана генералу Пулю для отсылки в Англию.

— Мне вспоминается сейчас один исторический эпизод, — сказал атаман, — 9 мая 1902 года столицу Российской империи посетил президент Лубэ, возложивший на гробницу императо-

ра Александра III изящный меч работы Фализера из золота, стали и слоновой кости с надписью: «Foederis memor» — «Помню о союзе».

Это латинское изречение было у меня в памяти в те тяжелые, мучительные августовские дни, когда волновался и шумел Большой войсковой Круг.

В эти дни треть Войска Донского и богатейший Таганрогский и часть Ростовского округа были заняты германцами. Украина предъявляла свои права на Таганрог и Ростов. У нас приходили к концу запасы патронов и снарядов, и Восточный фронт колебался. Мы были отброшены от Царицына на восемьдесят верст, и болезнь побежденных — большевизм — начинала охватывать армию.

Foederis memor!

Помню о союзе. Я это знал. Но знал и другое изречение, изречение китайское. То изречение, с которым подносят они нож к животу, чтобы кончить жизнь самоубийством.

«Мею фаза!» — «Нет выхода!»

Сделать себе харакири было бы легко и просто. Уйти в лучший мир и бросить на произвол судьбы народ, доверивший всего себя, — было ли бы это честно? Предать большевикам Донское войско, дать раздавить себя, очистить тыл Добровольческой армии во имя призрачной верности идее. Предоставить союзникам к их приходу всю Россию в состоянии анархии без тех прочных островов, какие представляют из себя теперь Донская и Добровольческая армии, — разве это было бы верностью союзу? Это было бы памятью о союзе?!

Foederis memor!

Я помнил о союзе. Я знал, что будет день и час, когда придут к нам на помощь союзники. Я знал, что им нужно иметь прочный плацдарм, откуда они могли бы начать свое освободительное триумфальное шествие. И в эту грозную минуту я оперся на единственную руку помощи, которая была мне протянута, руку бывшего врага — германца, и с его помощью я получил патроны и снаряды, я выправил фронт и дал Войску Донскому свободу.

Пускай близорукие политики осуждают и клеймят меня, я чувствую себя правым, потому что если бы я этого не сделал, тогда я не имел бы удовольствия видеть вас, а Добровольческой армии пришлось бы вести войну на все фронты...

...Не донской народ и не донские казаки сделали это, а сделал я один, потому что вся полнота власти была у меня, — и если я

сделал спасением Дона преступление, я один и виноват, потому что я ни у кого не искал совета.

Не ищу его и теперь...

...Перед нами громадная задача — спасти Россию. А сил уже нет. И кто нам поможет?! Пойдут с нами кубанские казаки, пойдет с нами Добровольческая армия, но и с ними вместе нас мало. Так мало для громадной России. Время не терпит. Ждать до весны, раскачиваться, устраиваться, формироваться невозможно.

Промедление времени смерти безвозвратной подобно.

Сейчас Россия ждет вас. Сейчас она падет к вам, как падает зрелый плод. Сейчас поход к сердцу России — Москве — обратится в триумфальное шествие... Все будет сдаваться вам, отдавать оружие и идти с вами, воодушевленное, опьяненное тем запахом великой победы, который вы несете с собой.

На фронте ждут вас страстно и нетерпеливо. Ждут те, братья которых умерли в Восточной Пруссии, чтобы дать французам победу на Марне, ждут те, кости сыновей которых покоятся в болотах Польши. Они умерли, спасая Верден.

Foederis memor!

Помню о союзе. Там, в холодной степи, верят в то, что долг платежом красен. Там ждут вас для того, чтобы вместе с вами нести свободу и право в холодную Москву.

Страшно сказать — право жить!!!

Господа! Там, на севере, этого права, права на жизнь, нет. Там каждый день расстреливают сотни невинных людей, там умирают с голоду, и совестно теперь пировать, зная, что там гибнут братья.

Вижу ее!.. Вижу прекрасную родину, мать мою Россию... Как обнищала, как исхудала она. Ввалились и стали огромными ее прекрасные глаза, худые, покрытые ранами бичеваний руки протягивает она на юг и молит о пощаде.

Ужели не спасем?! Весною поздно будет! Ее добьют к весне мучители и насильники!..

Уже в темноте разошлись по своим вагонам генерал Пуль и атаман, и поезда пошли один на восток, другой на запад.

Атаман приобрел себе союзника в лице генерала Пуля и ехал с глубокою верою в то, что англичане и французы на этих же днях прочно займут Украину и, может быть, двинутся и к Царицыну...

Глава семнадцатая

Свидание донского атамана с С.Д.Сазоновым. — Приезд генерала Щербачева в Новочеркасск. — Общее заседание Щербачева, Деникина, донского атамана и чинов Добровольческой и Донской армий в Торговой. — Приказ генерала Деникина о вступлении в командование всеми Вооруженными силами Юга России

Как результат свидания с генералом Пулем должно было последовать соглашение с генералом Деникиным, и отношения между Доном и Добровольческой армией должны были вылиться в строго определенные формы.

16 декабря в той же Кущевке атаман съехался с С.Д.Сазоновым и Нератовым и представил им генерал-лейтенанта Свечина, генерал-майора Герасимова, члена Большого войскового Круга Георгия Ивановича Карева и господина Павлова, назначенных атаманом как Донская совещательная комиссия при С.Д.Сазонове, отправлявшемся в Париж как представитель Дона и Добровольческой армии. Атаман настаивал на признании за Доном прав на управление своим Кругом и атаманом и на праве содержать свою армию. Со стороны С.Д.Сазонова это возражений не встретило.

21 декабря в Новочеркасск прибыл генерал от инфантерии Щербачев. Цель его поездки была примирить и согласовать деятельность генерала Деникина и атамана и устроить единое командование, без чего союзники отказывались чем бы то ни было помогать. Атаман в длинной беседе с генералом Щербачевым высказал о всем том, что он думал о Деникине, в доказательство работы своего командующего армией атаман показал генералу Щербачеву все учреждения войскового штаба и провел мимо него находившийся в Новочеркасске 4-й Донской казачий полк, вызванный по тревоге. Атаман доказывал, что теперь не время объявлять войну, что подчинение генералу Деникину не понравится офицерам и старшим начальникам, которые будут бояться, что от них отнимут все высшие командные должности и заменят их лицами, угодными Деникину, и не казаками, и это может вызвать упадок их энергии в самые решительные минуты борьбы. Пропаганда о подчинении казаков «регулярным», об отдаче их под офицерскую палку уже ведется на фронте, приказ о едином командовании усилит эту пропаганду.

Но иного выхода не было, и было решено между генералом Щербачевым и атаманом, что в ближайшие дни атаман съедется и сговорится с генералом Деникиным о формах осуществления единого командования.

В тот же день вечером генерал Щербачев уехал из Новочеркасска в Екатеринодар.

26 декабря атаман свиделся с генералом Деникиным на станции Торговой. В поезде у генерала Деникина состоялось под его председательством совещание, в котором приняли участие генерал от инфантерии Щербачев, генерал-лейтенант Драгомиров, начальник штаба Добровольческой армии генерал-лейтенант Романовский, атаман Донского войска, командующий Донской армией генерал-лейтенант Денисов, начальник штаба армии генерал-майор Поляков, представитель Донского войска при Добровольческой армии генерал от кавалерии Смагин, начальник снабжения Добровольческой армии и интендант Донской армии. От Кубанского войска не было допущено никаких представителей.

Заседание открыл генерал Деникин, который сказал, что с приходом союзников борьба с большевиками принимает более планомерный характер и что необходимо столковаться и прийти к сознанию необходимости единой воли и единого управления в делах внешних сношений, устроить единую общую сеть железных дорог, одну банковскую систему, общий почтовый союз, общий суд и, наконец, гласно признать единое командование.

Донская армия и Донской флот должны быть наравне с прочими вооруженными силами подчинены Главнокомандующему. Донская конница должна быть передана на те участки, которые ей укажет Главнокомандующий с тем, что Добровольческая армия компенсирует ее пехотой, свободный резерв Дона должен быть передан в полное распоряжение Главнокомандующего, в Донской армии не могут быть на командных должностях только донские казаки, но должны находиться также и начальники от Добровольческой армии. Воронежский, Саратовский и Астраханский корпуса должны быть переданы в распоряжение Добровольческой армии, должны быть напечатаны общие уставы и установлены общие правила чинопроизводства во всех армиях, действующих на Юге России. Назначения на должности командиров корпусов и выше делаются Главнокомандующим в Донской армии по соглашению с донским атаманом. Все офицеры Генерального штаба подчиняются Главнокомандующему, минуя донского атамана, в Донской и Добровольческой армиях устанавливаются одинако-

вые нормы содержания и пенсий. Право мобилизации принадлежит Главнокомандующему, все снабжение, откуда бы оно ни шло, принадлежит Главнокомандующему, который распоряжается также и хлебом, и углем, беря и то и другое на учет.

Первые вопросы возражений со стороны атамана не встретили. Он доложил генералу Деникину, что все внешние сношения им поручены С.Д.Сазонову и что люди, назначенные к нему, даны ему лишь для консультации и для отстаивания перед ним, но не непосредственно перед союзниками интересов Донского войска. Относительно железных дорог атаман уже договорился с инженером Кригер-Войновским, и в этом отношении ни у него, ни у управляющего отделом путей сообщения Войска Донского инженера Карелина разногласий нет. Точно так же и относительно финансов атаман идет впереди желаний генерала Деникина. Так, по его распоряжению особые донские отличия на ассигнациях заменены общерусскими, и новые сторублевки, несмотря на популярность старых на Дону, прозванных «ермаками», печатаются уже не с портретом Ермака Тимофеевича, а с общерусскими эмблемами, пятисотрублевые ассигнации будут отпечатаны на бумаге сине-бело-красных тонов, цветов русского флага, ни на одном знаке не говорится о том, что он выпущен Донским войском, но всюду говорится о том, что они выпущены Ростовскою конторою Государственного (Российского) банка.

Атаман ничего не имеет против того, чтобы и дальше идти по этому пути, и финансовое совещание представителей Добровольческой армии с управляющим отделом финансов Донского войска господином Корженевским и директором Ростовского отделения Государственного банка окончилось совершенно согласием. Точно так же и на почтовых марках, выпущенных Донским войском, изображен двуглавый орел, вокруг которого сделана надпись: «Единая Россия». Относительно суда достигнуто полное согласование, и атаман ничего не имеет против того, чтобы созываемый им Донской сенат стал бы Российским сенатом.

Вопросы гласного признания единого командования вызвали крайне резкие возражения со стороны командующего армией генерала Денисова. Возражая ему, генерал Драгомиров употребил неосторожное, а может быть, и умышленно сказанное выражение: «Временная автономия Донского войска». Это вызвало яростный ответ Денисова.

— Мы не стремимся ни к какой автономии, ни временной, ни постоянной, но мы вынуждены быть совершенно самостоя-

тельными, потому что были одни в продолжение девяти месяцев тяжелой борьбы. Теперь, когда мы освободились своими силами, вряд ли будет разумно в глазах казака подчинить его, да еще во всех отношениях — финансов, порядка службы и тому подобное, кому-то другому. Вы хотели строить на те гроши, которые мы собираем в виде налогов с казаков, Россию и создавать для нее и в ее масштабе все органы управления. Не рано ли это? Казаки — народ разумный, они знают, что, пока есть только Донская и Кубанская армии, не стоит и говорить о России и ее правительстве. Вот когда явится Российская армия и правительство будет сидеть на российской территории и прикрываться русскими штыками, тогда можно будет говорить о полном слиянии казачьих армий с Русской, а теперь это только лишь вода на мельницу противника. Далее, — продолжал свои возражения Денисов, отвечая Драгомирову, — вы сказали, что свободный резерв должен быть передан Главнокомандующему, который им распоряжается по своему усмотрению. Раз враг будет угрожать Дону — вы его отдадите? Но позвольте, больше угрозы Дону, как теперь, быть не может. Дон совершенно обложен противником, и протяжение нашего фронта равняется более чем 1600 верстам, а кто нам помогает?!

— Я не говорю сейчас, — недовольным голосом сказал генерал Деникин. — Мы отлично понимаем тяжелое положение Донского войска, и не настолько же мы наивны, чтобы потребовать резерв сейчас. Но армия должна быть реорганизована. У вас масса конницы, а у нас конницы не хватает.

Но против выделения конницы возражал и атаман.

— И свойства местности, и характер противника, и природная любовь казака к работе на коне создали особый характер войны, — сказал он. — Мы бьем противника преимущественно конными частями, которые в большинстве случаев дерутся великолепно, чего нельзя сказать про нашу пехоту. Конные части мы выделить не можем!

— Какое же это будет единое командование, — воскликнул генерал Драгомиров, — когда Главнокомандующий не распоряжается своими войсками!

— Но нельзя же вмешиваться в организацию наших сил, потому что это поведет к развалу построенного с таким трудом и далеко не окрепшего, — заметил Денисов.

После очень долгих переговоров при участии генерала Щербачева удалось установить, что все-таки Донская армия в полном составе должна перейти в подчинение генералу Деникину.

— Это непременное требование союзников, — сказал генерал Щербачев. — Без исполнения этого условия они отказываются чем бы то ни было помогать нам.

— Для Дона, — снова упрямо сказал Денисов, — единого командования не надо, и Дон без такового свободно может жить. Единое командование нужно для России, и вы требуете этой жертвы во имя ее. Но казак этой жертвы не поймет, и самый факт признания открыто и публично такого подчинения разложит Дон.

— Но поймите, — сказал Щербачев Денисову, — что без этого союзники нам ничего не дадут.

— Дону ничего и не надо, — возразил Денисов. — Разве только моральная поддержка. А вот если Дон вследствие этого подчинения со всеми его последствиями развалится и разложится, то, полагаю, союзникам это не будет все равно.

— Но почему же Дон развалится оттого, что я вступлю в командование? — спросил Деникин.

— Это сделает пропаганда, — ответил Денисов.

— Против этой пропаганды мы устраиваем контрпропаганду, — возразил генерал Драгомиров. — На этих днях будет устроен особый отдел — целое министерство агитации и пропаганды.

— И во главе его поставлен Н.Е.Парамонов, личный враг атамана, мстительный социалист-революционер, известный тем, что еще в 1905 году своими брошюрами издательства «Донская речь» разлагал русскую армию, — сказал Денисов.

— Но ничего подобного, — вспыхнув, воскликнул генерал Деникин. — Кто вам это сказал?

— Это пишут в газетах, — отвечал Денисов. — Против атамана в Екатеринодаре идет определенная кампания, и мы знаем, что специально для его ареста или уничтожения генерал Семилетов формирует в Новороссийске отряд.

— Я первый раз об этом слышу, — сказал Деникин. — Абрам Михайлович, разве поручены нами какие-либо формирования генералу Семилетову?

Генерал Драгомиров промолчал.

— Мало ли что пишут в газетах, — сказал Деникин. — Меня в них не меньше, нежели вас, ругают.

— Я не знаю, Антон Иванович, — отвечал атаман, — какие меры принимаете вы в Екатеринодаре, но могу засвидетельствовать одно: ни в одной из выходящих на Дону газет нет ни одного слова против вас. Что касается екатеринодарских газет, то они полны такой гнусной клеветы по моему адресу, что я должен был запретить

их ввоз на Дон. И их все-таки везут и подпольным путем распространяют на позициях, и, когда площадную брань по моему адресу усталый от войны казак читает в «Царицынских известиях», прокламациях Миронова или какой-нибудь «Красной газете», он этому не верит, но когда ему то же самое пишут из союзного Екатеринодара, в нем зарождается сомнение и тревога. И как не тревожиться?! Атаман — немецкий ставленник, союзники ни за что не помогут атаману, с атаманом ездили ряженые донские офицеры, а не англичане и французы и т.д. и т.д. — согласитесь, что это может сломать и самого правоверного. А последнее время стали ездить семилетовские офицеры и просто уговаривать казаков прекратить войну, пока я у них атаманом.

— Вот будет единое командование, и все эти шероховатости сгладятся, — сказал генерал Щербачев.

— Единое командование Добровольческой армии! — сказал Денисов. — Покажите казаку хорошо сорганизованные сильные добровольческие части на его Донском фронте, покажите их перевес над ним, и он поймет единое командование русского генерала. А пока он знает 100-тысячную Донскую армию, 30-тысячную Кубанскую армию и только 10 тысяч добровольцев-офицеров, он никогда не поймет, почему он должен подчиняться добровольцам — он, принесший все в жертву защиты и спасения Родины. Вы настолько не стесняетесь с казаками, что ни одного кубанца не пригласили на наше совещание.

— Кубанцы заявили, что они во всем поступят так, как постановят донцы, — сказал Романовский.

— Тем большую осмотрительность в наших решениях мы должны проявить, — сказал Денисов. — И я, простите, никак не могу согласиться с признанием верховного главенства Добровольческой армии, нисколько не касаясь личностей. Вы в этом весьма деликатном вопросе не считаетесь ни с народом, ни с территорией. Не забывайте о том, что мы сильны народом, а вы офицерами, и в случае, если будет брошен этот опасный лозунг, эти страшные слова о белых погонах, об офицерской палке, вам несдобровать, потому что народ сильнее офицеров, а помогут ли и как помогут тогда союзники — это неизвестно.

Переговоры постоянно заходили в неизбежный тупик. Два раза, видя бесплодность добиться искреннего признания единого командования в его лице от донцов, генерал Деникин хотел прекратить переговоры, но всякий раз генерал Щербачев его останавливал. Атаман понимал, что это необходимо сделать, необхо-

димо для союзников, и искал такой формы, которая наименее дала бы почвы для пропаганды в войсках. Даже мелочи и те вызывали страстный отпор. Заговорили об издании уставов, столь нужных для войск.

— Но для чего нам издавать уставы, — сказал атаман, — и снова тратить на них громадные деньги и, главное, время, когда Войско Донское уже издало почти все уставы? Они представляют из себя перепечатку российских уставов, и Добровольческая армия, если пожелает, может их получить готовыми.

На какие бы то ни было назначения командного состава и на подчинение офицеров Генерального штаба, помимо атамана, Главнокомандующему атаман не согласился. Донская армия должна быть вполне автономной.

— Какое же это будет единое командование, — воскликнул генерал Драгомиров, — когда Главнокомандующий не может распорядиться ни одним казаком помимо атамана?

— Единое командование для союзников, — сказал Денисов. — Они хотят, чтобы его превосходительство генерал Деникин был подобен Фошу. Но у Фоша были самостоятельные французская, английская и американская армии — так и тут будут армии, подчиненные в стратегическом отношении, но самостоятельные по существу...

Переговоры шли уже шестой час, сгущались сумерки короткого зимнего дня, а решения никакого вынесено не было.

Наконец атаман сказал генералу Деникину:

— Антон Иванович, ввиду сложившейся обстановки я считаю необходимым признать над собою ваше верховное командование, но при сохранении автономии Донской армии и подчинении ее вам через меня. Давайте составим об этом приказ.

Генерал Деникин собственноручно написал приказ о своем вступлении в командование и о подчинении ему всех Вооруженных сил Юга России, действующих против большевиков.

— Хорошо, — сказал атаман, — я отдам этот приказ по Войску Донскому, но для того, чтобы избежать кривотолков о нарушении донской конституции, я сделаю к нему следующую добавку: «Объявляя этот приказ Главнокомандующего Вооруженными силами на Юге России Донским армиям, подтверждаю, что по соглашению моему с генералом Деникиным конституция Всевеликого войска Донского, Большим войсковым Кругом утвержденная, нарушена не будет. Достояние Дона, вопросы о земле и недрах, условия быта и службы Донской армии этим командованием затрону-

ты не будут, но делается это с весьма разумною целью достижения единства действий против большевиков».

— Но этим добавлением совершенно уничтожается весь смысл приказа о едином командовании, — сказал Драгомиров.

Деникин махнул рукою: делайте, мол, как хотите.

— Вы подписываете себе и Войску смертный приговор, — сказал генерал Денисов атаману.

Итак, первое, что потребовали союзники, было выполнено. Единое командование осуществлено. Теперь оставалось только ожидать помощи от союзников и активной их работы.

Глава восемнадцатая

Утомление казачьей армии. — Измена трех полков. — Комиссары в Вешенской станице. — Советская власть на севере Дона. — Красная армия занимает северные станицы. — Неистовство большевиков в Вешенской станице

На позициях казачьей армии от Мариуполя, где стоял дивизион л.-гв. атаманского полка, через Чертково и Кантемировку, через Богучар и Новохоперск, к Балашову и Царицыну и далее в заманычских степях до самого стыка с добровольцами под Ставрополем шла кипучая, страшно тяжелая боевая жизнь. Тяжести войны усугубились зимним временем. Зима наступила сразу в конце ноября и стояла суровая и холодная, с крутыми метелями и большим снегопадом.

Примитивные казачьи окопы совершенно занесло снегом, черные фигуры казаков стали далеко видными, войска, жившие раньше в поле под открытым небом или в неглубоких землянках, стали жаться к деревням и селам. Борьба с Красной армией часто шла уже не по тактическим соображениям закрепления за собою того или иного узла позиции, того или другого опорного пункта, а из-за тепла и крыши. Уходящий, кто бы он ни был, старался возможно более ухудшить положение врага и жег что только мог успеть сжечь и уничтожить. Вместо домов доставались обгорелые стены с зияющими окнами и дверьми, без стекол и без мебели. Здесь новые части устраивались как могли. Завешивали чем попало — мешками и рогожами — окна и битком набивались в комнаты, чтобы согреваться животным теплом. В брошенных больше-

виками деревнях находили лазареты, полные больных, среди которых нередко лежали мертвые. Сыпной тиф косил Красную армию, и сыпной тиф передался и на Донскую армию. Нужна была частая смена белья, а его не было, нужно было мыло — его не хватало, нужны были лазареты — их не успевали открывать.

Болезнь, полубредовое состояние перед нею понижали дух армии. Казаки приходили в отчаяние. Война шла уже десятый месяц, а не только не видно было конца, но с каждым шагом вперед положение становилось все более грозным и тяжелым. Красноармейцы осенью говорили, что они воевать будут только до зимы, а зимою разойдутся по домам, а на деле зимою их атаки стали более решительными и смелыми, нежели раньше.

Казаки спрашивали пленных, почему это так.

— Нельзя, — отвечали красноармейцы. — Не пойдешь — расстреляют. Комиссар требует, чтобы шли. А откажешься, и самого убьют, и семье несдобровать.

Вся Россия шла на Дон. Вся Россия шла уничтожить казаков и мстить им за 1905 год. И страшно становилось казакам. Как же будут они одни против всей России? Весною, когда дрались под Новочеркасском и фронт был маленький, кругом была помощь. Слева стояли прочною стеною немцы, справа недалеко были кубанцы и добровольцы.

Теперь фронт стал непомерно большой, немцы ушли, и, сколько слышно, у них тоже советская республика, добровольцы застряли на Кавказе, и донцы остались совсем одинокими.

Приехали союзники. В ледяных окопах и в хатах, набитых людьми, рассказывали, что были англичане и французы, что они обещали помощь. А где же она? Атаман говорил и писал, что они высадились на берегу Черного моря, что они займут Украину и станут на место немцев, а вместо того атаманцев послали в Мариуполь, а из Каменской и из-под Царицына спешно послали резервы на западную границу Войска к Луганску и Гундоровской станице. Говорят, там нехорошо.

Фронт остался без резерва. Сзади никого нет, а когда сзади никого нет, жутко становится на фронте.

Если бы союзники пришли помогать, разве было бы так? Невольно напрашивалось сравнение с немцами. Как быстро подавались части корпуса генерала фон Кнерцера в апреле и мае. Не успели оглянуться, как уже низкие серые каски торчат перед носом оторопелого «товарища» и слышны грозные окрики: «halt» и «ausgeschlossen». А ведь это были враги! Если враги так торопились по-

могать атаману, как же должны были спешить друзья?! Сегодня были разведчики — офицеры — это понятно каждому казаку, что без разведки нельзя, ну а завтра или дня через три должны показаться и авангарды и главные силы, а вместо того атаман объявил новую мобилизацию и прямо говорит, что столица Войска Донского в опасности.

Тут и пропаганды не нужно было — дело было ясное: обман.

На Рождестве к 28-му Верхне-Донскому, Мигулинскому и Казанскому полкам, стоявшим в Воронежской губернии, к северу от Богучара, пришли парламентеры от Красной армии. Это были не обычные парламентеры, приходившие и раньше сдаваться, это были люди, посланные от «рабоче-крестьянской» армии. Командиры полков и офицеры не успели ничего сделать, как казаки сбежались к ним толпою и на позиции устроился митинг, на котором казаки слушали развесив уши то, что им говорили пришедшие от Красной армии люди.

Они говорили хорошие и правильные, как казалось простому, измученному войною казаку, вещи.

— Мы вашего не трогаем, — говорили они, — зачем же вы идете на нас? Вы донские?

— Донские, — отвечали дружно казаки.

— Так зачем же вы сидите в Воронежской губернии? Чай, всю Россию не освободите. Вас мало, а Россия как велика! Всех крестьян не перебьете, а если мир станет против вас, и от вас ничего не останется.

— Правильно! — вздыхали казаки.

— Идите, товарищи, по домам. Мы вас не тронем. Вы живите у себя спокойно по станицам, и мы будем жить спокойно. Повоевали, и довольно.

— Что ж, это правильные речи, — говорили казаки.

— А приказ атамана, — вспоминали некоторые.

— Атамана? Да ведь он, товарищи, давно продался немцам за четыре миллиона.

Цифра поражала. Четыре миллиона! Может быть, и правда продался.

— Так что же, станичники, здесь, что ли, стоять будем да вшей кормить?! А, так, что ль? — раздавались голоса. — Айда по домам, ребятушки, праздник Христов. Они нас не тронут. Такие же крестьяне, должны понимать!

Офицеры попытались помешать уходу с позиции, но кого арестовали — со времен Временного правительства это было при-

вычное занятие, арестовывать офицеров, — а кто и сам, чуя недоброе, бежал от своих казаков. Во главе 28-го пешего полка стал бойкий и развратный казак Фомин. Он повел полк в станицу Вешенскую, где находился штаб Северного фронта с генералом Ивановым (Матвеем Матвеевичем). Генерал Иванов не имел силы арестовать Фомина, окруженного большою толпою своих приверженцев. Фомин и казаки Верхне-Донского полка не решались напасть на штаб, охранявшийся несколькими десятками обозных казаков. Это опять была бы война, а воевать они не хотели. В одной и той же станице, в полном напряжении, стояло два враждебных лагеря. Работа штаба стала невозможной, и генерал Иванов переехал на 30 верст, в станицу Каргинскую, где казаки еще держались и даже собирались жестоко наказать вешенцев за измену казачьему делу. Фомин захватил телеграф с Новочеркасском. Атаман передал ему приказ образумиться и стать на позицию, угрожая полевым судом. Фомин ответил площадной бранью. Атаман отправил в Вешенскую карательный отряд, но события развивались уже быстрым темпом.

Три полка, оставившие фронт, занимали линию около 40 верст. За ними была укрепленная богучарская позиция с проволочными заграждениями, та самая «буржуйская» затея, которая так не нравилась Красной армии. Изменники-казаки оставили ее без защиты. У Богучара было только две сотни пешего пограничного полка, составленного из молодых крестьян Донского войска, и те передались большевикам.

Фомин, отвечая бранью атаману, знал, на что он идет, но он уже рассчитывал, что сила будет на его стороне.

Первые три дня по приходе казанцев и мигулинцев домой все было спокойно. Потом в Казанскую станицу на хорошей тройке приехало три молодых человека в отличных шубах. Они потребовали общего сбора казаков. Когда казаки собрались в станичном правлении, молодые люди поднялись на трибуну и оказались прекрасно одетыми в ловко сидящих на них френчах, с кольцами с самоцветными камнями на холеных пальцах и очень бойко говорящими. Они доказывали превосходство народной советской власти перед какою-либо другою и предлагали немедленно приступить к выбору совета и исполнительного комитета. Станичного атамана не было. Он поехал с докладом в Новочеркасск. Появилось на собрании вино, «царские деньги» целыми пачками, и «советская власть» была признана. Ворчали только старики, но как-то так оказалось, что их живо связали и отправили в станичную тюрьму...

Вешенская станица не отстала от Казанской. Фомин объявил себя комиссаром, и при нем тоже появились приезжие молодые люди для того, чтобы руководить его действиями и учить, как устроить станицу по советскому образцу.

Донской атаман приехал с английскими и французскими офицерами в станицу Каргинскую в 30 верстах от Вешенской, где собирал казаков и указывал им на скорую помощь союзников и необходимость немного потерпеть и уничтожить крамолу внутри Войска. Из станицы Усть-Бело-Калитвенской походным порядком шел отряд в шестьдесят отборных казаков с войсковым старшиною Романом Лазаревым для того, чтобы привести к повиновению бунтующих вешенцев.

Не дремал и Фомин. В ту же ночь, когда атаман был в Каргинской, он собрал казаков в Вешенской и там повел такую речь:

— В Каргинской — не настоящий атаман, а самозванец, и с ним ряженые офицеры под француза и англичанина, и нам надо его выманить сюда и здесь посмотреть, какой он есть. Здесь и рассудим — или к стенке его поставим с союзниками, или препроводим для суда в Москву, или своим судом здесь накажем. Оборвем погоны и изобличим переодетых союзников.

Нашлись на собрании и благоразумные казаки.

— Атамана мы знаем, — заявили они, — мы с ним в атаманском полку служили.

— Я шесть лет трубачом ездил, когда атаман полковым адъютантом был, слава богу, узнаю, он или нет.

Решено было снарядить сани в Каргинскую, чтобы посмотреть на атамана. Так и сделали. Посланные не только повидали атамана, но, несмотря на то что за ними следили агенты Фомина, успели передать атаману о настроении в Вешенской станице и просили его не приезжать в Вешенскую без значительной воинской силы. Атаман все-таки решил ехать. Он думал, что подлинные союзные офицеры спасут положение и вернут казаков к исполнению долга, но союзники так замерзли, проехав 90 верст по снегам в автомобиле, что ни за что не соглашались ночью ехать еще 30 верст, да еще рискуя застрять в снежных сугробах. Поездка была отложена. Между тем Фомин, чувствуя, что ему не миновать петли и что он зашел слишком далеко, принял более серьезные меры. Вешенцы волновались. Старики, помнившие и отца и деда атамана, который сам был родом из Вешенской станицы, требовали подчинения атаману. Вернувшиеся сослуживцы-однополчане атамана передали, что

атаман подлинный, настоящий, и они его и он их узнал, даже фамилии помнил. Только постарел очень. А все-таки тот же. Без обмана. И союзники с ним настоящие. Все как следует быть! Заколебались вешенцы. У них уже явилась мысль связать Фомина и с покаянной ехать к атаману. Но тут пришло известие, что девять дивизий Красной армии перешли границу Войска Донского и быстро идут к Вешенской станице. Фомин сам принялся арестовывать приверженцев атамана и готовиться к встрече Красной армии.

Красная армия шла походным порядком, не разворачиваясь и даже не высылая мер охранения. Растерянные казаки встретили ее хлебом-солью и только говорили тем молодым людям, которые им рассказывали о том, что граница Войска Донского будет неприкосновенна: «Товарищи, как же это?» Но те смеялись и говорили: «А вот теперь вы узнаете, что такое советская власть! Духа вашего казачьего здесь не должно больше быть».

Все те казаки, которые так мечтали об отдыхе и, прельстившись перспективой этого отдыха, изменили Войску, были мобилизованы, забраны и безоружными толпами отправлены на Уральский фронт — сражаться против Колчака. Лошадей и скот стали отбирать, женщин насиловать. Советским заправилам надо было так перевернуть мозги казаков, чтобы ничего святого у них не оставалось, все поругать, все уничтожить, довести до отчаяния, заплевать и загадить сердца и души, и тогда, поработивши их, в полной мере начать предъявлять свои требования...

По станице Вешенской зазвонили колокола великолепного вешенского собора, величаво нависшего над рекою Доном с его тихими разливами и покрытыми инеем сребровретвенными густыми левадами. С пьяными криками и шутками собирались туда красноармейцы и тащили казачью молодежь, детей и подростков, тащили стариков. Там готовилось зрелище для казаков и казачек. Их восьмидесятилетнего седобородого священника, который шестьдесят лет прожил безвыездно в Вешенской станице их духовником и которого почитали все, и старые и малые, тащили, чтобы венчать с рабочей кобылой. И стоял старый священник перед алтарем рядом с кроткою лошадью, пугливо косившейся на свечи и тяжело вздыхавшей, а над ними держали венцы и пели похабные песни.

А потом пошли казни. Вешали и расстреливали казаков.

Фомин омывал кровью отцов своих свою новую власть.

Так отомстили красноармейцы изменникам казакам.

Прорыв фронта, углубление в Верхне-Донской округ больших сил Красной армии тяжело отозвался на соседнем Хоперском округе, и он без всякого давления со стороны противника покатился назад, сдавая мироновским казакам станицу за станицей.

У атамана в это время не было ни одного свободного казака. Все было послано на оборону Западного фронта. Там спешно формировались ударная группа для защиты Зверева и Лихой. Угроза нависла над Новочеркасском. Спасти положение могли только добровольцы или союзники.

Глава девятнадцатая

Приезд английской и французской миссий в Новочеркасск. — Речь атамана на официальном обеде. — Союзники на фронте под Царицыном. — Посещение союзниками заводов и мастерских. — Посещение Северного фронта

В эти тяжелые дни атаман принимал екатеринодарских гостей, союзные миссии, прибывшие в полном составе ознакомиться с положением на фронте, чтобы немедленно помочь. Это уже не была повышенно радостная ликующая встреча, какою встречали капитанов Бонда и Ошэна, но это было серьезное деловое свидание с людьми, желающими помочь и спасти Россию.

Так казалось... Этому верили...

28 декабря в 11 часов утра в Новочеркасск прибыли английский начальник военной миссии на Кавказе генерал-майор Пуль, его начальник штаба полковник Киз и с ними три английских офицера и представитель генерала Франше д'Эспре — капитан Фуке, представитель генерала Бертелло — капитан Бертелло и лейтенанты Эглон и Эрлиш. В 6 часов вечера в атаманском дворце был парадный обед, на котором обменялись речами. Атаман по-французски говорил о том, что последние часы бытия России наступают и вооруженная помощь нужна немедленно.

— Ровно месяц тому назад в этом самом зале, — сказал атаман, — я имел счастье приветствовать первых из союзных офицеров, прибывших к нам, — капитана Бонда и капитана Ошэна.

Я говорил тогда о том громадном значении, которое имеет теперь время. Я говорил, что не неделями и месяцами измеряется оно, но только часами. Я говорил о тех потоках крови невинных

жертв, стариков-священников, женщин и детей, которые льются каждый день там, где была когда-то наша общая Родина — Россия. Я умолял от имени этой России прийти и помочь.

Страшный кровавый туман замутил мозги темного народа, и только вы, от которых брызжет счастьем величайшей победы, можете рассеять этот туман.

Вы не послушались тогда меня, старика, искушенного в борьбе с большевиками и знающего, что такое яд их ужасной пропаганды. Медленно и осторожно, с большими разговорами и совещаниями приближаетесь вы к этому гаду, на которого надо смело броситься и раздавить его.

И наши враги в вашей осторожности видят ваше бессилие. А изнемогшие в борьбе братья наши теряют последние силы.

За этот месяц пала под ударами вся Украина, богатая и пышная, с обильной жатвою недавнего урожая. Усталые полки Южной армии и истомленные непосильной борьбой на многоверстном фронте казаки сдали большую часть Воронежской губернии.

Богатый хлебом, плодородный край обращается в пустыню. Идут кровавые расстрелы, и тысячи невинных гибнут в вихре безумия. Вас ждут, господа, осужденные на смерть. В ваших руках жизнь и смерть. Ужели же вы оттолкнете протянутые руки и холодно будете смотреть, как избивают женщин, как бьют детей на глазах у матерей, и ждать чего-то? Ждать тогда, когда надо действовать. Ваш приезд тогда вдохнул силы. Явился порыв. Полки пошли вперед. Уже недалеко было до Воронежа... Но порыв не терпит перерыва, и, не видя помощи сейчас, изнемогли бойцы, истратили силы и молча отступают.

Вы, господа, военные люди. И вы знаете, что такое бой, и вы знаете, что значит подача резерва вовремя и как мало значит приход резерва тогда, когда разъяренный враг уже победил и уничтожил первую линию...

Россия взывает о помощи... Франция, говорит она, вспомни о наших могилах в Восточной Пруссии в дни вашей славной битвы на Марне, Франция, не забудь наших галицийских покойников в тяжелые дни Вердена.

Пока Россия была здорова, она была верной союзницей. Но чем виновата Россия, что она заболела этой ужасной болезнью побежденных? Помогите ей! Исцелите ее!

О! Какой ужас творится в Москве, в Рязани, в Воронеже, в Харькове, повсюду в России. Темнота, холод, голод! Плач женщин и детей и пьяные оргии дикарей, сопровождаемые расстрелами.

...Во всем мире праздник Христов. Во всем мире тишина и радость покоя, и только в России, не прекращаясь вот уже пятый год, гремят выстрелы, льется кровь и сироты, без дома и крова, умирают от голода.

...Несите нам свободу, пока не поздно. Несите теперь, пока еще есть живые люди в русской земле... Идите туда, где ждет вас триумфальное шествие среди ликующего народа.

Пройдут недели, и, если не придете вы, там будут пепелища сожженных деревень, и плач, и трупы, и вместо богатого края — пустыня.

Время не ждет. Силы бойцов тают. Их становится все меньше и меньше...

Если первая речь атамана союзникам, если его первая мольба о помощи России была пропитана слезами, то здесь из каждого слова сквозила кровь, раны и мучения.

Союзники поняли это. В медленной, полной величавого достоинства ответной речи генерал Пуль засвидетельствовал, что помощь будет. После него говорил о том же Фуке, затем встал лейтенант Эрлиш. Он восторженно и радостно на чисто русском языке лишь с незначительным южным акцентом сказал о том, что французы пойдут вместе с добровольцами и казаками на Москву. Он говорил, что атаман проявил большую мудрость, признавши над собою власть генерала Деникина. Теперь союзники безотлагательно явятся помочь казакам. Его речь, полная истерических выкриков, немного митинговая, не понравилась образованной части донского общества, бывшей на обеде, но наэлектризовала простых казаков, членов Круга. События на севере Войска казались уже пустяками. Через неделю явится сюда бригада англичан, и все будет ликвидировано.

Генерал Пуль искренне верил в то, что по его слову будут переброшены войска из Салоник и Батума, о чем и сказал атаману.

В 10 часов обед был окончен, и все приехавшие отправились в атаманский поезд, чтобы ехать на фронт. Время было серьезное, боевое, медлить было нельзя. Все фронты настойчиво требовали союзников.

В 10 часов утра холодного зимнего дня поезд медленно подходил к станции Чир на Царицынском фронте, к штабу генерала К.К.Мамонтова. На перроне замер, взявши «на караул», почетный караул, подобный которому можно было видеть только во времена Наполеоновских войн.

На правом фланге стоял взвод «дедов».

Седые бороды по грудь, старые темные лица в глубоких морщинах, точно лики святых угодников на старообрядческих иконах, смотрели остро и сурово из-под надвинутых на брови папах. Особенная стариковская выправка, отзывающая временами прежней муштры, была в их старых фигурах, одетых в чистые шинели и увешанных золотыми и серебряными крестами на георгиевских лентах: за Ловчу, за Плевну, за Геок-Тепе, за Ляоян и Лидиантунь... Три войны и тени трех императоров стояли за ними...

Рядом с ними был бравый, коренастый и кряжистый взвод «отцов». Это были те самые фронтовики, которые еще так недавно бунтовали, не зная, куда пристать, сбитые с толка революцией и целым рядом свобод, объять которые не мог их ум. В своей строго форменной одежде они производили впечатление старых русских дореволюционных войск. И наконец, еще левее был взвод «внуков» — от постоянной армии, от химического ее взвода. Это была уже юная молодежь — парни 19 и 20 лет. Долго любовался караулом Пуль. Он медленно шел с атаманом по фронту, внимательно вглядываясь в лицо каждого казака, и новые мысли зарождались в его уме. Он понимал теперь то, чего упорно не хотели понять на Западе, он понимал то, чего не мог понять в Екатеринодаре, что это *народная, а не классовая война*. Он видел грубые, мозолистые руки хлебопашцев, сжимавших эфесы шашек, и он понимал, что эти люди действительно отстаивают свои дома, борются за право жизни...

От штаба генерал Пуль проехал к резервам. Там при нем поднялись, несмотря на мороз, пять донских аэропланов и полетели бросать бомбы в Царицын. Генералу Пулю показали броневые поезда, отбитые у Красной армии, и самодельный броневой поезд, построенный в мастерских Владикавказской дороги в Ростове, потом поехали на позицию. Сначала смотрели полевую и тяжелую батареи. Внимательно осматривал каждое орудие старый английский артиллерист и запускал в канал палец, осматривая который и видя на нем следы пушечного сала генерал Пуль довольно улыбался.

По запорошенной снегом степи перешли к хутору, возле которого стояли правильные четырехугольники батальонных колонн пехотного полка. Батальоны взяли «на караул», командир полка пошел с рапортом к атаману. И опять генерал Пуль осматривал каждого казака от его меховой папахи до сапог, он отворачивал полы шинелей и видел под ними или полушубки, или ватные теплушки, и все это свое — казачье.

— Какие большие у вас батальоны, — сказал он атаману.

— Нормальные, — отвечал атаман, — по 1000 человек.

— Сколько у вас штыков? — спросил он командира полка.

— Три тысячи пятьсот, господин атаман, — отвечал тот.

Осмотрели еще один резервный полк. Прошли к конному полку и пропустили его мимо себя повзводно. Долго тянулись взводы по степи, и темные силуэты лошадей рисовались на снегу. Конный полк был тоже нормального штата — шесть сотен по 140 человек в сотне.

— У вас все полки такие? — спросил Пуль генерала Денисова.

— Теперь почти все. Мы заканчиваем реорганизацию армии и сводим последние станичные дружины и сотни в полки нормального штата, — отвечал Денисов.

У каждого полка выступал с речью Эрлих.

— Союзники с вами, друзья! — кричал он со своим южным акцентом. — Они пришли помочь вам, они пойдут с вами — и победят!!

Прояснялись суровые лица казаков, и неслась по самому фронту ликующая весть: «Помощь пришла. Не одни мы, слава богу!»

Дошли и до позиции. Здесь союзников ожидало полное разочарование. Они думали увидеть глубокие ходы, траверсы, железобетонную постройку, целые леса проволок — все то, что создала их мощная техника под Ипром и Верденом.

В степи, голой, унылой и черной, где смело снег, белой, где он лежал, были выкопаны небольшие канавы, местами устроена чуть прикрытая сучьями, камышом и землею яма, в которой можно было сидеть согнувшись; окоп извивался по краю балки, и в нем накидана была солома, и на соломе лежали редко разбросанные люди сторожевой сотни. У телефониста ямка была поглубже.

Казалось, что это только временный окоп на несколько часов, пока идет наступление. Но сильно смятая солома, следы костров, там и там котелки, укрепленные в ямках, мешки, уложенные для постели, наконец, жиденькая, где в три кола, где в два и даже в один проволочная ограда, уходившая далеко в степь и показывавшая направление позиции, говорили о том, что это место занято давно.

— И подолгу остаются ваши люди так, без крова? — спросил генерал Пуль.

— По три дня, — отвечал генерал Мамонтов. — Три дня в окопе и три дня в резерве на хуторе.

— Наши бы не могли так, — сказал Пуль.

Смеркалось. Короткий зимний день тихо угасал.

Предметы теряли очертания, степь казалась одинаковой, мутной, ровной. Другою дорогой ехали обратно, и опять каждые две версты в сумраке догорающего дня рисовались новые части, сверкали штыки, и мимо остановленного автомобиля проходили, тяжело отбивая шаг, бесконечные ряды пехоты.

У последней батареи вышли из автомобиля. Уже было темно, и были видны, лишь когда подойдешь вплотную, врытые в землю пушки и коренастые фигуры тепло одетых в шубы артиллеристов. Много было среди них бородатых старообрядцев.

Генерал Пуль отвел атамана в сторону и сказал ему медленно, раздельно, подыскивая слова, по-французски:

— Теперь я все понимаю. Благодарю вас. Там, в Добровольческой армии, мне показывали батальоны. Шестьдесят человек — батальон. Молодежь. Дети. Интеллигенция... Я поздравляю вас, генерал, вы имеете настоящую армию...

На другой день атаман с союзниками посетили Провальский войсковой конный завод. Опять генерал Пуль был поражен богатством Войска Донского. Еще летом атаман скупил Харьковский пункт Гальтимора, и теперь он показывал отличных жеребцов, кобыл и молодежь, любовался ими в прекрасном манеже, где шла выводка по строго заведенному коннозаводческому порядку, а сам в это время вполголоса совещался с генералом Бобриковым, начальником завода, о том, куда вывести завод, если придется его эвакуировать, потому что уже и заводу угрожала опасность.

30 декабря союзные миссии осматривали Владикавказские мастерские в Ростове, где шел ремонт паровозов и где заново строили паровозы. Им показывали постройку блиндированных платформ для броневого поезда, санитарный поезд, сделанный для Добровольческой армии, и поезд-баню, построенный на средства, собранные в Ростове супругой градоначальника О.М.Грековой. Союзники были потом в экспедиции заготовления государственных бумаг, где печатали в это время денежные знаки, и на заводе сельскохозяйственных машин «Аксай».

2 января капитан Бертелло осматривал новочеркасскую военно-ремесленную школу, где видел изготовление седел, ранцев, патронташей, шитье сапог, мундиров и белья для Донской армии. 3 января союзники видели уже оживший и пущенный в ход Русско-Балтийский завод в Таганроге, где при них выделывали гильзы, отливали пули, вставляли их в мельхиоровую оболочку, насы-

пали порохом патроны — словом, завод уже был в полном ходу. Потом смотрели кожевенный завод.

Чем больше видел Пуль, тем становился он любезнее к атаману и вместе с тем озабоченнее. В промежутках между поездками и осмотрами он часами совещался с атаманом о том, как помочь Войску. Он понял, что помощь нужна немедленная.

— Вы могли бы дать для наших солдат две тысячи тех прекрасных шуб, которыми вы снабжали нас во время поездки на позицию? — спросил он атамана.

— Конечно, мог бы.

— Хорошо. Подготовьте их к посылке в Новороссийск. Я надеюсь устроить так, что дней через пять у вас будет батальон, а через две недели бригада. И я уверен, что, если ваши люди увидят наших людей, они быстро ликвидируют этот прорыв. Я теперь же поеду в Екатеринодар, а оттуда в Лондон. В Лондоне я скорее все это устрою. Это будет лучше для вас, если я буду хлопотать за вас в Лондоне.

Генерал Пуль отказался от поездки на Северный фронт. Он торопился в Екатеринодар и Лондон, чтобы активно помогать Донскому войску.

Накануне его отъезда к нему в его помещение в Ростове, в «Палас-отель», явились лидеры партии, враждебной атаману. Они долго и подробно перечисляли все вины атамана, которые в общем сводились к тому, что атаман немецкой ориентации, что он монархист и не признает никаких партий, а все делает сам, ни с кем не советуясь и не совещаясь.

Генерал Пуль вдруг покраснел и гневно застучал кулаком по столу.

— Оставьте мне, господа, атамана в покое! — воскликнул он. — Он правильно делает свое дело... И если вы... если вы сковырнете мне атамана... Вам придется иметь дело с Англией... Вся Англия встанет на его защиту.

Пуль не знал в это время, что политика Англии уже переменилась.

Пуль уехал в Лондон, ничего не сделавши. Его приказ о посылке бригады из Батума не был исполнен. В Лондоне он был отстранен от ответственных должностей. Ему дали понять, что Англии нужны друзья Англии, но не России. На его место был прислан сухой и точный бригадный генерал Бриггс — этот мог лучше вести политику и на каждый вопрос генерала Деникина или кого-либо неизменно отвечал: «Об этом я снесусь с Константинополем», «Из Константинополя еще нет по этому поводу указаний». Даже такой пустяк, как разрешение русскому человеку въехать в русский Ба-

тум, требовал запроса Константинополя, а оттуда Лондона. Дела решались неделями и месяцами, а Троцкий и Ленин в это время не дремали и спешили убедить Красную армию, что союзники России не помогут.

6 января атаман с двумя молодыми английскими офицерами Эдвардсом и Олькотом и французами Бертелло и Эрлишем поехал в Вешенскую станицу. Был сильный мороз — 14° R[1] при ветре, а в степи и того больше. Несмотря на то что всем иностранным офицерам были выданы большие бараньи папахи и шубы, они, не привыкшие к холоду, сильно мерзли. Пришлось ехать с остановками, отогреваясь по хуторам. Только в 4 часа дня, уже в сумерки, прибыли в Каргинскую. Здесь в станичном правлении атаман призывал собранных там казаков к верности Войску и к терпению, говорил о том, что союзники прибыли и союзные войска скоро помогут со всею своею могучею техникой казакам. Молча слушали казаки. Когда атаман говорил о насилиях большевиков, сзади из толпы кто-то крикнул: «Неправда!»

Это было первый раз на Дону, что прервали речь атамана.

Потом говорил Эрлиш. Слишком хорошо по-русски сказанная им речь возбудила подозрение, что он не француз, а ряженый русский офицер или еврей, нанятый атаманом.

Ночь провели в Каргинской. Каргинские казаки не спали. Они караулили у дома, где был атаман и союзники, и несли патрули по станице. Опасались нападения вешенских казаков, да и в самой станице уже начинался раскол. С кем идти — с атаманом ли или с большевиками?

Трусливое большинство решало идти с тем, кто будет сильнее.

8 января союзники уехали. Капитан Фуке и капитан Бертелло обещали настоять на том, чтобы французские войска немедленно были двинуты вдоль западной границы Донского войска и заняли Харьков.

— Если бы это было так, — сказал атаман, — я мог бы всю Молодую армию бросить в Верхне-Донской и Хоперский округа и снова быть в Воронежской губернии.

Смутно было на душе у атамана. Он понимал, какой разлад внесли союзники в настроение войск и фронта, и знал, что, если теперь они не придут, как не пришли после ноябрьского посещения, казаки не устоят.

---

[1] Примерно - 18°С.

Глава двадцатая

Переписка атамана с генералом Деникиным о помощи Войску Донскому. — Интриги некоторых членов Круга против атамана. — Атаман готов сложить свои полномочия. — Беседа атамана с Городысским, Харламовым и членами Круга. — Отказ генерала Деникина поддержать атамана

После отдания приказа о вступлении генерала Деникина в командование всеми Вооруженными силами Юга России Донской фронт подчинялся ему, и потому та катастрофа, которая произошла в Верхне-Донском округе, не могла не интересовать Главнокомандующего. Помимо обычных, по прямому проводу ежедневно передаваемых точных сведений о всем, что происходит на фронте, донской атаман писал об этом неоднократно Главнокомандующему. Донской атаман не боялся побед Красной армии, но он боялся разложения Донской армии. Его не то смущало, что части Хоперского и Усть-Медведицкого округов отступают в глубь Войска и уже находятся недалеко от железнодорожной линии Лихая—Царицын и группа генерала Мамонтова может быть отрезана от своей базы — Новочеркасска, а его смущало то, что эти части отступали без боя, что многие части сдавались красным, что бросали обозы, орудия и патроны, все то, что было создано такими трудами.

10 января атаман издал приказ по Войску, где, рассеивая все толки о том, что он немецкий ставленник, что союзники идут не с ним и Добровольческой армией, но с большевиками, что с атаманом на фронте ездили не английские и французские офицеры, но ряженые казачьи офицеры, что теперь атаман якобы продает донских казаков русским генералам и прочее, призывал казаков к дальнейшему исполнению ими долга, указывая на то, что с прибытием союзников недалек день общей победы над большевиками и торжества правды над насилием. Приказ этот был послан во все казачьи части. Екатеринодарские газеты, продолжая травлю атамана, перепечатали этот приказ с недостойными комментариями, искажая смысл приказа и в эту грозную минуту развала натравливая казаков против атамана.

8 января атаман писал генералу Деникину:

«События идут скорее, нежели я ожидал. На Украине, в Харьковской и Екатеринославской губерниях разложение полное.

Большевики послали туда пока четыре свои полка, около которых спешно формируют целую армию. По имеющимся у меня сведениям, они предполагают двинуть 90 тысяч войска при сильной артиллерии на Луганск, Дебальцево, Юзовку, чтобы выйти в Таганрогский округ, где они рассчитывают найти благодарную почву для поднятия всего населения округа против казаков, а также перехватить у станции Зверево и Лихой Юго-Восточную железную дорогу и отрезать центр Войска от Северного и Царицынского фронтов.

Я принял следующие меры:

2-ю Донскую казачью дивизию при 8 конных орудиях и одном броневом поезде я сосредоточиваю в районе Луганска для упорной обороны этого направления. Я мобилизую старых казаков Гундоровской, Митякинской и Луганской станиц и в каждой из этих станиц ставлю по 200 таких казаков при двух пулеметах — это составит на всем Луганском фронте около 4 тысяч человек при 8 орудиях. Руководство этим районом я вверяю генерал-майору Коновалову, опытному и решительному офицеру Генерального штаба.

1-й Пластунский полк из Александро-Грушевска, Новочеркасска и Каменской, 4-й Донской полк из Новочеркасска и 1-ю и 2-ю казачьи батареи из Ростова и Александро-Грушевска, а всего около 3 тысяч человек при 8 орудиях сосредоточиваю в районе Каменской.

Я очень просил бы Вас разрешить Воронежский корпус князя Вадбольского в составе около 3 тысяч штыков теперь же передать в Добровольческую армию с тем, чтобы усилить им дивизию Май-Маевского. Отправление этого корпуса в Екатеринодар или в Воронежскую губернию нежелательно по политическим соображениям. Направление в Екатеринодар возбудит донских казаков, которые скажут, что корпус, который содержался на донские деньги, не помогает именно Дону, направление на Воронеж нежелательно потому, что половина самой Воронежской губернии мобилизована большевиками и потому Воронежский корпус очень плохо дерется против своих и сильно дезертирует. Как только Саратовский корпус выйдет из боя, я бы и его передал в состав Азовской группы Добровольческой армии.

Ваше Превосходительство, сами знаете, что тех сил, которые я собираю в Луганском направлении, слишком мало, чтобы сбросить большевиков, идущих от Харькова, вот почему я очень просил бы помочь именно в этом направлении. Занятие добровольцами

Бахмута, Славяносербска и Старобельска освободило бы нас в этом районе и дало бы возможность спасти положение на севере.

На севере нас побеждает не сила оружия противника, но сила его злостной пропаганды, причем в этой последней принимали участие и агенты генерала Семилетова (разложение Вешенской, Казанской и Мигулинской станиц). Вот почему меня очень удивило, что один из деятельных работников по организации пропаганды против меня Н.Е.Парамонов назначается Вами управляющим отделом российской пропаганды. Свои соображения по этому поводу я высказал в письме А.М.Драгомирову, в копии при сем прилагаемом.

На Царицынском фронте я надеюсь обойтись своими силами, но присылка свежих иностранных, а еще лучше доблестных добровольческих частей на Западный и Северный фронты должна быть сделана с чрезвычайною поспешностью.

Свои соображения по этому поводу я сегодня изложил в телеграмме, посланной начальником войскового штаба генералу Романовскому и Вам, вероятно, уже доложенной, но долгом службы почитаю доложить Вам, что наше положение может стать критическим именно на фронте Старобельск—Луганск—Юзовка—Мариуполь и сюда необходима спешная посылка свежих частей.

Позволю еще выяснить Вашему Превосходительству печальное недоразумение, происходящее на станции Караванной. Генерал Май-Маевский запретил вывозить с порохового завода, находящегося на станции Караванной, что бы то ни было и куда бы то ни было. Между тем в снаряжательной мастерской этого завода добывается тринитроуоль и аммонал для снаряжения трехдюймовых снарядов на Таганрогском заводе, работающем на Донскую, Добровольческую и Кубанскую армии. Этим запрещением создается задержка в снаряжении уже готовых снарядов, что отражается на фронте. Очень просил бы Ваше Превосходительство поставить в известность генерала Май-Маевского, что Донская армия входит в состав армий, борющихся против большевиков и Вам подчиненных, а потому препятствовать вывозу аммонала и тринитроуоля на Дон для снаряжения снарядов для нее было бы идти против самих себя. Примите и пр.»*.

Генералу Драгомирову относительно устройства отдела пропаганды и назначения начальником его Н.Е.Парамонова атаман между прочим писал:

---

* Письмо донского атамана от 8 января 1919 г., № 092.

«Всем известно, что деятельности и капиталам Н.Е.Парамонова обязано русское общество и русская Армия своим разложением в 1905 и 1917 годах. Это его книгоиздательство «Донская речь» выпустило те миллионы социальных брошюрок, которые влились в русский народ и привили ему яд бунта и большевизма. Социал-демократ по убеждениям, капиталист, а последнее время и крупный спекулянт, Н.Е.Парамонов все восемь месяцев моего управления Войском Донским шел против меня. Это на его деньги велась сильная агитация на Большом войсковом Кругу против меня. Это на его деньги содержится и формируется генералом Семилетовым отряд для политического, а не боевого назначения, это на его деньги ведется и сейчас пропаганда против меня в войсках Донского фронта. Не характерно ли то, что на этих днях взбунтовались четыре полка, все имеющие своими депутатами на Кругу или самого Н.Е.Парамонова, или его ставленников? Если командование Добровольческой армии желает непременно устранить меня с моего тяжелого поста, не проще ли и не честнее ли прямо мне сказать, чтобы я ушел, нежели валить меня путем пропаганды, потому что этим путем Вы и меня свалите, но и Дон не устоит. Выгодно ли это для России да и для Добровольческой армии? Я не тянусь к власти. Более того, она меня тяготит, я ее ненавижу. Когда соберется Круг, я поставлю вопрос ребром о моем увольнении и сошлюсь и на желание такого удаления меня и Добровольческой армии, для которой я слишком непослушный сын...

...Меня удивляет назначение Н.Е.Парамонова после того, как 26 декабря на совещании нашем на станции Торговой Вы и генерал Деникин возмутились, когда я сказал, что Н.Е.Парамонов предполагается на пост управляющего отделом пропаганды. Но, конечно, это Ваше дело, и я не имею права вмешиваться в него, хотя оставляю за собою право свободы действий и право отказаться на Кругу от поста атамана, так как вести одновременно жестокую войну и вместе с тем бороться против могущественной пропаганды, направленной против меня русским правительством я не могу...»*

Ответом на эти письма было некоторое усиление деятельности дивизии генерала Май-Маевского, которая подошла к Бахмуту, отправление Воронежского корпуса на станцию Синельниково и последовавшее через пять дней после этого назначение

* Письмо атамана генералу Драгомирову от 8 января 1919 г., № 093. Совершенно секретно. Ответ на № 22/12.

Н.Е.Парамонова управляющим отделом пропаганды. Все эти пять дней генерал Деникин почти ежедневно совещался с председателем Войскового Круга В.А.Харламовым и некоторыми членами Войскового Круга из оппозиции атаману. Атаман понял, что после этого поступка ему нельзя оставаться на своем посту: помогать Войску, пока он атаман, генерал Деникин не будет. Но атаман надеялся, что Деникин поймет, что обстановка складывается слишком грозно, что неприбытие своевременно помощи может отдать все Войско в руки врага и завоевывать его снова придется большою кровью. Но Деникин этого не боялся. Это входило в его планы. В его стремлении создать «единую, неделимую Россию» ему стояли поперек дороги автономии Украины, Дона и Кубани. Кубань была освобождена от большевиков при помощи Добровольческой армии и под личным начальством генерала Деникина и потому должна была быть покорна ему, но Дон освободился сам, и Украину освободили немцы, и потому в планы генерала Деникина входило показать донцам, что без него и Добровольческой армии они погибнут, сбить спесь с молодой Донской армии и гордого своими победами маленького донского Наполеона генерала Денисова. Атаману говорили об этом, но он отказывался верить этому, слишком чудовищным ему казалось играть кровью людской в столь ужасные дни. Он думал, что, может быть, он пишет недостаточно ясно и Деникин не понимает всей страшной угрозы для всего русского дела от разложения Донского фронта. 11 января атаман писал генералу Деникину: «...С одной стороны, вследствие крайнего утомления от непрерывных в течение девяти месяцев боев, без всякой смены и отдыха, потому что сменить было некем, а отдыха не давали непрерывно напиравшие советские войска, с другой стороны, вследствие пропаганды, идущей как с севера, от врагов внешних, так и с юга, от врагов внутренних, Северный фронт мой разлагается и колеблется. Из тех телеграмм, которые доложит Вам начальник войскового штаба генерал-майор Поляков, выезжающий завтра в Екатеринодар, Ваше Превосходительство увидите, в каком крайне тяжелом положении находится сейчас Донской фронт. Казанская, Мигулинская и Вешенская станицы изменили и передались советским властям. В Вешенской уже сидит комиссар и учрежден совет. Это на широком фронте в сто верст образовало прорыв и угрожает левому флангу полковника Савватеева, работающего у Урюпинской станицы, и правому флангу генерала Фицхелаурова у Талов и Богучара. Это совершенно разрушило

управление Северным фронтом, штаб которого находился в самой Вешенской станице!

...Как моральная поддержка необходима немедленная, теперь же, в течение трех-пяти дней, присылка в Верхне-Донской и Хоперский округа хотя бы двух батальонов иностранцев.

...К Вашему Превосходительству без моего ведома ездят члены Законодательной комиссии Войскового Круга и председатель Круга В.А.Харламов. Они не осведомлены в делах, они игнорируют войсковое правительство и вносят своими безответственными докладами, часто паническими и не отвечающими действительному положению вещей, только нежелательную путаницу. Ездят они в Екатеринодар без доклада мне, и я очень прошу Ваше Превосходительство, если Вы их принимаете, выслушивать их и верить столько же, сколько любому человеку, приехавшему с Дона, так как их точка зрения — точка зрения простого обывателя, а не полномочных, сведущих и ответственных лиц, за каких они себя выдают...»*

Это письмо и обстоятельный доклад начальника донского штаба заставили генерала Деникина направить еще два полка на подкрепление генералу Май-Маевскому и несколько обеспокоить союзные миссии просьбою начать продвижение французского десанта в глубь Украины. Что касается членов Круга и В.А.Харламова, то их положение было весьма тяжелым. Как донские казаки, они боялись за безопасность Дона, и им нужна была скорейшая помощь ему, тем более что у многих их родные станицы были уже под угрозою Красной армии, но как враги атамана, поставившие своею целью непременно свалить его на первом же заседании Круга, они понимали, что, если будет оказана действительная помощь и ко времени созыва Круга, то есть к 1 февраля, при помощи добровольцев или особенно иностранцев положение будет восстановлено и донцы перейдут в наступление, положение атамана настолько окрепнет, что ему отставки не дадут, даже если он ее и попросит. Атаман все эти дни ездил по Войску. 6 января он был в Каргинской станице, 15-го — в Старочеркасской, 18-го — в Константиновской, 22-го — в Каменской. Всюду он, ссылаясь на генерала Пуля, говорил о том, что скоро будет подмога. Он говорил и о тех письмах и просьбах, которые он посылал генералу Деникину, говорил о том, что он не сомневается, что Добровольческая армия ему поможет. Казаки относились с прежним довери-

---

* Весьма секретное спешное письмо генералу Деникину от 11 января, № 094.

ем к атаману, а в Старочеркасской, Константиновской и Каменской станицах встречали и провожали его с искренним восторгом. И тогда враги атамана решили ускорить созыв Круга и на нем поставить ребром вопрос о том, что атаману надо уйти, потому что, пока он остается у власти, помощи Дону никто не окажет — ни союзники, потому что они считают его немецким ставленником, ни Добровольческая армия, потому что генерал Деникин «не любит атамана». Им удалось частным образом собрать большую часть членов Круга, главным образом интеллигенции, то есть оппозиции, в Новочеркасск, и 17 января вечером председатель Войскового Круга В.А.Харламов с членами Соддатовым, Бондаревым и Дувакиным явились к атаману с настойчивою просьбою ввиду грозных событий на фронте немедленно собрать Круг и объявить открытыми его заседания. Атаман отказал, мотивируя свой отказ тем, что такой экстренный созыв Круга излишне взволнует фронт, и без того уже достаточно потрясенный, что всякий раз, когда бывает сессия Круга, фронт болезненно относится ко всему, что там происходит, и что вообще атаман предпочел бы впредь до улучшения обстановки на фронте Круга не созывать, но, раз уже сессия его объявлена на 1 февраля, пусть и будет 1 февраля.

Из разговоров с прибывающими членами Крута председатель Круга мог выяснить, что о смене атамана и новых выборах не может быть и речи. Неудачи на фронте приписывали не атаману, а общему утомлению казаков и неумелому командованию генерала Денисова, которого многие офицеры не любили за его резкий правдивый характер и крутой нрав. Смены его многие желали, но не смены атамана.

Тогда было решено усилить пропаганду против атамана и привлечь для этого не только парамоновские деньги, но и деньги ростовских евреев. Были пущены слухи, что в Ростове и Екатеринодаре ожидаются жестокие еврейские погромы и что атаман этому сочувствует.

В двадцатых числах января к атаману явился председатель еврейской общины в Ростове, присяжный поверенный Городысский, и попросил разрешения задать два совершенно прямых и откровенных вопроса.

— Задавайте. И я вам так же прямо и откровенно отвечу, потому что у меня тайн нет, — отвечал атаман.

— Носятся слухи — слов нет, темные слухи — о том, что в Ростове и Екатеринодаре ожидаются еврейские погромы, — сказал Городысский.

— Эти слухи пущены моими врагами, — сказал атаман, — и никакой почвы под собой не имеют. Вы знаете, что я никакого ни над кем насилия ни справа, ни слева не допущу. В Ростове у меня для этого есть хорошая полиция и достаточный, вполне надежный гарнизон, что касается Екатеринодара, то этот город находится вне моего ведения, и о нем я ничего не могу сказать.

— Очень вам благодарен за ваши утешительные слова, — сказал Городысский, — я и не сомневался, что вы мне так ответите. Теперь скажите мне — могут ли рассчитывать ростовские евреи, ну хотя бы и не сейчас, но впоследствии, быть допущены на Круг, хотя бы в виде депутации, и иметь возможность перед Кругом отстаивать свои права.

— Пока я донским атаманом, — отвечал атаман, — никто, кроме донских казаков, не будет допущен к решению судеб Дона.

Городысский поклонился и вышел.

26 января к атаману опять заходил председатель Круга В.А.Харламов, члены Круга Бондарев и один сотник и почти требовали, чтобы атаман явился на собранное ими совещание из членов Законодательной комиссии и съехавшихся уже членов Круга и дал свои объяснения о том, что происходит на фронтах.

Атаман отказался ехать, заявивши, что объяснения свои он даст на первом же заседании Круга, до которого осталось всего пять дней.

— Члены Круга, — сказал В.А.Харламов, — требуют немедленной отставки командующего армией генерала Денисова и его начальника штаба генерала Полякова, которым они не верят.

— Право назначения и смещения лиц командного состава армии на основании донской конституции принадлежит мне как верховному вождю Донской армии и флота, — отвечал атаман. — Генерала Денисова и генерала Полякова я считаю вполне на местах. Это честные и талантливые люди, безупречной нравственности и отлично знающие свое дело. Смещать их в дни развала и неудач на фронте я считаю опасным. Они и так делают невозможное.

— Ну а если Круг потребует их увольнения? — спросил Харламов.

— Круг нарушит законы, и я тогда не могу оставаться атаманом, я потребую увольнения с поста атамана.

Ответ вполне удовлетворил Харламова, и он пошел объявить об этом членам Круга.

20 января атаман в еще более решительной форме написал генералу Деникину о военном и политическом положении

Донского войска и просил у него уже не только помощи, но и совета.

«...Под влиянием злостной пропаганды, — писал атаман, — пущенной большевиками с севера и подкрепленной громадными суммами романовских денег (достаточно сказать, что в одной Вешенской станице в один день на угощение казаков, признавших советскую власть, было отпущено 15 тысяч рублей), при помощи пропаганды с юга, так как статьи газет «Кубанец», «Великая Россия» и других используются большевиками как средство агитации против меня, при помощи наезжих гастролеров с юга Северный фронт Донской армии быстро разваливается. Части генерал-майора Савватеева отходят к рекам Дону, Арчаде и Медведице без всякого сопротивления. Командный состав снова терроризирован арестами, срыванием погон и насилиями. Утомление десятимесячной борьбой при полном одиночестве на Северном фронте, жестокие морозы, стоявшие этот месяц (-26...-33 °С), вьюги, глубокие снега, отсутствие обуви и теплой одежды довершили дело разложения казачьей массы. Яд недоверия стал слишком силен, и люди в лучшем случае расходятся с оружием в руках по домам, в худшем передаются «товарищу» Миронову, который сулил им золотые горы и рай советской власти. Если этот пожар перекинется за Дон, где в Донецком, 2-м Донском, 1-м Донском и особенно Таганрогском округах слишком много горючего материала среди крестьянской массы, то к марту месяцу мы вернемся к тому, что имели год тому назад, и кровавая годичная борьба сведется на нет.

На быструю помощь союзников рассчитывать нельзя. Они своими неисполненными обещаниями сыграли немалую роль в разложении фронта. Генерал Пуль 5 января обещал мне, что не позже как через 10—12 дней он пришлет мне два батальона на Северный фронт и просил приготовить 2 тысячи валенок и шуб, но прошло уже шестнадцать дней, а о них не слышно, и, сколько можно догадываться, в союзном командовании идут большие трения по поводу присылки войск. Капитан Фуке определенно работает на разложение Донской армии, громогласно всюду провозглашая, что Войску Донскому никакой помощи оказано не будет, потому что атаман Краснов — немецкий ставленник, не признал единого командования и пр. и пр., на чем играют большевики.

А между тем благодаря блестящим победам доблестной Добровольческой армии является полная возможность спасти Россию и без всякой иностранной помощи. Мы еще не потеряли нашего

оружия, и самого малого толчка достаточно теперь, чтобы оздоровить казаков и вернуть их к исполнению ими долга.

Теперь это возможно, через неделю это, может быть, будет поздно.

Из посланной Вашему Превосходительству вчера директивы Донской армии Вы усмотрите наш план. Если бы можно было при помощи Добровольческой армии быстро занять линию Луганск—Старобельск—Валуйки, а присылкою одной или двух Кубанских дивизий под Царицын помочь изнемогающим донским частям овладеть Царицыном и по овладении им, если бы кубанцы могли отчасти занять гарнизон Царицына, отчасти (одной или полутора дивизиями) продвинуться на Камышин и занять Камышин, я бы мог за счет освободившихся частей генерала Фицхелаурова (у Черткова) и генерала Мамонтова (у Царицына) взять банды Миронова и Сытина с обоих флангов, очистить Хоперский округ и снова занять станции Лиски и Поворино. Эту операцию можно было бы закончить в течение февраля. Распутицу марта месяца провести, работая по железным дорогам по линии Ростов—Лиски—Поворино—Камышин и Поворино—Царицын, а к апрелю перегруппироваться и при поддержке вновь созданных частей из мобилизованных солдат и, может быть, при помощи иностранцев, в последнюю я не особенно верю, двинуться: Добровольческой Азовско-Днепровской армии на Харьков—Курск—Москву, Донской — на Воронеж—Москву и Северо-Кавказской и Кубанской — вверх по Волге.

Ваше Превосходительство, мы на переломе, и если теперь не помочь Дону, я боюсь, что его так расшатают мои враги, что весною вместо этого придется завоевывать Дон от Миронова иностранной силой.

...Я очень просил бы Ваше Превосходительство с полной откровенностью ответить мне на следующий вопрос.

Не считаете ли Вы своевременным, чтобы в февральскую сессию Круга я настойчиво просил бы Круг освободить меня от должности атамана. Я вижу, что имя мое слишком неприятно для Екатеринодара и представителя Франции, капитана Фуке. Может быть, оставаясь на своем посту, я приношу более вреда, нежели пользы, для Войска и настало время уйти. Я не хотел этого места, не жаждал власти, я ее ненавижу, и травля, поднятая против меня в Екатеринодаре, слишком утомляет меня и не дает возможности спокойно работать. К сожалению, кроме генерала Денисова, я не имею заместителя, так как все остальные по своей слабохарактер-

ности вряд ли справятся с той бурною обстановкою, которая сложилась теперь. 1 февраля съезжается Круг, и, если я не получу от Вас моральной поддержки и требования остаться на своем посту, я буду настаивать об освобождении меня от несения обязанностей донского атамана»*.

На это письмо генерал Деникин не замедлил ответить, что он сам замечает, что газетная травля атамана переходит границы приличия и что им закрыта издававшаяся С.П.Черевковым газета, что же касается до того, оставаться атаману на своем посту или нет, то генерал Деникин считает, что это личное дело атамана с Кругом, и вмешиваться в него он не будет.

Одновременно с этим генерал Деникин начал сношения с председателем совета управляющих отделами на Дону генерал-лейтенантом Богаевским, считая его вполне приемлемым заместителем атамана.

Для помощи Дону были собраны две дивизии кубанских казаков, но с посылкою их на север генерал Деникин медлил. Они были посажены в вагоны и эшелонированы по линии Тихорецкая—Ростов.

Деникин выжидал Круга и того, что на нем будет.

Атаман понял, что он дольше оставаться на своем посту не может, хотя бы этого и хотел Круг и требовали долг и присяга его перед Войском...

Глава двадцать первая

«Условия» французского представителя капитана Фуке. — Письмо атамана генералу Франше д'Эспре. — Отношения генерала Деникина к вымогательству французов

В эти тяжелые дни, когда катастрофа надвигалась на Войско Донское и атаман тщетно молил о помощи, именно 27 января к нему прибыл с чрезвычайными полномочиями начальник французской миссии капитан Фуке и с ним английский капитан Келзет. Капитан Фуке накануне потребовал, чтобы за ним был выслан специальный поезд. Он ехал облагодетельствовать Донское войско

* Весьма секретное, в собственные руки, письмо атамана генералу Деникину от 20 января 1919 г., № 0103.

и считал, что он имеет право на особый почет. Капитан Келзет ехал с целью осмотреть платформы для перевозки танков и дать указания, какие надо построить подпорки для их погрузки. По его словам, танки уже выехали из Англии и должны были дней через пять быть на Дону.

Капитан Фуке просидел целый вечер у атамана, интересуясь положением на фронтах. Он подробно расспрашивал атамана о том, какая ему нужна помощь от иностранцев.

— Вы понимаете, — говорил он, — что наши солдаты не могут ни жить, ни воевать в тех условиях, в каких находятся ваши. Они требуют хороших теплых казарм, жизни в городе и вполне обеспеченной коммуникационной линии, чтобы они имели железнодорожную связь со своим тылом, со своими госпиталями и базой снабжения. Укажите такие пункты, куда мы могли бы поставить свои войска и где они оказали бы помощь казакам.

— Если бы вы заняли Луганск и обеспечили угольный район своими гарнизонами, вы имели бы для своих войск и культурные условия и помогли бы добровольцам идти дальше к северу, а я мог бы бросить весь отряд генерала Коновалова на север в Хоперский округ, — отвечал атаман.

— Отлично. Завтра же туда будет послана бригада пехоты через Мариуполь, — сказал Фуке.

Он просил провести его на прямой провод с Екатеринодаром и в присутствии атамана, командующего армией и начальника штаба передал донским шифром зашифрованную телеграмму о том, что он требует немедленной отправки бригады пехоты в Луганск.

— Ну вот видите, — говорил он атаману нагло-покровительственным тоном, — mon ami[1], теперь все будет отлично. Верьте мне, что только Франция является вашим искренним союзником. Я попрошу вас составить письмо с изложением положения на Дону генералу Франше д'Эспре, где, главное, удостоверьте его в том, что вами признано единое командование генерала Деникина. Это вопрос, который очень беспокоит генерала. Все будет хорошо. О! Я чувствую, что все будет отлично... Не зайдете ли вы завтра ко мне в 10 часов утра, чтобы окончательно закрепить наше дело, и я сообщу вам уже сведения о движении нашей бригады в Луганск.

Капитан Фуке обедал и провел вечер у атамана, был очень мил и развязен и, уходя, подтвердил, что то свидание, которого он ожидает назавтра, будет свиданием чрезвычайной важности.

---

[1] Мой друг (*фр.*).

28 января в 10 часов утра атаман зашел к капитану Фуке, помещавшемуся в номере Центральной гостиницы. Он застал у него французского консула в Ростове господина Гильоме. Фуке просил остаться втроем без посторонних свидетелей. Он был взволнован. Он достал несколько листов, напечатанных на машинке и, видимо, спешно этой же ночью или рано утром изготовленных, и, подавая их атаману, сказал:

— Здесь условие в четырех экземплярах. Два для меня, потому что вы понимаете, что я должен обо всем, обо всем доносить моему генералу, одно оставит у себя консул и одно для вас. Видите ли вы, я настаиваю на том, чтобы я периодически получал из вашего штаба все карты и сводки, которые вы отправляете генералу Деникину, и тоже в двух экземплярах — для меня и для генерала Франше д'Эспре. Вы мне передадите обещанное письмо для генерала Франше д'Эспре с изложением положения дел на Дону и с указанием того, что для вас необходимо нужно, а затем я попрошу вас подписать эти условия.

И капитан Фуке передал атаману свои листки. В них значилось:

«Мы, представитель французского главного командования на Черном море, капитан Фуке, с одной стороны, и донской атаман, председатель Совета министров Донского войска, представители Донского правительства и Круга — с другой, сим удостоверяем, что с сего числа и впредь:

1. Мы вполне признаем полное и единое командование над собою генерала Деникина и его Совета министров.

2. Как высшую над собою власть в военном, политическом, административном и внутреннем отношении признаем власть французского главнокомандующего генерала Франше д'Эспре.

3. Согласно с переговорами 9 февраля (28 января) с капитаном Фуке все эти вопросы выяснены с ним вместе и что с сего времени все распоряжения, отдаваемые Войску — будут делаться с ведома капитана Фуке.

4. Мы обязываемся всем достоянием Войска Донского заплатить все убытки французских граждан, проживающих в угольном районе «Донец» и где бы они ни находились, происшедшие вследствие отсутствия порядка в стране, в чем бы они ни выражались, в порче машин и приспособлений, в отсутствии рабочей силы, мы обязаны возместить потерявшим трудоспособность, а также семьям убитых вследствие беспорядков и заплатить полностью среднюю доходность предприятий с причислением к ней 5-процент-

ной надбавки за все то время, когда предприятия эти почему-либо не работали, начиная с 1914 года, для чего составить особую комиссию из представителей угольных промышленников и французского консула...»

Атаман прочел это оригинальное условие и смотрел широко раскрытыми глазами на Фуке.

— Это все? — спросил он возмущенным тоном.

— Все, — ответил Фуке. — Без этого вы не получите ни одного солдата. Mais, mon ami, вы понимаете, что в вашем положении il n'y a pas d'issue!..[1]

— Замолчите! — воскликнул атаман. — Эти ваши условия я доложу совету управляющих, я сообщу всему Кругу... Пусть знают, как помогает нам благородная Франция!..

И атаман вышел с этими листками.

Легко сказать: «Я сообщу об этом Кругу и казакам». Легко сказать, что Франция, ничего не обещая и ничем не обязываясь, требует полного подчинения всего Войска Донского в политическом, военном, административном и внутреннем отношениях, да и не только Войска, но и самого Деникина и Добровольческой армии генералу Франше д'Эспре, представителями которого являются Эрлиш и Фуке! Сказать это — значило бы лишить Войско Донское последней надежды на помощь, лишить надежды тогда, когда фронт держался исключительно этой надеждой! Не только сказать это, но и показать было нельзя!

Так вот она, так долго и так страстно ожидаемая помощь союзников, вот она пришла наконец, и что же она принесла!

Жизнь предъявляла свои требования. Пока никто не мог видеть, что между атаманом и представителем Франции произошел разрыв, и атаман с капитаном Фуке поехал показывать ему Новочеркасское военное училище и Донской кадетский корпус. И тут и там капитан Фуке говорил патриотические речи и заверял молодежь, что Франция не забыла тех услуг, которые оказали ей русские в Великой войне, и что она скоро широко поможет Войску Донскому.

И слушали его дети тех, кто в это время умирал в снегах на жестоком морозе, отстаивая каждый шаг донской земли, дети тех, кто, изверившись в этой помощи, в отчаянии бросал оружие и уходил куда глаза глядят в сознании своего бессилия...

---

[1] Выхода нет (*фр.*).

Вернувшись домой, атаман написал письмо Франше д'Эспре. Изложивши коротко все то, что произошло за последние дни на Дону, атаман писал:

«...Нам нужна Ваша незамедлительная помощь. Обещали ее в ноябре месяце, затем в декабре. Оба раза представители Франции и Англии торжественно заявляли, что помнят об услуге, оказанной Россией в 1914-м и 1915 годах, и оплатят за нее, спася Россию от окончательного краха и оказав затем ей помощь в восстановлении. Солдаты, изнуренные девятимесячной борьбой без передышки, помнили это и держались. Но, когда помощь так и не пришла, силы начали покидать их, и они дрогнули. В течение этого месяца фронт наш откатился назад на 300 верст. И опять тысячи людей расстреляны и подвергаются пыткам, огромные запасы хлеба разграблены большевиками, а в будущем нас ожидают голод, нищета и бесчестье. Казаки больше не верят в помощь союзников. Со всех фронтов я получаю слезные мольбы: покажите нам союзников.

Помощь уже опоздала, но лучше поздно, чем никогда. Необходимо спешно направить, хотя бы в направлении Луганска, 3—4 батальона, чтобы слух о том, что вы здесь, с нами, мог бы распространиться по фронту и поднять наш дух и решимость. Лучше, если бы Вы смогли направить отряды на станцию Чернышевскую, где моральная поддержка необходима более всего, но нужна помощь, и немедленная.

Я предвидел, что случится с капитаном Ошэном, первым французом, посетившим нас, и еще 30 декабря сказал об этом Фуке и Бертелло. А сейчас я говорю: пройдет 2—3 недели, и в результате неверия Дон падет и подчинится игу большевиков, а Франции придется либо снова его завоевывать, используя при этом значительные силы, либо допустить на несколько лет господство анархии в России.

В последний месяц Дон являл собой бойню. 30 тысяч жертв, погибших во имя спасения Отечества. Неужели же кровь их не заслуживает такого простого знака внимания — посылки 3—4 батальонов с 2 батареями для моральной поддержки? Кровь русская, пролитая за победу Франции, взывает к небу и требует расплаты».

Это письмо повез капитан Фуке в тот же вечер для отправки с особым курьером, и с тем же поездом атаман отправил генералу Деникину офицера с письмом, где в выражениях, полных негодования, описывал требования капитана Фуке и прилагал подлинные условия, данные ему Фуке.

29 января атаман получил телеграмму от капитана Фуке, в которой тот писал, что он не пошлет войска в Луганск до тех пор, пока не получит с особым курьером присланного ему, подписанного атаманом и прочими лицами, соглашения о подчинении генералу Франше д'Эспре и об уплате всех убытков французских горнопромышленников.

В 8 часов вечера атаман собрал чрезвычайное совещание управляющих отделами и членов Круга и прочел им требования представителя Франции. Все правительство и интеллигентная часть Круга высказали свое полное негодование по поводу наглого поступка капитана Фуке — простые казаки молчали. Вопрос слишком близко касался их, и они готовы были подчиниться не только французскому генералу, но самому черту, лишь бы избавиться от большевиков. Члены правительства и Круга в лице его председателя В.А.Харламова выразили одобрение действиям атамана и сказали, что атаман иначе и не мог поступить.

Генерал Деникин на письмо атамана отозвался сейчас же следующей телеграммой:

...«0109. Главнокомандующий получил Ваше письмо и приложенные документы, возмущен сделанными Вам предложениями, которые произведены без ведома Главнокомандующего, и вполне одобряет Ваше отношение к предложениям. Подробная телеграмма следует вслед за этим.

Екатеринодар, 30 января 1919 года. 01524. Романовский»...

Но легче от этого не было. Факт оставался фактом. Прошло почти три месяца со дня первой связи с союзниками, а помощи от них не было никакой. Фронт быстро разлагался. 30 января еще четыре хороших полка на Северном фронте перешли на сторону красных.

В Новочеркасске служили панихиды по атаману Каледину, была годовщина его смерти, и хоронили командующего Южной армией генерала от артиллерии Иванова — он умер 29 января в Новочеркасске от сыпного тифа, и невольно печальные воспоминания и сопоставления шли в голову.

Тяжелые это были дни. Дни смятения и сомнения, и в эти дни на свою вторую сессию собирался Большой войсковой Круг.

Глава двадцать вторая

Положение на фронте Донской армии к 27 января 1919 года. — Планы командующего армией

К 27 января положение на фронте Донской армии было очень тяжелым, но не безнадежным. Красная армия занимала весь Верхне-Донской округ и местами вошла клином в Донецкий округ, весь Хоперский округ и северную часть Усть-Медведицкого округа. Фронт Красной армии шел от станций Картушино и Колпаково Екатерининской железной дороги к станции Первозвановка, станице Луганской, причем Луганск с его патронным заводом был занят большевиками, потом, огибая границу Войска Донского, к Стрельцовке, Великоцкому и пограничной железнодорожной станции Чертково, за которой круто спускался к югу в Войско Донское и доходил до слободы Макеевки — этот фронт занимала группа «товарища» *Кожевникова* (начальник штаба Генерального штаба *Дуткевич*), состоявшая из 4-й дивизии матроса *Дыбенко*, 1-й дивизии *Козина* и 3-й дивизии *Сиротина* — всего 20 тыс. штыков при 20 орудиях. Против нее успешно действовала группа генерала *Коновалова* из частей Молодой армии и старых мобилизованных казаков, всего около 8 тыс. штыков и сабель при 16 конных орудиях и двух броневых поездах.

Далее фронт красных занимала 13-я армия *Гиттиса* из 12-й дивизии *Ратайского* и 13-й дивизии *Кольчигина*, всего 22 тыс. штыков и сабель при 62 орудиях. Это была ударная группа, направленная для овладения станцией Миллерово. Ее успешно сдерживал генерал *Фицхелауров* с 10 тыс. казаков и небольшим отрядом добровольцев Харьковской губернии. Настроение отряда было хорошее, но генерал Фицхелауров сильно тревожился за свой правый фланг, который обходила Уральская дивизия 9-й Красной армии *Княгницкого*, имевшей начальником штаба офицера Генерального штаба. Эта Уральская дивизия, пользуясь событиями в Вешенской станице и растерянностью казаков, то и дело изменявших Войску, прошла по реке Чиру до станицы Краснокутской и угрожала станице Чернышевской. От Краснокутской фронт, сдерживаемый казаками Хоперского округа генерала *Савватеева*, шел к северу к станице Усть-Хоперской (15-я дивизия *Гусарского*), Усть-Медведицкой, где были собраны для удара 14-я дивизия *Ролько* (Генерального шта-

ба) и корпус казачьего офицера *Миронова* из 23-й и 16-й дивизии (*Сдобнова*), фронт 9-й армии доходил до станицы Каменской Усть-Медведицкого округа. В 9-й армии было 44 тысячи штыков и сабель при 130 орудиях. Против генерала *Мамонтова* действовала 10-я армия *Худякова* — 26 тыс. штыков и сабель и 239 орудий, состоявшая из 1-й Камышинской дивизии *Антонюка*, 1-й Донской кавалерийской дивизии *Думенко*, Украинской коммунистической конной бригады, Доно-Ставропольской дивизии *Семенова*, коммунистической дивизии *Савицкого*, 1-й Морозовско-Донецкой дивизии *Мухоперцева*, Стальной дивизии *Греленко*, 1-й Донской советской стрелковой дивизии (Котельниковской) *Шевкоплясова* и конной бригады. Фронт 10-й армии шел по реке Дону от Каменской Усть-Медведицкого округа до Качалинской, потом шел к реке Волге у Орловки и огибал Царицын через Гумрак, Воропово и Сарепту. Наконец, с востока на село Торговое Астраханской губернии и Ремонтное нажимали части Северного фронта *Терехова* (5500 штыков и сабель и 6 орудий) и группа *Ригельмана* (6 тыс. штыков и сабель и 11 орудий). Всего на Войско Донское наступало 123 500 красноармейцев при 468 орудиях. Войско же Донское, считая и железнодорожную стражу, и гарнизоны городов и станиц, имело 76 500 человек под ружьем при 79 орудиях. Однако далеко не все эти люди могли стать на оборону границ. Сильно свирепствовал сыпной тиф и ослаблял ряды войск, начало обнаруживаться, особенно в частях, составленных из казаков Верхне-Донского, Хоперского и Усть-Медведицкого округов, уже занятых Красной армией, большое дезертирство. Казаков тянуло в родные станицы узнать, что там делается, живы ли их родные, и они уходили из армии.

Командующим армией был составлен следующий план действий, одобренный атаманом. В районе станиц Каменской и Усть-Бело-Калитвенской генерал Денисов сосредоточивал ударную группу в 16 тыс. при 24 орудиях, в которую должны были войти лучшие части Молодой армии и старые, испытанные в боях войска (в том числе и Гундоровский Георгиевский полк). По сосредоточении, примерно к 5—6 февраля, группа эта должна была ударить на слободу Макеевку, совместно с частями генерала Фицхелаурова сбить 12-ю дивизию и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизий, идти в Хоперский округ оздоровлять и поднимать казаков. Такое движение сулило быстрый успех и возможное очищение Хоперского округа

даже без помощи добровольцев, на которую атаман уже особенно не рассчитывал.

Атаман и командующий армией верили в успех и победу. Они понимали, что неудачи их кроются не в силе Красной армии, а во внутреннем разложении казачьих частей, происходящем от сознания своего одиночества. Появление небольших иностранных или добровольческих частей, хотя бы только в ближнем тылу, изменило бы настроение и дало бы победный импульс Донской армии. Приближалась весна, проходили последние морозы. Разлив реки Дон задержал бы наступление Красной армии, а с весною всегда пробуждалась и казачья доблесть, и атаман за фронт не боялся. Он боялся за внутреннее положение страны. Накануне созыва Большого войскового Круга он получил известие, что отряд партизана Семилетова двинут из Новороссийска к Ростову для оказания давления в случае нужды на него атамана. Гвардейские полки волновались и предлагали атаману уничтожить семилетовцев и, если нужно, разогнать Круг. А сзади стоял Деникин с его невмешательством на словах во внутренние дела Дона, считавший, что вопрос об отставке атамана, избранного на три года, вопрос только атамана и Круга, его, так сказать, частное дело, и союзники с представителями, подобными Фуке.

Командующему армией генералу Денисову атаман безусловно верил. Он с ним сжился за время войны — с 1915-го по 1917 год, два года Денисов был начальником штаба у атамана, тогда начальника дивизии. Они думали одними думами и понимали друг друга с полуслова. Генерал Денисов был создателем Донской армии, и его трудам и талантам Войско Донское было обязано своими победами и освобождением. Эти последние дни и генерал Денисов, и его начальник штаба генерал Поляков работали непрерывно дни и ночи. Днем им приходилось отбиваться от членов Круга, депутатов различных округов, требовавших от них объяснений: почти каждый день Харламов собирал съехавшихся депутатов на частные совещания и приглашал на них Денисова и Полякова для докладов. Работать в штабе днем не приходилось, и всю сложную и ответственную работу по перегруппировке и сосредоточению сил, по отдаче приказаний и переговорам по прямому проводу пришлось перенести на ночь. Атаман знал и видел эту работу и еще более ценил этих самоотверженных, преданных войску генералов.

Глава двадцать третья

Заседание Большого войскового Круга 1 февраля 1919 года. — Требование отставки генералов Денисова и Полякова. — Речь атамана. — Доклад генерала Денисова. Травля его членами Круга. — Заступничество атамана

Первое заседание Круга было назначено на 1 февраля после молебна в соборе в 11 часов утра. В 9 часов утра к атаману приехал председатель Круга В.А.Харламов и сообщил ему, что Круг решил требовать отставки Денисова и Полякова в категорической форме.

— В такой же категорической форме и я потребую своей отставки, — сказал атаман. — Согласитесь, Василий Акимович, что лишить армию в теперешнее тяжелое время и командующего армией, и начальника штаба — это подвергнуть ее катастрофе. Планы обороны знаем только мы трое. Если уже Денисов и Поляков так ненавистны Кругу, я могу убрать их постепенно, по окончании ликвидации наступления Красной армии, тогда, когда подготовлю им заместителей, но убрать их обоих сейчас — это все равно что обрубить мне обе руки... Да и кем заместить их, я не знаю. Единственный, кто разбирается в обстановке и более или менее в курсе дел, — это генерал Кельчевский, но он знает только Царицынский фронт, и он не донской казак.

— А генерал Сидорин? — сказал Харламов.

— Нет, нет, никогда. Только не Сидорин. Это нечестный человек, погубивший наступление генерала Корнилова на Петроград. Это интриган. И притом он пьет, — сказал атаман.

— Но решение Круга неизменно. Денисов и Поляков должны уйти, — настойчиво повторил Харламов.

— Уйду и я, — сказал атаман. — Я попытаюсь уговорить казаков. Дайте мне, господа, только окончить войну с большевиками, победить их, и верьте мне, при мирной обстановке я ни минуты не останусь атаманом. Но уйти теперь и бросить Дон в жестокую минуту борьбы и неудач — этого нельзя, Василий Акимович, и вы должны сделать все, чтобы этого не было...

— Но решение Круга твердо и неизменно, — сказал В.А.Харламов. — Подумайте еще раз. Мы с вами противники, Петр Николаевич, но я глубоко уважаю вас и говорю вам прямо: вам уходить не следует. Круг не вашей отставки желает, но отставки Денисова и Полякова.

— Это все равно, — сказал атаман.

Харламов поднялся и ушел — время было ехать в собор на молебен.

Уже при беглом взгляде на Круг, собравшийся в новом помещении — в зале Дворянского областного собрания, специально отделанном для Круга и убранном картинами и плакатами, напоминавшими казакам страшное недавнее прошлое, атаман увидал, что Круг не тот, что был 15 августа, в дни побед. Да, лица были те же, но выражение их было не то. Тогда все фронтовики были в своих полковых погонах, с медалями и крестами на груди. Теперь все казаки и урядники и некоторые из младших офицеров были без погон. И это не была случайность. Даже спутник атамана по Абиссинии и большой его поклонник, правоверный старовер, урядник л.-гв. атаманского полка Архипов, не желая, видимо, выходить в атаманском мундире без погон, явился в какой-то вычурной синей гусарской венгерке, расшитой черными шнурами. Круг в лице своей серой части на всякий случай «демократизировался» и играл под большевиков. В президиуме заседал толстый и жирный Н.Е.Парамонов и узкими острыми глазками гипнотизировал Круг. В августе его не было. Тогда его за две недели до Круга арестовали немцы, обвинивши его в сношениях с союзниками. Теперь он был здесь, и чувствовалось, что многие из членов Круга уже подавлены его миллионами. Да он и сам не скрывал, что несколько десятков тысяч брошено им на обработку серой части Круга.

При входе атамана Круг не встал. Но когда атаман вышел на трибуну, чтобы говорить речь, его приветствовали аплодисментами, которые стали общими и захватили Круг.

Донской атаман в большой речи обрисовал современное положение Дона. Он не скрывал трудности момента. Подробно изложил историю и роль немецкой оккупации Украины, ход переговоров и сношений с союзниками, историю вопроса об едином командовании Вооруженными силами Юга России. Высказываясь о причинах поражения, он относил их главным образом к чрезмерной растянутости фронта, увеличившейся после ухода немецких гарнизонов с пограничной территории Украины, к непосильности для Донской армии борьбы с противником, численно превосходным и технически лучше оборудованным, и к болезни, охватившей фронт и именуемой большевизмом. Вполне понимая всю ответственность момента, атаман предложил в секретном заседании прослушать в ряде документов о тех

мерах, которые им принимались и принимаются для исправления положения. Он закончил свою речь выражением полной уверенности, что с помощью Добровольческой армии беда будет уничтожена и враг снова выгнан за пределы Донского войска. Речь атамана захватила Круг, и по окончании ее его уже приветствовали по-старому.

Был объявлен перерыв, и посторонняя публика удалена из зала заседаний. Снова вышел атаман и в простой беседе, без ораторских приемов, рассказал о подлости представителя Франции капитана Фуке, прочел его «условия», свое письмо по этому поводу генералу Деникину и его ответ и огласил свою переписку с генералом Деникиным и кубанским атаманом о помощи Донскому войску и сказал, что две дивизии кубанцев обещаны ему. Он намекнул и о том плане, который был выработан командующим армией и при помощи которого он надеется восстановить в ближайшие дни положение. В 4 часа дня заседание кончилось и возобновилось в 7 часов вечера. Вечером около часа читал свой доклад председатель совета управляющих генерал-лейтенант Богаевский о внешнем положении Войска Донского. Он напирал на то, что теперь, при осуществлении единого командования, Войско Донское может ни за что не тревожиться, так как сила Добровольческой армии несокрушима и дело находится в надежных руках.

После генерала Богаевского говорил генерал Денисов. Бледный, страшно исхудавший за эти последние дни, нервный и измученный чрезмерной лихорадочной работой и бессонными ночами, он на ряде громадных наглядных карт и схем пояснил Кругу, что Войско Донское поставлено в слишком тяжелые условия борьбы. Десять месяцев войны, зима, необычайно суровая в этом году, болезни не могли не отозваться на нем.

— Утомление казаков, — говорил Денисов, — чувствовалось ясно еще в ноябре месяце. Начальник штаба генерал Поляков докладывал, что его не радуют все те огромные успехи, какие были нами достигнуты, и если нам не будет оказана посторонняя помощь, то вряд ли мы удержим все то, чем завладели.

Второй причиной была гибель надежды на иноземную помощь, — продолжал командующий, — об этой помощи много говорилось и писалось, и фронт слишком долго ждал прибытия этой помощи. Нам присылалось много телеграмм с вопросом: когда же наконец придут союзники? И их неприход сыграл роковую роль. Но главную роль в наших неудачах сыграла агитация. Агитация не только большевистская, пустившая в ход все средст-

ва — подкупы, посулы, обман, клевету и прочее, но и другие, которые выражались в том, что общественные деятели домогались несколько раз моего свержения, настаивая несколько раз на моей отставке*.

По окончании доклада генерала Денисова на трибуну начали выходить один за другим все те генералы и штаб-офицеры, которые были в свое время удалены генералом Денисовым от службы и добились звания членов Войскового Круга. Вышел Генерального штаба полковник Бабкин, удаленный за трусость и глупость, вышел генерал Семилетов, лихой предводитель детских партизанских отрядов, эксплуатировавший детей и командовавший партизанами из такого далека, где не слышны были пушечные выстрелы, удаленный за неправильно составленные отчеты, вышел Генерального штаба полковник Гнилорыбов, удаленный за трусость и агитацию против атамана, генерал-лейтенант Семенов, обвиненный в лихоимстве в Ростове, и, наконец, генерал-майор Сидорин.

Они задавали совершенно праздные, но волнующие большинство Круга, серую его часть, вопросы:

— Достаточно ли было уделено внимания нуждам фронта и нуждам станиц?

— Посетил ли командующий армией все важнейшие пункты фронта и беседовал ли с казаками?

— Были ли своевременно приняты меры против злоупотреблений реквизициями, особенно против действий монархической организации, так называемой Южной армии и ее карательных отрядов?

— Приведены ли в исполнение принятые Войсковым Кругом постановления о пособии семьям мобилизованных, о вознаграждении за утраченных лошадей, имущество и прочее? (Более чем на два миллиарда рублей!)

— Была ли армия обута и одета?

— Почему своевременно не были мобилизованы иногородние?

— Обращалось ли достаточное внимание на состояние железных дорог? На санитарную часть? На состояние вооружения?

И наконец, после только что обнародованного ряда писем атамана к генералу Деникину уже не с просьбами, а с мольбами о помощи, один из членов Круга задал вопрос:

---

* «С Войскового Круга». Краткое сообщение о заседании 8 февраля 1919 г. Изд. Войскового Круга Всевеликого Войска Донского.

— Не было ли в силу излишней самоуверенности в своих силах отклонено предложение помощи со стороны Добровольческой армии?

Генерал Денисов с полным спокойствием и самообладанием отвечал на все яростные на него нападки. Атаман видел явную преднамеренность многих вопросов — ведь должны же были понимать те, кто их задавал, что la plus jolie fille ne peux donner plus qu'elle a[1] — знали же они экономическое, финансовое и промышленное состояние Войска, знали, в каком состоянии были приняты Войском железные дороги? Они знали одно: qui s'excuse s'accuse[2], и они поставили генерала Денисова в положение ученика, отвечающего на вопросы придирающегося к нему учителя. Эта моральная пытка командующего Донскою армиею продолжалась уже около трех часов, и все новые и новые ораторы шли к председателю, чтобы задавать новые бездельные вопросы и заставлять генерала Денисова оправдываться в преступлениях, которых он не совершал.

Это возмутило атамана.

Он потребовал себе слова и сказал:

— Вот уже три часа я присутствую при недопустимой травле командующего армией. Того, кто освободил от большевиков Новочеркасск, лично руководя атакующими цепями, того, кому Войско Донское обязано и своими победами, и своею свободою! Вот вся награда с вашей стороны за те тяжелые и ответственные труды, какие пали на его долю. На моих глазах он исхудал, изнервничался... Вы мне уже не раз говорили о его смене. Но если вы хотите бороться с врагом и дальше и побеждать его, то *никакой смены быть не может.* В бурю не вырывают руля у опытного и знающего море рулевого. Такие опыты до добра не доводят. Я спрошу всех тех генералов, которые сейчас с такою злобною критикою выступили против командующего армией, почему они не у дел и прячутся за его спину?

— Выгнали! — раздались голоса Сидорина, Бабкина и Семилетова с мест.

— И за дело! — ответил атаман. — Отчего нападают на человека, который так много сделал для общего дела? Невозможно работать с армией, лишенной всего необходимого, а этот человек одел и обул нашу армию. Теперешнее поражение произошло не по его

---

[1] Самая красивая девушка не может дать больше того, что имеет *(фр.).*

[2] Кто оправдывается, тот признает себя виновным *(фр.).*

вине. Я знаю, как велика усталость на фронте. Вместе с командующим армией я объехал все фронты и знаю, что казаки дали больше, нежели могли. Я суровый человек, но я не могу осудить тех, кто теперь отходит. Нельзя доводить людей до последнего, а мы довели. Смотрите, струна очень крепка, но и она лопается, если ее чрезмерно натягивать!

Тишина воцарилась в зале после слов атамана. Наступил психологический момент. Произведи сейчас опрос Круга — требовать отставку генерала Денисова или нет, и громадное большинство стало бы за Денисова. Атаман затронул сердца казаков, он заставил их пожалеть Денисова и сравнить его жизнь непрерывно работающего, исхудалого и измученного человека с издерганными нервами с жизнью его обвинителей, восемь месяцев борьбы живущих без дела на отдыхе, сытых, толстых и праздных. Председатель Круга понял, что в заседании 1 февраля победа осталась за атаманом. Он предложил, за поздним временем (было 12 часов ночи) и утомлением членов Круга, закрыть заседание и обсудить отчеты донского атамана и генерала Денисова на другой день в окружных заседаниях, на свежую голову.

Глава двадцать четвертая

Покушение на убийство члена Круга П.М.Агеева. — Заседание Круга 9 февраля. — Отставка атамана. — Приезд генерала Деникина в Новочеркасск. — Речь генерала Деникина на Кругу 3 февраля. — Отъезд из Новочеркасска бывшего атамана

Когда на другой день члены Круга стали собираться на совещания по округам в женское епархиальное училище, где им было устроено общежитие, их поразили страшным известием: вчера ночью при возвращении с Круга в глухой и пустынной улице двумя неизвестными молодыми людьми в солдатских шинелях ранен в живот член Круга от Усть-Медведицкого округа и лидер Донской социал-демократической партии, известный сотрудник атамана Каледина Павел Михайлович Агеев.

На Дону за все это время не было никаких террористических актов и политических убийств. Дон жил патриархальною, тихою жизнью, и потому это событие взволновало членов Круга. Каж-

дый почувствовал, что, исполняя свой долг перед Родиной, он подвергает свою жизнь опасности.

— Кто мог интересоваться смертью Агеева? Конечно, атаман! — говорили казакам. — Агеев стоял во главе оппозиции правительству, Агеев разрабатывал земельный закон. атаман, или его приспешник Денисов, или по его приказу земельные собственники совершили это покушение на убийство!

Что им за дело было до того, что покушение было сделано необыкновенно грубо, сыграно под атамана и притом с желанием наименьшей опасности для здоровья П.М.Агеева. Следили за ним от самого зала заседаний люди, откровенно одетые в военную форму, стреляли из малокалиберного детского револьвера, и только случайность — попали в живот — причинила довольно большие страдания и продолжительное лежание в лазарете Агееву, спутник Агеева и не побеспокоился преследовать преступников, наконец, стреляли именно в тот день и час, когда атаман более, нежели кто-либо, был заинтересован в спокойствии и полном благоволении к нему членов Круга. Но покушались на жизнь «левого», оппозиции правительству — значит, покушались «правые», покушалось правительство.

То настроение, которое удалось создать атаману на заседаниях 1 февраля, сменилось у одних озлоблением, у других растерянностью. Участь Денисова, а с ним и атамана была решена.

В 6 часов вечера Круг собрался на заседание. После прочтения атаманом приказа по поводу покушения на Агеева, где атаман, высказывая общее осуждение всяким террористическим актам, требовал, чтобы виновные были во что бы то ни стало разысканы, выслушанного Кругом в зловещей тишине, председатель Круга предложил председателям окружных собраний высказаться по поводу вчерашних докладов атамана и генерала Денисова. Семь округов выразили недоверие командующему Донской армией генералу Денисову и начальнику штаба армии генералу Полякову и требовали их немедленной отставки. Только общее заседание представителей Черкасского, Ростовского и Таганрогского округов вынесло им доверие...

Тогда встал атаман. В речи, короткой и сказанной в очень сильных выражениях, он указал Кругу, что Круг берет на себя перед Войском всю ответственность за такое решение.

— Вы становитесь на путь России... — говорил атаман. — Сначала Великий Князь Николай Николаевич, потом Брусилов, потом Гучков, затем Керенский и Главковерх Крыленко. Вы знаете,

ибо сами это пережили, к чему это привело. Одумайтесь, что вы делаете, и не шатайте власти тогда, когда враг идет, чтобы вас уничтожить. Выраженное вами недоверие к командующему армией генералу Денисову и его начальнику штаба Полякову я отношу всецело к себе, потому что я являюсь верховным вождем и руководителем Донской армии, а они только мои подчиненные и исполнители моей воли. Я уже вчера говорил вам, что устранить от сотрудничества со мною этих лиц — это значит обрубить у меня правую и левую руки. Согласиться на их замену теперь я не могу, а потому я отказываюсь от должности донского атамана и прошу избрать мне преемника.

И атаман оставил зал заседаний Круга при возгласах с мест:

— Нет, это не так... Атаману остаться. Атаману верим. Просим остаться.

Председатель Круга объявил перерыв заседания и просил собраться по округам.

И здесь были сказаны те страшные слова, которые заставили поколебаться друзей атамана: «Это требование союзников», «Это желание генерала Деникина», «Без этого нам не будет оказано союзниками никакой помощи».

Отставку атамана вопреки закону баллотировали открытой баллотировкой, и она большинством голосов была принята.

В половине двенадцатого ночи председатель совета управляющих генерал-лейтенант Богаевский привез во дворец атаману следующее постановление Войскового Круга Всевеликого Войска Донского созыва 1919 года 2-й сессии, принятое в закрытом заседании 2-го февраля 1919 года:

«В силу того, что донской атаман генерал от кавалерии П.Н.Краснов после выраженного Войсковым Кругом недоверия командующему Донской армией генерал-лейтенанту С.В.Денисову заявил, что выражение этого недоверия простирается и на него, донского атамана, как верховного руководителя армии, и потому он отказывается от должности донского атамана и просит Круг озаботиться выбором ему преемника, Войсковой Круг постановил: отставку донского атамана П.Н.Краснова принять.

Согласно ст. 21 основных законов Всевеликого Войска Донского, атаманская власть в Войске Донском переходит председателю совета управляющих отделами генерал-лейтенанту А.П.Богаевскому впредь до избрания Кругом атамана Всевеликого Войска Донского.

Председатель Круга В.Харламов. Товарищи председателя Круга Н.Парамонов, Ис.Быкадоров, П.Дудаков, И.Зенков, Б.Уланов, К.Попов. Секретарь: Ф.Крюков».

Атаман в это время собирался ехать навстречу генералу Деникину, которого ожидали в Новочеркасске 3 февраля. Богаевский отговаривал атамана ехать, но атаман решил встретить Главнокомандующего, чтобы лично доложить ему о своей отставке и, главное, о положении на фронтах.

В 8 часов утра атаман встретил генерала Деникина на пограничной станции Кущевка и доложил обо всем происшедшем. Генерал Деникин знал об этом по телеграфу.

— Как жаль, что меня не было, — сказал Деникин. — Я бы не допустил вашей отставки.

— Настроение Круга и Войска таково, что всякое ваше желание будет исполнено. Казаки от вас ожидают спасения и все для вас сделают, — сказал атаман.

После подробного доклада о том, что предпринято атаманом для парализования удара Красной армии, атаман спросил генерала Деникина, как он желает, чтобы атаман поступил с собою, и может ли он ехать на фронт. Деникин сказал, что присутствие атамана вблизи от Войска Донского нежелательно, потому что будет волновать казаков, и советовал атаману уехать пока отдохнуть в Крым, где ему покровительство окажут французы. Атаман предпочел ехать в Батум, и было решено, что он в ближайшие дни покинет Новочеркасск.

На Кругу ожидали выступления генерала Деникина с большим нетерпением. Все те, кто верил в бывшего атамана, ожидали одного слова Деникина в защиту атамана, чтобы сейчас же хлопотать о его перевыборах. Отставку атамана на первые дни скрыли от фронта. Группа, собранная у станицы Каменской, перешла в наступление, наступление развивалось успешно, были взяты пленные, орудия и другая военная добыча. Каждый использовал этот успех по-своему. Друзья атамана говорили, что это выполняется его план, враги утверждали обратное, что войска ринулись вперед, потому что узнали, что они освободились от Денисова и Полякова. Ждали слова генерала Деникина, которому в эту тяжелую минуту покорились вполне.

3 февраля генерал Деникин посетил Войсковой Круг. Круг встретил его бурными аплодисментами. Председатель Круга сказал ему приветственное слово.

Отвечая на его приветствие, генерал Деникин сказал:

— Проносяя вместе с Добровольческой армией по ее крестному пути неугасимую и непоколебимую веру в великое будущее единой, неделимой России, я не отделяю от блага и пользы России интересов Дона, я знаю, что сила, благоденствие и процветание Донского края служат залогом спасения России.

То, что сделано Доном в беспримерной борьбе его с разрушителями Родины, никогда ею не будет забыто.

Донское свободолюбивое войско не может пойти в кабалу к грязному, безумному, проклятому большевизму.

А те, кто продал Дон, забыв и честь, и совесть, пусть знают, что отдыхать им не придется.

Если новоявленные друзья — красноармейцы не пошлют их на восток проливать братскую кровь сибирских, оренбургских и уральских казаков, то здесь они встретятся в смертном беспощадном бою с нами.

В конечной победе я не сомневаюсь, ибо дело наше правое. Я знаю, что Дон может колебаться, что от перенесенных лишений, невзгод и тяжких потерь у малодушных упало сердце.

Положение грозное — нет сомнения! — и не потому, что враг силен, а от усталости, уныния и малодушия и, может быть, предательства некоторых станиц и частей.

Я верю в здоровый разум, русское сердце и в любовь к Родине донского казака, *я верю, что ваша внутренняя разруха, которой я не могу и не хочу быть судьею, не отразится на нашей общей дружной работе в борьбе против врага Дона и России,* и Дон будет спасен! (Бурные аплодисменты.)

Но на этом путь наш не кончится, путь тяжелый, но славный. Настанет день, когда, устроив родной край, обеспечив его в полной мере вооруженной силой и всем необходимым, казаки и горцы вместе с донцами пойдут на север спасать Россию, спасать от распада и гибели, ибо не может быть ни счастья, ни мира, ни сколько-нибудь сносного человеческого существования на Дону и Кавказе, если рядом с ними будут гибнуть прочие русские земли.

Пойдем мы туда не для того, чтобы вернуться к старым порядкам, не для защиты сословных и классовых интересов, а чтобы создать новую светлую жизнь всем: и правым, и левым, и казаку, и крестьянину, и рабочему». (Аплодисменты.)*

---

* «С Войскового Круга». Краткое сообщение о заседаниях 1—8 февраля 1919 г., с. 10.

Из этой речи Круг понял, что генерал Деникин одобряет отставку атамана и обещает помочь донским казакам. Так растолковали, по крайней мере, его речь те, кто в этом был заинтересован.

Генерал Деникин завтракал у председателя совета управляющих генерала Богаевского и обедал у бывшего атамана. И тут и там он совещался с бывшим атаманом о дальнейшем устройстве Войска. Он спросил бывшего атамана, кого он наметил бы на пост командующего армией и начальника штаба. Бывший атаман указал на генерал-лейтенанта Ф.Ф.Абрамова, как на высокообразованного человека, понимающего военное дело, глубоко порядочного и честного. Начальником штаба он назвал генерала Кельчевского. К назначению предложенных ему Сидорина и Семилетова бывший атаман отнесся с полным отрицанием, как к личностям нечестным, беспринципным и способным на всяческую интригу.

4 февраля утром генерал Деникин уехал на Западный фронт к генералу Май-Маевскому, а 6 февраля вечером поехал и бывший атаман в свое изгнание.

Еще 2 февраля донской атаман приказал напечатать в «Донских ведомостях» свой прощальный приказ. Благодаря своих сотрудников и всех казаков за девятимесячную героическую борьбу за свободу казачества, донской атаман заклинал казаков беречь будущее Войска, детей и молодежь, дать им спокойно окончить учебные заведения и не пакостить молодые души участием в гражданской войне.

Завет атамана не был услышан. Еще не покинул атаман пределов, занятых Добровольческой армией, как узнал, что новый командующий Донской армией генерал Сидорин назначил генерала Семилетова командующим партизанскими отрядами всего Войска и поручил ему набор студентов, кадет и гимназистов в боевые дружины. Чья-то злобная рука под корень уничтожала надежды донских казаков — казачьих детей.

В день отъезда со всех четырех фронтов были получены телеграммы на имя бывшего атамана и председателя Круга за подписью командующих корпусами от имени офицеров и казаков.

Казаки требовали от Круга, чтобы он отставки атамана не принимал, и просили атамана не покидать его поста в грозную для Войска минуту. По распоряжению председателя Войскового Круга В.А.Харламова, взявшего на себя в эти дни управление всем Войском, телеграммы эти бывшему атаману переданы не были и Кругу доложены не были.

Бывший атаман уезжал поздно вечером. Погода была отвратительная. Лил проливной дождь, мокрый снег смешался с грязью. Извозчики отсутствовали. И тем не менее весь Новочеркасск собрался проводить бывшего атамана. Были все управляющие отделами, большинство членов Войскового Круга, юнкера Новочеркасского военного училища, офицеры Донской школы, служащие разных учреждений и многочисленные горожане и горожанки.

Депутаты Круга Черкасского округа поднесли атаману трогательный адрес, покрытый их подписями, а супруге атамана — прекрасный букет живых цветов. Но когда содержание адреса узнали и другие члены Круга, они стали тоже подписываться под ним и собрали 62 подписи.

В Ростове, куда поезд прибыл около 10 часов вечера, атамана ожидал новый адрес жителей Ростова и почетный караул л.-гв. Казачьего полка. На дворе станции был собран весь л.-гв. Казачий полк. Тут же на путях в товарных вагонах, в эшелоне находились партизаны генерала Семилетова.

Бывший атаман вышел к почетному караулу, поблагодарил лейб-казаков за внимание, ему уже не полагающееся, и говорил им о их святом долге защищать Донское войско и во всем повиноваться вновь избранному атаману генералу Богаевскому.

Вагон Армавир-Туапсинской дороги, высланный за бывшим атаманом его братом, прицепили к екатеринодарскому поезду, и бывший атаман навсегда покинул Войско.

Венок на могилу Неизвестного солдата Императорской Российской армии

В Париже на площади Etoile, где правильной звездою сходятся двенадцать широких, красивых улиц, где стоит розовеющая в глубокой дали Триумфальная арка, под ее высоким сводом покоится в могиле Неизвестный солдат Французской армии.

Чье-то тело, после боевой грозы мирно упокоившееся в изрытой снарядами, залитой человеческой кровью, пахнущей порохом земле, торжественно выкопали и с почетом похоронили в центре города-великана. И лежит оно в шуме и грохоте подземных и надземных дорог, в тонком шелесте резиновых шин бесчисленных автомобилей, среди суеты праздной, веселой парижской жизни, немым напоминанием подвигов Французской армии и жертв французского народа.

На могилу возлагают венки. Зелено-пестрой, громадной клумбой цветов и листьев высятся они среди немолчного шума и грохота двенадцати улиц.

Всякий раз как я проходил мимо нее или читал, что то Балдвин от имени английского народа, то Муссолини от итальянцев, то генерал Богаевский возлагали на нее венки, мне вспоминались другие могилы, где лежали не неизвестные мне солдаты, а солдаты, хорошо мне знакомые, те, кто был мне дорог, кого я любил и кого видел, как он умирал.

И вижу я пустынное голое шоссе между Тлусте и Залещиками, и справа — помню точно, шоссе входит там в выемку и край его приходится на высоте плеч человека, сидящего на лошади, — стоит низкий, почти равноплечный косой крест, сделанный из двух тонких дубовых жердей. На их скрещении кора снята и плоско застругана. Там химическим карандашом написано... Дожди и снега смыли почти все написанное, и видно только:

...Казак 10-го Донского казачьего, генерала Луковкина,
полка... 4-й сотни... за Веру, Царя и Отечество живот свой
положивший... марта 1915 года...

Я его знал. Это мой казак... В первые бои под Залещиками он был убит у Жезовы. Потом были еще и еще бои под Залещиками. Я проезжал мимо этой могилы в мае 1915 года. Крест покосился и уже мало походил на крест... Надпись выцвела и стерлась. Для всех — это была могила неизвестного солдата, мне же она была известна и издали приветствовала меня дорогими словами: «За Веру, Царя и Отечество»...

Теперь... там, вероятно, и могилы не осталось... как не осталось там ни Веры, ни Царя, ни Отечества... Пустое место. Там Польская Республика, и что ей за дело до бравого станичника, за Веру, Царя и Отечество живот свой положившего? Обвалился крест, упали жерди в придорожную канаву, и на оставшейся могиле бурно разросся бурьян. Синий, звездочками, василек, высокая, пучком, белая ромашка да алые, на пухом поросших гибких стеблях, маки цветут на шоссе. Три цветка — белый, синий и красный — поросли из тела этого неизвестного солдата. Полевой жаворонок прилетит иногда из небесной выси, камнем упадет на цепкие травы и коротко прощебечет недопетую песнь. Быть может, он скажет прохожим —

...Как жил-был казак далеко на чужбине
И помнил про Дон на чужой стороне...

Еще и другие вспоминаются мне могилы...

За селом Бельская Воля, в Польше, между реками Стырью и Стоходом, южнее Пинска, севернее Луцка, на песчаном бугре конносаперы под руководством есаула Зимина (1-го Волгского казачьего полка Терского казачьего войска) построили ограду. Резанные из цветных, темных еловых и белых березовых сучьев, красивые ворота аркой ведут за ограду. Там, в стройном порядке выровненные, в затылок и рядами, лежат солдаты Нижнеднепровского полка, донские, кубанские и терские казаки 2-й казачьей сводной дивизии, убитые в боях под Вулькой Галузийской, 26—30 мая 1916 года — это когда был Луцкий прорыв генерала Каледина.

На воротах надпись из сучьев:

«Воины благочестивые, славой и честью венчанные».

Тогда думали об этом. Тогда можно было об этом думать. Был Бог... Был Царь... была Россия...

И еще одна могила. На склонах Аргидазского хребта за Сарыкамышем, среди камней горных ущелий, лежит тело казака 1-го

Сибирского Ермака Тимофеева полка Пороха. Того самого Пороха, у которого было веселое загорелое, круглое лицо, ясные карие глаза и чистые, ровные, белые зубы. В течение почти трех лет ежедневно утром он встречал меня радостной улыбкой и говорил: «Так что, ваше высокоблагородие, лошади, слава богу, здоровы», а иногда прибавлял: «Только Ванда чегой-то скушная стоит, овес не ела и воды совсем чуток пила. Однако температуру мерили — нормальная»... С ним, Порохом, я изъездил все Семиречье, и он добывал барана на ужин в пустыне, где, казалось, кругом на сотни верст никого не было.

— У знакомого киргиза достал, таймырь* он мне...

Вечером у палатки я слышал, как он быстро говорил с кем-то по-киргизски. Носовые, неясные звуки сплетались в гирлянду слов, как песня.

На песке, поджав ноги, сидели киргизы и с ними мой Порох.

Он убит в ноябре 1914 года, в конной атаке под Сарыкамышем. Тогда 1-й Сибирский Ермака Тимофеева полк атаковал батальон турецкой пехоты, изрубил его и взял знамя.

Во имя всех их... а их миллионы неизвестных — на их могилу мне хотелось бы возложить мой скромный венок воспоминаний...

Им — честью и славою венчанным.

Да стоит ли?..

— Разве не помните вы, как густой толпой стояли они 1 мая 1917 года на станции Видибор, кричали, плевались подсолнухами и требовали вашей смерти? У них на затылках были смятые фуражки и папахи, на лоб выбились клочья нечистых волос, на рубашках алели банты, кокарды были залиты красными чернилами, и почти все они были без погон.

— Разве не помните вы, как в этот час трусливо прятались по вагонам, не смея выручить своего начальника, сотни 17-го Донского генерала Бакланова полка, те, чьи братья лежат там тихо и спокойно у селения Бельская Воля, славой и честью венчанные?

— Разве не помните вы, что они изменили присяге, они поносили царя, они предали врагу — немцам Родину и они подчинились жидам?

Нет... Не об этих будет моя речь. Я хочу сказать о тех, кто свято помогал неизвестному французскому солдату тихо и честно лечь в шумную могилу на площади Etoile в Париже.

---

* Таймырь — приятель, все равно что на Кавказе — кунак.

Я хочу сказать, как они сражались, жили, томились в плену и как умирали солдаты Русской Императорской армии.

Мой венок будет на могилу неизвестного русского солдата, за Веру, Царя и Отечество живот свой на бранях положившего.

Ибо тогда умели умирать.

Ибо тогда смерть честью и славою венчала.

I. Как они умирали

Мой первый убитый... Это было 1 августа 1914 года, на австрийской границе, на шоссе между Томашевом и Равой-Русской. Было яркое солнечное утро. В густом смешанном лесу, где трепетали солнечные пятна на меху и вереске и пахло смолою и грибами, часто трещали ружейные выстрелы. Посвистывали пули, протяжно пели песнь смерти, и от их невидимого присутствия появлялся дурной вкус во рту, и в голове путались мысли.

Я стоял за деревьями. Впереди редкая лежала цепь. Казаки, перестраиваясь, подавались вперед. Из густой заросли вдруг появились два казака. Они несли за голову и за ноги третьего.

— Кто это? — спросил я.

— Урядника Еремина, ваше высокоблагородие, — бодро ответил передний, неловко державший рукой с висевшей на ней винтовкой голову раненого Еремина.

Я подошел. Низ зеленовато-серой рубахи был залит кровью. Бледное лицо, обросшее жидкой молодой, русой бородой, было спокойно. Из полуоткрытого рта иногда, когда казаки спотыкались на кочках, вырывались тихие стоны.

— Братцы, — простонал он. — Бросьте... Не носите... Не мучьте... Дайте помереть спокойно.

— Ничего, Еремин, — сказал я, — потерпи. Бог даст, жив будешь.

Раненый поднял голову. Сине-серые глаза с удивительной кротостью уставились на меня. Тихая улыбка стянула осунувшиеся похудевшие щеки.

— Нет, ваше высокоблагородие, — тихо сказал Еремин. — Знаю я... Куды ж. В живот ведь. Понимаю... Отпишите, ваше высокоблагородие, отцу и матери, что... честно... и нелицемерно... без страха...

Он закрыл глаза. Его понесли дальше.

На другое утро его похоронили на Томашевском кладбище у самой церкви. На его могиле поставили хороший тесаный крест. Казаки поставили.

Я не был на его похоронах. Австрийцы наступали на Томашев. На Звержинецкой дороге был бой. Некогда было хоронить мертвых.

Потом их были сотни, тысячи, миллионы. Они устилали могилами поля Восточной Пруссии, Польши, Галиции и Буковины. Они умирали в Карпатских горах, у границы Венгрии, они гибли в Румынии и в Малой Азии, они умирали в чужой им Франции.

«За Веру, Царя и Отечество».

Нам, солдатам, их смерть была мало видна. Мы сами в эти часы были объяты ее крыльями и многого не видели из того, что видели другие, кому доставалась ужасная, тяжелая доля провожать их в вечный покой... Сестры милосердия, санитары, фельдшера, врачи, священники.

И потому я расскажу о их смерти, о их переживаниях со слов одной сестры милосердия.

Я не буду ее называть. Те, кто ее знает, — а в Императорской армии ее знали десятки тысяч серых героев, — ее узнают. Тем, кто ее не знает, ее имя безразлично.

Сколько раненых прошло через ее руки, сколько солдат умерло на ее руках и от скольких она слышала последние слова, приняла последнюю земную волю...

В бою под Холмом к ней принесли ее убитого жениха...

Она была русская, вся соткана из горячей веры в Бога, любви к Царю и Родине. И умела она понимать все это свято. В ней осталась одна мечта: отдать свою душу Царю, Вере и Отечеству. И отсюда зажегся в ней страстный пламень, который дал ей силу сносить вид нечеловеческих мук, страданий и смерти. Она искала умирающих. Она говорила им, что могла подсказать ей ее исстрадавшаяся душа. Стала она оттого простая, как прост русский крестьянин. Научилась понимать его. И он ей поверил. Он открыл ей душу, и стала эта душа перед нею в ярком свете чистоты и подвига, истинно славою и честью венчанная. Она видела, как умирали русские солдаты, вспоминая деревню свою и близких своих. Ей казалось, что она не жила с ними предсмертными переживаниями, но много раз с ними умирала. Она поняла в эти великие минуты умирания, что «нет смерти, но есть жизнь вечная». И смерть на войне — не смерть, а выполнение своего первого и главного долга перед Родиной.

В полутемной комнате чужого немецкого города прерывающимся голосом рассказывала она мне про русских солдат, и слезы непрерывно капали на бумагу, на которой я записывал ее слова.

Теперь, когда поругано имя Государево, когда наглые, жадные, святотатственные, грязные руки роются в дневниках Государя, читают про его интимные, семейные переживания и наглый хам покровительственно похлопывает его по плечу и аттестует как пустого молодого человека, влюбленного в свою невесту, как хорошего семьянина, но не государственного деятеля, — быть может, будет уместно и своевременно сказать, чем он был для тех, кто умирал за него. Для тех миллионов «неизвестных солдат», что умерли в боях, для тех простых русских, что и по сей час живут в гонимой, истерзанной Родине нашей.

Пусть из страшной темени лжи, клеветы и лакейского хихиканья живых людей раздастся голос мертвых и скажет нам правду о том, что такое Россия, ее вера православная и ее Богом венчанный Царь.

Шли страшные бои под Ломжей. Гвардейская пехота сгорала в них, как сгорает солома, охапками бросаемая в костер. Перевязочные пункты и лазареты были переполнены ранеными, и врачи не успевали перевязывать и делать необходимые операции. Отбирали тех, кому стоило сделать, то есть у кого была надежда на выздоровление, и бросали остальных умирать от ран, за невозможностью всем помочь.

Той сестре, о которой я писал, было поручено из палаты, где лежали 120 тяжелораненых, отобрать пятерых и доставить их в операционную. Сестра приходила с носилками, отбирала тех, в ком более прочно теплилась жизнь, у кого не так страшны были раны, указывала его санитарам, и его уносили. Тихо, со скорбным лицом и глазами, переполненными слезами, скользила она между постелей из соломы, где лежали исковерканные обрубки человеческого мяса, где слышались стоны, предсмертные хрипы и откуда следили за нею большие глаза умирающих, уже видящие иной мир. Ни стона, ни ропота, ни жалобы... А ведь тут шла своеобразная «очередь» на жизнь и выздоровление... Жребием было облегчение невыносимых страданий.

И всякий раз, как входила сестра с санитарами, ее взор ловил страдающими глазами молодой, бравый, черноусый красавец унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка. Он был очень тяжело ранен в живот. Операция была бесполезна, и сестра проходила мимо него, ища других.

— Сестрица... меня... — шептал он и искал глазами ее глаза.

— Сестрица... милая... — он ловил руками края ее платья, и тоска была в его темных, красивых глазах.

Не выдержало сердце сестры. Она отобрала пятерых и умолила врача взять еще одного — шестого. Шестым и был этот унтерофицер. Его оперировали.

Когда его сняли со стола и положили на койку, он кончался. Сестра села подле него. Темное, загорелое лицо его просветлело. Мысль стала ясная, в глазах была кротость.

— Сестрица, спасибо вам, что помогли мне умереть тихо, как следует. Дома у меня жена осталась и трое детей. Бог не оставит их... Сестрица, так хочется жить... Хочу еще раз повидать их, как они без меня справляются. И знаю, что нельзя... Жить хочу, сестрица, но так отрадно мне жизнь свою за Веру, Царя и Отечество положить.

— Григорий, — сказала сестра, — я принесу тебе икону. Помолись. Тебе легче станет.

— Мне и так легко, сестрица.

Сестра принесла икону, раненый перекрестился, вздохнул едва слышно и прошептал:

— ...Хотелось бы семью свою повидать. Рад за Веру, Царя и Отечество умереть...

Печать нездешнего спокойствия легла на красивые черты русского солдата. Смерть сковывала губы. Прошептал еще раз:

— Рад....

Умер.

В такие минуты не лгут перед людьми, ни перед самим собою.

Исчезает выучка, и становится чистой душа, такою, какою она явится перед Господом Богом.

Когда рассказывают о таких минутах — тоже не лгут.

Эти «неизвестные» умирали легко. Потому что верили. И вера спасет их.

И так же, с такими же точно словами умирал у сестры лейбгвардии Преображенского полка солдат, по имени Петр. По фамилии... тоже неизвестный солдат.

Он умирал на носилках. Сестра опустилась на колени подле носилок и плакала.

— Не плачьте, сестрица. Я счастлив, что могу жизнь свою отдать за Царя и Россию. Ничего мне не нужно, только похлопочите о моих детях, — сказал умирающий солдат.

И часто я думаю, где теперь эти дети семеновского унтер-офицера Григория и преображенского солдата Петра? Их отцы умерли за «Веру, Царя и Отечество» восемь лет тому назад. Их детям теперь 12—14—16 лет. Учатся ли они где-нибудь? Учились ли под по-

кровительством какого-то пролеткульта или стали лихими комсомольцами и со свистом и похабной руганью снимали кресты с куполов сельского храма, рушили иконостас и обращали святой храм в танцульку имени Клары Цеткин?

Почему жизнь состроила нам такую страшную гримасу и почему души воинов, славою и честью венчанных, не заступятся у престола Всевышнего за своих детей?

Десять месяцев провела сестра на передовых позициях. Каждый день и каждую ночь на ее руках умирали солдаты.

И она свидетельствует:

— Я не видала солдата, который не умирал бы доблестно. Смерть не страшила их, но успокаивала.

И истинно ее свидетельство.

И не только умирали, но и на смерть шли смело и безропотно.

Когда были бои под Ивангородом, то артиллерийский огонь был так силен, снаряды рвались так часто, что темная ночь казалась светлой и были видны лица проходивших в бой солдат.

Сестра стояла под деревом. В смертельной муке она исходила в молитве. И вдруг услышала шаги тысячи ног. По шоссе мимо нее проходил в бой армейский полк. Сначала показалась темная масса, блеснули штыки, надвинулись плотнее молчаливые ряды, и сестра увидела чисто вымытые, точно сияющие лица. Они поразили ее своим кротким смирением, величием и силой духа. Эти люди шли на смерть. И не то было прекрасно и в то же время ужасно, что они шли на смерть, а то, что они знали, что шли на смерть, и смерти не убоялись.

Солдаты смотрели на сестру и проходили. И вдруг отделился один, достал измятое письмо и, подавая его сестре, сказал:

— Сестрица, окажи мне последнюю просьбу. Пошли мое последнее благословение, последнюю благодарность мою моей матери, отправь письмецо мое...

И пошел дальше...

И говорила мне сестра: ни ожесточения, ни муки, ни страха не прочла она на его бледном, простом крестьянском лице, но одно величие совершаемого подвига...

А потом она видела. По той же дороге шла кучка разбитых, усталых, запыленных и ободранных солдат. Человек тридцать. Несли они знамя. В лучах восходящего солнца сверкало золотое копье с двуглавым орлом, и утренней росою блистал черный глянцевитый чехол. Спокойны, тихи и безрадостны были лица шедших.

— Где ваш полк? — спросила сестра.

— Нас ничего не осталось, — услышала она простой ответ...

Когда я прохожу по площади Etoile и вижу могилу — клумбу Неизвестного солдата, мне почему-то всегда вспоминаются эти скромные, тихие души, ко Господу так величаво-спокойно отошедшие.

Не душа ли неизвестного французского солдата, такая же тихая и простая и так же просто умевшая расстаться с телом, зовет и напоминает о тех, кто умел свершить свой долг до конца?

А умирать им было не легко.

Там же в Ломже, в госпитале, умирал солдат армейского пехотного полка.

Трагизм смерти от тяжелых ран заключается в том, что все тело еще здорово и сильно, не истощено ни болезнью, ни старостью, но молодое, сильное, оно не готово к смерти, не хочет умирать, и только рана влечет его в могилу, и потому так трудно этому молодому, здоровому человеку умирать.

Пить просил этот солдат. Мучила его предсмертная жажда. В смертельном огне горело тело, и, когда сестра подала ему воду, сказал он ей:

— Надень на меня, сестрица, чистую рубашку. Чистым хочу я помереть. А совесть моя чиста. Я за Царя и Родину душу мою отдал... Ах, сестрица, как матушку родную мне жаль. Спасите меня хоть так, чтобы на один часочек ее еще повидать, чтобы деревню свою хоть одним глазком посмотреть...

Сестра надела на него чистую белую рубаху.

Он осмотрел себя в ней, улыбнулся ясною улыбкою и сказал:

— Ах, как хорошо за Родину помирать.

Потом вытянулся, положил руку под голову, точно хотел поудобнее устроиться, как устраивается на ночь ребенок, закрыл глаза и умер.

II. Как они относились к своим офицерам

Те же люди, что клеветали на Царя, стараясь снять с него величие царского сана и печатанием гнусных сплетен, чужих писем хотят вытравить из народной души великие символы «За Веру, Царя и Отечество», также всячески старались зачернить отношения между солдатом и офицером. А отношения эти были большей ча-

стью простые и ласковые, а нередко и трогательно любовные, как сына к отцу, как отца к детям.

Лишь только спускались сумерки, как на тыловой линии, там и сям, появлялись согнутые фигуры безоружных солдат. Шрапнели неприятеля низко рвались в темнеющем небе, и уже виден был яркий желтый огонь их разрывов, бухали, взрываясь, тяжелые и легкие гранаты, и в темноте их черный дым вставал еще грознее, и раскаленные, светясь, летели красно-огненные осколки. Казалось, ничего живого не могло быть там, где едва намечалась клокочущая ружейным и пулеметным огнем линия окопов.

По полю перебегали, шли, крались, припадали к земле и снова шли люди.

Это денщики несли своим офицерам в окопы кто теплое одеяло, чтобы было чем укрыться ночью в холодном окопе, кто тщательно завернутый в полотенце чайник с кипящим чаем, кто хлеб, кто портсигар с папиросами. Им это строго запрещали их же офицеры. Но они не слушали запрещений, потому что видели в этом свой долг, а долг для них был выше жизни. Они помнили, как провожали их матери и жены этих офицеров и говорили им:

— Смотри, Степан, береги его. Помни, что он один у меня, единственный, позаботься о нем.

— Не извольте сумлеваться, барыня, сам недоем, недосплю, а о их благородии позабочусь.

— Иван, — говорила молодая женщина с заплаканными глазами, — Иван, сохрани мне моего мужа. Ты же знаешь, как я его люблю.

В эти страшные часы расставания, когда полк уже ушел на плац строиться и денщики торопились собирать вещи, чтобы везти их на вокзал, матери и жены становились близкими и родными всем этим Иванам и Степанам и в них видели последнюю надежду. Денщики отыскивали своих раненых офицеров, выносили тела убитых, бережно везли их домой к родным.

— Куда вы, черти, лешие? Убьют ведь, — кричали им из окопов.

— А что ж, робя, я так, что ль, своего ротного брошу? Мы его как отца родного чтим — и чтобы не вынести?

— Убьют.

— Ну и пущай, я долг свой сполню.

И выносили оттуда, откуда нельзя было, казалось, вынести.

Помню: двое суток сидел я с Донской бригадой своей дивизии в только что занятых нами немецких окопах у Рудки-Червище,

на реке Стоходе. Это было в августе 1916 года. Противник засыпал все кругом тяжелыми снарядами, подходы к мосту простреливались ружейным огнем. Оренбургские казачьи батареи принуждены были выкопать в крутом берегу окопы для орудийных лошадей. Между нами и тылом легло пространство, где нельзя было ходить.

Смеркалось. Пустые избы деревни, вытянувшиеся улицей, четко рисовались в холодеющем небе. И вдруг на улице показалась невысокая фигура человека, спокойно и бесстрашно шедшего мимо домов, мимо раздутых трупов лошадей, мимо воронок от снарядов, наполненных грязной водой.

Мы из окопа наблюдали за ним.

— А ведь это ваш Попов, — сказал мне начальник штаба полковник Денисов.

— Попов и есть,— подтвердил старший адъютант.

Попов шел не торопясь, точно рисуясь бесстрашием. В обеих руках он нес какой-то большой тяжелый сверток.

Весь наш боевой участок заинтересовался этим человеком. Он шел, как ползает беспечно по столу муха, в которую бросают горохом. Снаряды рвались спереди, сзади, с боков — он не прибавлял шагу. Он шел, бережно неся что-то хрупкое и тяжелое.

Спокойно дошел он до хода в окопы, спустился по земляным ступеням и предстал перед нами в большом блиндаже, крытом тяжелым накатником.

— Ужинать, ваше превосходительство, принес, — сказал он, ставя перед нами корзину с посудой, чайниками, хлебом и мясом. — Чай за два дня-то проголодались!..

— Кто же пустил тебя?

— И то на батарее не пускали. Да как же можно так, без еды! И письмо от генеральши пришло, и посылка, я все доставил.

Этот Попов...

Но не будем говорить об этом. Этот Попов тогда, когда он служил в Русской Императорской армии, даже и не понимал того, что он совершил подвиг христианской любви и долга!

А был он сам богатый человек, с детства избалованный, коннозаводчик и сын зажиточного торгового казака Богаевской станицы Войска Донского.

В казармах нашей Императорской армии висели картины. Это были литографии в красках, издания Ильина или типографии главного штаба, уже точно не помню. Изображали они по-

двиги офицеров и солдат в разные войны. Был там майор Горталов в белом кителе и кепи на затылок, прокалываемый со всех сторон турецкими штыками; был рядовой Осипов в укреплении Михайловском с факелом в руках, кидающийся к пороховому погребу. Запомнился мне еще подвиг Архипа Бондаренко, Лубенского гусарского полка, спасающего жизнь своему офицеру, капитану Воеводскому. Улица болгарской деревни, белые хаты с соломенными крышами, вдоль них скачет большая гнедая лошадь, и на ней двое: раненый офицер и солдат.

Это было воспитание солдата. Дополнение к беседам о том, что «сам погибай, а товарища выручай». Молодыми офицерами мы ходили по казарменному помещению, окруженные молодежью, показывали картины и задавали вопросы. Называлось это «словесностью» и считалось одним из самых скучных занятий.

— Что есть долг солдата? — спрашивали мы, останавливаясь у картины, изображавшей подвиг Бондаренко.

— Долг солдата есть выручать товарища из беды. Долг солдата, если нужно, погибнуть самому, но спасти своего офицера, потому как офицер есть начальник и нужен больше, чем солдат.

— А что здесь нарисовано?

— Изображен здесь подвиг рядового Бондаренко, который, значит, под турецкими пулями и окруженный со всех сторон башибузуками, увидев, что его офицер, корнет Воеводский, ранен и лошадь под ним убитая, остановил свою лошадь и посадил офицера в седло, а сам сел сзади и, отстреливаясь и прикрывая собою офицера, спас его от турок...

Думали ли мы тогда, что двадцать пять лет спустя подвиг братской христианской любви к ближнему, подвиг высокого долга солдатского при обстоятельствах исключительных и гораздо более сложных, чем в 1877 году, будет повторен в мельчайших подробностях? Тогда казалось, да так и говорили, что красоты на войне не будет. Красоты подвига и любви. Что война обратится в бездушную бойню.

И пришла война, неожиданно грозная и кровавая, и захватила все слои населения, и подняла все возрасты. Старых и малых поставила в смертоносные ряды и офицера и солдата смешала в общей великой и страшной работе. И явились герои долга и высокой христианской любви.

Легендарные подвиги, запечатленные на картинах для воспитания солдатского, повторились с математической точностью.

То ли что мы хорошо их учили и сумели так воспитать солдата, что он стал способен на подвиги, то ли что чувство долга и любви к ближнему в крови русского солдата и привито ему в семье и в церкви?

Это было в самые первые дни войны на турецком фронте, в долине Евфрата. 4 ноября 1914 года конный отряд Эриванской группы занял с боя турецкий город Душах-Кебир. Наше наступление шло в Ванском направлении к Мелазгерту. 2 ноября от отряда была послана разведывательная сотня. Но, отойдя версты на четыре, она наткнулась на значительные силы конных курдов и принуждена была остановиться. Попытки разъездов пробиться дальше не увенчались успехом, и начальник отряда, генерал-майор Певнев, решил 6 ноября произвести усиленную разведку отрядом трех родов войск и оттеснить курдов. В разведку был назначен 3-й Волгский казачий полк Терского казачьего войска, под командой полковника Тускаева, два орудия 1-й Кубанской казачьей батареи, под командой подъесаула Певнева и два пулемета дивизионной команды под командой 1-го Запорожского Императрицы Екатерины II казачьего полка, сотника Артифексова.

3-й Волгский полк, только что мобилизованный, состоял из немолодых казаков, отдыхавших от строя, со случайными, призванными с льготы офицерами и с командиром, только что назначенным из конвоя Его Величества и отвыкшим управлять конными массами.

Напротив, батарея и пулеметчики — все были кадровые казаки с двух- и трехлетним обучением, молодежь, горевшая желанием померяться силами с врагом, прекрасно воспитанная и дисциплинированная, сжившаяся со своими офицерами.

Ранним утром яркого солнечного дня отряд вышел из Душаха. Пройдя четыре версты, на линии селения Верхний Харгалых, где горные отроги рядом холмов, прорезанных круторебрыми балками, спускаются в долину реки Евфрата, — отряд услыхал выстрелы. Головная сотня была встречена пешими и конными курдами. Искусно пользуясь глубокими оврагами и складками местности, террасами спускающейся к реке, курды маячили кругом сотни, обстреливая ее со всех сторон.

Полковник Тускаев, не рискуя принять бой в конном строю, спешил две сотни, около 130—140 стрелков, — и повел наступление на конные массы. Противник, укрывавшийся по балкам, развернулся. Перед волгскими цепями была организованная курдская кавалерия — тысяч до пяти всадников.

Курдская конница охватила головную сотню, бывшую в версте от казачьих цепей. Курды, джигитуя, подскакивали к казакам шагов на четыреста и поражали их метким прицельным огнем.

В сотне появились раненые и убитые. Она подходила к обрывистому берегу евфратского русла. Вся каменистая долина реки пестрела курдскими толпами. Гул голосов, неясные вскрики, ржание коней раздавались от реки. Повсюду были цели для поражения огнем, и так велика была вера в технику, в силу артиллерийского и пулеметного огня, что полковник Тускаев приказал артиллерийскому взводу выехать вперед цепей и огнем прогнать курдов.

Лихо, по-конноартиллерийски, вылетел по узкой тропинке к берегу подъесаул Певнев, развернулся за двумя небольшими буграми у самого берега и сейчас перешел на поражение, ставя шрапнели на картечь.

Курды не дрогнули. Нестройными конными лавами, сопровождаемыми пешими, с непрерывной стрельбой, они повели наступление на головную сотню, стоявшую в прикрытии батареи, и на орудия.

Терцы Волгского полка не выдержали атаки. Три взвода сотни оторвались и ускакали. Под берегом остался один взвод — человек пятнадцать и два орудия, яростно бившие по курдам.

Им на помощь был послан пулеметный взвод сотника Артифексова.

Широким наметом, имея пулеметы на вьюках, пулеметчики вылетели вперед орудий и сейчас же начали косить пулеметным огнем курдские толпы. Курды отхлынули. Огонь пулеметный был меткий на выбор, но курды чувствовали свое превосходство в силах, и, отойдя на фронте, они скопились на левом фланге и, укрываясь холмами евфратского берега, понеслись на бывшие сзади батареи сотни волгцев полковника Тускаева. Курды обходили их слева и сзади. Волгцы подали коноводов и ускакали, оставив пулеметы и орудия под речным обрывом.

В величавом покое сияло бездонное синее небо над розово-желтыми кремнистыми скатами Малоазиатских холмов. Тысячам курдов противостояла маленькая кучка казаков, едва насчитывавшая тридцать человек. Орудия часто стреляли, непрерывно трещали пулеметы, отстреливаясь во все стороны и осаживая зарывавшихся курдов. Телами убитых лошадей и людей покрывались скаты холмов, но крались и ползли курды, и меток и губителен становился их огонь.

Три молодых офицера, подъесаул Певнев, командир взвода волгцев есаул Старицкий и сотник Артифексов, с горстью все позабывших и доверившихся им казаков, бились за честь русского имени.

Пулеметные ленты были на исходе. Взводный урядник Петренко — красавец и силач доложил Артифексову полушепотом:

— Ваше благородие, осталось три коробки...

В то же мгновение первый пулемет замолчал. Номера были ранены, а сам пулемет поврежден. И сейчас же ранило 1-й номер второго пулемета. Огонь прекратился.

Сотник Артифексов сел сам за пулемет, тщательно выбирая цели и сберегая патроны.

Из тыла прискакал раненый казак-волжец.

— Командир полка приказал отходить! — крикнул он.

Из-за бугра показался Певнев:

— Сотник, прикрывайте наш отход, а мы прикроем ваш.

— Ладно. Будем прикрывать отход.

Заработал пулемет.

Сзади звонко звякнули пушки, поставленные на передки. Загремели колеса. Орудия, сопровождаемые есаулом Старицким, со взводом терцев, поскакали назад... На месте батареи остался зарядный ящик с убитыми лошадьми, трупы казаков и блестели медные гильзы артиллерийских патронов.

На береговом скате офицер и десять казаков отстреливались от курдов пулеметом и из револьверов. Курды подходили на сто шагов. В неясном гортанном гомоне толпы уже можно было различать возгласы:

— Алла... Алла...

Одному Богу молились люди — и молились о разном.

Прошло минуть десять. Сзади рявкнул выстрел и заскрежетал снаряд. Подъесаул Певнев снялся с передков. Пулеметам надо было отходить. Курды бросили пулеметы, и конная масса, человек в пятьсот, поскакала стороною на батарею. Нечем было их остановить. Орудия стояли под прямым углом одно к другому и часто били, точно лаяли псы, окруженные волками... Артиллерийский взвод умирал в бою.

— Вьючить второй пулемет, — крикнул Артифексов и сел на свою лошадь. Сознание силы коня и то, что на нем он легко уйдет от курдов, придало ему бодрости.

Курды кинулись на казаков.

— Ребята, ко мне.

И тут в XX веке произошло то, о чем пели былины на пороге IX века. Петренко, как новый Илья Муромец, врубился в конные массы курдов и крошил их, как капусту. На бескровном лице дико сверкали огромные глаза, и сам он непроизвольно, не отдавая отчета в том, что он делает, хрипло кричал:

— Ребята, в атаку... Ребята, в атаку... в атаку...

Рядом с ним, на спокойной в этом хаосе людских страстей лошади, стоял казак 3-го Волгского полка Файда и с лошади, из винтовки, почти в упор бил курдов.

Пулеметы ушли... От отряда оставалось только трое: сотник Артифексов, Петренко и Файда. Петренко был ранен в грудь и шатался на лошади...

— Уходи! — крикнул Артифексов, отстреливаясь из револьвера, и, как только Петренко и Файда скрылись в балке, выпустил своего могучего кровного коня...

Впереди было каменистое русло протока. Сзади нестройными толпами, направляясь к агонизировавшей батарее, скакали курды. Часто щелкали выстрелы.

Большие камни русла заставили сотника Артифексова задержать коня, перевести его на рысь и потом на шаг. Лошадь Артифексова вдруг как-то осела задом, заплела ногами и грузно завалилась. Сейчас же вскочила, прянула и упала на Артифексова, тяжело придавив ему ногу.

Мимо проскакали курды. Они шли брать батарею. Иные соскакивали у трупов казаков и обирали их. Громадный курд увидал Артифексова, бившегося под лошадью, соскочил с коня и с ружьем в руках бросился на офицера. Он ударил Артифексова по голове прикладом, торчком. Мохнатая кубанская шапка предохранила голову, и был только тяжелый удар, вызвавший минутное помутнение в голове. Артифексов схватил курда одною рукою за руку, другою за ногу и повалил его, зажав его голову под мышкой правой руки, а левой рукой старался достать револьвер, бывший под лошадью. Курд зубами впился в бок Артифексова, но тому удалось достать револьвер, и он выстрелом в курда освободился от него.

Мутилось в голове; как в тумане увидал Артифексов двух волгских казаков, скакавших мимо.

— Братцы, — крикнул он, — помогите выбраться.

Казак — по фамилии Высококобылка — остановился.

— Стой, ребята, пулеметчик-офицер ранен.

— Я не ранен, а только не могу встать...

Высококобылка закричал что-то и стал часто стрелять по наседавшим курдам. Другой казак, Кабальников, тоже что-то кричал Артифексову. Артифексов рванулся еще раз и выкарабкался из-под лошади. Но сейчас же на него налетело трое конных курдов. Одного убил Артифексов, другого — кто-то из казаков, третий поскакал назад.

— Ваше благородие, бегите сюды, — крикнул Артифексову Высококобылка. Казаки из-за больших камней русла не могли подъехать к офицеру.

Артифексов подошел к ним. Они стали по сторонам его, он вставил одну ногу в стремя одному, другую — другому и, обнимая их, поскакал между ними по дороге. Но дальше шла узкая тропинка. По ней можно было скакать только одному. От удара по черепу силы покидали Артифексова.

— Бросай, ребята. Все равно ничего не выйдет.

— Зачем бросай, — сказал Высококобылка и спрыгнул со своей лошади.

— Садитесь, ваше благородие. Кабальников, веди его благородие. За луку держитесь. Ничего, увезем.

На мгновение Артифексов хотел отказаться, но машинально согласился. Высококобылка опустился на колено у прорытой в холме тропы и изготовился стрелять. И как только курды сунулись в промоину, меткими выстрелами стал их класть у щели. Выпустив пять патронов, он догнал Кабальникова, вскочил на круп лошади, и все трое поскакали дальше. Но не проскакали они и двухсот шагов, как курды прорвались в щель и стали стрелять по казакам. Высококобылка соскочил с лошади, лег и остался один против курдов, выстрелами на выбор он опять остановил их преследование, потом подбежал к Кабальникову и, взявшись за хвост лошади, бежал за Артифексовым.

Они уже выходили из поля боя. Стали попадаться казаки отряда. Курды бросили преследование. Сотник Артифексов был спасен...

Глухою ночью он проснулся. Нестерпимо болела ушибленная нога. Кошмары давили. В пустой хате, где его положили, было темно и страшно. Шатаясь, он вышел на воздух. В бескрайней пустыне горел костер. Кругом сидели казаки.

— Братцы, дайте мне побыть с вами, страшно мне одному. Голова болит, — сказал Артифексов.

Молча подвинулись казаки. Офицер сел у костра. Он прилег. Чья-то заботливая рука прикрыла его ноги буркой.

Тихо горел костер. Трещали чуть слышно мелкие сучья. В стороне жевали кони. Высоко в небе ткали невидимый узор звезды, точно перекидывались между собою лучами — мыслями.

Молчали казаки.

Подвиг братской христианской любви и самопожертвования был совершен.

По уставу.

Как офицер «дома» учил. Как наказывал отец. Как говорила, провожая, мать. Как обязан был поступать каждый казак, как поступали тогда все...

Теперь...

Высококобылка и Кабальников, где вы? В Белой армии, на тяжелых работах, в чужой неприютной стране?.. Или дома, в разоренном хуторе хозяйствуете под чужой, не русскою властью?.. Или служите 3-му Интернационалу, не за совесть, а за страх, выколачивая из русских мужиков продналог...

Откликнитесь, где вы?..

Или спите в безвестной могиле, в широкой степи, без креста и гроба похороненные, и души ваши, со святыми у Престола Всевышнего... славою и честью венчанные...

Ибо подвиг ваш, награжденный Царем земным, не останется без награды и у Господа Сил.

III. Как они томились в плену

Есть еще на войне одно страшное место. Страшное и больное.

Плен.

Так много грязного и тяжелого рассказывали про пленных, так много ужасного.

В марте 1915 года были бои на р. Днестр, под Залещиками. Я со своим 10-м Донским казачьим полком занимал позиции впереди Залещиков, на неприятельском берегу. Перед нашими окопами, шагах в шестистах, был редут, занятый батальоном 300-го Александрийского пехотного полка. Это был ключ нашей позиции.

Австро-германцы — против нас была венгерская пехота и германская кавалерийская бригада — сосредоточили по этому редуту огонь двух полевых и одной тяжелой батареи. Нам были видны разрывы снарядов и темные столбы дыма подле редута. Это про-

должалось полчаса. Потом огонь стих. В бинокль мы увидали большую белую простыню над редутом, а потом серую толпу, перевалившую к неприятелю.

Я никогда не забуду того отвратительного чувства тоски, обиды и досады, что залила тогда сердце. Эта сдача александрийцев дорого стоила нам, принужденным отстаивать позиции без них и без их редута.

И еще помню.

На Стоходе, на рассвете, мы увидали, как два солдата армейского запасного полка прошли из окопа к копне сена, бывшей между нами и австрийцами. Что-то поговорили между собою, навязали на штык белый платок и ушли... к неприятелю.

И потому к пленным было у нас нехорошее чувство. Такое чувство было и у той сестры (рассказы которой про солдатскую смерть я записал), когда она в 1915 году была назначена посетить военнопленных в Австро-Венгрии. Она знала, что неприятель там вел противорусскую пропаганду, и потому приступила к исполнению своего поручения не без страха.

«После всего пережитого мною на фронте, в передовых госпиталях, после того как повидала я все эти прекрасные смерти наших солдат, — рассказывала мне сестра, — было у меня преклонение перед русским воином. И я боялась увидать пленных... И увидала... Подошла к ним вплотную... Вошла в их простую томящуюся душу... И мне не стало стыдно за них».

С тяжелым чувством ехала сестра к немцам. Они были виновниками гибели стольких прекрасных русских, они убили ее жениха. Когда пароход, шедший из Дании, подошел к Германии, сестра опустилась вниз и забилась в свою каюту. Ей казалось, что она не будет в состоянии подать руку встречавшим ее немецким офицерам. Это было летом 1915 года. На фронте у нас было плохо. Армии отступали, враг торжествовал.

У маленького походного образа в горячей молитве склонилась сестра. Думала она: «Я отдала свою жизнь на служение русскому солдату. Отдала ему и свои чувства. Переборю, переломлю себя. Забуду Германию в любви к России».

Тогда еще не выплыли в армии шкурные интересы, не торопились делить господскую землю, не говорили: «Мы пензенские, до нас еще когда дойдут, чаво нам драться? Вот когда к нашему селу подойдут, тоды покажем». Тогда была Императорская армия, и дралась она «за Веру, Царя и Отечество», а не за «землю и волю», отстаивала Россию, а не революцию.

С верою в русского солдата вышла сестра к немцам и поздоровалась с ними.

Сейчас же повезли ее в Вену. Если у нас шпиономания процветала, то не меньше нашего были заражены ею и враги. За сестрою следили. Ее ни на минуту не хотели оставить с пленными наедине, чтобы не услышала она ничего лишнего, не узнала ничего такого, что могло бы повредить немцам. Пленным было запрещено жаловаться сестре на что бы то ни было, и уже знала сестра стороною, что тех, кто жаловался, наказывали, сажали в карцер, подвешивали за руки, лишали пищи.

Первый раз увидела она пленных в Вене, в большом резервном госпитале. Там было сосредоточено несколько сот русских раненых, подобранных на полях сражений.

С трепетом в сердце, сопровождаемая австрийскими офицерами, поднялась она по лестнице, вошла в коридор. Распахнулась дверь, и она увидела больничную палату.

О ее приезде были предупреждены. Ее ждали. Первое, что бросилось ей в глаза, были белые русские рубахи и чисто вымытые, бледные, истощенные страданием, голодом и тоскою лица. Пленные стояли у окон с решетками, тяжелораненые сидели на койках, и все, как только появилась русская сестра, в русских косынке и апостольнике, с широким красным крестом на груди, повернулись к ней, придвинулись и затихли, страшным, напряженным, многообещающим молчанием.

Когда сестра увидела их, столь ей знакомых, таких дорогих ей по воспоминаниям Ломжи и полей Ивангорода, в чужом городе, за железными решетками, во власти врага, — она их пожалела русскою жалостью, ощутила чувство материнской любви к детям, вдруг поняла, что у нее не маленькое девичье сердце, но громадное сердце всей России, России-Матери.

Уже не думала, что надо делать, что надо говорить, забыла об австрийских офицерах, о солдатах с винтовками, стоящих у дверей.

Низко, русским поясным поклоном, поклонилась она всем и сказала:

— Россия-матушка всем вам низко кланяется.

И заплакала.

В ответ на слова сестры раздались всхлипывания, потом рыдания. Вся палата рыдала и плакала.

Прошло много минут, пока эти взрослые люди, солдаты русские, успокоились и затихли.

Сестра пошла по рядам. Никто не жаловался ни на что, никто не роптал, но раздавались полные тоски вопросы:

— Сестрица, как у нас?

— Сестрица, что в России?

— Сестрица, чья теперь победа?

Было плохо. Отдали Варшаву, отходили за Влодаву и Пинск.

— Бог милостив... Ничего... Бог поможет... — говорила сестра, и понимали ее пленные.

— Давно вы были в церкви? — спросила их сестра.

— С России не были, — раздались голоса с разных концов палаты.

Сестра достала молитвенник и стала читать вечерние молитвы, как когда-то читала их раненым. Кто мог — стал на колени, и стала в палате мертвая, ничем не нарушаемая тишина. И в эту тишину, как в сумрак затихшего перед закатом леса врывается легкое журчание ручья, падали кроткие, знакомые с детства слова русских молитв.

Молитвою была сильна Императорская православная Россия, сильна и непобедима.

На секунду оторвалась от молитвенника сестра и оглядела палату. Выражение сотни глаз пленных ее поразило. Устремленные на нее, они что-то видели такое прекрасное и умиротворяющее, что стали особенными, духовными и кроткими. Сердца их очищались молитвою. «Блаженни чисти сердцем, яко тии Бога узрят», — подумала сестра и поняла, что они Бога видели.

Когда настала молитвенная тишина, один за другим стали выходить из палаты австрийские офицеры, дали знак — и ушли часовые. Сестра осталась одна с пленными.

Она кончила молитвы. Надо было идти в следующий этаж, а никого не было, кто бы указал ей дорогу.

Сестра пошла на лестницу и там нашла всех сопровождавших ее.

— Мы вышли, — сказал ей старший из австрийских офицеров, — потому что почувствовали силу вашей молитвы. Мы почувствовали Бога. Мы решили, что вы можете ходить по палатам и посещать пленных без того, чтобы мы ходили за вами.

Они поверили сестре.

Сестра боялась, что пленные, жаловавшиеся ей, будут наказаны. Она знала, что хотя австрийцы и не следят более за нею по пятам, но в каждом помещении есть свои шпионы и доносчики. Эту роль на себя брали, по преимуществу, евреи, бывшие почти везде переводчиками.

Генерал-инспектором всех лагерей военнопленных был генерал Линхард. Он отлично относился к сестре и был с нею рыцарски вежлив.

— Генерал, — сказала сестра, отдавая ему отчет о первом посещении пленных, — теперь такое ужасное время. Я послана как официальное лицо, и вы являетесь тоже лицом официальным. Но забудем это... Будем на минуту просто людьми. Мы, русские, любим жаловаться, плакаться, преувеличивать свои страдания, клясть свою судьбу, это нам облегчает горе. Солдаты видят во мне мать, и, как ребенок матери, так они мне хотят излить свое горе. Верьте мне — я не буду пристрастна, я сумею отличить, где правда и где просто расстроенное воображение. Я не позволю себе использовать что-либо вам во вред. Я даю вам слово русской женщины. Но мне говорили, что тех, кто мне жалуется, будут жестоко наказывать... Так вот, генерал, дайте мне честное слово австрийского генерала, что вы отдадите приказ не наказывать тех, кто будет мне жаловаться.

Генерал встал, поклонился и коротко и сурово сказал:

— Даю вам это слово.

Сестра посетила более ста тысяч пленных. Жаловавшиеся ей не были наказаны.

IV. Что были для них Россия и Царь

Вместо Российской империи — большевистский застенок, с хамом, сумасшедшими и жидами у кормила в Святом Кремле. Там повсюду развевается красное, кровавое знамя. Поруганы семья и церковь. Самое слово — Россия — не существует, и все-таки «мы в изгнании сущие» тоскуем по ней и жаждем вернуться.

Что же испытывали пленные, заточенные по лагерям и тюрьмам и оставившие Россию целою, с Государем, с ее великой, славной армией. Их тоска была неописуема.

Любили они горячо, страстной любовью то, за что принимали страдания...

Высокого роста красивый солдат в одном из лагерей отделился от строя и тихо сказал сестре:

— Сестрица, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.

Сестра перевела его просьбу сопровождавшему ее генералу. Генерал разрешил.

— Пожалуйста, — сказала сестра, — генерал позволил.

Они отошли в сторону, за бараки. Солдат смутился, покраснел и заговорил теми красивыми, русскими певучими, словами, что сохранились по деревням вдали от городов и железных дорог, словами, подсказанными природой и жизнью среди животных, зверей и птиц:

— Сестрица, дороже мне всего на свете портрет Царя-батюшки, что дал он мне, как я служил в его полку... Зашит он у меня в сапоге. И ни есть ни пить мне не надо, а был бы цел его портрет. Да вот горе-беда, пошли промежду нами шпионы. Проведают, пронюхают, прознают про тот портрет. Как бы не отобрали? Как бы не попал он в поганые вражеские руки! Я, сестрица, думал: возьми и свези его на Родину и дай куда сохранить... Али опасно?

Сестра сказала, ему, что все ее бумаги и документы просматриваются австрийскими властями и скрыть портрет будет неудобно. Задумался солдат.

— Тогда не могу его вам отдать. Неладно будет. Присоветуйте... хочу записаться я, чтобы в полях работать. И вот, скажем, ночь тихая, погода светлая, и наклею я портрет на дерево и пущу его по тихим водам речным и по той реке, что с какой ни есть русскою рекою сливается, чтобы причалил он к русским берегам. И там возьмут его. Там-то, я знаю, там сберегут.

— Бог спасет, оставь у себя в голенище, — сказала сестра.

У сестры на груди висели золотые и серебряные Георгиевские медали фронта с чеканным на них портретом Государя. Когда она шла вдоль фронта военнопленных по лагерю, ей подавали просьбы.

Кто просил отыскать отца или мать и передать им поклон и привет. Не знает ли она, кто жив, кто убит? Кто передавал письмо, жалобы или прошения.

И вдруг — широкое крестное знамение... Дрожащая рука хватает медаль, чье-то загорелое усатое лицо склоняется и целует государев портрет на медали.

Тогда кругом гремело «ура». Люди метались в исступлении, чтобы приложиться к портрету, эмблеме далекой Родины России.

И бывал такой подъем, что сестре становилось странно, не наделали бы люди чего-либо противозаконного.

Положение военнопленных в Германии и Австрии к концу 1915 года было особенно тяжелым, потому что в этих странах уже не хватало продовольствия, чтобы кормить своих солдат, и чужих пленных едва-едва кормили, держали их на голодном пайке.

И вот что мне рассказывала сестра о настроении голодных, забытых людей.

Это было под вечер ясного, теплого осеннего дня. Сестра только что закончила обход громадного лазарета в Пурке-Штале, в Австро-Венгрии, где находилось 15 тысяч военнопленных. Они были разбиты на литеры по триста человек, и одной литере было запрещено сообщаться с другой. Весь день она переходила от одной группы в 100—120 человек, с которой беседовала, к другой. Когда наступил вечер и солнце склонилось к земле, она пошла к выходу.

Пленным было разрешено проводить ее и выйти из своих литерных перегородок. Громадная толпа исхудалых, бедно одетых людей, залитая последними лучами заходящего солнца, следовала за сестрой. Точно золотые дороги потянулись с запада на восток, точно материнская ласка дневного светила посылала последние объятия далекой России.

Сестра выходила к воротам. Она торопилась, обмениваясь с ближайшими солдатами пустыми, ничего не значащими словами.

— Какой ты губернии?

— В каком ты полку служил?

— Болит твоя рана?

У лагерных ворот от толпы отделился молодой высокий солдат. Он стал перед сестрой и, как бы выражая мнение всех, начал громко, восторженно говорить:

— Сестрица, прощай, мы больше тебя не увидим. Ты свободная. Ты поедешь на родину в Россию, так скажи там от нас Царю-батюшке, чтобы о нас не недужился, чтобы Манифеста своего из-за нас не забывал и не заключал мира, покуда хоть один немец будет на русской земле. Скажи России-матушке, чтобы не думала о нас... Пускай мы все умрем здесь от голода-тоски, но была бы только победа.

Сестра поклонилась ему в пояс. Надо было что-либо сказать, но чувством особенным была переполнена ее душа, и слова не шли на ум. Пятнадцатитысячная толпа притихла, и в ней было напряженное согласие с говорившим.

И сказала сестра:

— Солнце глядится теперь на Россию. Солнце видит вас и Россию видит. Оно скажет о вас, какие вы... — и, заплакав, пошла к выходу.

Кто-то крикнул:

— Ура Государю Императору!

Вся пятнадцатитысячная толпа вдруг рухнула на колени и едиными устами и единым духом запела «Боже, Царя храни»... Звуки величавого народного гимна нарастали и сливались с рыданиями, все чаще прерывавшимися сквозь пение. Кончили и запели второй и третий раз запрещенный гимн.

Австрийский генерал, сопровождавший сестру, снял с головы высокую шапку и стоял навытяжку. Его глаза были полны слез.

Сестра поклонилась до земли толпе военнопленных и, сдерживая рыдания, быстро пошла к ожидавшему ее автомобилю.

Мир во что бы то ни стало. Мир через головы генералов. Мир, заключаемый рота с ротой, батальон с батальоном по приказу никому не ведомого Главковерха Крыленко.

Без аннексий и контрибуций...

Когда была правда? Тогда, когда за Пуркштальским лагерем за чужую землю закатывалось ясное русское солнце, или тогда, когда восходило кровавое солнце русского бунта?

Гимн и молитва были тем, что наиболее напоминало Родину, что связывало духовно этих несчастных, томящихся на чужбине людей со всем, что было бесконечно им дорого. Дороже жизни.

Это было в одном громадном госпитале для военнопленных. Весь австрийский город был переполнен ранеными, и пленные, тоже раненые, помещались в здании какого-то большого училища.

В этом госпитале было много умирающих, и те, кто уже поправлялся и ходил, жили в атмосфере смерти и тяжких мук.

Когда сестра кончила обход палат и вышла на лестницу, за нею пошла большая толпа пленных. Ее остановили на лестнице, и один из солдат сказал ей:

— Сестрица, у нас здесь хор хороший есть. Хотели бы мы вам спеть то, что чувствуем.

Сестра остановилась в нерешительности. Подле нее стояли австрийские офицеры.

Регент вышел вперед, дал тон, и вдруг по всей лестнице, по всем казармам, по всем палатам, отдаваясь на улицу, величаво раздались мощные звуки громадного, дивно спевшегося хора.

— С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог, — гремел хор по чужому зданию, в городе, полном этих самых «чужих» языков.

Лица поющих стали напряженными. Какая-то страшная решимость легла на них. Загорались глаза огнем вдохновения. Ска-

жи им сейчас, что их убьют, всех расстреляют, если они не перестанут петь, — они не послушались бы.

А кругом плакали раненые. Сестра плакала с ними.

После отъезда сестры весь госпиталь, все, кто только мог ходить, собрались в большой палате. Калеки приползли, слабые пришли, поддерживаемые более сильными. Делились впечатлениями пережитого.

— Ребята, сестра нам много хорошего сделала. Надоть нам так, чтобы беспременно ее отблагодарить. Память, какую ни на есть, ей по себе оставить.

— Слыхали мы, остается сестра еще день в нашем городе, давайте сложимся и купим ей кольцо о нас в напоминание.

— Или какое рукоделие ей сделаем?

Посыпались предложения, но все не находили сочувствия. Все казался подарок мал и ничтожен по тому многому, что оставила сестра в их душах.

И тогда встал на табуретку маленький, невзрачный на вид солдат, совсем простой, и сказал:

— Ей подарка не нужно, не такая она сестра, чтобы ей подарок или что поднести. Мы плакали о своем горе, и она с нами плакала. Вот если бы мы могли из ее и своих слез сплести ожерелье — вот такой подарок ей поднести.

В палате после этих слов наступила тишина. Раненые молча расходились. Все было сказано этими словами.

Вольноопределяющийся, бывший свидетелем этого, рассказал сестре. Говорила мне сестра:

— Когда мне делается особенно тяжело, и мысли тяжкие о нашей несчастной Родине овладевают мною, и болезни мучат, мне кажется тогда, что на шее у меня лежит это ожерелье из чистых русских солдатских слез, — и мне становится легче.

Молитва в сердцах этих простых русских людей всегда соединялась с понятием о России. Точно Бог был не везде, но Бог был только в России. Может быть, это было потому, что у Бога было хорошо, а хорошо было только в России.

В Венгрии, в одном поместье, где работало четыреста человек пленных, к сестре, после осмотра ею помещений и обычной беседы и расспросов, подошло несколько человек, и один из них сказал:

— Сестрица, мы построили часовню. Мы хотели бы, чтобы ты посмотрела ее. Но не суди ее очень строго. Она очень маленькая. Мы хотели, чтобы она была русская, совсем русская, и мы строи-

ли ее из русского леса, выросшего в России. Мы собирали доски от тех ящиков, в которых нам посылали посылки из России, и из них построили себе часовню. Мы отдавали последнее, что имели, чтобы устроить ее себе.

Было Крещенье. Сухой, ясный, морозный день стоял над скованными полями. Жалкий и трогательный вид имела крошечная постройка в пять шагов длины и три шага ширины, одиноко стоявшая в поле. Бедна и незатейлива была ее архитектура.

Но когда сестра вошла в нее, странное чувство овладело ею. Точно из этого ящика дохнула светлым дыханием великая в страдании Россия. Точно и правда русские доски принесли с собою русский говор, шепот русских лесов и всплески и журчание русских рек.

— Когда нам бывает уж очень тяжело, — сказал один из солдат, — когда за Россией душа соскучится, захотим мы, чтобы мы победили, чтобы хорошо было Царю-батюшке, пойдешь сюда и чувствуешь, точно в Россию пошел. Вспомнишь деревню свою, вспомнишь семью.

Солдаты и сестра сели подле часовни. Почему-то сестре вспомнились слова Спасителя, сказанные Им по воскресении из мертвых: «Всхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему»*.

«Не погибнут эти люди, и не может погибнуть и Россия, пока в ней есть такие люди, — думала сестра. — Если мы любим Бога и Отечество больше всего, и Бог нас полюбит и станет нашим Отцом и нашим Богом, как есть Он Бог и Отец Иисуса Христа».

Сестра, как умела, стала говорить об этом солдатам. Они молча слушали ее. И когда она кончила, они ей сказали:

— Сестрица, споем «Отче наш».

Спели три раза. Просто, бесхитростно, как поют молитву Господню солдаты в ротах. Казалось, что это было не в Венгрии а в России, не в плену, а на свободе.

В стороне стоял венгерский офицер, наблюдавший за пленными в этом поместье. Он тоже снял шапку и молился вместе с русскими солдатами.

Провожая сестру, он сказал ей:

— Я венгерский офицер, раненный на фронте. Когда вы молились и плакали с вашими солдатами, и я плакал. Когда теперь так много зла на земле, и эта ужасная война и голод, — я вдруг

---

* От Иоанна, гл. 20, ст. 17.

увидел, что есть небесная любовь. И это меня тронуло, сестра. Не беспокойтесь о них. Я теперь всегда буду относиться к ним сквозь то чудное чувство, что я пережил сейчас с вами, когда молился и плакал.

В одном большом городе, в больнице, где администрация и сестры очень хорошо и заботливо относились к пленным, сестра раздавала раненым образки.

Они вставали, кто мог, крестились и целовали образки. Один же, когда она к нему подошла, сел.

— Сестрица, — сказал он, — мне не надо вашего образка. Я не верю в Бога и никого не люблю. В мире только одно мучение людям, так уж какой тут Бог? Надо одно, чтобы это зло от войны прекратилось. И не надо мне ни образов, ни Евангелия, — все зло и обман.

Сестра села к нему на койку и стала с ним говорить. Он был образованный, из учителей. Слушал ее внимательно.

— Спасибо вам, — сказал он. — Ну, дайте мне образок.

Из немигающих глаз показались слезы. Сестра дала ему образок, поднялась и ушла от него.

Прошло много времени. Сестра вернулась в Петербург. Однажды в числе других писем она получила открытку из Австрии. Писал тот солдат, которому она дала образок.

«Дорогая сестрица, откуда у Вас было столько любви к нам, что, когда Вы вошли в палату, я почувствовал своим ожесточенным, каменным сердцем, что Вы любите каждого из нас. Я благословляю Вас, потому что Вы — сердце, поющее Богу песнь хвалы. У меня теперь одна мечта — вернуться на Родину и защищать ее от врагов. Хотелось бы увидеть еще раз Вас и мою мать».

V. Они бежали из плена, чтобы снова сражаться за Россию

Эта мечта — увидать снова Родину и драться, защищая ее от врагов, — была наиболее сильной и яркой мечтой у большинства пленных. Как ни строго охраняли пленных, как ни сурово было наказание за побеги, из плена постоянно бежали. Бежали самым необыкновенным образом и, что замечательно, при поимке никогда не говорили, что бежали для того, чтобы повидать семью, или жену, или детей, но всегда заявляли, что бежали для того,

чтобы вернуться в родной полк смыть позор плена и в рядах полка сражаться против неприятеля.

Особенно много бежало казаков. Надо и то сказать, что с казаками в плену обращались строго. В австро-германской армии было убеждение, что казаки на дают пощады врагу, что они не берут пленных, и потому в лагерях мстили казакам. И еще одно. В казачьих частях плен, по традиции, считался не несчастьем, а позором, и потому даже раненые казаки старались убежать, чтобы смыть с себя позор плена.

В Дании был интернирован казак, три раза убегавший из плена в Германии. У него была одна мечта — вернуться в полк и снова сражаться. Чтобы бежать, он прибегал к всевозможным уловкам. Притворялся сумасшедшим. Сидел на койке и выдергивал у себя волосы, по одному волосу в минуту, ничего не ел, бросался на приходящих. Его отправили в сумасшедший дом. Он связал из разорванной простыни канат и ночью бежал из окна уборной. На границе его поймали. Его мучили, держали в карцере, подвешивали к стенке. Он притворился покаявшимся и устроился на полевые работы. Едва затянулись реки, бежал снова глухой осенью. Более недели скитался, питаясь только корнями, оставшимися в полях, упал от истощения и был пойман. Его отправили в Данию.

— Бегу и отсюда, — говорил он. — Надо смыть позор. Я казак, а во время войны в плену сижу.

И бежал...

В Моравии, на сахарном заводе, у помещика, работало двести русских военнопленных. Партией заведовал русский еврей, русский же еврей был и поваром при партии. Евреи-переводчики, евреи, заведующие партиями, — это было одним из самых тяжелых бытовых явлений плена. Они контролировали почту, они читали письма пленных, они доносили на строптивых, и из-за них были цепи, подвешивания, карцеры, бичевания и расстрелы. Они знали язык, но не были русскими, они не любили Россию. Суровое молчание и глухое недовольство было на заводе. Голодные, забитые люди только что кончили рассказы о своем горе и, мрачно столпившись, стояли около завода.

Вдруг тишину вечера нарушили крики, грубая брань и стук. Пленные тревожно заговорили...

— Ах ты боже мой... Царица небесная... Он попался... Он ушел, а его таки поймали...

Сестра увидела: два австрийских солдата волочили какого-то почти голого человека. На худом, грязном, изможденном теле болтались обтрепанные лохмотья шинели, и, шатаясь, как пьяный, он брел. В глазах горела мука.

Увидав сестру, он остановился.

— Сестрица, ты свободная? — спросил он хриплым голосом.

— Да, я свободная, я приехала, чтобы передать вам поклон от матушки России.

— Ты вернешься в Россию?

— Да...

— Так вот... Я знаю, что меня убьют... Мне расстрела не избежать. Скажи там, на Родине, что я хотел пробраться туда, чтобы воевать, чтоб смыть с себя срам плена...

Он вдруг повернулся к лесу. Его лицо просветлело. Загорелись внутренним огнем большие, в темных веках, глаза. Несколько секунд смотрел он на прекрасные дали и вдруг воскликнул с таким чувством, с такою силою, что никогда не могла забыть этого сестра:

— Вот поле, вот лес... а за вами... за вами — Россия-матушка... И не видать мне тебя...

Кругом все замерли. В крике этого пойманного пленного было столько силы, столько мольбы, что казалось, лес расступится, холмы раздадутся и за ними, в зеленых далях покажутся низкие холмики русских деревень и купола православных церквей. Казалось, что дали ответят на этот призыв и примут в себя беглеца...

VI. Они умирали в плену, помня Россию

Но еще тяжелее было положение, еще тяжелее настроение у пленных больных, умирающих, у тех, кто не мог надеяться когда бы то ни было увидать Родину.

Там было одно отчаяние, одна молитва, одна вера в будущую жизнь, и нельзя было видеть тех людей без тоски, без слез.

Когда сестра навещала лазарет туберкулезных пленных в Моравии — это были одни сплошные слезы. Там лежали люди, которым оставалось 3—4 недели жизни. Каждый день из палат уносили мертвецов, и остававшиеся знали, что их час был близок.

— Сестрица, сделай так, чтобы нам Россию еще повидать... Тяжело умирать со срамом плена на душе... Ты скажи там, что мы

больные, что умираем, а свое помним... Все одно как на фронте — «за Веру, Царя и Отечество».

На одной из коек лежал солдат, Васильев. Он был очень плох. Сестра села к нему на койку.

— Чувствую я, сестрица, что умираю. До конца был верен Царю и Отечеству и в плен не по своей воле попал. Все сдались. Я и не знал, что это уже плен. Так хотел бы жену свою и детей повидать. Шестеро их у меня. Что с ними будет? Одному Богу известно. Ни коровы, ни лошади, ничего у них нет. По миру пойдут. А мир-то каков! Тяготит это меня, сестра.

Сестра заговорила о Боге. Она заговорила о небесных обителях, о великой премудрости Бога, о Его всеведении, о том, что Он не оставит, не попустит так погибнуть его семью. Она говорила о вечной жизни, о свете незримом, о счастье чистой совести.

Она, сама верующая, много могла сказать солдату, умирающему в тоске плена. Он слушал внимательно, и радостным становилось его лицо.

— Господи, — прошептал он. — Умереть бы скорее. Как хорошо так умирать.

VII. В русской деревне их понимали

Незримые нити к Государю и Родине, уверенность в правоте своей смерти тянулись от этих страдальцев домой, в их семьи, и в далеких углах деревенской России было горение любви, удовлетворенность и любование солдатской смертью как подвигом. Быть может, из деревни, так многими захаянной, и шли эти здоровые токи, что давали мужество нашим солдатам так прекрасно умирать и на поле брани, и в плену.

Сестра проезжала через австрийскую деревню. Вдруг кто-то бросил ей в автомобиль букет. Это были простые полевые цветы, искусно подобранные и завязанные зелеными стеблями. Сестра посмотрела, кто бросил цветы. Это был русский солдат. Она его подозвала.

— Благодарствую, — сказала она. — Зачем ты бросил мне эти цветы?

— Я слышал в городе, что через наше село проезжает сестра из России. Я хотел, чтобы она знала, что мы и здесь, в плену, не забыли Россию и любим ее всем сердцем.

— Ты один здесь?

— Нет, тут есть больница, и в ней несколько наших.

Сестра попросила разрешения навестить эту больницу, не показанную в ее маршруте.

Это была совсем маленькая деревенская больница. В ней лежали сербы и румыны. Сестра передала нашим союзникам братский привет из России и спросила, есть ли здесь кто русский. В небольшой палате с приспущенными от солнца ставнями стояли прозрачные сумерки. В углах было темно. Из темноты раздался слабый голос умирающего:

— Я — русский.

Сестра подошла к нему.

Едва она подошла к койке, как очень худой больной, с истощенным болезнью лицом, приподнялся, схватил ее плечи, обнял и зарыдал.

— Успокойся, — сказала ему сестра.

— Сестрица, я умираю. У меня чахотка, и знаю я, что не проживу долго. Сестрица, выпроси у начальства, чтобы отпустили меня в Россию. Все равно, какой я теперь воин? Хочу сказать, чтобы знали там дома, чтобы знал Царь-батюшка, что не изменой я попал в плен.

Сестра поговорила с австрийским генералом, и он обещал ей устроить это. Но доктор сказал сестре, что больной так плох, что не перенесет дороги и умрет по пути.

— Все равно отправьте, — сказала сестра. — Волнения сборов в Россию дадут ему много радости.

Недели через две она получила известие, что больной переведен в Вену в один из больших госпиталей и оттуда будет отправлен в Россию. Проездом через Вену она навестила его.

Он уже не лежал беспомощно на койке, но сидел и был веселый и оживленный. Он сейчас же узнал сестру и стал ей рассказывать, как он сначала поедет к отцу и матери, в Уфимскую губернию, повидать их, а потом поедет в полк, сражаться за Родину.

Сестра благословила его иконою.

Прошло несколько времени. Сестра вернулась в Петербург. Ей доставили письмо, посланное через Красный Крест. Письмо было деревенское. На плотной бумаге с зелеными линейками прыгали нескладные круглые буквы и говорили о сложных, тонких душевных переживаниях старых крестьянина и крестьянки. Письмо было от родителей этого самого солдата.

«...Торопимся скорее исполнить последнюю волю нашего родного сыночка, Петеньки, — говорили рыжими чернилами

написанные строки. — А была та последняя его воля — передать Вам, что кланяется до самой сырой земли и благодарит Вас, что дали ему спокойно, на родной земле, умереть. А прожил он с нами всего три часочка. В пять привезли к нам, а в восемь преставился к Господу. Еще всем нам и сельчанам сказал, что не изменой он попал в плен, а был ранен. Пишем Вам отец и мать, что мы не пожалели никакого достатка, чтобы похоронить нашего Петеньку. Вся деревня его провожала. Все было честно, и за то спасибо Вам, что вернули его из чужедальней стороны. И не усомнитесь, что мы его, как пострадавшего за Веру, Царя и Отечество, плохо похоронили. Похоронили честно и хорошо. Плакали горько, но не жалели, что отдали его за Веру, Царя и Отечество...»

VIII. В плену гордились Россией и свято берегли ее имя

Солдаты умирали на чужбине. В плену было тяжело. Безрадостные вести шли с Родины. Их не понимали на Родине. Но к ней они тянулись. Ее боялись посрамить.

В 1915 году в России вышел приказ, чтобы семьям военнопленных выдавать паек в половинном размере. Приказ этот дошел и до лагерей военнопленных.

В лагере Кинермец, в Венгрии, был барак, где содержались только одни подпрапорщики и унтер-офицеры. При обходе этого барака сестрою к ней подошел один из подпрапорщиков.

— Мы слышали, — сказал он, — что вышел приказ, чтобы лишить наши семьи пайка. Мы сражались до конца. Мы были ранены и оставлены на поле сражения. Не по своей вине мы попали в плен. Мы и сейчас готовы здесь умереть и умрем все, была бы только победа. Мы просим вас похлопотать, чтобы жены наши не страдали безвинно.

— Напишите прошение, — сказала сестра. — Я еще пробуду часа два в лагере. Перед отъездом я зайду к вам, и вы его мне дайте. Я доставлю куда надо.

Когда сестра зашла в барак, ее встретил тот же подпрапорщик.

— Прошение мы, сестрица, написали, а только взяло нас сомнение, отдавать ли его или нет?

— Почему же нет?

— А что, увидит наше прошение австрийское правительство?

— Да, все бумаги у меня будут осматривать. Вы сами понимаете, что иначе нельзя.

— Так мы решили, что тогда и прошение порвать. Нам будет очень неудобно, если враги наши узнают, что Россия не заботится о женах тех, кто за нее сражается. Нехорошо, если через нас или жен наших будут худо думать о России. Пускай и жены наши за Россию заодно с нами погибают».

IX. Для солдата Императорской армии Россия была единая

Широкое чувство любви и уважения к России было общим для всей массы русских солдат-военнопленных, без различия национальностей. Россия была действительно, а не на словах, — великая, единая и неделимая. Вся масса русских солдат составляла единую Императорскую Русскую армию.

Австро-германское командование, озабоченное раздроблением России и порождением розни между народами, составлявшими Русскую империю, тщательно выделяло в особые лагери поляков, украинцев и мусульман.

Когда сестра подъезжала к одному из лагерей, сопровождавший ее австрийский офицер спросил, говорит ли она по-польски.

— Я не знаю польских солдат. Я знаю только одну русскую армию, и в ней всякий солдат — русский солдат. Я буду здороваться по-русски.

Но вопрос этот смутил сестру. «Неужели, — думала она, — немцы успели так распропагандировать солдат, что они забыли Россию и отвернутся от меня, когда я им заговорю о России».

Во избежание чего-либо тяжелого для русского самолюбия сестра решила быть сдержанной и изменить форму своего обычного привета — поклона «от матушки-России».

У лагеря, в строгом войсковом порядке, были выстроены солдаты. Они были чисто одеты. Все сохранили свои полковые погоны и боевые кресты и медали.

Когда сестра подошла к фронту, раздалась громкая команда:

— Смир-рна... Равнение направо.

Сотни голов повернулись на сестру.

— Вольно, — сказала сестра и пошла по фронту.

Дойдя до средины строя, сестра остановилась и сказала:

— Я очень рада навестить и низко кланяюсь вам, так много пострадавшим. Вся ваша земля занята противником. Много горя выпало на долю ваших семей. Но Бог не без милости. Я верю, что скоро будет день и час, когда враг будет изгнан из родной нашей земли.

Сестра не успела договорить, как бравый унтер-офицер громко крикнул:

— Государю Императору — ура!

По польскому лагерю загремело перекатами русское «ура», и сестра поняла, что опасения ее были неосновательны, что польских солдат не было, что перед нею были императорские русские солдаты.

Она шла по лагерю, расспрашивала солдат о их нуждах, и, когда собралась уезжать, они все столпились вокруг нее.

— Хотя нас и заперли в польский лагерь, — говорили ей пленные, — и «рекламации» нам давали, мы остались верны Царю и Родине. Мы очень счастливы, что вы нас навестили и скажете в России, что мы своего долга, как русские солдаты, не забыли.

Император Вильгельм собрал всех пленных мусульман в отдельный мусульманский лагерь и, заискивая перед ними, построил им прекрасную каменную мечеть.

Я не помню, кто именно был приглашен в этот лагерь, кому хотели продемонстрировать нелюбовь мусульман к русскому «игу» и их довольство в германском плену. Но дело кончилось для германцев плачевно. По окончании осмотра образцово содержанного лагеря и мечети на плацу было собрано несколько тысяч русских солдат-мусульман.

— А теперь вы споете нам свою молитву, — сказало осматривавшее лицо.

Вышли вперед муллы, пошептались с солдатами. Встрепенулись солдатские массы, подтянулись, подровнялись, и тысячеголосый хор, под немецким небом, у стен только что отстроенной мечети дружно грянул:

— Боже, Царя храни.

Показывавший лагерь в отчаянии замахал на них руками. Солдаты по-своему поняли его знак. Толпа опустилась на колени и трижды пропела русский гимн! Иной молитвы за Родину не было в сердцах этих чудных русских солдат.

X. Они соблюдали присягу и готовы были на смертные муки, но не изменяли ни России, ни союзникам

Одним из самых тяжелых явлений жизни военнопленных было то, что, вопреки Женевским и иным конвенциям, пленных заставляли работать на заводах, изготовлявших военное снаряжение, рыть окопы, т.е. делать то, против чего до всей глубины возмущались души простых русских солдат.

В том же лагере Кинермец, где подпрапорщики и унтер-офицеры отказались писать прошение об улучшении судьбы своих жен, один подпрапорщик, во время беседы сестры с пленными, вдруг громко крикнул:

— Смирно, все. Пусть Россия знает... Скажи в России всем... Скажи Царю-батюшке, что мы остались верными долгу и солдатской присяге. Такой-то (он назвал фамилию и полк) был расстрелян за то, что отказался работать на снарядном заводе. Такой-то (опять-таки были названы полк и фамилия) был расстрелян за то, что не хотел рыть окопы на фронте союзников.

И сейчас же раздались голоса из солдатской толпы:

— Против союзников мы не можем тоже идти.

— Не пойдем и против союзников. Не нарушим своей присяги и своего долга.

— Сестрица, скажи, что нам делать? Заступись за нас. Нас посылают рыть окопы. Многие отказываются и через то погибают, другие, еще хуже, — слабеют...

— Лучше жизнь свою положить, — говорила сестра, — но только не идти против совести.

И они отдавали свою жизнь.

В лагере Харт солдаты, при обходе их сестрою, все время забегали к ней и, когда видели, что за ними никто не следит, шептали ей:

— Сестрица, обязательно навести 17-й барак.

— Сестрица, добейся своего, а в 17-й барак непременно загляни.

— Сестрица, 17-й барак не забудь, там ужас что делается.

Когда были обойдены все бараки лагеря, сестра обратилась к сопровождавшему ее генералу. Был же тот самый генерал, который обещал всякую ее просьбу исполнить и относился к ней с особым уважением.

— Я хотела бы осмотреть и 17-й барак, — сказала ему сестра.

Генерал улыбнулся.

— Да, — ответил он, — тут есть барак, где сидят солдаты, заключенные до конца войны за упорное неповиновение властям. Туда никого не пускают. Ну да уж пойдемте. Что с вами делать?

Барака снаружи не было видно. Он был окружен высоким, выше его стен, деревянным забором. И забор этот подходил так близко к бараку, что казалось, что барак поставлен в деревянный футляр. От этого сумрак был в бараке. Не светило в него солнце, и было в нем сыро.

На нарах сидели солдаты. Поражало то, что все это были унтер-офицеры. Они были опрятно одеты, у большинства были Георгиевские кресты, у кого два, у кого три. Сестра попросила оставить ее одну с этими людьми. Просьбу ее исполнили.

— За что вы сидите? — тихо спросила она.

Из группы выделился унтер-офицер с тремя Георгиевскими крестами и стал рассказывать:

— Через недолгое время, как забрали нас в плен, собрали нас сто человек, и все унтер-офицеров, и погнали неизвестно куда, потом распознали мы — на итальянскую границу. Приказали — рыть там окопы... Мы отказались. Нас наказали. Подвешивали по часу и более и снова отдали приказ идти рыть окопы. Мы снова отказались.

Сказали: «Против присяги не пойдем». Тогда вывели нас в поле и сказали, что через десятого расстреляют; построилась против нас рота солдат ихних с ружьями. Я старшим был. Скомандовал «смирно» за Веру, Царя и Отечество» и сказал переводчику: «Пусть стреляют»... Нас увели. Не стреляли и стали опять мучить и подвешивать, и потом снова вывели и сказали, что, если не станем рыть окопы, теперь всех до единого расстреляют. А было нас ровно сто человек. И вот стали из наших рядов выходить больные и слабые, которые, значит, заробели. Мы не смотрели на них. Тридцать пять человек их вышло малодушных, Бога и Царя позабывших. Нас шестьдесят пять осталось. Стояли мы как каменные. На все решились. Богу помолились, чтобы принял нашу жертву. Опять командовали к расстрелу, но не расстреляли, а мучили и подвешивали к стене, а потом посадили нас отдельно сюда, лишили права писать письма и получать посылки, держат уединенно, никого к нам и нас никуда не пускают. Кормят — хуже нельзя. Одно слово — арестанты. Но мы рады, что так терпим. И нам ничего не нужно...

Другие унтер-офицеры стояли вокруг сестры, слушали рассказ своего старшего, многие плакали, но никто ничего не сказал, не возразил и ни о чем не спросил.

Они знали, что делали...

Когда сестра вышла из барака, просветилась она сама светом солдатского подвига и понимания присяги.

Сказала генералу:

— Генерал, я никогда ничего не просила у вас противозаконного. Я не пользовалась тем, что вы мне предоставили, — просить за пленных. Но вот теперь умоляю вас — этих отпустить. Они не виноваты. Они исполнили только свой долг по присяге.

Генерал сказал:

— Они свободны от ареста. Пойдите, выпустите их сами.

Сестра вошла в барак.

— Вы свободны, — сказала она. — Можете идти в общий лагерь к своим товарищам.

Они сначала не поверили. Но вот, по приказу генерала, стали снимать и уводить часовых, раскрыли настежь ворота ограды. За ними толпились остальные пленные лагеря.

С глухим гомоном стали они собираться в полутьме барака-тюрмы, увязывали свои котомки. Столпились подле сестры, благодарили ее.

— Постарайтесь поддержать свое знамя, свою честь и дальше так же. Учите других, — сказала сестра.

— Постараемся.

Они расходились по лагерю. Сильные духом, высокие ростом, стройные, мощные — русские унтер-офицеры! Сливались с серою толпою пленных и все-таки были видны. Счастьем исполненного долга сияли их просветлевшие лица.

Было это в Моравии, под осень, на полевых работах. Партия военнопленных была небольшая, прочно сжившаяся, хозяева хорошие, мир и лад царили в ней. Темнело. Все вышли за дом проводить сестру. И как-то не могли расстаться — так хорошо говорили о России. Заходящее солнце посылало лучи на восток, и в синей дымке тонули поля и леса. Казалось, что там такие же поля, такие же леса, та же Богом созданная земля, а было все там по-иному, было бесконечно, до слез, до печали на сердце, дорого.

Солдаты рассказывали о своем тяжелом житье в плену, пока не попали к помещику. Рассказывали, кого расстреляли, кого замучили, кто от тоски умер.

Печален был их рассказ.

— Давайте, — сказала сестра, — споем молитвы.

Они встали. Были среди них люди с хорошими голосами. Молитвы знали. В умирающем дне, в тихой осенней прохладе тоскою звучали молитвенные напевы. Им вторил шелест от падения позлащенных осенью листьев широкого каштана. Рождался из этих молитв печальник о земле русской. Когда кончили петь, сестра стала прощаться с пленными и, как их было немного, прощалась с ними за руку.

Один протянул ей ладонь, и заметила сестра, что на правой руке не было вовсе пальцев.

— Ты раненый? — спросила сестра.

Раненый сконфузился.

— Нет.

— Да как же. А пальцы-то где?

— Это я так, — и смутился еще больше.

Тут стали товарищи сзади него говорить:

— Чего пужаешься... Расскажи... Сестра ведь... Худого ничего нет...

Стал он рассказывать:

— Как взяли в плен, послали меня на завод, поставили уголь в печь подкидывать. Работа нетрудная. Я молодой и сильный был. Подкидываю его день, подкидываю другой, и стала меня мысль разбирать, а что на этом заводе делают? Можно ли мне на нем работать? А не делаю ли я чего против присяги? И узнал: пули на союзников точат. Тогда я пришел и сказал: «Работать больше не буду. Это против присяги, а против присяги я не пойду». Стали меня подвешивать, так мучили, что кровь пошла из ушей и носа. Отправили меня в больницу, подлечили — и опять на завод. Я опять отказался. Меня снова стали мучить. Ну, я стерпел, отлежался в больнице, и снова меня послали на завод. Ну, я думаю — не выдержу, больно пытка тяжела. Ослабел я совсем. А не выдержу, стану работать — душу свою загублю. Иду, и тоска во мне сидит страшная. Самому на себя смотреть тошно. И как проходил двором, словно меня что-то толкнуло. Гляжу — топор лежит на чурбане, возле дров. Стража отстала, один я почти был. Подошел я, перекрестился, взял топор в левую руку, правую положил на чурбан. И — «за Веру, Царя и Отечество» — отхватил все пальцы. Теперь не стану работать. Не погублю своей души. За мучения совести не продам. Меня в госпиталь, залечили руку и отправили сюда, чем могу, одной рукой помогаю.

— Он, Петра-то, славный помощник, — раздались голоса. — Он и одной рукой, а за ним и двумя не угонишься.

Тиха и проста была исповедь веры и преданности, как тих был мягкий осенний вечер. Солнце зашло. Прозрачные надвигались сумерки.

Я как-то спросил сестру:

— Вы посетили сотни лазаретов, лагерей и больниц, вы видели десятки тысяч пленных, вы говорили им о Боге и Царе. Неужели ни разу не слыхали вы никакого протеста? Мы знаем, что среди военнопленных велась антирусская пропаганда австро-германским командованием, что с его разрешения туда были пущены украинские агенты Грушевского и слуги 3-го Интернационала, который только что в Киентале и Циммервальде постановил, что поражение России в этой войне явилось бы благом для русского народа. Неужели их работа не имела никакого успеха, не оказала никакого влияния на эти сотни тысяч русских солдат?

Сестра задумалась.

— Да, — наконец сказала она, — я могу смело сказать, что все пленные были хорошо настроены, потому что на сотни тысяч посещенных мною пленных я могу указать лишь два случая, где я была грубо прервана и оскорблена, когда начинала говорить о Государе и Родине. В одном большом городе, в громадном госпитале, где в палате лежало несколько сот пленных и их койки стояли вдоль и поперек, загромождая проходы, где всюду я видела забинтованные головы, ноги на оттяжках, руки на перевязках, я раздавала образки, присланные пленным Императрицей. Когда я передала привет от России и Государыни и сказала, что Государыня болеет их скорбями и болями и посылает им свое материнское благословение, — все, кто мог, встали и низко мне поклонились. Но в это мгновение из дальнего угла палаты раздался исступленный, желчный, полный ненависти крик:

— Не надо нам ваших царских образков и благословений. Лучше бы нас в России не мучили и кровь нашу не пили!

Все повернулись к кричавшему. Палата ахнула как один человек и притихла. Неподдельный ужас был на лицах раненых. В молчании я пошла по койкам, останавливалась у каждого, тихо говорила, давала образки. Мне пожимали руку, иные целовали и говорили: «Оставьте его... он сумасшедший... Он помешался от мук».

Тот, кто кричал, повернулся лицом к стене, закутался одеялом и лежал не шевелясь. Я подходила к нему. Мне было очень трудно

сесть к нему на койку и заговорить с ним. Но я все же опустилась на койку и заговорила:

— Не верю я, не верю, — сказала я, — чтоб ты мог отказаться от привета Родины и от царского благословения. Не верю, чтобы ты мог забыть Россию и ее Царя...

Он быстро повернулся ко мне, слезы были в его глазах.

— Дайте мне образок, — порывисто воскликнул он.

Я подала образок, он схватил меня за руку, стал целовать образ и вдруг громко зарыдал. Кругом раздались плач и рыдания. Вся палата переживала его страшные слова и приняла эти слова как непередаваемый ужас дьявольского дыхания...

Другой раз — это было в 1916 году в Австрии — я обходила военнопленных в большом лагере. Они были построены поротно. Всюду я кланялась солдатам и говорила, что Россия-матушка шлет им привет. И когда я подошла к одной из рот, из рядов ее раздался выкрик:

— Не желаем мы слушать ваших приветов, лучше бы в окопах нас офицеры нагайками не били, посылая сражаться.

Меня поразило тогда сходство, почти одинаковость выкрика, точно протест был выработан по трафарету и кем-то подсказан, как тут, так и там.

Я молча прошла мимо этой роты, и, когда подошла к следующей, солдаты как-то особенно тепло меня встретили, точно хотели они всеми словами своими, вниманием ко мне показать, что они не согласны с теми, кто отказался от Царя и России.

Во время войны, до революции — два случая на сотни посещений. Потом... Потом все переменилось. Они стали правилом. Для солдат, даже и в плену, стало как будто каким-то шиком богохульствовать, смеяться над Россией, отрекаться от Родины.

Но кажется мне, что, если сейчас войти в красноармейское стадо и так вот тихо, сердечно сказать, как я тогда в госпитале тому исступленному, сказать о Рсссии, о ее замученном Царе, так же, как они, терпеливо переносившем все муки плена и страшную кончину от рук палачей, сказать им о Боге, — зарыдают несчастные заблудшие и станут просить прощения...

Права сестра... Храмы поруганные, церкви оплеванные, с ободранными иконами, полны народом... Чудеса идут по Руси. Ищет народ знамений Бога и находит. Уже целует невидимую руку, протянутую к нему с образком, рыдает и кается в прегрешениях.

Ждет Царя... Царя православного, Царя верующего, Царя любящего народ свой и знающего его, Царя с чистым, незапятнанным именем и законного.

Народ давно сказал свое слово. И не только сказал, но и кровью полил, подвигами неисчислимыми подтвердил; мужественно отстоял его в чужой стране, в страшном плену, где мог заплатить за него и платил муками страшными и самой смертью.

И слово это:

«За Веру, Царя и Отечество».

Им на могилу — не знаю, где их могила, — им, так хорошо мне известным, хотя и не знаю их имени; вернее — не помню, ибо слишком много их было, и слаба человеческая память, особенно в изгнании... Им, бесчисленным, по всему свету рассеянным, кладу я свой скромный венок.

На нем цветы с их могил. Белые, в нежных лучах, ромашки, что растут при дороге, синие васильки, что синеют на русской ниве, ветром колышимой, и алые маки на гибких стеблях, нежным пухом покрытых. Дорогие мне цвета — белый, синий и красный, что росли в пустыне, на одиноком посту коменданта этапа в Маньчжурских горах, что гордо шелестели на кормах кораблей, в далеких синих морях и висели, торжественно-спокойные, по улицам родной столицы, при звоне церковных колоколов и пушечной пальбе в табельный день царского праздника.

Мой скромный венок им — «Честью и Славою венчанным»...

Гаутинг
Октябрь 1923

ПРИМЕЧАНИЯ

ПАВЛОНЫ

Впервые — газета «Русский инвалид» (Париж). 1931. № 17; 1938. № 118—122; 1939. № 123, 124, 127—130, 135, 139—141, 143—146; 1940. № 147. Отдельное издание: Париж: Главное правление Зарубежного союза русских военных инвалидов, 1943. Печатается по этому изданию.

1-е Павловское его императорского величества военное училище учреждено в 1863 г. Краснов учился здесь в 1887—1889 гг. На старшем курсе был фельдфебелем Государевой роты (старшим из унтер-офицеров, являвшимся ближайшим помощником ротного командира и исполнявшим его обязанности в отсутствие офицера).

С. 33. *«Юнкера»* (Париж, 1933) — автобиографический роман А.И.Куприна, повествующий о 3-м Александровском военном училище в Москве, которое писатель окончил в 1890 г. Через четыре года Куприн вышел в отставку в чине поручика. В Первую мировую войну он был штабс-капитаном, командиром роты.

С. 34. *Ванновский* Петр Семенович (1822—1904) — генерал от инфантерии (1883). В 1863—1868 гг. начальник 1-го Павловского военного училища. В 1882—1898 гг. непопулярный в армии военный министр, отличавшийся властностью и грубостью. С 1901 г. министр народного просвещения.

С. 36. *Березовский* Владимир Антонович (1852—1917) — основатель (1879) фирмы в Петербурге, специализирующейся на издании и продаже книг военной тематики. Издавал также журналы «Разведчик» (1889—1917) для офицеров, «Витязь» (1907—1916) для солдат, «Вестовой» (1894—1918).

С. 41. *...после чудесного избавления от смертельной опасности...* — Во время путешествия Александра III с семьей поезд 17 октября 1888 г. сошел с рельсов у станции Борки. Никто не пострадал.

С. 45. *Коцебу* Александр Евстафьевич (1815—1889) — живописец-баталист.

С. 47. *Государыня* — Александра Федоровна (1872—1918), императрица, жена Николая II (с 1894 г.).

С. 54. *«Жизнь за Царя»* (1836) — опера М.И.Глинки; с 1939 г. шла под названием «Иван Сусанин» (по новому либретто поэта С.М.Городецкого).

С. 59. *Каразин* Николай Николаевич (1842—1908) — академик живописи (с 1907 г.), писатель. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и военных кампаний в Средней Азии и Сербии.

Атаманский пернач — булава.

Владимир Александрович (1847—1909) — великий князь, генерал от инфантерии, член Государственного совета, сенатор. Третий сын Александра II. С 1876 г. президент Императорской Академии художеств. В 1884—1905 гг. главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа.

Мария Павловна (1854—1920) — с 1874 г. жена великого князя Владимира Александровича. С января 1920 г. в эмиграции. Мать пятерых детей, в том числе великого князя Кирилла Владимировича (1876—1938), провозгласившего себя в 1924 г. российским императором Кириллом I.

Махотин Николай Антонович (1830—1903) — генерал от инфантерии. В 1881—1899 гг. главный начальник военно-учебных заведений, член Государственного совета. Автор популярной «Справочной книжки для русских офицеров» (1859), которая была и в библиотеке П.Н.Краснова.

Зедделер Логгин Логгинович (1831—1899) — барон, генерал от инфантерии, профессор Академии Генштаба.

С. 68. *Греков* Митрофан Ильич (1842—?) — генерал-майор. Автор книги «На Дальний Восток: Походные письма» (1901).

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Впервые — Краснов П. Русско-японская война: Восточный отряд на реке Ялу. Бой под Тюренченом. СПб.: Изд. Всероссийского национального клуба, 1911. Печатается по этому изданию.

С. 75. *Кашталинский* Николай Александрович (1849—1917) — генерал от инфантерии (1906). В Русско-японской войне 1904—1905 гг. начальник 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Отличился в боях под Тюренченом, Ляояном, Шахе и Мукденом. Во время Первой мировой войны командовал корпусами. Убит в Петрограде психически больным солдатом.

Мищенко Павел Иванович (1853—1918) — генерал от артиллерии (1906). С 1903 г. командир отдельной Забайкальской казачьей бригады. В годы Русско-японской войны один из популярных ее героев. С мая 1908-го по март 1909 г. туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркес-

танского военного округа и наказной атаман Семиреченского казачьего войска. С февраля 1911-го по сентябрь 1912 г. наказной (назначенный) атаман Войска Донского. В Первую мировую войну командовал корпусами. Покончил с собой в Дагестане.

С. 76. *Линда* Константин Павлович (1868—?) — подполковник, начальник штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Автор воспоминаний «Последние часы Тюренченского боя» (1906), в котором участвовал и Краснов.

С. 82. *Куропаткин* Алексей Николаевич (1848—1925) — генерал от инфантерии (1901) Военный министр в 1898—1904 гг. В Русско-японскую войну неудачно командовал войсками в Маньчжурии: потерпел поражения под Ляояном и Мукденом. В 1916—1917 гг. — туркестанский генерал-губернатор.

С. 83. *Засулич* М.И. — генерал-лейтенант, сменивший Кашталинского на посту начальника Восточного отряда.

С. 84. *Трусов* Алексей Александрович (1853 — после 1905) — генерал-майор, начальник 6-й Восточно-Сибирской бригады.

НА РУБЕЖЕ КИТАЯ

Впервые — газета «Русский инвалид» (Париж). 1938. Отдельное издание: Париж: Главное правление Зарубежного союза русских военных инвалидов, 1939. Печатается по этому изданию.

С. 109. *...неизвестный мне поэт...* — Николай Семенович Тихонов (1896—1879), доброволец-гусар в Первую мировую войну. Вернувшись с фронтов, поэт привез в солдатской торбе две книги стихов — «Орда» и «Брага», которые издал в 1922 г., продав дорогое седло. Во втором сборнике — цитируемая Красновым «Баллада о гвоздях», ставшая хрестоматийной.

С. 110. *Галич Юрий* Иванович (наст. фам. Гончаренко; 1877—1943) — генерал-майор (1917), поэт, прозаик. С 1919 г. в эмиграции. В 1923 г. поселился в Риге. После вызова на допрос в НКВД покончил с собой. Автор романов «Остров жасминов» (1928), «Звериада» (1931), «Синие кирасиры» (1936) и др.

С. 111. *...Вот, например, у нас уж исстари ведется...* — Из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

«Конкур иппик» (фр. concours hippique) — конные состязания.

С. 112. *«Русский инвалид»* — старейшая в России военно-научная и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1 февраля 1813 г. по 30 апреля 1918 г.; с 1862 г. — официальный орган Военного министерства.

В 1930 г. издание было возобновлено в Париже русскими эмигрантами, в числе которых был и ветеран газеты П.Н.Краснов.

Химец Василий Александрович — генерал-майор, начальник Офицерской кавалерийской школы в Петербурге.

Алексей Николаевич (1904—1918) — сын Николая II, наследник престола.

Мария Федоровна (1847—1928) — императрица (с 1881 г.), дочь датского короля Христиана IX. С 28 октября 1866 г. состояла в браке с великим князем Александром Александровичем (будущим Александром III). После 1917 г. эмигрировала в Данию.

Михаил Александрович (1878—1918) — великий князь, генерал-лейтенант (1916). Брат Николая II. В начале Февральской революции был вызван с фронта в Петроград. На предложение принять завещанный ему братом престол ответил отказом. В марте 1918 г. был выслан большевиками в Пермь, в июне схвачен чекистами и расстрелян.

Ольга Александровна (1882—1960) — великая княгиня, сестра Николая II. С 1901—1915 гг. жена принца Петра Александровича Ольденбургского (1868—1924). В Первую и Вторую мировые войны — сестра милосердия в госпиталях. В 1919 г. эмигрировала в Данию. В 1945 г. предпринимала неудачные попытки остановить трагически закончившуюся передачу союзниками казаков и Краснова советским властям.

...моя жена... — Лидия Федоровна Краснова, урожд. Грюнезейн, известная в Петербурге камерная певица. Жена П.Н.Краснова с 1896 г.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918) — композитор, музыкальный критик, инженер-генерал (специалист в области фортификации), профессор петербургской Военно-инженерной академии. Автор 14 опер и более 300 романсов, многие из которых входили в репертуар жены Краснова.

Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — генерал от кавалерии (с 1906). В 1886—1898 гг. начальник Офицерской кавалерийской школы. В 1904—1908 гг. командующий войсками Киевского военного округа и одновременно киевский, волынский и подольский генерал-губернатор. Военный министр в 1909—1916 гг., член Государственного совета. В марте 1916 г. был арестован за то, что армия оказалась не подготовленной к войне. Амнистирован 1 мая 1918 г. по старости. По мнению современников, министра несправедливо посчитали виновником всех российских бед той поры. Сухомлинову перед войной удалось провести ряд важных реформ, повысивших боеготовность армии, однако не устранивших в ней многих изъянов. Автор «Воспоминаний» (М., 1926).

Поливанов Алексей Андреевич (1855—1920) — генерал от инфантерии. В 1899—1904 гг. главный редактор журнала «Военный сборник»

и газеты «Русский инвалид». В 1906—1912 гг. помощник (с правами товарища) военных министров А.Ф.Редигера и В.А.Сухомлинова. С 1912 г. член Государственного совета. С июня 1915-го по март 1916 г. военный министр. С февраля 1920 г. на службе в Красной армии. Скончался от тифа. Автор двухтомника «Из дневников и воспоминаний... 1906—1916 гг.» (М., 1924).

Михневич Николай Петрович (1849—1927) — генерал от инфантерии (1910), военный теоретик и историк. С 1892 г. профессор, в 1904—1907 гг. — начальник Академии Генштаба. В Павловском военном училище и в Академии преподавал историю русского военного искусства. Автор многих трудов, в том числе трижды издававшейся «Стратегии» (кн. 1—2, 1899—1901). В 1919—1925 гг. профессор Артиллерийской академии.

С. 113. *Кондзеровский Петр Константинович* (1869—1929) — генерал-лейтенант, участник Белого движения. С 1919 г. в эмиграции.

Остроградский Всеволод Матвеевич — генерал от кавалерии, генерал-инспектор кавалерии.

Дистерло Николай Александрович фон — барон, генерал-майор, начальник штаба генерал-инспектора кавалерии. Служил с Красновым в Офицерской кавалерийской школе.

С. 115. *Безобразов* Николай Петрович — генерал, начальник Офицерской кавалерийской школы, командир гвардейского корпуса.

С. 116. *Чинизелли* — итальянская цирковая семья, работавшая в России: Гаэтано Чинизелли (1815—1881) — антрепренер, конный акробат, дрессировщик-наездник; его сыновья дрессировщик-наездник Андрео (1840—1891) и антрепренер Сципионе, руководивший цирком отца в 1891—1919 гг. Здесь выступала и его жена наездница Люция.

С. 117. *Франц-Иосиф I* (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии с 1848 г.

С. 118. *Баженов* Петр Николаевич (1840—?) — генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны, автор мемуаров «Сандепу — Мукден: Воспоминания очевидца...» (1911).

Багратион Дмитрий Петрович (1863—?) — князь, генерал-лейтенант. Помощник начальника Офицерской кавалерийской школы в Петербурге, которую в 1908 г. окончил Краснов и в которой он занял затем пост начальника казачьего отдела. Багратион аттестовал своего подчиненного как «выдающегося штаб-офицера», что было учтено при назначении Краснова командиром полка. В 1918 г. Багратион командовал Туземной кавалерийской бригадой.

Бискупский Василий Викторович — генерал-майор. Участник Белого движения. В эмиграции глава Русского монархического союза, представитель великого князя Кирилла Владимировича в Германии.

Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918) — генерал от кавалерии (1910). В Русско-японскую войну командовал армейскими корпусами. В Первую мировую — командующий армией до октября 1915 г., когда по собственному рапорту ушел в отставку. В марте 1918 г. был арестован большевиками и за отказ поступить на службу в Красную армию зверски изрублен саблями. О боевых качествах Ренненкампфа Краснов рассказал в книге «Год войны» и в двух журнальных очерках.

С. 119. *Крымов* Александр Михайлович (1871—1917) — генерал-лейтенант (1917). Выпускник Павловского военного училища и Академии Генштаба. Во время Корниловского мятежа 1917 г. был направлен Ставкой на Петроград во главе 3-го конного корпуса. После того как Керенский отдал приказ о его аресте, генерал 31 августа (13 сентября) застрелился.

«Ауспиции» — предзнаменования.

Парфорсные охоты — в конном спорте вид полевой езды, которая проводится как охота с гончими на зверя.

С. 123. *Самсонов* Александр Васильевич (1859—1914) — генерал от кавалерии (1910). В Русско-японскую войну командовал Уссурийской конной бригадой и Сибирской казачьей дивизией. С 1907 г. — наказной атаман Войска Донского. С 1909 г. — туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа. В начале Первой мировой войны во главе 2-й армии потерпел поражение. При выходе из окружения Самсонов погиб (вероятно, застрелился).

С. 124. *Павлов Александр Александрович* (1867—1935) — генерал-майор. В 1903—1905 гг. командир 1-го Нерчинского казачьего полка Забайкальского войска, с которым участвовал в Русско-японской войне. В Гражданскую войну командовал конной группой в составе Добровольческой армии Деникина.

Стипль-чез (англ. steeplechase) — скачки с преодолением препятствий.

С. 126. *Ванновский* — вероятно, Борис Петрович, дослужившийся до чина генерала от кавалерии (1917). Сын военного министра П.С.Ванновского.

С. 128. *Николай Николаевич*-младший (1856—1929) — великий князь, генерал от кавалерии (1901). Внук Николая I. В 1905—1914 гг. — главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914—1915 гг. — Верховный главнокомандующий вооруженными силами России. С марта 1919 г. в эмиграции, где считался главным претендентом на российский престол.

С. 130. *Кауфман* Константин Петрович (1818—1882) — инженер-генерал (1874). В 1867—1882 гг. — генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа. При Кауфмане в Туркестане по-

строено 60 школ и 2 прогимназии, открыта в Ташкенте первая в Средней Азии публичная библиотека.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал от инфантерии. В 1876—1877 гг. — военный губернатор Ферганской области (в 1910—1924 гг. именем полководца назывался г. Фергана). Герой Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (особенно отличился в боях под Плевной и Шипкой). Участник Ахал-Текинской экспедиции 1880—1881 гг.

Анненков Михаил Николаевич (1835—1899) — генерал от инфантерии (1892). Инициатор строительства железных дорог в России, связавших центр с окраинами, в частности со Средней Азией.

Вспоминались прекрасные романы... Н.Н.Каразина... — Имеются в виду историко-приключенческие романы о Средней Азии «На далеких окраинах», «С севера на юг» (оба — 1875), «Погоня за наживой» (1876).

...картины... В.В.Верещагина. — Василий Васильевич Верещагин (1842—1904) — живописец-баталист. Участник войн в Средней Азии (1867—1870), Русско-турецкой (1877—1878), Русско-японской (1904—1905). Автор мемуарной книги «На войне». Погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Автор серий картин «Туркестанская», «Балканская», триптиха «На Шипке все спокойно!» и др.

С. 132. *Быкадоров* Исаак Федорович (1882—1957) — есаул. Впоследствии — генерал-майор, историк. В годы Гражданской войны товарищ председателя Донского Круга, член Верховного Круга Дона, Кубани и Терека. Эмигрировал.

...опального Великого Князя... — Речь идет о Николае Константиновиче (1850—1918). В 1874 г. внук Николая I был уличен в краже семейных драгоценностей (растрачены на содержание американской куртизанки Фанни Лир), за что был объявлен душевнобольным, лишен воинских отличий и выслан до конца дней в Ташкент. На самом же деле, вспоминает министр С.Ю.Витте, великий князь «...был человек деловой, так как в Средней Азии он делал большие оросительные работы (на собственные средства. — *Т.П.*), разводил хлопок», а также строил ткацкие фабрики, занимался благотворительной деятельностью.

Искандер — эту фамилию вместе с дворянством дали жене Николая Константиновича Надежде Александровне Дрейер (1861—1929) и их сыновьям Артемию (погиб в бою в 1918 г.) и Александру (1889—1957), офицерам лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка, участникам Белого движения.

С. 137. *...поездки на долгих, тарантасы... повести Пушкина и Соллогуба...* — Дорога, вероятно, напомнила Краснову повести «Станционный смотритель» А.С.Пушкина и «Тарантас» графа Владимира Александровича Соллогуба (1813—1882).

С. 138. *Голицын-Муравлин* — имеется в виду князь Голицын Дмитрий Петрович (1860—1928), поэт, прозаик, драматург, печатавшийся под псевдонимом Муравлин.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956) — композитор, автор духовных сочинений. С 1925 г. в эмиграции.

С. 139. *По Эдгар (*1809—1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе.

С. 140. *Крыжановский* Сергей Ефимович (1862—1935) — тайный советник (1907). В 1906—1911 гг. — товарищ министра внутренних дел, сенатор. В 1911—1917 гг. государственный секретарь. В парижской эмиграции в 1921—1925 гг. редактировал исторический сборник монархистов «Русская летопись». Автор «Воспоминаний» (1938) и «Заметок русского консерватора».

Мария Ипполитовна, урожд. Щербицкая — жена Крыжановского.

С. 145. *Фольбаум Михаил Александрович* — генерал-майор, военный губернатор, командующий войсками Семиреченской области, наказной атаман Семиреченского казачьего войска.

С. 150. *Калитин* Петр Петрович — генерал-лейтенант, командующий Отдельной Сибирской казачьей бригадой.

С. 152. *...попасть... в «пэйс»...* — Стать близким, родным (от фр. pays — родина).

С. 153. *...времени даже не берданок...* — Однозарядная винтовка американского полковника Х.Бердана была на вооружении русской армии с 1871 г. до начала 1890-х гг. Ей на смену пришла винтовка С.Н.Мосина.

С. 156. *Андижанская резня* — восстание в Андижане под лозунгом газавата (священной войны против «неверных»), поднятое 18 мая 1898 г. феодальной знатью и мусульманским духовенством бывшего Кокандского ханства. Выступление фанатиков, напавших сперва на бараки 20-го Туркестанского батальона, было быстро подавлено.

Верненское землетрясение — одно из многих в г. Верном (после 1921 г. — Алма-Ата), расположенном в сейсмическом поясе Казахстана.

С. 162. *Причт* — священнослужители (священники и дьяконы) и церковнослужители (пономари, псаломщики, дьячки).

С. 163. *Черняев* Михаил Григорьевич (1828—1898) — генерал-лейтенант (1882). В 1864—1866 гг. — участник военных экспедиций в Среднюю Азию. В 1873—1876 гг. — редактор-издатель газеты «Русский мир», главной трибуны панславизма. Вопреки воле правительства в 1876 г. во время герцеговинско-боснийского восстания занял пост главнокомандующего сербской армией. В 1882—1884 гг. — генерал-губернатор Туркестана.

Ионов Александр Михайлович — генерал-майор. Сын Семиреченского наказного атамана генерал-лейтенанта М.Ионова, устроителя Семи-

речья и г. Верного. В годы Гражданской войны Ионова-младшего выбрали атаманом Семиреченского войска.

С. 168. *...аннинские темляки «За храбрость...»* — С 1829 г. награжденным за военные подвиги орденом Святой Анны 4-й степени вручалась шпага с надписью «За храбрость», а темляк стал изготовляться из орденской ленты (красного цвета с желтой каймой по краям).

С. 170. *Волков Вячеслав Иванович* (1877—1920) — подъесаул, командир сотни в полку Краснова. В 1917 г. — полковник, командир 7-го Сибирского казачьего полка. В 1918 г. — начальник Томского гарнизона, затем командующий Иркутским военным округом. В 1920 г., командуя Сводным казачьим корпусом, попал в окружение и под угрозой плена застрелился.

Калмыков И.П. — в годы Гражданской войны атаман Уссурийского казачьего войска, сподвижник А.В.Колчака.

Анненков Борис Владимирович — в годы Гражданской войны генерал-лейтенант, начальник партизанской дивизии в Семиреченской области.

Артифексов Леонид Александрович — в 1911 г. хорунжий в полку Краснова. В 1917 г. полковник, командир дивизиона броневиков. В дальнейшем генерал для особых поручений при главнокомандующем Русской армией генерале Врангеле.

Красильников Иван Николаевич (1888—1920) — в годы Гражданской войны произведен А.В.Колчаком в генерал-майоры. 18 ноября 1918 г. арестовал Омскую директорию и передал власть Колчаку. Руководил карательными операциями против партизан. Умер в Иркутске от тифа.

С. 181. *Клуазонне* (фр.) — перегородчатая эмаль на вазочках и других изделиях.

С. 182. *Тюра* — рохля, ротозей, разиня.

С. 194. *Станки Ливчака* — прицельный станок диаскоп (прототип перископа), изобретенный в 1886 г. Иосифом Николаевичем Ливчаком (1839—1914).

С. 208. *...после Георгиевского праздника...* — Один из самых почитаемых праздников — Юрьев день, в честь святого великомученика Георгия Победоносца, отмечавшийся в России дважды: 23 апреля и 26 ноября.

С. 209. *Баратов* Николай Николаевич (1865—1932) — князь, полковник, командир 21-го Туркестанского стрелкового полка. В июле 1919 г. — генерал от кавалерии Добровольческой армии.

Волкова (в замуж. Эйхдельбергер) *Мария* Вячеславовна (1903—1983) — поэтесса, дочь подъесаула В.И.Волкова из полка П.Н.Краснова. Участница сибирского похода казаков в армии адмирала Колчака. Автор сборника стихов «Песни Родине» (Харбин, 1936) с предисловием Краснова.

С. 225. *«Карнэ»* (фр. carnet) — блокнот, записная книжка.

С. 238. *Тамерлан*, Тимур (1336—1405) — полководец, эмир с 1370 г. Создатель государства со столицей в Самарканде.

С. 245. *Семенов* Григорий Михайлович (1890—1946) — генерал-лейтенант. С 1919 г. войсковой атаман Забайкальского казачьего войска, главнокомандующий Дальневосточной армией в 1920 г. В эмиграции с 1921 г. Казнен в СССР.

С. 249. *Лохвицкий* Николай Александрович (1867—1933) — генерал-лейтенант; старший брат писательницы Н.А.Тэффи и поэтессы Мирры Лохвицкой. Во время Первой мировой войны — командир 1-й Особой пехотной бригады во Франции. В Гражданскую войну — командующий 2-й армией у А.В.Колчака.

С. 250. *Сталь* фон Гольштейн Алексей Иванович (1858—1941) — барон, генерал-лейтенант, управляющий двором великого князя Петра Николаевича. В эмиграции входил в окружение великого князя Николая Николаевича.

Гирс Михаил Николаевич (1856—?) — гофмейстер, дипломат. Был послом России в Румынии (1902—1910), Австро-Венгрии (1910—1913), Италии (1915—1917). В эмиграции входил в состав деникинского «Русского политического совещания», иначе именуемого «Русским правительством в Париже».

С. 252. *...Тушинских воров и Болотниковых...* — «Тушинским вором» называли Лжедмитрия II (?—1610), лагерь которого располагался в 1608 г. в с. Тушине. Болотников Иван Исаевич (?—1607) — беглый холоп, возглавивший восстание 1606—1607 гг.

С. 256. *Грызов* Алексей Георгиевич (?—1943) — полковник Сибирского казачьего войска, участник Белого движения. С 1921 г. в эмиграции. Секретарь Казачьего союза в Шанхае.

Баженов Анатолий Дмитриевич — офицер Сибирского казачьего войска, выпускник Омского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского училища.

Березовский Ефим Прокопьевич — полковник, представитель Сибирского казачьего войска в Харбине.

С. 257. *Путинцев И.Ф.* — генерал, атаман 3-го отдела Сибирского казачьего войска. Его братья Петр и Павел — артиллерийские генералы.

Буров Петр Никитич (1872—1954) — генерал-майор Генштаба (1916), начинавший службу в Семиреченской области.

Ачаир — псевдоним поэта, офицера Добровольческой армии Алексея Алексеевича Грызова (1896—1960). В 1945 г. он был репатриирован из Харбина в СССР и отправлен в ГУЛАГ.

С. 262. *Император — ребенок...* — Имеется в виду последний китайский император Пу И из маньчжурской династии Цин, отрекшийся от престола 12 февраля 1912 г. под воздействием Синьхайской революции.

С. 274. *Кондратович* К.А. — генерал-майор Генштаба, в 1913 г. — начальник штаба войск Семиреченской области.

С. 278. *Penso, Tosti, Mattinata, Leonkovallo* — итальянские певцы и композиторы Пенсо, Франческо Паоло Тости (1846—1916), Маттината, Руджеро Леонкавалло (1857—1919).

Лядов Анатолий Константинович (1855—1914) — композитор, автор популярных песен и романсов.

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913) — популярная эстрадная певица, артистка оперетты (сопрано).

С. 279. *Плевицкая* Надежда Васильевна (1884 — предполож. 1941) — эстрадная певица (меццо-сопрано); исполнительница русских народных (главным образом городских) песен. После 1920 г. в эмиграции.

«Буль-де-нежи» (фр. снежный ком) — белоснежные шарообразные цветы кустарника рода калины.

НА ВНУТРЕННЕМ ФРОНТЕ

Впервые — Архив русской революции, изданный И.В.Гессеном. Т. 1. Берлин, 1922. Печатается по этому изданию.

С. 285. *Долгоруков Павел* Дмитриевич (1866—1927) — князь, камергер, крупный землевладелец, публицист. Один из основателей и лидеров конституционно-демократической партии. Организатор движения в поддержку Добровольческой армии и признания военной диктатуры. Находился под арестом с 28 ноября 1917 г. до 10 февраля 1918 г. Автор открытого письма к народным комиссарам о незаконности ареста. После трех месяцев заключения в одиночной камере Петропавловской крепости освобожден. С осени 1920 г. в эмиграции. Дважды пытался вернуться в Россию. В июне 1926 г. на пути в Москву был арестован и через год расстрелян.

Черячукин Александр Васильевич (1872—1944) — генерал-лейтенант. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции.

С. 287. *Гурко* (Ромейко-Гурко) Василий Иосифович (1864—1937) — генерал от кавалерии. Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В ноябре 1916-го — феврале 1917 г. — и.о. начальника штаба Верховного главнокомандующего. После Февральской революции — главнокомандующий армиями Западного фронта. За критику Временного

правительства и монархические высказывания в июле 1917 г. был арестован и выслан за границу. В эмиграции участвовал в работе Русского общевоинского союза (РОВС). Автор мемуаров «Россия 1914—1917 гг. Воспоминания о войне и революции» (Берлин, 1921, на нем. яз.).

С. 288. *Балуев* П.С. — генерал от инфантерии, командующий Западным фронтом.

Керенский Александр Федорович (1881—1970) — государственный и политический деятель, юрист, публицист. С марта 1917 г. во Временном правительстве: министр юстиции, военный и морской министр, министр-председатель (с июля). С 1918 г. в эмиграции. В 1922—1933 гг. издавал газету «Дни». В 1936—1940 гг. редактор журнала «Новая Россия». Осенью 1940 г. уехал в США. В Нью-Йорке основал в 1949 г. «Лигу борьбы за народную свободу», редактировал журнал «Грядущая Россия».

С. 289. *...известного приказа № 1...* — Имеется в виду приказ № 1 по Петроградскому гарнизону о гражданских правах солдат, подписанный в июне 1917 г. Этот приказ сыграл злую шутку над своим создателем Николаем Дмитриевичем Соколовым (1870—1928), известным адвокатом, меньшевиком, после Февральской революции членом исполкома Петросовета. В июне 1917 г. он возглавлял делегацию исполкома на фронт. В ответ на призыв не нарушать воинскую дисциплину солдаты набросились на делегацию и зверски избили ее. Соколов оказался в больнице, где пролежал без сознания несколько дней.

С. 291. *Корнилов* Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал от инфантерии (1917), участник Русско-японской и Первой мировой войн. 2 марта 1917 г. Николай II одновременно с отречением от престола назначил Корнилова командующим войсками Петроградского военного округа. С 18 августа 1917 г. — Верховный главнокомандующий Русской армией. 25 августа 1917 г. возглавил вооруженное выступление против Временного правительства. Через два дня был смещен Керенским и после ликвидации мятежа 2 сентября арестован. Освобожден Н.Н.Духониным, после чего выехал на Дон, где вместе с М.В.Алексеевым возглавил формирование Добровольческой армии. Погиб перед очередным штурмом Екатеринодара (ныне Краснодар).

С. 292. *Гилленшмидт Я.Ф.* — генерал-лейтенант, командир корпуса.

Эрдели Иван Георгиевич (1870—1939) — генерал от кавалерии, командующий 11-й Особой армией. Участник Корниловского мятежа. Бежал из тюрьмы на Юг, где принял участие в формировании Добровольческой армии. С 1920 г. — в эмиграции во Франции.

С. 294. *Крымов* Александр Михайлович (1871—1917) — генерал-лейтенант, принявший участие в Корниловском мятеже против Временного правительства. После того как Керенский отдал приказ о его аресте, генерал 31 августа (13 сентября) застрелился.

Келлер Федор Артурович (1858—1918) — граф, генерал от кавалерии. В 1914—1917 гг. командир 3-го кавалерийского корпуса. За отказ присягнуть Временному правительству был отстранен от командования. Не принял также предложения перейти на службу в Южную и Добровольческую армии, но согласился возглавить Северную, поскольку она была независима от германцев и монархистов. Осенью 1918 г. стал главнокомандующим вооруженными силами, подчиненными гетману Скоропадскому, но вскоре был отстранен как противник самостийности Украины. После бегства Скоропадского Келлер был арестован и убит в Киеве петлюровцами.

С. 295. *Линде* Федор Федорович (1881—1917) — прапорщик, меньшевик-интернационалист, член исполкома Петросовета, комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте.

Богаевский Митрофан Петрович (1881—1918) — полковник, брат А.П.Богаевского, председатель Войскового Донского Круга. По его предложению Казачий Круг 20 октября 1917 г. провозгласил независимость области Войска Донского до той поры, пока в России не установится та власть, которую примет донское казачество. После смерти Каледина М.П.Богаевский возглавил донское правительство. 6 марта 1918 г. был арестован большевиками и расстрелян. Его имя носит станица Богаевская.

С. 296. *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист, политический деятель. Один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.). Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. С 1918 г. в эмиграции. С 1921 г. основатель и лидер «Парижской демократической группы Партии Народной Свободы» (в 1924 г. преобразована в «Республиканско-демократическое объединение»). Председатель Союза русских писателей и журналистов (1922—1943). Редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости» (1921—1940). Автор многих трудов, в том числе книг «История второй русской революции» (вып. 1—3. София, 1921—1924), «Россия на переломе. Большевистский период русской революции» (т. 1—2. Париж, 1927) и др.

С. 303. *Волкобой* П.М. — генерал от инфантерии, командир армейского корпуса.

С. 304. *Колесников* Федор Васильевич (1855—?) — генерал-майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.

С. 306. *Клембовский* В.Н. — генерал от инфантерии. В 1917 г. сменил Л.Г.Корнилова на посту командующего Северо-Западным фронтом.

Греков П.М. — генерал-лейтенант. В 1917 г. начальник 1-й Донской казачьей дивизии, помощник председателя Совета Союза казачьих войск.

С. 308. *Филоненков* (Филоненко) Максимилиан Максимилианович (1885—1960) — офицер, с июля 1917 г. комиссар Временного правительства при Ставке Верховного главнокомандующего Корнилова. Впоследствии эмигрировал во Францию.

С. 310. *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — предприниматель, лидер партии октябристов. В 1907 г. и с 1915 г. — член Государственного совета. В 1910—1911 гг. — председатель 3-й Государственной думы. 2 марта 1917 г. принял отречение Николая II. Во Временном правительстве военный и морской министр. С 1920-х гг. в эмиграции.

С. 311. *Гагарин* А.В. — князь, в 1917 г. командир 3-й бригады (ею в 1915 г. командовал П.Н.Краснов), входившей в Кавказскую Туземную дивизию.

С. 317. *Губин* А.А. — генерал-майор, начальник Уссурийской конной дивизии.

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870—1956) — генерал-лейтенант. В Первую мировую войну — начальник штаба, главнокомандующий Северным фронтом. В 1917 г. перешел на службу в Красную армию.

С. 324. *Войтинский* Владимир Савельевич (1885—1960) — член РСДРП(б) с 1905 г., публицист. В ссылке в 1912 г. сблизился с меньшевиками. В 1917 г. выступил в поддержку Временного правительства, а также за объединение большевиков и меньшевиков в одну партию. С октября 1917 г. — комиссар Временного правительства по Северному фронту. После Октябрьского переворота готовил корпус П.Н.Краснова к походу на Петроград. 1 ноября был арестован. После освобождения в январе 1918 г. уехал с группой меньшевиков в Грузию. С 1921 г. в эмиграции. Автор двухтомных мемуаров «Годы побед и поражений» (Берлин.; М.; Пг., 1923).

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал от инфантерии (1914). В марте—мае 1917 г. Верховный главнокомандующий. После Октябрьского переворота возглавил Добровольческую армию.

С. 326. *Барановский* В.Л. — генерал-майор. Начальник кабинета военного министра Временного правительства. Зять А.Ф.Керенского.

С. 329. *Теплов* В.В. — генерал-майор. В 1917 г. был назначен А.Ф.Керенским главнокомандующим Петроградским военным округом.

...помню округ при великом князе Владимире Александровиче... — Владимир Александрович был главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа в 1884—1905 гг.

С. 331. *Полковников* Георгий Петрович (1883—1918) — полковник. В июле—сентябре 1917 г. командир 1-го Амурского казачьего полка, входившего в 3-й конный корпус А.М.Крымова. С 16 сентября до 24 октября 1917 г. — командующий войсками Петроградского военного округа. Один из организаторов Юнкерского мятежа 1917 г. в Петрограде в под-

держку наступления на столицу войск Керенского и Краснова. Юнкера Николаевского инженерного и Владимирского военного училищ в ночь на 29 октября (11 ноября) захватили несколько броневиков, овладели городской телефонной станцией, отключили Смольный, заняли гостиницу «Астория», арестовали комиссаров Военно-революционного комитета. Однако не были поддержаны гарнизоном, и в тот же день выступление было подавлено. Полковников, объявивший себя командующим «войсками спасения», бежал на Дон, где был арестован и казнен.

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — барон, генерал-лейтенант (1918). Выпускник Горного института и Академии Генштаба. Один из главных организаторов Белого движения в Гражданскую войну.

С. 332. *Верховский* Александр Иванович (1886—1938) — генерал-майор (1917), военный теоретик и историк. В июле—августе 1917 г. командующий войсками Московского военного округа, в сентябре—октябре военный министр во Временном правительстве. Выступал за выход России из войны, за что был отправлен в отставку. Эмигрировал в Финляндию. Автор мемуаров «На трудном перевале» (М., 1959).

С. 334. *Мария Павловна*-старшая (1854—1920) — великая княгиня. С 1874 г. жена великого князя Владимира Александровича.

С. 335. *Иванов* Матвей Матвеевич — генерал-майор. В 1919 г. начальник штаба Северного фронта.

С. 339. *Черемисов* Владимир Андреевич — генерал от инфантерии (1917), военный теоретик. В 1917 г. — главнокомандующий Северо-Западным, а затем Юго-Западным фронтом.

Юзефович Яков Давыдович (1872—1929) — генерал-лейтенант. Во время Первой мировой войны — начальник штаба Кавказской Туземной конной дивизии, которую возглавлял великий князь Михаил Александрович. С сентября 1917 г. — командующий 12-й армией. С 1920 г. в эмиграции в Польше.

С. 341. *Троцкий* (наст. фам. Бронштейн) Лев Давыдович (1879—1940) — один из руководителей Октябрьского переворота в 1917 г. В 1917—1918 гг. — нарком по иностранным делам. В 1918—1925 гг. — нарком по военным делам, председатель Реввоенсовета республики. Борьба со Сталиным за лидерство в партии закончилась тем, что Троцкий в 1925 г. был исключен из партии, а в 1929 г. выслан из страны.

С. 342. *Саша Черный* (наст. имя и фам. Александр Михайлович Гликберг; 1880—1932) — поэт, прозаик, драматург, журналист. В 1917 г. — начальник отдела в управлении комиссара Северного фронта. С осени 1918 г. в эмиграции.

С. 343. *Львов* Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, крупный землевладелец. Депутат 1-й Государственной думы (1905). Деятель зем-

ского движения. В марте—июле 1917 г. — глава Временного правительства. В парижской эмиграции в 1918—1920 гг. возглавлял Русское политическое совещание.

С. 346. *Хрещатицкий* Б.Р. — генерал-лейтенант, начальник Уссурийской дивизии в армии А.В.Колчака.

С. 352. *Апухтин* Алексей Николаевич (1840—1893) — поэт, прозаик.

«Всё васильки, красные, синие в поле!» — Неточно цитируется стихотворение *«Сумасшедший»* (1890). У Апухтина: «Всё васильки, васильки, // Красные, желтые всюду...»

С. 353. *Духонин* Николай Николаевич (1876—1917) — генерал-лейтенант (1917). В Первую мировую войну — командир полка, генерал-квартирмейстер, начальник штаба Юго-Западного и Западного фронтов. С сентября 1917 г. — начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего, с 3 (16) ноября — Верховный главнокомандующий. Убит солдатами и матросами.

С. 365. *Савинков* Борис Викторович (1879—1925) — политический деятель, писатель. С 1903 г. один из лидеров боевой организации эсеров, организатор и участник убийств министра внутренних дел В.К.Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1906 г. был приговорен к смертной казни. Бежал в Румынию, где занялся литературным творчеством (написал романы «Конь бледный» и «То, чего не было»). В 1917 г. — управляющий Военным министерством во Временном правительстве, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Ушел в отставку после подавления 25 августа 1917 г. мятежа генерала Л.Г.Корнилова. Участвовал в антибольшевистском движении. В 1919 г. выехал за границу. 7 мая 1925 г. покончил с собой в советской тюрьме (по другой версии — убит чекистами).

С. 377. *Бронштейн* — Л.Д.Троцкий.

С. 378. *Довбор-Мусницкий* Юзеф (Иосиф Романович; 1867—1937) — генерал-лейтенант (1917). Выпускник Академии Генерального штаба (1902), участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1917 г. — командир 1-го польского корпуса легионеров. В январе—феврале 1918 г. возглавил антисоветский мятеж.

С. 380. *Дыбенко* Павел Ефимович (1889—1938) — матрос, член РСДРП(б) с 1912 г. В 1917 г. — председатель Центробалта, В 1918 г. — нарком по морским делам. Впоследствии репрессирован.

С. 384. *Рошаль* Семен Григорьевич (1896—1917) — деятель РСДРП(б). В 1917 г. участвовал в ликвидации Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве и аресте генерала Духонина. В октябре 1917 г. комиссар сводного отряда солдат и матросов, направленного под Петроград для то-

го, чтобы остановить продвижение к столице войск Керенского и Краснова. С ноября 1917 г. — правительственный комиссар Румынского фронта. Во время переговоров был арестован и расстрелян по приказу главнокомандующего Украинским фронтом генерала Д.Г.Щербачева.

С. 385. *Муравьев* Михаил Артемьевич (1880—1918) — подполковник, левый эсер. В дни Октябрьского переворота предложил свои услуги большевикам и был назначен начальником обороны Петрограда, главнокомандующим войсками, действовавшими против частей Керенского—Краснова. В июле 1918 г., будучи командующим Восточным фронтом, выступил против большевиков и при аресте был убит.

С. 386. *Тарасов-Родионов* Александр Игнатьевич (1885—1938) — юрист. В 1917 г. — подпоручик, активный работник военной организации РСДРП(б). В 1921—1924 гг. — в Верховном трибунале. Писатель, один из организаторов литературной группы «Октябрь» (1922) и Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Репрессирован.

С. 389. *Антонов* (Антонов-Овсеенко) Владимир Александрович (1883—1939) — член РСДРП(б) с 1903 г. В 1917 г. — один из руководителей штурма Зимнего дворца. В конце 1917-го — начале 1918 г. командовал войсками, противостоявшими казачьим частям атамана А.М.Каледина. В марте—мае 1918 г. — командующий войсками Юга России.

С. 390. *Павел Александрович* (1860—1919) — великий князь, генерал от кавалерии (1913). Младший (шестой) сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны. В Первую мировую войну командовал 1-м гвардейским корпусом Юго-Западного фронта. После Февральской революции вышел в отставку. 29 января 1919 г. был расстрелян во дворе Петропавловской крепости вместе со своими двоюродными братьями великими князьями Дмитрием Константиновичем, Николаем и Георгием Михайловичами.

С. 391. *Крыленко* Николай Васильевич (1885—1938) — прапорщик, в 1917—1918 гг. — нарком, член Комитета по военно-морским делам, Верховный главнокомандующий. С 1918 г. — в Верховном революционном трибунале. Репрессирован.

С. 392. *Каледин* Алексей Максимович (1861—1918) — генерал от кавалерии (1916). С 1917 г. — атаман Донского казачьего войска. Организатор борьбы с большевизмом на Дону. Покончил с собой.

С. 398. *Аппарат Юза* — буквопечатающий телеграфный аппарат (1855) английского изобретателя Дейвида Эдуарда Юза (1831—1900).

Раттель (Раттэль) Николай Иосифович (1875—1938) — генерал-майор (1916). С июня 1916 г. по ноябрь 1917 г. — помощник и генерал-квартирмейстер штаба Юго-Западного фронта. С 17 ноября 1917 г. — начальник военных сообщений в Ставке Верховного главнокомандующе-

го. После Октябрьского переворота в числе первых генералов перешел на сторону большевиков. В июне 1918 г. был назначен начальником штаба Высшего военного совета. С июня 1920 г. — председатель Военно-законодательного совещания при Реввоенсовете республики. С 1925 г. — в резерве.

С. 402. *Бакланов* Яков Петрович (1809—1873) — генерал-лейтенант. Походный атаман донских казачьих полков, прославившийся в Кавказской войне 1817—1864 гг.

ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО ДОНСКОЕ

Впервые — Архив русской революции, издаваемый И.В.Гессеном. Т. 5. Берлин, 1922. Печатается по этому изданию.

С. 406. *Денисов* Святослав Варламович (1878—1957) — генерал-лейтенант. С 4 апреля 1918 г. по 2 февраля 1919 г. — командующий Донской армией. С 1919 г. в эмиграции. Автор мемуаров «Записки. Гражданская война на Юге России. 1918—1920 гг.» (Константинополь, 1921).

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — генерал-лейтенант. В 1917 г. — начальник штаба Верховного главнокомандующего, главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. После большевистского переворота один из вождей Белого движения, главнокомандующий Добровольческой армией (1918—1919) и Вооруженными силами Юга России (1919—1920). Одновременно (с января 1920 г.) был объявлен верховным правителем Российского государства. 4 апреля 1920 г. сдал командование П.Н.Врангелю и уехал в эмиграцию. Здесь всецело отдался писательству, военной публицистике. Автор книг «Очерки русской смуты» (т. 1—5, Париж; Берлин, 1921—1926), «Офицеры» (Париж, 1928), «Старая армия» (т. 1—2, Париж, 1929—1931), «Мировые события и русский вопрос» (Париж, 1939), «Путь русского офицера» (1953) и др.

С. 406. *Сидорин* Владимир Ильич (1882—1943) — генерал-лейтенант. Участник заговора в дни Корниловского мятежа в августе 1917 г. Заместитель председателя Союза офицеров армии и флота (1917), командующий Донской армией (1919 — март 1920-го). С 1920 г. в эмиграции, где был одним из руководителей Союза возрождения казачества.

С. 408. *Михаил Федорович* (1596—1645) — царь с 1613 г., основавший династию Романовых.

С. 414. *Назаров* Анатолий Михайлович (1876—1918) — генерал-майор (1915). Атаман Войска Донского с 30 января 1918 г. Отказавшись бе-

жать из Новочеркасска, стал пленником красных казаков и 18 февраля был расстрелян (по рассказам, команду на расстрел колеблющимся казакам подал сам).

С. 415. *...правительства Львова или Керенского и... декрет Ленина.* — Г.Е.Львов возглавлял Временное правительство в марте—июле 1917 г., после него министром-председателем стал Керенский. Первым документом пришедших к власти большевиков был «Декрет о мире», принятый 26 октября (8 ноября) 1917 г.

С. 416. *...в эпоху Смутного времени...* — Имеются в виду события в России конца XVI — начала XVII в., когда после прекращения династии Рюриковичей началась борьба за власть, в которую вмешались иностранцы. Смута завершилась изгнанием интервентов в октябре 1612 г. и избранием в 1613 г. царя Михаила Федоровича, первого из рода Романовых.

С. 417. *Скоропадский* Павел Петрович (1873—1945) — генерал-лейтенант, провозглашенный 16 (29) апреля 1918 г. гетманом оккупированной немцами Украины. С декабря 1919 г. в эмиграции.

Вильгельм II (1859—1941) — германский император и прусский король с 1888 г. Свергнут в 1918 г.

С. 418. *Эйхгорн* Герман фон (1848—1918) — главнокомандующий немецкими войсками на Украине. Был убит в Киеве эсерами.

Свечин Михаил Андреевич (1876—1969) — генерал-лейтенант. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции, где возглавлял одну из групп 1-го отдела Русского общевоинского союза. Автор книги «Записки старого генерала о былом» (Ницца, 1964).

Филимонов Александр Петрович (1870—1948) — генерал-лейтенант. В апреле 1917 г. был избран атаманом Кубанского казачества и председателем Временного войскового правительства. В эмиграции с 1920 г.

С. 419. *Богаевский* Африкан Петрович (1872—1934) — генерал-лейтенант (1919). В апреле 1918-го — феврале 1919 г. председатель Донского правительства, управляющий отделом иностранных дел Войска Донского. С февраля 1919 г. — последний атаман Войска Донского. С 1920 г. в эмиграции.

Кислов Александр Ильич (1875—1937) — генерал-майор (1920). В мае 1918 г. генерал-квартирмейстер штаба Донской армии.

Романовский (Романько-Романовский) Иван Павлович (1877—1920) — генерал-лейтенант. Один из организаторов и начальник штаба Добровольческой армии. С начала 1919 г. — начальник штаба Вооруженных сил Юга России. С марта 1920 г. в эмиграции. Был убит в Константинополе поручиком-террористом М.А.Харузиным (1893—?) по заданию тайной монархической организации, посчитавшей Романовского главным виновником всех поражений Добровольческой армии.

Глазенап Петр Владимирович (1882—1951) — генерал-лейтенант (1919). Участник Первой мировой войны и Белого движения. С апреля 1918 г. — командир 1-го Конного полка, с июня — командир Кубанской отдельной бригады, с июля — военный губернатор Ставропольской губернии. С лета 1919 г. — генерал-губернатор Северо-Западной области. В ноябре 1919-го — январе 1920 г. — командующий Северо-Западной армией, ушедшей с боями в Эстонию, а затем в Польшу, где возглавил 3-ю Русскую армию. В эмиграции в 1930-х гг. стал одним из лидеров «Российского антикоминтерна» (Данциг). В 1948 г. основал в Мюнхене и возглавил «Союз Андреевского флага».

С. 420. *Дутов* Александр Ильич (1879—1921) — генерал-лейтенант (1918), атаман Оренбургского казачьего войска. С июня 1917 г. — председатель совета Всероссийского союза казачьих войск. В 1918—1919 гг. — командующий Оренбургской отдельной армией, главный начальник Южноуральского края. В марте 1921 г. с остатками войск ушел в Китай, где был убит террористом.

С. 422. *Дроздовский* Михаил Гордеевич (1881—1919) — генерал-майор (1918). В 1914—1918 гг. — командир полка, начальник дивизии. В декабре 1917 г. сформировал в Бессарабии отряд, с которым выступил против большевистского переворота и с ним пришел на Дон. Здесь его отряд был реорганизован в 3-ю пехотную дивизию (после смерти генерала получил название Дроздовской) и присоединен к Добровольческой армии.

С. 423. *«Всколыхнулся, взволновался...»* — стихотворение донского казака А.Леонова (по другим сведениям, автор Ф.Анисимов), написанное в 1853 г., в преддверии Крымской войны.

Крюков Федор Дмитриевич (1870—1920) — писатель, избиравшийся в 1880—1882 и 1889—1891 гг. станичным атаманом, а в 1906 г. — депутатом 1-й Государственной думы от Войска Донского. Февральскую революцию, Октябрьский переворот и Гражданскую войну воспринял как всенародные катастрофы для России. В августе 1918 г. был избран секретарем Войскового Круга Всевеликого Войска Донского. В честь 25-летия литературной деятельности «Гомера казачества», широко отмечавшегося на Дону в ноябре 1918 г. (фактически 28-летие), Краснов присвоил ему генеральский чин действительного статского советника. Умер от тифа.

С. 424. *Суворин* Алексей Алексеевич (1862—1937) — журналист, сын издателя А.С.Суворина от первого брака. С 1888 г. фактический редактор газеты «Новое время». В 1903 г. основал газету «Русь». В 1914—1915 гг. — редактор московской газеты «Новь» (под псевд. А.А.Порошин) и приложения к ней «Утренний телефон газеты «Новь». Автор книги «Поход Корнилова».

С. 427. *Родзянко* Михаил Владимирович (1859—1924) — крупный помещик, один из лидеров партии октябристов. В 1911—1917 гг. — председатель 3-й и 4-й Государственных дум. В августе 1917 г. поддержал мятеж Л.Г.Корнилова. Участник Белого движения. В 1918 г. жил в Новочеркасске. С 1920 г. в эмиграции в Югославии. Автор мемуаров «Крушение империи».

С. 430. *Шульгин* Василий Витальевич (1878—1976) — историк, публицист, исторический романист, поэт. Издатель и ведущий автор газеты «Киевлянин», основанной его отцом в 1864 г. Депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум. 2 марта 1917 г. в Пскове вместе с А.И.Гучковым принимал отречение царя от престола. С 1920 г. в эмиграции. Автор мемуарных книг «1920», «Дни», «Три столицы. Путешествие в красную Россию», «Годы» и др.

Драгомиров Абрам Михайлович (1868—1955) — генерал от кавалерии (1916). С апреля 1917 г. — главнокомандующий армиями Северного фронта. После отставки в июне 1917 г. (за резкую речь против «демократизации» армии) уехал на Дон, где включился в работу по формированию Добровольческой армии. В октябре 1918-го — сентябре 1919 г. — глава правительства (председатель Особого совещания) при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А.И.Деникине. С ноября 1920 г. в эмиграции, где стал активным участником Русского общевоинского союза.

С. 434. *Валленштейн* Альбрехт Венцель Евсевий (1583—1634) — германский полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг.

Платов Матвей Иванович (1751—1818) — генерал от кавалерии (1809). В Русско-турецкую войну 1787—1791 гг. сподвижник А.В.Суворова, походный атаман Войска Донского. Герой Отечественной войны 1812 г.

С. 435. *Герцог Лейхтенбергский* Георгий Николаевич (1872—1929) — полковник в отставке. В 1918 г. монархист прогерманской ориентации, инициатор создания Южной русской армии. В эмиграции основатель берлинских издательств «Медный всадник», «Детинец» и «Град Китеж», соиздатель сборников «Белое дело». Один из основателей «Братства Русской Правды».

С. 438. *Харламов* Василий Акимович (1875—1957) — донской казак. Окончил Духовную академию и филологический факультет Московского университета. Депутат Государственной думы всех созывов, председатель казачьей фракции. Кадет. После Февральской революции представитель Временного правительства в Закавказье. В 1918 г. при атамане Краснове председатель Войскового Круга. С 1920 г. в эмиграции.

С. 439. *Родионов* Иван Александрович (1886—1940) — писатель из донских казаков. Автор вызвавших полемику книг «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» (1909, 6-е изд. 1910), «Два доклада» (1912), «Тихий Дон» (1914) и др. Редактор новочеркасской газеты «Часовой». Умер в эмиграции в Германии. В 1940-х гг. сын писателя Гермоген Иванович Родионов служил адъютантом Краснова, вместе с ним был передан англичанами советской военной администрации. Осужден на 25 лет лагерей, где скончался.

С. 444. *Бьюкенен* Джордж Уильям (1854—1924) — в 1910—1918 гг. посол Великобритании в России.

С. 450. *Фицхелауров* А.П. — генерал-лейтенант, возглавлявший Северную группу войск в Донской армии.

С. 452. *Мамонтов* (Мамантов) Константин Константинович (1869—1920) — генерал-лейтенант (1919). В Гражданскую войну командир конного корпуса, организатор рейда по тылам красных войск Южного фронта.

С. 453. *Подтелков* Федор Григорьевич (1886—1918) — подхорунжий, участник Первой мировой войны. В январе 1918 г. избран председателем Донского казачьего военно-революционного комитета, а в апреле 1918 г. председателем Совнаркома Донской советской республики. Во время проведения мобилизации в Красную армию был захвачен в плен белоказаками и повешен.

С. 461. *Щаденко* Ефим Афанасьевич (1885—1951) — генерал-полковник (1942). В Гражданскую войну член Реввоенсовета 1-й Конной армии.

С. 465. *Сорокин* Иван Лукич (1884—1918) — офицер, левый эсер. В 1918 г. — главком красных войск на Северном Кавказе, командующий 11-й армией. 21 октября поднял мятеж и расстрелял в Пятигорске многих руководителей республики. Был арестован и убит до суда.

С. 468. *Сливинский* Александр Владимирович (1886—1953) — полковник, военный министр Украины в правительстве гетмана Скоропадского. С 1920 г. в эмиграции.

С. 469. *Лукомский* Александр Сергеевич (1868—1939) — генерал-лейтенант. С 1921 г. в эмиграции.

С. 474. *Щербачев* Дмитрий Григорьевич (1857—1932) — генерал от инфантерии (1914). В 1907—1912 гг. — начальник Академии Генштаба. Во время Первой мировой войны командовал армиями Юго-Западного фронта. С апреля 1917 г. — главнокомандующий русскими армиями на Румынском фронте. В декабре 1917 г. возглавил Украинский фронт, образованный из Румынского и Юго-Западного фронтов. В апреле 1918 г. создал в Париже представительство Добровольческой армии.

Иванов Николай Иудович (?—1919) — генерал от артиллерии, командующий Южной армией; умер в Новочеркасске от сыпного тифа.

Головин Николай Николаевич (1875—1944) — генерал-лейтенант, военный теоретик, историк, публицист. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции. Автор научного предисловия к книге П.Н.Краснова «Душа армии. Очерки по военной психологии» (Берлин, 1927).

С. 475. *Залесский* Петр Иванович — генерал, начальник штаба Донской армии.

С. 480. *Колчак* Александр Васильевич (1874—1920) — адмирал (1918). В 1916—1917 гг. — командующий Черноморским флотом. В 1918—1920 гг. — Верховный правитель Российского государства. Возглавлял борьбу с советской властью в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Расстрелян большевиками.

Вацетис Иоаким (1873—1938) — в Первую мировую войну командир латышского полка, с которым в 1917 г. перешел на сторону советской власти. В 1918—1919 гг. — главнокомандующий Вооруженными силами РСФСР. Репрессирован.

Аралов Семен Иванович (1880—1969) — в Гражданскую войну член Реввоенсовета Республики.

Сытин Павел Павлович (1870—1938) — генерал-майор; перешел на службу в Красную армию. В 1918 г. командовал Южным фронтом (членом Реввоенсовета у него был Сталин). Репрессирован.

Ворошилов Климент Ефремович (1881—1969) — Маршал Советского Союза (1935). В Гражданскую войну командовал рядом армий и фронтов.

Егоров Александр Ильич (1883—1939) — полковник, перешедший к красным. С 1918 г. командовал армиями, в 1919—1920 гг. — Южным, Юго-Западным фронтами. Маршал Советского Союза (1935). Расстрелян.

С. 486. *Франше д'Эспре* Луи Феликс Мари Франсуа (1856—1942) — маршал Франции (1921). В марте—апреле 1919 г. командовал оккупационными войсками на Юге России.

Майдель Игнатий Николаевич (1874—1930) — барон, генерал-лейтенант. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции (профессор химии в Люблянском университете).

Поклевский-Козелл С.А. — дипломат, в 1918 г. посланник России в Румынии.

С. 487. *Попов* Петр Харитонович (1868—1960) — генерал от кавалерии. В 1914—1918 гг. начальник Новочеркасского казачьего училища. В годы Гражданской войны походный атаман. После гибели атамана Войска Донского А.М.Назарова временно, до 4 (17) мая 1918 г., исполнял его обязанности. С 1920 г. в эмиграции.

С. 491. *Кононов* Иван Анатольевич (1885—1959) — вице-адмирал. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции.

С. 493. *Быч* Л.Л. — председатель Кубанской рады.

Рябовол Николай Степанович (1883—1919) — председатель Кубанской краевой рады с декабря 1917 г. Убит террористом.

Покровский Виктор Леонидович (1889—1923?) — генерал-лейтенант (1919). В Первую мировую войну — летчик, первым применивший в воздушном бою таран (П.Н.Нестеров сделал это позже). Один из организаторов Белого движения на Кубани. В Добровольческой армии командовал бригадой, дивизией, корпусом. В декабре 1919-го — феврале 1920 г. командующий Кавказской армией. В эмиграции с мая 1920 г.

Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) — есаул в начале Гражданской войны, генерал-лейтенант (1919). Командовал казачьими бригадой, дивизией, конным корпусом. В 1945 г. был выдан англичанами советскому командованию и повешен.

С. 494. *Рузский* Николай Владимирович (1854—1918) — генерал от инфантерии (1909). В Первую мировую войну командующий Северо-Западным и Северным фронтами. Расстрелян большевиками в Пятигорске.

Павличенко Иван Диомидович (1875—1931) — генерал-майор (1919). Командовал у красных полком, с которым перешел на сторону белых и возглавил 3-ю Кубанскую дивизию. С 1920 г. в эмиграции.

С. 495. *Улагай* Сергей Георгиевич (1875—1944) — генерал-лейтенант (1919). В начале 1920 г. принял от Шкуро командование Кубанской армией.

Май-Маевский Владимир Зенонович (Зиновьевич; 1867—1920) — генерал-лейтенант (1917). Командовал дивизией в Добровольческой армии Деникина.

Эрдели Иван Георгиевич (1870—1939) — генерал от кавалерии. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции.

С. 496. *Пан Павло кроит федерацию...* — Речь идет о П.П.Скоропадском.

С. 497. *Хан Набоков там...* — Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — юрист, член ЦК партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы. В ноябре 1918-го — апреле 1919 г. министр юстиции Крымского краевого правительства. С 1919 г. в эмиграции. Погиб при покушении на П.Н.Милюкова.

Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — государственный деятель. В 1920 г. — глава правительства Юга России в Крыму.

Энно Эмиль — французский вице-консул, представитель Антанты на Украине в ноябре—декабре 1918 г.

С. 499. *Жлоба* Дмитрий Петрович (1887—1937) — командир дивизии в Красной армии, нанесший удар по тылам войск Краснова.

С. 500. *Семилетов* Иммануил Федорович (1872—1919) — генерал-майор (1918). В феврале 1919 г. атаман Богаевский назначил его командующим всеми партизанскими отрядами Донской армии.

С. 501. *Канин* В.А. — адмирал Добровольческой армии.

Вязьмитинов Василий Ефимович (1874—1929) — генерал-лейтенант (1917), начальник отдела Генерального штаба Добровольческой армии. С марта 1920 г. — военный и морской министр правительства Юга России.

С. 503. *Поляков* Иван Алексеевич (?—1969) — генерал-майор (1918), начальник штаба Донской армии.

С. 504. Винниченко Владимир Кириллович (1880—1951) — прозаик, драматург, политический деятель. В 1917 г. был избран председателем Генерального секретариата Центральной рады Украины, председателем Директории.

С. 505. *Макс Баденский* (1867—1929) — наследник Баденского престола, в 1918 г. рейхсканцлер Германии.

Иоффе Адольф Абрамович (1883—1927) — советский дипломат. В 1918 г. — председатель, затем член делегации России на переговорах с Германией в Брест-Литовске.

...в роли Александра Благословенного... — Имеется в виду вступление в Париж русской армии в 1815 г. во главе с Александром I.

Державы Согласия — Антанта — военно-политический союз Великобритании, Франции и России (1907), к которому в Первую мировую войну присоединились еще 23 государства.

Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1921 гг., выступавший посредником между воюющими европейскими державами. Лауреат Нобелевской премии мира (1920).

Эберт Фридрих (1871—1925) — президент Германии с 1919 г.

«Спартак» (1916—1918) — организация левых социал-демократов, основавших компартию Германии.

С. 506. *Петлюра* Симон Васильевич (1879—1926) — политический деятель. В 1917 г. один из организаторов на Украине Центральной рады. В 1918 г. возглавил вооруженное восстание против гетмана Скоропадского. С февраля 1919 г. руководитель Директории. С октября 1920 г. в эмиграции. Убит террористом в Париже из мести за еврейские погромы.

С. 507. *Швец* Федор Петрович (1882—?) — геолог. В 1918 г. член украинской Директории.

С. 509. *Пуль* Ф.С. — английский генерал-майор, командующий британской миссией на Кавказе. Краснов, долго не желавший устанавливать контакты с союзниками России, в конце концов познакомился с англичанином, а узнав ближе, отбросил свое недоброжела-

тельство к нему и тепло вспоминал: «Глава английской миссии в Екатеринодаре генерал Пуль знал и любил Россию. Он хотел спасения России и действовал в ее интересах». В споре Краснова с Деникиным англичанин занял сторону атамана, согласившись с ним: «Сто тысяч донских штыков и сабель не могут подчиняться 30-тысячному войску добровольцев». Однако, пишет Краснов далее, «он забыл, что интересы Англии не в спасении России, а в ее гибели. Он был спешно отозван, попал в немилость, и на его место приехал генерал Бреггс» (Краснов П. Весна 1921 года. Письмо в редакцию // Русская летопись. 1921. Кн. 1. С. 189).

С. 510. *Кутепов* Александр Павлович (1882—1930) — генерал от инфантерии. С декабря 1917 г. в Добровольческой армии. В эмиграции возглавил (с 1928 г.) антисоветский Русский Общевоинский Союз (РОВС). 26 января 1930 г. похищен в Париже агентами НКВД (погиб во время этой акции).

С. 512. *Гейман* Александр Александрович (1866—1939) — генерал-лейтенант. Один из организаторов антисоветского движения на Кубани. С 1920 г. в эмиграции.

С. 529. *Сазонов* Сергей Дмитриевич (1860—1927) — дипломат, в 1910—1916 гг. министр иностранных дел. В 1918—1919 гг. член правительств Колчака и Деникина. С 1921 г. в эмиграции.

С. 533. *Парамонов* Н.Е. — основатель (1903) ростовского издательства «Донская речь», начальник отдела пропаганды в Добровольческой армии Деникина.

С. 535. *Фош* Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции (1918), верховный главнокомандующий союзными войсками с апреля 1918 г.

С. 545. *...за Ловчу, за Плевну, за Геок-Тепе, за Ляоян и Лидиантунь...* — Имеются в виду награды за отличия в трех военных кампаниях: Русско-турецкой войне 1877—1878 гг., завоевательном походе в Среднюю Азию и Русско-японской войне 1904—1905 гг.

С. 546. *...под Ипром и Верденом.* — Имеются в виду военные операции Первой мировой войны: в апреле 1915 г. под Ипром (Бельгия), где впервые применили химическое оружие, и в феврале—декабре 1916 г. под Верденом, где шли затяжные ожесточенные бои.

С. 554. *Савватеев* А.П. — генерал-майор, бывший депутат Государственной думы.

С. 566. *Кожевников* Иннокентий Серафимович (1879—1931) — в годы Гражданской войны в Красной армии, командующий 13-й армией (1919).

Гиттис Владимир Михайлович (1881—1938) — советский военачальник. В Гражданскую войну командовал полком, армиями, Южным, Западным и Кавказским фронтами.

С. 567. *Думенко* Борис Мокеевич (1888—1920) — командир 1-й Донской советской кавалерийской дивизии, в которой его помощником был С.М.Буденный. По ложному обвинению осужден и расстрелян.

С. 574. *Агеев* Павел Михайлович — лидер Донской социал-демократической партии, член Войскового Круга, сподвижник атамана А.М.Каледина.

С. 575. *Брусилов* Алексей Алексеевич (1853—1926) — генерал от кавалерии (1912). В 1916 г., командуя армиями Юго-Западного фронта, провел успешное наступление (Брусиловский прорыв), приведшее к разгрому австро-венгерских войск. В мае—июле 1917 г. — Верховный главнокомандующий, военный советник Временного правительства. С 1920 г. — в Красной армии.

ВЕНОК НА МОГИЛУ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Впервые — Русская летопись (Париж). 1924. № 6. Печатается по этому изданию.

С. 583. *Балдвин* (Болдуин) Стэнли (1867—1947) — премьер-министр Великобритании в 1924—1929 и 1935—1937 гг.

Муссолини Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии в 1922—1943 гг. Захвачен итальянскими партизанами и казнен.

С. 590. *Пролеткульт* (Пролетарская культура) — культурно-просветительная и литературно-художественная организация (1917—1932), построенная на принципах пролетарской самодеятельности в различных сферах литературы и искусства. Нигилистически отрицала культурное наследие.

Клара Цеткин (1857—1933) — немецкая революционерка, с 1919 г. — член ЦК компартии Германии.

С. 593. *Ильин* Алексей Афиногенович (?—1889) — капитан Генштаба, основавший в 1867 г. книгоиздательскую картографическую фирму (национализирована в 1918 г.),

С. 622. *Грушевский* Михаил Сергеевич (1866—1934) — историк. В марте 1917-го — апреле 1918 г. председатель Центральной рады в Киеве. С 1919 г. в эмиграции. В 1924 г. вернулся в СССР.

Т.Прокопов

СОДЕРЖАНИЕ

Мой 20 век
Литературно-художественное издание

Краснов Петр Николаевич
Атаман

РЕДАКТОР
В.П.Кочетов
МЛ. РЕДАКТОР
Д.З.Хасанова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
С.А.Виноградова
ТЕХНОЛОГ
С.С.Басипова
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
А.В.Кузьмин
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
ПЕРЕПЛЕТА И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Е.В.Мелентьева
КОРРЕКТОРЫ
Н.В.Семенова, М.Г.Смирнова

Подписано в печать 25.01.2006
Формат 60x90/16
Тираж 3 000 экз.
Заказ № 631

ЗАО «Вагриус»
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

Отпечатано в ОАО « ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

В СЕРИИ 

ВЫШЛИ КНИГИ

Шарль Азнавур
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Жоржи Амаду
КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНЬЕ
Николай Амосов
ГОЛОСА ВРЕМЕН
Георгий Арбатов
ЧЕЛОВЕК СИСТЕМЫ
Ирина Архипова
МУЗЫКА ЖИЗНИ
Григорий Бакланов
ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ
Брижит Бардо
ИНИЦИАЛЫ Б.Б.
Алексей Баталов
СУДЬБА И РЕМЕСЛО
Андрей Белый
Я БЫЛ МЕЖ ВАС...
Николай Бердяев
САМОПОЗНАНИЕ
Георгий Бурков
ХРОНИКА СЕРДЦА
Элина Быстрицкая
ВСТРЕЧИ ПОД ЗВЕЗДОЙ НАДЕЖДЫ
Анджей Вайда
КИНО И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
Константин Ваншенкин
ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ
Борис Васильев
ВЕК НЕОБЫЧАЙНЫЙ
Евгений Весник
ДАРЮ, ЧТО ПОМНЮ
Андрей Вознесенский
НА ВИРТУАЛЬНОМ ВЕТРУ
Ивлин Во
НАСМЕШНИК
Олег Волков
ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ
Максимилиан Волошин
ВСЕ ДАТЫ БЫТИЯ
Петр Врангель
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Егор Гайдар
ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД
Зинаида Гиппиус
НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ
Александр Городницкий
И ЖИТЬ ЕЩЕ НАДЕЖДЕ...
Максим Горький
КНИГА О РУССКИХ ЛЮДЯХ
Сальвадор Дали
СЮРРЕАЛИЗМ – ЭТО Я
Антон Деникин
ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА
Марлен Дитрих
АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ
Татьяна Доронина
ДНЕВНИК АКТРИСЫ
Дон-Аминадо
ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ
Евгений Евтушенко
ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ
Борис Ефимов
ДЕСЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Вальтер Запашный
РИСК, БОРЬБА, ЛЮБОВЬ
Марк Захаров
СУПЕРПРОФЕССИЯ
Илья Збарский
ОБЪЕКТ №1
Александр Зиновьев
ИСПОВЕДЬ ОТЩЕПЕНЦА
Михаил Зощенко
ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

Лазарь Каганович
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ
Клаудия Кардинале
МНЕ ПОВЕЗЛО
Валентин Катаев
ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ
Василий Катанян
ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИДОЛАМ
Игорь Кио
ИЛЛЮЗИИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ
Редьярд Киплинг
НЕМНОГО О СЕБЕ
Михаил Козаков
АКТЕРСКАЯ КНИГА
Григорий Козинцев
ВРЕМЯ ТРАГЕДИЙ
Алексей Козлов
«КОЗЕЛ НА САКСЕ»
Алиса Коонен
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ
Агата Кристи
АВТОБИОГРАФИЯ
Анна Ларина-Бухарина
НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Клод Лелуш
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ
Клара Лучко
Я – СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Муслим Магомаев
ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ
Карл Густав Маннергейм
МЕМУАРЫ
Жан Маре
ЖИЗНЬ АКТЕРА
Анатолий Мариенгоф
«БЕССМЕРТНАЯ ТРИЛОГИЯ»
Евгений Матвеев
СУДЬБА ПО-РУССКИ
Нестор Махно
АЗБУКА АНАРХИСТА
Анастас Микоян
ТАК БЫЛО

Генри Миллер
ТРОПИК ЛЮБВИ
Павел Милюков
ВОСПОМИНАНИЯ
Нонна Мордюкова
КАЗАЧКА
Андре Моруа
МЕМУАРЫ
Родион Нахапетов
ВЛЮБЛЕННЫЙ
Виктор Некрасов
ЗАПИСКИ ЗЕВАКИ
Владимир Немирович-Данченко
ИЗ ПРОШЛОГО
Вацлав Нижинский
ЧУВСТВО
Юрий Никулин
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО...
Татьяна Окуневская
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Юрий Олеша
КНИГА ПРОЩАНИЯ
Лучано Паваротти
МОЙ МИР
Софья Пилявская
ГРУСТНАЯ КНИГА
Иосиф Прут
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ
Виктор Розов
УДИВЛЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ
Анатолий Рыбаков
РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ
Эльдар Рязанов
НЕПОДВЕДЕННЫЕ ИТОГИ
Борис Савинков
ВОСПОМИНАНИЯ
ТЕРРОРИСТА
Давид Самойлов
ПЕРЕБИРАЯ НАШИ ДАТЫ
Владимир Семичастный
БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
Юрий Сенкевич
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Жорж Сименон
ВОСПОМИНАНИЯ О СОКРОВЕННОМ
Константин Симонов
ИСТОРИИ ТЯЖЕЛАЯ ВОДА
Борис Слуцкий
О ДРУГИХ И О СЕБЕ
Вениамин Смехов
ТЕАТР МОЕЙ ПАМЯТИ
Лидия Смирнова
МОЯ ЛЮБОВЬ
Константин Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
Алла Сурикова
ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА
Михаил Танич
ИГРАЛА МУЗЫКА В САДУ...
Татьяна Тарасова
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Микаэл Таривердиев
Я ПРОСТО ЖИВУ
Александра Толстая
ДОЧЬ
Лев Троцкий
МОЯ ЖИЗНЬ
Олег Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ И РАССТОЯНИЯ
Тэффи
МОЯ ЛЕТОПИСЬ
Леонид Утесов
СПАСИБО, СЕРДЦЕ!
Федерико Феллини
Я ВСПОМИНАЮ...
Константин Феоктистов
ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ
Вячеслав Фетисов
ОВЕРТАЙМ
Фредерик Филипс
ФОРМУЛА УСПЕХА
Милош Форман
КРУГОВОРОТ
Эрнест Хемингуэй
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Кэтрин Хепберн
Я. ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ
Тур Хейердал
ПО СЛЕДАМ АДАМА
Владислав Ходасевич
НЕКРОПОЛЬ
Никита Хрущев
ВОСПОМИНАНИЯ
Стефан Цвейг
ВЧЕРАШНИЙ МИР
Марина Цветаева
ГОСПОДИН МОЙ – ВРЕМЯ
Чарльз Чаплин
МОЯ БИОГРАФИЯ
Ольга Чехова
МОИ ЧАСЫ ИДУТ ИНАЧЕ
Гилберт Кийт Честертон
ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ КЛЮЧОМ
Федор Шаляпин
МАСКА И ДУША
Георгий Шахназаров
С ВОЖДЯМИ И БЕЗ НИХ
Татьяна Шмыга
СЧАСТЬЕ МНЕ УЛЫБАЛОСЬ
Анатолий Эфрос
ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР
Сергей Юрский
ИГРА В ЖИЗНЬ
Александр Яковлев
ОМУТ ПАМЯТИ

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

Георгий Иванов
ЧЕРНЫЕ АНГЕЛЫ
Жан Поль Сартр
ЧЕЛОВЕК В ОСАДЕ

Литературное наследие П.Н.Краснова,
автора многочисленных романов,
исторических хроник, повестей, очерков,
поистине огромно.
Современники зачитывались
его четырехтомной эпопеей
«От двуглавого орла к красному знамени»,
переведенной на двенадцать языков,
называя Краснова «русским Майн Ридом»;
его талант высоко оценивали
И.А.Бунин и А.И.Куприн.
Воспоминания генерала и писателя,
посвященные русско-японской,
Первой мировой, Гражданской войнам,
написанные по горячим следам событий, –
не только ценный исторический документ
эпохи, но и яркие литературные произведения.
Читатель встретится на их страницах
со многими видными деятелями
русской истории. Из представленных
в однотомнике шести мемуарных книг Краснова
четыре – «Павлоны», «Русско-японская война»,
«На рубеже Китая» «Венок на могилу
Неизвестного солдата Императорской
Российской армии» – приходят
к современному читателю впервые.



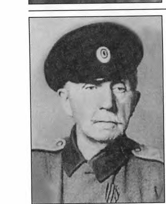
ВАГРИУС

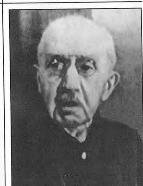
Петр Краснов

АТАМАН













ВАГРИУС



ISBN 5-9697-0103-3
9 785969 701038

Мой 20 век

Петр Краснов





Мой 20 век

АТАМАН

Петр Краснов

Петр Николаевич Краснов (1869–1947) –
в российской истории фигура неоднозначная
и по-своему трагическая.
Прославленный казачий генерал,
герой Первой мировой войны,
известный писатель, в 1918 году
он был избран донским атаманом
и, провозгласив Всевеликое Войско Донское
независимым государством, поднял казаков
на «национальную народную войну»
против большевиков –
«губителей России и казачества».
Эмигрировав в 1920 году в Германию,
Краснов стал вдохновителем и вождем
той части эмиграции, которая вслед
за атаманом повторяла: «Хоть с чертом,
но против большевиков!»
В годы Второй мировой войны,
возглавив созданное в гитлеровской Германии
Главное казачье управление, генерал надеялся
при помощи вермахта и перешедшей
на его сторону части казачества восстановить
суверенное Всевеликое Войско Донское.
В мае 1945 года, сдавшись в плен англичанам,
П.Н.Краснов был интернирован в СССР
и – после показательного процесса – казнен.



ВАГРИУС